ПОЛЬСКАЯ Е. Б.

Это мы, Господи, пред Тобою...




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания о репатриации казаков из Австрии в июне 1945 года, о лагере в Сибири. Автор - активная участница и одна из организаторов невооружённого сопротивления казаков против их насильственной выдачи англичанами в руки советских властей.

Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж - 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России... Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.

- Польская Евгения Борисовна
  - ПРЕДИСЛОВИЕ «В СТОЛ»
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    -
    - 1. ИСХОД
    - 2. БЕЗЫСХОДНОСТЬ
    - 3. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
    - 4. «ТАЙНА» НАШЕЙ РЕПАТРИАЦИИ[10]
    - 5. ДОМА!
    - 6. ДЕТИ
    - 7. НА «СЛОБОДУ»!
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
      - 1. Голод
      - 2. Лорочка
      - 3. Островок гуманности
      - 4. «Вольняшки» и зеки
      - 5. Блатные
      - 6. Я бью человека
      - 7. Кокошка

- 8. Побеги
- 9. Лагерные волки
- 10. Мостырщики
- Глава IV
  - 1. Необыкновенное лето
  - 2. «Ход конем»
  - 3. Искусство требует жертв
- Глава V
- Глава VI
  - 1. Труд в лагерях
  - 2. Внутри жемчужины
  - 3. Пасха в Арлюке
  - 4. Неправподобный начальник
- Глава VII
  -
  - Театральная провинция
- Глава VIII
  -
  - 1. Тетя Дуся
  - 2. «Знал, да не донес»
  - 3. Верочка
  - 4. Вайс и Герд
- Глава IX
- Глава X
  -
  - 1. Явление Христа народу
  - 2. Огонь по Христу

○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- I. НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
  - 1. Потсдам и Берлин
  - 2. Катя
  - 3. Не все немцы дураки
- II. ДОЙЧЕ ГАЙСТ (НЕМЕЦКИЙ ДУХ)
  - 1. Сан-Суси
  - 2. Немецкая идиллия
- III. ИСЦЕЛЕНИЕ
- IV. ЖЕНЬКА
  -
  - 1. Познание мира
  - 2. Друзья
  - 3. Гражданская война
  - 4. Подарок
  - 5. Реквизнули Женьку
  - 6. Возвращение

- V. КРАЖА[40]
  - 1. «Собственность — есть кража»
  - 2. «Пятистопные ямбы»
- VI. ИСТОЧНИК
- VII. ОБРАЗ ЖИЗНИ
- VIII. СВИДАНКА
  - 1. Первый удар
  - 2. Плохая примета
- IX. РАССКАЗ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ
- X. РАССКАЗ СОВСЕМ КОРОТКИЙ
- XI. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
- XII. СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
- XIII. ЭКСПЕРИМЕНТ (фантастический рассказ)
  -
  - 1. Рукопись, оставленная в столе
  - 2. «Я помню чудное мгновенье»
  - 3. Пробуждение сознания
  - 4. Брожу ли я вдоль улиц шумных…
  - 5. В монастыре
  - 6. Шестое чувство
  - 7. Распалась связь времен…
  - 8. Коллоквиум
- XIV. ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Вступление к приложению № 1
- Приложение № 1. Леонид Польский
- Приложение № 2. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

- ФОТОГРАФИИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42

Польская Евгения Борисовна
Это мы, Господи, пред Тобою…

ПРЕДИСЛОВИЕ «В СТОЛ»

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли…

О. Мандельштам

«Там много такого, что человек не
должен видеть, а, если видел, то лучше ему умереть».

В. Шаламов

В художественном училище на экзамене по анатомии экзаменатор указал художнику-студенту на глазные отверстия черепа: «Что это?». Глаза», не замедлив, ответил художник. (Книга «Коровин рассказывает»).

Художник ли я, чтобы в уцелевшем костяке своих житейских воспоминаний увидеть и воскресить живую плоть ушедшего, вернуть ему колорит, цвета и запахи? Сумею ли, литературный мануфактурщик, рассказать о школе ненависти, в которую попала неволей? Может и писать не стоит? Не «ту райт», как писал Л. Успенский? Но он же заметил, что рядовые документы эпохи важнее, к примеру, записок Наполеона. И хотя надежды опубликовать это я не вижу — пишу «в стол», все-таки решаю «ту райт».

Долг, руководящий мною во второй половине жизни, требует от меня, не воплотившей свое бытие ни в чем, даже в детях, умножить статистически среднее число «несгорающих» рукописей, из которых кристаллизуется подлинная истинная история времени, а не политически конъюнктурная ложь, охватившая мир, как огромная политическая реклама.

Бездарно, стихийно прожитая жизнь требует от меня именно вот такого воплощения. Копошенье комара во время перелома эпох, миллионная доля атома — эти мои записки, в центре которых одна судьба, един угол зрения, где герой — я сама, И не

встречи со знаменитостями — таких воспоминаний множество, — а мой народ, с которым сблизилась я — осколок кичливой русской интеллигенции. Именно та его часть, которая «попала под колесо истории». Такой формулой было принято в мои студенческие времена называть тех, кого изгоняли из вузов за «социальное происхождение», кого сажали в роковые тридцатые и сороковые, и пятидесятые, ломая хребет, волю и дух. И те, кто это колесо вращали, подобно рабам древнего мира, мои герои.

Жизнь моя столь богата контрастами, что и сейчас, в глубокой старости, мне кажется, я вместила несколько различных жизней. Здесь же причина, почему я осталась дилетантом во всех с детства облюбованных областях.

Но самое тесное слияние с народом — в сфере вращения пресловутого «колеса» — годы вкупе с отбросами общества, которых в моей стране совсем недавно называли «социально близкими», и коих дало мне в подруги мое государство. Правда, в этой школе ненависти я научилась и любви, и жертвенности в пору самоотверженной моей работы для людей.

Как раздражала иногда «Сибирюга»! Особенно названия населенных мест, какие-то особо «грубые» — Тырган, Юрга, Пестерево… И я противопоставляла им наши прилагательные, редко произносимые, пока была «москвичкой»: Белореченская, Отрадная, Недреманная, Прохладная… Однажды вольная врачиха Зинаида Павловна сказала мне: «Сделайте это внимательно, хорошочко». Я ее за это «хорошочко» чуть не поцеловала: так в наших южных краях говорят крестьянки (она и оказалась уроженкой Ростовской области). Так в Сибири возникло во мне чувство моей южно-российской «малой родины», утраченное было в период столичной и крымской жизни; Чувство, воскрешенное казачьими связями в период войны и владеющее мною целиком ныне, в старости.

Что это будет по жанру? Мемуары? Но здесь не будет хронологической плавности. Роман? Может быть! Судьба послала мне «сюжетную» жизнь. Тогда бы в завязку следовало положить приезд из блокированного Ленинграда моего будущего мужа в предоккупационный Ставрополь, когда отец принял его за нищего. Это могло быть завязкой романа о том, как люди переходили в категорию «второго сорта».

Однако миллионы переходили в этот сорт без причинных связей, как мы, послевоенные.

Завязка моего сюжета в грохоте танков немецкой армии в ночь на 2 августа 1942 года. В ночь, когда я осознала, что по бесчеловечным законам правительства, которое я вроде бы до этого безоговорочно принимала, перехожу во второй сорт.

Доминанта записок? — Судьба человека, брошенного на «социальное дно». О том, как несколько миллионов жили «в скобках» — лагерях, изолированные от интересов Родины, оккупированной потомками Нечаева.

Были ли у меня там, «в скобках», радости? Конечно. О них я также пишу. Главная — оказаться в обществе «себе подобных», в спасительной самоотверженности труда, и — как мне повезло — даже творческого. Не многие там получали такие радости, но мне они выпали и спасли психику и мою духовность. О них надо писать, иначе исчезнет течение времени, останется обнаженный ужас первых впечатлений. А ведь была жизнь!

Жалею ли я теперь эти утраченные, отнятые, самые продуктивные в гражданской жизни человека годы? Пожалуй, нет. Никакое доцентство, профессорство, сиявшее мне в довоенные годы, никакой социальный успех не насытили бы так моей биографии и моего гражданского сознания, как это случилось внутри «скобок» со мною. Это подтверждают многие, и сам факт появления Солженицына с его признанием, что только заключение в «скобки» (где ему, как и мне, не было так уж невыносимо плохо: не били, не умирал с голоду) подарило ему прозрение для борьбы с Голиафом самого полицейского в мире государства. Однажды и Илюша Качаев сказал мне: «Не жалею ни о чем. Мы увидели, узнали и поняли, сколько черви слепые не узнают». Я согласилась с ним, но мысленно добавила: «…и слава Богу, не сошли с ума».

По освобождении я как-то проездом шла по Москве, в начале 50-х годов еще мало изменившейся. Случайно встреченный на улице старый знакомый, вежливо сняв шляпу, на ходу поклонился и прошел мимо, будто не было этих 12 лет. Знакомые дома… переулки… этот вежливый поклон не позабывшего меня человека… А вдруг ничего не было?! Я так же иду по любимой Москве и так же встречные обтекают меня, только одета плохо. Но ведь и прежде случалось идти по улице не при всем параде… Так было или не было? Движение жизни как бы вернулось вспять. (Поэтому я включила в эти записки новеллу «Талон на порубку»).

Но все было! По улицам Москвы шла не только плохо одетая и уже не молодая женщина, но совсем другой человек — «второго сорта». И об этой все напоминало. Значит, ту райт! Значит, писать!

В первые годы по освобождении, не имея никакой возможности получить работу «на идеологическом фронте», я в Пятигорске продавала газеты. Подошел к киоску проживавший тогда в этом городе профессор Максимович, запомнивший меня по институту как заметную студентку. «А Вы что тут делаете?!» —

удивился ужасно. Профессор был глух, и я написала цифру 58 (знакомый тогда номер политической статьи) и на пальцах показала решетку. Больше не подходил, и не из такта, а скорее из страха — нас, «пятьдесят восьмых», долго еще боялись и чурались. Первые годы мы с мужем вращались только в обществе «себе подобных».

«Никандр, устрой Женьку в какой-нибудь подмосковный театр», — попросила подруга-москвичка влиятельного в Комитете по делам искусств мужа. Он только посмотрел на нее молча и свирепо. «Остракизм» мы с мужем, вырвавшиеся все-таки на «идеологический фронт», ощущаем очень больно и до сего дня, несмотря на более чем тридцатилетнюю журналистскую деятельность.

Так что — все было!

5 мая 1984 года. С позабытым интересом читаю уже слабеющими глазами «Нюрнбергский процесс» Полторака. Судили одну половину фашистской системы, отвергнувшей все «предрассудки» мировой культуры, духовной и политической. И среди гневных филиппик Полторака все время рождаются мысли: а что, если б судить советскую половину этой же — принципиально — системы? Не пришлось!

Я читаю, как в Нюрнберге обмирал зал суда и даже сами подсудимые при демонстрации кино- и фотодокументов зверского режима, думаю: насколько предусмотрительнее самонадеянных, не стеснявшихся публичности немецких фашистов, оказались иудаистски осторожные советские «фюреры». Ведь никто не фотографировал ни массовых могил сотен расстрелянных и заморенных в лагерях, ни тайных пыток в НКВД, ни групповых изнасилований (например, Долли Текварян — той «знаменитой венгерской балерины», о которой вскользь упомянул Солженицын и которую я знала по театру), ни тех госпитальных палат с обреченными голодом на смерть — их были тысячи, — ни смерти крупнейших талантов (Мандельштам), ни того, как убивали побоями хлипких Бабеля, Михаила Кольцова, Мейерхольда. Я знала имена самых крупных, но их были сотни тысяч, имена же их — «Господи, ты веси». В воображении представляю, как убивали кулаками и сапогами здоровенного комсомольца — поэта Борю Корнилова: он, конечно, кидался на них первый. Так же убили бы и Маяковского, да он сам от них ушел! Где, где документы, неопровержимые, гибели тысяч и тысяч (на моих глазах — Томусинский лагерь). Все это осталось лишь в устных преданиях очевидцев, в которых вправе усомниться историк. Да и молодые плохо верят, что такое было возможно. Рассказы об этом Солженицына в «Архипелаге» его

первая жена Наташа в мемуарах бесстыдно назвала «лагерным фольклором». Не иудаистское ли коварство советского фашизма, оставшегося абсолютно безнаказанным и только в наши дни открыто, но не без осторожности осужденного?! Ни протоколов, ни письменных «бефелей» не оставлено в их закрытых для историков архивах. Только карандашная записка за день до убийства Кирова о том, чтобы Сталину приготовили его вагон или состав для поездки первого декабря в Ленинград осталась документом его причастности к убийству,

Остались — но уже гаснут — лишь одинокие обвинительные выкрики пострадавших, да запоздалые заверения «в верхах», что «этого не должно быть». Вот эти записки Наименее Пострадавшей останутся этим одиноким выкриком, глухим, «в стол, с зыбкой надеждой, что «рукописи не сгорают».

Евгения Польская.

Пятигорск 1963 г. и 1984 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДЕТИ ЗАПОМНИЛИ ЭТО

«Эх, вы! Вон сколько вас было — день и ночь везут вас эшелонами из-за границы.

Мы здесь за вас молебны служили… а вы про… Россию».

Из разговора со мною группы сибирских мужиков в 1945 году после репатриации.

Солнечный луч упал на шершавый пол землянки, на щербатые ее стены, где следы раздавленных клопов были тщательно забелены нами в ожидании Комиссии из НКВД. Луч озарил нашу убогую чистоту, какую возможно достигнуть в убогой землянке, обшитой нестругаными досками и тесом. Это был детсад советского проверочно-фильтрационного лагеря (ПФЛ) для послевоенных репатриированных. Нас привезли сюда из Австрии через всю Европу и всю Россию, в самое сердце Сибири, в закрытых эшелонах в августе 1945 года.

Я держала нашу любимицу, грудную Наденьку над горшочком — просто самодельным ящичком с песком. Такие ставят котятам: никакого ясельного инвентаря в ПФЛ не было. А детей была масса, и почти все жили в яслях: с первых дней прибытия родителей «погнали» (с той поры для меня это почти профессиональное слово — «гонят», прежде так говорили о солдатах, теперь «гнали» пол-России) на работы — в запущенные шахты, на какие-то «земляные работы», словом, «искупать трудом вину перед Родиной».

В яслях были собраны дети разных возрастов.

Они вошли. Мои руки были заняты кряхтящим ребенком, я едва повернула к ним лицо, избоку увидела весь их форс и блеск. Но и что мне были эти генералы, вознесенные войною простейшие дядьки, «пущаи», как я про себя их называла, ибо уже заметила; все почти советские офицеры в Сибири на 30-м году советской власти говорили вместо «пускай» или «пусть» — «пущай».

— Уж извините, мы никаких комиссий принимать еще не умеем, — засмеялась я в толпу голубых околышей, петлиц и золоченных погонов. И, обтерев розовый задик, подкинула Наденьку в солнечном луче и показала комиссии. Крохотные

кулачки потянулись к влажному ротику, и девочка бесстрашно воззрилась на группу ответственных товарищей в ненавистных нам, взрослым, мундирах.

И суровые грозные дядьки — каждый, я видела это — охнули внутренне, уронив привычные вельможные окрики, настороженность, все, с чем шли сюда глядеть на детей «изменников родины», «фашистских детей», и особенно вооруженные против их странной воспитательницы, как им сказали, «какой-то важной преступницы», писавшей в «фашистских» газетах, которая как им сказали мои непосредственные начальники, у детей не ворует и вообще почему-то «хорошая женщина».

Дети, столпившиеся за моею спиною, угрюмо взирали на «дядей», которые «мучат» их матерей и отцов.

— Поздоровайтесь с комиссией, дети! — сказала я старшим.

— Дластуйте! — снисходительно ответила басиком одна их всех, трехлетняя пузатенькая Женька Лихомирова, тупо уставившая в пол босенькие ножки. Комиссия засмеялась, а взгляды исподлобья, молчание остальных детей вроде бы не заметила. Потеплели лица советских особистов, чувство мира овеяло лица даже этих «псов государевых»: перед ними была Чистота человечества — дети, И я уверена, никто из них в тот миг не подумал: грудная Наденька «от немца» ли, «от власовца», полицая — в солнечном луче в убогих пеленочках я держала в руках мир и рай.

Для них — победителей. Нам же предстояло еще пройти уничтожение способами разнообразными и продуманными.

Дети — «над схваткой»? Я видела мальчика, сына советского, уже убитого офицера. Встретив первого немецкого солдата — сапоги, шинель, запах — ребенок с криком «папа» обнял колени врага. В условиях советской действительности детские косточки тоже похрустывали в схватке.

Я начала свой страшный рассказ сценами с детьми потому, что в труднейший период жизни моей только связанность с детьми, с их простодушными делишками, спасла мою психику и жизнь.

Дети репатриированных были ужасны. С родителями от Кавказа, от Украины они через Белоруссию, Берлин, Лемберг (Львов), Австрию попали в Италию. Их русские отцы либо сражались с партизанами на стороне немцев на Балканах, либо жили в Италии на территории, отведенной немецкими оккупантами для русских беженцев-казаков, отступивших от «большевиков» с немецкой армией или «угнанных» немцами с насиженных гнезд. Эти семьи пережили и ужас оккупации, и ужас

отступления «перед нашими», и кошмар бомбежек с полной потерей имущества, и особенный ужас нашей кровавой и предательской репатриации из Австрии.

А как все началось?

В первый месяц войны чистый и светлый патриотизм охватил широчайшие российские массы. Я знаю очень антисоветски настроенных людей (например моя мать), которые готовы были пожертвовать для войны последнее столовое серебро, останавливала только моя мысль, что дар утонет в атласных начальственных карманах.

Первые недели позорного поражения всколыхнули чувства иные и показали, как непрочна популярность строя, называвшего себя советским. Целую четверть века строй служил своеобразной «фабрикой своих собственных врагов», культивируя в народе недоверие через пресловутую классовую ненависть.

Как ни маскировались репрессии, ни один из «приспособившихся», включая верхушку, четко выкристаллизовавшуюся ко времени войны и полностью уже оправдывавшую пословицу «От всех по способностям, нам по потребностям», не был уверен в том, что его «ни за что» не уберут в недра страны. Среди крестьянства почти не было семей, где не было бы репрессированных. Страна жила в «многобедственном страхе». Все это рассказано уже не раз и впервые, точно и правдиво, Солженицыным. В массы начала проникать мысль: «не может ли поражение СССР (не России!) изменить необратимую антинародную политическую ситуацию в стране?» По-настоящему боялись оккупации лишь партийная элита и евреи. Остальные не так чтоб немцев ждали, но, когда это свершилось, врагу внешнему доверились, в надежде при его содействии сбросить внутреннего врага. Сталин предавал не только свой народ, отрекаясь от пленных и оккупированных, он предал евреев, предопределив их на гибель. Они-то и должны были стать теми «советскими людьми», которых массово уничтожали оккупанты. Арестовывали тех, кто утверждал, что Гитлер поголовно уничтожает только евреев. Тысячи погибших от немецкого фашизма евреев послужили материалом для патриотической советской пропаганды:

Конечно, оккупация привлекла и «пену» — проходимцев, негодяев, садистов, авантюристов, но я говорю о массах. И в то же время оккупация пробудила настоящий патриотизм, давно выжженный лозунгами и официозным «советским»… Но это удлиняет рассказ о событиях, что ставлю главной своей целью.

Эвакуированная контуженной на обороне Москвы в южный городок, я была ошеломлена: обыватели немцев определенно

ждали как разрушителей советского строя.

Ждали с разных позиций, даже оказались такие, кто помурлыкивал «Боже, царя храни». Тому, что твердила советская пропаганда об ужасах германского фашизма (оказавшимися справедливыми) не верил почти никто: ко лжи привыкли и уже не верили правде.

Особенно следует сказать о казачестве и близких к нему социальных слоях. Донское, Терское, Кубанское особенно враждебно было строю, сломавшему и поругавшему его вековые устои. Раскулачивание, голод, при котором вымирали станицы (у казаков отбирали все съедобное, даже семечки и жмыхи). Это были наиболее стойкие и бескомпромиссные противники той системы, которую с легкой руки Запада обобщенно именуют «большевизмом». Я и буду пользоваться этим обобщающим словом.

Зная о настроениях северокавказского населения — русской Вандеи — включая и горцев, немцы пришли сюда «миротворцами»: я сама читала приказ немецким солдатам, расклеенный (конечно, и для пропаганды) на улицах. Солдатам в приказе разъясняли, что здесь они на «дружественной территории», что здесь они должны соблюдать вежливость, уважать обычаи горских народов (я это особенно четко запомнила) с их особым отношением к женщине и старикам. И немцы более или менее это соблюдали, хотя пограбливали изрядно (жертвой оказалась и я сама с мамой, лишившись меховой шубки). Поэтому с Северного Кавказа с отступившими немцами ушли тысячи и тысячи советских подданных. Уходили и те, кто действовал, и те, кто понимал, что само их пребывание на оккупированной территории уже чревато Сибирью в будущем.

В числе таких оказалась и я сама. Мы уходили не от своей страны, а от правительства, основной системой которого были репрессии. Казаки же уходили массой. Перед войной, перед лицом военной опасности, большевики лукаво воскресили тени Кутузова и Суворова, гальванизируя уже не «советский», но общенародный патриотизм. Вспомнив казачью славу России, казачеству разрешили его форму, горцам — холодное оружие, в войну сформировали казачьи части Доватора. Но обида была уже необратима. И пока сын был у Доватора, отец, зачастую уже побывавший как раскулаченный в Сибири, погружал семью в бричку и катил на запад за отступавшими немцами, в хвосте которых все более накапливались силы для новой гражданской войны. Оставшиеся на освобожденной земле тоже представляли хороший горючий материал для борьбы со сталинским режимом. Следует заметить, что и сын — комсомолец-доваторец, узнав о

формировании антисоветских казачьих частей, при первой возможности (часто это был плен) ускользал от защиты социалистического отечества и искал на Западе, нет ли там его батьки или братана.

Подобным же образом формировалась и Русская Освободительная Армия (РОА) Власова и инородческие легионы. Это был резерв гражданской войны с большевизмом-сталинизмом, но не с самой Родиной. Огромное количество «изменников родины», собравшихся на Западе, могло бы стать наглядным, вопиющим позором советской системы, но в каком-то роковом ослеплении и расчете, уничтожая одну — германскую — форму фашизма, Европа и Америка поддержали другую его форму, назвавшую себя советской властью и укрывшуюся за коммунистическими лозунгами. Как автор этих воспоминаний, коснусь схематично и собственной позиции в этой трагедии.

Если не считать отроческих годов с романтизацией нового небывалого в мире государственного строя, я, пожалуй, была аполитичной, начиная с периода своей многолетней болезни, развившей некую созерцательность. «Хруст костей в колесе» не давил сознания, захваченного вопросами истории, эстетики, оформленных, впрочем, марксистско-ленинским стереотипом. Вопросы личного устройства в жизни тоже не слишком волновали[1]. Не заставила сделать выводы и гибель близких и дорогих людей — это ощущалось как недоразумение, как частность. Кстати. Не погибла я сама в те времена лишь по счастливому стечению обстоятельств — жила в Крыму, когда всех близких друзей в Москве «замели» прямо с новогодней встречи.

Гнева у меня не было. Наивность, доверчивость системе доходили до святости. Году в 38-м попросила мачеха из Ленинграда отнести денег ее брату, посаженному в Москве. Прихожу на Пушечную. В приемной — родственники с передачами, тихие, с расширенными от ужаса зрачками. (Сколько таких зрачков я видела потом!). Громко излагаю в окошечко цель прихода. Дежурный офицер, объяснив важно, что передачи принимаются только от близких родственников, спрашивает, кто я Петру. «Мачеха моя…» и торопливо объясняю, что я знаю Петра хорошо, еще с комсомольских времен, что он не может быть виноват, что его арест — недоразумение… И вдруг военный в окошке, вперив в меня удивленный взор, тихо говорит: «Барышня, уходите отсюда». И среди сидящих с передачами тоже шелест: «Барышня, уходите скорее…». Я ушла и даже не подумала проследить, нет ли за мной «хвоста». Отец, уже изгнанный из партии за «эсеровское прошлое», в ужас пришел, узнав, где я была. Пожалуй, тогда это было бесстрашие доверия: Петька-то не

виноват! И вы разберетесь, конечно. Я верила в государственную справедливость так крепко, что безбоязненно общалась с «запачканными» через своих мужей подругами: я-то сама чиста! И только в ретроспекции понимаю, почему меня по возвращении с Донбасса не взяли обратно в Третьяковку: я там в свое время не скрыла, что отец исключен из партии (он умер «вовремя», не успели посадить!).

Итак, мышлением моим владел советский стереотип. И когда в далекой от Москвы провинции стереотип вдруг разрушился, все предстало в ином свете. Рухнувшая государственная система при оккупации быстро перестроила сознание, показав свою изнаночную сторону. Стало возможно осудить все, о чем говорить было не принято, узнать неведомое (трупы политических, залитых известью во дворе тюрьмы). И, сбросив стереотип, не восторгаясь оккупантами, я внезапно ощутила истинную живую любовь к моей несчастной России, к ее замордованному народу, любовь, которая прежде была только умозрительной и эстетской. Я позже старалась в статьях своих писать и о величии России и об ее поруганности (немецкие фашисты уже дозволяли в русской прессе мотивы такого патриотизма).

Берлин, Потсдам. А потом Северная Италия — «казачьи станицы», во Фриули собравшие, кроме казаков, к концу войны огромное количество русской интеллигенции, и советской, и староэмигрантской. Мы оказались вместе с теми, кто жаждал дальнейшей борьбы за Россию, и с теми, кто просто мародерствовал, боролся за новый личный престиж; с теми, кто бежал из СССР от кары «ни за что» и от кары за кровавые полицейские дела; кто попал за рубеж насильственно и присоединился к казакам, так как здесь давали пайки, не было конвоя и маячил призрак самостийной «Казачьей земли». Ее обещал «новому казачеству» стоявший во главе станиц престарелый белый генерал П. Н. Краснов. Все боеспособные мужчины использовались немцами на Балканах и в Италии в борьбе с партизанами. В Италии жили главным образом семейные.

Кубань и Ставрополье — «русская Вандея» — уходили за немцами добровольно. Десятки сотен бричек заскрипели по степям в направлении Украины, Белоруссии и по указанию немцев спустились в Италию. Это был великий и последний в истории казачества «Отступ».

С немцами ушли и верующие: православные и сектанты. Сколько раз слышала я признания: «Немцы, конечно, гады, вроде сталинцов, но мы за них стоим по одному тому, что воны церквы поотткрывалы!».

Уехав, посмотрев Европу и ее уклад, даже лояльные, даже просоветские начали понимать: нужна другая Россия, без полицейщины и стереотипа в мышлении.

Теперь нас всех называют власовцами, но тогда внутри массива русских, оказавшихся в Европе, различались разные группировки, находившиеся в раздорах и несогласии. Власов, однако, был надеждой всех группировок, он говорил о единой России и стоял, собственно, на позициях советской власти, без элементов, обративших ее в фашистское государство. Краснов и эмигрантское его окружение всячески отгораживали «вандейцев» от «советских» войск Власова, солдат которых Краснов называл даже «красноармейцами» (восхищаясь, впрочем, их дисциплиной и выправкой, чего нельзя было сказать о казачьей стихии).

Фашисты германские расчетливо использовали «советских» людей для собственных военных нужд, и видя, как увеличивается военный потенциал сопротивляющихся коммунистическому строю, не очень доверяли своим ландскнехтам. Это порождало и усиливало ненависть к самим немцам. А возврата не было: даже «народные мстители» — советские партизаны, попавшие в плен, уже не могли на Родине рассчитывать на снисхождение. И они пополняли ряды власовцев или казачьих частей.

По старому обычаю, всех желающих принимали в казаки. Сюда устремлялись и люди, не мечтавшие о борьбе. Наш типографский рабочий сознательно остался в Крыму ждать «своих». Был мобилизован в советскую армию. Столкнувшись снова с советскими, прежде незамечаемыми, обычаями, все понял, вновь попал в плен к немцам и сразу же попросился в ту пропагандную часть, в коей работал в оккупации. Он рассказал среди многих других сведений, что «опороченных» оккупацией людьми уже не считают, что штрафников «тратят» на разминирование полей, на заведомо гибельные операции. «Мы у них уже не люди, — уныло повторял он. Куда было деваться, как ни примыкать к питавшейся иллюзиями своей победы власовской или казачьей массе? Надежда была: остаться в эмиграции, на худой конец.

Будь дальновиднее немцы, война империалистическая могла бы в России обратиться в войну гражданскую. Не будь Германия в плену своего античеловечного национал-социалистического учения, используй она вовремя идеологическую шаткость советского тыла, не оскорби национального чувства русских, не примени она бессмысленной жестокости к целым народам (дегуманизация, впрочем, общая черта и их и нашей фашистских систем), она вошла бы в тело России, как нож в масло, и само население СССР помогло бы союзникам добить обе фашистские

системы. Но этого не случилось.

Казаки-оккупанты, занявшие итальянские селения вокруг северо-итальянских альпийских городков Толмеццо и Удино, где располагался штаб атамана Доманова — советского подданного, назвали эти чужие селения «станицами». Идеологическое влияние было вручено эмигрантам, во главе с белогвардейским очень дряхлым генералом П. Н. Красновым. Селенья северной Италии были европейского типа, с каменными двухэтажными домами. Казаки перестраивали их по-своему, будь избыток навоза, построили бы себе и саманные хаты. Убогие участочки земли, которую итальянцы гористого этого края вручную наносили с долин, подобно нашим горцам, были присвоены. Итальянцы ненавидели казаков-грабителей больше, чем немцев-«тедесков».

Новые хозяева оккупированной местности жили казачьим побытом, чуть подправив его опытом своих европейских впечатлений. Для молодежи в селении Вилла Сантина было открыто юнкерское училище. Проектировался «Институт благородных девиц», куда и меня по прибытии в Италию приглашали преподавателем. Был введен войсковой казачий порядок царской армии — воинские казачьи звания, погоны, лычки (при немецкой форме). Вечерами и утрами по ущельям со станичных площадей доносилось: «Спаси, Господи, люди твоя…».

Играли свадьбы в отнятых у итальянцев храмах. Устраивали в «Кубанской станице» базары, на которых можно было купить и картошку, и сало — местного уже производства. Вся эта «опереточная жизнь» принималась всерьез как образчик будущего устройства, либо снова на Родине, либо, в случае поражения, «где-нибудь», «куда победители нас направят». Отношения с итальянцами не были мирными не только в силу грабежа целой местности, но и потому, что «станицы» были для немцев плацдармом для борьбы с местными партизанами, скрывшимися в горах.

У казаков была своя пресса. На Балканах, в дивизии фон Паннвица, (позднее схваченного и казненного в СССР вместе с группой генерала П. Н. Краснова) выходила газета под редакцией А. Бескровного, бывшего преподавателя Краснодарского пединститута. Во время репатриации он покончил с собою.

А в Германии, с редакцией в Потсдаме (где мы с мужем жили), выходила крупноформатная четырехполосная газета «Казачья лава». Пока мы находились на территории СССР, она называлась «Казачий клинок». Редактором ее был мой муж, Леонид Николаевич Польский — ленинградский журналист, приехавший в 1942 году к родным в Ставрополь из блокадного Ленинграда.

Одно время в ней сотрудничали профессиональные ставропольские журналисты Михаил Бойко и Евтихий Коваленко (из пленных) — бывшие сотрудники краевой молодежной газеты «Молодой ленинец». Евтихий ушел в РОА, дальнейшую его судьбу не знаем. А Миша с матерью остался в Италии и потом оказался в Америке. Ставрополец Б. Н. Ширяев писал для нашей газеты, А. Е. Капралов, живший потом в Вашингтоне, делал международные обзоры и сочинял хлесткие фельетоны под псевдонимом «Аспид». Казак станицы Николаевской Михаил Земцов был ее постоянным сотрудником, одним из организаторов казачьей прессы еще в ставропольский период антибольшевистской печати. Писали для этой всеми любимой газеты и Н. Давиденков, и Ю. Гаркуша. Я была ее литературным секретарем. Немцы-прибалты, ее наблюдавшие, говорили по-русски и не мешали патриотическому направлению газеты.

Как выяснилось для меня недавно, в Северной Италии, в местности Фриули тоже выходила, до моего приезда туда, местная газета, более похожая на листовку.

Итальянцы строго отличали казаков в форме от «русских» — так они называли массу интеллигентов и штатских, откатывавшихся в Италию к концу войны. Мы — «русские» — не грабили, не обижали, знали культуру народа, мы «бежали от Сталина». Казаки же — «прислужники тедесков» — охотились за партизанами. Мы сами тоже не отождествляли себя с такими казаками (хотя я, например, — казачка), возмущаясь их традиционным поведением в войнах.

Это все еще в большей степени, чем в оккупированном немцами родном Ставрополе, выглядело пребыванием на другой планете. А ведь многие еще живы и помнят это беспримерное в истории существование! И дети все это запомнили. Но едва ли, оказавшись на Родине, уцелевшие рассказывают своим детям о таком своем былом преображении. Разве только ночью, на ухо жене…[2]

После репатриации все взрослые, естественно, рисовали себя насильственно «угнанными в рабство», скрывали чины и караемые свои действия, но дети…

Когда мы оказались в советском проверочно-фильтрационном лагере (ПФЛ), мальчишки не хотели снимать игрушечную, с нашивками и лычками казачью форму, сделанную им отцами в Италии, отцами, проектировавшими создание «казачьего потешного войска». Дети не умели скрыть внушенные им антисоветские настроения и привычки. Иной раз в ПФЛ бежит ко мне сокрушенно какая-нибудь мамаша:

— Ох, Борисовна! Пропадэмо мы из-за наших дитэй! Пропа-

дэм!

Оказывается, мальчишки, забравшись в котлован недостроенной в зоне землянки, затеяли игру: Власов вешает Сталина, ругая чем свет за сепаратизм генерала Краснова (он в эти дни уже был судим в СССР и затем повешен), цукает генерала, заставляет стоять по стойке «смирно» и просить у «казачества» прощения. Мальчишка, назначенный в игре Сталиным, так сопротивлялся этой роли, что его повесили всерьез. «Чуть дышит, весь синий! — причитает баба. — Отца-то убили! Хоть ты оттрепи его за уши!».

Моя детсадовская комната рядом с комнатой СМЕРШа[3] — для ночных допросов каждого из нас. Каждый звук от нас там слышен. И перед сном, когда как раз приходят следователи, с детских нар раздается: «О-Отче наш!» Детский хор присоединяется к тринадцатилетней Тоське Лихомировой, которая к молитве проявляет особое рвение. Подавить репрессивно такие порывы ребенка я не смею. Но ведь они снова «советские дети»! А воспитательница!.. Тихонько разъясняю: «Молитва в душе, а не вслух, гораздо сильнее». Тоська понимающе кивает на перегородку и умолкает. После этого то один, то другой детенок вечером притянет меня за халат и на ухо: «Тетя Женя, я уже помолился в душе!»

Понимая, что дети уже обречены стать «советскими», а в их больных головенках царит невообразимый хаос, прошу «вольную» воспитательницу принести сюда и показать детям портрет Сталина. Долго не несет, видимо, советуется с начальством, можно ли «фашистятам» лицезреть персону, не оплюют ли? Наконец, приносит вырезанный из газеты помпезный портрет (ни газет, ни радио нам не полагается, все новости узнаем от сочувствующих нам вольных шахтных рабочих, да и те боятся с нами разговаривать).

— Дети, кто это? — Молчание. — Неужели не узнаете?

— Вот ты, Толик, до войны уже в школу ходил!.. — Молчание. Его прерывает экспансивная малюсенькая Женька Лихомирова:

— Да это Гитлер! Только усы другие! — Ее восклицание просто символично: ребенок перепутал одинаковых по своей сути «дяденек». В полном конфузе воспитательница объясняет сладчайшим голосом, что это тот, великий и любимый (я почти цитирую), кто освободил их от фашистской неволи. Дети тупо и сумрачно молчат. Когда она уходит, унося портрет, Толик, потупя взор, отвечает на мои упреки:

— Да я его сразу узнал, только сказать было противно!

Первого сентября детей школьного возраста ведут в школу

«за зоной», конечно. Скоро приводят группу обратно: «советские» дети стали избивать наших камнями… Не могу добиться ни букваря, ни учебника в свое детское учреждение. Отвечают: учебников не хватает даже в «наших» школах. Интонация ответа: вот Вы до чего страну довели! «Вечно в СССР чего-нибудь не хватает!» — ворчат старшие ребята. Напоминаю очертания букв, рисуя прямо на полу. Даже тринадцатилетняя Тоська позабыла все и путает «д» и «р». Считать умеют, грамоту позабыли.

1. ИСХОД

В конце войны, в двадцатых числах апреля, когда английский генерал Александер стал занимать Италию с юга, когда немцы побежали из Рима, Милана, итальянские партизаны начали «выдавливать» немецких и казачьих оккупантов из Северной Италии. Многочисленная масса людей, пришедших сюда «на бричках» из России, стала огромным потоком через Альпы отходить в сторону Австрии, на территорию уже, как потом выяснилось, занятую англичанами. Кто двигал этот поток — не ведаю, кто определял его путь — казачье командование не сообщало и не знало. Люди стремились из Италии, лелея мечту, что они идут на соединение с Власовым. Многие «русские» оставались в Италии. И хотя их тоже потом пытались репатриировать части генерала Александера, они после сопротивления репатриированы не были, и многие наши хорошие знакомые дожили жизнь за границей. Меня оставляла квартирная хозяйка: «Сеньора, куда вы идете, на погибель, оставайтесь с нами! Вам ничего от партизан не будет, вы нам не делали зла!». Но ко мне за день до ухода приехал из Германии (точнее, пришел пешком) муж в форме, и как было доказать, что он журналист — редактор казачьей газеты, не проливший ни капли крови. Мы отправились со всеми, с казаками.

«Железный поток» казаков на бричках, бредущих пешком людей в штатском катился к снежному перевалу. В арьергарде шли несемейные военные отряды, отбивавшиеся от наступавших с юга партизан.

В городах, через которые мы беспрепятственно проходили огромным обозом, царило ликование. Партизаны, выйдя из своих убежищ, наводнили улицы: зеленые листья, как символ свободы, украшали головные уборы итальянцев. Многоверстной змеей по дорогам Италии через перевал Сен-Готард мы перешли в Австрию. Итальянские партизаны, видя бедствия женщин и детей на этом зимнем альпийском пути, предложили возглавившему этот «отступ» генералу Краснову, тихо ехавшему в потоке в своей

машине, сдаться на милость победителей. Но, по слухам, он ответил, что присягал Германии и движется в направлении, которое она ему указала. Атамана Доманова никто среди нас больше не видел…

Куда мы идем?

Путь был ужасен. Брички были далеко не у всех. Женщины рожали среди снегов альпийского перевала. Умирали старики. Я хорошо помню крик роженицы на снегу на обочине шоссе. По праву нас (я уже говорю «нас») изгнали с чужой земли, но и своей у нас не было. Пеших было много. «Станичники», брички которых были набиты добром (порою это были выварки, наполненные железным ломом), никого не подсаживали. Сотни учителей, врачей казачьего и неказачьего происхождения, интеллигентов, эвакуированных, занесенных к казакам ветром войны, плелись пешком с узелками, с детьми на руках. Озверение, возможное только у советских людей, потрясало. Мы с мужем в середине пути оказались «при бричке» офицера-эмигранта, который ехал со штабом, но, бережа чужого коня, на крутых подъемах должны были сходить и тянуться пешком. Человек в штатском кричал с обочины: «Люди! Помогите увезти медикаменты! Сволочи бежали и бросили их прямо в снег!». Обладатели бричек проезжали мимо с бесстрастными лицами. На обочинах в снегу отдыхали, задыхаясь, какие-то интеллигентного вида старики, быть может, ученые, актеры. «Куркули» молча проезжали мимо, заботливо оберегая свое добро. Даже раненых, подвозимых из арьергарда, сажали с сопротивлением.

«У нас бричка была и то мы натерпелись, — рассказывала мне богобоязненная Тоська Лихомирова. — Мама просит: «Федь, подсади вот тую тетеньку, она уж совсем синяя ползет». А папа сказал: «Мне сейчас бричка и лошадь дороже и тебя с дитями. В коне одном теперь наше спасение!». А где теперь тот конь?! Лучше б папа людей спасал! Вот нас теперь Бог и наказал!».

Отца Лихомирова, видимо, убили во время сопротивления при репатриации. Лихомирова с тремя детьми попала, как мы все, в СССР.

Особенно страшной оказалась ночь на перевале: брички наезжали друг на друга, ломались, среди пешеходов кто-то рыдал, проклинал и падал под ноги коней. У подошвы Альп цвела весна, на перевале — морозно, снежно. Выбившиеся из сил пешеходы падали и замерзали, потому что большинство было плохо одето — одежду съела война. Костры разводить не разрешалось. На узкой дороге среди скал в ущельях образовались пробки. Никто уже не руководил этим многоверстным обозом. Порою скатывался в ущелье женский вой и рыдания: это из

арьергарда, где партизаны давили наших и стреляли, приходили вести, что убили у кого брата, у кого сына, мужа. С половины пути мы уже не видели ни штабных, ни начальников: в машинах, автобусах они проехали вперед, и мы нашли их отдыхающими в придорожной, уже австрийской, гостинице. Обоз двигался более двух суток.

Только с утренними лучами, озарившими стены ущелий и долины внизу, люди стали бодрее. Перед нами открывался Тироль с его дивными пейзажами, но даже для меня они плыли мимо, мимо. Будет ли Тироль землею нашего спасения?

Спустились с перевала и ехали уже по горячим, пыльным светло-желтым дорогам Австрии. Навстречу нам, к перевалу, в Италию мчались машины, наполненные весело распевающими английскими солдатами в беретах и хаки. Стало понятно: мы на английской территории. Тысячи людей вздохнули: слава Богу! «Слава ли еще Богу!» — крикнул Гриневецкий царю и метнул вторую бомбу. Так и с нами случилось.

На пути в город Лиенц, куда направляло нас, видимо, английское командование, первым нашим привалом после спуска была местность с гостиницей, где остановился штаб. Мы с мужем отыскали место в сарае, набитом сеном, и я негодовала, не предполагая, что еще целых восемь последующих лет буду спать только на соломе! Муж пошел в штаб и вернулся с вестью, что война окончена. Так я узнала о наступлении мира, в котором судьба оказавшихся за рубежом была совершенно неясной. Никому. Даже штабным. Это было 9 мая.

Мимо гостиницы, в Котшахе, мчались немецкие машины из Италии. Казаки, расположившиеся вдоль дороги, дали исход ненависти, накопившейся к фашистам-немцам. Немецких офицеров вытаскивали из остановленных машин, били, вероятно, убивали, отнимали их туго набитые кофры. Вышедший на балкон престарелый Краснов грозил и кричал, но его авторитет и вовсе теперь ничего не стоил.

Когда между собою мы обсуждали обстоятельства нашего путешествия и возмущались жестоким нападениям казаков на удиравших немецких офицеров, эмигрант-офицер Гусев, позднее одноделец мужа, давший нам с мужем свою бричку, холодновато заметил, что Краснову увещевать казаков не следовало бы: таким путем разрешился накопленный в «народушке-богоносце» гнев, иначе он, обратился бы на нас, интеллигенцию. И добавил, что многие ситуации этого «железного потока» напоминали ему страшные страницы гражданской войны. Далее наш поток англичане направили в Лиенц.

По дороге к Лиенцу встречали англичан и шотландцев,

комфортабельно и весело едущих в сторону Италии. Ни один не шел пешком, и мы завистливо говорили между собою, что для них война была не страдание, а увеселительная прогулка.

«Орду» казаков англичане разоружили в Лиенце. Штабных и эмигрантов разместили в городе, станичников — в опустевшем барачном лагере для восточных рабочих — «остовцев» на 25 тысяч человек, на берегу Дравы, у моста. (Как узнала впоследствии, место это называлось Пеггец, мы уже тогда именовали его «Станицы»). Обладатели бричек укрылись в лесочке на другом берегу реки, воинские части разместились в окрестных лесках, в палатках. Вокруг Лиенца, вместе с пришедшими с Балкан казачьими частями и горцами (об этом мы тоже тогда не знали) собралось много десятков тысяч, а может быть и более бывших советских граждан.

2. БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Мы с мужем помещаемся в самом городе, в какой-то казармочке с каменными полами. В одной комнате вместе с парой из Ростова — офицер — гипертоник и никогда не умолкающая жена из породы куриц. Потом перебираемся в отдельную комнату рядом с эмигрантским семейством Красновых — брата Петра Николаевича, тоже генерала, с женою, сестрою затравленного и расстрелянного в СССР профессора Плетнева, и сыном, которого, по примеру семьи Раевских, называют Николай Николаевич-младший. (Впоследствии я узнала, что он в СССР одно время работал в Мариинском лагерном театре и потом оставил во Франции мемуары о заключении в СССР).

Соседи остро завидуют семье, потому что у невестки есть эмалированный таз. Я совершаю первое за весь путь омовение и необходимую стирку в большой кастрюле, чудом сохранившейся среди наших вещей. Вшей пока нет. Казачьи штабные — в комфортабельной гостинице, где помещаются также и английские офицеры. Паек мы теперь получаем английский — и поселенные в городе, и «станичники». По улицам Лиенца с гоготом бродят солдаты-победители в хаки и беретах. Волынка звучит среди шотландцев в клетчатых юбках. Все они поют «Типперери»[4]. К русским солдаты в хаки явно благожелательны. Полковничьи жены идут к ним поварихами, чтобы узнать нашу дальнейшую судьбу. Муж не отходит от штабного радио, но языков не знает, а по-русски о нас ни слова, только гром победы.

Неведение. Поэтому множатся разноречивые слухи: союзники нас не выдадут советам! — Нет! Именно для того и собрали всех здесь, чтобы выдать!

Отделиться от массы уже трудно, повсюду на дорогах — английские патрули в хаки. Муж работал в Германии, здесь его мало кто знает, подворачивается возможность выехать отсюда на дядиной бричке, немцам нужны рабочие — идет покос. Да, но какие мы косари! У многих есть золото, у нас с мужем нет даже денег. Случайно попавшую в наши руки крупную сумму мы добросовестно отдали владельцам, чем вызываем недоумение их самих: могли бы запросто замотать. Страшно оторваться от «орды», перехватают поодиночке, мы ведь не знаем, где советская территория. Коля Давиденков, владеющий языками в таком совершенстве, что говорит даже на австрийском диалекте, мог бы легко прикинуться австрийцем. Но даже он, уйдя во время начавшейся репатриации в горы, был изловлен, в СССР репрессирован и потом за проявление уже в советском лагере антисоветских настроений и агитацию расстрелян.

Безысходность.

А вокруг кипит жизнь маленького уютного австрийского городка, над которым уже не упадут бомбы. Монахи-францисканцы с тонзурами, в сандалиях на босу ногу, в светло-коричневых рясах из груботканных шерстей, подпоясанные золочеными поясами в виде веревки; монахини с крылатыми головными уборами. Рядом монастырь. Женщины в тирольских костюмах с корсажами. Увитые розами, чистенькие, как новая игрушка, домики. Мир. Мир.

Штабные дают обед английскому командованию в городке и магистрату. После этого дружественного застолья «точный» слух: не выдадут! Но, конечно, интернируют как военнопленных.

Петр Николаевич Краснов поспешно, с дрожащими от старости руками производит приближенных штабных полковников в генералы, чтобы в лагерях военнопленных они имели особые, полагающиеся этому чину привилегии. Среди штабных теперь преобладают эмигранты «первого поколения» (мы называем себя вторым).

«Станичники» — народ, казачество вовсе позабыто! Атамана Доманова — из «ставропольских казаков» — там давно нет. Атаманит юный подхорунжий Полунин. Эмигрантам до массы уже и дела нет: разговоры идут о спасении «хотя бы офицерского состава». А мы? А сотни женщин и детей?

Среди казачьих офицеров подавляющее количество нестроевиков, получивших форму и звания по должности, как например, мой муж, и воевавших лишь правдивым словом о попрании интересов народа в СССР, репрессиях, всех беззакониях системы, лгущей о коммунизме. Подавляющее большинство «станичников» и тех, кого итальянцы называли «русскими»,

прошли опыт репрессий, пыток при допросах, гонений по освобождении. Это, в буквальном смысле, политические эмигранты. Не более пяти процентов всей массы составляли авантюристы и шкурники, бывшие уголовники (особенно охотно работавшие полицаями, наряду с бывшими коммунистами). Для этих — где корыто, там и родина. Но подавляющее большинство, даже из тех, кто ушел за немцами из России с оказией войны, а не для активной борьбы со сталинским режимом, были, повторяю, эмигрантами политическими. И никто не был «изменником родины», как привычно их долгие десятилетия трактуют. Среди казаков очутились и те, кто во время войны только так мог иметь на чужбине какие-то права, питание и просто выжить.

Разговоры о личном спасении имеют различные варианты:

— Нет, выдача политических эмигрантов тем, от кого они спасались, с кем боролись, в истории прецедентов не имеет!..

— Но за казаками — мародерство, участие в зверствах германского фашизма, их могут посчитать уголовными преступниками.

— Такие тоже нужны государствам союзников для использования в колониальных нуждах….

Снова нарушен стереотип мышления и поведения. Теперь можно вслух разобраться и в германском фашизме: его преимущества над нашим находят в том, что он не ломал народные устои и инстинкты, а на них опирался. Это верно. Никто, однако, в те дни и долгие годы потом еще не называет почему-то сталинскую систему фашистской.

3. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

27 мая с вечера объявляют: утром офицеры в самом полном составе должны отправиться на некую «конференцию», на которой, якобы, будет решена наша участь. Такова официальная версия, но все понимают: это — английский концлагерь для военных. Немногие догадываются, что это — первый этап советских лагерей. Форма сбора придумана уж больно по-советски, лживо-затейливо: англичане, нас разоружавшие, едва ли побоялись бы сопротивления. Не зарегистрированное и не сданное личное оружие офицеры прячут в австрийскую землю «на всякий случай». Так поступаем и мы с мужем: револьвер в кучу камней.

Даже те, кто на «конференцию» не поехали, как наш сосед-гипертоник, были увезены в полдень, так сказать, в индивидуальном порядке. Для офицеров, живущих в городе, с утра подают «камионы» — автобусы и крытые грузовики (для

менее чиновных). То же, как оказалось, происходило и в «станице», в бараках для семейных и на полянках, где расположились наши воинские соединения.

Через эти эпизоды проведу я сюжетной ниточкой историю моего приятеля Юрия Гаркуши, журналиста. Он объявил себя (а быть может, и был им) уполномоченным от армии Власова при казачьих частях и не снимал эмблему власовской армии — щит на рукаве с буквами РОА — Русская Освободительная Армия. В этой форме он оказался после нескольких побегов из немецкого плена, после жесточайших пыток, которые последовали в наказание за побеги. Простояв несколько суток в ледяной проточной воде, он вступил в РОА, но, будучи природным казаком, в казачьи части не вступил, отвращаемый их эмигрантским руководством с его утопическими идеями об особом государстве казаков. Однако путь на советскую родину был закрыт при всех обстоятельствах. При посадке в автобусы, прощаясь с Юрой, я заметила, что мундир сидит на нем как-то особенно гладко и тесно. Мое восхищение такой выправкой он отвлек книжечкой стихов Гумилева, которую брал с собою в карман. Как позднее выяснилось, имея опыт побегов, он поддел под мундир лыжный костюм.

Муж мой, пришедший ко мне в Италию почти пешком из Берлина, через всю Европу, стоит теперь один у заднего борта машины. Я увижусь с ним через одиннадцать с половиной лет…

Тронулись. Изо всех рекомендованных принадлежностей туалета он положил в карман только пачечку лезвий для безопасной бритвы. И на глазах провожающих тоскливыми сухими глазами — не плакать! Не плакать! — жен, матерей, сестер и детей из переулочков между отходящими автобусами въезжают броневики. До вечера мы могли еще думать: ах, не будет же в английском концлагере так уж плохо!

Но вернувшись в нашу комнатку с каменным полом, я дала волю слезам. Это были последние мои слезы. При всех дальнейших испытаниях глаза мои были сухи. Позднее, уже в советском лагере, старенький доктор наш спросил меня:

— Сестрица, а вы когда-нибудь… ну вот, как обычно бывает у женщин, плакали?

Плакало где-то там внутри. И до сегодня плачет.

В день моих последних слез я, до того дня хрупкая, эгоистичная и изнеженная женщина, дала себе слово разделить судьбу мужа и тех, с кем его увезли, для кого мы последнее время работали, делая газеты, кого стыдились порою за мародерство: казачество.

Вечером семьям уехавших объявили: послать вслед теплую

одежду, так как офицеров отправляют в СССР. Конечно, никакой посланной нами теплой одежды они никогда не получили. Наивная жена генерала Н. Н. Краснова отправила с «теплым» даже какую-то семейную реликвию — иконку.

Кажется, на следующее утро я отправилась в резиденцию майора по фамилии Дэвис, ведавшего делами собранных на этой территории русских. Он сидел с переводчицей, из наших же дам, в маленькой комнатке гостиницы, напротив двери, где жил с женой увезенный Юрий Гаркуша. Я потребовала от Дэвиса соединения с мужем, я говорила, что я тоже офицер-журналист, случайно не получившая военной формы. Я кричала о немедленной отправке в Шпиталь, куда, как мы уже знали, прибыл офицерский состав. Я путала английские и немецкие слова, не могла от волнения понять его речь. Он сказал переводчице: «Почему эта леди так взволнована? Сэр Черчиль обещал сэру Сталину передать на Родину русских, но взял гарантию, что им ничего смертельного не грозит: они будут работать на фермах некоторое время…» «Скажите ему, — закричала я, — объясните ему, что такое «фермы» сэра Сталина». И тогда переводчица, крайне взволнованная, сказала мне тихо, что нас всех, до последнего ребенка, на днях будут передавать Советскому Союзу. (В эти дни мы не произносили слова Россия, это была Родина, а речь шла о «Совьет Юнионе»). Майор любезно предложил, если мне понадобится, перевезти меня из города в своем джипе в «станицы» за городом, в Пеггец.

Напротив, в коридоре на двери еще висела карточка с фамилией Юры. У него осталась жена. Я постучалась к ней. За дверью — шорох, шаги, возглас Катюши: «Одну минуточку», — и она открывает мне, крайне смущенная и растерянная, что меня никак не удивило: все мы были в полубезумии. На столе — остатки завтрака. Катюша, давясь, что-то глотает. «Что делать? — спрашиваю. — Ты знаешь, нас тоже передают…». В беглом разговоре вдруг говорит Катюша: «Надо подождать и не стремиться в «станицы», по-моему… У меня такое чувство, что Юра вернется…». И руки ее дрожат. Только моя собственная крайняя взволнованность не позволила мне сделать вывод из этой, как бы беглой, реплики. «Многие еще могут вернуться, — говорит Катюша.

— Не стоит спешить на соединение с «ордою».

Я ушла.

Нет, уж коли дорогой мне человек с «ордою», и я должна быть с нею, укрывавшей меня так долго оттого, что давно случилось бы со мной на, так называемой, родине.

Я путаю теперь последовательность событий. Помню, когда

пришли в Лиенц, была наша Пасха, в костеле шли православные службы. «Христос воскресе» звучал, как реквием, все рыдали. Но в то утро, когда я вышла от Катюши, я увидела еще одну процессию. У австрийцев в тот день был Праздник Тела Господня. [5] По узким улицам между прелестными домиками, увитыми цветущими маленькими розами, двигалась нарядная процессия со статуей коронованной Богоматери под балдахином, с группой мальчиков с колокольчиками, девушек в вуалях и с белыми лилиями в руках. Одетое в белый шелк духовенство… Пение клира, весь мирно-торжественный строй благостной процессии жителей городка в национальных костюмах, внутренняя праздничная сосредоточенность участников — так и ударили контрастом с переживаемой нами трагедией. Эти люди имели родину, в которой что-то сохранилось от века, для них окончилась война, вокруг цвела и дышала природа, осененная синеватыми силуэтами гор; небо солнечным теплом укрывало воцарившийся мир… А у нас?.. Все народное, исконное было попрано и фальсифицировано, церковь — сердце народа — поругана и упразднена; жадные, озверелые люди в извечной советской нищете и «недостатках» жили интересами животными, что показало поведение наших казаков в Италии. Алчная большевистская элита после победы воцарится в худшем своем варианте с самой острой в мире социальной несправедливостью… И у них было: и Мюнхен, и имперская канцелярия, и Освенцим, но жил народ, мощный, дружный, единый. И туда, на эту больную родину, где нас ждут или расстрел или репрессии, уже увезли моего «марито»[6], туда поэтому рвусь я, отвергая все варианты собственного спасения. И где сейчас он, единственно близкий на свете, рядом с которым ничего не страшно?! Быть может, его уже нет на земле! Зачем же тогда мои метания?..

И прислонившись в тесноте улицы к заборчику, над которым склонялись кисти сирени, я прямо на улице протянула к Мадонне руки: «Спаси! Спаси!» — и упала на колени, дрожа и задыхаясь.

«Руссин! Руссин!» — зашептались вокруг: в городе уже знали о нашей трагедии, ничего в ней, впрочем, не понимая, как и все люди во всех государствах не понимали. Кто-то щупал пульс, из калитки вынесли валерьянку. Извинившись перед добрыми людьми, я оправилась и поплелась в свою гостиницу.

Растерянность среди нас была велика. Никто ничего не знал. Мудрые эмигранты, то пытались отмежеваться от казачества, то, наоборот, уезжали в «станицу» в надежде, что офицерскими кадрами репатриация ограничится, а «рабочую силу» — простых людей — союзники оставят себе. Как всегда, при отсутствии информации, множились слухи. То будто нас под защиту взял

папа римский, то еще кто-то. Было и смешное: как-то в разговоре с нашими дамами я иронично сказала, что нас возьмет под защиту разве только абиссинский негус. Моя горькая шутка вернулась ко мне. Через час ворвалась ко мне сияющая Валечка-курица и с ликованием закричала дискантом: «Мы спасены! Нас берет под защиту абиссинский негус!»

Я путаю последовательность событий. Мой дневник с датами отобрали в ПФЛ. Помнится, мы с профессоршей из Ростова М. П. П. пробовали прорваться в Шпиталь. Машина принадлежала Коле Давиденкову, похищенная им в пылу отступления. Шофер — его ординарец, из уголовников — Сашка. Почему-то машину англичане еще не отобрали. У профессорши было золото. «Мы их увидим, своих мужей», — уверяла она. На перекрестках дорог стояли патрули в хаки и беретах. Кольцо — и машину пропустили.

Черным флером были для нас подернуты сказочно прекрасные пейзажи Тироля. Близ Шпиталя — Сашка туда уже кого-то возил — на мосту машину снова остановил патруль. На английском волапюке мы объясняем, что мы женщины-офицеры и едем в Шпиталь добровольно сдаться. Солдат потребовал документы, ему протянули кольцо, он колечко взял, хладнокровно взвесил его в руке, положил в карман и сказал: «Ноу!».

Занервничал наш шофер: могли отобрать машину, которую они с Колей какими-то хитростями утаили от англичан. И стоя в задке отъезжающей машины, Марина Петровна крикнула солдатам в хаки тогда поразившие меня в устах интеллигентной женщины словеса: «У-у, с-суки!» и другие непечатные. Это был лагерный, еще не известный мне тогда жаргон: она, как говорили в просторечье, «сидела». (И понятно, почему оказалась с немцами в «отступе»). Потом я потеряла ее из виду. Но когда поголовная наша выдача стала уже не секретом, мы с нею, двумя профессорами и актером решили снова пойти в комендатуру говорить о наших судьбах. Комендант, ведающий репатриацией (покамест добровольной), выслушал нас с предельным равнодушием и сказал нечто вроде: «Вы с ними спали? (Имея ввиду нас, жен!). Значит, подлежите насильственной выдаче». По выходе Мария Петровна на аханья наши ответила: «Что же вы хотите, ведь он — еврей!» Она оказалась права.

А на площади перед комендатурой стояли стада советских граждан, «добровольно» репатриирующихся на Родину. Пока мы ждали приема, разговаривали со многими, примкнувшими к казачеству со всех уголков Германии в конце войны. Они ждали регистрации на «добровольную» репатриацию. «Что делать, —

сказали мне в группе миловидных интеллигентного типа девушек, — страшно ехать, а куда денешься?» Это были «остовки», угнанные немцами на работы в Германию и блуждавшие по ней уже несколько недель, спасаясь от бомбежек и голода.

— А вам чего же бояться? — спросила я, обрисовав собственное положение.

— Вот вы — власовка, оказывается, а нам вы теперь ближе своих, — говорили девушки. — Что с нами немцы делали, должны вы сами знать. Но мы к Власову не соглашались. Как мы тогда часа победы ждали! Уже стрельба близко… Стал завод, немцы поразбежались… Мы по дороге пошли с цветами и песнями наших встречать. Освободителей. А они… танки заворачивали, да прямо на нас: кого подавили, кого покалечили. «Суки, немецкие подстилки», — кричали. И тогда мы из зоны советской оккупации побежали и сюда с английскими попутками добрались. А уж в России что нас ждет! Господи!

К этому диалогу прислушался молодой парень рабочего вида и тоже рассказал, что они, 2 тысячи «остовцев», жили при заводе в бараках. Завод был особо строгого режима. «Освободители» врывались в бараки, избивали рабочих, «ногами нас били, топтали», плевали в лицо «немецким прислужникам». И парень с той территории бежал и сейчас колеблется, куда податься? Регистрироваться на репатриацию или еще куда тикать. (Позднее, уже в Сибири, возчик Анкушев мне доверительно рассказал, что, занимая Украину, наши солдаты сбрасывали в колодцы грудных детей, почитая их «от немцев или полицаев»).

— Все равно нас всех переловят, языков мы не знаем, пить-есть надо, — заключил парень свои сомнения. — Верно говорили нам власовцы, правду! А мы-то не верили, думали; немецкая пропаганда. Думали, Родина нас ждет, слова против нее сказать боялись, вот они нам и показали правду! А на Родине то ли еще будет! — злобно закончил он.

И было!.. Об этом я рассказываю в особой главе этого романа.

В казачьем стане хочу коснуться еще двух судеб. Среди наиболее убежденных противников советской власти, не приемлющих никакого социализма, был наш приятель, казак кубанской станицы Николаевской Михаил Земцов. Его семья в период коллективизации не оказалась кулацкой, но вымерла от организованного на Кубани голода в 1930 году. Горячий, темпераментный мальчишка-комсомолец, Михаил тоже не миновал лагерей: имел несчастье в период всех казачьих невзгод написать самому Сталину не только правду о раскулачивании, но и дать советы, как можно без репрессий втянуть в строительство

социализма всю казацкую массу… Пока сидел — семья начисто от голода вымерла, а он в лагерях прозрел. Отсидев, он ехал на безмерно любимую Кубань, работал на стройке Невинномысского канала. Просил начальников перед оккупацией: «Я ж в заключении был. Мне остаться на оккупированной территории нельзя: потом виселица мне!» — «Уж тебя-то, Миша, мы увезем», — обещали. И бросили, конечно. Ну он тогда все им вспомнил! Добрый и гуманный по натуре, кое-кому не дал спуска и ушел с немцами. Крестьянин по крови, с унынием глядел на поля весною: «Эх, сейчас бы попахался я!». Городскую культуру презирал. Париж показался ему мерзким. В антропологическом музее, глядя на зародышей в спирту, сказал брезгливо: «Когда будем у власти, такие музеи надо запретить». Жестокости не позволял: «А зачем?» Этот своеобразный, самобытный, очень много перестрадавший человек примкнул к группе пропаганды, организовывал казачью прессу, писал талантливые очерки о судьбах казачества и успел выпустить книгу «Слышишь, Кубань!», которая своей безыскусственной правдой потрясала. Теперь в «станицах» осталась его молоденькая жена Маруся с ребенком.

Вторая судьба — Коли Давиденкова. Сын крупнейшего нейрохирурга, друга И. П. Павлова, студентом он был арестован по обвинению в попытке… взорвать Исаакиевский собор. Среди его однодельцев был Лев Гумилев, нынешний крупнейший археолог и историк. Это, видимо, была группа талантливейших студентов, которым позавидовали и оговорили. Гумилева уже отправили в лагерь, Коля еще был в тюрьме, когда вместо Ежова воцарился Берия и очистил тюрьмы от «ежовского набора» для того, чтобы наполнять их своим. Так, объяснил Николай, он избежал лагерей. Затем плен или прямой переход линии фронта. Ненависть к советской системе привела его сперва в РОА, а после взятия Парижа (где, по рассказу Лидии Чуковской[7], он участвовал в сопротивлении), осудив власовскую армию, как просоветскую, примкнул к красновским казакам (предки — казаки, как и у меня). Должна сказать, что столь талантливых людей видела немного. Поэт и беллетрист, неплохой публицист, безусловно одареннейший актер, он был очень образован, знал европейские языки, как русский (даже с диалектами). Подобных ему Россия могла бы использовать разумнее. В Лиенце он ушел в горы (видимо, с опозданием: его очень связывала жена[8] «на сносях»), но все-таки попал в руки англичан, оказался однодельцем моего мужа (судили сразу группу работников пропаганды, в ней был и Земцов), получил 10 лет. В то время это была «полная катушка». И мог бы сейчас чаевничать с Гумилевым, но в советском лагере он трагически продолжал антисоветскую

работу, слушал международное радио, писал листовки (это в лагере-то!) и после вторичного суда был расстрелян вместе с Земцовым, у которого в деле нашли «отягчающие вину» обстоятельства.

Так губила Советская Россия своих талантливых детей, фабрикуя из них собственных врагов.

Но вернусь к дням нашей репатриации.

Накануне моего переезда из города в «станицы», когда за мной должен был прибыть джип майора Девиса, в дверь моей комнаты в сумерки постучали. Думала: за мной, на джипе, но в комнату шагнул, зажав ладонью мой вскрик, Юра Гаркуша с Катюшей. Юра был в лыжном костюме. Оказалось он бежал из Шпиталя и, когда я заходила к Катюше, смельчак под самым носом Девиса провел уже несколько часов в гостинице, прячась в шкафу, если кто-нибудь входил.

— Мы уходим сейчас в горы. Хотите с нами? Проживем! Наймемся косцами к немцам…

Но я уже дала себе слово разделить судьбу казачества. В Шпитале теперь никого нет, сказал Юра. Он бежал в день репатриации, коли моему мужу удалось такое же, он бы уже дал мне знать. Техника Юриного побега была такая: в лагере Шпиталя, как во всех немецких, «остовских» и военнопленных лагерях между рядами двухэтажных коек, стояли узкие деревянные шкафы. Когда офицерам, вместо конференции, объявили о передаче в СССР, начались самоубийства, физическое сопротивление. Мебель падала с грохотом. Собак англичане не имели. Юрий забрался в шкаф и повалил его с собою вниз дверцами. Шкаф валялся на полу до тех пор, пока не опустели бараки. Ночью, сбросив мундир, под которым был лыжный костюм, он выполз из шкафа, по-пластунски пересек опустевший плац. К счастью, ток из колючей проволоки уже выключили, подкапываться не пришлось. Минута — и по дороге зашагал парень в лыжном костюме, просто усталый австрийский арбайтер или крестьянин. Ночью он проскользнул в свою комнату в гостинице, чтобы забрать с собою Катюшу.

И вот, ловкий, владевший языком, «как Бог», Давиденков был схвачен. Голос же Юрия мы с мужем, спустя почти 20 лет, в хрущевские времена, услышали по международному радио. Он выражал удовлетворение, что его Родина (он так и сказал) «выздоравливает», что наступает «оттепель». И в его словах, в чем-то неуловимом, почудилась мне лютая тоска по России.

Были у меня возможности спастись, были! И с Юрой уйти, и с эмигрантами остаться, и еще муж мог бы уйти в Швейцарию, как еще в Германии предлагал ему бывший белый генерал Науменко.

Не приди он ко мне в Италию, я осталась бы там, как многие наши приятели, живущие теперь кто в Вашингтоне, кто в Канаде, кто в Австралии. Но уже было поздно. Я ехала в джипе майора навстречу своему «декабристскому подвигу», к тому своему народу, который недавно еще называла «ордою».

В «станицах» решили сопротивляться репатриации, даже и безоружно. Юра рассказывал мне, что сопротивляющихся офицеров просто раскачивали за руки и за ноги и бросали в «камионы». Одного из них «подсадили» в машину штыком. Но у нас теплилась надежда, что наше сопротивление, если не поможет нам, то покажет Западу, как массы людей боятся своей Родины. Почему? Многие спрашивали: почему мы так опасаемся репатриации? Ведь война — «капут»! «Для Европы Россия — недоумение, и всякое действие ее — недоумение, и так будет до самого конца», — припоминались слова Достоевского. Россия тех лет от своей прежней сути оставила только одно — вызвать недоумение Европы.

А в Италии, как мне рассказал позднее один из репатриированных оттуда музыкантов, происходило вот что.

Оставшихся там «русских», то есть интеллигентов, остовцев[9] собрали в один большой репатриационный лагерь. Им, как и нам, ничего не объявляли о дальнейшей судьбе. Затем всех погрузили на пароходы и повезли, куда — никто не знал. Но где-то по выходе из порта на пароходах (не знаю, сколько их было) подняли красные советские флаги. И. тогда начался кошмар, как рассказывал музыкант. Люди стали бросаться за борт, перерезать горла, команда едва успевала спасать самоубийц. Пароходы прекратили движение, вернулись в порт и снова высадили репатриантов в тот же лагерь. Туда в изобилии стали прибывать советские пропагандисты. Со слезами на глазах (я это подчеркиваю) уверяли, что репатриированным ничего на родине не грозит, что «война все списала», коли кто в чем виноват. Читали письма, якобы написанные уже вернувшимися на родину, где говорилось о том же. (Позднее, в дни нашей репатриации из Австрии, советский лейтенант и меня уверял, что в СССР «уже совершенно нет НКВД» с его репрессиями). Группа джазистов, в которой был мой рассказчик-пианист, поверила «настоящим слезам» подлых обманщиков и выразила желание репатриироваться. Все они были только музыканты. Чего же опасаться, казалось? Их с другими, такими же доверчивыми, торжественно усадили в увитые гирляндами и лозунгами вагоны, провезли в них недолго, затем к дверям вагонов вплотную подрулили самолеты, и… люди были высажены в Сибирском ПФЛ. После допросов с побоями и матюгами музыкантов

выпустили на спецпоселение — род высылки — и принудили работать в шахте. Пианист потерял в шахте палец. Я встретила его в Кемеровском музыкальном училище, где до ареста в 1946 году работала секретарем. Он был на грани самоубийства. Выезд из Кемерова для спецпоселенцев был закрыт.

Но все это узналось позднее, а пока джип Дэвиса вез меня в «станицы», к моим братьям по несчастью, к той части моего народа, которая отказалась от репатриации.

В «станицах» висели черные флаги. Майор любезно — европеец! — помог русской «леди» выйти из машины, его шофер отнес мои вещи в забитые людьми бараки. На завтра назначена была репатриация многих тысяч рядовых казаков — из «станицы» и расположенных вокруг полков. Но решено было оказать сопротивление, насколько оно было возможно безоружным людям. Казалось, что такое массовое многотысячное сопротивление — может быть, и не бескровное — либо поможет нам остаться за рубежом, либо продемонстрирует миру качества советской родины, от которой отрекаются массы.

В «станицах» было беспокойнее, чем в городе. Уже множилась брань «простых казаков» по адресу увезенных офицеров: «Вот куда завели, сволочи!». Уже сверкали интонации привитой советами «классовой ненависти» к интеллигенции и «барам». Звучали просоветские ноты: «Не так уж плохо нам при советах было — приспосабливались и жили себе! А сколько настроили!» Это были отдельные выкрики «наживающих политический капитал» для будущего следствия в СССР. В полки уже проникли советские агитаторы, обещавшие всем «прощение Родины». Множились случаи драк между призывающими к сопротивлению и верящими в прощение.

Узнав, что в лагерь прибыла журналистка, сотрудница самой авторитетной казачьей газеты, новый атаман и интеллигентные офицерши, ставшие над этой обезглавленной и совершенно растерянной массой, попросили меня пойти с ними «в полки», агитировать солдат за самое активное сопротивление и разъяснить его смысл.

Не знаю, какой огонь меня жег, когда я говорила казакам-солдатам, смотревшим глазами сумрачными, в предчувствии беды. Не скрывала, что наше сопротивление, не просто шанс на спасение, но последняя наша политическая акция неприятия большевизма перед лицом простодушной и недальновидной Европы. Что они не банда — на это обрекли их недоброй памяти немцы, а политическое войско — ядро той гражданской войны со сталинским режимом, которая могла бы возгореться при ином повороте событий, и что им надо до конца выдержать свою

политическую роль. Я объясняла, как лживы заверения о нашем прощении; после войны и победы мы уже не «братья и сестры» Сталину, и нас ждет в СССР самая жестокая расправа. Что объявление всех нас поголовно «преступниками войны» — ложь, которой сталинизм прикрывает свою неловкость перед союзниками за такое количество врагов его режима. Неужели же стадом покорным мы добровольно пойдем на советскую бойню? Помните, говорила я, вы брали оружие не за великую Германию сражаться, но ожидать часа повернуть это оружие против произвола партии, которая смеет называть себя коммунистической. Я призывала солдат не препятствовать тем, кто хочет добровольно уехать. Они — агенты сталинского беззакония. (И, правда, агентов среди нас было немало: на следствии, допрашивающий меня следователь, был хорошо, и отчасти сочувственно, осведомлен о том, что у нас происходило. Он даже сказал: «Я все понимаю. Все! Только вы у меня на допросе, а я…» — он показал мне полученные в награду за разведку золотые именные часы). Помните, заключила я свое обращение, мы — не бандиты и преступники войны, а политическая армия, потерпевшая поражение. Будем сопротивляться, как подобает воинам!

Меня слушали сотни. Я видела сотни хмурых и мужественных, испуганных и хитроватых лиц. На меня смотрели. Я себя называла. Меня запомнили. Но год спустя, при следствии в СССР по моему делу, не было ни одного свидетельства об этом моем единственном публичном выступлении за рубежом, ни один из моих тогдашних слушателей не сказал обо мне ни слова. Это облегчило мне приговор лишь на 7 лет срока. И только в заключении то один, то другой из казаков-зеков в минуты удобные говорили: «А я вас помню, сестрица (в лагерях я работала сестрою), как вы в полках нам говорили. Истинную правду говорили!» И, мало того, в советских лагерях с преобладанием казаков я все время чувствовала себя под их защитой. Однажды по лагучастку распространился ложный слух, что меня изнасиловали. Пришел бригадир из наших и сказал, если это правда, чтоб я не стыдилась. «Ты, сестрица, нам только скажи: кто?!» Я уверила его, что от них самую горькую истину скрывать не стала бы, потому что они мне братья. Да, с этого дня, когда я, высокомерная интеллектуалка, приехала к своему грешному народу, они мне стали братья. Но все это — годы спустя. А тогда, глядя на эти мужественно-суровые лица, я понимала, что среди них есть и те, озверелые, кто принимал участие в кровавых делах против евреев, кто мстил, кто мародерствовал, кто попал в эти ряды ради интересов желудка,

но душою сливалась с ними, готовая и на совместную смерть и жизнь. Это был мой народ со всеми его светлыми и темными качествами.

4. «ТАЙНА» НАШЕЙ РЕПАТРИАЦИИ [10]

«…Если ж дров в печи
плавильной мало,
Господи! Вот плоть моя!»

М. Волошин

Программа сопротивления была не сложна и наивна. Всем без исключения: солдатам, и «куркулям», и женщинам со всеми детьми следовало образовать вокруг аналоев с иконами, вокруг священников, начавших молебен о спасении, плотный массив и противостоять даже выстрелам, драться с англичанами врукопашную, поднимая им навстречу иконы и детей. Почему-то у простых людей была вера: молящихся нас не посмеют взять насилием. Мы все еще были в иллюзии «свободного мира», в котором религия уважаема. Стемнело. Благоразумные стали пробираться из «станицы» в горы (их и там позднее похватали в большинстве). Горы начинались лесочком, за Дравой. Ушли последние мои друзья-спутники Каргины, оставив мне ватное одеяло, верно послужившее мне потом в лагерях, когда нары покрывались изморозью. Жена Михаила Земцова ломала руки: «Они ж меня дитем будут пытать, чтоб я о Михаиле им все рассказала!»

С первым движением рассвета, 1-го июня, мы все вышли на огромный плац перед бараками. От бараков через мутную и бурно бегущую Драву (на горной реке в жаркие дни начался паводок) проложен был деревянный мост, а на другом берегу, в реденьком лесочке, виднелись брички и привязанные кони, хозяева которых тоже ушли на плац. Взяли с собой еду и пеленки — сопротивление мыслилось долгим. Религиозный экстаз был велик. Всю ночь священники исповедовали желающих.

На рассвете с началом молебна многотысячная толпа опустилась на колени. Вдали на возвышении стоял ведающий репатриацией майор Дэвис и наш новый молоденький атаман. О форме нашего сопротивления майор был предупрежден. В середине безмерной толпы блистал лес хоругвей. Женщины, дети и штатские были в середине. Их окружал массив безоружных солдат, строем прибывших «из полков». Они готовы были принять первый удар насилия.

Толпу молящихся качнуло. В середину доползли шепоты: нас окружают танки. В ясном утреннем воздухе слышалось какое-то металлическое клацанье и могучие раскаты хора: «Спаси,

Господи, люди твоя…» Толпа притаила дыхание. Молчали дети, которым передался ужас матерей. (Я приметила тогда и прежде, еще в Москве при бомбежке, что в минуты крайней опасности грудные дети не кричат). От шоссе послышался шум автомоторов. «Машины за нами», — прошелестело в толпе. Редкие выстрелы, автоматные очереди. То ли кто из притаивших оружие нарушил ранее данный запрет (сопротивляться только безоруженными), то ли солдаты противника не удержались. Выстрелов было мало: рядом был город Лиенц. Монастырь. Подлые дела следовало делать с меньшим количеством шума.

Толпу стало раскачивать: люди не размыкали сцепленных от одного к другому рук. Раздались одинокие крики, звуки глухих ударов: «Убивают!». Толпа сжималась. Дышать становилось нечем. Дети закричали. Их на вытянутых руках поднимают над «Ходынкой». Дети постарше, сидящие на плечах взрослых, рассказывают, что делается на периферии толпы: «Хватают… Бросают в машины лежмя… Бьют палками… (это были резиновые дубинки). Уже мертвые на поле лежат…». А танки все туже сжимали толпу. Вслед за духовенством запели все — несколько тысяч. На колени стать уже было невозможно.

Затрещали падающие аналои. К периферии толпы, навстречу танкам, стали пробиваться священники, поднимая перед собою кресты. Где-то хор запел: «Со святыми упокой!». Шелест во все сжимавшейся толпе: «Это нас отпевают!». А потом: «Атаман приказал: женщины с детьми пусть идут по баракам». Пробираются, заплаканные, дрожащие…

Сразу поредела толпа, и стало видно, как рассыпался плотно стоявший лес хоругвей, упавшие на землю иконы с разбившимися стеклами, а в «просеки» на периферии — кольцо окруживших нас плотной стеною солдат в хаки и беретах, вооруженных резиновыми дубинками и просто поясными ремнями, пряжками которых они били наших по головам. Видно было, как сновали по полю солдаты в хаки и беретах с носилками: трупы мешали дальнейшему избиению. Я пробралась среди поредевшей толпы уже к полудню и окинула глазами плац. Солдаты в хаки бродили по краю толпы, как волки[11]. Зубы оскалив, с кряканьем били и хватали, ловили и били. Запомнилась навеки фигурка казака с хоругвью. Он поднял ее, как меч, чтобы ударить противника, но, по-волчьи оскалясь, солдат в хаки рубанул хоругвеносца дубинкой (лицо этого солдата я узнала бы из тысячи и теперь), и тот медленно падал, и вся голова его была обагрена живой липкой кровью. Я успела подумать, что такою же написана кровь у Репина в «Иване Грозном».

Мне все же «повезло»: за 4 года войны я впервые увидела

«большую кровь». Я уже прекрасно понимала: при наступившем мире я снова отправляюсь в родную страну, где массовое убийство, то есть внутренняя война правящей партии со всем народом будет и будет продолжаться — тайная, скрытая, спрятанная под лживыми лозунгами дивной силы и красоты, лозунгами тех идеалов, за которые веками гибли чистые люди. Война, где убивают иначе, способом долгим, не только тела, но и души, что, конечно, страшнее умирания физического. Мне предстоит быть жертвой этой войны, но ни одной мысли о личном спасении все не возникало. А возможности такие еще представлялись.

Я побежала дальше, к Драве. Там на мосту толпились люди в хаки, некоторые почему-то, скинув сапоги, бросались в реку. Подошла поближе. Господи! Река буквально кипела от всплесков, криков, вздымающихся рук, крутящихся в пенных водоворотах тел и голов, быстрым течением уносимых вниз[12]. Это были казаки, Хаки пропустили их к реке, полагая, что они идут к своим коням. Солдат в зеленом, ударив англичанина в пах, сбросил его с моста, и, став на перила, прыгнул вниз головой в пенистый поток. На моих глазах бросился с моста целый комок сплетшихся тел. Это семья, опутав вожжами себя и детей, бросилась в реку.

А за рекой не менее ужасное. Там — опушка зеленого массива, спускавшегося с горных склонов. «Какие странные узловатые деревья», — подумала я при беглом взгляде; стволы были точно двойные, неровные будто. Но, присмотревшись, оледенела: это были повесившиеся на ветвях люди, висевшие параллельно стволам, кто-то еще корчился. Вешались на вожжах. Лошади, отвязанные, со ржанием мечутся среди редколесья. Фигуры ящеричного цвета в английской форме перерезают веревки повесившихся. По мосту, по берегу уже снуют пары наших врагов с носилками.

Ужаснувшись картине этого массового самоубийства и по привычке историка сопоставив его с самосожжением раскольников (вот он, русский характер»), я снова оборачиваюсь к плацу. На нем уже не столь большая, в сравнении с первыми часами репатриации, толпа плотно сомкнувшихся людей в зеленом. Люди в желтоватом хаки отрывают от этой толпы сопротивляющиеся «куски», дробя головы дубинками, выворачивая суставы рук сцепившихся в одну массу людей. Полная тишина на плаце — ведь недалеко от города, Европа ничего не должна знать. Только хруст костей, редкие вскрики, шум реки.

Позднее выловленные в горах репатриируемые рассказывали, что, блуждая в лесу, они также видели на деревьях много

повесившихся в безысходности.

Я направляю шаги к возвышенности, на которой стоят английский майор со своими хаки и наш атаман-юнкерок. Повсюду по полю снуют пары солдат — «санитаров» с носилками. На них — трупы. Мелькнула на носилках неподвижная фигура священника в облачении. Еще один на земле поодаль. В его вытянутых перед собою руках намертво зажат крест. Пробегаю мимо каких-то с краю стоящих бараков, они набиты трупами, которые подносят «санитары». Из массы торчит мертвая женская нога в туфельке. Но вот одна из санитарных пар в хаки, прошедших мимо меня, — не изменяет ли мне слух? — переговаривается между собой на русском языке. «Показалось», — думаю я покамест. Повсюду разбросаны иконы, разбитые аналои, растерзанные хоругви и мертвые. Раненых не видно. Подбирали ли их быстро или действовали сразу насмерть? За убегающими к воротам этой зоны, где стоят отъезжающие с людьми «камионы», охотятся люди в хаки, хватают, бьют пряжками поясов по глазам, волокут к «камионам».

С возвышения, где стоят наблюдающие за «акцией» майор и его сподвижники, ко мне спускается наш молоденький атаман. «Люди вас знают в лицо, — говорит он мне, — идите к ним (он показывает в сторону тех, кто продолжает сопротивление), скажите от моего имени и своего имени (горько усмехается) — сопротивление бесполезно уже. Майор (он называет фамилию) плачет (поднимаю глаза — майор, действительно, плачет, плечи трясутся), но говорит, что он «обязан нас всех до единого отдать, даже трупы по счету. Пусть люди спасаются, кто как может». Я с ненавистью смотрю в залитое настоящими (!) слезами лицо майора, а атаман быстрым шепотом добавляет: «Репатриируют нас жиды!»

С белым платком в высоко поднятой руке, подбежала к уменьшившейся до нескольких сотен толпе наших солдат, передаю приказ атамана, и людской комок начинает распадаться. Боковым зрением вижу, как от ворот отъезжают уже набитые закрытые машины, у откинутого заднего борта бледные окровавленные лица. К открытым воротам мимо меня пробегает группа наших пропагандистов. Они машут мне: с нами, с нами! Но я медленно иду по направлению к баракам. Там все опрокинуто, разбросаны кем-то обшаренные чемоданы, лениво среди плачущих женщин слоняются ящеричные хаки, отработавшие на плацу. К вечеру группу врачей и эмигрантских дам выпускают из лагеря, позволив уйти под защиту Красного Креста в ближайший госпиталь. За мной присылает врач-земляк Шульц, но я уже не могу уйти — теперь это значит, предать и

моего мужа, и все наше дело. Я еще надеюсь на какой-то главный суд над нами в СССР. Доктор Шульц остался в Америке.

Мы радовались, когда увидели, что все долгие часы нашей репатриации (организованное сопротивление прекратилось далеко за полдень) над плацем, где происходила эта бесчеловечная «акция», летал самолет-наблюдатель, в просторечии называемый «рамой». Снимают! Наше сопротивление снимают! Но, если нас, действительно, снимали на пленку, едва ли сэр Черчиль просмотрел эту пленку. Видимо, она доставила удовольствие другому «сэру» — Сталину[13].

Конечно, акцией выдачи политических эмигрантов Союзу руководили англичане, на чьей территории мы оказались, и чей «сэр» обещал наши тела, даже в трупах по счету, нашему «сэру» еще на Ялтинской конференции. Но, безусловно, именно советская сторона разработала привычно-бесчеловечнейший способ репатриации, безразборной, кто есть кто, в торопливости чрезвычайной, пока союзники ничего еще не могли во всей этой «каше» понять. В Италии англичане кое-что поняли и завернули пароходы с подобными нам обратно. В Австрии торопились.

Не знаю, как для власовцев, но для казаков из Италии и Балкан к акту репатриации были привлечены еврейские интернациональные антифашистские части, где были собраны евреи из многих стран, в том числе и советской, о чем свидетельствовала неоднократно услышанная мною русская речь среди облаченных в английские хаки солдат.

Для этих частей акт репатриации людей, «сотрудничавших с фашистами», был актом, прежде всего, возмездия. Отсюда такая жестокость репатриации из Австрии, бескомпромиссность ее. Отсюда и зверства солдат в хаки, и угрюмое замечание коменданта: «Вы спали с ними?» Отсюда и препятствия к побегам из «станиц», прочесывание лесов, сосчитывание даже трупов. Если «рама» и сделала снимки нашего сопротивления, то лишь для того, чтобы доказать усердие репатриирующих. Вероятно, кто-то получил за это ордена. Не случайно, позднее, в советских ПФЛ казаки говорили начальникам, что, если будет война с англичанами, они в ней были бы воинами беспощадными. Это, конечно, был акт величайшего предательства. И только недавно, после книги Толстого, об этом заговорили, но снова умолкли, так и не выяснив, кто истинный виновник выдачи политических эмигрантов. Иегова тогда собрал хорошую жатву и, мстительный, довольно потирал руки. А наша религиозно-фанатическая демонстрация, очевидно, только усугубила ожесточение одетых в хаки «англичан». И глядя на «раму», и молясь, и ужасаясь, и отпевая себя в заупокойной молитве, мы-то, наивные, думали, что

демонстрируем перед английскими солдатами истинное лицо сталинского государства, от которого с таким фанатическим упорством отрекаются массы людей.

Акт мести и беззакония закончился после полудня. А начали с июньским рассветом.

Ночью с 1-го на 2-е июня, когда я сидела в уже опустевшей барачной комнате, ко мне заглянул солдат в хаки. Я не очень сразу «усекла», почему он говорит по-немецки так странно (это был идиш), но долго «агитировала» его против сталинизма. А он признался, что, работая в авиации, много раз бомбил города, но сегодня ужаснулся впервые: перед ним лицом к лицу были женщины и дети. И почему, спрашивал этот иностранный еврей, среди «преступников войны» так много и «баб», и «дам», и детей? Почему?

Ночной солдат сказал мне, усмехаясь, что жители Лиенца вечером отказывались их обслуживать в ресторанчиках и магазинах, объясняя: «Вы стреляли в крест!» По слухам, вечером же к проволоке, огораживающей лагерь, пробирались жители города и предлагали помочь в побегах из этой ловушки.

Солдат ушел. Уничтожая «лишние» бумаги, я задумываюсь над наброском своего стихотворения, сделанного еще в Италии:

Мы святыни свои расхитили.
Отчий дом покинув, ушли.
Вечно ль будем искать обители,
Тихой пристани, новой земли?

— и дописала к нему концовку, возникшую сейчас:

Оправдает ли наше смятенье
Пред далекими внуками нас?
Сохранят ли потомки трезвые
Страшный о нас рассказ?

И разорвала стихотворение в клочки. Сложные мысли владеют мною. Я иду на крест и будто подвожу какие-то итоги. Близкие мне люди, у которых «стереотип» не разрушен, не подадут мне руки на Родине. Размышляя о словах солдата-иностранца: «Почему, ну почему эти люди так боятся возвращения на Родину?» — я в сотый раз задумалась, кто же мы в самом деле? Подлые, наблудившие трусы, убегающие от репрессий? Но эмиграция существует со времени Курбского, Ник. Тургенева, Герцена и Ленина. Пораженцы? Но ведь и большевики были пораженцами, и неправомерно наш протест против антинародной государственной системы называть «изменой Родине». Я вглядываюсь в Победу и ужасаюсь, ей радоваться преступно: большевизм (почему-то никто не называет его фашизмом) победил в худшем своем варианте. Сегодня этому

было еще одно подтверждение. Что тут зло и что добро?

Не однажды в беседах с людьми, подобно мне покинувшими Россию, и образованными, и просто мудрыми людьми, осуждавшими советскую систему безоговорочно, я замечала (да и в себе носила) какую-то ущербность, неловкость в самых потемках души: покинув Родину, мы хотели исправить ее внутренние пороки, прибегнув к помощи завоевателей.

Пораженчество и желанно было, и ввергало в сомнения, выглядело как предательство по отношению к тем, кто на полях сражений за эту родину погибал. Мы тоже сражались за Родину, но иначе — правдивым словом об ее большевистской сути. Мы тоже Россию любили, но иную…

Перспективы дальнейшего существования России рисовались чисто умозрительно: победа Германии возродит утраченные при большевизме национальные устои народов, а уж потом, сломав сам отечественный аппарат угнетения, надо продолжать борьбу с врагом внешним, — с немцами. Но как понимается теперь, в ретроспекции, ошибка наша была в том, что наш временный союзник — «враг внешний» — был во всем подобен «внутреннему врагу», и «новый порядок», обещаемый Германией, был лишь другой ипостатью одной системы фашизма с ее однопартийностью, фюрерством, культом массового насилия, полицейщиной, бездуховностью, и, не поняв это, мы все-таки твердили вслед за Блоком:

«Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты…»

В ту ночь стала вплотную и перспектива личной судьбы, моей и мужа. Как теперь жить, если нас не уничтожат физически? Как снова жить в мире, с неправедным — уже знакомым — устройством, после того, как уже сломан стереотип хмурого «советского» существования. Жить в стране, где потерян вкус к радости, которая так непосредственна сейчас у народов Европы; в стране, где утрачена и считается криминальной независимость мнений, царит ригоризм в политике и в быту, нормативность и неповоротливость в мышлении; где люди, как показал опыт оккупации, почти все «с двойным дном». Где над каждым висит меч репрессий, где каждый «сам у себя под стражей». Как жить? Я все-таки очень неясно представляла себе тогда меру и формы нашего духовного уничтожения. Это, видимо, хорошо было известно тем, кто бросался с моста в кипящую Драву, перерезал себе горло, затягивал петлю на шее детей своих и своей.

Конечно, сжимал и страх, обычный физический страх. Все

рисовался убитый кулаками сталинских псов Борис Корнилов, мерещился Бабель с разбитыми на окровавленных глазах очками (о судьбе Мейерхольда и Мандельштама мы еще не знали). Но из правдивых рассказов своих близких, не лгущих друзей понимали, что ужас режима в некогда пролетарском государстве ныне сохранят садисты, ставшие у кормила.

Забегаю вперед. После ареста нас уже не пытали физически, не били до смерти и увечья; не из гуманизма, конечно: нужны были здоровые рабочие руки для восстановления страны. На моем следствии следователь только поиграл перед моими глазами инструментом, похожим на зажим для пальцев, как бы намекая на что-то. Готовая ко всему, я сказала спокойно: «Вы уж начинайте скорее или уберите эту штуку». Он посмотрел растерянно — и спрятал в ящик стола. Пытали «гуманными средствами»: на многосуточном допросе не давали спать, не давали курить — «Ах, забыл папиросы!» Однажды следователь ушел спать, а приставленные ко мне два ражих парня поставили меня к стенке и разговаривали в грубом издевательском тоне, называя «на ты» (но без площадной брани), не позволяя всю ночь сесть. Вероятно, я теряла сознание, потому что ночь прошла как-то быстро. Парни, помню, даже внешность мою высмеивали, цитируя вслух показания симферопольского старика, написавшего обо мне: «демоническая внешность». Они с хохотом повторяли: «У тебя же внешность демоническая». Это меня рассмешило, и я объяснила им, что такое слово «демонический». «Во! — восхищался один, — ты, выходит, чертовка!» «И нос, как у ведьмы — крючком», — подхватывал другой. Так как я, выгораживая мужа, вначале говорила о нем неправду, они, читая протоколы, поняли, как он мне дорог, и уверяли меня: «Вот ты брехней о нем срок себе наматываешь, а он бросит тебя, уж больно ты страшная!» Утром я попросила следователя не оставлять меня с дураками и хамами. Он опять взглянул удивленно, но дальнейшие допросы продолжались в форме корректной. Но это было потом, потом…

Утром 2-го июня в бараках была уже замыта кровь, население их значительно поредело. Еще при первом моем визите к майору Дэвису он сказал; если я хочу соединиться с мужем, то должна поскорее ехать в Союз, может быть, догоню его в пути. То ли правда верил он в возможность соединения, то ли торопился поскорее спихнуть сэру Сталину даже такую малую песчинку, как я. Только среди уезжавших с тех пор я была в первых эшелонах. Для меня в те дни смысл личного спасения заключался в слове «вместе»! Тысячи и тысячи мне подобных «цеплялись» за землю Австрии буквально до последнего мига.

Эшелоны для нас, состоящие из товарных вагонов, ожидали тоже не у вокзалов, а за городом. Вокруг на вещах сидели группами люди, и с острой завистью я смотрела на группировки семейных. Солдаты в хаки помогали с вещами, подсаживали женщин весьма любезно. Здесь уже были и солдаты в шотландских юбочках. На плаце вчера их не было.

Хотя солдатам, видимо, не так уж позволяли разговоры с нами, я все-таки обратилась к высокому юноше с лицом желтым, как Сахара. Мы уже знали, что нас везут в Юденбург[14]. Я спросила: «Юденбург — это символ?» И он на чистом русском языке ответил, усмехнувшись несколько злорадно: «Вы имеете в виду, что эти, — он указывал на зеленые мундиры казаков, — участвовали в гибели евреев, и опасаетесь, что вас ждет возмездие? Не знаю, что с вами сделают, но Юденбург — это действительно существующий город на территории советских войск». «Вы — русский?» Оказалось, он — палестинский еврей, его дед — крупный фабрикант, эмигрировал из Петрограда после революции в Палестину. «Мы все любим Россию, и у нас в семье говорят только по-русски». Этот интеллигентный юноша с несколько желтым лицом и тоскующими семитскими глазами мне сказал открыто, что нашу репатриацию осуществлял еврейский интернациональный легион или корпус, но он лично осуждает жестокость репатриации и ее поголовность.

— Здесь много дам, — сказал он, недоумевая.

— Вы знаете, что такое гражданская война? — Парень знал. — Так вот, вчера вы участвовали в разгроме последнего антикоммунистического фронта. Расскажите об этом вашему дедушке… Вы знаете Достоевского? — Парень знал и любил особенно. — Присмотритесь к Шигалеву в «Бесах», и вы поймете, почему эти люди стали на сторону немцев и почему так сопротивлялись возвращению на родину.

Солдат с лицом, как Сахара, отошел, но вернулся и, протягивая мне пачку сигарет, спросил;

— Почему вы среди них? — Он презрительно указал на толпу, уже наполовину одетую в «показательно-демонстративные» лохмотья, толпу баб, сопливых детей.

— Это мой народ, — сказала я.

— Сочувствую, миледи, — сказал солдат и отошел.

Горькая надежда догнать мужей согревала и многих других осиротевших офицерских жен, и мы остро завидовали «солдаткам», уезжавшим вместе с мужьями и детьми. До советской территории мы ехали в общих вагонах. В Юденбурге женщин от мужчин отделили, но семейные попадали в один эшелон.

Все это видели, все пережили дети. Их было множество. За долгий путь «исхода» из Италии дети успели оборваться, завшивели. Многие репатрианты растеряли или просто бросили имущество, иные из хитрости припрятали хорошую одежду ради «классового впечатления» — примитивная крестьянская хитрость. Солдаты в хаки протягивали замурзанным ребятишкам тирольские свистульки, сахарных куколок, шоколадки. Иные дети не брали «цацку»: они вчера видели… Сжимая в грязных ручонках солдатские гостинцы, цепляясь за материнские подолы, сотни грязных босых ножек, рваных рубашонок брели к вагонам. Распатланные, страшные матери, потерявшие во вчерашней битве главу семьи, прижимали груднячков, причитая, что молоко пропало. Шли и жены «пособников» и «остовки», вышедшие замуж за казаков уже за границей, по любви, или чтоб освободиться из рабочего лагеря. Часто — один ребенок на руках, а у ног матери кипят еще трое-четверо, мужа рядом нет; либо «охвицерша», либо вчера убили, либо «где-то на Балканах» остался.

Скоро нам стала ясна и судьба казаков, бывших «на Балканах» в войске фон Паннвица, или легионов из кавказских горцев, калмыков и среднеазиатцев.

…Пыхтящий малый лет четырех, розовый, босенький, в замызганной рубашонке — штаны-то мать сняла «от греха» — деловито тащит большой старинный утюг с трубой, так называемый «паровой». Такой можно завалить чурочками, устроить внутри костерик — и гладь. Еще четверо с узелками у подола матери, а на руках у нее пятый — грудной.

— Эй, тетка! Ну зачем тебе утюг? — смеются сидящие на узлах, где припрятаны ценные вещи. И она отвечает без обиды:

— От вшей! У меня ж, бачите от, диты!

— Геген лейзе[15] — серьезно объясняет по-немецки «английским» солдатам девочка, когда они с недоумением разглядывают диковинную машину. Жестами показывает, как внутри зажигают «фойер» и гладят. Это орудие «геген лейзе», совершив круг от родного села через Европу, тоже возвращается на родину.

У семейства Лихомировых, кроме еды и надетых на себя одежек, сохранилась единственная вещь — итальянское (конечно, конфискованное) одеяло, атласное, стеганое. Мы с этим одеялом еще встретимся.

На личиках детей при посадке в вагоны лежит какая-то недетская сосредоточенность. Дети не плачут, хотя среди взрослых шепоты: «Вот в этом жидовском городе нас и перебьют…». Однако с вещами не расстаются, у иных их много (после оказалось, иным удалось провезти в СССР даже золото, и

помногу). Любопытно, что «европейский лоск» моментально был утрачен людьми, повидавшими Европу после каких-нибудь Ровеньков или Завальев.

Тронулись эшелоны. Двери товарных вагонов раскрыты: здесь еще репатриирующие «жиды» не жалеют для нас ни света, ни воздуха.

Вокруг цвел божий сад. Повороты поезда открывали все новые прекрасные альпийские, тирольские пейзажи с выхоленной растительностью и чистенькими, как новенькая игрушка, домиками. Я восхитилась вслух — на меня посмотрели, как на безумную: наши немногие вагонные интеллигенты были почти убеждены — везут на смерть. На крутых горных спусках с поворотами эшелон шел особенно стремительно. Все замерли, родители покрепче прижимали детей, где-то у горла сжимало: под откос! Я успокаивала: «На территории чужой страны нас не уничтожат столь открытым способом, да и конвой пока еще в хаки. И вагоны после войны дефицитны…». Однако и теперь еще мне снятся сны, будто поезд летит вниз, вниз, по какой-то особо извилистой колее среди зеленого леса, и сердце замирает: вот, вот гибель!

Без предупреждения внезапно поезд вошел в тоннель. Громче лязганья и тоннельного гула был дружный крик человеческий: одновременно закричали тысячи людей, заключенных в вагонные коробки, проваливающихся в бездну непонятного мрака — вот она гибель! Этот апокалиптический ужас пережили дети. Испугались крика и сами солдаты в хаки: за тоннелем поезд остановили и объяснили: «Дер тоннель!» Затем перед каждым тоннелем конвоиры стучали в двери: тоннель! А в иных вагонах уже не стеснялись и по-русски объясняли и предупреждали без акцента.

В вагоне рядом со мною на полу, на вещах, сидит казак, к его плечу тесно прижимается молодая жена, похожая на Белу из «Героя нашего времени». Она очень плохо понимает по-русски: хорватка. Казак нежно на нее поглядывает и рассказывает мне:

— Я ее сперва снасильничал, признаюсь. Гляжу, а она — девушка. И так она убивается, так плачет-рыдает, волоса рвет. Я говорю ей: «Ну, не убивайся так: я на тебе женюсь». Пошли к ее отцу-матери. Вдох… Они тоже руками поплескали, отец на меня плюнул даже, а потом говорит: «Ну, бери ее, когда спортил». В церквы венчали…

— И вот, она меня так любит, знаете, — он обнял женщину за узенькие плечи. — Ноги мне моет, но только мой говор понимает. Ну, такая послушная, такая готовная — куда русской бабе!

— Стали нас брать. Я говорю: «Пойдешь со мной или с

родителями останешься?» Она прямо вскинулась: «С тобой, с тобой! Хоть через огонь — с тобой!..» Вот и едем… А меня, конечно, посадют, если не расстреляют… А ей куда же?! Ну куда в России ей-то деваться?!

Он горестно умолк. Женщина пугливо прижалась к его телу еще теснее.

И, действительно, среди семейных казаков было немало женатых на «балканках», и жены ехали вместе. Что с ними потом сталось?!

Но вот вместе с духом трав и листвы донесло запахи иные.

Я воочию убедилась в переданных мне атаманом словах майора: «Даже в виде трупов». Сперва на полянках, на опушках мы увидели странные кубической формы сооружения, возле которых суетились солдаты в хаки. Между деревьями метались лошади без всадников, солдаты ловили их, набрасывали лассо. В мелькающем пейзаже «сооружения» сначала казались сложенными в штабеля светлыми деревьями с ободранной корой. Но когда в пологой местности поезд чуть-чуть замедлил ход, и стало лучше видно, и запах долетел, по вагонам прокатился стон: это были штабеля раздетых до белья трупов.

И еще такая картина, и еще… Где рельсовый путь подходил поближе, доносилось и встревоженное ржание коней, метавшихся еще возле штабелей или уже собранных в табуны. Кони были одномастны, как подобает в кавалерии. И тогда поняли мы: здесь были спешены казачьи воинские части казачьей дивизии фон Паннвица, пришедшие сюда из Югославии, «с Балкан». Слух, что они где-то близко от итальянских «станичных» частей, уже несколько дней волновал нас всех. Видимо, здесь, где не было женщин и детей, глаза майора-англичанина могли не плакать от жалости[16]. А сопротивление — отчаянное, как видно по количеству и размерам штабелей — было сломлено совсем уже беспардонным массовым убийством. Их, как мы узнали позже, тоже разоружили, тоже хитростью увезли офицерский состав на «конференцию» — ну как тут не узнать «руку Москвы»! — а безоружных солдат постреляли? Во всяком случае, в лагерях я редко встречала казаков-балканцев.

Кто мог узнать, как они погибли: может, кто оставил патрон для себя, может быть, был убит дубиной (хотя здесь, вдали от поселений, могли и не стесняться с выстрелами)? — Кто знает? Только количество здесь убитых не поместилось бы в одном бараке лиенцкого лагеря. Уложены они были плотно и аккуратно — их считали и, вероятно, протоколировали количество: голова — ноги, ноги — голова. По этим громадным кубическим «сооружениям» бродили хаки и береты, укладывая аккуратно

крючьями, плескали чем-то; видимо, предполагалось сожжение. Немецкую форму этих убитых и раздетых солдат, полагаю, передали Совьет Юниону. В лагерях потом много было такой одежды для зеков. В лагерные починочные поступала военная немецкая одежда со следами крови, дырками от пуль…

В последующих пересылках югославские казаки ничего не рассказывали о том, как там все происходило, боялись «слова и дела государства». Но скорее всего это были горцы.

— Уберите детей от окон! — догадался кто-то, когда мы увидели первую такую картину. И дрожащие матери отворачивали ребячьи головки от страшных «сооружений» с могильным запахом, но в воцарившейся в вагоне тишине вдруг жалобно прозвенело: «Мама, а может и наш папа там?»

Забилась в истерике молодая красивая женщина: ей показалось, что одиноко бредущий поодаль от железнодорожной колеи человек в штатском, провожающий наш состав долгим взглядом, ее муж. Она кричала: «Господи, он спасен, он убежал, он здесь останется! Так куда же я еду?!» Этот крик и меня ранил больно, хотя женщина могла и ошибаться. А вдруг и мой… Так куда же и зачем я еду?! Может быть, и мой муж так же тоскующими глазами провожает наши эшелоны. Зачем я поторопилась уехать? Уезжаю… в ничто… Только год спустя, в Сибири, связавшись с его родителями, я узнала, что и он в СССР, и «уехал далеко».

Тоска была, как режущий нож. У всех. Потом в пути до самых Фокшан нас обгоняли и встречались эшелоны с репатриирующимися подданными Италии, Чехии, Румынии. Их поезда были украшены флагами и цветами, хотя на людях, облепивших вагоны, даже снаружи, тоже встречалась немецкая форма. В их странах никому и в голову не приходило в эти дни всеобщего ликования всех репатриируемых объявить «преступниками войны», какими пред лицом Европы и своей страны были объявлены мы все.

«Я думал: правда — преступники, контрреволюционеры какие, — говорил мне недоуменно уже на советской территории симпатичный начальник нашего эшелона, идущего «на Сибирь», — а тут такие же солдаты, мужики наши, бабы, дети…» Мы были уже в стране «слова и дела», я ничего не могла ему объяснить. «Разберутся, разберутся, что к чему», — успокаивал он себя.

Разбираться же следовало еще в Европе, а не «во глубине сибирских руд». Много потом в Сибири встречала я совсем не связанных с нами «остовок». Которых даже «с флагами» домой привезли, а потом отправили восточнее, на принудработах

оправдывать остовский значок, надетый на них расистами.

Тоска ожидания смерти душила. Утаенные бритвы, осколки стекла… В советских уже эшелонах по вагонам ходили политруки, заинтересованные в живом поголовье, и увещевали: «Граждане, откиньте страх, все в СССР другое, НКВД уже нет! Всех, даже в чем и виноватых, советская власть простила!» — привычно лживые пропагандные речи.

Пропаганда стала орудием этой войны во всех странах. Один из начальствующих над нами немцев, подружившийся с нами, однажды на мою насмешку над их пресловутой «расовой теорией», как величайшей нелепостью, ответил: «А знаете, мы делали пропаганду, пока нечаянно и сами не поверили». Среди русских ходила шутка: это правда или пропаганда? Сейчас политрукам никто не верил. Правду я узнала от солдата с лицом, как Сахара, и позднее от генерала Голикова, приехавшего на нашу пересылку в Грац. На вопрос: что с нами будет? — он сказал о фильтрации в особых лагерях, сугубо индивидуальной (какой же мощный полицейский аппарат бездельников надо было создать: ведь нас были миллионы!). «Не скрою, — сказал мне Голиков, — кое-кого и расстреляем, остальным дадут сроки или оставят на поселении, вовсе не виноватых отпустят по домам, но и там, — он выразительно посмотрел на меня, — тоже на месте будут разбираться, кто и почему оказался «вне родины». Все это было верно: проверку на местах прошли и бывшие партизаны, и неудавшиеся разведчики, не нашедшие связей. Из такой сети не ушла бы и плотва! И сотни «советских мстителей» и героев Советского Союза оказались в лагерях. Голикову я уже не называла себя журналисткой — идеологическая работа в их глазах опаснее уголовной — просто жена. И на мой вопрос он не соврал: «В пути едва ли встретитесь. Муж будет проверяться особо. Если же по вине его и вашей дадут «срок», можете случайно встретиться в лагерях, но это считайте чудом. Если вина не столь велика — переписываться разрешат».

— А велик ли срок, который дадут?

— Самый большой у нас пока десять лет. После отбытия заключения можете соединиться, если, конечно, за этот срок мужа не разлюбите, — прибавил он, улыбнувшись галантно. — Вы что, эмигрантка? Нет? Ай-ай-ай! — Он отечески покачал головой.

Все это оказалось правдой без пропаганды… Меня поразило, как он говорил, давая мне эту консультацию. Бесстрастно, как сами собой разумеющиеся вещи, совершенно нормальные законы своей страны, привычные, обыденные, будто объяснял, как проехать из одного города в другой. И достаточно любезно. И

«десять лет» прозвучали у него так эпически, так легко, будто дело шло не о человеческих жизнях, а именно о сроке. Десять лет! Позже я прочла, что какой-то международной шпионке за рубежом дали семь лет «сроку». Столько же, сколько мне, год спустя.

5. ДОМА!

Ночью в Юденбурге загремели наружные засовы на вагонах. Ящеричные хаки задвинули их наглухо уже перед станцией, соблюдая, видимо, условия передачи, о которых договорились «сэры». При абсолютном нашем молчании извне послышались крики: «Выходи!» и мат, мат, мат. Его, впрочем, мы услыхали еще до открытия вагонов, по нему и догадались, что мы уже в Юденбурге. Да! Ностальгия больше никому из нас не угрожала! За время наших заграничных скитаний мы, женщины, эти «технические слова» позабыли, а мужчины, может быть, и употребляли, но в своей компании. С матом среди советских людей боролись и заграничные русские эмигранты-«просветители», и духовенство.

Подножек у вагонов не было. «Помогите, пожалуйста, женщинам вынести детей и вещи», — обратилась я в качестве «старосты вагона» к солдатам, снующим по едва освещенным перронам. В ответ раздался гогот и мат: «Ишь, немецкая фря! Вещи ей подмогаите!» — непечатное… Нас встретили ненавистью, злобой, привычной и обычной для советского быта. За границей с нами могли быть жестокими, высокомерными, но ненависти, злобы — почти не было.

К вагонам побежали советские офицеры в еще не виданных нами в советской армии погонах. «Мама, мама! Да это наши!» — крикнул, увидев блеск погон на плечах, чей-то ребенок. Офицеры нервничали.

— Граждане, не волнуйтесь, не бойтесь, вас никто не тронет! — Какой-то сильно заикающийся, в погонах твердил. — Не бойтесь! Родина и виновных простила! Вы и не представляете, какая она теперь. НКВД после победы ликвидировано!

Очевидно, опасались эксцессов и самоубийств. Люди покорно строились в колонны «по шесть», как приказали.

— Далеко ли идти? — спрашивали мы.

— Далеко! Из вещей берите только необходимое. Вещи вам потом подвезут!

И, конечно, оставленные на перроне вещи мы никогда больше не увидели. Так говорили, чтобы нас ограбить. Это был даже не перрон, а площадка перед стоящим рядом разбитым заводом,

куда мы попали через несколько шагов.

В завод входили долго. Огромная толпа скопилась во дворе. При скудном свете люди стали уничтожать документы. Под ногами, как листья осенью, шуршала бумага. Тут уничтожила и я сшивку нашей газеты со статьями, которые, как мне показалось, могли послужить к оправданию моего мужа, ее редактора. Расположились среди огромных чугунных станков, на грязном полу. В уборной следы крови на полу, на стенах… Растоптанные орденские ленточки… Перед нами здесь побывали наши офицеры. «Воны тут ризалися, вишалыся, — рассказывал простодушный советский солдат и с восторгом сообщил, что тут он увидел «спойманного живого Краснова». — «Знаете, был такой белогвардейский генерал. А когда привезли Шкуро в собственной его машине, все советские офицеры на него дивиться прибежали. Чемойданов у него! Поотнимали! А он изматерился и потребовал коньяку. Ему счас и принесли. Как же, белогвардейский, но герой!» Солдат захлебывался в восхищении, что соприкоснулся с историей гражданской войны, которую учил в школе. Сожалел только, что не увидел Деникина и Врангеля — «видимо в других лагерях». А у меня в ушах звенело уныло: «Воны тут ризалися, вишалыся…» А если мужа уже нет? Зачем же я еду? Ведь это только первый круг ада!

Казаков было уже не узнать. Кое-где уже напились. Матерились. Женщины визжали и хохотали. При высадке какая-то бабенка кинулась к советским солдатам, заголосила: «Ах, родные вы наши, освободители!» Солдат ударил ее в ухо. Несколько часов спустя ее уже изнасиловали, напоили, она выла, размазывая грязь по лицу: «Вот вам и свои, вот и свои ребяты!»

Время от времени, перед вагонами, пробегали офицеры со списками и вызывали кое-кого пофамильно. Это, видимо, были или советские разведчики, засланные в свое время во власовские и казачьи части, или лица, уже приговоренные к казни.

В Граце, где мы пробыли за проволокой довольно долго и где я получала информацию от самого Голикова, «чувство советской родины» овладело уже всеми: воцарился мат, разврат, ужасающее воровство. Началось воспитанное большевизмом «поедание друг друга». Нас наши же уже враждебно именовали «офицершами», «остовок» клеймили площадными словами, называли немецкими подстилками, слышался скрип гармоники, песенный рев. Люди точно мстили предавшей их Европе, в которой все это считалось «никс культура». Наступил психологический спад, растление, раздвоенность психики, да и все наиболее идейное, достойное и мыслящее офицерство было истреблено при сопротивлении или катило вперед в офицерских эшелонах. Приспособившиеся были

обезглавлены. И они уже называли себя хлеборобами, рабочими, «людьми темными», демонстрировали свою лояльность Советскому Союзу чем могли пока: поощряемым и культивируемым в нем хамством. Я стыдила иных — опускали глаза: ведь надо же терпеть… О, «двойное дно» советского человека, привыкшего думать и верить в одно, а говорить и делать другое!

Девушка, работавшая в штабе, предложила: им нужна женщина, не просто грамотная, а владеющая пером. Работая с ними, мы оторвемся от общего потока, объявленного преступным. Поодиночке, быть может, удастся остаться в Германии. Я же подумала об обязательном наложничестве, чего она и не скрывала, с таким острым ужасом, который затмил все прочие опасения и страхи. А быть может, я уже и есть в персональных списках и меня могут арестовать тут же, а мне надо торопиться вдогонку… Последний шанс на спасение был не использован. Да, авантюризм самой натуре моей был противопоказан. А «владение пером» делало меня персоной особенно для них опасной… Нет!

В Граце от барачного рева, от сквернословия и все растущей неприязни к «офицершам» я объявила себя медсестрой и ушла жить в барак медперсонала. Конечно, там поняли, что никакая я не медсестра, но молчали и помогали. Я более недели не спала, есть не могла (получали уже «глиняную» советскую «пайку»), вид у меня был ужасный и поистине, вероятно, «демонический». Медикаменты у медиков отбирали при обысках, хотя, главным образом, интересовались «заграничным барахлом». Как выяснилось потом, многие медики все-таки припрятали яды (для себя, конечно). Пошептавшись, врачи дали мне что-то похожее вкусом на опий, и я впервые за последние недели уснула. Двое врачей, их тех, кто меня тогда пожалел, оказались позднее со мной в одном лагере заключенных и много еще потом мне помогали. Один из них, тот, что просил на пути из Италии спасти медикаменты, уже в лагерях заключенных сделал из меня настоящую медсестру. Имя его было Алексей Петрович Семенченко. Он же при отъезде снабдил меня морфием (утраченным в ПФЛ при обыске).

Я слышала сквозь сон, как за картами врачи говорили о грядущей нашей гибели и сказали обо мне: «Первая не выдержит она». Видимо я была совершенно жутка.

Из коротких реплик врачей, время от времени вызываемых для «приемки» вагонов, в которых нас повезут на родину, стало понятно, что повезут нас в условиях скотских. Я добровольно отправилась с первым эшелоном, сформированным для нашего «контингента», как нас теперь именовали. Даже после разговора с

Голиковым, я все питала иллюзию, что догоню мужа. Эшелону на 2500 человек полагались врач и сестра, из нашего же «контингента». Врачи не спешили уезжать и мне не советовали, но для меня теперь целью было: скорей! Врач, вернее военный фельдшер, мне попался скверный, человек вообще не злой, но сейчас равнодушный ко всем судьбам, кроме собственной. Заметив в первые же дни мою сестринскую неопытность, он пытался спихнуть меня из санитарного вагона в общий, а себе прибрать молоденькую «смазливочку». Но к этому времени за меня горой встал начальник эшелона, зауважавший меня после моей героической борьбы за интересы санитарии. Нас отправляли в запломбированных, наглухо закрытых железных вагонах. Кажется, наши врачи добились, чтобы верхние «продухи», хотя бы опутанные колючей проволокой, были открыты. Вода в железных бочках либо уже была тухлая, либо пахла керосином, прежде их наполнявшим. Отхожие места были просто ничем не огороженными дырами в полу. Вагоны были скотские, совершенно не вычищенные, с навозными лепешками. Необходимость улучшений нашим врачам приходилось доказывать, исходя не из соображений гуманности — такие доводы нас отправлявшие игнорировали, — а только аргументами: нельзя же в таких вагонах привезти в СССР дизентерию и тиф. Молодых женщин стали «выгонять» за проволоку лагеря — мыть вагоны и бочки для воды. Возвращаясь, девчата рассказывали: гробы!

При регистрации медперсонала первого нашего эшелона врач робко заметил, что медикаментов, собственно, маловато: дали ему обычную санитарную сумку с несколькими бинтами, нехитрыми хирургическими инструментами, флакончиком йода и пузыречком спирта, не более 50 граммов, да несколько ампул кофеина. Порошочки еще типа «от головы» или «от живота». «У меня в эшелоне много беременных», — робко лепетал врач. Немолодая советская врачиха в чинах и орденах заметила сухо, что медикаментов достаточно, ведь рожали же русские женщины-крестьянки на полях под снопами, без всяких медикаментов! И тогда оторвалась я: «Для того чтобы они так не рожали, наши отцы совершали Октябрьскую революцию!» Орденоносная докторша, вскинув на меня удивленный взор, промолчала, а трусоватый доктор обомлел и возненавидел меня: с такой языкатой сестрой, вякающей начальству, как бы и ему не пропасть! Доктор был невероятный трус. Глядя на него, я знакомилась впервые с типом людей, которые, попав в плен, готовы идти на любые низости ради спасения утробы. Скоро его дружно возненавидел весь эшелон.

Ночью нас отправляли в полной темноте, чтобы не видело население Граца. Под лучом фонарика нас с доктором вдвоем всаживают в то, что называется «санитарным вагоном», и солдаты грубо острят, что утром они нас встретят «мужем и женою». Мрак абсолютный. На ощупь: тут бочка с водой, здесь двухэтажные нары. К счастью, я не понравилась доктору и, не сделав поползновений стать моим «мужем», он выпил весь спирт и улегся спать в уголке верхней широкой нары.

В первую же ночь, то ли на станции, то ли в степи, эшелон остановился. Загрохотали двери и засовы нашего вагона: «Роженицу принимайте!» — И я ощупываю возле себя женскую стонущую фигуру.

— Дайте хоть свечу! — крикнула я конвоирам.

— Свечей у нас нема, — ответил испуганный голос.

У меня же, курящей, было всего 20 спичек. Разбуженный врач сказал сердито: «Ну и принимайте роды! Перевяжите пупок на 10 сантиметров. Зачем вам я?» Дал ножницы, бинта отмотал и опять захрапел. Все это в полном мраке, все на ощупь.

Тамара стонет. Точно срока родов не знает, у гинекологов не обследовалась. Я призналась ей, что роды принимаю первый раз. «Ничего, сестричка, нас учили немного. Я вам подсказывать буду». Она тоже офицерша, вернее, «юнкерша». У девочки ничего, кроме легкого платьица, что на ней, нет. В руке зажат лишь маленький пакетик пеленок и одеяльце. В кармане — завернутый в резину «стерильный» шнурочек — завязать пуповину.

Но главное — начались уже потуги, а вокруг — кромешная тьма. Кладу ее на верхние нары ногами наружу на собственную, ощупью постеленную, простынку. Кружки возле бочки с водой не нащупала. Собственной мисочкой начерпываю воду, чтобы обмыть свои руки и лоно роженицы. В темноте потеряла бинтик для пуповины. Господи, хоть бы скорее рассвет! Но если он где-то и забрезжил, в вагоне с узкими щелями продушин, да еще затянутых колючей проволокой, света не прибавилось. Мы обе завидуем старорежимным крестьянкам, рожавшим в поле, на снопах, о чем напомнила отправлявшая нас, так называемая, врачиха.

— Уже, сестричка, уже! — кричит девочка.

Я подставляю ладони к нарам под слегка провисающее лоно, чтобы принять плод, но это оказывается продукт не очищенного перед родами кишечника. Снова надо обмывать нас обеих. Но руки мои? Как ими взять чистую миску? Я нагибаюсь головою в бочку — к счастью, она полна, — всасываю ртом пахнущую керосином воду и обмываю руки. «Керосин — это хорошо, — шепчет изнемогающая Тамара, — все-таки дезинфекция».

Когда ребенок упал в мои подставленные руки, было хоть и не очень светло, но я сумела увидеть, что это девочка. Тамара заплакала: «Прекратилась Костина фамилия!» Мужа, как она полагала, убили при сопротивлении: в бараки с плаца не вернулся и в последующие дни не дал о себе знать.

А доктор сладко храпел. Гм… «на 10 сантиметров вязать пупок…» От чего на десять: от живота ребенка или от уже выползшей плаценты? «Мы его так ждали, — шептала Тамара, — уже и колясочку купили…» Проснувшийся доктор посмотрел хиленькое тельце и грубо сказал: «Не будет жить». Тамара зарыдала: ребенок был последней связью с, видимо, покойным любимым человеком. А доктор говорил равнодушно: «Вот и хорошо, что умрет». Действительно, недоношенная малютка, похожая на крохотную старушку, умерла на десятый день, когда в санитарном вагоне было уже 3–4 роженицы, и двое казачат уже пищали, раздражая доктора. Начальник эшелона разрешил Тамаре похоронить первую нашу жертву на каком-то полустанке в степи, пока паровоз набирал воду. Через неделю, когда на станции доктор, уже дружно всеми нами ненавидимый, пошел вдоль нашего пятидесятивагонного состава, я потребовала свидания с начальником эшелона. Показала ему остатки навоза на стенах нашей «родилки», рассказала о кошмаре родов в абсолютной темноте, о вшах, которыми начали обрастать люди еще в Граце (в несчастье вши размножаются молниеносно, будто, по народному поверью, действительно выползают из кожи). Когда начальник сослался на «объективные обстоятельства», я пришла в слепую ярость. «Нелюди вы, нелюди! Да ты понимаешь ли несчастье этих людей? Подумай, ведь ты и сам мог оказаться на их месте! Война кончилась, а вы — фашисты — все убиваете! Стреляй же меня первую, гад, мы ведь все равно теми фашистами недострелянные!» Я не только не боялась в тот миг, я искала смерти, я ее жаждала! И майор советский вдруг растерянно замолчал. Он, как и наши конвоиры, уже убедился, что мы никакие не «преступники войны», что большинство просто попало в несчастье, как всякий русский человек мог. Он, вероятно, уже кое с кем из наших солдат беседовал. Я подумала: вот, сейчас меня увезут. А он помолчал и сказал серьезно: «Молодец, сестра, русская ты женщина, истинно! Я того гада (он имел в виду врача) спрашивал, все ли по медсанчасти благополучно. Он, гад, трус, мне говорил: да, все, мол, хорошо. А ты по-настоящему людей пожалела, настоящая фронтовая сестричка!» На первой же крупной станции, загнав эшелон «на путя», санитарный вагон выстругали до бела, по вагонам раздали кружки для питья, раздобытые майором в городе, для воды поставили чистые

деревянные бочки, обзавелись ведрами для их наполнения, а меня сводили куда-то за станцию за медикаментами. Не знаю, что сказал майор врачу, но свою ненависть ко мне доктор уже не прятал. А когда попросил замену мне, майор ему дал сестер, но меня назначил над ними старшей.

Теперь на остановках я бегала вдоль эшелона, спрашивая, нет ли больных в постоянно закрытых мужских вагонах. В продухи на опускаемых оттуда веревочках отправляла медикаменты. Бегом разносила кофе для поносников, наливая из ведра в спускаемые на веревочке же котелки или кружки… Вначале, особенно из женских вагонов, меня окликали порою злобно: «Эй, офицерша!» Потом возвращавшиеся из санвагона, видно, рассказывали что-то, и отношения ко мне изменились. «Спасибо, сестреночка, голубушка!» — Эти приветливые крики и ласково улыбающиеся мне в узкие продухи глаза помню до сегодня. Себя я не щадила ни при дневных, ни при ночных редких остановках. Ведра с целительными напитками были тяжеленные. Другие «сестры» наши почитали разносить кофе для поносников обременительным.

О самоубийствах в мужских вагонах мы узнали только, когда к нам снова стали заходить политруки и призывать к спокойному ожиданию участи. Они проговаривались. К самоубийцам (стеклами, подобранными во время носки воды) медперсонал не приглашали.

Ехали через города и села Румынии. На станциях, на лесных опушках молодые парни в белоснежных штанишках с кружевами и нарядные девушки танцевали «коло», обняв друг друга за плечи. Зрелище такого народного ликования для нас было нестерпимо. В железных вагонах была духота. Женщинам еще приоткрывали чуточку двери, мужчины ехали взаперти, глядя по очереди в узкие продухи, затянутые колючей проволокой. Обмирали и падали люди. Появилась рожа. От нее умерло несколько человек уже в ПФЛ.

При пересадке в Фокшанах к нам подсадили, еще уплотнив наших солдат, несколько групп, захваченных в самом Загребе.

Кто-то узнал меня, позвал по фамилии мужа, помахал рукой — не разглядела.

На рассвете дождливого и туманного утра я выглянула в наше узкое окошко. Поезд стоял возле развалин бывшего станционного здания. За развалинами простиралась степь с холмиками, над которыми поднимались дымки. На пустынной, еще сонной земле перед нашим поездом стоял босой, оборванный и худой мальчик. Он кричал вагонам: «Хлебца дайте! Дайте хлебца!» Я вздрогнула: Россия!

— Мальчик, какая эта станция?

— Шепетивка була! А вас от Гитлера везуть? Тетечка, хлебца у вас нема?

Разбудила спавших: мы уже в России! Оба «сэра» могут быть спокойны.

Мальчику мы из-за своих колючих решеток бросали хлеб.

— Ну, как вы тут живете, мальчик?

— От (он махнул рукою в сторону дымящих холмиков) — в землянках. Голодуем дуже. Только и кормимся с ваших эшелонов.

— А много эшелонов таких?

— Ой, не кажить, и дэнь, и ночь… много… — и добавил уныло, — мамку гоняють в колхоз… — и побежал вдоль эшелона, потому что услышал, как из других вагонов ему стали бросать хлеб.

Так встретил нас первый советский гражданин — ребенок — на границе моей хмурой, угрюмой родины… Страны-победительницы! Меня долго преследовал звенящий голосок: голодуем… мамку гоняють… — и думалось: в который же раз голодуют? Не в первый ведь… И до войны с врагом внешним враг внутренний столько раз обрекал советских детей на это жалобное «голодуем»!

С этого мига, казалось, мы все глубже погружались в мир зла… Разоренная земля. Но ведь и в Европе не было места живого: развалины, «лунный пейзаж» и в Берлине, и в Мюнхене, и в Будапеште. Но там сейчас люди улыбались радостно, для них лихолетье кончилось. А тут: мамку гоняют, гоняют, гоняют, а батьку поди в Сибирь отправили, а деда давно раскулачили!.. В стране-победительнице за весь наш скорбный по ней путь мы не увидели ни одного (!) радостного лица, а только хмурые, только угрюмые, только злобные или озабоченные — стиль советского существования, замеченный еще до войны иностранцами. В вагонах произошло снова несколько самоубийств — побежали по вагонам политруки: рабочую силу везли, живье!

Нищета страны, по контрасту с увиденными европейскими странами, поражала даже в нетронутых войною районах. Солдаты победившей армии тоже бродили между нашими вагонами, тоже просили «хлебца». У нас, у «изменников»! На остановках к полураскрытым женским вагонам пробирались соотечественники и выменивали на свой последний кусок у нас ношенную обувь, солдатские ремни или жалкие женские тряпочки. А в разграбленных немцами странах, тем более в самой Германии, мы не видели на обуви стоптанного каблука.

А в эти же самые дни на торжественных приемах, партийных и правительственных, лилось вино, подавали черную икру,

Деликатесы. Позже узнали: американская помощь одеждой вызвала ажиотаж — в правящих кругах (среднего калибра, конечно) с азартом делили поношенные заграничные наряды. Что поплоше — пошло по театрам и детучреждениям (из белья). А мальчик со станции Шепетовка, безусловно, ничего не получил.

Спросил смазчик колес наших женщин: кто мы и откуда. Те наперебой стали рассказывать, как «угнали в неволю», как заставляли работать по 14–16 часов. «Ишь, барыни! — позлобствовал смазчик. — Шешнадцать часов им было много! А как мы по три-четыре упряжки (смены) из шахт не выходили, этого вы не слыхали?! Плохо им, вишь ты, было! — И нецензурно… И столько тоскливой зависти было в его словах. — Вы жили! А вот мы…»

Разор страны наблюдался уже в психике людской. Напротив нас остановился однажды эшелон с трофейными породистыми быками. Размах рогов у прежде холеных животных достигал метра, но сейчас это были скелеты. «Были, понимаешь, гладкие, духовитые, чистые, как хорошая баба… А фуража для них нету. Дохнут — не довезем!» — сказал сопровождающий пожилой солдат, «хозяин» с виду.

— А я их ненавижу! — злобно ответил молодой солдатик. — Буржуйская животная, на что она нам? Мы — не Румыния!

— Но ведь это же теперь наше, народное достояние!

— А на кой хрен они нам? Корми их, ухаживай. Мы и на лошадях управимся, да трактора…

А тракторов не было, их сожрала война: женщины пахали на себе и на коровах. После увиденного нами порядка в странах «проклятого капитализма» отсутствие культуры в быту и в отношении к делу долгое время поражало на родине, незаметное, быть может, до войны и безусловно воспитанное государственным строем. На базаре в Кемерове бабы трепали сборчатые юбки из драгоценного в Европе трофейного материала. С трофейными вещами — часами, приемниками, патефонами — обращаться не умели, ломали. Ломали, смазывали тавотом дорогие редкостные станки… Россия! И вот такая Россия победила Германию, где в каждом действии каждого гражданина были и порядок, и цель! Так орды Аттилы победили цивилизованный Рим. Говорю это, не сожалея о поражении Германии, нашего извечного врага, а по исторической аналогии. Беспорядок, оказывается, сильнее порядка. Стихия сильнее организованности. И сейчас в стране «без хозяина» все — в разор! А живем же!

До русской границы люди задыхались в вагонах от жары. В России лето было дождливое, прохладное. Стало легче, будто страна-мачеха пожалела своих несчастных детей. Сократились

поносы и обмороки (двое в пути умерли от сердечной недостаточности). Зато воцарилась рожа. В пути лечили ее лишь марганцовочкой да солнечными лучами. Уже в ПФЛ от нее умерли несколько человек; за ними самоотверженно ухаживал фельдшер Коля. Странно, кроме первой моей восприемницы, мы не потеряли ни одного ребенка. Матери стирали пеленочки, поливая водою изо рта. Только раз за почти двухмесячный путь нас помыли в Свердловске в бане.

— Какой контингент везут? — сановно спрашивал у конвоира на площадке важный офицер с голубым околышем на фуражке (НКВД).

— Преступников войны, — отвечает часовой, — с бабами и детями… тьфу!

— Ну, ты! — грозно крикнул было энкаведешник, но к счастью, поезд тронулся.

Среди детей было много маленьких мальчиков с именами Влас или Андрей, в честь Власова, но это знали только мы между собой. Была и девочка Анвласия (Андрей Власов). Мать говорила: «Зарегистрирую теперь Анастасией, а вырастет, скажу, в честь кого было первое имя. Нехай знает, что родители пережили». Но сказала ли? А дети-малютки спрашивали меня, если я входила в вагоны: «Тетя, а нас больше не будут бомбить?» В заверениях матерей они сомневались, а я вроде бы была «начальство». Бомбежки так и застыли в этих испуганных душонках. Бомбили их на пути отступления из России. Бомбили в Германии, в Италии к концу войны тоже бомбили — англичане. Однажды в Италии мой поезд только подъехал к мосту из Толмеццо в Вилла Сантино, как одиночный самолет сбросил бомбу на мост. Поезд откатило назад, а на перилах моста повисли мясные лохмотья от лошади и человека, ехавшего через мост на тележке. Мне лично, пережившей первые бомбежки Москвы и массированные налеты тысяч самолетов на Берлин, такие одиночные налеты даже не казались опасными, но дети видели и боялись. Население Толмеццо и станиц при воздушных тревогах пряталось в пещеры в горах и скалах. Но рычание и судорога земли, когда бомба падает близко, треск, гул и вой пикировщиков… Мысль, если видишь небо: вот эта на нас, эта прямо на нас — не однажды сжимала крохотные сердечки…

Прокопьевск нас не принял. Там, как выяснилось впоследствии, проходили «фильтрацию» наши мужья. Нас доставили в Кемерово.

Эшелон остановили в виду чего-то огороженного палями. «Вот и «зона» — наш лагерь», — сказали бывалые. Из ворот зоны, освобождая ее для нас, вывели группку слабых, шатающихся

людей. Иных вели под руки. Оказалось, это были немцы. Военнопленные? Но среди них было немало женщин. И все в гражданском платье.

Внутри ограды — землянки с нарами и несколько чистеньких домиков, стоящих поодаль — домики для допросов. Сразу же, по рекомендации эшелонного начальства, меня вместе с врачебным персоналом направили в санчасть. На одной из дверей госпиталя было написано готическим шрифтом: «Скарлатина». В плевательницах — ящичках с песком — густела кровавая мокрота, нечистое белье с постелей было разбросано по полу. В одном из углов зоны жгли солому из немецких матрасов, а затем нестиранными их дали нам для оборудования госпиталя. В зону вошло нас 2500 человек. Мы ужаснулись: какая жалкая горстка немцев отсюда вышла.

Меня быстро «подсидели» хитрые и деловитые «настоящие» сестры, сообщив куда надо, что я журналистка, а муж мой — редактор: категории по социальным законам СССР особо опасные. Я была направлена на «общие работы» — самые тяжелые — в шахту. В первые часы потеряла сознание, меня на веревках подняли наверх (лестницы были разрушены) и дали работу в шахтерской раздевалке. Увидя, что я плохо хожу в конвоируемых группах: отстаю, задыхаюсь — сами же бабенки-матери отхлопотали меня в так называемые «ясли», ибо другие заведующие немилосердно обворовывали детей. Да и вообще я почувствовала к себе отношение особое. Тех, кто заклеймил было меня «офицершей», за такую «классовую сознательность» не миловали, все оказались одинаково страдающими.

Вскоре какой-то начальник, посетивший лагерь, приказал собраться всем офицерским женам. Пришли не все. Вначале думали, что соединят с мужьями, не скрывали браков — теперь следовало себя поберечь. Однако, вокруг начальника с голубыми кантами нас собралось немало.

— Ну, женщины, — сказал он собравшимся. — Еще не поздно вам порвать связи с людьми, которых вы называли мужьями. Мы хорошо понимаем, что в обстоятельствах войны женщинам доводилось, спасая жизнь, сходиться даже с немцами. Мы обвинять их не можем. Даже дети от немцев(!) — наши теперь дети. Но сейчас, женщины, подумайте. Имейте в виду, что семейная связь с власовскйми офицерами отяготит вашу собственную судьбу, да и по законам нашим вы с ними уже как бы разведенные… Вы, пока не поздно, можете записать себя незамужними.

По толпе женщин прошел ропот.

— И что это вы такое говорите, — вдруг выступила

немолодая казачка, полковница Грекова, одетая в сборчатую юбку, распашную кофту и повязанная платком «по-казачьи». — И что это вы такое говорите, госпо… гражданин начальник! К чему это вы нас призываете? Чтоб мы от мужей своих поотказывались? Есть среди нас и такие, что ради сладкого куска за офицеров за рубежом выходили. Так их сейчас среди нас, вроде, не вижу. Они уже в эшелоне с вашими лейтенантами перемигивались. И не завидую я тем лейтенантам, ежели кто за себя такую возьмет. И сюда к вам сейчас они не вышли. Их и уговаривать не надо. А мы… — она строгим взглядом окинула недвижно стоявших «офицерш». — Мы от мужей своих не отречемся. Ну, я со своим, можно сказать, жизню прожила, дети у нас. Есть и в Красной Армии наши дети. А молодые, думаете, все за вами пойдут? Он ей в неволе, может, жизню спас (она имела в виду «остовок», которых казаки брали за себя из рабочих лагерей с тяжелейшими условиями, часто брали заочно, прямо указывая первое попавшееся имя в списках — замуж за легионеров из таких лагерей выпускали). Поглядите, сколько среди нас молодых! И не прячутся.

Мне стало понятно предупреждение энкаведешника: обычно в СССР у арестованных репрессировали семьи, высылали их или даже забирали в заключение. Детей отправляли в детдома, порою меняя и фамилии, если ребенок был мал. Очевидно, на это намекал и сей «начальничек», желающий женщинам, якобы, добра. Он, встретив единодушный отпор, пожал плечами: «Такая верность, конечно, делает вам, женщинам, честь, но… — и ухмыльнулся, — медом что ли ваши офицеры намазаны?!»

Грекова, сложив под немолодыми грудями руки, между тем говорила:

— Ходют тут между нами слухи, что жены могут с мужьями разделить строка (сроки). Ежели дадут ему десятку, можно отсидеть ему пять и ей пять. На такое многие из нас были бы согласные, чтоб соединиться скорей.

Начальник поспешно опроверг иллюзию такой возможности. А когда Грекова ее сформулировала, между женщинами прямо стон прошел:

Да! Да! Мы этого хотим по добровольности!

— Жаль, — сказал энкаведешник, — а то многих из вас мы бы отпустили домой.

Домой! Все мечтали о доме, но многие понимали, что и дома им не мед будет.

После этого собрания кое-кто отрекся от брака, рассуждая, что из дому и мужу-заключенному легче помогать будет, или что по дороге к дому можно попросту убежать и скрыться. «Мы

убегем, — говорили иные молодки. — Мы уже бегали после раскулачивания, и от немцев бегали. А тут и языки знать не надо! Умеючи-то убегем! Борисовна, айда с нами!» Так что беседа с энкаведешником-гуманистом имела последствия.

Кстати, многие станичные жены в Европе в грязь не ударяли, с виду были вполне «дамы». Но здесь многие, особенно пожилые и настоящие природные казачки, «замаскировались» под баб, простых и темных, вроде бы и малограмотных, оделись в «сельское» (как впрочем, и всегда было в казачьем патриархальном быту). «Бабка Железнячка» (фамилия Железняк), например, жена военного краснодарского капельмейстера, не блистала, конечно, эрудицией, но была вполне цивилизованная полковая дама, в свое время окончившая гимназию. Здесь она ходила в рваной шинели, подпоясанной веревкой (правда, вещи они потеряли в бомбежках), шмыгала носом, к надзирателям обращалась: «сынок». Начальникам говорила: «Придумали для нас какую-то КВД, КВД, да ну вас совсем! У меня сын — Красной армии офицер». Разыскивала его. Начальники: «Вы бабушка, напишите открыточку туда-то. Знаете, что такое открыточка? Если хотите, я вам напишу». И тогда она обижалась: «Что ж я не знаю, что такое открытка? Я и сама напишу, я грамотная, уж как-нибудь накарябаю!»

Офицерши, спровоцированные полковником, понемногу разъезжались. Кто отрекшись, кто подкупив комиссующих нас врачей ценностями, которые удалось спасти при обысках. Обыскивали нас постоянно и все, что понравится, отбирали. Золоте было у многих. Объясняли, что найдено было в развалинах после бомбежек. У медсестры Ани нашли колье бриллиантовое. Не распространяясь, как оно к ней попало, девица, плача, призналась мне, что ей за него давали 60 тысяч настоящих, не оккупационных марок. «Думала: останемся за границей — на такие-то деньги ресторан открою… И как они его нашли?!» (в промежности). Сначала она их уверяла, что это простой немецкий «шмук» (украшение), «но они, гады, понимают!» Самой большой драгоценностью у меня были крохотные швейцарские часики, мужа подарок. Я называла их моим обручальным кольцом. Прятала их в яслях, в щель возле пола. Проверяла их целость редко. Однажды прибегает ко мне сияющая Дуська — помощница моя по ясельному заведению — объявляет мне, что ее панариций на пальце — вовсе не панариций, а туберкулез кости, и врачи «сактировали» ее домой. Ценностей у Дуськи не было. Заглянула в щель — моих часиков там нет. А накануне, затянув большой палец резинкой, Дуська мыла полы. Обнаружив их в щели и не зная о том, что у меня есть часы, что

они мои, она тотчас на эту, по тем временам, ценность, хотя они были и не золотые, схлопотала себе у врача «актировку по болезни». Дуська любила меня очень, восхищалась моим бескорыстием, она действительно не могла предположить, что эти часы мои, но признаться мне уже не могла, только сокрушалась: «Ох, Борисовна, та чего ж вы не сказали, что у вас были часы!» И горько плакала перед отъездом и все твердила, что век за меня молиться будет.

Золото и ценности, даже в виде «отрезов» сукна, встеганных в ватные одеяла, помогли не одной бабенке вырваться из ПФЛ, а уж куда, домой ли, в бега, Бог весть. Во время обысков наши «начальники» неистовствовали: алчно отбирали все, что нравится, как «лишние вещи».

Алчность к вещам, к барахлу у советских подданных была неимоверной, воспитанная десятилетиями почти непонятной на Западе народной нищеты.

С визгом радости во время оккупации грабили брошенные магазины и вещи евреев; «остовки» после падения Германии грабили своих хозяев (не оттуда ли и Анино колье?), грабили друг друга. Но особенно охотно энкаведешники грабили нас, как бы уже «по праву». У меня как лишнее забрали на склад новое немецкое военное одеяло. Выходя из ПФЛ, пришла я за его получением, мне вручили по квитанции (!) рванную половинку, годную лишь на подстилку.

6. ДЕТИ

И среди этой борьбы за имущество, за существование, сплетен, допросов, самоотвержения немногих, лицемерия во спасение, существовал островок — простодушный мирок детей. Дети спасли мне не только психику, но дважды и жизнь. В первый раз это было в пути.

Перед Будапештом в наш вагон привели рыдающую, дрожащую девочку лет десяти, дочь эмигрантов «первого поколения». Она попала в наш поток, потому что потеряла родителей во время сопротивления при репатриации. Либо их убили, либо насильно вбросили в первые же «камионы» для репатриантов. Никто не мог сказать ребенку, что с ними. В Граце их вызывали по радио, но не обнаружили среди нас. Одинокого ребенка повезли дальше — «к большевикам». Прежде жили они в Будапеште. И по мере того как мы к нему приближались, девочка стала впадать в помешательство. Из общего вагона ее отправили к нам, в санитарный. Я ребенка согрела — она была почти полуголая, без чулочек, платьице изорвала во время первого

припадка. Успокоила ее, обнадежила, и девочка уселась у окна-продуха, непрерывно глядя на знакомые окрестности Будапешта.

Город, озаренный закатным солнцем, хотя и разрушенный, выглядел величественно. Поезд медленно-медленно полз по временному узенькому в одну колею, настилу восстанавливаемого сотнями солдат-рабочих моста, разрушенного во время боев. Это был знаменитый мост из Пешта в Буду, через Дунай. К набережной реки близко подходили многоэтажные дома, и целые, и в развалинах. Новый временный настил моста был так узок, что казалось, поезд медленно идет по воздуху над сверкавшим внизу Дунаем. Я стояла у полуоткрытой двери вагона, и прямо под нами была голубая бездна реки. Как высок мост, и как глубок Дунай! И острое желание смерти — при прыжке вниз она была бы скорой и неизбежной — вдруг охватило все мое физическое существо. Не жить! Какое счастье! Вот сейчас отпущу руки, которыми держусь за раму двери — и вниз, и какое это будет блаженство — не жить! Это был миг, но в этот миг сзади меня раздался горестный и радостный вскрик: «Сестричка, сестричка, вот наш дом! Наше окно!..» Я бросилась к зарыдавшему ребенку… Недавно по телевизору я видела этот красавец-мост и в том же ракурсе огромный восстановленный жилой дом, который показала мне девочка.

«Наш дом» показал мне и наш противный доктор, когда мы проезжали мимо какого-то поселка в Донбассе.

Как на грех, на другой день у нас в вагоне случились роды. Принимая их на верхней наре по «методу» моей первой ночи, я услыхала позади себя хрип. Девочка лежала без чувств. Она сидела на противоположной стороне нар и прямо перед собой, как на сцене, увидала разверстое лоно роженицы. До того мгновения она и не предполагала, что дети появляются на свет именно так. Едва удалось успокоить дрожащего от ужаса ребенка, психика которого и без того была травмирована до предела. «Это больно?» — спрашивала она меня потом. Тельце ее, покрытое холодным потом, тряслось, как желе. Мои ласковые поцелуи и уговоры, и объяснение великой биологической тайны она не могла забыть, если она жива. Прижимаясь ко мне ночами, она шепотом рассказывала, как жила с папой и мамой, училась в русской школе… Иногда по ночам бредила по-венгерски. В ПФЛ в первый же день девочку эту увезли в детприемник.

Дети были ужасны, как ужасна была и вся таборная атмосфера ПФЛ. Годы «хождения по мукам» и особенно последние месяцы обратили ребятишек в маленьких чудовищ. Они потеряли сон, измотанные ужасами, воцарившимися в их крохотных душонках. Моя работа началась с лечения

бесчисленных «вавок» — сыпей и лишаев. Лечению они противились, визжа и кусаясь, пока я не догадалась превратить лечение в игру, и ребятишки даже соревновались между собой. Надо было истреблять головных вшей — голову-то в «прожарку» (так называли дезинфекционные камеры) не снесешь, надо было купать детей, чьи матери были заняты на шахте. Тельца были серенькие, дряблые. А в зоне имелся только один металлический котел, воду в котором кипятили на кострах. «Посуда» — ведра, сколоченные из неструганных толстеньких досок — имела призматическую форму. Наполненные водою, они были очень тяжелы. Я удивлялась чистоплотности казачек. Несмотря на «лимит» багажа, некоторые сохранили легкие итальянские алюминиевые тазики, стирка началась тотчас после переселения в зону и кипела несколько дней. Утюг многодетной матери, столь удививший иностранных солдат, переходил из барака в барак. Люди работали в шахте, но выглядели чистыми, что весьма поражало и даже раздражало ревизоров. Но и такой «посуды» не хватало, лохань для мытья полов переходила из барака в барак, за нее дрались, но нары и деревянные полы (там где они имелись) блестели. Привычные к тяжелым условиям, к скверной пище русские люди деятельно жили. А я все вспоминала шатавшиеся от слабости фигуры немцев, которых вывели из этой зоны в день нашего прибытия. А ведь им хлеба давали больше!

Бедствием № 1 оказались клопы, распространявшие среди детей кожные болезни. Клопы развелись уже в эшелоне, здесь же их были миллиарды. Эти зловонные крохотные гадики по ночам плотными кольцами окружали ротики грудничков. Матери ошпаривали кипятком нары, стены и полы, но скотина не убывала. Со вшой бороться легче. В яслях трехлетний «бессонный» Алик ночами сидел на постельке, вооруженный палочкой-пистолетом и помогал мне убивать «кьёпов». Пеленочки и рубашечки спящих по утрам были окровавлены раздавленными инсектами. А ребятишки, особенно кто постарше, судорожно боялись крови, наглядевшись на ее цвет в «хождении по мукам».

«Воны тут ризалыся, вишалыся…» — вспоминала я слова юденбургского конвоира об офицерском «контингенте»… Зачем я здесь? А его, может быть, уже нет… И однажды ночью, в минуту самого черного отчаяния, самого острого сознания безысходности, я взяла сбереженную на всякий случай веревку (морфий, который дал мне врач в Граце, был утрачен при обысках) и направилась к выходу. Дети спали на полу, обведенные лужицами воды от клопиного нашествия. Я осторожно перешагивала через маленькие тела. Я знала в заброшенном бараке место, где можно было навсегда уйти от

постоянной пыточной тоски, сухой, не разрешавшейся слезами с момента разлуки с мужем. Я и прежде выходила по ночам из барака, за водою или по какому делу, и дети спокойно спали, но в эту ночь вдруг прозвенел голосок: «Тетя Женя, куда вы?» И повсюду стали подниматься сонные взъерошенные головенки со словами: «Куда вы, куда?» Окружили меня, к коленям припали, и я с сухим бесслезным рыданием прижала к себе маленькие тепленькие тела. После этого даже в самые тяжелейшие моменты — тяжелейшим была разлука с любимым человеком — мысль о самоубийстве не появлялась больше. Я научалась так жить в постоянном страдании. Дети привязались ко мне сильно.

А в «домиках» с первых же дней начались допросы. Домики были хорошо укупорены, чтобы наружу не доносилось ни звука. Допросы вели работники фронтового СМЕРШа. Допрашивали каждого индивидуально, запрашивали документы с мест. Однажды, проходя мимо домика, я услышала глухие удары. Крик… В зоне появились люди с остановившимися зрачками, хромавшие. Избитые ничего не рассказывали. Только один признался в доверительном разговоре: бьют не сильно, не пыточно, так, по уху дают изредка. Как солдат, оставшийся верный долгу, дает в зубы другому, долгу изменившему. «Они ведь фронтовики тоже, Борисовна, не энкеведешники! — сказал рассказчик. — Они тоже понятие имеют». СМЕРШевцы находили особо виноватыми и били особенно больно прежних коммунистов и комсомольцев. Их передавали в НКВД, где их ждал трибунал, либо традиционная десятка, либо расстрел. Узнав, что коммунистов бьют больнее прочих, я припомнила с усмешкой: «Гвардии полковник, князь Трубецкой, и вы с этой сволочью!!» — слова Николая-1 при допросе декабристов.

Вызвали на допрос, наконец, и меня. Когда с вечера (на ночь) за мной пришел из СМЕРШевских домиков дневальный, «бессонный» Алик навел на него свой пистолетик-палочку, и я ушла под дружное аханье детских тощеньких грудок: «Ой, тетечку Женечку берут!» А на рассвете, вернувшись с оказавшегося нестрашным допроса, увидела, как снова поднялись на нарах головенки, исчезла под одеяльцем попочка «бессонного». Алика, и первым вопросом детей постарше было: «Тетечка Женечка, вас не били?» И всякий раз, при возвращении с допросов, меня встречали беспокойные глазенки и облегченный вздох: «Пришла! Не били!» Днем старшие унимали младших, чтоб не шумели, чтоб я могла выспаться для ночного допроса. Тринадцатилетняя Тоська Лихомирова, девчонка ушлая и хитрая, приобретшая эти качества за годы скитаний и приспособлений, преданно приносила мне все слухи, все лагерные новости и даже сплетни

обо мне. О порочащих меня рассказывала с негодованием: «А самто…»

На первом допросе следователь-заика, чуть ли не тот самый, что встречал наш эшелон в Юденбурге, сразу же молча положил передо мною фотографию: возле скалы расстреливают, по-видимому, партизана-итальянца. Он рвет на груди белоснежную рубаху. И прицеливаюсь в него… я. Я! Сомнений быть не может — мое лицо. А рядом стоят незнакомые мне казачьи офицеры и совсем бок о бок со мною жена офицера Барановского. Мы с нею в немецкой униформе. Она находилась со мною в одном эшелоне, была здесь, в лагере. Прежде я с нею знакома не была.

Вначале я похолодела, но потом сообразила: или фальсификация, или стреляющая женщина поразительно на меня похожа лицом.

— Нон бене тровато — плохо сделано, — говорю я следователю, возвращая фотографию. — Вы видели Барановскую? Это очень высокая и крупная женщина, а та, с моим лицом, что стреляет, здесь на вашей фотографии чуть не на голову выше Барановской и крупнее. Зовите сюда Барановскую, поставьте нас рядом. Из нее можно выкроить две таких, как я. Нон бене тровато — плохо сделано!

Смершевец задумывается и говорит мне:

— Хорошо, мы это учтем. Рассказывайте сами. Я начала свой рассказ. К эпизоду с фотографией он больше не возвращается. Допрос закончился сердитыми уговорами — с легким «штовханьем» в плечо — отказаться от мужа. Они уже знали, что он был редактором «Клинка». Я же уверяла, что его роль была чисто технической. Это было полуправдой.

7. НА «СЛОБОДУ»!

Когда после допросов мужской контингент поредел — «забрали» многих, — на шахту стали гонять матерей самых маленьких детей. Проклятый план «социалистической» добычи, послевоенный Молох, требовал еще и еще крови. Все большее количество малышей переходило в ясли на круглосуточное пребывание.

Связь детей с матерями была особая, зверячья. Только на материнской груди привыкли они искать спасения от всех обступавших ужасов и потерь. Чуть поправившиеся под моим и Дуськиным приглядом, дети снова стали ужасны. Мать «бессонного» Алика, интеллигентная женщина, которую «спустили в шахту», избегала брать сынишку даже на короткий свой отдых: при разлучении он так страшно кричал, так бился

головкой о стенку, что не выдерживало ее сердце, больное. На ее и Алика глазах убили «англичане» ее отца — священника. Он накрыл ребенка полой своей парчовой ризы, с ним, подняв перед собою крест, пошел навстречу солдатам и пал, убитый дубинкой в висок. Мать едва оторвала Алика от тела дедушки, которое солдаты клали на носилки. Алик стал «бессонным». Волосенки его постоянно стояли дыбом. Однажды кто-то из не знавших об этом, спросил: «А где же твой дедушка?» Алик бросился на вопрошающего и укусил его больно.

Но поистине самой трагической фигуркой у нас оказался крохотный Костя. Мать его была уже пожилой женщиной, имевшей в СССР взрослых детей. Попала в немецкую облаву на базаре и вместе с другими была отправлена на работы в Германию. От кого был Костя и как эта пожилая «остовка» очутилась с нами — не помню, но только теперь она стеснялась разыскивать взрослых детей своих, потому что у нее был незаконнорожденный Костя. Бледный, слабенький, 2-3-летний ребенок, похожий на старичка, был безмолвен и тих, как мышонок. Многие дети страдали ночным недержанием мочи, но Костя испражнялся постоянно, особенно во время еды. Он не менял поз. Если поднять ему ручку, он так часами мог сидеть, ее поднявши (потом я узнала, что это душевная болезнь). Приходилось нам ему менять позы, чтобы не затекало тельце. Однажды упал со скамеечки вниз головой, да так и лежал, пока не заметили. Все, что ему говорили, понимал отлично, но кроме «мама» и «тетя» (обо мне) ничего не произносил. Рассказывали, что до нашей репатриации это был совершенно нормальный мальчик. Постепенно я вовлекала его в детские игры — вдруг Костя однажды рассмеялся, каталепсия приходила все реже, штанишки почти перестал пачкать.

Но тут его мать «спустили в шахту». Прежде она была на легкой работе в зоне, часто к нему забегала, брала на ночь в барак, без нее он не умел спать. Теперь для свидания с нею, для общения оставались только выходные дни, а их частенько не давали. И начался ужас: когда она перед сменой приносила ребенка в ясли и пыталась поскорее уйти (подконвойная бригада не ждет), с Костей делался приступ такого судорожного безмерного, безысходного отчаяния, что даже Алик его успокаивать кидался. Мать убегала в страхе, а мы оставались с ревущим, воющим, кусающимся, дрожащим, покрытым обильным холодным потом крохотным человечком. Он рвал свои реденькие волосики, бился головою о стену, об угол стола. Всякую попытку ласки, даже моей, он отвергал, плевался, бил себя крохотными кулачками по узенькой, как ладонь взрослого, грудке. Утихнув,

сидел каталептически до нового припадка и никакие детские утехи, даже сказки, мной рассказываемые, даже раздобытая чудом конфетка, не могли его отвлечь. Он конфетку злобно бросал и рыдал, не умолкая, звал мать, всплескивая ладошками и колотя себя кулачками в грудь. Я не Достоевского цитирую — «Это я видел сам!».

Я пошла к начлагу. Майор-мордвин, в общем-то не особо злой дядька, выслушал мою просьбу отпустить мать ребенка на прежнюю работу, стоя ко мне боком, — он был кривошей после ранения — сказал: «Ну, если вы такая добрая, я бы вас вместо нее в шахту спустил, да у вас там не получится. Мне в шахте каждый человек нужен, у меня план». А когда я предложила ему самому посмотреть на мучения ребенка, мстительно ответил: «Нет уж, смотрите теперь на это сами!» Сказался стереотип: все ужасы их бесчеловечной системы перекладывать на плечи «врагов», которые будто бы виноваты. А спуск в шахту этой матери, видимо, был еще и наказанием за какое-то неосторожное «слово и дело».

Мужчин все поглощали трибуналы, а план пресловутый, советский, от майора требовали и требовали. Под советскую колесницу Джагернаута надо было бросать новые и новые тела.

Было в зоне несколько матерей с уже годовалыми детьми, которых кормили грудью сознательно, не прикармливая, по хитрости, кормящих матерей в шахту спускали лишь по желанию. (Такие тоже находились: «поскорее искупить трудом вину»). В тоске о «плане» майор посетил кормящих матерей. «Э! Да ваших ребят, — сказал он, — уже скоро женить пора! Даю вам три дня отлучить от груди. Идите получайте на них манку! Потом-то их в ясли, вас — в шахту!» Мамки подняли вой: великовозрастные грудники спасали их от тяжелого труда. Майор разгадал эту «военную» хитрость.

— Не будем кормить вашей манкой! Она у вас с «магаром»!

— Ну! — грозно наступал он на женщин.

— Своей жене понукай, мы тебе не заключенные, мы — советские матери! — галдели осмелевшие мамки.

Началось снова «движение сопротивления» — время отлучения от груди оттягивали, оттягивали «поносиками», болезнями, что охотно поддерживали лагерные врачи, получавшие за это часики и колечки. Кое-кого уличили даже в прикармливании. И тогда терпение майора лопнуло.

— Борисовна! — ворвались однажды ко мне в ясли бабенки с живыми увесистыми свертками. — Принимай наших детей, а то нас сажают «у яму», — так называли в ПФЛ карцер.

Майор сам посетил карцер и распорядился оставленных

грудничков только два раза снести матерям в «яму», а затем перевести только на питание пресловутой манкой. Так прошли сутки. Дети выплевывали жесткую кашу на воде, размазывали по мордочкам, не умея ее глотать, орали. Я бегала к майору, умоляла, но матери сидели в «яме».

Солнце уже похолодело по-осеннему, злое, залезало лишь утром в наш ясельный барак. Уже топили «чурочками». Ребятишки сидели на нарах — многие не имели обуви. На горшок бегали в общих громадных чунях. Орали оглушительно новенькие голодные ребятишки. И вдруг застучало, загремело, затопало в сенечках, и с радостными воплями к нам ворвались выпущенные из «ямы» матери. Срывая кофточки и разогревая ладонями напруженные соски, они хватали своих грудничков и кричали:

«На слободу, Борисовна, по чистой нас на слободу!» Много месяцев не видела я таких брызжущих счастьем глаз. Оказывается, вчера вечером был получен приказ: всех матерей с грудными и больными детьми отпустить из ПФЛ по прежним местам жительства.

Тогда же уехала, обливаясь слезами стыда перед взрослыми своими детьми, и мать Кости. Но мать Алика оставили на поселении в Сибири, прикрепленной к шахте. Она была «чуждый элемент» — дочь власовского попа, ее надлежало «проверять трудом». Я потом встречала ее в огромном пришахтном общежитии для нашего «контингента», выпущенных на спецпоселение.

Еще работала я в санчасти, когда мать троих детей Лихомировых положили в бреду в нашу больничку. Она болела тяжело, и ее увезли в больницу городскую. Детей: Тоську, Толика и маленькую Женьку — в круглосуточные ясли. Вещи их мгновенно раскрали жадные завяслями, к моему назначению на эту работу у детей осталось лишь огромное красное итальянское стеганое одеяло, в скитаниях замурзанное невероятно. Оно служило детям и матрасом, и укрывищем. «Тепло, как в печке», — говорила Тоська, бывало. Дети встречали сибирскую зиму только с этой одной теплой вещью. Вечно сопливая, небережливая Женька разбила свои ботиночки и осталась совсем босая. Кишечник она очищала где попало, как зверек. Об этой сестренке Толик говаривал сокрушенно: «Ну в кого она у нас такая некультурная!» Старшая Тоська же сама о себе говорила: «У, я не пропаду! Я — ушлая. А вот Толика жалко: он у нас интеллигент». Мальчик, лет десяти, действительно, был чудесный, умненький и все спрашивал меня: нельзя ли ему будет, подросши, жениться на нашей любимице, грудной Наденьке, прелестной, удивительно чистоплотной и спокойной малютке. Толик всех уверял, что она

— «заколдованная принцесса» (отзвук давно читанных сказок), и предложил называть ее «Дюймовочкой».

Шли месяцы. Мать из больницы не возвращалась. Лагерная администрация, к которой я не раз обращалась, заявляла, что ничего о Лихомировой не известно. «Наверное, наша мама умерла!» — тосковали дети, уже потерявшие отца во время жестокой нашей репатриации. И привыкали к сиротству. Я, ставши завяслями, произвела инвентаризацию их скуднейшего имущества, приготовила его к зиме, вывела вшей, вывела Женькины вавки, которыми она была покрыта с головы до ног. Дети Лихомировы ко мне привязались крепко. Мое слово было для них — закон, как сказала Тоська. В моем лице они, вероятно, впервые за время своего жестокого пути встретили порядочность и сострадание. Тоську, привыкшую хитрить и лгать, сокрушала моя «простота», как она выражалась. Порою Тоська вступала со мною в «философские споры».

— Вот вы говорите: не врать! Так это же людям врать не хорошо! А этим… — она кивала в сторону следственных домиков, — им правду говорить нельзя. И вы, тетя Женя, смотрите же, если что за собою знаете (она делала многозначительное лицо), им, Боже сохрани, не признавайтесь.

Это была уже определенная, отработанная житейская мудрость ребенка… Что сталось с Тоськой? Теперь ей около 50 лет!

Когда майор, дергая контуженным плечом, многократно мне повторил, что о матери Лихомировой ему ничего не известно, и мысль, что ее нет на свете, утвердилась, мы стали задумываться, что же с детьми будет.

— Ну, отдадут в детдом, — грустно говорил рассудительный Толик, похожий на белобрысеньких мальчишек у Богданова-Бельского.

Я очень привязалась к Толику. Дисциплинированный, эмоциональный, какой-то удивительно «нормальный» ребенок, тоже меня полюбил, ловил каждое мое движение, каждое указание.

— Не могу ли я усыновить мальчика? — спросила я майора, придя к нему по ясельным делам. Он посмотрел дико:

— Усыновить? Вы что? — он покрутил пальцем возле виска. — А что, может быть, разрешат… Только вам ведь придется тогда его на спецпоселение взять… А если вас посадят… Смотрите, вам трудно будет.

И я задумалась…

Так я узнала, что мне грозит поселение с нависшей угрозой «посадки». Я уже знала, что такое «поселение». Это ссылка.

Бесправие. Это тот же физический труд, только бесконвойный, те же общие бараки. Только надо самой добывать хлеб. В СССР к привычной «интеллигентной» работе меня уже не допустят. Побывавшие в советской ссылке, рассказывали за границей, как профессор Переверзев в ссылке с трудом получил право быть учителем начальной школы — видно, тоже землекоп из него не получился. Положение с добыванием хлеба я уже уяснила за время нашего проезда через СССР. А, главное, из беглых слов майора я поняла: с поселения можно угодить и в тюрьму… Оказывается, СМЕРШ и ПФЛ — не последнее испытание…

Если не считать моих выступлений перед казаками, о которых я смолчала, и ни один из них не пикнул, как «раздевала» я перед ними советский строй, за мною особо криминального ничего не было, но… Я оставила мысль усыновлять Толю.

Вскоре после разговора с начлагом, в совсем холодный денек, когда под ногами уже трещали льдинки, меня вызвали «на вахту» с вещами. Дети Лихомировы провожали меня и не отводили заплаканных глаз, пока за мною не захлопнулись ворота ПФЛ — первого моего лагеря. Я в последний раз утерла сопливый носишко «некультурной» Женьки. «Ну, теперь мы пропали!» — сказала Тоська. Толик припал ко мне и, не стесняясь, плакал.

Нашу группу, женщин сперва «расконвоировали» в город, в распоряжение стройконторы НКВД. (Арест мне предстоял только в будущем году).

— Я просил рабочих, а мне прислали дамочек и старух! — закричал при нашей явке замначальника Анкушев. — Мне нужны кочегары, например, вот вы, — обратился он ко мне, — сумеете быть кочегаром?

Группа женщин, со мной выпущенных, заволновалась, меня подталкивали: нельзя отказываться — работа в тепле. Я ответила спокойно:

— Кочегаром? Ну что ж! Для этого высшее образование не нужно. Дайте мне «спец» (спецовку), и…

А «спеца» у них не было! У них ничего для народа не было! Нас уже предупредили, что без спецовок имеем право не идти на работу. Да и своя одежда у нас была, по советским понятиям, хорошая. А хорошая «одежда» в Сибири впечатляла ужасно, а мое высшее образование заставляло неметь предо мною. Там, в те годы «десятилетка» считалась высшим разрядом образованности. А заключенными, которых можно было заставить, мы еще не были, и, вероятно, из пропагандных соображений им приказали обращаться с нами уважительно. Мы пока мыли полы в стройконторе, порою целую смену просто сидели в коридоре на полу, ожидая поручений. Наконец, мне Анкушев поручил

конспектировать для него «Курс истории ВКП(б)» под ред. Сталина. И, конспектируя, я снова окуналась в полузабытый мир «советской идеологии», понимая теперь всю ее лживость, стереотипность. Но, по совету мудрой Тоськи, правду об этом моему работодателю не открывала. Не спорила. Поселили нас в бараках за Томью вместе с высланными из Поволжья немцами, людьми абсолютно порядочными, но живущими в абсолютной нищете. Девочки-немки были буквально босы и, так как «спеца» не было, на работу не ходили, пока не выдали резиновые чуни с обмотками. Спали на совершенно голых нарах. Клопы и голод. Чтобы есть, немки хлебную «пайку» — единственное, что они имели по карточкам, — меняли на большее количество картошки, которую ели без масла. Мы тоже этому научились.

— Вы меня или арестуйте, или разрешите искать себе лучше условия, — сказала я однажды Анкушеву. Он посмотрел удивленно: «Но ведь так живут все! Вы живете как все!». И, действительно, так жили все.

Одета я была для поселенки весьма «изящно»: в шапочку в виде тарелочки и в лыжные брюки, торчащие из-под еще московского пальто. Когда я шла по льду Томи к месту нашего жительства, за мною бежали окраинные мальчишки с криком: «Тетка тарелку надела!» А однажды мальчишка сказал другому: «Ты говоришь, у нас нет американов? А вон идет американ!» — и показал на меня.

В декабре, когда морозы стояли изрядные, бреду близко к сумеркам через обледенелую Томь. Меня обогнали сани, накрытые чем-то удивительно знакомым, красным… «Тетя Женя, родненькая!» — И из-под знакомого ватного итальянского одеяла — три знакомые мордочки: дети Лихомировы!.. Их увозили в недалеко расположенный детприемник. О матери не было слуха. О ее потере дети говорили уже равнодушно.

Это одеяло, безусловно, было некогда «конфисковано» их отцом у итальянцев. Но итальянцы с той поры сделали себе уже не одно такое одеяло. А дети советские на своей родине могли бы отморозить себе ноги, если б не оно. На чьей стороне справедливость?

Детям кто-то рассказал, что я собиралась усыновить Толика. Сейчас он смотрел на меня с мольбой и надеждой. Я показала им барак, в котором живу, обещала зайти на днях. Я ведь теперь была у них единственно близким человеком на свете. Сани тронулись. Заплакали дети. Заплакала бессильно и я.

Дня через два мы ложились в своем бараке спать при тускло горящей лампочке. В казарму вошла, пошатываясь, чужая женщина и пошла между топчанами, вглядываясь в лица. Это

была мать Лихомирова. Из ее умолчания стало понятно: она не все время была в больнице — видимо, ее куда-то увозили для каких-нибудь показаний, опознаний — рассказывать об этом не разрешалось.

В сибирских морозных просторах теперь она была «на слободе» с тремя полуголыми детьми, без гроша денег. Бесплатный литер до места жительства ей дадут и предоставят собственному о себе попечению. Если Женьке в детприемнике дадут хоть поношенные валеночки и чулочки, то одеяло они продадут «на хлеб»…

Детей своих она разыскала с превеликим трудом: погоняли ее по канцеляриям…

Женщина, прощаясь, низко-низко благодарно поклонилась мне. Поклон этот помню, как лучшую мне в жизни награду.

Где они теперь — маленькие мои друзья в несчастьях наших общих: ушлая Тоська, Толик-интеллигент и некультурная Женька?! И девочка из Будапешта, спасшая мне жизнь? И все ребятишки, не пустившие меня из барака, когда я выходила для самоубийства.

А ведь они все помнят! Даже если вступили в КПСС.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ В СКОБКАХ

Глава I
ТАЛОН НА ПОРУБКУ
(Святочный рассказ)

— Сильно ослабевшие есть? — И я распахнула дверь из лагерной амбулатории в холодные сенечки, в полутьме вглядываясь в зеленовато-серые лица ожидавших. Усталые люди сидели или прямо на ледяном недавно вымытом полу, или на кучках сброшенных бушлатов. Запах лекарств здесь смешался с горьковатой вонью от махорки, застарелого портяночного пота, мочи и вроде еще селедки, словом, с тем противным едким духом, исходившим от всех нас в те времена. На «воле» так пахнут бездомные нищие старики.

Это под самый Новый год, 31 декабря 1947 г., в беловскую зону прибыл этап зеков. Нам с доктором Алексеем Петровичем предстояло их откомиссовать. Мы были расположены к празднику, и прием этапа вечером вызвал некоторую досаду.

— Ослабевшие, войдите первыми!

С пола, пошатываясь, поднялось несколько серых фигур. Обходя сидящих, доходяги заторопились к двери, откуда дохнуло теплом, светом, и на табуретке в углу стояла украшенная елочка. Мы не нашли для нее ничего блестящего, даже конфетной фольги у нас не было, но все равно, она сияла нарядно-зеленой хвоей, которую особенно выделяли беленькие бумажные звездочки моего изделия, и запах, лесной и вольный, она все-таки источала.

В дверях один из входивших, увидав елку и как-то особенно протяжно всматриваясь в мое лицо, стал оседать, оседать. И упал было, да товарищи подхватили его и почти внесли в амбулаторию, где сидел врач со стетоскопом.

Мы уложили обморочного на узенькую холодную кушетку. Больной был горячий, но дрожал в ознобе, и температура оказалась высокой. Лицо скелетоподобного человека, застывшее, с посинелыми губами, мне показалось не то что знакомым, а вроде виданным, но не додумав, где я видела это лицо, я отошла к остальным.

А он, открыв глаза, осознав действительность, вдруг шепнул: «Женя!». Не «сестра», не «Борисовна», к чему я уже привыкла, а то, почти забытое имя, каким называют близкие. И сел. Занятая неотложным, я на зов не откликнулась: да и ко мне ли относился

он? Мужчина его не повторял больше и даже в мою сторону не смотрел особенно. При комиссовании его фамилия украинская мне ничего не напоминала, профессия шофера — тоже. Только доктор удивился: «Шофер, а так истощен!» Оказалось, что в том лагере, где он содержался (в «бытовом»), ему по специальности работать было «не положено» как имеющему статью 58-1-Б[17], хотя он первоклассный московский шофер. На «общих работах» москвич «дошел». Все это он говорил доктору, но как бы адресуясь и ко мне, и я заметила, как подобрался он, когда доктор назвал меня по имени. Он меня явно знал, знал, уверенный теперь, что не ошибся, я же никак не могла его вспомнить и решила, что он один из бесчисленных военнопленных, с которыми меня сводила судьба за границей. При посторонних расспрашивать не стала.

Только, когда его после конечной резолюции врача «госпитализировать», уложили на чистую койку в палате, я подошла к нему с выражением вопросительным. И тогда масластый доходяга заплакал и сказал: «Та я же шофер Валя из того музею!». Это прозвучало, как знак иного мира.

31 декабря 1940 года осталась я вечером в музее украшать «месткомовскую» елку для сотрудников, живущих в музейном общежитии. Музей был художественный, и убранство деревца должно быть художественным, оставить его на попечение вахтерш, суетившихся, по преимуществу вокруг новогоднего ужина, было неуместно. На 6–7 часов был куплен загодя мною талон на очередь в парикмахерскую, потом следовало переодеться дома на Арбате во все новенькое — такая была у меня новогодняя традиция — и ехать на новогоднюю встречу к подруге Лене. Времени было в обрез.

— К телефону Вас, Женя! — В те годы еще никто не называл меня по отчеству. Рыдающий Ленкин голос звенел отчаянием: они никак не сумели достать елку Гарику, сыну. Целый день бегали по елочным базарам, сначала не было хороших, потом никаких не стало, даже у спекулянтов, даже веток. Только столичная элегантная женщина может понять, как горестно ей было сообщить, что в этой беготне за ритуальным деревцем Лена пропустила очередь в парикмахерскую.

Гарик — мой подопечный ребенок, вроде крестника. Сказки с картинками, походы в театр — на мне. И вдруг у избалованного мальчишки не будет елки, даже веток! Мать кричит в трубку, что он ревет, бьет игрушки. Если у него не будет елки, зачем ему жизнь!

— Может быть, по дороге к нам тебе попадется хоть какая-нибудь… за любую цену… — Бессмысленно надеяться, что, едучи

в метро и трамвае, я найду хапугу, продающего елки «за любую цену». Однако я пересчитываю деньги в сумочке. Что-то около 70 рублей. Ах, если б попался «хапуга»! Железная дорога для Гарика стоила дороже…

Я бы стянула несколько веток из профсоюзной елки, но электрик уже прилаживает лампочки. Выхожу. Под ногами скрипит. Сумерки густеют. В лучах фонарей посверкивает грязноватый снежок на крышах низких строений, похожих на амбары — общежития музейных рабочих. У широких дверей гаража черным лаком сверкнула казенная машина — ЗИС-101. У меня нежность к этой марке первого в СССР комфортабельного лимузина: я читала лекции на ЗиСе, когда там конструировали его, и сам Сталин машину «принимал»! Сейчас возле ее крыла — двое.

В темно-синем форменном мундире с ясными пуговицами наш молодой рабочий, парень из рязанской деревни, с которым я обычно ездила с передвижными выставками картин в дальние командировки. В многомесячных поездках было время подружиться. Бросаюсь к Мите.

— Даже для вас, Женечка, не смогу достать: поздно! — говорит парень, извинившись галантно, и просверкав толстогубым лицом. — Хотя вот, Валя хочет для сынишки в лес за елкой ехать…

Валя-шофер, солидный уважаемый мужчина, депутат райсовета, в начале четвертого десятка, примерно, но все его называют нежным именем Валя. С ним я почти незнакома. Единственной новенькой легковушкой мы, сотрудники младшие, пользуемся только по чрезвычайным делам. Начальства много, машина одна на всех. Случалось, какой-нибудь завотделом возил вечерами на «казенной машине» особо хорошенькую сотрудницу в театр или ресторан, что считалось высшей степенью ухажерства в те времена. Об этих событиях сплетничали, обсуждали в кулуарах, порицали на месткоме. И, говорили, сам шофер очень недоволен «увеселительными рейсами» и возмущенно жалуется начальству. «Вредный хохол», — говорили о Вале. Героиней подобных похождений я не бывала, так что не было у меня оснований бросаться Вале на шею с просьбами.

А он, кинув укоризненный взгляд на Митьку, бормочет, что «талон на порубку» у него-то есть, да опасается, что машину востребуют, хотя директор и отпустил его до завтра.

Талон на порубку елки за городом, оказывается, выдавался некоторыми учреждениями, а у Вали случайно сохранился нетронутым на ту, что мы украшали — охрана забыла отобрать. У его Юрки нет елки. Однако, ехать далековато, гололед. Валя

колебался. Тогда я рассказываю, что еще один москвичонок в отчаянии, и его мать просит меня «за любую цену…». Лену Валя знает: «Ох, красивая жинка!» Она-то и бывала главным персонажем музейных сплетен, что «этот кацо» — замдир М. — ее катает. Валя, видимо, представил, как расстроена надменная, красивая, на французскую куклу похожая дама, сын которой, ровесник его Юрки, требует елку. «Разве с Вами поехать»… видно, хочет ответственность за небольшое «мошенство» с талоном разделить со мною.

Талон на трехметровую. По-рязански предприимчивый Митька советует срубить, «а потом напополам!». Однако нельзя терять ни минуты. Валя проверяет, тепло ли я одета. Поехали. Сев за руль, он напоминает: «Надо ж позвонить, сказать тому пацану, что вы ему за елкой поехали».

Я поручаю это Мите. Телефон пишу на обороте талона в парикмахерскую. Завивки — не будет! Зато будет счастлив Гарик! Несколько дней я берегла талон, боялась потерять, ощупывала в сумочке. Через полчаса он потеряет силу, этот «квиток на элегантность». Переодеться только успеть бы, заехав на обратном пути домой, елку привезти…

По новогодней Москве мы вначале продвигаемся на замедленной скорости. Час пик. Сквозь пылающие витрины магазинов видно, какое там столпотворение. На перекрестке, где тормозит машина, вижу пробирающегося гражданина с крохотной елкой, которую он несет торжественно, как букет. Опустив окно, кричу: «Продайте елку! За 70 рублей продайте!» — Он не повернул головы.

Не мы несемся, неподвижно сидящие в машине, — весь огромный город, зажигающий огни, мчится навстречу в хаосе перемежающихся под разными углами, обегающих нас со всех сторон плоскостей, озаренных, цветных и темных с густой сетью линий, прямых и параболической кривизны, будто вычерченных по гигантскому лекалу. Там срежем мы машиной, как хордой, краюху окружности, здесь пронзим ее радиусом, шинами плавно тронем округлость шоссе. Кружево убегающих назад и открывающихся впереди плоскостных и линейных сплетений пронизано сплошь огнями, то пунктиром намечающим линейность нашего движения, то образующим ослепляющие снопы, овалы и многоугольники. И все это движется, летит, смешанное с толпами пешеходов, что льются и плещут в потоках света вместе с вереницами поющих автомобилей, слоноподобных автобусов, в бенгальских огнях, сыплющихся с троллейбусных проводов. Карусель города, орущая, хохочущая, звенящая, бряцающая, долго несется вокруг нас, пока шины не

спружинивают на рельсах окружной дороги.

Световой чертеж города тускнеет, исчезает коловращение толп, и вот в заднее стекло машины я наблюдаю, как постепенно отдельные огни сливаются в одно полымя, и на горизонте растекается зарево всей ночной Москвы. Потом по обочинам шоссе пошел заснеженный лес. И вокруг, будто медленно наполняемая чаша, заплескалась лунная голубая ночь.

Машина тормозит возле каких-то спрятанных между деревьями избушек, люди в милицейских шинелях, козырнув, проверяют возле фары талон, говорят о каком-то «квадрате», машут руками. После асфальтового ровного пути, который расстилала перед нами в свете наших фар обступившая округу ночь, машина ныряет на проселочную дорогу и останавливается, наконец.

Слева и справа — лес. Остроугольники елей озарены полной луной, плывущей в морозном голубоватом круге. Будто таинственная плоскость Мебиуса выбросила нас из грохочущего пылающего геометрического мира в мир иной, где покой и тишина. Только на свободном от леса пространстве вдали полыхает зарево города. Оттуда доносится гул, притушенный пушистыми снегами звон: шумит — поет предпраздничная Москва. Но этот далекий смутный и глухой шум — точно фон для обступившего нас лесного безмолвия. Кажется, в эту тишину претворяется сам спокойный лунный свет, гармонически слитый с нею во что-то единое и прекрасное. Все недвижно. Шевелятся только на снегу тени от нас и машины. Совершенно музыкальное звучание безмолвия еще более выделяют редкие отдельные человеческие выкрики и дальний стук топора: елки рубят. Чрево огромного города требует сегодня древесных жертв.

Из темнеющего рядом леса, увязая в снегу, к нам приближаются два закутанных человека с ружьями. Проверяют талон, говорят об условиях порубки. У Вали фонарик, но ели растут негусто, меж ними в лучах луны серебрится, беззвучно трепещет снежная парча, и так светло, что если комочек снега поднести к глазам, заметны даже крохотные кристаллы отдельных снежинок.

В талоне одна трехметровая ель, но, памятуя, что значит в композиции елки верхушка, я робко спрашиваю, нельзя ли вместо одной высокой — две небольших. Однако в этот миг неподалеку вкрадчиво и осторожно взвизгивает пила, и оба наши вергилия, оставив нас одних среди ельника, бросаются на звук проверять талоны.

В ельнике тишина еще заметнее. Мы оба молча стоим, притаив дыхание, и слушая пианиссимо природы. Ноктюрн

«Молчание». Неторопливое начало «Лунной сонаты» слушаем с шофером Валей. Чудесно: ни он, ни я не восхищаемся вслух красотою ночи в еловом подмосковном лесочке. Вокруг нас среди холодного трепетания сверкающих снегов — конусы елей. Они тоже слушают вместе с нами небесную мелодию. Неужели, неужели мы должны внести смятение в этот удивительный покой? Будто в испуге, что жребий выпадает ей, то одна, то другая веточка вздрогнет, стряхнет с себя чуть вздохнувший иней — снежок и снова притаится. Как в храме…

— Как у церквы, — шепчет Валя и неожиданно читает с украинским акцентом: «В нибисах торжественно и чудно, спить земля у сияньи холубом…»

— Кто это, Пушкин что ль, сказал? Вот верно! Вале тоже не хочется губить елку. «Привезть бы сюда пацанов, — мечтательно бормочет он, — да тут в лесу, при живых деревьях, елку бы и устроить». И я предлагаю на будущий год, при погоде благоприятной подобрать желающих встретить новый год в лесу. И неведомо нам, что «будущего года» не будет. Валя встретит его в голодном плену, я — в провинциальной глухомани южного города. И не будет уже у Вали ни пацана, ни жены, они погибнут в первую же бомбежку Москвы. И Митьку убьют. И тридцать лет спустя, в вестибюле музея я найду его фамилию первой на мемориальной доске с именами погибших сотрудников.

Пока же это для нас складываются прекрасные советские песни, мы — люди первого сорта — москвичи, будто хозяева столичного города, организуем праздник, полный радости бытия. Мы еще не разумеем несовершенного мира, в котором живем, не знаем разлада с ним, неведомо нам, что на улицах нас обгоняли десятки машин-фургонов с надписями: «Мясо», «Булки», а в машинах этих копошились сотни людей, без вины обращенных в людей сорта второго, что есть над нами еще высший сорт, который все это совершает. Там не надо ничего «доставать», потому что «людишки» в зубах приносят. А если что мы и знаем, смутно, то верим: необходимость, таково устройство нашего мира. Это стереотип нашего мышления.

Пока сторожа ушли, мы условились срубить две елочки, небольших. В резиновые мои, модные тогда, сапожки уже начерпался снег, долго стоять на морозе невозможно. Выбираем парочку и в два топора для скорости накидываемся на беззащитные деревца. Я остукиваю иней и по указанию Вали оттаптываю снег вокруг юной, одного со мною роста, красавицы. В свете луны видна не только безупречная круговая симметрия ветвей, но каждая свежая и прохладная иголочка. Елка отчаянно мне сопротивляется, оказавшись неожиданно сильной, упругой,

цепкой. Колючими иголками бросается в лицо, толкает локтями веток, сбивает шапочку, мешает проникнуть к своему изножию. А я бормочу слова сожаления, но вероломно нащупываю место внизу, где ударить. Впервые я калечу дерево, да и топор держу в первый раз. Он увязает в стволе, а и ствол-то не толще моего запястья. Валя спешит на помощь, свою он уже срубил, я слышала, как она крякнула, нахилившись.

Так среди совершенно сказочного лунного пейзажа мы оба совершаем таинство убийства, не ведая, что пройдет меньше года, и в этом елочном подлеске будут со свистом и шипением рваться бомбы и мины, по этому зеленому молодняку захрипят, заклацают гусеницы танков, земля зарычит, задохнется, стоны человеческие наполнят воздух. И будто в предчувствии этого в той стороне, где визгнула пила и куда побежали сторожа, внезапно доносятся грубые голоса, брань, треск ветвей, крики: «стой, стой!» и два выстрела, видимо, пильщики не имели талона и удирают от сторожей.

Жалобно шуршащие тела срубленных елок мы волочим по насту к дороге, где ждет нас машина. Одну «сестричку», как нежно говорит вообще-то грубоватый Валя, втаскиваем, насилуя, в багажник, торопимся спрятать, пока не вернулись сторожа; талон-то на порубку одного деревца! Вторую, опять-таки с ласковыми уговорами, Валя принайтовывает к крыше машины. Сегодня по Москве целый день сновали автомобили с таким ароматным грузом. На заднее сиденье напихиваем несколько отдельно срубленных веток «на всякий случай». Девять часов. Мы уже очень спешим, хотя уходить от такой тишины, красоты такой не хочется. И замерзли мы оба.

Особенно я, повлажневшая после непривычных усилий. Перчатки потеряла, конечно. Но я не ною, совсем не ною. И тут Валя «взбрыкивает»: хватает колючий искрящийся снег и, туго обняв меня, со свирепым смехом натирает мне жестким снежком лицо. Я отбиваюсь с хохотом, и мне вдруг становится неловко от этой грубости и как-то страшно, потому что он вкусно, по-мужски умело целует меня в мокрый набитый снегом рот. И отпустив объятия, медлит минуту: как я поведу себя далее?..

Мы за эти часы шутили много, изрядно подружились, самое лучшее — все обратить в шутку. И я говорю немножко докторальным тоном, что это безобразие, Валя. Мы с вами ведь не парубок и дивчина! Инцидент исчерпывается. Валя — шофер столичный. Джентльмен. И очень доволен, что я отнеслась к его порыву не по-бабьи, но как следует. А я лишний раз убеждаюсь: эстетические впечатления и эротика — неразделимы.

На шоссе, к нам из лунного моря вынырнули две уже

знакомые фигуры с криками «стой!». Видимо, приняли нас за тех, кто пилил елки воровски и, кажется, сумели удрать. Однако Валя отдал талон, мы не хотим, чтоб обнаружили вторую елку, он дает газ, позади затихает топот и раздается одинокий и какой-то жалобный выстрел.

— Они в воздух стреляли? — спрашиваю беспечно, когда в свете фар перед нами мерно заструился искрящийся от снега асфальт.

— Должно, в воздух! Они, видать, не дюже вредные. А то могли бы свободно и в шину врезать! — В этом случае напрасны были бы и вся наша рискованная поездка и моя парикмахерская жертва. Мы запоздниились. На Арбат мы уже не поспеем, не успеть мне переодеться по ритуалу встречи! Надо еще и Вале самому добраться домой до двенадцати.

— Нажмем? — спрашивает он. Я соглашаюсь: «Нажмем!». Распластавшись на запрещенной скорости, машина только подлетывает на ухабинах, только какие-то вихри назад, назад уносятся. Это страшно, но я не пугаюсь по-бабьи, не ахаю: черноглазый, напружиненный, сильный Валя уверенно держит руль и сбережет обе наши жизни для новогодней встречи. Иногда по каким-то техническим причинам он сбрасывает скорость. Потом снова:

— Нажмем? — Нажмем! — Шины просто визжат. Зарево на горизонте распадается постепенно на купы огней. Потом из сине-голубого пространства мы вступаем в море золотистого света. Город. Машин на шоссе теперь гораздо больше, но не встречных, нас теснят спереди и сзади, все спешат в Москву встречать ближе и ближе подступающий Новый Год. Он уже давно «идет по стране». Как и у нашей, многие машинные крыши покрывают зеленые лапы елок, ветви и верхушки торчат из кузовов грузовых автокаров. Будто двинулся на Москву сам Бирнамский лес.

Я рассказываю Вале легенду из «Макбета». Валя знает Шекспира по «Ромео и Джульетта» в театре Революции с Бабановой и «Гамлету» у Вахтангова. Как все москвичи, Бабанову зовет Бабанихой. Потом, когда мы обсудили контраст пейзажа, от которого уехали, с горячим сиянием городских огней, я читаю ему краткую лекцию о холодных и теплых тонах в живописи. Ему, работающему ныне в картинной галерее, это знать полезно. Что-то философствуем о времени, которому в вечном его течении люди ставят какие-то вехи. Шоферу Вале явно нравится такой «умственный» разговор, он вставляет реплики на равных.

На Арбат явно не успели: «Там пацаны, должно ревуть». Валя никак не хочет двигаться «шагом», обгоняя, лавируя, рискуя проколом в правах. Вот мы уже в самом сердце Москвы,

пробираемся к Калужской заставе. Скоро одиннадцать. Москва упрятывается в дома. В каждом почти окне — цветное и блещет. С улиц исчезает бензиновый дух и они пахнут снегом и хвоей. Вот уж редкие гудки нарушают воцаряющийся на улицах покой. Уличные репродукторы гремят: «Москва моя, ты самая любимая!».

— Нажмем, Валя! — Нажмем. Мы хозяева обожаемого города, везем его детям праздник. Это для нас сегодня поются советские песни. Это нам сегодня скажет приветствие по радио — телевизоров еще нет — какой-то член правительства. Мы гадаем, кто скажет? Сам? Вот и звезды над Кремлем…

— Товарищ Сталин, должно, уже бреется! — говорит Валя и поглаживает собственную щетину. И тень этого товарища будто осеняет столицу безоговорочно нами любимого, нашего единственного в мире государства, в самом сердце которого мчится наша машина, пахнущая не кровью, но хвоей.

Гарькину елку втаскиваем на третий этаж бегом. В передней всплеск детского восторженного визга. Гости, оставив танцы, бросаются закрепить крестовину, навешивать разложенные на диванах игрушки.

— Благодари своего Деда Мороза, — говорю я мальчишке. В ликование включается Елена и бежит наполнить мне ванну. Боже мой! Лицо мое исцарапано, шапочка будто игольчатый еж, задом наперед, волосы клочьями перепутаны с хвоей, я вся усталая, потная.

Однако герой вечера Валя обнимает меня при всех и смачно целует с восклицанием: «Женечка-то у нас — жинка первого сорта!». И торопливо отвергнув все изъявления благодарности, исчезает к своему пацану.

Из соображений педагогических приказываю маленькому эгоисту Гарьке снести еловых веток соседским детям, у кого нет дефицитного деревца. Гарька бормочет, что завтра он подарит Валиному Юрке свою железную дорогу. Ну, — не дорогу, так лучший свой самокат.

Среди гостей мой возлюбленный, ради которого, собственно, я «не жалела затрат», чтобы в этот вечер быть особенно привлекательной. Не сбылось. Слава Богу, хоть обмылась немного. Профессор стоит у дверей и смотрит на меня без приязни: почему этот шофер при всех меня поцеловал? Что может быть общего между мною и шофером? — спрашивает, деликатно ревнуя.

— А что? Валя — человек первого сорта! — отвечаю шутливо. И как объяснить гелертеру, что общее было: и очарованный луною ночной лес, и опаснейшая гонка по гололеду и дело общее — подарить радость нескольким московским ребятишкам.

Непонятно академикеру: были не шофер и научный работник, а просто два человека в одинаковых обстоятельствах риска. О такой ситуации позднее скажут: «С этим человеком я пошел бы в разведку». И мой очкастый отлакированный профессор почему-то перестает мне нравиться. Он прикрепляет к моему будничному измятому платью новогодний сувенирчик — крохотную, в мизинчик, игрушечную фигурку японочки. Крохотка эта чудом сохранилась среди моих довоенных вещей. Еще жива и, совсем растрепанная, служит почетным украшением моих новогодних елок. Она-то и дала мне сюжет этого рассказа. После новогодних тостов я повествую о злоключениях необычной экспедиции. Известие, что «в нас стреляли», мой академике? встречает с предельным ужасом, Гарька с восторгом, остальные с недоверием.

А прелестная, с надломленными, но искусно подправленными ветками елочка-сестричка, мною собственноручно убитая, еще суток пять-шесть постепенно умирала в жарко натопленной квартире, где обитали среди ковров, бабушкиного хрусталя, книг, умных разговоров с цитатами из классиков люди первого сорта, люди довоенные…

— С Новым годом, Валя, — говорю я утром тихонько и прикрепляю к спинке убогой больничной койки отломанную мною для него елочную веточку. Ну, что вам снилось сегодня?

— Огни Москвы, — пытается он улыбнуться и дышит с клокотанием. У Вали оказалась двухсторонняя пневмония, сульфидина у нас не было, и через трое суток он умер.

Глава II
ВСЮДУ ЖИЗНЬ

«Заключенный имеет право передвигаться»… На этом слове наклеенный на стенку листок с «Правилами для заключенных» был оборван на курево.

— Гм… Передвигаться, следовательно, право дано — размышляю я вслух, читая оборванную строчку. — Это уже большое право. — Оказалось, продолжение фразы такое: «передвигаться в пределах зоны».

Когда в 1945 году в ПФЛ случилось мне, ввергнутой в образ «трофейной скотины», попасть по работе в шахте на вершину терриконика, я увидела, что сибирская равнина вокруг до самого горизонта усеяна какими-то высоко огороженными серыми, как лишаи, прямоугольниками. Позднее узнала, это «зоны». Для заключенных. Их только в поле зрения моего было до десятка. Как лишаи на коже земли. Уже родной земли! Русской! И сами мы, репатриированные, жили в такой «зоне».

Вот в такую же зону, огражденную от «воли» высокими остро оструганными поверху, тесно стоящими тесинами — еще Достоевский называл их «палями» — нас «передвинули» из кемеровской тюрьмы тесною толпою «по шесть в ряду», с конвоирами. Сакраментальное правило «Шаг в сторону считается побег» я знаю еще со времен ПФЛ, когда строем нас гоняли на шахту, уже не различая, кто из нас профессор, кто бывший полицай, кто эфирное женственное создание. Так что мой переход на дно жизни, в первый круг моего ада, был все-таки подготовлен постепенно.

После следствия и суда я недолго провела в общей тюрьме. Встречена была в большой и светлой камере без нар, где сидели и лежали на чистом сухом полу, относительно радушно (Верочка подготовила — ее осудили раньше меня на 10 лет, как мне сказали камерные девки). «Радушно» — значит, у меня не разграбили вещи, хотя из интеллигентов и вообще «политических», фраеров я оказалась одна среди воровок и «бытовичек». Воровки составляли в камере особую группу и, хотя «выражались» нестерпимо, показались даже симпатичными. Уже заранее предупрежденная, — тюремным же персоналом — я принесла с собою курево (после суда купили конвоиры) и щедро раздавала жаждущим. Эта моя подельчивость тоже, вероятно, мне была зачтена, ибо «фраера», как правило, жадничают.

С интересом наблюдала нравы и знакомилась с терминологией. Позже мне рассказали, как одна дама, «тоже очень интеллигентная», попав впервые в такую общую камеру, в целях самозащиты решила продемонстрировать свою солидарность с урками и сразу же, войдя, стала материться.

Урки возмутились такому «нахальству» и не только отняли вещи, но и побили. Я же интуитивно с первых минут себя всей этой публике не демонстративно противопоставила, осталась такою, как я есть, даже сделала незлобное замечание: что это вы, женщины, так смрадно ругаетесь? Объяснили: это отличие «преступного мира», обычай. Ну, обычай, так обычай!

Оказывается, в тюрьме и лагере так и следовало себя вести «фраерам» — не приспосабливаться к среде, а: вы — сами по себе, я — сама по себе! Кто нарушал — жаловался, ворчал, «наблатыкивался», тот быстро опускался. Природный такт и сговорчивый характер не подвел меня. Сперва инстинктивно, а потом по убеждению, чтобы не нивелировать свою личность: я быстро поняла, что целью заключения интеллигентов вместе с блатными, собственно, и является разрушение личности. Всегдашняя моя корректность и обеспечила ту грань, через которую ни разу не преступили и мои товарищи по заключению и

блатные: впоследствии девки останавливали порою друг друга: «Бесстыжая, при Борисовне чего материшься!». И девки бывали «на высоте». Вообще же крупные урки тех лет при бессовестности в преступлениях, в общежитии умели вести себя в «порядочном обществе». Не раз убеждалась.

В первой моей такой общей камере очаровательная девочка-ангел, убившая своего ребенка, хвастливо рассказывает подругам, возможно для моего устрашения, об участии в каких-то жутких садистских преступлениях, но я не реагирую гневно: вы — сами по себе, я — сама по себе!

Охотно мне объясняют непонятную терминологию. «Скачок», узнаю я, — воровское предприятие, «сидор» — мешок и проч. «Мой чисто академический, безэмоциональный интерес к их профессии этих девок как бы умилил даже, и одна из них, когда я усомнилась в чем-то, предложила мне: следите за моими руками! Разговаривая о том, о сем, слежу бдительно. Через минуту-другую она протягивает мне мой платочек, который у всех на глазах вытянула у меня из нагрудного кармашка. А потом, подойдя к какой-то бытовичке сказала: «Эй, отдай, а то потеряешь!» — и мгновенным движением сдернула у нее шарфик. И не отдала обратно, как мне.

При нелюбви к чтению урки любят слушать устные рассказы начитанных. Я им рассказываю: «Поймите меня, девочки, на душе тяжело, голова пуста!» И отступились, помню только, девка начала рассказ о Тарзане, как он «жил на березах». Мне не смешно. От Верочки, прошедшей через эту камеру, женщины знают, как я тоскую по мужу. Это они уважают: «Не приставай к человеку!».

Девчата хорошо пели. Очаровательная убийца ребенка пела «Однажды вечером, когда пилотам делать нечего». Спели мне знаменитую «Централку»:

«Централка, я твой бессменный арестант.

Пропала юность и талант в стенах твоих…»

Ёрнических блатных песен типа «Драла-фу, дра-ла-ла» не пели, я услыхала их позже, уже в Арлюке.

Но вот: «Выходите с вещами!» — и мы толпою в тюремном дворе. Конвой счел нас и издевательски подвел итог: «Шестьдесят человек. И все ни за что!» — Куда? В пути догадываемся: на шахту!

Плетемся городом, потом осенней степью с островками уже облетевших берез. В пути разговор конвоиров: «Ну что такая (кивок в мою сторону) в шахте будет делать?» — «Дело найдут! Наверно, машинисткой поставят!». Понимаю, что речь идет не о ремингтонной работе. Сердце сжимается. И идти, как всегда в

толпе, не могу. Заметив, конвоир приказывает: «Возьмите у этой женщины вещи!». Мой «сидор» с добром помогает мне нести Граня, простая хлыстовского вида женщина с лицом истерическим и нездешним, бывшая в заключении не впервые за спекуляцию и шинкарство. Она сопровождала мой лагерный путь почти до самой «Шарашки». «Ничего! Постепенно привыкните!» — утешает она меня, — Господь-батюшка никого не оставить».

И до самого конца заключения пешие переходы в этапах с вещами за спиной были для меня самым тяжелым физическим испытанием.

Уже вечером перешагиваю порог нового своего жилища — женского барака в пересыльном Кемеровском лагере при шахте.

Первое впечатление — никогда не виданная ужасная черная грязь и вонь. И темнота. В огромном бараке только круги света там, где под самым потолком убогие лампочки. Остальное — тонет в полумраке, в котором копошатся оборванные черные — шахта ведь! — женские фигуры.

Но еще удивительнее одно из первых сильных впечатлений: в этих оазисах света сидят оборванки и… вышивают. Вяжут, мирно считая петли, смеются… Смеются… Здесь, в этом тусклом аду, на самом дне жизни, занимаются рукоделием, т. е. чем-то все-таки эстетическим.

Здесь даже декорации из «На дне» показались бы уютом, потому что тянутся тут многие тесные ряды топчанов, а за ними, когда глаза привыкают к мраку, видны нары общие, без всяких перегородок. Все у всех на виду.

Впрочем, одна отгородка у входа есть. Оттуда ко мне выходит… Баба-Яга. Лохмотья ее ужаснее и зловоннее, чем у прочих. Из-под какого-то стеганого грязного капора — в казарме не жарко и сыро — свисают серые пряди, лицо цвета измятого коричневого сапога, единственный зуб ходит во рту, когда она заговаривает со мною. И при первых ее словах чувствую: старуха очень интеллигентная. Это каптерша. Она предлагает мои личные вещи, мой «сидор», сдать в каптерку на хранение. В каптерке за перегородкой она и спит.

По лагерным понятиям я одета «шикарно»: на мне каракулевая серая шапочка и такой же воротник, еще не потерявшее столичную форму пальто из добротного бостона. Сколько раз потом лагерное начальство через нарядчиков и прорабов предлагало мне «купить» у меня мои «каракули». Мне удалось все-таки до самого освобождения сохранить мои жалкие «наряды» от посягательств. И не украли. И только в театральной шарашке увидела я на женщинах-актрисах остатки каракулевых и котиковых шубок.

Среди вновь прибывших одна я имею вещи. Сдавая их на хранение, узнаю, что старуха сидит по 58 статье уже 18 лет, хотя приговорена была к 10. Спрашиваю: за что? — промолчала. Много позже постигаю, что на этот вопрос никогда не отвечали бывшие троцкисты и эсеры, они сидели фактически «без срока», уцелев «по недосмотру». Муж рассказывал о знакомстве с эсером, просидевшим десятки лет. Его привезли в Москву, и крупный энкаведешник демонстрировал его подчиненным со словами: «Это ваш недосмотр!».

Ведьма бранится с бабами, покрикивает на них властно. Ее вроде бы побаиваются: абориген! Истинно: «Я твой бессменный арестант!». Сердитая, страшная, злая, посреди этого копошенья тел единственно своя!

Места для меня ни на топчанах, ни на нарах не находится. Дневальная, дюжая яркая баба в бархатной «полудошке», дерзко заявляет: «нету!». Остается пол. Выбираю сухое место. Постель у меня своя: Одеяло Каргиных, замызганный по камерам матрасик и подушечка, узенькая, блинная с моей детской кроватки, до сего дня у меня живая.

На общем фоне грязи постель выглядит ослепительно чистой.

Стелю у столба, подпирающего потолок. Представьте, я крепко и сладко засыпаю!

— Подъем! — кричат у дверей на рассвете. Сразу же вся казарма шевелится. — Эй, поднимайтесь, б..! — звонко и весело орет дюжая баба — дневальная. Румяная, здоровая, молодая.

Я демонстративно лежу.

— А тебе што? Отдельно приглашение от надзора?

— Во-первых, я вам не «ты», — спокойно лежа, отвечаю. — А во-вторых, вы же обращаетесь к б… А я не б… Следовательно, могу лежать…

Баба деревенеет от удивления. Немеет. Каптерша Баба-Яга что-то ей шепчет, и дневальная отходит молча и совсем другим тоном кричит: «Поднимайтесь, поднимайтесь, женщины, на поверку!». Тогда поднимаюсь и я… Нас выстраивают «по шесть», вошедший надзиратель долго нас пересчитывает, тупо шевеля толстыми губами. Некоторые девчата стоят на ледяном полу босиком, ежатся: их валенки «в прожарке», то есть, в сушилке.

Тогда-то и попадает мне на глаза клочок «Правил для заключенных».

«Право передвигаться мы, оказывается имеем. Тогда еще не все потеряно, бабоньки!» — шучу я, и все смеются. Мой отпор дневальной казарма встретила доброжелательно: а то что это такое, в самом деле, одни матюги да матюги! И шутка моя сразу вводит меня в коллектив.

— Ты, Борисовна, не тушуйся, — успокоительно шепчет соседка-бытовичка. — В лагерях тоже очень свободно можно прожить!

«Не тушуйся». Я впервые в живой речи слышу слово, введенное Достоевским в литературу, чем он особо гордился. И именно то, что его словечко я слышу здесь, меня как-то подбодряет.

Оказывается, здесь умываются. Возле умывальника суета, и все хвалят Бабу-Ягу, которая сегодня чуть подогрела для умывальника воду на плитке своей каптерки. Чищу зубы только я одна. И гребенка у меня своя. Это впечатляет. Гребенка приобретена в Италии и бережно пронесена мною через весь мой семилетний «срок». А что касается головных вшей, я их уже принесла сюда из общей тюрьмы. И с этим богатством не расставалась уже до самой театральной «шарашки».

Наш «этап» ведут на комиссование в санчасть. «А что придется мне делать в шахте?» — спрашиваю у симпатичной сестры Тамары, ведущей запись.

— Ну, какая там шахта с вашими сердечком! — ласково обнадеживает она. И с этой фразы начинается отсчет фактов, когда в лагерях заключенные спасают друг друга, конечно «себе подобных», не всех. В применении к себе могу насчитать десятки случаев. Иногда даже думала: может быть, есть пометка какая в личном деле? Все вспоминала фразу моей адвокатши на суде: «Этой женщине надо помочь сохранить в заключении жизнь (примерно, так она отстаивала мою случайную роль среди тех, кто обагрял руки кровью соотечественников). А может быть, уже тогда произвела впечатление на медперсонал моя заграничная изношенная шелковая рубашечка и скромнейшее, но изящное платьице со штопанным-перештопанным воротничком! Как ни удивительно, хорошо одетые в «свое» зеки ужасно впечатляли, и опасно было по одежде-лохмотьям слиться с общей массой. Мне повезло: у меня ничего не отняли урки. С мужчинами этого почти не случалось.

Назначают меня в «починочную мастерскую» — в зоне, где ремонтируют одежду и обувь «работяг» (тоже новое для меня слово!). Мы — «придурки». В первые дни погибаю от брезгливости: чиним немыслимо грязное, вонючее. С фронтов прошедшей войны для нашего брата получают прошедшие все сроки одежды, простреляннные, прожженные, в крови и кале.

Пальцы болят от протыкания иглою полушубочных кож и ватол. А вокруг все завидуют: тут-де в сравнении с шахтными работами — рай. Вероятно, это и есть их «рай»! Воздух вонючий, пыль, зараза, «зато тепло»!

Игнорируя присутствие нас, женщин, среди которых есть и немолодые «матери», сапожники, бригадиром у которых высокий советский немец, ругаются лагерно, грязно, поминутно повествуют о своих сближениях с женщинами. Особенно неистовствует в этих рассказах бригадир. Встретив его несколько лет спустя в другом лагере, хотя я уже отупела к подобному, почувствовала то же отвращение к нему, как к жабе, какое вызвал он у меня в первые дни.

Рядом со мною работает милая румынка или молдаванка, немыслимо, просто неправдоподобно оборванная, сидящая «за переход границы» (ходила к родне за линию кордона). Она уже давно пересидела данные ей пять лет. Сначала не выпустили «до окончания войны». Но вот уже и война окончена, а она все сидит «до особого распоряжения».

Все чаще сталкиваясь с пересидевшими срок, начинаю волноваться за свой — относительно малый. Ну, как и мне… И, действительно, в день моего освобождения — 12 июня 1953 г. — я пережила такое: за мною до позднего вечера не прислали, как надо было, на освобождение, может, что-то выясняли. Оказывается, я не была еще до ареста зачислена на спецпоселение. Однако времена были другие — Сталин умер весною. Все же «начальничек» пришел, а документы мне выдали только 14-го и я уже «вольная» ночевала в зоне заключенных. Не думаю, что это была только «забывчивость». Но поселения, что мне до амнистии полагалось, я миновала. А формулировка «до особого распоряжения» для 58 статьи в описываемые времена была в обычае.

В этом первом моем лагере баню почти не устраивали. За два-три месяца раз помыли и раза два «прожаривали» вшей — без мытья. А желанная баня обернулась новой бедою. Вымытым женщинам брили подмышки и лобки. Из-за лобковых вшей. Волосы на голове уже не сбривали у женщин, как прежде, разве только у особенно вшивых, но с бритыми лобками и подмышками мы ходили еще несколько лет. Это может быть было и спасительно, но в том кемеровском лагере брить голых женщин пригнали мужчин-парикмахеров. Трое или четверо их — для скорости — стояли перед скамьями, на которые должны были становиться выходящие из бани, мокрые, и девушки и старухи с отвислыми животами, которых сами парикмахеры называли «мамашами».

Большее надругательство над женщинами, даже проститутками, придумать было трудно, но это, видимо, входило в общую систему уничтожения, унижения, деморализации личности, столь характерную для фашистских пенитенциарных

систем. Девушки прятали лица, плакали от унижения и стыда матроны-матери. Не скажу, чтобы сами «стригали» были особенно циничны, но когда один из них, брея лобок, ласково сказал молоденькой: «ну раздвиньте немножко ножки», она, закрыв волосами лицо, закричала, завыла: «Бабоньки, я зарежусь!».

Стригали, хоть и не виноватые, были невольно явно возбуждены, красны, вкрадчиво успокаивающе повторяли: «Мы, де, как фершала, вы нас, женщины, не стесняйтеся!..». Неужели в многосотенном лагере нельзя было найти женщин, владеющих бритвой, как это бывало на других лагучастках? А еще ведь о начальнике этого лагеря говорили как о человеке гуманном!

Обычно баня, несмотря на соседство с угольной шахтой, стояла оледенелой. Заведовал ею прелестный голубоглазый русский «дедушка», как его мы называли. Прибежишь к нему, бывало, голову помыть или простирать что. Потихоньку от надзора охотно на своей плите воды нагреет, впустит в ледяную баню и приговаривает при этом:

— Ах, вы, пташки, бедные! Господи, до чего женщине чижало в лагерях! Ведь она, голубушка, постоянно к чистоте стремится!

И самой ополоснуться и постираться — ведь у ей же кровя! Да бедненькие же вы мученицы!

— Что за милый дедушка в бане! — сказала я однажды другому деду, образованному интеллигенту, просидевшему в лагерях почти двадцать лет. Этакий бородач. Весьма учен, но прост. Как Лев Толстой. Сидя явно по «политическому» делу «до особого», видно, тоже был «из трокцистов». Он постоянно носил котелок у пояса — может что перепадет. Этот абориген был первым моим советчиком в этом лагере. Шутил: «А вы уверены, что КВЧ — приличное слово?». (КВЧ — культурно-воспитательная часть). Я пугалась: а вдруг это замаскированный лагерный мат! Он и посоветовал мне подать заявление об отправке на Яю, где условия «более человеческие». Когда я восторженно отозвалась о банном дедушке, интеллигент сказал, что тот сидит тоже бессрочно за бесчисленное число убийств. Настолько не поверила я этому, что однажды сама бестактно спросила об этом банщика. И он подтвердил с простотою: «Да, убивал, касатушка, убивал живое! Нравилось мне это! Теперича завязал. Лет пять-шесть не тянет. Я ведь и в заключении уже убивал — удержаться не мог. Мне новые строка (сроки) наворачивали, в психлечебнице содержали, в одиночке, а я — опять. Теперь вижу, что старый стал: не тянет убивать живое, не тянет!»

— Вот вы Бога упоминаете часто, — не унималась я, хотя видела, что старику разговор неприятен. — А грех?

— Эх, не грех, касатушка, когда Бог меня вот таким убивцей

сотворил, ножи да топоры мне в руку вкладывал. Без его воли, сказано, ни один волос… — Я потрясена такой «Достоевской» философией.

— А как убью, бывалоча, жалко, ох, жалко мне всех людей делается. И тогда помолюсь. «Воля, Господи, твоя!». Теперь, слава Богу, отпустило. Шестьдесят пять годов мне. И, скажи, ведь тверезый убивал! Не пил, не пил сроду! И убитых не грабил, не корыстовался, ни к чему мне это все было. — Я поражаюсь архаической лексике явного маньяка. Будто читаешь Лескова.

— И не жаль человека было?

— Чего их жалеть! Он животная плоду-у-щая. Одного уберешь — народятся сто.

— И не являются они вам?

— Не-е! Чего им являться — мертвяки! Я, знаешь, в Бога-то верю, а в загробную жизнь — нет! Сказано: «Ни печали, ни воздыхания». А «жисть бесконечная» — это уже попы придумали, прибавили к песне этой. — Старик встал и ушел, будто по делам. Страшная философия вроде бы нищего духом старика-маньяка в то время потрясла меня лишь фольклорностью своей, патриархальностью самого образа убийцы, потому что страшное житейское обступило меня тогда, как живой кошмар.

После кратких дней общей тюрьмы это второе мое соприкосновение с будничным «обыкновенным преступным миром» (так сами себя называют урки в официальных разговорах). Там — развязные современные девчата с модными прическами, здесь — живой разбойник и еще, и еще другие разновидности. Убеждаться начинаю: это на 90 % — врожденное в их крови. Никак не исправишь, да еще в советском скотолагере. Надо таких уничтожать — в этом гуманность. И в то же время — они люди… злые и добрые, и умные даже попадаются изредка. Какая же мерзость — люди! Ведь тут даже не социальные причины. Их нужно изолировать особо. Но их смешивают с нами, с сотнями тысяч «бытовиков», с массами народа! И развращают его уже социально.

Девочка-крестьяночка, чистенькая и невинная еще, пришедшая со мною из тюрьмы и на первых порах искавшая моей защиты, («Тетечка, я коло вас буду!»), уже отошла от меня и ее уже гуртом изнасиловали «малолетки» (была и такая категория зеков). Сплю я еще на полу. И однажды, проснувшись, вижу привалившуюся к моей подушечке (из детской кроватки) посапывающую кудлатую, прикрытую «сиблонкой» (стеганая матерчатая шапка с ушами) голову… чувырлы! Так зовут в лагерях, а быть может и вообще в Сибири, вконец опустившихся, потерявших образ человеческий, людей. В этом лагере при голоде

и страде их были сотни. Это были, так сказать, отходы «дна».

Немыслимо грязная, воняющая сопревшей резиной чуней, сопревшим потом лохмотьев, псиной, девчонка-малолетка, когда я возмущенно спихиваю ее со своей постели, гундосо взвывает в полумраке спящей казармы.

— Тетечка, не гони меня! Не гони! Замерзла я дюже: под топчанами сплю. Дай около тебя чуть согреться! Ну, дай! Все бьют, все толкают, матерят. На мне вшей мало, ей Богу, почти нету!

Девчонка молитвенно прижимает черные от угля руки кулачками к груди. И я, вдруг постигнув такую человеческую беду, подумала: ведь и я такая стану, конечно, как все эти оборванцы, сидящие тут без срока, как Баба-Яга, как молдаванка, переставшая уже умываться, как тот интеллигент, с котелком у пояса, похожий на Толстого. Вот придется сидеть бессрочно, и — стану! Ведь теперь эта девочка-чувырла сестра моя!

И позволила ей спать рядом, положив вшивую голову на детскую мою подушечку. На другой день девчонка — ей можно было дать не более 13 лет, из-за истощения — после работы за зоной направилась прямо ко мне. Еще и принесла какие-то замызганные где-то украденные морковки. И мы их ели. С неделю она «шестерила» мне с отменным усердием, смотря на меня с преданностью собачьей. Гордилась моим покровительством и даже сбегала к «дедушке» обмылась и постиралась (так говорят в Сибири). В выходной день била у меня в голове вшей — сама предложила «поискаться» — и когда попадалась под ноготь крупная, вкусно втягивала слюнку. Я тут припомнила «Искательниц вшей» А. Рембо. Обедать в нашу смрадную столовую я могла не ходить: чувырла получала у бригадира мою баланду и приносила в барак: это была высшая степень «шестеренья».

Соседки удивляются, что я приблизила к себе чувырлу. Я объясняю: она человек, и мне ее жаль. Дневальная поколотила ее в мое отсутствие: «Чего к человеку пристала?». На мое замечание «Может, и я такой же буду», дневальная, присев рядком, объясняет, что и в лагерном мире есть свои социальные градации, что и тут есть «очень даже приличные люди», что сравняться с уркой мне никогда не придется, и моя лагерная судьба приведет меня неминуемо в стан «придурков» — привилегированной категории. Но я не отгоняю девчонку.

И вот замечаю, что девка часто хватается за промежность. В чем дело? И признается мне деваха, что у ней в промежности «чирьи» не болят, но чешутся и пачкают штаны. Из амбулатории ее систематически выгоняют, так как она однажды нагрубила

сестре матюгами. Я сама зашла в санчасть и попросила Тамару девчонку принять и помочь.

Девчонка пошла на прием и в барак не вернулась. Но скоро прибегает ко мне Тамара: «Вы с нею спали? Ели?» У девчонки оказался махровый сифилис. Меня увезли в санчасть. В течение моего срока несколько раз брали кровь на Вассермана, спирохет не было. Милосердие, оказывается, вознаграждается! Я в этом убедилась и еще раз, когда ела с умирающим от скоротечной чахотки Сашей мороженое одной ложечкой: надо было, чтобы Саша поверил, что у него не чахотка. Я и тогда не заразилась.

Сумрак. Духовный и буквальный. Среди этого удушливого мрака вдруг узнаю: в зоне бывает раз в неделю кино. Я не пошла. Среди этого ужаса — кино! И еще удивительнее: Тамара попросила принять участие в лагерной самодеятельности. Помочь, как она сказала. Я опять ужаснулась: Спектакль? Концерт? Да они с ума что ли сошли? Вот уж истинно пир во время чумы! Согласилась только потому, что это участие освобождало меня от грязнющей работы в починочной, а главное, от общества циничных сапожников, где я буквально задыхалась от скабрезностей.

В «Предложении» автоматически сыграла Наталью Павловну, роль, приносившую мне и прежде и потом успех. И еще в водевиле Лабиша субретку. И в этой роли вдруг поймала себя на том, что играю с интересом, ищу «краски» (например, ловя мух) и вообще, занимаюсь творчеством. Что это? Я живу? Я разве живу?

Хотя какому-то начальнику КВЧ не понравилась в роли Натальи Павловны, но все в восторге и советуют просить спецнаряд на Яю, где есть неплохой стационарный театр. Я пишу заявление.

Генерал Шамарин, начальник кемеровского ИТК, дочь которого я, живя в Кемерово, будучи секретарем музучилища, «подтягивала» по теории музыки, прислал на меня лично им подписанный наряд. Но не на Яю, а в «Черту», лагерь «страшный», для «спецконтингента». О «Черте» в нашем лагере говорили с ужасом люди бывалые. Этим лично подписанным нарядом генерал указал следуемое мне по его понятиям место. Негодяй просчитался к моей удаче: вот в Черте-то я и попала в общество «себе подобных» и убедилась, что чувырлой в лагерях становиться не обязательно. Черта находилась в городе Белове.

Труден был, как всегда, этап. То, что я сильно ослабела от голода и ужаса, я при сидячей работе пока не ощущала. Но после ночного перехода по льду Томи при посадке в «вагонзак» (изобретенный еще во времена Столыпина вагон для перевозки арестантов) я попросту упала на перроне с тяжелым «сидором» за

плечами. Конвоир, страшно матерясь, досадливо пнул меня прикладом в спину в заплечный мешок. Рабочие в тот миг заполняли пригородные поезда. Когда негодяй стал меня пинать, из толпы «вольных» раздались крики: «Что ты, сволочь, делаешь? Зачем женщину бьешь? Когда на вас проклятых погибель придет, когда вы передохнете, чтоб людей под «дудоргами» не гонять!? Когда мы вас перестреляем, сволочи!» и т. п.

Это настроение «вольных» просто крылья мне придало. Люди! Люди за нас! И тоже закричала конвоиру: «Дурак, я так до вагона не добегу!» И негодяй перестал гнать, хотя мы запаздывали, отставши.

Это был мой первый этап в вагоне — «столыпинке». Перед ним уже стояла на коленях, как полагалось, понурив головы, толпа заключенных мужчин. Руки за спиною. Со ступенек вагона конвоир выкликал поименно по списку с указанием года рождения, статьи и срока.

Пала на колени и я, пока считали и принимали мужчин. Их по одному вгоняли со страшной торопливостью в вагоны, отличавшиеся от прочих зарешеченными окнами и дверями. Внутри — я вошла последней — был обычный коридор классного купейного вагона, с одной стороны которого тянулись двери в купе. Только вместо глухих вагонных дверей были вставлены решетки, как в зверинце. И пахло как в зверинце — мочой. «Купе» были набиты до отказа, стражи навешивали на решетчатые двери замки. Из коридора, где прогуливались конвоиры, было видно, что в каждом купе делается. Зеки тоже, как обезьяны в зверинце, видели своих часовых. Поезд пошел, часовые ушли в свои отсеки.

Я оказалась в женском купе одна. Бывалые лагерники предупредили, что в уборную выпускают неохотно, поэтому поняла причину зверинцевого запаха. Предложили всем пить. Я отказалась, и конвоир проворчал: «Ишь, опытная!».

Самое страшное оказалось впереди. Около Белове в мое «купе», приняли партию женщин из тюрьмы. Стоял декабрь, а все почти были одеты по-летнему: арестовывали их летом. В тесноте согревались. Кто-то, не призывая конвой, журчал прямо в угол, под нижнюю лавку, хотя там тоже, при особой тесноте, случалось лежали люди.

Высадили нас уже в темноте. Сосчитали коленопреклоненных. Погнали. Идти было километра два. Но ослабевшая, не евшая почти сутки, я не смогла поспеть за бегущими из-за сильного мороза полуголыми людьми. Упала. Потеряла сознание. Очнулась. Колонны уже не видно, а надо мною стоит один солдат. Лицо его в темноте неразличимо. Поднялась, шатаясь. Поплелись. А ноги ватные, не идут. Впереди

— огни. Сердце где-то у горла. В голове — грохот и гул. Завод впереди, при нем лагерь, до которых — чувствую — не дойду. Падаю снова и снова. Вот, умираю, хватаю возле себя цепенеющими руками снежок, охлаждая запекшийся рот, говорю солдату: «Дяденька, солдат, не дойду я, не могу, хоть убей! Да ты и убей, ради матери своей, убей меня, скажи, что я бежать хотела. Ведь вам при побеге стрелять можно. Убей!»

Уже второй случай, когда я прошу конвоира меня убить. Первый раз это было во время репатриации, в Австрии, в Граце, когда я отстала от толпы репатриированных, в темноте и тоже, давясь собственным сердцем, молила оставленного со мною конвойного: убей, братик! Голубчик, убей! Я соблазняла его часами своими у меня на руке (их потом похитила Дуська): «У меня часики швейцарские, отличные, возьми их, а меня убей».

Невидимый в кромешной тьме солдат безмолвствовал по уставу, но стал подталкивать меня к какой-то вроде бы стене. Почему была такая темнота вокруг — войне-то конец? Но тогда огней не было: то ли электричество у них погасло, то ли самый акт нашей немыслимо жестокой репатриации им надо было утаить от местного австрийского населения.

Последнее верней.

Только мрак и какая-то стена. И, подойдя к ней, я обернулась к вооруженному солдату, который все молчал. Готовно повернулась, полной грудью, чтоб ему ловчее было стрелять. А он все молчал, дулом автомата направляет меня куда-то правее. «Чего он хочет? — думала я — ах, это он хочет меня прикладом, чтоб выстрела не услышали». И, упав на колени, подставляю голову… Но вдруг «стена» зашевелилась, там тихо зашептались. Она оказалась бортом машины — крытого грузовика, в котором с открытой задней стороны стояли люди.

— Примите еще одну женщину! — тенорком сказал мой конвоир. Там не откликнулись. Он повторил приказание. Ко мне протянулась рука, меня с моим заплечным мешком, с которым я шла и теперь, втянули наверх. В машине чем-то пахло. Кровью? Мертвецами, которых «по счету» надо было сдать сэру Сталину? Возможно. Возможно, в таких машинах увозили от наших эшелонов наши трупы. Люди, толпившиеся у заднего борта, безмолвствовали, в их молчании чувствовался какой-то ужасный смысл. Быть может, в передней части машины были сложены трупы?

Только когда машина отъехала, с открытым задним бортом, зашевелились: оказывается, странный запах расценили по-своему, думали душегубка.

Машина провезла нас не более 500 шагов. А в темноте перед

посадкой советские солдаты сказали: идти 50 км, чтобы люди побросали вещи им на разграбление…

Так и теперь, полтора года спустя, я снова молила солдата о смерти, только соблазнить часиками уже не могла. А конвоир, хотя разговаривать с ним не разрешалось, добродушно — мы ведь были один на один — бормотал: «Ничего, бабушка, уже близко, дойдем потихоньку!» Было мне тогда 36 лет.

А потом меня материл дожидавшийся в утепленной проходной соэтапник, потом был суп с белой(!) картошкой, от запаха которой я потеряла сознание. Баня, чистая, светлая, с прожаркой. Казарма с железными койками-вагонками, каждому — койка. И вспомнила я, что Миша Земцов еще за границей по опыту прошлых лет говорил: кто перенес этап, имеет шанс выжить, что этап в заключении — самое страшное.

Наутро — медицинское комиссование. Я вчера в бане не узнала своего тела, исхудавшего, изъеденного вшами. И доктор Жарков сразу же заявил спасительное: «госпитализировать». А потом пришел посмотреть на меня прибывший вместе с нами из-за рубежа еще не посаженный доктор Л. В. Болотов, оставленный сперва на поселении и работавший вольным начальником санчасти Беловского куста лагерей. Вокруг были интеллигентные лица. Боже мой!

Но мне предстояла Черта недалеко от Белова, от персонального наряда в которую отклониться было невозможно. Туда я приехала уже назначенной медсестрою на мешках с продовольствием. И когда вошла в амбулаторию, мне навстречу встал полустарый человек, врач-поселенец Алексей Петрович Семенченко.

— Я так и знал, что это вы, — сказал Алексей Петрович. — На сколько же вас замели? — Он, и доктор Болотов, и я были в одном медицинском бараке в Граце.

Святой человек! Оставаясь «вольным» — на поселении и спецпроверке, он жил с заключенными в зоне, с ними голодал и болел и, кроме меня, спас многих и многих сострадальцев, пока его года через три по полной невинности не отпустили домой. Он был первым моим медицинским учителем, и если жив, коленопреклонно, кланяюсь, а умер — пошли ему, Господи, Царство небесное!

А страшный «спецконтингент» Черты к моменту моего приезда составляли наши, уже получившие срок, казаки. Многие знали меня и мужа. И кинулись ко мне. Эмигранты прикладывались к руке. Ошибся генерал Шамарин, отправляя меня в «Страшную Черту», на гибель. Ошибся!

Глава III
СОРОКОВЫЕ

1. Голод

Из Томь-Усы на Беловскую пересылку везут и везут умирающих от голода: пеллагриков, цинготников, да немало еще у нас своих, беловских, дистрофиков.

В самой большой палате составлены двухэтажные койки-вагонки, меж которыми медленно слоняются остовы людей с опухшими ногами, в белье, запачканном испражнениями. На нижних вагонках те, кто двигаться уже не может. В палате 100 человек. Это не больные. Они умирают только от голода.

Ежеутренне я с большим деревянным подносом медленно иду по проходу между вагонками и раздаю пеллагрозным и дистрофикам драгоценное «лекарство»: белый хлеб. Мы сами с сестрой-хозяйкой бережно и скрупулезно делим его на пайки, позволяя себе попробовать только самые мелкие крошки.

С вагонок на меня глядят яйцевидные, пустые, будто эмалевые глаза. Лица — все как одно — с лошадиным черепным оскалом. Только жадные глаза и желтые длинные зубы: десны источены цингой и голодом. Большинство уже не подымаются: санитарки не успевают менять белье, в палате запах испражнений, горький запах великой человеческой беды. И хотя белье и матрасы в Белово пропускаются через банную «прожарку», в бельевых швах, на бровях, на лобках у этих людских остовов шевелятся серые крупные педикулы. Всех видов. Как ни боремся мы с доктором Алексеем Петровичем со вшивостью, вши до отчаяния неистребимы, будто по народному поверью «выползают из кожи» умирающих. Тут стоит одному заболеть тифом — эпидемия неизбежна. Доктора «посадят». Но за весь мой семилетний срок, до самого конца (кроме периода «шарашки»), сопровождаемый вшами, по крайней мере, головными, тифа не было. Чудо, что ли?

Я вкладываю куски белого хлеба в костлявые холодные пальцы, и они сразу, не ожидая «приварка», тянут хлеб в рот, чтобы жевать, медленно, вдумчиво, выделяя слюну, жевать и глотать. Вся суть каждого сейчас в этом глотании.

Я знаю по спискам, что среди этих людей есть инженеры, учителя, агрономы, хотя большинство — литовские «фермеры», но сейчас все они — глотание — больше ничего. Каждый был индивидуальностью с целым особым неповторимым миром, но здесь личность нивелирована — все одинаковы, как черепа, как скелеты. Только много позднее один из этой палаты заговорит со

мною о возможности достать какие-то книги. Двигаясь по палате в направлении обратном, я ежедневно вижу, как некоторые уже не жуют, остывают с мякишем во рту, не стеная, не жалуясь, не охая. И еще страшнее вижу: к непрожеванному новопреставленным рабом Божиим хлебу тянется костлявая или подушкой отекшая рука соседа, бережно вынимает кусок из мертвеющего рта и подносит к своему, а иногда вместе с выпавшими зубами, оставшимися в мякише, или кровавыми следами десен.

Умирало иногда до 30 человек. За сутки. И почему-то особенно в утренний час раздачи пеллагрозного белохлебного лекарства. Раздав хлеб, я снова иду между рядами коек опускать, прижимая пальцами, застывающие веки недожевавших.

Однажды на дежурстве ночью в амбулаторию, где я делала отчет, пробрался из той палаты едва двигающийся остов человека. Отдышавшись, он сообщил о смерти нескольких однопалатников и заговорил тихонечко и доверительно…

— Сестра, ну чего вы торопитесь… их, жмуриков, выносить?! Худые они дюже, до завтрего не будет запаху от них. Ты их сейчас накрой с головой, а заявку о смерти завтра вечером дай. Выписанные им паечки нам достанутся. Мы все смолчим, вся палата. И себе, и дежурной санитарке хлебушка добавишь. Шутки, почти два кило настоящего хлеба!

И задыхаясь, держась руками за топчан, чтоб не свалиться, рассказал, что в Томь-Усе они так постоянно делали. Прятали умерших по несколько дней между своими телами, при надзоре при поверке «для понту» даже вроде разговаривали с ними. А выданные на них пайки делили между собою соседи. Ведь заявка на завтрашних живых дается после вечерней поверки!

Так мертвый кормил живого.

— Где толстый сохнет, там тонкий сдохнет» — вздыхает бывало какой-нибудь «тонкий, звонкий и прозрачный». Это были лагерные пословицы.

Голод в лагерях был везде, и на воле был, но в Томь-Усе был мор. Строить новый город с осени завезли несколько тысяч «государственных преступников» (политическая статья № 58), преимущественно западников — латышей, литовцев. Несколько эшелонов выгрузили на высоты гористого берега, там, где Уса впадает в Томь. Там не было еще и бараков для жилья. Ослабевшие от длинного этапа люди должны были их строить сами (так, почти всегда начинались «сталинские» лагеря). Продовольствие в достаточном количестве завезти не успели: внезапные снегопады — и лагерь в горах оказался отрезанным от «материка». По рассказам, от 3 тысяч зеков осталось — 300.

Начлага, капитан С. И. Иванов и начальник санчасти,

переведенный из Белово врач Болотов ничего не могли сделать для спасения «контингента». В зиму расконвойка не имела сил зарывать сотни покойников в грунт, их просто зарывали в снег, как обычно, раздевая догола, так как даже лагерные подштанники в те «голые годы» можно было поменять на еду. Весною снег потаял, воды пошли, и по Томи поплыли сотни голых трупов. Скандал по области был большой, даже до лагерников дошли слухи об этом.

Иванова разжаловали в лейтенанты (он потом был у нас нач. КВЧ). А доктору Болотову, из репатриированных военнопленных, дали 25 лет, и срок он отбывал в одном лагере со мною. Я помню, как я была потрясена, увидев его в зоне, моего спасителя, в сером костюме «кавказского сукна». Наш бывший «вольный» начсанчасти идет по зоне в ипостаси зека, отыскивая знакомых среди нас.

Меня от Томь-Усы уберегло чудо. Зимою Алексей Петрович безжалостно «гонял» меня на бессонной работе, без сна и подмены. Устала я страшно. Позднее узнала, что делал он это, чтоб я избежала цинги… Спасибо ему. Оказывается, озабоченность работой от нее спасает.

Однажды покровительствующая мне знакомая, заключенная бухгалтерша, сибирячка Тонечка по секрету сказала мне, что на меня их Томь-Усы пришел так называемый «спецнаряд». То ли постатейно (там собирали «политических»), то ли Алексей Петрович схлопотал. Он сказал мне: «Там доктор Болотов, там вам будет хорошо». Я обрадовалась перемене обстановки: во-первых, в бытовых лагерях я была «белой вороной», меня часто снимали из медсанчасти на общие работы постатейно, во-вторых — устала от требований А. П. С его помощью я накопила немалый сестринский опыт и перемен не боялась, уверенная, что сестрою удержусь при любом враче. Спецконвой (по спецнаряду полагался) избавлял меня от трудностей этапа, таких везли в общих вагонах, полагался и конный транспорт. Я с нетерпением ждала. Спецконвой за мной не явился в дважды намеченные сроки. Бегаю на вахту: нет спецконвоя! Чуть ли я не в слезах. И тогда наш начохраны сказал мне тихо: «Благодарите сестра своего Бога. Ведь в Томь-Усе — страшный голод!» Так и осталась я в Белово, и когда весною к нам стали везти описанные мною полутрупы, поняла, от чего спас меня «мой Бог». А может и кто из людей — того я никогда теперь не узнаю!

Голод встретил меня в Сибири с первых же дней. Сначала в ПФЛ это было просто «скудное однообразное питание». Потом на поселении ели голую картошку, обмененную на хлеб (он стоил дороже). Только перед самым арестом, работая недолго уже в

Отделе искусств, в Кемерово, удалось мне попитаться более-менее вкусно в спецстоловой для ответственных работников. Помню, получив от мамы первую ее денежную помощь, я купила на нее буханку черного хлеба, большую, и в один присест незаметно, отламывая куски, съела ее одна. Заворота кишок не было.

Четыре месяца тюремного питания с малой поддержкой покупного молока, которое приносил немолодой и самый симпатичный старший надзиратель на отобранные им у меня в сумке личные деньги.

В первом Кемеровском лагере я вижу себя в мокрой зловонной столовой перед… не миской, нет, но маленьким деревянным корытцем, разбухшим от горячей мокроты, сколоченным из досочек с квадратным дном (мисок не хватало), как у свиней, а в корытце «баланда из палочек» и рыбьих костей с черной, редко попадающейся, мороженой картошкой. «Палочки» — мелко нарубленная сибирская колба, так там называют дикий лесной чеснок-черемшу. Вкус — ужасен. Вторым блюдом служила ложка (буквально) каши пшенной или овсяной, колючей. Если она с соей, то казалась вкусной, как шоколад.

Если во время еды на мокрый скользкий столик с раскиданными обсосанными рыбьими костями положить рядом пайковый хлеб, зевать не приходилось: из-под столешницы мелькала худенькая маленькая рука — хлеб исчезал.

В зоне были так называемые малолетки, заключенные подростки, особенно голодные и особенно воровитые. Как ни избивали взрослые детей за такие кражи, они все равно шныряли в столовой, и, притаясь под столами, хватали с них что придется: хлеб, миску с хлёбовом, рукавицы, шапку, без сбережения положенные. В первые дни опытные лагерники наставляли меня поведению в столовой. Правой рукой черпаешь, бывало, левой придерживаешь.

Грязные, полуголые, босые, дети эти были более несчастны, чем преступны. Кто посильней — отнимал у них лагерную еду и одежду или они проигрывали ее в карты блатным.

Неслучайно при виде белого, пахнущего перцем супа в Белово, я упала в обморок. Не всегда была так обильна и хороша баланда, но я прибыла с тюремным этапом, а таких принято было кормить досыта.

Роскошь перечного аромата объяснялась просто: в ту пору работал в Белове доктор Дмитрий Жарков, сидевший за провоз из научной командировки в Чехословакию нескольких «запретных» книг. Его «взяли» прямо в таможне. Санчастью заведовал репатриированный доктор Болотов. Они не позволяли красть.

Повар был из финских военнопленных Костя. Жарков в своих посылках получал специи из дому, отдавал их на кухню, и они с Костей делали «чудеса». С уходом Болотова и Жаркова питание резко ухудшилось.

Много позже такие «чудеса» помню в Киселевском лагере.

Подлинный голод — мор, правда, закончился, но зеки томились однообразием питания. Завстоловой назначили бывшего владельца какого-то роскошного рижского ресторана, до этого пропадавшего «на общих». И он ухитрился даже из свеклы делать вкусные блюда, из картофельных очисток — картофельную муку для киселей, из апельсиновых корочек, которые из своих посылок обязаны были зеки сдавать на кухню, из яблочек-дичков, похожих на вишни, совершенно несъедобных в сыром виде и бесподобных в варении. В дело шла и костная мука. Столовая выглядела, как ресторан, с белыми простынями вместо скатертей, по мере разбогатения лагеря их заменили стеклом, с фонариками из проволоки и стеклянных осколков, сделанными по образцу японских изделий из лагерей для военнопленных японцев. Инвалиды ходили по ягоды и грибы. У входа сами зеки-умельцы сделали искусственный грот и фонтанчики. Все это было уже тогда, когда 58 статью отделили от урок, а оставшиеся ассимилировались как-то среди нас.

Но все это было уже в начале 50-х годов, и как жаль, что ушли в небытие фамилии зеков, создавших этот уют, украсивших безрадостную жизнь, а следовательно спасавших психику товарищей. Конец голода ознаменовался появлением в зонах животных, и хотя кошки и собаки женского пола не допускались, такое это счастье — подержать в руках пушистое тельце котенка!

Но все это — потом. А пока блатные девки угощают меня супом из «баранчика», которого они, будто бы, украли на объекте работ. Вкуснятина немыслимая. Но потом мне признались, что это был украденный жирненький щенок.

Священная лагерная пайка! Это хлеб — 600 граммов был самым вкусным, самым главным питанием, и на «воле» его вполне хватало бы, чтобы не пасть, но зеки умирали: видимо, главным тут был сам фактор заключения, моральный фактор с каторжной тяжелой принудительной работой, стужей, этапами, бранью, нечистотою, грабежами «политических» при соседстве с урками.

Голода-мора я лично не перенесла, но голодное состояние испытывала годами, хотя за свой срок получала редкие посылки от нищей мамы и богатых родственников… Почему-то я не боялась голода так животно, как другие зеки, идущие на любые унижения, чтобы пожрать и покурить. Я помнила: задача у них

сломать Человека в человеке. Надо было не поддаваться животности, не «шакалить». Правда были случаи, когда «шакалили» с юмором, в компании, но так с юмором к этому и относились.

Не знаю, что было бы со мною при голоде-море, но старалась изо всех сил не терять достоинства. Фельдшер вольный Петя спросит себе каши и молча оставит ее мне. Я на утро: «Вы оставили кашу, она скиснет. Можно, я ее отдам тому-то?..» Он смотрел на меня, как на сумасшедшую. Потом понял: «Подрубаем, сестрица?» — Тогда я ела. В Киселевском лагере я долго не имела посылок. Понадобился мне доктор Тоннер. Стучу к нему в комнатку. У него, запершись, компания из нарядчика и «нужных людей» уничтожает домашний, кем-то из них полученный в посылке, торт. Но не они, а доктор приветливо: «Покушайте с нами тортика!». Если б они сразу позвали, или владелец торта угощал, я бы съела с визгом счастья, но так… Подумают еще, что узнала и нарочно зашла… «Нет, спасибо, я не очень сладкое люблю, да и печень у меня…». И притворила дверь за собою. Слышу: «У, какая она у вас гордая!» А у меня на глазах — слезы. Как ни странно, за то меня больше уважали и не дали бы погибнуть, настигни меня голод-мор.

«Баланда из палочек» и овсюг были постоянной пищей. Годами. Вечером же ждешь утра, когда раздавали хлеб. Вкусный-превкусный. Черный-пречерный. До сих пор помню его запах, как и запах лагерных баланд. Мы шутили: выживем — дома приготовим лагерную баланду. Не случилось, может быть потому, что на свободе невозможно было найти такие мерзостные продукты, какими кормили нас. И если Ленинград на стендах музеев бережет «блокадные пайки», нигде не демонстрируется ни статистика умерших от голода, организованного правительством 30–40 гг. в лагерных морилках, ни наша баланда.

Некоторые получали посылки. Я редко, но все же могла «угостить» хоть раз в год нужных или милых мне людей. То, что необходимо угостить нужных, я поняла сразу. Это давало шанс на дальнейшее покровительство, в котором я все-таки нуждалась в бытовых лагерях, не имея юридического права на облегченный труд по «статейным признакам».

Получающие посылки вообще уважались, как и до сих пор в нашем обществе уважаются люди богатые. Работяга «угощал» нарядчика и бригадира, придурок — свое начальство и милых ему людей. «Я с ним кушаю» (или «с ней») — это была формула лагерной дружбы. К посылкам относились как к самому ценному имуществу, хранили их в каптерках. Одна папироса из посылки — тоже считалась угощением. При получении посылки надо было

точно рассчитать, кому что дать.

В голод блатяки за посылки нашего брата убивали. Особенно страдали латыши и литовцы, которые получали их постоянно, почти никогда не съедая сами.

Угощая из своих посылок, кого следует или кого очень жаль, я однако избегала брать у больных. Разве кто уж очень радушно потчует! Бывало — как сестре-придурку принесут кусочек сала или папиросы: «Напрасный заряд! Будет вам плохо, я и так помогу, будет мне худо, может быть сама попрошу, а пока кушайте сами!». Очень была растрогана, когда блатной принес мне кусочек сала и, уже зная меня, сказал: «Это не ворованное, вот ей Богу, из дому мне самому прислали!».

За восемь лет моего заключения голод косил людей до конца сорок девятого года. Но еще были силикоз и туберкулез.

Умер Саша Козловский, казак, военнопленный, знавший мужа моего, и поэтому мне особенно дорогой. Его гибель от скоротечного туберкулеза ускорила, а быть может и вызвала, ошибка врача, назначившего ему «круговые банки». Мы скрывали от Саши, что умирает и от чего. Он же, догадываясь, все предостерегал меня от заражения. Тогда, чтоб он нам поверил, я ела с ним с одной ложечки мороженое, которое чудом и за большие деньги схлопотал однажды в зонный ларек Алексей Петрович. Я выйдя из палаты, промыла горло, немного волнуясь: все-таки! И ничего! Так же как с сифилитичкой, милосердие было вознаграждено. Саша был первым трупом, анатомируемым на моих глазах. Среди сотен других умер от скоротечной формы Володя Крейн, русский немец. Вызванная на вахту, я рассказывала его отцу, инженеру-поселенцу о последних минутах сына единственного, и буквально на моих глазах волосы отца покрывались сединою.

Новый, назначенный вместо доктора Болотова, начсанчасти, фельдшер Подковыров, немолодой хладнокровный красавец, старый чекист, старался спихнуть тяжелых больных в лагери специально госпитальные — были такие, — чтоб уменьшить у нас процент смертности.

Бывало, что больные кончались по дороге к вокзалу, тогда трупы возвращали нам. Если же умирали после посадки в вагонзек, Подковыров довольно потирал руки: это уже не входило в нашу статистику смертности. При Подковырове, собственно, врачевала самостоятельно я — уже «опытная» сестра, он ничего не умел, даже наложить скобки, только «боролся» с процентом смертности. Синеющих, отекших, предсмертно хрипящих закутывали и увозили, увозили…

Однажды в таком состоянии отправили некоего Фрундина. И

очень волновался начальник санчасти: успеют или не успеют погрузить. Вроде бы успели: труп обратно не привезли. И какова же была моя радость, когда года два спустя, уже в киселевском лагере (для «госпреступников»), уже работая в театре, вижу, идет бригада, и в первом ряду шагает могучий дядька — Фрундин!

2. Лорочка

Среди впечатлений лагерной жизни незаписанное:

Как-то на рассвете на носилках в нашу беловскую лагерную больничку принесли из общего барака стонущую Женю Тарду. Рядом с нею пищало под простынею с проступающими кровинками что-то живое. Плацента уже вышла благополучно. Я сделала все необходимое. Юная мамаша вся была покрыта расчесами — диагностированными как чесотка. «Я не буду кормить, — шептала. — Пусть умрет!»

Оказывается, Женя, совсем еще юная девчонка, очень мало знающая о процессе рождения ребенка, все время «скрывала» беременность, не ходила в баню, туго бинтовала живот. Думала — вот рожу потихоньку, выброшу на мороз или в уборную, и никто никогда ничего не узнает. А главное, не узнает старшая, воспитавшая ее, очень, очень строгая сестра. Обе они из Харькова.

У Тарды был один год заключения — «детский срок» — за какое-то незначительное воровство или опоздание на работу — и была она «пригнана» с Украины на работы в Сибирь. Из, так называемой, «хорошей семьи», столь строгой, что юное существо, еще девственное, ничегошеньки о половой жизни не знало. Казалось: и рожать можно «потихоньку», чтоб никто ничего не заметил…

А лагерный врач Дима Ж-ов был страстный «девочник». Узнав, что Женя — девушка, дефлорировал ее и обрюхатил. Потом его взяли на другой лагучасток. Сама Тарда застенчиво отрицала его отцовство, может быть, после дефлорации ее и «обрюхатил» другой, но сам доктор Ж-ов, когда я вновь столкнулась с ним на Тыргане и рассказала, был обрадован и посчитал отцом себя. И адрес Жени взял.

— «Не буду кормить, — рыдала девочка. — Меня дома убьют, если приеду с ребенком». — А срок ее освобождения был уже близок.

— А ну, корми! — наступали мы, обрядив ее и ребеночка — девочку. «Корми, а то убью тебя, негодяйку!» — гремела я. И Женя дала сосок, налитый молоком.

И тут случилось чудо! Сжимая сосок чесоточной рукой, она терпеливо совала ребенку в крошечный ротик коричневый кончик

груди, и лицо ее, почерневшее от пережитой муки, постепенно светлело и улыбалось.

И новорожденная стала жить! Назвали ее Лариса — Лорочка по желанию матери. Она рассказывала: «Живот у меня был некрупный, да я его еще утягивала. Пятна на лице появились — девчонкам говорю: «от загара». Женя была «расконвойка», т. е. ходила без часовых, весь день на работе, на ночь приходила в барак только спать. И никто, вроде бы, не замечал. Когда же ночью начались роды (она догадалась: «Это уже роды»), девочка молча лежала, накрытая одеялом (койки у расконвойки были отдельные) и терпела муки. «Вот хорошо, что ночью, — думала, — выброшу в уборную — никто и не заметит». Но ребенок закричал, и все открылось. Тогда, уже родившую, ее принесли к нам.

Так я стала 38 лет «бабушкой» Жениной крохотной Лорочки.

Мать ее менялась на глазах. Попавши в условия больнички, все же человеческие, перестала быть замкнутой и грубоватой. К девочке своей привязывалась все сильнее. Говаривала: «Ах, как я могла!» Ребенок оказался здоровенький и крепенький, рос быстро и делался просто очаровательным. Первые недели мы лечили мать от чесоточных струпьев, от «цветения» кожицы у малютки. Сложена юная мамаша была неплохо: высокая, стройная, но тело было какое-то «плебейское» — дряблое и не юное. Женя до конца срока оставалась в стационаре, в чистоте. Встав после родов, снова пошла на работу, в зону приходя несколько раз в день на кормление, и почти круглые сутки (я тоже жила в палате) ребенок был на моем попечении — утехой всего женского общества медиков и больных. Белье для ребенка мы сделали из старых мягких простынь, раздобыли и кое-какое одеяльце.

Какое счастье было мне — впервые в жизни — пеленать, купать грудничка. Особенно трогательна была она, когда при пеленании или после купанья рефлекторно вытягивалась в пеленке «солдатиком» — ручки прижимая к бокам и смыкая ножки, тянулась всем упругим розовым тельцем и, довольная, сухонькая, засыпала рядом со мною. Я брала тугонький сверточек и выходила «за бараки», на воздух. Если заплачет — качала на руках и пела ей «колыбельную»: «Долог, долог путь до Типперери» — очаровательную песенку английских солдат. Ее по-русски исполняли на эстрадах в Кемерово певицы. И ребенок привык к мотиву и тотчас засыпал.

А как от Ларочки пахло! Живем детским теплом и птичкой!

Никак, никак не утомляла меня эта малютка! А крохотные ручки, которые она клала мне на шею, когда, голенькую, я осторожно прижимала ее к груди! А пузыри, которые она пускала

от удовольствия, когда ее сжимали путы пеленок, поднимая круто полненькие розовые ножки! А как пыталась в рот взять пяточку!

Женя Тарда даже немного ревновала ее ко мне, т. к. только кормила. Лорочка даже ночью спала рядом со мною: матери надо было хорошо выспаться для дневной работы. Она от матери, уже насытясь, сразу тянулась всем тельцем в мои руки — бабушкины.

Приближался час освобождения матери из заключения. Начальству уже не имело смысла этапировать ее в спецзону для «мамок», т. е. женщин с грудными детьми. Тарда нервничала: что ей скажут домашние?!

Времена были нищие, послевоенные. Женя очень беспокоилась, что у нее при освобождении заберут, как она говорила, «шинелку» (без мягкого знака), ею как-то за зоной приобретенную, совсем новенькую: в описи ее вещей шинелька записана не была, а при освобождении полагалось «шмонать» и отбирать казенное. А из шинели она хотела по освобождении, уже дома, сшить себе пальто. Я обменяла у нее подержанный грубошерстный свитер на шелковую кофточку, присланную мне в посылке из дому. Как девчонка радовалась кофточке! Как пригодился мне этот «тардин свитер» в дальнейшем моем «хождении по мукам»!

«Шинелку» у нее отобрали все-таки. Об этом я узнала из открытки (довольно грамотной), присланной мне ею с дороги.

Расставанье с Лорочкой мне было тяжело, но я знала, что уезжает она с уже сильно любящей ее мамой. Пришла и еще открытка, уже из Харькова. Как ни трепетала девочка перед встречей ее родными «с дитем на руках», все обошлось, конечно. Встретили ее и ребенка — без недоуменья.

Оказалось, она им и не писала, что попала в заключение. Узнали, обрыдали и приняли ее и ребенка радостно и родственно.

Вот в памяти моей розовый младенец (увы — не мой!) и пускает пузыри и ножки вытягивает, и ручки при пеленании! А «младенцу» тому уже, если жив, пятый десяток на исходе…

Боже, как долго живу! Сколько житейских волн надо мной прокатилось!

3. Островок гуманности

Умер… Умер… Умер… В те два года смерть была будничным событием в нашей больничке. Врачи спасали людей, как могли, но не случайно мы прозвали нашего тогдашнего начальника «профессором Андреевым» (подлинная фамилия). После врача, просматривая списки амбулаторно пришедших и освобожденных от работы по болезни, начлаг обязательно вычеркивал несколько

человек, лимитируя число освобождаемых: «Вы, конечно, доктор, — говорил он, — ну, а я тут профессор!» Поэтому при массе больных и ослабевших получить лагерный бюллетень было непросто, нелегко, и порою очень больные люди выходили на тяжелые «общие», где бригадиры требовали от них полноценного труда: не освобожден — значит, здоров!

Так погиб молодой студент Коля. Пришел на прием к вольной милой фельдшерице Лидочке с жалобами на сильную боль в животе. Список с разрешенным количеством больных был исчерпан. Мальчик стонал. Но Лидочка, боясь «профессорского» гнева, дала ему что-то болеутоляющее и пообещала освободить его утром, если боли не пройдут (был еще прием перед самым «разводом»). Мальчик не пришел «клянчить», и его прямо с объекта увезли в хирургическое отделение беловской городской больницы, где с конвоем помещались те, кто нуждался в операции. Прободной аппендицит с уже начавшимся перитонитом…

Умирать Колю привезли к нам: горбольница тоже заботилась о своем «проценте». Более мучительной смерти в своей практике не упомню. В горячем бреду мальчик срывал повязку, кричал. Заплаканная Лидочка сидела возле него сутками. Он звал маму и какую-то Люсю. Благодаря малой и «легкой» его статье, труп для похорон выдали матери — он был местный житель.

Умер… Умер… Умер… После вынесения из палаты их раздевали, они валялись в погребе. Их объедали крысы. Потом расконвойка увозила закрытую рядном телегу. Говорили, каждому полагалась могила под №, но едва ли это соблюдали: зимою грунт мёрзлый, а техника в те годы была — лопата!

Когда в помощь мне, наконец, взяли вторую сестру, кстати, боявшуюся трупов, западники и наши казаки ждали моей смены, чтобы умереть в мое дежурство: я и крестила покойников и в палате укладывала тело по обряду. «Мы, сестра, твоей смены ждем, чтоб под твоей ласковой рукой умереть», — шептали мне бескровные губы.

Более года я умирала с каждым, почти не снимала халата, почти не спала, и об этом времени вспоминаю, как о самом светлом, самом духовном периоде своей жизни. Самоотверженность такая корни имела в моей любви к мужу, отбывавшему срок тогда на Дальнем Востоке. Все мне казалось: как я им, так и ему кто-нибудь… Хранится у меня чудом уцелевшее письмо одного больного, парализованного во время аварии молодого казака Жорика Коваленко. Такое мнение больных обо мне — быть может, оправдание всей моей жизни! Исступленное самоотвержение в борьбе за жизнь людей, их

утешение, безусловно, спасло меня от духовного маразма, на который обрекала вся советская пенитенционарная система.

Но все, однако хотели в ней выжить. Не забыть случайно попавшего в нашу пересылку заболевшего в этапном пути какого-то очень интеллигентного мужчину. Его речь, его бред, все повеление, изобличали большую духовную культуру, но кто он — мы не знали. Он умирал. Кажется, от пневмонии, и несколько полных суток я сражалась бессонно за его жизнь и победила. Немногословный и замкнутый, узнав от врачей, кому он обязан, обратил ко мне упрекающий взор: «Ах, зачем, зачем, сестра! Я так хорошо бы умер!». Его увезли, едва стал вставать. Кто он был?!..

Каждый больной был для меня Человеком. В уходе я не делала разницы между «своими» и урками, интеллигентами, столь редкими в этой системе лагерей, и людьми «простыми». Однажды ночью умирал у меня урка-мальчонка. В окно освещенной палаты смотрели его товарищи.

— Что это? Темно! Подыхаю я, что ли? — хрипел.

— Ну что ты, голубчик! Тебе жить еще, да жить! Это у тебя кризис, вот к утру станет лучше! — И перекрестила мальчишку, когда умер. Блатные, оказывается, видели все это, да и многие у меня в руках побывали, и прослыла я среди них «Человеком», и никто из них никогда, ни разу меня не обидел. Если чужие прибывали, наши им: «Эту — не трогать!». Уже в театре у меня перед спектаклем урка Губа украл костюм Ставской: дамское платье — свое и, к ужасу, мех, данный для спектакля какой-то начальниковой женой. Я не побежала к надзору. Режиссер Иван Адамович пошел к блатным, и костюм вернули, не измяв, на плечиках, как был. А Губа сказал, коли б я пошла к надзору — в печке сожгли бы костюм «сходу».

Из чемодана моего, стоявшего под кроватью, мамка-урка перед отъездом украла кусок материи и рубашечку. Другие девки сообщили в «мамский лагерь», ее там «отметелили» и все хлопотали, чтоб вернуть мне рубашечку «с оказией», по письму наших девок.

Островком гуманности казалась мне санчасть среди океана человеческого горючего горя, хорошо организованных государством человеческих Страданий. Сражаясь за жизни, я как бы сражалась со всей системой отечественного фашизма. Профессиональное равнодушие, да и относительное, овладело мною только уже к концу моего семилетнего срока, когда уже после театра я снова некоторое время работала в санчасти — в Маргоспитале. Однако и там были у меня «спасенники». В Анжерке, где меня «стравили» из санчасти «по статье», девчата, знавшие меня по Белове, не раз выкриками требовали от

начальства, чтобы сестрою у них была я, а не бытовички, постоянно против меня успешно интригующие. В глазах начальства такие просьбы делали меня особенно подозрительно «опасной» политической преступницей. Девки материли на приеме сместивших меня сестер, кричали, что Борисовна вот-де и вливания делала безупречно, и чирьи вскрывала не больно, и диагнозы ставила правильно, и Человек была, а вы поганки, падлы, что понимаете в медицине?! А как я училась «понимать в медицине», я уже отчасти рассказала, как и о первом своем «медицинском действе» — родах в эшелоне. В медицинских познаниях, кроме умения читать и отчасти писать по-латыни, чего не умели массы сестер, мне помогла только моя общая культура и наблюдательность.

В сестринской практике моей мною была «запорота» только одна вена, возник один абсцесс (парень был уж очень угреват). По моему невниманию, обычному для всякого даже квалифицированного медика, возможно, погибли двое.

Больной Циммерман содержался в стационаре на положении санитара. Это была мера «дополнительного спасения». Старшим санитаром был тогда дядя Петя Швечиков, наш казак, работник безоговорочно прекрасный, небрезгливый, которого (так врачи и обо мне говорили) нам «Бог послал». С вечера Циммерман жалуется, что у него боли в животе. Я была очень занята, наскоро дала ему опий (!) и велела лежать. А ночью нечаянно заснула на амбулаторном диванчике. На рассвете, проснувшись, вижу, дядя Петя и Циммерман таскают в прожарку матрасы.

— Прошел живот? — «Нет; ужасно больно, но надо дяде Пете помочь». — А на лице «гиппократова печать». Поднимаю Циммерману рубашку: явный «острый живот». Его увезли в горбольницу, оперировали, и оттуда он не вернулся. Случай второй произошел на Пасху, которая в том году совпадала с 1 мая. На советские праздники «государственные преступники» в смешанных лагерях подлежали изоляции в особом помещении. Обычно это был «кондей» — лагерная тюремка, но по обилию в зоне в тот раз политических их заперли в особой казарме с парашей и зарешеченной дверью. Солнышко. Дверь открыта, мои сострадальцы глядят через решетку на мир божий. Я пробегаю мимо (как единственную женщину с 58 статьей меня не заперли, да и жила я в амбулатории).

— Контрики, милые, Христос воскрес! — кричу им, подбежав к решетке. А они, ответив «Во истину», мне говорят, что среди них есть тяжело заболевший ночью латыш и надо вызвать доктора. В этот миг надзиратель из блатяков-хулиганов с предельной грубостью прогоняет меня от барака. Это для меня чудовищно:

никто в зоне меня матерно не изругивал, и я, смятенная, бегу в больничку и жалуюсь Алексею Петровичу на негодяя, меня оскорбившего, в пылу возмущения позабыв, о чем сообщили заключенные. Хулиган-надзиратель отказался, оказывается, вызвать врача, мотивируя:

— Чтоб вы все передохли!

Уже вечером я вспоминаю о поручении, когда больного на носилках вносят в стационар. Что-то с печенью. Принятые меры не помогли, к утру он умер. А меня до сих пор гложет: скажи я врачу вовремя, может быть, выжил бы латыш. И все-таки при таких «специалистах» как я — «опытная сестра», которой приходилось и плевральные пункции делать — под руководством врача, а потом самостоятельно, и малой хирургией заниматься, и однажды даже вправлять кишку при «проляпсус ректи» — (быть может, иные врачи «страховались» мною при опасных случаях) санчасть была — «островком гуманности» в океане зла и жестокости лагерей.

Я читала медицинскую литературу. Первым моим учителем был терапевт Алексей Петрович, но подлинно опытной сестрой я стала уже в киселевском лагере при хирурге Иване Петровиче Тоннере, ненавидевшем «фельдшеризм» и лечение «порошками».

Темны, ох как темны были иные из наших казаков-«станичников»! Однажды я сказала одному из них, страдавшему язвой желудка, что сало и колбасу копченую из посылки есть ему вредно. Он просто «закатился» смехом: «Ну и придумали энти доктора, вот так придумали: да разве можно такое, чтоб исть было вредно?! Да что ты это говоришь, сестрица! Исть — вредно!?»

Надо сказать, что голод 40-х гг. «вытравил» язвы даже у хроников: язвенные клетки были съедены самим организмом! Не помню и раков пищеварительного тракта.

4. «Вольняшки» и зеки

Наичаще сталкивалась я с «вольными» служащими лагерей в медсанчастях. Нач. санчасти обычно был вольнонаемный, за ним стоял доверенный врач из арестантов. Бывали и «вольняшки» — сестры.

Еще в Белове, после отъезда врача Алексея Петровича Семенченко, когда в санчасти воцарился фельдшер (он же и нач. санчасти) Подковыров, прибыли три прелестных фельдшерицы: две Лидочки и Лиза. Все трое были к нам назначены после окончания медтехникумов с территорий, бывших в оккупации. И тогда, и позднее — заметила я — на этих молоденьких выпускниц

медицинских учебных заведений жадно набрасывались лагерные ахвицера и хватали их в жены.

Прибывшие фельдшеры были сперва в медицине так робки, что я считалась у них «авторитетной», опытной сестрою.

Похожую на пушистый персик юную, как весна, Лидочку быстро женил на себе начальник 2-й части Сондук — грубый мужлан. (Это он — цензор нашей переписки — заметил мне однажды: «По Вашей с мужем переписке я понял, что такое муж и жена»). Была пьяная, грубая сибирская свадьба, но, спустя месяц, Лидочка потускнела, похудела, сделалась мрачной, и ее подруги мне по секрету сказали, что Сондук зверски ее избивает. То ли — не «невинной» оказалась, то ли за явное сочувствие политическим заключенным.

Видимо, девочкам влетело от лагерного начальства за симпатии к нам. Одна из Лидочек даже кокетничала с нашими пригожими бравыми молодыми казаками и с хохотом играла с ними в волейбол… А потом все трое внезапно стали с зеками строго замкнуты и официальны, особенно Лиза. Улыбаться мне перестали.

Вся избитая до синяков Лидочка уехала домой, не отбыв и половины положенного срока (3 года) назначения на работу после техникума.

В Маргоспитале наши вольные врачихи были гораздо интеллигентнее своих сибирских мужей-офицеров. Муж врача Зинаиды Павловны медленно, с трудом читал, водя пальцем по строчкам.

И у меня случались курьезы. Еще в следственной тюремке мне понадобился врач. Звякнули дверные ключи, и на пороге появилась молоденькая докторша. И на ее лице был написан ужас передо мною — «народной врагиней», как ей внушали. Видимо, она ожидала, что я брошусь ее — «советского человека» — душить. В Маргоспитале уже в 50-х годах, близко к выходу из заключения, меня назначили дежурной медсестрой в отдельный госпитальный барак для «вольных». Там была масса начальственных «дам» в очень нарядном шелковом белье. И я сразу заметила, что узнав, что я «пятьдесятвосьмая», иные их них с превеликим недоверием принимали из моих рук лекарства (а вдруг отравит!), отказывались в мое дежурство от вливаний и т. п. (особенно те, в особо нарядных шелковых роскошных рубашках). Через неделю меня главврач снова отозвал в гнойно-хирургическое отделение (видимо, по их просьбе).

Позднее, уже в Пятигорске, я любовалась очаровательной пожилой дамой в соседнем дворе. Но когда, не зная, кто я, она сказала с достоинством «Муж мой работал «в органах» (так был

зашифрован в разговорах ГУЛАГ), я сразу же припомнила тех идиоток-«дам» и более ею не любовалась, хотя незлоблива по натуре.

Вольняшки в Киселевке проверяли рецепты заключенных квалифицированнейших врачей у врачей вольных. Так как же ныне, — в 90-е гг. не называть таким, как они, нас «власовцами» и врагами! Это у них уже в крови.

5. Блатные

Я их не боялась, не ненавидела, как большинство «мне подобных». Иногда они только раздражали. Я их прежде всего жалела за убогость их мышления, вызванную чисто биологическими врожденными качествами. Лишь малое число преступников воспитаны неправильно, большинство ими рождены. Для меня все они были «люди, попавшие в беду при рождении», реже из-за среды. Это отношение они чувствовали, и среди них я приобретала репутацию «Человека». Однако жить с ними было ужасно, и смешивали с ними не случайно, но обдуманно, для деморализации. Ведь не они были виноваты, что я очутилась среди их страшного мира. Не их следовало ненавидеть!

Когда в январе 1949 г., при выделении 58 статьи в спецлагери из бытовых, мы прибыли этапом в новую зону в Киселевске, и при лунном свете ожидали впуска, ко мне специфической «блатной» семенящей походочкой подошел «полупахан» Чистяков и заявил: «Борисовна, не тушуйтесь, тут Вы будете под нашим покровительством». Я вежливо поблагодарила, и было за что: в первую же ночь меня и Галю-татарку — двух только в мужском этапе женщин — политических в строго мужском до этого лагере — легко могли бы изнасиловать. И вот почему. Среди пунктов 58 статьи тогда существовал четырнадцатый. Его давали «за саботаж» уже имеющим срок заключенным, за побеги, за отказ от работы. Понятно, что крупные блатные, заключенные за дела разбойные, от работы в лагерях отказывались, бежали. Им и давали этот «довесок» к основному сроку. И они уже принадлежали к «политическим» и подлежали вместе с ними к совместному заключению. Иные из блатных старались избежать отправки на дальний этап или из какого-либо другого протеста, «выбрасывали лозунг», то есть писали на стенах какой-либо антисоветский призыв, например, «Смерть Сталину!». Их немедленно отдавали под суд, а пока шло следствие, этап уходил, угроза загреметь на Колыму или еще куда дальше проходила. А то, что они получали к своему первоначальному сроку

«политическую» добавку, их не беспокоило: «тюрьма — мать родна!» — было у них убеждение.

А в нашу среду таким образом проникал самый страшный, самый смелый и наглый «социально близкий элемент» — уголовники. При мне больше 25 лет им не «довешивали», но если арифметически сложить «довески» у иных, получался срок больший, чем человеческая жизнь. Чтобы в общество 58-х проникали при всех «изоляциях» самые страшные и испорченные уголовники, было весьма выгодно власти, озабоченной, чтобы как возможно больше ухудшить существование «контриков» и прослоить нашу в целом сплоченную массу элементом «социально близким». Только в конце моего срока появились для самых упорных саботажников «закрытые тюрьмы», которых они страшно боялись и даже переходили в разряд так называемых «сук», то есть, соглашавшихся работать, выдавать и прочее, что по их неписаным кодексам уркам запрещалось.

Случилось, что во вновь создаваемую киселевскую зону — спецлагеря для 58-й — первыми прибыли такие вот «политические» урки. Когда они в массе, они страшны поистине. Они там воцарились уже, освоились, а потом начали прибывать настоящие политические (то же было и в Черте, куда меня два года назад отправляли по статейным признакам. Когда я прибыла, политические уже возобладали и чуть ли не восстание подняли против обнаглевших урок, те забаррикадировались в отдельном бараке, пока их не рассосали по другим лагучасткам).

Так было и в этот раз. Нас было мало, уголовных много. Нас провели в огромный барак, откуда слышались срамные песни, мат и прочие признаки уголовщины. Нас с Галей втолкнули в маленькую фанерную комнатку, напротив которой была тоже маленькая надзирательская. На двери фанерного закутка было написано: «Омбулатория».

В совершенно пустой очень грязной комнатке этой, за грязным некрашеным столом, на котором стояла грязная баночка с какой-то мазью — остальные медикаменты урки уже разграбили — сидел в позе больного кокаду черномазый небритый человек в толстовке, оказавшийся врачом Зейналовым, азербайджанцем.

Вопреки лагерному правилу — врачей не трогать — урки его начисто ограбили, он остался «в чем есть».

Спать мы легли прямо на полу, я, Галя и врач. А за стеною была буря. Урки грабили прибывших с нами мужчин, большинство были наши казаки. Только и слышалось: «Вася, на помощь! Петя, ко мне!». И шум борьбы, мат, вопли. Зейналов постучал в дверь надзорки: «Запретите грабить!» — ответом было молчание наших стражей. Возможно, они имели в этом свою

долю. Доносились и выкрики, что в «омбулатории» заперты две бабы, две чернявых. Мы с Галей дрожали, но Чистяков, видимо, слово, данное мне, сдержал, к нам не ворвался никто.

Утром дверь «омбулатории» рванули все-таки, и вошел Васька Карзубый, так в блатном мире называют парней с щербатыми ртами или коронками. Он попросил «водички напиться» и схватил было мою мисочку.

И — откуда взялось бесстрашие! — я заорала властно: «Положи миску!» — я уже изучила психику удивительно трусливых урок.

— Положи миску, нахал! И ступай отсюда! Здесь не шалман, а медицинское учреждение! Тебе же в нем подыхать, парень, с разрезанным животом! Вон! — И ошалев от неожиданного и бесстрашного отпора, Васька уполз. Позднее в подобных ситуациях в этой же зоне доктор Тоннер говаривал блатякам спокойно сквозь зубы: «Я научу вас уважать медицину!». Я это сказала иными словами, инстинктивно. Зейналов, ограбленный ими и запуганный, смотрел на меня с ужасом и восхищением.

Вслед за Васькой пришел Петя Смирнов, военнопленный наш казак, бывший в Белове нарядчиком: у него на сохранившемся немецком френче ночью при его отчаянном сопротивлении вырвали «с мясом» карман со ста рублями. Он просил починить прореху: был человеком аккуратным и франтоватым.

А к вечеру совершился переворот: наши огляделись, блатных теперь оказалось меньше, чем наших. И казаки взяли урок «в работу». Вчерашние солдаты, работавшие в цехе дистилляции беловского завода, прилично кормленные, сильные и сплоченные, весь день смертным боем избивали блатяков, оголодавших здесь «на паечке» — грабить-то до нашего прихода было некого! Помогло и начальство, измученное в борьбе с блатняцкой анархией: Петю назначили нарядчиком, вместо «бытовика» Ивана Адамовича Райзина, режиссера будущего нашего театра — у него на работу не выходил ни один урка! — Все командные должности занимают наши: хлеборезы, повара, бухгалтеры. Я сестрою. Райзин — интеллигент — заведует «второй частью», то есть этапами и статистикой.

Петя начинает формировать рабочие бригады, раздавая направо и налево зуботычины. Блатные «суки» возвращают ему сто рублей! До копеечки! Он, правда, несколько крупных блатных «паханов» в бригады не включает: тут нужен великий такт, и начальство это понимает.

Жив ли Петя? При такой же ситуации, сложившейся в Черте два года назад, нарядчиком был назначен наш Евхаритский, поцеловавший мне руку, когда я в Черту прибыла (он знал моего

мужа). Потом в лагерях Сталинска урки убили Евхаритского топором. В зоне. За обедом. Из мести за Черту. Васька Карзубый позднее помогал нам делать бутафорию для организованного Райзиным театра. Глаза его были тускло пустыми, как у врожденного хулигана — убийцы, но мозг имелся. Я даже симпатизировала веселому забубенному Ваське. Едем однажды со спектаклем в другой лагерь. На шоссе тяжело работают женщины, вольные. Васька им кричит: «Бабоньки, ну чего вы на воле мучаетесь?! Пластаетесь?! Идите лучше к нам! У нас вечно пляшут и поют!».

Не работает в бригадах и Чистяков, тоже не лишенный ума. Он — врожденный убийца. Еще в Белове, лежа в больничке с разрезанным им самим животом, он мне рассказал доверительно: у них в семье, отягощенной наследственным алкоголизмом, все способные и даже талантливые, а он убийца. Так уж повернулись его наследственные гены: «Вот, как вам курить хочется, так мне порою — убить!». Некого? И тогда он «взрезает» самого себя. «Я калека моральный!» — говорил неглупый парень.

Был и еще один, бывший студент, начитанный и более-менее образованный и остроумный, как Михаил Светлов, фамилию не помню. Его остроты я даже записывала. Остальные остались в памяти безликой массой. Без конца урки враждовали: «воры в законе» беспрерывно сводили счеты с «суками» — нарушителями воровского устава. Резня между ними была постоянная. Кто «ссучивался», то есть, начинал работать в бригадах, считался вне закона, его воровские начальники — «паханы» могли убить. Алая роза резала белую, хотя на наш взгляд, все это было один сорт и вид. Некоторые яростно сражались за право остаться «в законе». Так совершенно взрослый урка, которого чуть ли не связанного приволокли на развод и поставили в бригадные ряды для вывода за зону выскочил из них и бросился «на запретку» — проволокой загражденное пространство между двором и дощатым забором, куда не разрешался вход. Его там убил часовой с вышки, как требовалось уставом. Пахан предпочел умереть, чем работать на «начальников».

В Белово на разводе, где я должна была присутствовать в качестве сестры, запомнила трагикомическую сцену.

Из «кондея» — карцера в ряды работяг втаскивают парнишку блатяка-одессита. Он отбивается ногами, кусается. Когда бригада двинулась в ворота, он внезапно на жесточайшем морозе лихорадочно быстро начинает сбрасывать с себя одежду. Один валенок в одну сторону, штаны — в другую: голого или одетого «не по сезону» вывести за зону по уставу нельзя. С криком «Я в законе, я в законе!» — парень кидает шмотки в запретку, откуда

их и достать-то хлопотно. Его ловят, он бежит по зоне голый, синий. Петя-нарядчик подмигивает конвою, чтоб не очень торопились поймать: Петька ненавидит блатяков, как все политические, и тут час его торжества. Я же в качестве меднадзора тороплю: ведь воспаление легких обеспечено! Надзиратели неторопливо теснят парня к кондею и уводят туда, вернее он сам вбегает в ледяное жерло нетопленного карцера. Спустя только полчаса, вижу, несут в кондей его одежонку. В стационар Голый не поступил, либо помер в карцере, либо смирился и вышел на работу, вступив таким образом в категорию «сук».

Так боролись за право остаться «в законе» потому, что законники жестоко казнили за отступления, начальственные кары казались более гуманными: ну, отправят на этап, ну, карцер… У блатных же «сук» калечили. К примеру, была казнь «сажать»: в сидячем положении раскачивали, с силой сажали задом на пол. Почти все наши паралитики неизлечимые были вот так «посажены».

Однако, сейчас борьба блатных за право остаться «в законе» безуспешна. Доктор Зейналов хорошо запомнил, как его ограбили, и весьма помогает Пете-нарядчику. Назначенный вместо Зейналова Тоннер тоже учит урок «уважать медицину».

С убийцами и резней я столкнулась еще в Черте, если не считать дедушку в первом лагере. Когда туда поселили массы настоящих политических — «власовцев», урки со ст. 58–14 грабили и убивали, из-за посылок, латышей и литовцев — европеян, изнеженных и беспомощных. Наш контингент дал отпор блатякам и был поставлен перед начальством вопрос: уголовников от нас этапировать. Они забаррикадировались от этапа в отдельном бараке и там резали друг друга. В это время прибыла я. Однажды понадобилась там медпомощь. Врача не было, я по вызову надзора — ох, и досталось ему за это потом — взяла стерилизатор и отправилась одна(!) — надзирателя они туда не пропустили бы — перевязывать раненых. Проверив, что надзора нет возле, а «доктор» — почему-то женщина, они впустили меня, и я, не различая лиц, сделала свою работу.

Они меня не тронули даже звуком, шуткой. Узнав об этом моем «героизме», доктор пришел в ужас и начальство тоже: ведь зона долгое время была без женщин, меня могли там, насилуя, на куски изорвать! А я по неведению пошла простодушно… Милосердие вознаграждается!

Начали блатных отправлять из Черты. В карцере оставались участники убийства одного из литовцев. Они ждали суда.

Надзиратель снова нервно приходит: в кондей требуют врача.

Доктора опять нет. Я беру нужное: пойдемте! В окно камеры термометр передать нельзя: стекло. Надзиратель выпускает с моего согласия больного в кондейный коридор. Из-за железной двери ко мне неторопливо выходит… лорд. В заграничном костюме лилового оттенка (отнято у литовца) с безукоризненной складкой брюк. С сиреневым платочком в кармашке. На горбоносом типично «ганстерском» лице — надменность. Это Яхин — вдохновитель многих убийств заключенных литовцев с целью ограбления посылок (только они одни получали их обильно и много). Никогда и никто не заподозрил бы в этом «пахане» с такой правильной и изысканно вежливой речью блатяка. Он даже не спасибо говорит мне, а «благодарю Вас» и, кажется, только присутствие надзирателя помешало ему склонить свой безукоризненный пробор над моею рукою. Мои вопросы, его ответы — на полутонах. Температура оказалась в норме, пульс — тоже, но я, сделав соответствующее лицо, наливаю ему валерианки, по той мерке, которую указывает он сам: «Обычно доктор при сердечном приступе дает мне…» — произносит он учтиво и показывает мерку, больше 75 грамм. Это только ему и нужно было: валериана на спирту. Из-за этого и затевался весь сыр-бор с вызовом врача. Хоть валерианки, хоть глазных капель! Все они — алкоголики и наркоманы.

Надо было видеть Яхина уже в Белове по ликвидации Черты. «Лорда» положили в стационар, где он вел себя безукоризненно. Столь велико было по Сибири влияние этого «социально близкого» уголовника, что даже начальство создавало ему «условия». А когда в зону приехал суд, блатные вели его на процесс под руки, будто кардинала. Он шел молча, величественно и скорбно. Его оправдали «за отсутствием прямых улик», он ведь был «социально близкий», не то что им убитый «помощник фашистов» — литовец.

Резня между блатными была для нас сущим бичом. То и дело в стационар кладут «сук» с ножевыми ранами. Ножи — «мессера» есть у них при любой суровости режима, даже в карцере, будто возникают из воздуха, и найти эти мессера надзору иногда невозможно. Полагаю, что среди надзирателей масса «пособников», имеющих долю в добыче. Режут и нашего брата, особенно нарядчиков. Так погиб от топора упомянутый Евхаритский.

Топоры обычно хранились на кухне под ответственность персонала. Прозевавшего кражу топора считали соучастником убийства. Помню меловое лицо повара Кости, бежавшего однажды по зоне с криком: «Топор! Топор!»; К счастью, вовремя отняли оружие, и Костя за халатность только получил от надзора

«в ухо», о чем и пришел сказать мне с ликованием.

Во время голода убийства были обычны, но продолжались и позднее. Однажды в Зиминке чинили мы в сарайчике мешки. Из уборной, расположенной рядом, раздался хрип. Вбежали. В углу лежала в кровавой луясе молодая женщина с перерубленным горлом. Никого поблизости не было. И так все было обдумано, что уже отмытый от крови топор оказался на месте в кухне. И следов пальцев на нем не обнаружили. Говорили, это сделала блатнячка с деревянной ногой, которая часто похвалялась, что срок ее освобождения близок, и первое, что она сделает, освободившись, — зарежет собственного отца.

В Киселевке резня между блатняцкими группировками распространяется и на женскую (бытовую) зону, отделенную от нас расстоянием, и оттуда на мужской участок начинают прибывать девки, блатняцкие «дамы», так что мы с Галей-татарочкой уже не единственные здесь женщины. «Дамы» эти там, в жензоне подлежали убийству, то ли за то, что «ссучились», то ли выдали кого.

Среди них привезли и будущую нашу актрису, хорошенькую Ниночку Белозерову — тут уж ничего от «врожденной преступности» не было! Лесбиянка Саша, в период «театральной шарашки», встреченная мною снова в качестве сапожника одной из сиблагских зон. Симпатичная Галька-Мальчик, совершившая потом в Анжерке смелый побег. Томка — вульгарная Тамара — проститутка-коротышка, этакая Пышка лагерная. «Дамы» открыто сожительствуют со своими «мужиками». На обнаженном животе Тамарки — видела я не однажды — блатные игрывали в карты, причем ставкой была сама она. Из-за этой Тамары была веселая и интересная «резня».

Однажды в новой зоне забор и запретку засыпало снегами так, что по сугробам можно было взбежать на ограду. Ночью нас всех (я уже жила в стационаре-больничке), включая медперсонал и самых тяжелейших больных, во мгновение ока согнали в огромный каменный общий барак с парашей. Женщины оказались в одном помещении с мужчинами. Новое страдание: молить часового: «Дяденька, выпусти на сугроб!». Взаперти мы были почти неделю: бушевала пурга. Блатных понемногу отправляли на этапы.

В Тамарку смертно влюбился молоденький урка Женька. А его — на дальний этап. С присущей уркам ультимативной наглостью заявляет: «Без Тамарки не пойду! С нею — хоть на Колыму!».

В знак протеста против этапа он зашивал себе нитками рот, взрезал кожу живота, чтобы отложить этапирование. Оставалось

кожу мошонки прибить к нарам гвоздем, что иногда случалось, или «выбросить лозунг» (например, «Долой Сталина»), в этом случае — новый суд, но в этой же зоне. Засыпать глаза смесью толченого стекла и химического карандаша (во избежание этапа блатные шли и на такое «самосожжение» порою с необратимым результатом). Женька всего этого набора приемов проделать не успел. Ему просто пообещали Тамарку.

И вот вечером, встав для лучшей видимости на верхние вагонки-кровати, мы наблюдаем сцену в ярком круге света, падающего на пустую середину барака. Театральный режиссер Иван Адамович после говорил, что «это было интересно мизансценировано». Мы с вагонок смотрим, будто из ложи.

Много, человек десять, надзорщиков пришли за одним Женькой, видимо, чертенок известен своей свирепостью. Выкликают две фамилии, Женькину и Тамаркину «с вещами». Она выходит первая, «лыбится» (улыбается) томно и жеманно: «Голому собраться — только подпоясаться!». Из толпы блатных в освещенный круг выступает Женька, стройненький, в кубаночке, в щегольских «прохариках» с блатняцкими отворотами, настороженный, как лезвие. Конвоиры делают движение к нему, оттесняя Тамарку к женскому углу барака. Парень озирается, потом, поняв все, а может быть и то, что Тамарка его предала, отступая, кричит: «Только с Тамаркой! Только с Тамаркой!». И твердит, что ему сам начальник дал честное слово офицера — с Тамаркой.

Нам хорошо видны детали спектакля. Тамарка уже сидит на вагонке, наблюдая вместе с нами. На одном секторе освещенного круга столпились блатные тугою стеною. Мутно-серые глаза Карзубого, зорко наблюдающего действие, светятся недобрым суровым огнем: Женька — его дружок.

Один, тоненький, стройный, юный стоит перед толпою шинелей Женька. К нему приближаются — он молниеносно выхватывает нож. От худенького пацана трусливо шарахаются назад здоровенные дядьки в шинелях. Ахает весь барак. В стане блатяков одобрительные возгласы. «Так их, Женька, так!» — беззвучно шепчет Саша-коблик (лесбиянка), и ее бесполые глаза загораются интересом. Она сдвигает кубаночку на затылок, выпустив длинный плевок, свистит оглушительно в два пальца и наваливается на спинку вагонки, будто на барьер ложи. Вспыхивает славная Галька. Ниночка вращает голубые буркалы. Тамарка-кубышка щурит томно испанистые глаза: «О, девочки!». Это из-за нее, из-за самочки, Женька «дает»!

По уставу надзору строго воспрещается появляться в зоне с огнестрельным оружием, кобуры должны быть пусты. Конечно не

из гуманности, а чтоб не отняли заключенные. Но после длинных уговоров и угроз парнишки ножом, и довольно крупным, — мы все видим, как блестит лезвие — начконвоя выхватывает из-под шинели револьвер и идет на приступ. Женька пятится под наведенным на него дулом.

— А! Револьвер! — орут блатные. — Эй, дядя, сам за него срок получишь! Не по уставу! Против устава!» — Но надзиратель, надеясь, что вымученные блатяками политические — их в зоне уже большинство — его не выдадут, наступает на Женьку с нацеленным оружием: «Раз… Два… Три!..». На двух с половиной Женька отшвыривает в толпу блатных нож, надзорщик сбивает его с ног, защелкивает ручные кандалы и сопротивляющегося, визжащего и кусающегося уже для форсу Женьку волокут к выходу. Толкают в шею, бьют под зад сапогом. Падая, он кричит: «Тамара, Тамарочка!» — и голос его замирает за дверями. Видимо, оглушили ударом.

Тамарка, сверху наблюдавшая возню, испускает рыдание и стон: «Прощай, Женька, прощай!» — блатные обожают мелодраматические ситуации. Только что совершившаяся сцена завершена этим хриплым с проститутским тембром выкриком. Но спектакль не окончен.

— У надзора был револьвер! Начальника сюда! Нача-альника! Давай сюда Начлага! Третьяка! — вопят блатные — Против устава-а! — Звенят выбитые стекла, трещат доски, которыми колотят по вагонкам. У кого-то из блатных начинается приступ падучей. К толпе урок неторопливо подходит нарядчик Петя Смирнов и несколько надзирателей.

— Чего орете? Чего безобразите? — спокойно спрашивает Петя. — Револьвер?! У надзора револьвер?! Да что вы, ребята! Да это вам показалось. — Он оборачивается к казарме: «Товарищи, разве кто-нибудь видел у начконвоя револьвер?» Контрики и бытовики, типа Ивана Адамыча — а нас, повторяю, абсолютное большинство — чуть ли не хором кричат: — Да вы что? Какой револьвер? Мы никакого револьвера не видали. Он просто закуривал, конвоир, потому и в карман полез! Женька сам нож отбросил!

— У-у, с-суки! — сычат в нашу сторону блатные. Тамарка уже делает томные глаза кому-то из «контриков». Тот отворачивается брезгливо: пока еще голод убивает в каждом пол, хотя, будь он сыт, ему и Тамарка годилась бы, лишь бы не узнали товарищи!

— Пропадем мы здесь! — уныло шепчутся урки. А надзиратели, рассыпавшись по бараку, между тем, ищут, требуют у блатных нож, брошенный в их толпу Женькой.

— Что вы, гражданин начальничек, какой нож? К нам бросил?

Да это вам показалось! — ехидничают блатные. Их по одному выводят в угол и полночи обыскивают. Ножа нет.

— Сестра, обыщите женщин! — приказывает мне надзор. Увожу девок за занавеску, которой огорожена смрадная параша. Якобы обыскиваю. Якобы ощупываю, подмигивая.

— Борисовна — Человек! Помогать надзору избавить нас от блатняков — дело хорошее, но помогать надзору в обыске заключенных, хотя и блатных — слуга покорный! Это не мое — собачье дело! «Для понта» якобы щупаю даже между ногами, на случай, если надзор подсматривает. Если б нащупала нож, ей Богу, промолчала бы. Ножа нет.

Они не нашли его вовеки, хотя даже лопатили снег под окнами, срывали доски, вспарывали ватное.

6. Я бью человека

В начальной главе «Голод» я касалась малолеток, т. е. преступников несовершеннолетних, содержавшихся в ту пору вместе со взрослыми. Детишки-малолетки были и в Белове. В госпиталь (стационар) их приводили часто, истощенных особенно остро, до полусмерти. Блатные парни приучали их играть в карты «на пайку», выигрывали ее на месяц вперед и ребенок «по законам блатного мира» ее обязан был отдавать, иначе — смерть. Отдавая хлеб — единственную опору питания, ребятишки «доходили» быстро. Не мог уже говорить бледный, как мука, мальчишка, принесенный нарядчиком на руках. «Примите пацана» — то и дело слышалось из приемной.

Ни воспитательной работы, ни специальной заботы об этих несчастных детях тогда совсем не было. Поселяли их обычно в бараках для блатных, и те использовали ребятишек и в педерастических целях. Помню, как визжал толстенький мальчишка на разводе: «Ой, ой, у меня выпадает гузенка» (прямая кишка).

Только тычки, побои, угрозы видели эти маленькие страдальцы в лагерях. Вечно голодные, они были воровиты невероятно, как животные, часто воровали и по приказу для «паханов», поэтому были особенно ненавидимы в зонах, не лупил их только ленивый.

Среди них были и малолетние воры, очень ловкие и хитрые, но большинство малолетки формировалось из так называемой 48–14 статьи. Это были послевоенные ребятишки, мобилизованные насильственно из деревень и сел в ФЗУ и по окончании училища направляемые на стройки и производства, где должны были проработать три года. С этими «фезеушниками» я столкнулась и в 1954 году, по освобождении, работая табельщицей на шахте Тайбинка. На воле их положение было ужасно тоже.

Выросшие в войну, в голоде и лишениях, все они, как один, были малорослы и хилы, в 14–15 лет выглядели как десятилетние. На стройках многие полноценно работать не могли, процента не давали, ничего не зарабатывали, голодали даже в 1954 году и поэтому разбегались по домам. Их излавливали, давали «за побег с места работы» срок, а попав в лагерь да еще с настоящими преступниками, они за 4 месяца получали «высшее лагерное образование» и пополняли кадры мира преступного.

В Белове их пригоняли десятками. Особенно много было

казанских татарчат, видимо ФЗУ этой области своих «сынов» поставляли для Кемеровских строек. На комиссовании они, стоя шеренгой, деловито скидывали перед доктором штанишки, одновременно называя себя и статью: «Сорок воесь чечи-нацать…, сорок воесь чечинацать…» Обнаженные серенькие задочки почти у всех были дистрофичны, но не всех же можно было госпитализировать…

При посещении ими амбулатории нельзя было ни на минуту отрывать глаза от их быстрых запачканных лапок. Однажды ухватили, даже скальпель, что мне лично грозило новым сроком: блатные отняли бы его и пустили в дело. Спасенный нами мальчишка его и украл «в благодарность».

Секция (казарма) малолеток кишела вшами, постели были проиграны, проданы, отняты. Там царил вечный картеж и мат. Обязательно насиловали забредших к ним девчат, как помните, маленькую крестьяночку в Кемеровской пересылке.

Бледный шатающийся мальчонка, нами спасенный, однажды исчез. Сначала на утренней поверке не досчитались двух. Всех нас, выгнанных на мороз, считали и пересчитывали.

Счет зеков на поверках вообще была мука и для нас и для надзирателей: уж больно они были тупы. Видимо, в надзор чаще всего назначались ни к чему не способные солдаты. Существовал даже «физический тип» лагерного надзирателя, — с тупым «хамским» лицом. Построит такой питекантроп нас по шесть, сосчитает ряды, записывает на оструганной фанерке результаты и потом, наморщив лоб, долго помножает количество рядов на шесть — таблица не усвоена в школьные годы, видимо, так он натужно шепчет ее сначала: «шестью один — шесть» — и далее. Долго кряхтит, пока не прозвучит: «Р-разой-дись?» У одного не сошлось, всех на морозе пересчитывает снова, причем нервничают, пропажа одного грозит надзирателям «сроком». Три раза «не сошлось» — начинается поименная поверка по картотекам. Так было и в тот раз, когда пропали двое — наш мальчонка — спасенник и карлица. Только один надзиратель не нервничал: «Жрать захо-чуть — прийдуть!». Наконец, к обеду, когда все мы и они сами падали с ног, «беглецы» нашлись: спали в обнимку за декорациями, в клубе. Мальчишку избили, и надзор, и сами зеки…

Штаны, кальсоны проиграл, все проиграл! Ведут такого, дрожит, как в падучей, только мычит. Лицо идиота, зубы редкие — зверек да и только! Где уж тут искать морали?

Отправляли этап. Взрослых. В амбулаторию ко мне пришел уходящий «политический», наш казак, от голода и оборванности потерявший человеческое достоинство. Как баба ревел,

размазывая сопли: только что малолетки украли у него уложенный на этап мешочек с салом из посылки и собственными ботинками. Но главное, в мешочке были фотокарточки детей, присланные из дому и чудом ему переданные надзором: вообще-то фотографии воспрещались, только показывались. Дядька рыдал исступленно, будто самих детей потерял. Нервы полностью сдали, особенно перед этапом: что-то там впереди будет, не худшее ли еще и еще?

Сунув потрясенному человеку валерианы, я приказала ждать меня и побежала в барак малолетки, без всякой мысли ему помочь, инстинктивно кинулась, тем более еще свежо было собственное потрясение при пропаже скальпеля.

Тут нельзя избежать штампа литературного, потому что это буквально: как ветер распахнула я дверь и бурей ворвалась в барак. Гнев меня душил, сердце заполнило все тело.

Барак был полупуст: в эти дневные часы бригады работали. Сразу увидела: группка мальчишек пожирает сало, доставая его из мешочка. Вероятно, из меня исходило пламя: все ребята замерли на нарах, стало тихо, как в морге. Не знаю, случалось ли мне потом или до этого так кричать:

— Давай мешок! — Я схватила лежавшую возле мальчишек сумочку и кулаками заколотила по лицу одного из детей. Мне кричат, что это не он взял, но я, слепая от ярости, тычу кулаком и мешком в розовую юную морду. Бью мешком, в котором есть что-то твердое (ботинки) по голове подростка, из носу которого фонтаном начинает хлестать кровь. Парнишка закрывает голову руками, отступает от меня с ужасом в глазах, очевидно, я очень страшна. От неожиданности, что я, которую даже паханы запретили пацанам обижать, ибо я — Человек! — могу быть столь свирепой, онемели даже рослые парни и наблюдают сцену эту, бледные и растерянные. Кажется, кто-то пытается подступить ко мне с увещеванием, на кротких интонациях: «Сестричка, что вы, что вы. Это не он взял!». Но я отталкиваю всех и бью, бью, бью. Осыпаю парня хоть и печатной, но столь необычной в моих устах бранью, забыв себя, не думая об опасности отпора, задыхаясь, со сладострастием, прежде мне незнакомым, колочу по уже расквашенному лицу негодяя, который, может быть, и в самом деле не брал.

— Будешь воровать, с-скотина? Б-будешь? — приговариваю, не замечая, что и руки мои, и мешочек в горячей, липкой человеческой детской крови. Я пинаю его ногами, что-то в мальчишке хрустит, но мне не страшно, и перестать невозможно.

Мне не жаль никого, кроме одного владельца мешочка, доходягу, которого я помню сильным и здоровым, который

разделяет судьбу мою и моего мужа. Который видел крест Сен-Готарда при переходе нашем через Альпы. Он мне теперь брат, хотя, быть может, и был полицаем. Он знает меня по моему выступлению перед казаками накануне репатриации. Знает, и молчит об этом, напомнив мне самой только наедине. Пожалуй, впервые я чувствую силу своего с ним братства перед лицом отечественного, ломающего мой народ, фашизма…

Оставив жертву валяться на полу, я, потная, полуслепая, дрожащая вся, спотыкаясь, выбегаю из барака и уже перед самой вахтой, где собраны этапируемые, с трудом разжав сведенные судорогой пальцы, вручаю украденное бедолаге. Он, собственно, и не знал, куда и зачем я уходила. Проверяет радостно: фотографии целы, они в носке башмака. Сала тоже осталось. На его лице радость, а я только теперь осознаю: я, я, била зверски человека, почти ребенка, да еще, как потом, выяснилось, действительно, не виноватого в краже.

Мальчишка, мною зверски избитый, никому не пожаловался, за медпомощью не пришел, при встречах почтительно здоровался, будто ничего не было… Потом узнала, сами мальчишки побили того, кто в тот раз был инициатором и исполнителем этой кражи. «Она с ним, наверно, жила», — заключили некоторые, недоуменно пожимая плечами, имея в виду казака, за которого я вступилась.

7. Кокошка

Чтобы закончить о малолетках, хочется припомнить тут и еще одного мальчишку.

Круглоголовый маленький чех Кокошка, простоватый, но удивительно житейски хитрый, как все малолетки, приходит в амбулаторию почти ежедневно, лжет, весьма неискусно притворяясь больным, от работы отлынивает. Его фамилию запомнила потому, что был чешский художник Кокошка. Когда я ему говорю, что есть такой художник, мальчишка, не сморгнув, заявляет, умильно сложив на груди ладошки: «Так это же мой дядя!».

Вообще среди блатных малейшее совпадение фамилий с знаменитостями вызывает немедленное заявление о родстве. Чаще всего это или «отцы» и «матери», отказавшиеся от столь дурных детей, как они. «Дочь» знаменитой певицы Гаспарян даже рассказывала легенды, в какой роскоши она выросла, мать отреклась, когда «дочь» связалась с преступным миром. Дети же настоящих знаменитостей или репрессированных «вождей» неохотно рассказывали о своем происхождении. А среди

«преступного мира» такие попадались. Кокошка после моего сообщения себя повел так, что после мне уже сообщали: «А, знаете, он племянник знаменитого художника». Это простительно: шанс на спасение! Среди «беспокойного племени детей лейтенанта Шмидта» оказалась и моя адвокатша на суде по фамилии Черемных. На мое сообщение о художнике скромно ответила: «Это мои братья» (во множественном почему-то числе).

Вероятно, родители маленького чеха были в Сибирь высланы, а сынишка попал в лагерь по ст. 48–14 — бежал с места работы (шахта).

Кокошка так надоедал нам нытьем и притворством, что мы прогоняли его прямо от порога.

Мальчик он был слабенький от недоедания, но здоровый, с круглым розовым личиком и ярко-голубыми лукавыми глазами. И хотя не из воровского мира пришел, к чужой собственности относился, как все малолетки: плохо не клади.

Однажды входит в амбулаторию раскованно и ликующе: «Сестра, — говорит уверенно, — вот сегодня ты дашь мне освобождение». И садится по-хозяйски на кушетку, независимо закинув ногу на ногу. «С какой стати?» — удивляюсь я. — «Сегодня я стакановец! Надо было наносить сто кирпичов, а я нанес сто два!».

Парнишка узнал, что «профессор» Андреев — начлаг, разрешил врачам время от времени давать отдых работягам, перевыполняющим нормы (таких тогда называли стахановцами) для поощрения. Прогоняю «стакановца», он уходит весело, без уныния, как всегда.

Однажды на утреннем разводе рабочих бригад у меня из кармана халата исчезает кисет с махоркой. Кисет дорог мне особенно: он сшит из рукава маминого недошитого платья, который я нечаянно захватила, уезжая навсегда, как мне казалось, из дому. Оплакиваю кисет. Припоминаю, что возле меня на разводе подозрительно вертелся Кокошка.

Вечером, как всегда, на прием является маленький чех, светло и голубоглазо улыбаясь. За освобождением. Он теперь не жалуется на болезни, он издевательски приходит прямо «за освобождением»: ведь однажды он был «стакановцем», ему «положено»!

— Кокошка, — говорю ему, — ты взял утром мой кисет? У меня кисет потерялся. («Потерялся» — деликатная форма обращения к блатным, когда хотят вернуть украденную вещь)

На меня смотрят искреннейшие, голубейшие из голубых глаза: «Потерялся? Не брал, сестра, вот, ей Бога не брал!» — Кокошка крестится и трясет круглой головой.

— Ты взял! Я видела! — сочиняю я. — Так вот: кисет сделан из маминого платья. Понимаешь? Я не жалею табак, мне жаль эту простую ситцевую тряпочку. Ты же порядочный человек, найди мне кисет! — На моих глазах слезы.

— А освобождение дашь? — вкрадчиво спрашивает мальчишка.

— Нет. Ты здоровый, но уважать тебя буду, как всякого порядочного человека, понимающего, что такое мать и память о ней.

Подумав мгновение, он резко встает, и засунув руки в кармашки, выходит и через минуту приносит мне пустой кисет.

— Возьми, сестра, — говорит он мужественно и покровительственно. — Только махорку я уже… ску… оставил себе.

Я целую его беленькую головку: «Вот целая горсть махорки тебе и награда. И всегда, когда нету курить, приходи ко мне, я дам».

Однажды он все-таки заразился чесоткой, и мы дали пацану «отдохнуть» — забрали в стационар, хотя обычно чесотку лечили, не освобождая от работы. Он признается мне, что, увидя сыпь, «совсем душой свалился», потому что, оказывается, очень боится схватить «вереническую болезнь». — «Да разве ты сближаешься с женщинами!». — «Ну что ты, сестра — пугается мальчик. — Ну их совсем! Только мне сказали, что этим можно и без бабы заразиться, а потом дети калеки будут».

— Ты уже думаешь о детях? — улыбаюсь. Но с чрезвычайной серьезностью мальчишка говорит: — А как же! Я только вырасту хорошенько, скорей женюсь. Думаю на старше себя взять. — А? Женатому как-то спокойней…

Кокошка, сидевший за пустяки, как большинство малолеток, скоро освободился и погиб в первый же день работы своей на свободе, в шахте. Смешного мальчишку знали все в зоне, и все сожалели, даже надзиратели. А я, глядя на еще «живой» у меня кисет, всегда вспоминаю рассудительного милого Кокошку.

8. Побеги

К конвоиру, стоявшему на пригорке у границы зонных работ, где заключенные женщины — и я с ними — с гомоном кайлили замерзшие кучи «гравера» (гравия) и погружали его в непрерывно подъезжавшие «с воли» машины, подошел мальчишка-подросток. В шапке-ушанке, от мороза закутанный в кожушок с поднятым воротником.

— Дай закурить, солдат, — попросил альтом.

— Ступай отсюдова, ступай! Иди, пацан, говорю, нельзя тут ходить — запретная зона! — сказал часовой и взял автомат наизготовку. — Крой отсюда быстрей, а то застрелю!

— А что, дядя, тут заключенные бабы работают? — рот от любопытства у мальчишки открыт, руки по кармашкам.

— Да как ты сюда попал, пацан? Иди, стрелять буду!

— И мальчишка юркнул между машинами, подъезжавшими к месту работ, и неторопливо пошел к городу — руки по кармашкам.

Кончился рабочий день, стали строить женщин в ряды, считать перед посадкой в грузовики, везти в жилую зону. Единицы не хватало до нужного количества. Начконвоя, обычно сидевший в тепляке, побледнел домертва. Бригадирша осматривала ряды, осыпаемая матюками.

— Гальки нету, гражданин начальник! — и ее голова мотнулась туда-сюда от нескольких пощечин.

Соня-цыганочка — подружка Гальки, рыдала, уверяя, что ничего не знает, бабы с визгом устанавливали, в чьем звене работала Галька. Мат, толчки, пощечины, зашеины. Гомон и беспорядочные сведения со стороны зеков входят в программу того, что случилось. Мерзнем на морозе, пока осматривают 4 кучи гравия, ибо кто-то предположил, что замерзла или сомлела… В одной недогруженной куче находят рваненький валенок, у Гальки были новые, хорошие. Вызывают шоферов, возивших гравий, — не увезли ли засыпанную. По дороге, куда могла уйти Галька, направляют машины с надзором.

— По машинам! — командует нам начконвоя. Губы у него трясутся. Бить ему нельзя никого: за неогороженными пределами рабочей зоны останавливаются «вольные», любопытствуя, что за смятение в стане зеков. Однако нас в машины загоняют прикладами и матерными ругательствами. Соню-цыганочку, у которой кровь на лице, сажают в кабину чуть ли не на колени к начальнику.

— Убьют Гальку, если найдут! — шепчут побелевшими губами подружки.

— Вы там меньше болтайте в зоне, — шипят часовые. Мы ее все равно найдем, с…, б…

А мальчишка — руки по кармашкам — уже далеко отшагал от объекта работ, посвистывая и поплевывая на обочины дороги. Его обгоняют посланные в погоню машины, полные солдат, вызванных из лагеря по телефону. Пропуская их, он сходит в кювет, солдаты окидывают «пацана» равнодушными взглядами, а мальчишка тот — Галька. Детали побега она позднее рассказывала мне сама. Расценив обстановку на объекте, —

высокие кучи гравия, снующие машины, близость дороги, — она использовала свои «мальчиковые особенности»; под «бабье» надела мальчишечье, за кучей гравия женское скинула, девки на себя надели, посвященные в дело. Подошла к часовому из лихости, чтобы сам отогнал от объекта работ постороннего мальчишку. Солдат, кстати, на допросе «не вспомнил» о таком своем промахе, а то сам пострадал бы.

Поймали! По собственной неосторожности. Быстро сделав «скачок», деньги добыв, быстро нашла товарищей. Напилась с отвычки сильно и, перелезши неизвестный забор, оказалась на территории номерного завода, куда входили по пропускам. Его потребовали, уже зная, что в соседнем городе побег.

Через несколько дней Гальку торжественно провели в карцер по нашей зоне для демонстрации: всем так будет. Ей за побег не добавили даже срока: у нее и так было 25 лет! Да ее и выводить за зону было нельзя: в деле была пометка «Склонна к побегам». Так что начальство само оказалось как бы виноватым, включив Гальку в бригаду. Оставили смелую девчонку работать в зоне, в пошивочной, и она успешно воровала для зеков и надзора шкурки белоснежных кроликов, которым были подбиты зимние вещи военнопленных японцев, их чудное шерстяное белье, сдаваемые в мастерскую «на распорку». Соня — цыганочка пострадала больше: ее били и пытали сутками: «Шаг вперед — два шага назад» — непрерывно. Она падала, отдохнет — опять.

В мое пребывание в лагерях побеги не были часты. В первый раз в Белове «на рывок» бежали малолетки, прямо кинулись из строя в разные стороны. Всех изловили за 20 минут. Лидочка, вольная фельдшерица, шептала мне в ужасе: «Сейчас их на проходной страшно как бьют», и мы обе дрожали, ожидая, когда детей, до смерти избитых, приведут в санчасть. Один из них, сероглазый, долго плевал кровью.

Политические бегали редко, но обдуманно и, безусловно, с помощью сочувствующих им вольных. Обычно пойманных принято было «показать» в зоне, из которой ушел. Кажется, и труп полагалось показывать. За побег политического конвой страдал очень сильно, судили «за халатность» и давали сроки, по слухам, равные сроку убежавших.

Один раз в зоне, в кондее, сидел, дожидаясь суда, начлаг лагеря в Пестереве, говорили, за допущение множества побегов. Его выводили на прогулку, и мы злорадно с ним здоровались. Такие лица, «допустившие побеги», так же как судьи, следователи, энкаведешники и прочие «слуги закона», содержались в отдельных лагерях. Иначе, опознав, зеки их убили бы, даже политические зеки. Так, в Сиблаге их собирали на

участке конного завода, куда мы приезжали с гастрольными спектаклями. С пересылок их отправляли быстро, пока никто не успел опознать. При мне в Арлюке бывшая судьиха с воплями бежала по зоне от гнавшихся за нею, опознавших ее, баб. Заскочив в барак политических, которые эксцессов вроде бы не допускали, умоляла нас вызвать к ней сюда начальника 3 части (лагерного следователя). Никто не хотел сделать для нее этой услуги. «Женщины, — взывала она, — вы же политические, вы же умные, должны понять: не виновата же я, что работала судьей, а не учительницей или еще кем».

Мы понимали, что не виновата, что государева служба всякая бывает, но только дневальная, опасаясь, что озверелые бабы ворвутся к нам, привела «третьяка». Судьиху он увел, «спрятал» в карцер, потом ее увезли.

Я в группе нового этапа увидела одного из судебных заседателей своего собственного процесса. Больше я его не видела. Еще случай. Прибыли к нам две политических девушки, осужденные в 48-м году «за листовки». На тетрадных листах эти десятиклассницы г. Белове писали по рассказам прибывших из-за границы наших военнослужащих правду: при капитализме трудящиеся живут во сто раз лучше, чем мы. При социализме — нищета, неравенство и репрессии. Зачем тогда социализм? Долой его!

Мужественных, но наивных девчонок изловили моментально. Получивший свидание с арестованной Соней Дудкиной (потом она стала актрисой нашего театра) отец избил ее при свидании зверски. И хотя она понимала, что это было «алиби» бывшего раскулаченного, простить ему не могла.

Бежит однажды Соня ко мне, глаза — из орбит. Только что с новым этапом прибыл следователь по их делу, который ее бил и оскорблял, но теперь, видимо, и сам попался. Полубезумная от волнения, она решила рассказать мужчинам, кто прибыл. Может быть, его и не посадили, а «подсадили», но показать его всем необходимо. Но и он, видимо, заметил Соню: его в те же сутки отправили от нас за 20–30 минут.

А вообще они жили меж нами, пока не были кем-либо опознаны. Так, еще в Черте заходил ко мне делать ванночки на якобы больной триппером орган молодой сероглазый советский лейтенант в добротной шинели. Жил он в одном бараке с «госпреступниками». Очень активен был и не бесталанен в самодеятельности, отличившись особо в отрывках из «Роз-Мари», поставленных залетевшим к ним опереточным режиссером, очень умело имитировавшим эпилепсию. Фамилия офицера запомнилась: Серегин. Я с ним была в наилучших отношениях. И

вот, спустя года два, уже в Киселевском лагере, он в высоком чине, в щегольской форме с голубым прибыл в зону с комиссией ИТК по поводу нашего театра. На меня он смотрел, как на пустое место, я, понятно, тоже его «не узнала».

Но вернусь к побегам. Их наши стражи боялись как пожара, за их допущение в советском государстве каждый мог очутиться под стражей.

О двух смелых побегах политических рассказать стоит. Техника одного: дежурный по зоне начальник — не помню должность — напился на ночь чаю в дежурке и, заказав дневальному зеку разбудить его «в случае чего» снял фуражку, шинель, сапоги и прилег. Проснулся, когда пришел сменщик. Почему же не разбудил ночной дневальный в дежурке? И где сапоги, шинель и фуражка? На столе лежала бритва и пучок волос: дневальный сбрил бороду, чтобы не отличаться от бритого дежурного офицера.

В проходной двое полусонных надзирателей играли в шашки, третий дремал, остальные солдаты находились в штабе, за зоной. Оба шашечника уверяли, что близко к рассвету дежурный офицер прошел мимо со словами: «Сейчас вернусь. Я в штаб. Не дремлите здесь». Две собаки, лежавшие рядом, не шевельнулись. Оказывается, дневальный часто с ними общался, кормил их, принося ужин для дежурных из лагерной кухни, или при мытье пола.

В дежурках, примыкавших к проходной, дневальным был средних лет мужчина с бородой, по 58 статье, но солидный, начальством уважаемый, считался среди нас сексотом. Ростом и фигурой схож с оплошным офицером. Выяснилось, очень хорошо умел передразнивать голоса начальства, чем очень смешил, а иногда пугал товарищей по жилому бараку. Часовые с вышек видели, как подняв от мороза воротник, «дежурный офицер» действительно прошел к штабу. Один из них по уставу крикнул: «кто идет?» и в ответ услышал фамилию дежурного.

Мы проснулись от лая собак, треска пулеметных очередей и ракет, осветивших еще темную окрестность. Собаки брали след до самого штаба, потом потеряли. Снега не было. Доморощенные криминалисты ломали голову, куда исчез, дойдя до штаба, бежавший. Его не нашли, иначе нам показали бы пойманного.

Шептались вольные фельдшерицы, будто у злополучно заснувшего офицера в анализах обнаружили что-то снотворное, но вслух рассказать мне не решились. С тех пор в вольные дежурки перестали брать дневальными зеков. Что случилось с офицером оплошным, не знаю, да и не жаль: порядочный человек в составе НКВД работать не будет, можно уйти под каким-либо

предлогом.

Второй дерзкий побег «политического» случился в Киселевке, пока я бедовала в Анжерке. Днем. На первый день Пасхи, в тот день, когда нас с Викой отпускали «на свободу», (см. ниже). Побег этот чуть не решил судьбу организующегося в Киселевке театра, ибо бежавший был цирковой артист с 58 статьей.

Киселевская зона с одной стороны была огорожена не тесом, а колючей проволокой. Вокруг шло строительство будущего вольного поселка шахты Тайбинка. Вдоль ограды лежали груды строительных материалов, и в том числе длинные, как шесты, алюминиевые трубы. Одна из них концом заходила под проволокой в зону. В зоне, не в пример обычным лысым пятакам, росли деревья, так что с вышек она просматривалась неясно.

На Пасху, в день туманный и мглистый, на закате зеки сидели по баракам, двор зоны опустел. Начальники были пьяны. Часовые на вышках тоже «кемарили». Беглец-циркач потянул к себе трубу-шест, торчавший концом в зону, оперся о него и перемахнул через проволоку и огражденную «огневую зону» — «запретку». Шест-труба так и остался одним концом на проволоке лежать. Обнаружилось все это при вечерней уже поверке. Установили — кто бежал. Владимир Георгиевич Щербаков рассказывал: прибежал к нему, ломая руки, Иван Адамыч: «Не будет театра! Гимнаст бежал!».

Куда исчез гимнаст — так и не узнали, видимо, прятался в ближайших окрестных домах. Начсанчастью рассказывал: все они были восхищены столь смелым побегом и искали не столько беглеца, сколько его сообщников. Мы боялись — деревья срубят. Не тронули, только проволоку заменили деревянными палями, что огорчительно для зеков закрыло для них открытые дали. Беглеца материли.

Месяц спустя, мы, женсостав театра, прибыли на этот лаг-участок. Вновь назначенный начнадзора, перепуганный насмерть, что «из-за баб» начнутся новые побеги или резня, закричал: «Ищите у них ножи!» Помнящие меня надзиратели смеялись.

9. Лагерные волки

Изо всей Кемеровской области в Киселевскую зону идут и идут этапы «политических». Тут за одной оградой собирают «контриков», густо прослоенных блатяками с 58–14 статьей. Вдвоем с доктором Тоннером мы ведем комиссование этапов. Врач редко-редко одобрительно и с удовольствием похлопывает по щечкам ягодицы, сохранившие округлость и упитанность. Таких мало. В большинстве серые мешочки ягодиц симметрично

свисают, как маленькие пустые мехи: голодно, голодно повсюду. А коли этого главного признака алементарной дистрофии — тощих ягодиц нет, такой зек получит первую категорию труда, хотя все остальное у него, быть может, и не в порядке. Иногда послушают сердце.

— «Прима, секунда, терция» — диктует врач мне, сидящей над списком. Смотрит преимущественно зады. Тоннер сидит давно, половина заключенных области с их болезнями ему хорошо известна по прежним лагучасткам.

Латинские термины обозначают категорию труда, на которую заключенный доверенный врач обрекает вновь поступившего имярека. Эту завуалированную терминологию «кухонной латыни» не понимают только темные новички.

— Шо вин казав, — минута? — спрашивают меня потом такие простаки. Заключенный ничего не должен знать о своей судьбе, поэтому и в санчасти прибегаем к таким приемам. «Кварта» звучит редко, только при осмотре тех, кто уже не стоит. Кварту мы госпитализируем сразу после комиссования. Ну разве санчасть — не островок гуманности?!

— «Прима!» — Жестко диктует мне врач, кинув взгляд на чей-то вовсе отвислый зад, обладатель которого по старому знакомству в прежнем лагере подобострастно приветствует доктора, опуская штаны. Услышав «прима», доходяга пошатывается, в глазах у него ужас.

— Прима! — жестко повторяет доктор, и лучи его ресниц сближаются злобно, и упрямый волчий оскал уродует красивый рот.

Дядька еще что-то безуспешно бормочет, его оттесняют в очереди, он горько вздыхает и, застегивая штаны, отходит в унынии: завтра с «примой» ему идти на самую тяжелую работу, где так ослабевшему легко погибнуть, как мухе.

Этап откомиссован. Подле фамилии доходяги я написала: «терция». Иван Петрович поднимает брови.

— Вы, вероятно, оговорились, доктор — говорю я. — Он же безусловный дистрофик!

— Евгения Борисовна, — мягко отвечает врач, кинув на меня снопик лучей-ресниц. — Прошу мои «оговорки» не поправлять. Я учу людей уважать медицину. По милости этого субъекта я в Сталинске две недели на общие работы выходил…

Я-то уж знаю, что такое для работника санчасти попасть «на общие». Хорошо, если бригадир «уважает медицину» и позволит «кантоваться», а, если по отсутствию лагерного опыта, — не уважает (бригадирами обычно бывали бывшие крупные партработники — им не давали «пропасть»), — тогда что? Даже

издевались специально: «Ты, сестра, кайлом работай, как шприцем, как шприцем!».

Особенно жесток Тоннер не был, все же: через день-другой доходной дядька на больничной койке шепотом рассказывает о какой-то схватке с доктором в Сталинских лагерях. Теперь-то он будет «уважать медицину!».

Бывало и так, что терцию получал «лоб» с арбузными ягодицами, но рядом записывалось по латыни название мудреной болезни. Начинаю понимать: терцию получают и здоровые, либо «с посылками», либо послужившие пользе диктора прежде.

С тюремным этапом прибывает поляк-врач. На комиссовании называет профессию. «Дипломированный врач?» — ревниво переспрашивает Тоннер.

— Евгения Борисовна, положите доктора в такую-то палату. — Затем «купив» у робкого новоприбывшего врача-новичка модное длинное пальто, Тоннер по своим хорошим отношениям с начальством рекомендует его доверенным врачом на другой участок нашего подразделения. Впоследствии доктор этот, оказавшийся педерастом, сблизился с урками и когда меня с запиской Тоннера — помочь, отправляют туда, он встречает меня у ворот с криками: «Евгения Борисовна, я уже в законе!» и обнимается с каким-то мальчишкой.

Глядя в прошедшее, не омрачу память Ивана Петровича такими подозрениями, но уж очень нежен он был с миловидным фельдшером, сменившим меня по моем временном отбытии с этого лагучастка. Мое прибытие в эту же зону в качестве актрисы организованного театра доктор встретил радостно, поселил в санчасти и все твердил: «Хозяйка здесь Вы!». А фельдшер смотрел на меня волком.

Столкновение врачей в одной зоне — явление обычное: если есть один, зачем нужен второй? В Белове после Алексея Петровича появился врач, старенький косолапенький, из тех «земцев», что все знали, больных лечили с любовью, но только порошками, не признавая вливаний и пенициллинов разных, вошедших в медицину после войны. У этого доктора много старания. Он сразу восхищен моей смелостью, ловкостью. Это он спросил меня, плакала ли я когда-нибудь. В лагерях этот врач из белорусского села новичок и наивен до святости. За помощью к нему обратился начальник 3-й части (следственной. Так по Николаевской еще традиции именовался отдел призванный следить за политическим состоянием). Начальников таких зеки называли обычно «третьяками». Доктор выписывает рецепт «Третьяку». Тот выпучивает глаза: что это, насмешка?

— Так вас все называют, я думал — это фамилия… —

краснеет и пугается старик. Давясь от смеха, объясняю третьяку ситуацию. «Господи, как вы их не боитесь!» — ужасается провинциал-доктор.

Сопя, вздыхая поминутно от жалости к больным, от сомнения в диагнозах, он лечит истово, со рвением, но в Киселевской зоне воцарился прекрасный современный врач Тоннер. И он быстро и насмешливо сбрасывает старика из санчасти в инвалиды: соперник все-таки! Старик плачет. Он уже почти полвека врач. Плачет передо мною и, собрав вещички, в пальтишечке, похожем на капот, направляется в общий барак, где ему в лучшем случае работать дневальным. Он комичен, этот старомодный земец, но профессиональная работа — единственное его духовное спасение.

Я вступаюсь: прошу оставить старика хоть на амбулаторный прием, но Тоннер неумолим: «фельдшеризм» с порошками «от головы или живота» — главное зло современной медицины! Потом старик топит печи у какого-то начальника, выписывает ему рецепты, которые тот носит проверять Тоннеру.

Однако в лагерях, «на островке гуманности», водились волки жестче в общем-то далеко не злого Тоннера, который в медицине работал самоотверженно и по призванию. В Арлюке работал врач-зек, который медикаменты зекам продавал. Коробка глюкозы, например, 75 рублей — «бешеные» по лагерным масштабам деньги. Еще страшнее оказался заключенный по 58 статье хирург Маргоспиталя, еврей, берущий плату за полостные операции. Деньги присылали родственники оперируемого. Но, даже получив плату — большую, в тысячах, он систематически калечил немцев и «власовцев», делая им свищи, травмы неизлечимые. При немцах в Гомеле погибла его семья, и он мстил как Иегова. Так Лесховец, бывший бургомистр Гомеля или Львова, остался после аппендицита с каловым свищом: содержимое кишечника извергалось непрерывно.

«А я ему много заплатил», — рассказывал больной, — он мне обещал…» Начальство не могло не знать об этом, но когда эти случаи по множественности их начали выплывать, когда нельзя их уже было объяснить случайной ошибкой врача, доктор Г. (фамилию забыла) отравил собственную операционную сестру — единственного свидетеля таких «ошибок». И щедро заплатил тому, кто делал ее вскрытие.

— Он освободился с большими тысячами, — рассказывали знавшие его и работавшие с ним врачи.

Когда я читаю о врачах-фашистах, всегда поминаю этого советского доктора-мстителя. На моем «крестном» лагерном пути еще попалась вольная «мстительница» — Вера Ивановна с русской фамилией, но еврейка. Поступив в Анжеро-Судженский

лагучасток рядовым врачом, она быстро спихнула прочь очаровательную начсанчасти, даму весьма нарядную, пушистую, ходившую в гигантской шляпе с вуалью. Эта красивая медицинская дама, принимая в Анжерке наш этап, сразу по фамилии вызвала меня в санчасть: оказалось, вольный киселевский начсанчасти доктор Ермак просил ее за меня. А тоже был еврей. Милый доктор Ермак, он, ценя меня как актрису, много помогал вернуть в Киселевку женсостав организованного было там театра. И он, и еще еврей Сергей Иванович Иванов, бывший начлаг Томь-Усинского лагпункта.

Но это потом, а Веру Ивановну тоже вспоминаешь при рассказах о врачах-садистах в фашистских лагерях. Истеричка, садистка, совершенно больная ненавистью к коллаборационистам, она мне не только дала «приму», сняв с медработы, но, посещая бараки с 58 статьей, кричала: «Моя воля — я вас всех сожгла бы!». Брызгая слюною и визжа, «фашистка», как ее все прозвали в лагере, после издевательского повторного, по моей просьбе, осмотра (кстати, с еще одним приехавшим из Кемерово врачом-садистом тоже) стучала кулаком и кричали: «За что вы убили моего брата?». Я ответила, что не убивала и мухи, но, может быть, брата убили потому, что он был похож на нее. «Прима» у меня так и осталась. Спас меня только отъезд обратно в Киселевку. А когда я сказала начлагу, что ей с такой ненавистью работа в лагерях противопоказана, он пожал плечами: «Не хватает у нас врачей!».

Но вернусь ко временам более ранним, к сотрудничеству с милым заключенным доктором Тоннером.

После первой ночи в Киселевском лагере, ночи грабежей и страха, медперсонал из «омбулатории» переселяют в здание санчасти, деревянный дом, уже побеленный, отремонтированный блатными, прибывшими прежде нас. Однако в знак презрения даже к такому лагерному труду, в палатах рабочие-урки оставили кучи экскрементов, которые мы с доктором Зейналовым и стареньким «фельдшером» (бывшим инженером, сидящим без срока, видимо троцкистом или участником так называемой «Пром-партии», или старым большевиком) убираем сами. Зейналов ленив, неинициативен. Им движет не желание работать, а, приступив к приему, свести счеты с ограбившими его блатяками. Но когда грязную работу по уборке помещений мы закончили, в стационаре появляется высокий светлоглазый врач-хирург с ресницами, как звездчатые лучи. Он — голландец, которых, причислив к немцам, выслали из приволжской республики. Зейналов рекомендует меня, как прекрасную «опытную» сестру, и быстро исчезает на этап, а Тоннер

торжественно заявляет, что создаст здесь хирургическое отделение, и я буду у него хирургической сестрою. Его устраивает и мой возраст: в Сталинском госпитале он очень страдал от «балаболок-девчонок», подводивших его не раз с асептикой.

С этого момента начинается новый этап моего сестринского служения, уже лишенный той теплоты, которая «несла» меня в Белово. Время и новые испытания, перенесенные здесь, вселяют в характере новые черты, новые способы приспособления к среде и к борьбе за существование. Как-то незаметно гаснет экзальтация самоотвержения первых лет. Руководит мною долг и огромный интерес к работе в медицине. Кроме того, по приговору всех столкнувшихся со мной врачей — у меня «диагностический дар». (А это — дар!). Господи, как интересно работать! Теперь я окружена, как в Черте, «себе подобными», но от них более изолирована: зона огромна, живу в санчасти, единственная в зоне женщина. Надо быть настороже все время. Перестаю идеализировать зеков, хотя казаки вызывают мою особенную как бы нежность, где возможно, стараюсь помочь им особо.

Работы еще больше, чем в Белово, и она так же бессонна, как там. Я — одна. В ходу у Тоннера теперь и пенициллин и вливания. Строго соблюдается асептика и антисептика, хотя хирургия в наших условиях еще малая и только гнойная. Своими прекрасными руками Тоннер обивает дранкой стены по вечерам: жаждет устроить настоящее хирургическое отделение.

Все это для меня — школа. И любимая, обожаемая работа! Я полная хозяйка растущего госпиталя, у меня чистота, хотя санитары-мужчины. Галю-татарочку тоже забирают на этап.

А голод еще грызет! Тоннер не очень интересуется кухней, так как, снимая пробу, получает лучшую еду. Но я голодного положения своего не замечаю, очень уж интересно работать с Тоннером.

Голод спадает только к лету, когда на каше вдруг появляются кружочки сливочного масла, а на кухне сменили поваров. Завстоловой — тот офицер Барановский, жена которого была неудачно избрана моей соседкой на фото. Я рассказала историю, произошедшую на моем допросе в ПФЛ, Барановский объяснил мне технику таких «фотографий с натуры» и даже предположительно назвал изготовителя.

Я одна женщина в зоне, моя жизнь под особым наблюдением, но это меня не пугает. Все зеки, конечно, думают, что я «живу» с доктором. Пусть думают, мне это выгодно! На деликатные намеки Ивана Петровича, что он «мог бы полюбить» женщину старше себя, не реагирую, в результате чего он сделал наложницей, как позже выяснилось, малограмотную, случайно к нам попавшую,

пациентку Надюшу.

Вообще же, как правило, сестры «сожительствуют» с врачами. Иногда и начальство смотрит на это сквозь пальцы. Мнение, что в Белове я «живу» с Алексеем Петровичем, было мне на руку: никто не «посягал». И сам Алексей Петрович, многократно меня спасавший, поддерживал слухи шутками; бывало, лягу вздремнуть, он шипит: «Не шумите, жена спит». Услышав однажды, я возмутилась, но он мне разъяснил, что так мне же лучше. Теперь начальство, с любопытством провинциалов, наблюдая за мною, все знает точно, и я спокойна за свое прочное положение в амплуа сестры, очень престижное в лагерях.

10. Мостырщики

Чтобы завершить медицинскую тему, коснусь еще одной специфики в лечении зеков. Уже в Белово узнала я эту сторону лагерной медицины: разоблачение, или, наоборот, покрытие так называемых «мостырок» — искусственных травм, артистично наносимых зеками себе самолично, а порою и с помощью медперсонала. Болезнь ведь нередко служила средством спасения от тяжелых работ, от этапов. В госпитале больной не мерз, жил в лучших условиях. А люди с не слишком крупными преступлениями могли быть даже «сактированы по болезни», то есть освобождены досрочно. Актировали и по возрасту.

Актируем бабку-самогонщицу. Судья спрашивает: будешь теперь самогон варить?

— А что ж, батюшка, если сын опять приедет, придется варить бражку! — Старуху не сактировали.

Приходил старик 75 лет. Он был по 58–10 статье — «болтовня», то есть «дискредитация советской власти». По его мне признанию, он когда-то был «капиталистом»: имел крупный завод или фабрику. «Большие дела делал — рассказывал он, — на заграницу работал. Была у меня тыща рабочих. Ты-ыща! А канцелярии было»— я да мой приказчик».. Посадили его за то, что ходя с какими-то делами по советским чиновникам, вслух возмутился обилием канцеляристов-бездельников, в то время как «на полях работать некому». Врач на всякий случай представил его к актировке, но 58 статья даже в таком пустяковом действе актировке не подлежала никогда. Мамки «политические» — тоже. («Мамки» — это матери, родившие в лагерях).

Так как 58 статья никогда не актировалась, мостырки среди «государственных преступников» были реже, служили только средством попасть в госпиталь. При безбелковом питании у многих появлялись отеки, они их увеличивали, «мостырили»,

потребляя соль с водою. И многие вызывали этим необратимые процессы отекания и погибали десятками.

При докторе Жаркове замечаю вдруг, что один градусник, отличный от других, то появляется, то исчезает. Замечаю, кому его даю. Некий Костя! Он был посажен на 8 лет и всегда подчеркивал, что он не вор. Он был «великим комбинатором». Костя много рассказывал, как дурачил провинциальных председателей колхозов. Я запомнила только рассказ, как он артистам продавал «куклы»: показывал отрезы, а вручал пакеты с дерюжками и т. п. Просто украсть считал «позором». Рассказал и об одном «чудаке» — приятеле.

Тот был «добрым разбойником». У одних отнимал, а бедным давал, помогал деньгами детдомовцам, например. Схвачен был при попытке соблазнить какого-то ребенка покупкой ему железной игрушечной дороги. Мать и выдала оригинала. У крупных артистов выманивал ценности шантажом и т. п.

У нас Костя лежал как «тубик» — туберкулезник с открытым процессом в легких. Заметив подмену термометра, я никому ничего не сказала. Купить или украсть запасной градусник для на-бивания субфебриальной постоянной температуры было не трудно. Но ведь актировали комиссией из вольных врачей, делали анализы, рентген. Доверенный заключенный врач только представлял неизлечимого к актировке. Выход был: перед рентгеном вдыхали тончайшую сахарную пудру, оседавшую и дававшую полную иллюзию каверны, крепитации. Мокроту «с палочками» покупали у настоящих тубиков, которых тогда было много. Костю, просидевшего из восьми только год, сактировали.

Узнавая об этих «секретах производства», я своих «братьев по классу» никогда не выдавала, но, правда, опасаясь своей прирожденной бесхитростности, и не помогала мостырщикам, хотя мне порою и намекали, что при соответствующем вознаграждении… Обычно при подобных мостырках врачам полагалось давать «на лапу», а тем паче, коли они проходили при их участии. Обычно они подсказывали симптомы.

Тоннер особо интересовался мостырками, но лишь для «шлифовки себя» в диагностике. Мне он раскрывал эти секреты, тоже спасая мне жизнь: может быть и пригодится в лагере самой, либо для разоблачения, чтобы поддержать репутацию честности в глазах начальства, либо «для мести» (он так и говорил), либо для обогащения при участии в мостырке, либо для собственного спасения в случае нужды.

Когда в Маргоспитальском театре артистов с тяжелыми статьями стали отправлять — в 50-х уже годах — на дальние этапы, подлежавшие им бежали в санчасть, заболевали внезапно

(молочный укол, или сахарная пыль, или аппендицит) и отставлялись от этапа. Говорили, вольный начмед, заподозрив нечто, начал осматривать у «оперированных» рану. Разматывали повязку: поверхностная рана была сделана по правилам. Но потом стали отправлять и больных, даже на носилках, и актеры перестали искать такой защиты: только проволочка!

Блатные мостырились постоянно. Чаще всего делали «флегмоны» без всякой медицинской помощи: иглу с ниткой проводили по чужим зубам и прошивали ею кожу на кисти руки или стопе ноги. Получалась «подушка», похожая на флегмону, но чаще септическая опухоль в нее и обращалась. Для наблюдательного врача признаком такой мостырки служили две крохотных точки, куда входила и откуда выходила игла. Флегмону взрезали, лечили, а тем временем нежелательный этап или морозный период, особо нежелательный при работах на воздухе, проходили, и человек на время спасался.

Имитировали недержание мочи, даже кала, истинную причину сего не мог установить даже квалифицированный врач. Воняли пронзительно, но терпели для спасения жизни, мучились, но добивались более легкой работы, на которой «излечивались», кто поопытней, со страшной медленностью. При списании «на общие» повторяли прием.

Летчик-герой, краснодарец Володя К., получивший 15 лет за послевоенные экспроприации — наш беловский Незнамов — ловко имитировал эпилепсию. Могучее свое тело он бил беспощадно о пол, о камни, там, где его «настигло». Проверив однажды его реакцию зрачков на свет, я поняла: мостырка, но молчала. Опытного врача в Белове уже не было, а с неопытной «вольняшкой» Володя вступил в сожительство, видимо, надеясь на актировку. Потом его «разбил паралич», он много лет лежал и, действительно, потерял ноги. Такие особенно напряженные мостырки не раз кончались истинным заболеванием, так что больной и после актировки не мог ходить. А не подлежавшие ей «долеживали» срок в лагерных госпиталях. Володю я встретила в городе Ставрополе, спустя много лет. Прихрамывая, с палочкой он направлялся к краснодарскому автобусу. Я подошла. «Вы Володя К.?». Дрогнув ресницами и отводя глаза, уже немолодой человек ответил сухо: «Нет!». Не узнать меня он не мог.

Появлялись безумные. Кто, кроме специалистов, мог установить истину? Тем более, что в психбольницу для зеков где-то возле Томска направляли только буйных. А у нас по зоне бродил напряженно сосредоточенный человек, подходя к встречным, многозначительно и таинственно говорил: «Я — шизофреник!» Петька Химии, молодой журналист — казак,

будучи всегда неуравновешенным, «совсем сошел с ума» и сделался лагерным юродивым. От таких обычно отказывался конвой. Врачи пожимали плечами, начальство, исчерпав меры дисциплинарного воздействия в борьбе за рабочую единицу, прекращало преследование таких несчастных или хитрецов. Сактировать их было нельзя: «политические!».

Сталкиваясь с мостырщиками, мной описанный гуманный старенький доктор-земец, ночи не спал. «А вдруг он вправду больной!» или сокрушался: «Ни черта медицина не стоит!»

Один случай гениальной игры в сумасшествие чуть не наградил меня новым лагерным сроком. Привезли на беловскую пересылку сумасшедшего, следующего спецэтапом в Томскую психбольницу. В нашей больничке переполох: он лаял, кусался, изгрызал термометры, изранивая рот. Но заметила я, что стекло он не глотает, а вместе с пузырями крови выплевывает. Потом уловила, что перемигивается с блатным паралитиком (был «посажен» за то, что «ссучился») Васькой. Не придала значения: бывают минуты просветления и у сумасшедших, а тут «своя своих познаша». Васька помогал его кормить, и видимо, дал понять, что я «Человек», так как больной был мне во всем покорен, а на врачей бросался с рычанием. Меня намеревались присоединить к конвою для сопровождения его далее в Томск, да Алексей Петрович отстоял, заявив, что я здесь уж так нужна! Выделили сестру-девчонку, сняв ее на время с общих. По дороге «сумасшедший» бежал, очень смело, обдуманно и умно. Будь на месте сестры я, не миновать бы мне «довешенной статьи» «за пособничество побегу» (при моей 58-й, которая всегда виновата, это случилось бы, а девчонка-бытовичка отделалась допросом и испугом).

Тоннер, врач прекрасный, с большой лагерной практикой, то есть универсальной, все такие штуки разпознавал с первого взгляда. Чтобы отучить блатяков от обмана, он сразу же начинал «лечить» жестоко, резать, колоть (блатяки же, не щадя себя в мостырках, ужасно боли боятся), пока «больной» ему не признавался в «самодеятельности». Тогда, не донося начальству, доктор лечил хорошо и гуманно последствия мостырки.

Существовал у блатных обычай засыпать глаза стеклом толченым с химическим карандашом. На этап такого не возьмешь: глаза лиловые. Алексей Петрович при таких зверских самоистязаниях особенно волновался, бил в морду дураков, сопротивлявшихся леченью. «Негодяй! Это теперь не твои глаза, а мои!». Это была страшная мостырка. В Арлюке, например, жила девушка студентка-блатнячка. В порыве истерического «самосожжения», столь присущего такому психофизическому типу

людей, засыпала глаза, а доктор, тот, что деньги за лекарства брал, лечить не стал. Она совершенно и навсегда потеряла зрение. Молодая, красивая и неглупая.

Тоннер самоотверженно лечил. Был к ним милосерден до удивления.

Доставили к нам из жензоны женщин отобрать «таланты» для организующегося театра. Одна — совсем молоденькая с прекрасным голосом. Талантов поселили в госпитале в одной со мною комнате. «Певица» оказалась столь вшивой, что подушка ее за ночь стала серой и шевелящейся. Доктор сам брил несчастную, скальпелем вычищая вшей из-под корочек на искусанной голове. Еще и приговаривал: «Не плачь. Вот мы тебя почистим, волосы вырастут, найдешь себе тут хорошенького сачка». Алексей Петрович подобную омерзительную работу поручил бы даже не мне, а санитарке.

Несмотря на опытность Тоннера, все-таки и он стал жертвой обмана при широко задуманной блатными мостырке. Пережили мы с ним в зоне «эпидемию сифилиса», причем Тоннер даже начальству заявил, что в венболезнях он «швах»! Началось все это вот почему.

Блатные поначалу неохотно покидали вновь организованную зону: с нее путь лежал только на дальние северные этапы. Они терпели даже побои и преследование работой со стороны «политических» нарядчиков. Тогда сами, я полагаю, «контрики» стали распускать слух, что нас собирают в особые лагери, чтобы сразу уничтожить в случае войны (в начале прошедшей так и случалось, многих просто расстреляли, например, в Яе). Слух полз. И тогда началось повальное бегство блатных, тем более, что и массовые грабежи становились невозможными: нас было подавляющее большинство. Вопль «Пропадем мы здесь» ширился. Дальних этапов боялись, но можно было уйти из этой зоны в специальные лечебные лагпункты, в нашем же милосердном климате, например, в вензону. И потекли в санчасть «больные» с жалобами на «вензаболевания».

Действительного сифилиса было 1–2 случая, но мостырщиков стали десятки. Тоннер в венболезнях не разбирался, анализов у нас не делали. Узнав эту «слабину» врача и от настоящих сифилитиков разузнав симптомы, блатные текли и текли с шанкрами, сыпями, головными болями, со ссылками на общение с истинными сифилитичками. Внешние признаки мостырились так: в типичных местах папироской наносились язвочки, приправлялись марганцем, розеольная сыпь наносилась, кажется, покалыванием иглой. Начальство едва успевало отправлять в вензону «подозрительных». На этом настаивал сам Тоннер: ему

самому надоели блатяки. Однако он учит их «уважать медицину»: пока отправление оформляется, он начинает «лечить» — колоть. Мостырщики сразу обнаруживаются, так как блатные ужасно боятся уколов и боятся их последствий для здоровья. Они сопротивляются бешено, визжат, отбиваются, у многих доктор добивается признания в мостырке, но начальству не докладывает, берет в свой практический опыт. Иные, сопротивляясь, визжат: «Вот скоро вас…» — «И вас с нами»… — хладнокровно говорит врач. Особенно комичен был в сопротивлении лечению Юрка, одесский, будто с плаката урка, явившийся с «махровым шанкром». Требует наряда в вензону. Изолируем. Покамест — биохиноль. Он убегает из изолированной палаты. Запирают в ней, раздевают до белья: куда пойдешь в мороз! Он распевает блатные песни и рассказывает мне, как «шикарно жил» на воле, даже портянки шелковые носил. На уколы в кабинет не является, и мы еще раз убеждаемся: мостырщик! «Признайся» — говорит Тоннер, парень упирается и дерзит. Тогда мы с Иван Петровичем, захватив все нужное, сами идем в палату, Тоннер произносит свою формулу об уважении к медицине, я беру шприц с биохинолем. Юрка выскальзывает между долгими ногами врача, тот ловким приемом валит его на пол, стягивая подштанники, обнажив посиневшие ягодицы. Я вонзаю шприц. Это очень больно, так как парень бьется. Объясняю: больно, потому что бьется. «Ой, сестрица, мамочка! Не надо! Не надо!» — Ты лучше кричи: «Ой, не буду доктору врать», — щурит глаза Тоннер. Потом парень все допытывается: «А что будет, если здоровому человеку такие уколы?», но признаться врачу в мостырке никак не хочется: а вдруг доктор — сука скажет начальству, тогда погибать и ему вместе с «фашистами!».

Число вливаний (разных) при Тоннере переваливало до полусотни. Как повар над котлами, я сидела над кипящими стерилизаторами, в палатных помощниках у меня двое райхсдойче — Вайс и Герд, о которых — особый очерк.

Как интересно с Тоннером работать! И он меня ценит. Попадаю в неприятность: приходит Ниночка Белозерова за справкой. «Сказали надзору, что Чистяков меня исколотил. Осмотрите меня! Он меня пальцем не тронул!». Оглядев только ноги, даю справку, что следов побоев не обнаружено. Оказывается, следы есть, и на спине, и на грудной клетке. Тоннер в панике: за «связь с блатными» (потакание) меня хотят снять. Но он отстаивает, объяснив, что я неопытна перед хитростью и меня не трогают.

Глава IV

АМУРЫ И ЗЕФИРЫ

1. Необыкновенное лето

«Я тебе театр построил,
а у тебя актрисы кобенятся…»

«Господа Головлевы».

Начлага майор Киселев задумался. Приходил к нему заключенный Райзин Иван Адамович, в миру бывший режиссером и актером Грозненского театра, и предложил ему в нашей зоне организовать профессиональный театр из зеков.

Потребовали «Дело» Райзина. Бытовик! Хищение социалистической собственности — статья от «Седьмого-восьмого» (август 1932 г., то есть вор). Следовательно «свой». Хотя… немец! Выслан из Грозного как немец. Мать — цыганка. От нее у него больше, чем от папы. Интеллигентный, красивый. В ссылке работал по специальности. Воровал «метраж» — театральные ткани. Посадили на 10 лет. В Сиблаге организовал профессиональный театр из зеков, оттуда этапирован, ибо, будучи расконвоированным, пьянствовал, тоже манипулировал с «метражом», завел гарем из артисток, вообразил себя незаменимым, получил дрожки в личное пользование… Окончил Гитис. Теперь держит себя более чем скромно и работает во «второй части» — кадровой и этапной.

— Гм… — раздумывал майор. — А почему бы ИТК[18] и не иметь, как в Сиблаге, свой театр? Профессиональных актеров нетрудно накопить в зоне, из области… Скучно в глуши сибирской, все-таки… Когда кто выберется в Кемерово, где неплохой театр! Женсостав для театра? В мужской зоне? Все равно, и на мужучастках постепенно собираются женщины…

Майор приказал явиться к нему зав. лагерной культработой — КВЧ, заключенного Щербакова. С ним разговор построже: из «немецких пособников». Драматург. Журналист.

Пока искали, майор раздумывал: «У меня много интеллигентов (он именно так и думал: «У меня» — нас он называл «мои люди»). Театр создаст иллюзию воли, успокоит эксцессы, вызовет разрядку при какой-нибудь напряженной ситуации…

Он вспомнил отличные спектакли Сиблагского театра:

«Отелло»… — тогда Райзин очень понравился майору в роли Отелло. «Маскарад», как его, Лермонтова, что ли?.. Знатоки говорили, будто в Александринке побывали… Артисты,

декорации превосходные…

Райзин говорил ему также о большой воспитательной роли театра. Блатные мальчики и девочки попадались талантливые, бросали прежнее ремесло… Это и ему, лично, майору Киселеву — в актив его воспитательной работы…

Доктор Тоннер сказал мне: «А знаете, Евгения Борисовна, Иван Адамович организует здесь стационарный профессиональный театр! — «Актеры?» — «Пока самодеятельные, потом наберут! Правда здорово?» — «Правда», — равнодушно ответила я.

Потребности эстетические появились у зеков по прошествии голода. Привозили тогдашние кинобоевики: «Рим — открытый город», «Весна»… В целях воспитательных поощряли и самодеятельностью. Вступать в нее приходилось мне и в Белове. Успех я имела невероятный. Но о моем театральном полупрофессионализме в юности, обучении с студиях, мало кто знал: марка «отличной сестры» меня устраивала больше. А сейчас И.А. натолкнулся в моей карточке на слово «искусствовед». Потом иные без зазрения называли меня «ученицей Мейерхольда», хотя сам мастер уже сидел, быть может, умер, и имя его в печати не упоминалось.

— Евгения Борисовна, Вас вызывает Киселев! У него Райзин и Щербаков.

— Вы, говорят, в Белове играли Коринкину? — удивление всех троих мне понятно: очень уж мое лагерное монашество и нынешний жалкий вид не вяжутся с образом «гранкокетт».

— Игрывала, — говорю. — И Марчуткину, и Феклу в «Женитьбе»…

— Вы учились сценическому искусству?

— Училась, — говорю. — Поэтому-то моя игра на фоне самодеятельности…

Особенно удивился Щербаков. Он мне потом говорил, что я ему прежде казалась не более чем галкой, сердитой и взъерошенной.

— Вот вы и будете, — говорит Райзин, — премьершей нашего театра и моей ближайшей помощницей.

— Что Вы, что Вы! Какая я актриса! — И умоляю оставить меня на моем «островке гуманности». Отнестись к театру «так просто» не могу, я все-таки работник искусства, хотя другого. В области другой пластики… Да и лет мне уже скоро сорок.

После долгих «почему», лестных сопоставлений из истории театра, когда сорокалетние игрывали молоденьких, после убеждений, что театр — тоже «островок гуманности» среди безрадостной жизни зеков, полуугроза: «Ну, как бы Вам, Евгения

Борисовна, не пришлось пожалеть о своем отказе!».

И тут я оказываюсь втянутой в игру интересов еще и чисто мужских.

Через день-другой Тоннер еще более встревожен: Киселев заявил, что отныне в этой мужской зоне должен быть фельдшер-мужчина, а не сестра, что здесь разрешат жить только женщинам, занятым в театре, и чтобы остаться сестрою, я должна получить роль.

Идут смотры самодеятельников. Выплывает несколько «перлов». Мне-то не хочется, мне надо спасать физические жизни моих собратьев, но это возможно, если буду помогать театру. Так я «поплакала, поплакала и пошла в актрисы».[19]

— Когда я создам здесь стационарный театр, актеры будут освобождены от других работ, как в «Сиблаге», — объявляет Иван Адамович. А я думаю: «Хоть бы ему это не удалось!». Женщин, привозимых к нам с нашей жензоны, Иван Адамович отбирает по каким-то своим признакам. Оказалось, отчасти исходя из «наложнических»). Так, в первом спектакле «Скупой» — его, как он говорит, спектакле, — Марианну играет малограмотная Соня, которая имя «Фрозина» произносит как «Акулина». Мне надлежит «заниматься с женсоставом», чего я не делаю. Спор: мои «поклонники» требуют для меня героиню, опытный Иван Адамович дает мне Фрозину, справедливо увидев во мне актрису остро характерную с отрицательным сценическим обаянием. Сначала мне безразлично, но потом, когда я заиграла, я его благодарю — Фрозина — первое мое «творчество» в лагере.

«Перл!» — говорят на первой же читке Райзин и Щербаков. И хотя я, исходя из общих представлений о мольеровском театре, «осубречиваю» Фрозину, дохожу до граней «травестийных», омолаживаю, замечаний от режиссера не поступает. Конечно, как ни отбирали самодеятельников, ансамбля в «Скупом» нет, из него выпадаем я и Райзин-Гарпагон, с которым у меня есть «концертная сцена». По отзывам зрителей-театралов «все остальное — мелочь пузатая».

Сразу обнаруживается небывалое и ужасное: мне трудно запомнить слова роли: склероз, от которого сейчас погибаю, обнаружился уже тогда. «В зажим» не попадаю, только по некоторому опыту. Пока Иван Адамович игнорирует такую мою «профессиональную непригодность». Зато потом использует ее против меня. Пока он мне все прощает: и то, что не занимаюсь с девами, согнанными для театра. И что всегда тороплюсь с репетиций на свои вливания и процедуры. Меня ждут покорно, терпят мои «коники», полагая, что это капризы «первого сюжета» столь принятые в театрах конотопского уровня. Пока Иван

Адамович — и, особенно заметно, Владимир Георгиевич — от меня в восторге, хотя ничто не забудется, когда Иван Адамович обернется для меня «серым волком».

По наивности не понимаю игры: Иван Адамович видит во мне будущую и равную ему сожительницу и только, но, полагая, как многие, что я наложница Тоннера, вежливо и терпеливо ждет своего часа. И час наступает, быть может, не без участия Ивана Адамовича — он ведает этапами. Моего доктора забирают на этап в Сталинский лагерь. Там есть госпиталь с хирургическим отделением. Тоннер рад. Иван Адамович сам торжественно сообщает с каким-то внутренним ликованием: «Евгения Борисовна, что же вы не идете прощаться: Иван Петровича — на этап!». Мы расцеловались с моим милым медицинским учителем на глазах всех у вахты, что стало для многих подтверждением нашего «сожительства». О Соне никто всерьез не подумал, а она-то и была… Даже я об этом не знала, пока не встретила ее месяцы спустя, приехавшей в нашу зону «на освобождение, как беременная «мамка». И она мне призналась, что ее «освободил» Тоннер, ее обеременивший. После прощанья Иван Адамович с удовлетворением вслух удивляется, почему же у меня «глаза сухие». Иван Адамович терпеливо и вежливо ждет…

В театре я, безусловно, начинаю чувствовать себя женщиной, но демонстративно держу за спиной тень горячо любимого мужа. Однако — возле меня не теряет времени Владимир Георгиевич Щербаков. Он уже «влюблен, как гимназист», ухаживает за мною открыто и не скрывает чувств.

А мне немного страшно, и совестно, и радостно, что в моем тусклом существовании открывается какая-то позабытая грань — женственное. Иван Адамович ждет напрасно моей благосклонности: он волк, он актер, воспитанник Гитиса, невежественен гораздо, хоть и талантлив. В.Г.Щ. мне полностью ровня. Он мне интересен, он остроумен, а главное, взаправду влюблен. Он объясняется и объясняется: ему не надо сексуальной близости; влюбленностью духовной он спасает психику интеллигентного мужчины. Так же, как у меня муж, у него «за скобками» тоже любимая жена и дочь. Но так намучила низость лагерного секса, душа просит духовного и поэтому избрана я. Я это понимаю: по выражению Рейснер, это «хитрость сердца». Там, «за скобками», настоящая супружеская и отцовская любовь, но и здесь надо «спасать духовную жизнь» поисками каких-то высших отношений к женщине и любовь — одна из спасительных граней. Я не могу на его «любовь» ответить иллюзорной любовью, не могу забыть о своем жизненном долге. Я пуста. И он называет свою любовь ко мне безответной и потому особо радуется ей: чувству

просторней. И, действительно, эта иллюзия чувства обратила его впоследствии в моего друга, самого верного, помогавшего житейски крепко, спасшего не раз (даже после моего освобождения). Да и сама иллюзия «настоящего романа» меня спасает тоже. Любовь души — действенна!

На первых порах он согрет иллюзией «чудного мгновения», а я исполнена радостной жизненной полноты, став для него «и божеством и вдохновеньем».

Мне радостно: есть рядом человек, с которым можно говорить, не упрощая язык до ежедневного мычания, человек, понимающий нюансы, прелесть игры ума и не претендующий вначале на сексуальное завершение близости. Сорокалетний человек жаждет возвращения эмоций юношеских, и я ему не мешаю.

И понимаю, это у меня уже последнее женское… (И, действительно, я оказалась любимой в последний раз в жизни). Как-то в парикмахерской я увидела в зеркальце (в лагерях больших зеркал не полагалось) локоть своей руки. Локоть стареющей женщины. В Анжерке в поликлинике, куда привели под конвоем к зубному врачу, увидела перед собой немолодую женщину, в телогрейке, теплом платке грубой шерсти, с глазами, мрачно горящими. Такими бывают уличные цыганки. Из толпы пациентов эта женщина выделялась зловещим видом…, как некая колдунья, грязная и нищая. Миг — и я понимаю, что это я сама, отраженная в большом трюмо. И припомнила такой же «эффект зеркала» в молодости. Это было в Ялте, в ресторане. Я не заметила сразу, что одна стена в зале — зеркальная, взглядом столкнулась с загорелой девушкой, прелестной брюнеткой в платьице знойного цвета, дрогнула от ее очаровательности: тоненькая, с высокой шейкой и сияющими глазами и не сразу поняла, что это я сама отражена в зеркале. Так случилось и теперь. Мне страшно стало: вот я какая… старая!

И вот меня любят! Человек, избалованный женской прелестью там, где попадались женщины и краше меня. Говорил еще, что люба я ему «нравственной силой». Что в условиях лагерной неприглядности я ни разу не оскорбила его эстетическое чувство ни вульгарностью, ни неряшеством, ничем. Иван Адамович наблюдает наш «роман» с человеком, похожим на больного слона, тревожно. Но, зная что меж нами «ничего нет», ждет… Живется мне нелегко: я уже не сестра, но живем мы, женщины-актрисы, в стационаре. Завхоз, которого я прежде «гоняла» за грязь, и проч., используя нас, как санитарок, однажды предлагает мне вымыть пол. Мстит: «Это лагерь, Борисовна». Отказываюсь. Помогать буду только на медприемах. Идет с жалобой. Объясняю начальству.

Поняли. Тогда Владимир Георгиевич забирает меня в КВЧ «хранителем материальных ценностей», что мы шутя называем «Лорд-хранитель печати». Вокруг лето. В зоне — густые заросли кашки и ромашек, букетами из них я украшаю не келью своего режиссера, а помещение КВЧ.

А после спектаклей на лицах зрителей свет и радость. Поистине — театр — тоже «островок гуманности». И главное — творчество! Редкостное явление в тусклоте предыдущих лет. И я со слезами благодарю И. А., за волосы втянувшего меня в этот мирок. Он молчит и смотрит на меня сухо.

На сцене у меня снова «ножка», в чудом сохранившихся изящных туфельках, а не лапа в растекшихся валенках или сапогах. В гриме я, вероятно, эффектна. Я — женщина, женщина! Подобные минуты «пробуждения» наблюдала я позднее в маргоспитальном театре у привозимых к нам из «отлова на этапах» актрисах. Привезли однажды «чувырлу», в телогрее, растоптанных валенках. Запела — ручей… Лагерная Золушка, обращенная в чувырлу злым энкаведешным колдуном.

А пока на меня глядят недоуменно (что она, лагерного обычая что ли не знает?) мурлыкающие глаза И. А. В «Волчьей тропе» Афиногенова он дает мне роль Ставской и среди реквизита покупает духи, чтобы я «чувствовала себя дамой». Деликатно ревнует: «Неправда ли, Каськов — красивый мужчина?» Равнодушно отвечаю, что он не может быть красивым, ибо он брюнет. Иван Адамович умолкает: он сам черен, как жук. На репетициях имя мое произносит с придыханием, но я ничего «не понимаю». Заметив, что я много времени провожу в обществе другого создателя театра, — Щербакова, он прозревает, и с этого часа начинается мне пока непонятная и незримая «борьба за королеву», как назвал всю эту историю В. Г. Щ. Я неведомо для себя становлюсь игралищем двух лагерных волков», один из них меня иллюзорно любит, другой мне мстит.

Догадавшись, что театр для меня уже все, И. А. лишает меня ролей. Тем более что для нужд альковных он уже получил некую девочку — самодеятельную и очень недаровитую Соню Дудкину, из которой он в буквальном смысле «делает актрису» — героиню, отрабатывает с ней каждый жест и каждый палец. Коринкину отдает прежде блатной Ниночке. И я — теперь лишь театральная портниха, расшиваю сшитые на меня платья, по ее плотной фигуре. Я должна смеяться, хохотать вместо нее за сценой — она не умеет. Работает И. А. с самодеятельниками столь успешно, что мы не узнаем кроткую Леночку в роли Кручининой. Мне даже не дают Галчихи, ее играет бездарная Вика, оставленная в театре по горячей мольбе: «хоть старух!». Педагог Иван Адамович лучше,

чем режиссер: из вовсе бессмысленного Гриши-одессита, прежде подвизавшегося как самодеятельный клоун, он вырабатывает прекрасного и осмысленно играющего Кречинского, а потом сенатора в «Глубоких корнях». Мне не дают Улиту в «Лесе», о которой мечталось, Гоней в «Глубоких корнях» — тоже — Ниночке. Девочки плачут и предо мной почему-то извиняются.

Начальство строго спрашивает, почему «лучшая актриса» не получает ведущих ролей, И.А. аргументирует: профнепригодность — забывание слов, «зажимы» и оставляет меня, как техническую силу и только в старых ролях Фрозины, Ставской…

Владимир Георгиевич защищает меня, как лев: конечно, театру я необходима!

А вокруг царит лето! Необычное тепло. Нас переводят в другую необыкновенно уютную зону, с деревьями, что совсем позабыто, травою по пояс и в ней масса полевых цветов. Одна «стена» — проволочная, видны дали. Мне, горожанке, любы огни окрестных строек. В зоне, прежде японском (военнопленные) лагере, оставлены японцами остатки их уюта: белые ажурные мостики через овражки, расписанные стены землянок. В яме среди мусора мы находим огромное количество мелочей — очаровательные фонарики из стеклянных осколков, самодельные утюжки из рельсов, подсумки из настоящей кожи, бархатные лоскутья от чего-то. Все у нас, нищих, идет в дело, и для себя, и для театра. Зона эта в будущем будет вольным шахтным поселком, и в ней, вместо землянок, начинают строить хорошенькие финские домики и большое здание клуба — наш будущий театр с очень хорошей акустикой (стекло и прочие строительные хитрости — среди нас много инженеров).

Отношения с Райзиным все осложняются: я отказываю в «отрезе» ему на брюки от театральных благоприобретенных сукон (пресловутый «метраж»). Между режиссером и драматургом из КВЧ уже неприкрытая вражда, в которой пока побеждает Щербаков.

На ходатайство освободить актеров от прочих работ приходит ответ: могут работать только для театра Р. и я — профессионалы. А ролей у меня нет: я «не нужна». В «Глубоких корнях» Гоней мне не дали, в «Русском вопросе» я только безмолвная негритянка — официантка в кафе. Оправдываю изречение: «нет маленьких ролей»… Затем В. Г. придумывает для меня еще «постановочный эффект» в кафе: двое наших гимнастов и я «выступаем» в этом самом кафе на эстраде. Гимнасты ловко «ломают и бросают» меня, одетую в белоснежное платье «а ля «Большой вальс». Полная иллюзия гимнастического номера с дамой. В одном акте я дважды преображаюсь из негритянки в гимнастку, а спектакль эта

сцена украшает. «Какая она «техничная»! — восхищаются зрители. — Но почему она не Мегги?!

— Ей нельзя поручать даже песенку, — грубо отвечает И. А. — Все равно, забудет слова». Все последующее — месть его за «неумение жить по законам лагерной жизни», где каждый должен воздавать «кесарево — кесарю»…

И когда В. Г. говорит, как украсило «Русский вопрос» мое участие в бессловесных даже ролях, И. А. отвечает злорадно: «Вряд ли сама Евгения Борисовна в восторге от такой роли»…

И я в отчаянии: я уже жажду творчества, а меня обрекают на фокусничество. В глазах начальства я ценна еще и тем, что «не нарушаю режим» — все актрисы его уже нарушают сожительством с облюбованными мужчинами-придурками. Кроме того отношение мое с В. Г. осложняется. За «романом» нашим следит вся зона. В. Г. вызывает вольный нач. КВЧ Иванов: «Что за слухи?» (их муссирует И. А.) «Я люблю ее, гражданин начальник, но люблю безнадежно, надеюсь, в этом нет «нарушения»? — «Почему же безнадежно?» — В. Г. рассказывает ему легенду об обете монашеского девства, данном мною «из побуждений религиозных». Сплетни начинают расти.

Но гораздо хуже: я понимаю, что и «безответная любовь» В. Г. требует продолжения логического. Я не девочка. «Может, отправим ее, Щербаков?» — спрашивают начальники, далекие от соображений надзора? им «чудно», что роман может быть без физической близости. — «Тебе-то, поди, тяжело?» — «Я тогда умру, гражданин начальник», — отвечает В. Г. и плачет «скупою мужскою слезою». Отступаются. Девочки передают мне: «И. А. уже давно добился бы вашей отправки, да начальство за вас: очень уж вы хорошо играете», или… «хорошо себя ведете»…

Мне хорошо в этой зоне, так хорошо мне еще не было в заключении, так уютно. Я далека совсем от мата, животности. Я много читаю «новинок», мы говорим о книгах, даже стихи у меня начинают складываться, даже интриги вокруг меня как-то поднимают в собственных глазах, создают ощущение жизни, но чувствую: вокруг накипает грязца, в свое время не совсем мне понятная. Я начинаю утомляться от своего «романа». Конечно, у лагерной жизни свои законы, и Владимир Георгиевич тоже лагерный «волк», его «безответная любовь» — камуфляж чувств иных, он немного для меня приоткрылся, и как Хлестаков (пользуясь невежеством слушателей, хвастает, что «Штиль» Б. Белоцерковского — его пьеса). И нечестно мне мучить «безответностью» человека, который столько для меня делает, для моего покоя и радости! Но даже из благодарности не могу пойти на унижение «заначек» (так называется прятанье от надзора

лагерных «супругов»).

Кроме того, как я понимаю по скупым письмам, у мужа был пересуд, он, видимо, получил «полную» катушку — 25 лет… Могу ли я быть спокойной, неверной, смею ли?! Письма его дышат любовью, хотя теперь редки. И зачем мне эта «чужая» любовь В. Г.? Так скорбит мое сердце, а мозг говорит: надо себя спасать. Так, как живу я сейчас, живут в заключении редкие люди… Словом, я на острие ножа…

«Ходит птичка весело по тропинке бедствий»… От Иванова узнает по секрету В. Г., очень с ним подружившийся после своего признания, соседняя с нами жензона закрывается и переводится в Анжеро-Судженск. Следовательно, не будет «юридического повода» держать в мужской зоне женсостав театра. Отправят всех женщин. Идиллия обрывается. Начинается бешеная борьба за женсостав театра. Разрешают оставить актрис только на время очередного спектакля «Чужой ребенок», в котором мне все-таки режиссер дал роль фельдшерицы. И. А. заявляет: «Будет фельдшер!». В. Г. мечется по начальствам, как большой печальный слон, пишет петиции. И. А. вдруг говорит: он оставит меня, если… если я извинюсь перед ним.

— В чем?! — Однако иду после жаркой мольбы Владимира Георгиевича к Ивану Адамовичу.

— Чем я вас обидела? — «Подумайте сами», — говорит он, спрятав глаза. Круто молча повернувшись, иду укладываться. К начальству бегут оба «волка» по культурной работе. Телефонные звонки в ИТК. За меня просит Иванов и д-р Ермак — оба «в курсе» нашего «романа». Приказано: оставить меня для «Чужого ребенка», который хочет посмотреть какое-то высшее начальство. Победа! «Слон» весело помахивает курносым хоботом.

На рассвете эшелон с женщинами отправляют. Мы с В. Г. радуемся, что-то там дальше будет, а пока этапа избежали. Для «Ребенка» оставили пока трех: Сонечку, Леночку, меня. Много сцен будет купировано. Потом нас увезут на «Зиминку» — это близко, там есть жензона, а на спектакли будут привозить сюда. Мой «слон» ликует, и мы усаживаемся с ним за простыни отчетов. Однако после того, как женщины уехали, а мы беспечно подбиваем колонки цифр, входит сам начлаг Алферов. Видимо, за эти полусутки И. А. не бездействовал.

— Собирайтесь! Все-таки не удалось вас отстоять! — Оставлены на Зиминке только Соня и Леночка, наложницы И. А. и начсанчасти.

Будь здесь посторонние, начлаг не был бы столь со мною вежлив: «Нам очень жаль вас терять, радовали нас своим искусством, да и женщина вы хорошая, но ничего поделать я не

мог». — видимо «сплетники» сделали свое…

— Да ведь эшелон в Анжерку уже ушел!

— Нет, он еще на вокзале. — Сейчас офицеры и начлаг едут его отправлять и меня увезут с собой. Козырнув «даме», начлаг уходит.

Я чувствую даже какое-то облегчение, определенность. Рок. «Кисмет». Я как-то верю в свою звезду: не пропаду и в Анжерке, хотя лагерь там бытовой, женщин с 58 статьей единицы. Если б знала, что меня там ждет, испугалась бы, но, к счастью, на будущем пока флер неизвестности. Прибежавший Иванов твердит, что они еще поборятся за театр, еще вернут весь его женсостав! Он говорит это для В. Г., который весь потемнел от горя, его курносый лик заострился, он не скрывает слез.

В полчаса, данные на сборы, он экипирует меня, как на полюс, используя свои связи, чем спасает жизнь, ибо в Анжерке, не будь я так тепло одета, пропала бы. До сего дня «живет» у меня отданная им мне тогда овчинная безрукавочка.

В грузовик меня подсаживают. Офицеры становятся вокруг меня кружком, взявшись под руки. Конвоя нет, конвой — они. Я шучу: «Да вы сядьте, я ведь не убегу!». В ответ — молчание: уже я не актриса, не «дама», с конвоем разговаривать, тем более шутить не полагается! Перед посадкой в ожидающий нас эшелон, начсанчасти доктор Ермак подает мне сумку с медикаментами.

Ах, И. А., что Вы со мной сделали! Из мира интеллектуальных интересов я снова брошена в гущу бабьих блатняцких лагерей. Так лихо, как в Анжерке, мне еще не было!

Все, что последовало в ту ужасную для меня зиму, В. Г. в письмах ко мне назвал «борьбой за королеву», уподобив бои за театр (а для него самого — за меня) шахматной партии. Вовлечены в нее были и доктор Ермак, и начКВЧ в Киселевском лагере.

Во имя иллюзии истинного чувства Владимир Георгиевич сделал мне много добра. Трижды «спасал», в первую очередь, мою эмоциональную женскую индивидуальность.

Как рассказывал потом, на утро после моего отъезда был разговор в кабинете вольного нач. КВЧ. Зек вошел, подал отчет, который бессонной ночью закончил один. Лицо его опухло, голоса не было. За ночь прибавилось седины.

— Отправили-таки ее? — и мат, мат, по адресу Райзина.

— Отправили, гражданин начальник! — и заплакал. И тогда вольный мужчина спросил у мужчины заключенного:

— Ну что ты в ней нашел, Щербаков? Что?!

И услышал лестные для меня вещи о моей духовной силе. «Вот одному признаюсь: со всеми театральными девками я «жил»,

а с ней, любимой, — и помыслить не мог». Что-то начальник рассказал и из своей мужской практики, и стали бы они друзьями, кабы один из них не был «голубой фуражкой», а другой — зеком.

Именно во имя этой им неведомой «великой любви» и помогал В.Г. вольный начсанмед и нач. КВЧ С.И. Иванов в последующей «борьбе за королеву». Еще раньше, сражаясь с И.А. за мое место в театре В.Г. иногда сокрушенно восклицал: «Ах, не тот я сделал ход, не тот!».

Почему в лагерях так сильны порою бывают любовные эмоции, ревность так жестока? Во-первых, от запретности страстей человеческих. Во-вторых, от душевного одиночества каждого. В беспросветном мраке, где каждый друг другу — волк, в борьбе за существование, выбирается один человек, как доверенный души, как единственно (в условиях «скобок») близкий. И, если он изменит или предаст, или не отзовется (как в моем случае с И.А.), страшны бывают отчаяние, а порою и месть. Все это сильно, бурно, скоропреходяще. Иной парень или девушка любят исступленно, нежно, самоотверженно, обязательно страстно, но чуть это дойдет до начальства, пару обязательно разлучают этапированием — и все быстро стирается. Головой бился на вахте доктор Т., когда увозили его возлюбленную сестру Нину (впоследствии нашу артистку), но когда я его позже встретила, он искал новую привязанность. Хотя знаю я лагерную любовь столь прочную, что после насильственной разлуки ждали освобождения друг друга, искали, находили, и много лагерных пар старятся нынче вместе.

Мы с Владимиром Георгиевичем долго сохраняли дружество, ибо иллюзией чувств некогда спасли психику от растления и омертвения, украсив жизнь чувствами истинной влюбленности, чуть миновала жесточайшая полоса биологической борьбы за существование — голод и смрад быта. Окутывание эротики флером чувств тоже служило сопротивлением распаду личности, который был предусмотрен для заключенной в лагери интеллигенции.

Я это хорошо уже понимала и «подыгрывала» В. Г. в дальнейшей нашей лагерной переписке, которая, кстати сказать, была единственной возможностью писательства. Я нашла для него образ чайки, подсказанный мне в одинокие ночи в оледенелой анжерской каптерке контуром белоснежной птицы из инея на черном стекле окна. И переписка не обязывала меня ни к каким унижениям.

Он писал много и красиво, посылал свои стихи с рыдающими интонациями. Чтобы проверить не теряются ли письма, мы их

нумеровали: опус 1, опус 2. Прибежала девка-цензорша: «Что это за шифр: «ор-2», «ор-8..?». Пришлось объяснить. «Вот я вам завидую: ка-ак он вас лю-бит!»

Цензоров мы обычно игнорировали, как животных, не стеснялись. Еще в Белово цензор, принося мне послания мужа, сказал однажды: «Читая ваши письма, я понял, что такое муж и жена».

Версифицировала и я, благо в каптерке впервые в лагерях была одна:

Глаза судьбы холодные закрыты.
Но глядя в милые, чужие мне черты,
Я руку занесла, как для защиты…
Такой меня запомни ты!

* * *

Священные не перейду заветы,
Не преступлю запретные черты!
Так в озаренье голубого лета
И в шуме трав меня запомни ты.
А из глубин души выпевалось о муже:
Идущий по льду, скользит
Горишь и светишь мне всегда
Любовь моя, моя звезда!
Как облака бесшумный бег,
Как падающий легкий снег,
Тиха ты. Ждешь ты, не дыша,
Моя любовь- моя душа…
Ты безначальна, как поток,
Чей в сердце у меня исток.
Ты мне как бабочка легка,
На венчик севшая цветка.
И тяжела мне, точно цепь
Вокруг моих бессильных рук;
Ты замыкаешь жизни круг.
Ты мне начало всех начал,
Ты жизни горестной причал…
Нога на льду всегда скользит.
Мне так рассудок говорит:
«Как долог путь, не доживешь,
Вокруг тебя и мрак и ложь.
Сверни с пути»… Вдали одни
Горят болотные огни.

Смирение рождает стон…
Но разум сердцем побежден,
И снова я чиста, тверда:
Есть путеводная звезда.
Дорогой тяжкою иду,
Но поскользнусь — не упаду:
Я вижу впереди звезду.
Храни меня, веди меня
Твоя любовь — звезда моя.

К тому времени образ мужа стал именно «образом», идеалом, «звездою», нереальным, уже почти не представляемым, но прочно сидящим в сознании. И все-таки живое, рядом горящее чувство В. Г. вытеснить его никак не сумело. Долг, долг, долг руководил мною с момента нашей разлуки в Лиенце. Как я оказалась наказана потом! Мы стали другими, новыми, во многом чужими.

Имела неосторожность в письме рассказать мужу о моем «романе». Он так и не смог понять, что в поединке трех сердец, трех человеческих душ победитель — он!

Борьба за театр и возвращение актрис продолжалась. Иванов и В. Г. делали «ходы конем». Р. было сказано: «Если не вернут меня, театру — не быть!» Ведь И. А. был у В. Г. «на крючке» с Соней, которую вместе с Леночкой привозили с Зиминки на отрывки из игранных спектаклей. А желание вернуться в театр становилось для меня не только вопросом возвращение к «себе подобным», к творчеству, но вопросом спасения жизни: я переболела бруцеллезом и с должности сестры слетела.

2. «Ход конем»

Мы кололи лед. Не помню, как называлась река в Анжеро-Судженске, на которой мы в тот день работали. Всю зиму кайлили и грузили «гравер» (гравий), несколько раз лопатили цемент — работа, при которой я получила жесточайший гнойный конъюктивит и совершенно навсегда потеряла голос, прежде богато интонированный. Чистили грейдер — шоссе от космических снегов — многие километры тяжелейшего труда. Причем в торопливости, при огромных каторжных нормах, когда медленно работать запрещалось. Со стороны зеков не могу припомнить прямой жестокости обращения со мной лично, но всегда ко мне, как к трудяге, отношение было ироническое, хотя, втянувшись, я работала, пожалуй, не хуже других. Но ко мне был какой-то «особый счет», от чужих. Те, которые знали меня в ипостаси сестры и актрисы, безоговорочно шли мне навстречу: «Борисовна работает изо всех сил, но процентов — ноль», —

говорили бригадиры из наших.

В солнечный предпасхальный день, когда повсюду уже текло, бригаду послали на реку, кайлить и грузить лед для каких-то охлаждающих целей (холодильников в массовом потреблении еще не было).

Снежный матовый покров стаял, и лед, толщиною с полуэтаж дома сверкал, зеленовато-жемчужный, в солнечных лучах слепил глаза. Торопили: с заготовкой льда запаздывали, нормы дали огромные.

Самые в бригадах здоровенные девахи кайлили, пилили лед, разбивали крупные отломы кувалдами, ударяя по пешням. Звон и визжанье пил разносились далеко по реке с низкими берегами, и вблизи слышалось надсадное дыхание женщин с кувалдами. Все искрилось, звенело, пронизанное солнцем, но радости не было.

Валенки нам уже заменили ботинками, и ноги стыли, особенно у тех, кто пилил, стоя в обтаивающем льду. И на душе была тоска: мы уже знали, завтра, в день Пасхи, выходного не будет: все как один, должны очищать территорию своей зоны от подтаявших, грудами лежащих экскрементов и мусорных куч. Выходного дня, нашей радости — не будет, не будет! Не о Пасхальном Воскресении грущу я, а о дне отдыха от унылой каторжной лямки своей.

Мне, как слабосилке, выпало загружать машины. На носилках, мы вчетвером, вдвоем таскаем тяжелые, как гробы, кубики и глыбки и переваливаем их в кузова. Края льдин режут ладони, без варежек нельзя, а они мокрые. Животы телогреек блестят от влаги: там, где женщине тяжело, она помогает животом. Ноют кости после болезни (я перенесла, как после выяснилось, бруцеллез). Глаза полны слез пополам с гноем. И голубой «грабаревский» простор, и сверканье, и весенняя капель — все безрадостно. Девки ругаются матерно — злые как осы: трудно, и завтра праздника не будет!

Уже три месяца я на общих по первой категории труда, которую дала мне «фашистка» Вера Ивановна, снявшая меня на работы за зоной не только из санчасти, но даже из каптерки. Вначале, когда из санчасти пошла за зону, бригадирша Любка Лянгина, которую я по требованию надзора не признала пьяной и из-за этого, якобы, «слетела на общие» «за связь с блатными», взяла меня в свою «бригаду-ух!» из блатных девок, где мат был главным стимулятором в работе. В первый же день, как только отошел от бригады конвой, Любка в присутствии всей бригады заявила: «А вы, Борисовна, жгите нам костер. А не хотите, мы сами зажгем, сидите, грейтесь». Любка «уважала медицину». Конечно, «так сидеть» я не стала, собирала щепки, топила. Иногда

и конвой подходил: «Сестрица, возьмите лопату, постойте на бровке: начальство идет!» «Бровки» — ступеньки в котлован, по которым снизу вверх перебрасывают землю до самого верха котлована, похоже на опрокинутый вниз дном шестиэтажный дом. Уходило начальство, я снова — к костру. А Любка «шумела» в нарядной: «Старается Борисовна больше всех, а проценту не дает». Перевели в каптерку.

Но когда «командные должности» бухгалтеров и нарядчиц заняли девки из Сталинска, меня прежде не знавшие, приняли за еврейку — в Сибири ненависть к ним биологическая! — и с легкой руки Веры Ивановны «ушли» меня и из ледяной моей каптерки, преимуществом которой было то, что я жила там одна.

А затем попала я на работы весьма тяжелые и «на равных» со всеми. До сих пор и выходила за зону ненадолго, теперь изо всех пройденных мною лагерей этот непосильный труд, да еще после болезни, от которой еще ломило тело, стал для меня самым тяжелым и долгим испытанием. Кроме того, в лагере масса бесноватых блатнячек, из чужого Сталинска. Таких зовут «чума». Среди женщин — свары, сплетни, интриги. Сперва поддерживали письма В. Г., что хлопочут нас вернуть театру, что ведет он большую шахматную игру — «битву за королеву». Однако, обещания в письмах все не получали реализации. «Если нам не удастся еще один задуманный нами «ход конем», то надежда вернуть вас сюда рухнет», — писал В.Г. в одном из последних писем…

И стоя на ледяных разводах среди матерящихся баб, и поднимая через великую силу тяжести, чувствовала я: не выдержу! «Не знаю как, но я на дне страданья», писала я Владимиру Георгиевичу. Ответа на мое заявление в ИТК с просьбой о наряде в другой лагерь, где я могу быть «использована» как специалист, не было. Не выплыву на этот раз! Не выдюжу!

В тот предпасхальный день донья в кузовах машин были мокрые, мы сидели на корточках (стоять в машинах не разрешалось). Меня уже толкали: «Ишь, барыня! Артиска!». Возле зоны, как всегда, пересчет зеков. За воротами — этакое стойлице для входящих бригад. Непонятно почему, у стойлица нашу бригаду ждет большая толпа женщин. И все они бросаются ко мне с истерическими криками, обнимают меня — тут все наши, Киселевские — и плачут. Оглохшая, шатающаяся от усталости, не пойму, почему они кричат: «На свободу! Борисовна, на свободу!» И целуют меня со слезами старухи наши: «Христос воскресе!» Но Пасха-то завтра! Вокруг меня массовая истерика. Расталкивая всех, ко мне приникает Вика Зайлер, наша актриса, более

обычного похожая на мокроглазую растрепанную болонку, и кричит, что ее и меня освобождают из заключения. То ли от усталости предельной, то ли от обычной трезвости, с недоверием слушаю, думаю: «Спутали бабы! Это нас в театр!». Нет, ни Ниночка, ни другие не вызывались, ее же начальник вызвал и объявил, что мы двое, я и она, должны в понедельник идти на главный участок оформлять освобождение. Так может быть, наш пункт или срок амнистируется? Нет, другие с этим пунктом не оповещены. Обалдеваю.

Ничего хорошего не ожидая от освобождения — на спецпоселении я уже побывала до ареста — плетусь к начлагу, спокойная, настроенная весьма скептически. Вика стенает от счастья, ломает ручки, слезами залито ее типично дамское старообразное личико. Начлаг подтверждает, спросив: может быть, мы с Зайлер подавали на помилование? Нет? Ну, он не знает, не слыхал об амнистии, пришло к нему распоряжение… Это первый случай в его практике, когда отпускают 58 статью.

Хоть я и не верю в «чудо», я думаю о Вере Ивановне — врачихе: вот тут бы плюнуть в ее подлую рожу! Если «на свободу», значит — невиновна!

Начальник немногословен: пока я еще зека, а им любопытствовать о себе не положено. Только позволяет мне и Зайлер завтра не выходить на работу на воскресник, в понедельник пойдете пока с конвоем, и на центральном участке вам все объяснят.

От начальника иду, пробиваясь через толпу поздравляющих, рыдающих баб:…«А потом, наверно, и нас… Господи!». В зоне массовая истерика. Иду в казарму к старому опытному «урченку» Ниночке. И она таинственным шепотом подтверждает мои подозрения: «Это вас так в театр забирают»…

— Но тогда должны и тебя…

— Нет, я из преступного мира, а вы настоящая артистка, Виктория — пианистка… — Глаза Ниночки, голубые и чистые, полны слез.

— Но почему же таким странным образом нас забирают? И Ниночка по секрету нашептывает мне, что и ее однажды из какого-то страшного уголовного лагеря, где блатные грозили ей убийством за «ссучивание», по ходатайству ее матери перевели в другой, вот так же, под предлогом освобождения. А она сама не знала истины и освобождению поверила. «Я тогда чуть от разрыва сердца не умерла…»

Девочка, ставшая за период «необыкновенного лета» родной и близкой, задыхается от отчаяния: она уже вкусила от театра и от общения с нами так много, что утратила полностью лик

блатной, она теперь просто дочь учительницы из Новосибирска.

Среда блатных, где она снова здесь очутилась, давит ее и гнетет, но прошлое и статью не зачеркнуть. Если даже нас, «специалистов», берут таким таинственным способом в театр, ее не возьмут… Позднее узнали мы, что Ниночка в Анжерке организовала самодеятельный театр, консультировалась с Райзиным, использовав те крохи культуры, которые ей дала Киселевская зона.

Сейчас, умница, мне напоминает:

— Помните, В. Г. вам писал о «ходе конем». Вот это, наверное, и есть тот «ход», чтобы перевести вас отсюда в театр. — И советует, вслух не выражать своих сомнений в освобождении.

— Я тогда чуть от разрыва сердца не умерла… — долго звучит во мне. От разрыва сердца может умереть и хрупкая, доверчивая, глуповатенькая Вика. Когда я ей секретно рассказываю о прецеденте такого перевода в другой лагерь, по каким-то соображениям начальства, услышанном от Нины, Вика, сразу и безоговорочно поверившая в освобождение, устраивает мне истерику:

— Ты подлая! — шепчет она, — жестокая! — и бьет себя кулачком в сухую грудку — Ты лишаешь меня надежды! Ты отравляешь мне счастье своими сомнениями! Я так ликовала! Я хочу не в театр! Я хочу на свободу!

— Дурочка! — уговариваю, — подумай, чего ты жаждешь! Что ожидает тебя и меня на свободе? Ссылка на поселение в глухую, дыру с поражением в правах. С тяжелой только физической работой ради только одного хлеба! На «свободе» тебе, сидевшей по 58 статье, не быть пианисткой, артисткой, инвалидом даже не быть, как здесь! Молись Богу, чтобы не на ихнюю «свободу», а нас таким таинственным и непонятным способом увезли в наш театр. Сейчас для нас это лучше свободы! Я уже была на поселении, я знаю, что это — нищета, бесправие. Необходимость самой добывать нелегкий хлеб, труд тягчайший и грязный, наконец. Это много хуже, чем хорошие условия в хорошем лагере. А лучше того, в котором мы были — не сыскать. Бога надо молить, чтоб это был театр, творческая работа, друзья! И ты сама понимаешь ли, как тебе повезло с этим театром, ведь актриса ты никакая!

К вечеру Вика, уже начавшая было раздавать свои вещи по лагерному обычаю освобождающихся — в первую очередь ложку и котелок (долго потом мы с нею ели одной ложкой), примирилась с мыслью, что освобождение — это какая-то неведомая нам фикция, но в то же время, прочно надеяться, что это этапирование в театр, мы не смели: последнее письмо Владимира Георгиевича называлось не «опус», а «реквием».

Может быть, нас увезут «по статейным признакам» в какой-либо другой спецлаг?

По совету Нины мы свои, уже общие, сомнения не обнаруживаем, и бабы с осуждением смотрят, как я укладываю все свои вещи, никому ничего не оставляя. Объясняю: мне «на воле» предстоит поселение, где мне никто ничего не даст.

Уснула я, счастливая уже тем, что завтра не кайлить зловонные кучи, что я куда-то в неведомое ухожу из ненавистной Анжерки с ее жутким бабьим «кодлом». Большего «чуда», чем театр, мне не надо. Весь вечер и всю пасхальную ночь в нашей маленькой комнатке для 58 статьи толпились женщины, мы принимали завистливые поздравления и оханья: «Может и нас скоро…». И я, как «авторитетный товарищ» обнадеживала: вероятно, мы с Викой — первые ласточки, а за нами и другие… Нам натащили даже писем, чтобы бесцензурно отправить «с воли». Много забот было упрятать их от выходного «шмона» (обыска), но охрана, пораженная чудом небывалого «освобождения», нас даже не обыскала, и мы по пути на центральный участок дали письма конвоиру опустить в ящик, будто извещения родным об освобождении.

3. Искусство требует жертв

— Артистки приехали! — По этому восклицанию на центральном лагучастке Анжеро-Судженска стало понятно: это в театр! Ночевали в кондее: лагучасток мужской, и там мы недоступны для насилий и прочего «ухаживания» за редкостными здесь особями женского пола. Труден был этап, пеший, с «сидорами» заплечными. Через какие-то овраги, по обтаявшим снегам. Сапоги мои раскисли. Иду почти босиком. Простужена, хриплю. Почему-то привезли не в Киселевский лагерь, а на какой-то Тырган. Оказывается, в этом лагере некогда проходил ПФЛ мой муж — тогда не знала! Потом Зиминка, где нас встречают содержащиеся там (5 км от Киселевского театрального лагеря) Соня и Леночка. Оказывается, мы будем жить на Зиминском лагучастке для женщин-бытовичек, и отсюда нас должны возить на репетиции и спектакли в театр. Девочки вручают мне роль Гоней из «Глубоких корней»… Ночью, когда все спят, (а в лагерях спят при свете) на отведенной мне верхней койке-вагонке начинаю учить роль. Бормочу текст и одновременно в движениях ищу пластику образа. Я возвращаюсь к действительности, когда возле моей вагонки появляются взволнованная дневальная и надзирательница. Увидев, что вновь прибывшая зечка бормочет и странно двигается, дневальная, внутренне охнув, привела надзирательницу: сумасшедшую привезли. Мое объяснение их успокаивает, но долго еще зиминские самодеятельницы вспоминают, как «настоящие артистки» учат роли.

Везут в театр. В Киселевку. Нас, четверых, поселяют в крохотной изолированной комнатке, куда никого из мужчин не пускают. Ведро с помоями выносят театральные «мальчики», даже в уборную можно ходить лишь под конвоем. Это унизительно. Начконвоя испуган наличием «баб». Мне смешно: ведь в этом же лагере я была сестрою, свободно ходила среди своих. Владимир Георгиевич теперь еще большая персона грата: он нарядчик. Но даже он забегает к нам тайком, якобы по делу, мы все на людях, ему даже поцеловать меня невозможно. Позднее, когда дурак-начнадзора привыкает, режим делается легче, но, когда я отношу отсырелый матрац в прожарку, мне делает выговор сам Иван Адамович: по зоне ходить нам строго воспрещено, и общаются с нами только актеры и самые знатные придурки.

Леночку и Соню возили сюда зимою для кое-каких отрывков из пьес, и Леночка признается мне, что беременна от доктора Болотова, моего некогда спасителя, а у Сони беременность от… И. А.! Оба они просят меня «помочь». И я понимаю: не только

один В. Г. «отбил» меня для театра, ведь я медсестра и могу спасти репутацию актрис и всего театра в этой ипостаси.

Но сестрою я при абортах женам вольных начальников только помогала Тоннеру. Да и хирургический аборт в наших условиях невозможен. Да и вмешательство такое мне грозит новым сроком! Но меня просят: иначе театр «разгонят», из-за такого вопиющего нарушения режима! Как я могу отказать доктору Болотову, спасшему меня однажды в Белове? Я прошу у врача капиллярную трубку и маточное зеркало. Вместо него приносят какие-то «ложки», присылают примус для стерилизации, якобы, для приготовления пищи артисткам, чтобы не ходили в столовую.

Поздно вечером, когда в надзирательской, расположенной напротив нашей полутемной каморочки, все затихает, начинается сцена из «Власти тьмы». Возимся мы долго. Когда Леночка начинает шепотом кричать от невыносимой боли. Вика на нижней полке самоотверженно храпит, хотя все мы понимаем: спать во время всего этого ужаса нельзя. В этот страшный миг моей жизни я думаю уже не о судьбе театра, не о собственной криминальнейшей ответственности, я думаю о Леночке. Работая вслепую, без необходимых инструментов, я могу девочку убить. Все мои усилия ввести мыльный раствор в матку безуспешны. Только боли. Леночка радуется: может быть они предвестие будущего выкидыша. Соня пока медлит.

И. А, встретил всех нас сурово, а меня враждебно, хотя для престижа театра я ему, оказывается, тоже была нужна, и не один В. Г. был заинтересован в моем возвращении. И. А. брезгливо говорит о дисциплине, о нашем осторожном поведении в зоне ради сохранения театра: «С таким трудом удалось получить для него женсостав» — говорит он, тремолируя, но я-то уже знаю: кроме театра, ему нужна одна из нас. Пока Соня.

Голос в Анжерке и в пути я потеряла (и никогда не обрела более). Сиплю. Скоро премьера. И. А. распоряжается: «Дать Евгении Борисовне молока и яиц!». Меня лечат. Хрипота заставляет меня изменить задуманный регистр в роли Гоней. Дает другой материал для лепки девчоночьего образа, и быть может поэтому (а может быть для «идейного акцента») И. А. просит меня «работать» Гоней в образе приниженной рабыни: Для вящего моего унижения мстительный режиссер не сам вводит меня в спектакль (он был готов, и Гоней уже играла Ниночка), а поручает это самому мною презираемому из-за невежества актеру-одессисту Жоре, у которого в спектакле роль сенатора. И на моих репетициях с сенатором я убеждаюсь, какой великолепный педагог И. А. Уже прежде я видела, как из безликой Леночки — «кукурузы», как называл ее В. Г., он изваял

прекрасную Кручинину, теперь он научил искусству актера, совершив подлинное чудо, Жору, прежде тяготевшего к штампам клоунад. Он очень неплохой Кречинский и сенатор с верными жестами и интонациями, величественный и правдивый. Он много читает. За эту зиму он стал артистом, чудом найденным на дне лагерной жизни. Правда, не жалел для педагога присылаемых из дому посылок и, обожая театр, на И. А. молился, понимая, что тот для него сделал. С Жорой и играть легко: он овладел и средствами сценического общения, что сразу выделяет профессионала от любителя. Если Жоре после освобождения удалось стать настоящим актером, чего он жаждал, этим он обязан Райзину.

Над Гоней я работаю неустанно, но по системе Мейерхольда. Я должна сыграть «отношение» негритянской девочки к миру белых. Тут и страх (прежде всего) и благоговение — психическая основа рабства. Как это показать телом, лицом, жестом, то есть тем «материалом», который дан актеру? Ищу «краски». Как всегда, начинаю «от внешнего». Звенящего детского голоса у меня после Анжерки уже нет (и никогда больше не будет). Хриплые безинтонационные тоны, пожалуй, лучше помогут образу забитой рабыни — может быть поэтому режиссер-художник и дал мне эту основную мысль, поняв, что «травести» умерла. Красок нахожу много: и с благоговением обхожу массивное пустое кресло сенатора, вынесенное на первый план, и говорю «Благодарю, Вас, сэр!», принимая окурки белых в пепельницу.

Нина по указаниям Райзина играла развязную испорченную Девчонку, мой самостоятельно проработанный (И. А., по-прежнему, не делает мне никаких указаний, кроме основной тональности образа) образ глубже и пронзительней. После сцены с часами, в краже которых обвиняют Гоней — аплодисменты. На разборе спектакля я удостаиваюсь высшей похвалы режиссера: «Гоней сделана по-настоящему». Он все-таки надеется, видимо, на что-то. Соню могут отправить в лагерь «мамок» и тогда… Я его благодарю за Гоней, из чувства самосохранения больше, чем от истинной благодарности за возможность подлинного творчества: очень уж не нравится мне «волчья тропа», по которой все мы ходим! В «Свадьбе Кречинского» роли мне опять не дают. Видимо, простенькая и серенькая Соня не сумела заставить режиссера забыть нанесенную ему мужскую обиду.

Да и мое вмешательство Леночке не помогло. Время идет. Лена и Соня после моей неудачи с Леночкой заметно полнеют. Театр «на волоске». Все мрачны.

К счастью, прибывает еще одна актриса-героиня Ника (из медсестер). Житейски умная, очень сценически одаренная, она

счастлива, что попала в театр и не подозревает, что, быть может, после моей неудачной попытки помочь Леночке, она и попала-то к нам потому, что сестра (у И. А. большие связи с начальством). Узнав, что мы все можем «загреметь» на женучасток, Ника сама предлагает избавить девочек от тайных плодов запретной любви.

Мы живем теперь в светлой и просторной гримировочной. По зоне, по-прежнему, ходить запрещено, но мужчины приходят в свой клуб, и режим стал слабее. Все «сожительствуют». Даже я стою «на атанде», когда пары уединяются. Заключенные строители клуба предусмотрели несколько потайных уголков для так называемых заначек». Проходящие через зону случайные женщины их тоже навещают.

Живем при театре мы не постоянно. Числимся как женский его состав в контингенте расположенного неподалеку женучастка Зиминка. Это сельхозучасток. И мы, когда нас увозят (машиной, без тяготы), работаем на прополках и посадках. В них сейчас есть нечто даже приятное: стоит ослепительное солнечное лето, по моему примеру, многие работают в трусах и бюстгальтерах. Я загорела так, что почти без грима могу играть Гоней.

Театр все не объявляют профессиональным. Так как мы попадаем под дождь, простужаемся, начзоны позволяет оставлять нас в зоне на починку мешков. Сначала шипят девки: «Подумаешь, барелины!» Но после просмотра наших спектаклей расконвойкой в Киселевке и на тырганских гастролях, отношение к нам меняется, нас начинают беречь.

Во время поездок не раз подмечаем ненависть населения к нашим стражникам-конвоирам. Мы с Соней, наиболее идейной девочкой, ликуем: народ ненавидит наших «господ».

Но вот наступают роковые дни. Утром отстонали обе девочки от Никиного вмешательства в ход уж большой беременности, вмешательства смелого, как и полагается невежде, не думающей о последствии в случай неудачи. На вечер неожиданно объявляют «Свадьбу Кречинского» для приезжего начальства. Леночка — Лидия. Платье — белое. Я — помреж. Вижу, как на сцене Леночка вдруг алебастрово белеет под гримом. В антракте, в уголочке поднимает передо мною тюлевый подол. На простыне, которой она себя предусмотрительно окутала, алые пятна. Еле шевеля помертвелыми губами, девочка просит еще подмотать простыней, благо, платье с турнюром. «Не бойтесь, Евгения Борисовна, — шепчет девочка, — Я не закричу, не закричу, лишь бы кровь не выступила…».

Руки наши дрожат, зубы клацают, пока мы, торопясь, подматываем новые простыни. Не понимаю, как выдержала она спектакль, но понимаю, чем стал для нее театр, который она

могла бы погубить обмороком или стоном. На сцене участники, не знающие истину, заметили, что Лидия «умирает», но, когда на миг уходило сознание, заслоняли Лидию, меняли мизансцены, выбрасывали целые куски с ее репликами. А я из-за кулис вижу, как Лидия весь акт на ногах, как героически бережет белое свое платье. Отец ребенка играет Муромцева. Руки его дрожат. И. А. величественно спокойно глядит из-за кулис на сцену: «Будет «скандал» или нет?». «Быть его театру, или не быть?»

За кулисы приходит ничего не подозревающий Владимир Георгиевич. Он сокрушен: такой ответственный спектакль, масса начальства, а актеры, и особенно Лидия, играют ужасно!

— У Лены начался выкидыш, — шепчу ему. Он хватается за голову:

— Боже мой! Ведь сразу после спектакля подадут машину, чтобы увезти вас на Зиминку! Господи, все обнаружится, и я тогда опять потеряю Вас! — он все о своем…

— Если Вы меня любите, — действуйте! Надо отменить отъезд!

В начале последнего акта оба испуганных «волка» совещаются, куда-то бегают. В. Г. возвращается несколько успокоенный: время позднее, наш отъезд отложили на утро, но зато машины не будет, нас поведут пешком.

Ходить пешком мы, пятеро, особенно любили: дорога шла летним подлеском, вещей с нами не было, вокруг цвела природа, если конвоиры попадались хорошие, нам позволяли рвать цветы или полежать на травочке.

Но завтра — пешком! И потом у Лены может не закончиться все к утру. А если у Сони уже спровоцированный выкидыш начнется на Зимнике? Тогда все равно! Все обнаружится: там и отдельной комнаты для актрис нет. И врачи чужие, все на людях!

А на сцене Вика незаметно затирает пятнышки крови на полу, туго сжимает бедра полуобморочная Лидия. Наконец, Кречинский ломает кий. На поклоны Леночка уже не выходит, грубо крикнув: «Мне плохо!».

— Лидия играла прекрасно! Из нее будет настоящая артистка! Большая и настоящая! — громко замечает И. А., заглянув в нашу комнатку, где Лена стонет шепотом, бережно сбросив с себя костюм. Мы никого не пускаем в комнатку, стираем с нее грим, копошимся в окровавленных простынях, куда падает что-то живое и алое.

— Владимир Георгиевич, ради меня, придумайте что-нибудь, чтобы нас завтра утром задержали… — И он придумывает: втирается в разговор с начальством о спектакле и выражает сожаление, что оно не посмотрело у нас, он называет пьесу, в

которой Лена не занята. И начальство соглашается: если завтра днем ему покажут спектакль, оно успеет вернуться в Кемерово к нужному сроку. Мы не слишком ликуем: у Лены еще не все кончилось, а у Сони еще не начиналось. Мы выигрываем только ночь.

К утру у Лены кончилось. В 12 часов спектакль. На рассвете я сжигаю в печке все «компрометирующее», а крохотный трупик обретает могилку под сценой. От обилия крови на том, что сжигалось, разносится запах жареного мяса. Мы дрожим: мяса-то у нас нет. Меня ругают.

Во время обсуждения другого спектакля бледнеет Соня (к счастью, уже отыгравшая). Но у Лены температура. Ребенок Сони «старше» Лениного и «еще шевелился», пока Нина утаскивала его под сцену, в подполье. «Он был уже беленький! — рыдает мать, — Мальчик!»

Ленина температура все спасает: у нас — «грипп», а может быть «тиф», наша комнатка «на карантине», вход даже надзору воспрещен. «Заразилась» и Соня. Об отъезде нашем не может быть речи. Если случится что ужасное: свои врачи «покроют», репутация театра спасена. И вольный начсанчасти врач Ермак промолчит: он за театр… Однако к вечеру, благодаря героическим мерам, пенициллину и всему, что спасает, температура у обеих нормализуется, и, несмотря на мои протесты, они встают.

Хотя все это протекало в страшной тайне, слушок по зоне пополз. Шепоты. И мое имя упоминается рядом с В. Г. Оказывается, он из мужского самолюбия что-то кому-то намекал. Ярость моя сменяется раздумьем и прозрением. Вокруг — нечистота. А, собственно, кто мы, актрисы, в глазах работяг-казаков? Изолированные от них всех, лишенных женского общества, в то время как придурки им пользуются. Мы, безусловно, для рядовых зеков выглядим, как гарем для привилегированных избранных заключенных. Да и события, только что пережитые театром, что такое, как не мрак и грязь, ибо Леночка и Соня не только искусству послужили, но и вожделениям их возлюбленных. Едва ли И. А. в других обстоятельствах сделал бы «героиней» бесцветную и недаровитую Соню. И его отношение ко мне, разве это не грязь? Не низкая месть за то, что не стала его наложницей?

Да и отношения с В. Г. рисуются уже в другом свете. «Хитрость сердца» — придуманную им «любовь огромную и безответную» сменяет все более настойчивое требование более конкретного женского внимания. Все актрисы наши осторожно и тайно «сожительствуют», даже Вика-воробей, болонка, шныряет в

«заначки» к красавцу Грише К., годящемуся ей в сыновья. Все вокруг любится и даже размножается. Что я за цаца такая? — иногда прорывается у В. Г. в интонации. И уже не я, а он подтрунивает над «гимназизмом» наших отношений. Их поэзия меркнет, даже иллюзорная поэзия. Доходит до меня, что он в интимной компании назвал меня «жена». Он, видите ли, стесняется, боится показаться смешным в слишком длинной роли платонического воздыхателя. Со скрытым хихиканьем нас порою стараются оставить вдвоем. Да и я понимаю — ведь не девочка, сколько ж можно целоваться без естественного продолжения? Он уже уговаривает придти к нему ночью, обещает расставить такую стражу, что начальство(!) никак не сумеет унизить наше сближение. Он прибегает к аргументам возраста: это де последняя моя женская возможность! Мне уже 40. «Тела твоего просто прошу, как просят христиане: хлеб наш насущный…» — читает он вместо «прекрасного мгновения». И я его понимаю: я выгляжу ханжой и пуристкой, педанткой среди той атмосферы, что сложилась в театре.

К моей душе он уже не прислушивается, как прежде, не уважает сути моей, переполненной тревогой за мужа: письма от него грозно показывают, что он после переследствия получил новую полную «катушку» — 25 лет.

Да и сама я иная: образ мужа, живой и зримый, меркнет, алгебраизируется. Я сама — «на грани», чему свидетельство стихи тех дней:

Дьявол, дьявол! Вижу повсюду
Его насмешливые глаза.
Да я подругой Дьявола буду…
Об этом вороны прокричали,
Звучали незримые голоса.
Дьявол! Дьявол! Сера и пламень
Горька цикута. Лицо в слезах…
Источит душу и сердце в камень…
Об этом травы ночные шептали
Шуршали:
Дальше ни шагу! Ах!

Долг! Ради него отказываюсь я от последней радости женского во мне. Надо от этой нечистоты уйти. Но мне это страшно после опыта Анжерки. Так самоубийца в последний миг агонии цепляется за жизнь. Я обдумываю «самоубийство» — уход из театра, но в миг последний за него цепляюсь, и уже не ради творчества — ролей не дают, а ради физических преимуществ, которые театр дает. Кроме того, я ведь страшно обязана В. Г.: возвращением в театр из анжерской каторги, в первую очередь.

По всем законам и лагерной, и обычной морали я веду себя нечестно.

Лагерные обстоятельства сами разрубают гордиев узел наших отношений. Однажды на рассвете надо мной склоняется кто-то громадный и теплый, голос зовет меня: «Родная…» Я делаю вид, что не могу проснуться, и думаю, чем он подкупил дневального, чтобы проникнуть в нашу комнату… Постояв, он выходит.

Через полчаса он уйдет с бригадами (он теперь десятник) на стройку, а нас в последний раз увезут на Зиминку, где мы узнаем, что Зиминка закрывается, что близ Киселевки не остается ни одного женского участка, на котором нас можно «числить». Зиминскую жензону увезут в Белово. Узнав об этом в то солнечное утро, он пришел проститься. «Но я не почувствовала его тоски, не пожелала проснуться», что, расставаясь, видимо, навсегда, он «благословляет мое имя…». Так написал он в прощальном письме, когда нам привезли из Киселевки наши вещи, подарки и письма актеров и поклонников.

И я опять с облегчением вздыхаю: судьба — «кисмет» нас развязала и оставила нам только письма, полные дружеских чувств и теплоты. Мне нужно только это.

Чтобы покончить с темой В. Г., хочется сказать, что, отыскав меня по освобождении моем по оставленному адресу тети, он мне и освобожденной помогал в устройстве с работой в той же Киселевке. Освободившись позже меня, прямо пришел на мою квартиру на шахте Тайбинка. Но, уехав домой, полагаю, умер. На Тайбинке ждали его возвращения на работу, долго берегли ему «место» (он никак не мог устроиться на родине), но потом, мое письмо к нему вернулось с надписью: «Адресат выбыл…» У него было больное сердце, а дома встретили его почти враждебно, и жена и дочь…

А нас из Белово зимою направили в Сиблаг, в другую «систему лагерей», откуда вернуть нас в театр ИТК было невозможно. И.А. этапировали в лагери г. Сталинска, где на обильных женучастках он мог подобрать женсостав для нового своего театра. О нем я больше никогда и нигде ничего не могла узнать. А нас, пятерых актрис «погорелого театра», тоже разбросала судьба…

…«Амуры и зефиры все распроданы поодиночке».

Глава V
ЛАНДЫШИ И ФИАЛКИ
(Секс в лагерях)
Рассказ

Я в мир амеб однажды низошла,
Влача изысканные покрывала,
И мне открылось в фокусе стекла
Незримой жизни мудрое начало.
Им хорошо питаться и дышать,
Не зная груза нужных нам понятий
Сначала только страшно наблюдать,
Любовь без поцелуев и объятий.
(Из собств. стихов).

Когда майору Гепало в управлении ИТК объявили, что назначают его начальником Беловского женского лагучастка, он вспотел и из красножего стал белый.

— Ты человек женатый, — сказали ему, — жену, говорят, любишь, так что бабы тебе ни к чему…

— Ох, я же без матерного слова… С войны это, как присловье у меня.

— Знаем, знаем, — сказали, — отчасти поэтому и назначаем тебя к женщинам, чтоб отвык. Ведь ты же советский офицер! Культура, понимаешь… — Кто-то из товарищей глумливо посоветовал: — Н-да… Там, брат, это… как его… — вечное женственное… Там, хотя все они и б… тебе некрасиво будет. Так вот, брат, тебе совет: как захочется матюкнуться, говори вместо тех слов другие, что понежней, ну, там «ландыши-фиалки», к примеру…

Дня два дома потренируйся… Я пробовал — помогло!

Самый главный начальник, генерал, образованный, пахнущий дорогими, еще трофейными духами, тоже:

— Смотри только, Гепало, ты на фронте привык… Тут придется, товарищ дорогой, воздерживаться. Мы все, советские офицера в обществе себе не позволяем. Знаю, знаю, сам Ворошилов… Но — в обществе……Правда, в лагерях, по слухам, женщины хуже мужиков выражаются, ну а нам, советским офицерам, все же нельзя себе позволить… Уже на это жалобы от заключенных поступали. Так что слабину им не давай! Мы ведь, хотя и наказываем, но одновременно и воспитываем, — сказал генерал с полной верой в то, чем закончил речь.

Лагерный мат даже у человека привычного вызывал сердцебиение, а непривычный мог, ну, просто сомлеть, что и со мной, без шуток, бывало. Это совсем не то, когда оскорбительно ругаются, в белый свет от тягостей — так ругаться на войне

научился и сам Гепало, что понятно и извинительно.

А тут мат был с остро сладострастными смакованиями срамных подробностей, своеобразное сексуальное упражнение, сублимация постоянно жгущего людей полового жара, который мог утоляться только случайно и тайно. В матюг обыкновенный — трехэтажное исконно народное унижающее выражение — вплетались виртуозно все физиологические действия человеческие, все особенности, все извращения сексуального сближения, накопленные человечеством со времен библейских. Произносились они с каким-то особым оскалом, присвистывающими звуками, со своеобразным «одесским» шиком. Так что Гепало с его простительной фронтовой привычкой на таком фоне выглядел жалким дилетантом. Почему энкаведешникам запрещалось «выражаться» перед зеками в ту пору — не знаю: может быть по инструкции писаной, может быть по неписаной этике. Правда, и среди них попадались люди порядочные, верившие, что в лагерях из г… делают людей. Иллюзия эта и заставила в общем-то неплохого дядьку-сибиряка со всеми его словечками типа «пущай», «натренироваться» так, что когда «слово» было уже возле уст, механически выпаливать, вместо него, посоветованное «фиалки-ландыши». А так как майор плохо произносил звук «л», у него получалось: «уандыши и фияуки». Так и прозвали его между собою дюжие блатные девки и похотливые лагерные бабы.

В те годы входило в моду слово «культура», «культурненько» (быть может, после немецкого презрительного о наших привычках «никс культура»). И слова «цветочные», казалось ему, как нельзя лучше подходили к женскому обществу, в которое он попал. Слова эти как бы демонстрировали его собственное душевное изящество и тонкий вкус. По своим эстетическим потребностям он всегда напоминал мне лакея Видоплясова из Достоевского, мечтавшего фамилию свою поменять на «Эссбукетов».

Вот образец его разговора со мною. Я пришла против чего-то протестовать и обронила фразу о том, что буду жаловаться.

— Жалиться? Жалиться вам, заключенным, фияуки-уандыши, конечно, разрешено, ландыши-фиалки. Но только вот от чего я тебя, Борисовна, предупрежу, — майор опустил веки — закрою я, к примеру, ландыши-фиалки, дверь да подзову надзор, а завтра, фиалки-ландыши, никакая ваша медицинская комиссия не сможет, ландыши-фиалки, установить, отчего ты умерла скоропостижно, фиалки-ландыши. Я, не бойся, этого не сделаю, как человек культурный, но упреждаю тебя «тет на тет». Понятно?

Мне понятно, и я больше никогда не угрожаю никому из своих палачей, что буду на них «жалиться». Да и знакомство с

врачихой Верой Ивановной в Анжерке мне это постоянно напоминает.

Во второй приезд в жензону Беловского лагеря я одно время работала завбаней и прачечной. Приходит майор, постоянно купавшийся в лагерной бане. Гепая самодельной тросточкой — он с ней не расставался — по голенищам, свободной рукою картинно избочась о бедро, как Денис Давыдов на портрете Кипренского, он обращается ко мне:

— Слушай, Борисовна, исделай-ка мне каменку! — Выясняется, я не знаю, что такое он просит. Каменка в моем представлении — имение одного из декабристов, о чем я и заявляю.

— Эх, чему вас в институтах учили! Ландыши-фиалки! — вздыхает он и объясняет, что каменка — приспособление в банях, чтобы париться.

Я начинаю таскать глину и кирпич, он, гепая стеком, наблюдает мои усилия. Потом, разувшись, мы оба начинаем месить глину и делать кирпичную кладку, которую в раскаленном виде надо поливать водою, чтобы она испускала пар. Вот тут и рассказывает он мне доверительно, как после СМЕРШа попал в начальники жензоны. Война, проклятая, виновата. Он с детства тяготел к культуре, изяществу языка, тяготился его простонародной грубостью. Ведь грубые слова: Ж — … Г… — можно сказать иначе (я давлюсь от смеха и припоминаю старушку-мать «ответственного товарища», встреченную однажды в поезде, — она считала слово сс-ть неприличным, а си-ть — вполне «интеллигентным»). Припоминается и красавчик Фалалей из «Села Степанчиково», раздражавший господ выражениями типа «натрескался, как Мартын мыла». Майор негодует на Есенина, употреблявшего в стихах «грубые» слова. К счастью, Маяковского майор не знает. Хлюпая и чавкая волосатыми ногами по глине, майор рассказывает, что шесть раз «смотрел» оперу «Евгений Онегин» в порыве эстетических исканий понять, почему это хорошо. И понял, все-таки! Хорошо! При моих рабочих промахах все повторяет: «Эх, уандыши-фияуки, чему вас в институтах учили!». Не без яда замечаю, что учили с первого раза понимать прелесть «Евгения Онегина». Остроумия едкого этого замечания он не воспринимает. А мне его и жаль даже: как беспомощно хороший дядька выползает из невежества.

При воспоминании о Гепало припоминается и еще один лагерный офицер. В Белове — в первый период пребывания там — начхоз, лечившийся у нас амбулаторно, стал «приударять» за мною. Тайно, разумеется, ибо любое общение с заключенными было весьма и весьма наказуемо, даже «сроком». Немолодой, он

очень гордился званием лейтенанта: «Я — ахвицер!» Склоняя меня на тайную с ним связь, он говаривал, бывало, что по окончании моего срока женится на мне — мужа мне — де все равно не дождаться, не видать. А за мой срок он на своей службе начхоза прикопит на постройку домика, в котором «будем доживать старость». Чтобы жениться на бывшей политзаключенной, ему придется выйти в отставку, но ради меня он готов. На мои отказы от столь ужасной для меня перспективы — я все это старалась обратить в шутку, ибо ссориться даже с начхозом было опасно — начальство! — ахвицер НКВД сказал как-то:

— Догадываюсь, Вы отказываетесь потому, что я по-вашему необразованный. Так знайте, я тоже в ниверситете учился!

— Вот как? — удивилась, — и на каком же вы были факультете?

— На вторым? Уже на вторым был, да война помешала закончить…

Надо было однажды ему расписаться. Он, стесняясь подписи, показавшейся ему недостаточно красивой, сокрушенно произнес:

«Пяро сухая!»

Возвращаюсь к майору и вопросам этой главы. Все это происходило в то время, когда в конце 40-х г. г. в лагерях началась «эпоха классификации», то есть по признакам статейным и половым. Женщин стали строжайше отделять от мужчин. Эта мера только умножила лагерный разврат и очень ударила по психике: «Лишили нас человечества» — говорили блатные. Это было повторением фашистской системы наказаний: нет курева, нет женщин, нет спиртного!

Когда читаешь о страданиях народовольцев в одиночках крепостей, то после собственного тюремно-лагерного опыта у меня возникает мысль об одном никем никогда не упомянутом глубоко интимном страдании: отсутствии общения с полом противоположным. Платоника «обожания» закованными в каменные мешки мужчинами Людмилы Волькенштейн и Веры Фигнер — оборачивается (по Фрейду в сублимированное по самой чистоте личностей) мучением физическим, чисто мужским, острым, глубоко тайным, а для многих (таких, как красавец и женолюб Лопатин), быть может, главным мучением. Вероятно, были, оскорблявшие могучий и чистый дух эротические «животные» сны. Кто знает истинную причину многих самоубийств, сумасшествий в казематах-одиночках!

Но то были люди огромной интеллектуальной силы. А что говорить о преступных по-настоящему, обреченных наследственностью и средою на аморальность и животность! Но

все же — людях! А. И. Солженицын — как великий художник — коснулся этого в одной лишь фразе: «Главное, что отнял у нас «пахан» (Сталин) — это женщины».

Все остальное, даже радость творческого труда, иметь хоть иногда могли, но радость духовного и физического общения с полом противоположным, радость отцовства и материнства были под запретом десятками лет.

Я помню дядьку, полжизни проведшего в «режимных лагерях» и попавшего, наконец, в общий. Как он умолял нас с доктором о разрешении посмотреть на только что родившегося в стационарной больничке ребенка! В баню специально сходил. Когда ему позволили взять ребеночка на руки, точно самую драгоценную вазу держал, и лицо стало полно такого света, точно сам он родил его. И потом засыпал мать бескорыстными подарками. А он был настоящим убийцей.

Вообще же зеки, не охраняемые интеллектом, духовностью натуры, восполняли это лишение, преступая все нормы человеческой гуманности, идя на обман и всяческие приспособления, а уголовники — на самые гнусные сексуальные преступления, даже изнасилования с последующими убийствами. Все это нынче «растеклось» по стране, как лишай, как гангрена, но в то время не было столь обычно. Гомосексуализм, лесбиянство, скотоложество принимали в лагерях характер чумы. Мне рассказывали, как баба пришла к зоне искать пропавшую козу. Выяснилось, что забежавшее «на объект» животное зеки-работяги изнасиловали коллективно, а потом съели.

Об этом рассказывать страшно, но «из песни слова не выкинешь». Иные относились к «нарушениям режима» с юмором. Чего, например, стоит наша дневальная, застигнутая надзором на месте преступления и утром вместе с любовником в наказание с хохотом катящая на себе бочку с экскрементами. Большинство же испытывали страдания потаенные.

Весьма заметно стало очерствление людей после разделения лагерей на только мужские и только женские. Именно тогда и мат принимал оттенки какого-то сексуального садизма.

Так вот, «про это» и будет глава. О «стыдном».

С юности привыкла я считать сексуальную сторону жизни категорией чисто эстетической. Извращения и «связи случайные» воспринимались так же: «два красивых тела…» А в тот период разлуки с горячо любимым мужем понятие любви приняло у меня характер такой чистоты, отрешенной от всего земного, плотского, что даже разлука с ним казалась не столь уж существенной: главное, что он был у меня, его любовь, а главное, моя к нему служила мне щитом.

Как раз в это время и пришлось испытать первые потрясения животностью и грязью в этой области человеческих отношений. Много лет я, не переставая быть женщиной, то есть отмечая впечатления мужчин о себе, с гневом и презрением, бескомпромиссной брезгливостью относилась к тому страшному, что в этой области открывала мне тюрьма. Безусловно, если б меня тогда изнасиловали, что в лагерях случается, я не стала бы жить.

И только с годами поняла, что «это» — тоже пытка, которой нас подвергают, чтобы лишить достоинства, как отнимали его каторжным трудом, голодом и прочим. Растлить и разложить личность! Убить человека! Оставить от него только визжащую плоть — вот их задача! Насильственно погрузить человека на самое дно биологического и социального начала. Многие ли избежали этого?[20]

Мне уже по освобождении рассказал бывший уголовный зек. В глубинах тайги, где нет часовых, ибо побеги невозможны, он с приятелем жил в постовой избушке. Забрели к ним заблудившиеся в тайге три заключенные женщины. Мужики их покормили, показали дорогу. Те ушли. Только Одна вернулась и предложила им в благодарность… себя. Обоим.

— Бабы у нас свои были, мы отказались, и она радостно побежала догонять подруг.

— Знаешь, кто это? — сказал товарищ. — Это жена наркома Б., я с ней был в одном лагере.

И, слушая рассказ, я вспомнила разряженную наркомшу, не то актрису, не то искусствоведа, приходившую в наш музей.

Никогда прежде, хорошо зная в общем о грязи безлюбовных отношений, не предполагала я, что в условиях гибели и опасности у натур низменных обостряется сексуальное чувство. До скотства. Вероятно, в смертный час срабатывает голый инстинкт продолжения рода. Впервые заметила это я в дни нашей репатриации, когда оглушил первый ужас, когда ожидание смерти было невыносимо. В эти священные по силе моего чувства к мужу дни, я наблюдала не одну «жену». Одна из них была близка к сумасшествию, глаза ее блуждали, губы постоянно шептали: «Витя, Витенька…». День на пятый к ней «пристал» холостой казак: было выгодно репатриироваться с семейными эшелонами, где условия легче. Это было понятно и нужно для спасения жизней, многие соглашались на такое фиктивное «собрачие» на время пути. По силе моего страдания за мужа я и на это не могла пойти, но Нина разрешила казаку — чуть ли не мужеву ординарцу — назваться мужем. И вскорости с помутившимися глазами признается мне, что казак на нее

«действует» в определенном смысле. Гадливость, обыкновенная человеческая брезгливость заставили меня отойти от несчастной. Причем, казак в интимном смысле к ней и не «приставал». Она сама.

В условиях лагерей советских такие инстинкты, совершенно животные, побеждали даже еще при голоде, даже интеллигентных людей. Я не говорю здесь о бесстыдных по натуре блатных или вынуждаемых насильственно. И случаев таких десятки.

В Сиблаге совершенно респектабельная чешка — «дама» явная, привезла в Маргоспиталь подругу на телеге из жензоны на консультацию к хирургу. Пока больную осматривал врач, чешка в углу, за занавеской, которая шевелилась и откуда все было нам слышно, отдалась другому незнакомому врачу-армянину. И на упреки компатриота за «чисто русское свинство», плача, объяснила, что годами «жаждала» мужчину и не устояла перед первым натиском незнакомого врача. Но что это было? Разврат или пытка? Женщины использовали каждый случай, чтобы отдаться, мужчины, чтобы взять. С риском для жизни перебегали «огневую», то есть простреливаемую зону, которая в иных лагерях отделяла женучасток от мужского. Использовали «М» и «Ж» уборные(!). И все это, таясь от стражей, но не вообще от людей, как животные.

Я не притаю даже ради целей художественных — ведь я сразу поставила цель избегать «художественного целомудрия» ради документальной правды — вещей ужасных, как самый страшный кошмар.

Страсть, совокупление, даже скотское, представляются обычно как все-таки соприкосновение тел, хотя бы и в безлюбовном их сплетении. Один из самых первых ударов (буквально) по всем мне известным (я вовсе не была ни ханжой, ни наивной дурочкой) представлениям о сексуальном «гное» я получила в первые же дни на Кемеровской пересылке.

Женский наш барак от соседней мужской секции отделяет лишь дощатая стенка. Там начальством собраны преимущественно крупные уголовники. Голод. Нечистота. Вши. Оттуда днем и ночью слышится мат, гогот и блатные срамные песни. Картеж.

В дощатой перегородке на уровне середины туловища мужики пробили некрупные отверстия. Не для того, чтобы подсматривать: мы даже спим одетые, так холодно. И вот от проломленной стены иногда слышится зов, имя какой-либо их девки, которым мужики могут приказать запросто: «Эй! Иди сюда! Скорее, ну!». Названная девка идет в угол. Какое-то отнекивание, хихиканье. Потом в щели мелькает что-то багровое, и девка

приникает к нему, к стене. Обитательницы угла разбегаются в страхе. Девка, плача, просит баб «заслонить» ее от казармы. Если девка с рыданиями отказывается, в отверстие просовывается нож: ее проиграли в карты, и она даже может не знать, кому. Это был даже не разврат, а именно «мычание». «Вы ведь женщина, человек!» — порою обращалась я к девкам. Иная надменно и грубо пошлет к…, другая, заливаясь горькими слезами, скажет: «Ведь зарежет же, а если пожаловаться, того-то накажут, но ее зарежут его соратники».

Девочка-крестьяночка, с которой прибыла я из тюрьмы, берегшая невинность, лежит распростертая на нарах: ее только что принесли из секции малолеток, где она побывала «под трамваем» (коллективное изнасилование). Малолетки с хохотом отчищают снегом полушубок, который она от ужаса «обмарала». Мальчишка из родной деревни, знакомый, пригласил «землячку» в свой барак «покушать» то, что ему прислали родители. Девочка доверчиво, голодная, пошла. И вот… Коли б не застигли их за этим делом, ее, уже мертвую, могли бы сбросить в уборную, как бывало с другими, удавленными во время насилия.

Бегу к начальнику лагеря: «Что же это у вас делается?!» — кричу ему в слезах и дрожа. С эпическим спокойствием говорит, что девушка «сама виновата» — не ходи по мужским баракам. «И для себя сделайте вывод: в мужские бараки не заходить даже по делу».

Умные начальники понимали необходимость сексуальных «разрядок», время от времени под разными предлогами допускали мужчин в жензоны. И тогда начиналась вакханалия. Старенький бухгалтер, попавший в жензону, едва отговорился старостью от чуть не изнасиловавших его баб.

С Зиминки следуем в Беловскую жензону через мужской главный участок, где на ночь нас, женский этап, запирают в бане. Ночью, используя подкуп, угрозы и служебное положение, туда проникают мужчины. До сего дня вижу, как по-тигриному изогнув спину, в бесшумно выставленное окно впрыгивает блатной мальчишка-одессит, лагерный парикмахер и, озираясь трусливо и опасливо, поигрывая мышцами спины, весь напружиненный, как тетива, крадется к облюбованной им блатнячке. В котельной бани несколько урок «гоняют» маленькую воровку «Мушку». Девчонка всю ночь спасается от них, от «трамвая», бегая по раскаленным котлам, куда парням не добраться — страшно горячо. Утром ступни и ножонки крохотной хриплой и дрожащей малютки в ожогах и пузырях, но ее не коснулись подлые руки: в Киселевке она полюбила «политического» Петьку Химина, и в этот раз ей удалось сохранить ему верность. Она от него беременна. Позже

полусумасшедший Петька рассказал, что Мушка родила, освободилась, как «мамка» и живет у его матери.

А еще в бане, неподалеку от меня, в темноте (урки нарочно обрезали свет) совершенно порядочный пожилой таджик Чары— я почти всех мужчин знаю по прежнему пребыванию в Белово сестрою — ласково урча, склоняет к прелюбодеянию немолодую землячку. Шепот по-таджикски сменяется ритмичными звуками, не оставляющими сомнения, что Чары уговорил-таки женщину. И тогда я проникаюсь сочувствием: уж если величественный с байской осанкой Чары… Значит, это нужно, и запрет любиться одна из «мер пресечения» — жестокость. Я начинаю похрапывать, чтобы Чары и таджичке не было стыдно после.

Стремление к половому соединению неистощимо. Однажды в Маргоспиталь привозят девку со страшным предварительным диагнозом: лепра (проказа). Больной выделяют изолятор-кладовочку. Смятение среди врачей и больных. Пищу девке подают в окошечко-продух. Однако через день в окошечке выбито стекло, и девка, не скрывая, ухмыляется: «Ну, да, приходил!»… Вызванный парень, которому объявили, что у нее, быть может, проказа, ни капельки не испуган: «Ну, что ж, ее и меня лечить будете, зато с бабой побыл, сколько хотел!». «К счастью», у девки после обследования оказывается «только сифилис».

Парализованная после побоев девчонка лежит в общей палате. На ночном дежурстве на несколько минут выхожу по делу из своего отделения, оставив в коридоре санитарку. Возвращаюсь: ужас! В коридоре толпится все население девкиной палаты: у паралитички «гость». Кто впустил? Кто открыл ему? Все божатся, что пролез в форточку. Не верю, накидываюсь на санитарку. Груня плачет, божится: не впускала! Распахивается дверь палаты, выходит дюжий парень «в шкарях и прохарях». «Что, сестра, не веришь, что можно пролезть в форточку?! Эх, не знаешь ты нашей профессии! Идем!» Снаружи, рискуя, что часовой с вышки увидит, ужом протискивает в форточку свое большое тело. Он, оказывается «домушник». Больные же оправдывают побрачившихся: «Ну, что ж, они молодые!»

Девки, прибывающие к специалистам в Маргоспиталь, где жил и мужской состав, использовали пребывание в нем и для наживы, и торговали собою бойко, даже на другой день после септических абортов. Некая американка (настоящая) увезла по выписке тысячи — «сеанс» стоил 200 руб. Элегантная латышка Нора стоила сто рублей и общалась только со знатными придурками. Американку же не раз видела в соседней канаве, откуда торчали ее худые полусогнутые колени.

Вот так появлялись на свет лагерные дети.

В жензоны мужчины прибывали иногда в качестве умельцев, — печников, каменщиков, слесарей. Женщинам с нетяжелыми преступлениями забеременеть было выгодно: время от времени «мамок» отпускали на волю. Но политические и крупные бандитки такой амнистии не подлежали никогда. Для них существовали особые «лагери мамок», где работая, они ходили на кормление детей, содержавшихся рядом с зонами.

Дети были при матерях до трех лет, затем их увозили в детдома. Бывало, что матери детей теряли, но вообще, кто знал, где их ребята, могли даже переписываться с воспитателями и взять детей себе по истечении срока заключения. Бабушкам и дедушкам лагерных детей не отдавали.

Я возвращалась после бериевской амнистии 1953 года (отсидев полностью свои 7 лет), при которой «мамок» освободили в первую очередь, даже с тяжелыми (но только уголовными) преступлениями. Они могли заехать за ребенком в тот город, где он содержался, и после этого следовать домой. Кондуктор моего вагона рассказал мне, пока шли первые эшелоны с блатными освобожденными мамками, весь транссибирский путь был усеян трупиками выброшенных в вагонные окна детей: дети мешали блатнячкам в предстоящей на воле «деятельности». Пока они были за решеткой, ребенок давал шанс на освобождение. Шанс был взят, и от малютки избавлялись.

Я видела лагерных детей в массе. Человек в сто партия из «мамских лагерей» прибыла в Маргоспиталь на обследование перед отправкой в детдома. Были и шестилетние. Только два-три ребенка нормально резвились. Остальные все вели себя ненормально: либо до буйства были оживлены, либо подавлены настолько, что даже взятие венозной крови на Вассермана переносили равнодушно, просто покорно и обреченно протягивали «доктору» тоненькие и бледные ручки свои с тихим плачем. Фельдшер Янош для такой страсти собрал по всем отделениям самые тоненькие и хорошие иголочки — каждая сестра их прикапливает — колол, колол, потом прибегал, вытирая пот ужаса: «Не могу, не могу больше, лучше бы они кусались…»

Почти у всех малюток зрачки были расширены и малоподвижны: от матерей их отрывали насильственно. Говорят, как ни скрывали от мамок момент отправки детей, они все равно узнавали дату, детей не отдавали, в женщин порою палили, дети и матери кричали душераздирающе. В таком состоянии ребятишки прибыли к нам. Ночами редко кто из них спал, лежали по четверо на взрослых кроватях и, молча или тихо плача, смотрели перед собою. Громко не плакал ни один. Так бывает при большом страдании. Никогда не забуду, как молча умирал

ангелоподобный малютка от огромной запущенной флегмоны в области паха, не позволявшей ему мочиться. Оперировать эту флегмону хирург побоялся.

Женщины с малыми преступлениями особенно охотно шли на сближение и благословляли имя того, кто сделал им брюхо, как наша тихая пациентка Надюша, оплодотворенная доктором Тоннером и ушедшая досрочно.

Везу из Беловской жензоны на медконсультацию и комиссовку пять забеременевших женщин. Бабенки гадают: освободят их или нет.

— Разве меня отпустят, — тоскует миловидная Наташа: ведь у меня растрата почти миллион. Ну, дом наши строили я несколько тысяч действительно взяла, а мне приписали все что сами наворовали…»

Другая получила 10 лет за то, что, будучи кассиром, везла сумку с зарплатой и «по халатности» эту сумку у нее украли или выхватили. «Нет, — плачет, — не отпустят меня с таким большим сроком!»

Машина подпрыгивает, и девчата берегут животы. В кабинете их по одной за занавеской осматривают гинекологи. Вольные. Начальству и нам все слышно.

— От кого же ты, милая моя, в женской зоне забеременела? — спрашивает врач, копаясь в нутре первой пациентки. — От Ивана-плотника, — застенчиво говорит она. — От кого беременна? — вопрос к следующей. — От плотника. У нас работал…

От Ивана-плотника, хотя тут и не обязательно было говорить правду — оказались беременны все пятеро. Даже начальство смеялось. А доктор прямо руками развел:

— Да что же это за производитель такой у вас, Иван-плотник!

А я его знала. Это был наш казак Марченко, кубанец, совершенно порядочный немолодой дядька. Я обрадовалась тогда за него: знала его жутким «доходягой», едва от голода жив был. Мы его с Алексеем Петровичем спасали в стационаре, потом в Спец О. П. и в санитарах, пока начлага не увидел его: «А это что у вас за «лоб»? («лбами» называли здоровяков)! И взяли его на общие по первой категории. Теперь дядя Ваня, как видно, вошел в полную мужскую силу. Когда я потом рассказывала ему этот случай, он, зная мой «прюд» в этой области, сперва застеснялся: «Да они сами лезли…», а потом вдохновенно воскликнул: «Борисовна! Так я же им свободу даровал!» Действительно, из пяти беременных не отпустили только «миллионершу».

Не всегда случайные сближения оканчивались благополучно. Только применяемый уже в 50-х годах пенициллин спас многих с

септическими самодеятельными абортами, тех, кто стеснялся появиться домой «с дитем!». До этого от таких абортов умирали. Самый страшный случай был с Клавкой-малолеткой. Привезли в Маргоспиталь с женучастка девчонку в самом тяжелейшем состоянии. Чуть ли не 15 лет ей было, и срок заключения малый. Села за то, что помогала тетке-шинкарке сбывать самогон. Забеременев, девочка страшно испугалась: батя дома убьет. А дело шло к шести месяцам, к скорому освобождению. Девчата посоветовали: доску на живот класть, а им по этой доске ходить и прыгать: выдавится ребенок. Так и делали, плясали на ее животе. По темноте своей они и не знали, что беременных актируют, да и батя уж больно был суров. Девку — прямо на операционный стол к прекрасному хирургу Зинаиде Петровне. Матка была раздавлена, даже ручка ребенка лежала в брюшине… Выжила, однако, Клавка. Но остался у нее неизлечимый и неоперабельный свищ в мочевом пузыре. Постоянно капало, и век ей было вековать с резиновым мочеприемником в промежности. Калека! Надо бы написать отцу ребенка, может быть, поможет деньгами на усиленное питание.

— А я и не знаю, как его зовут! — ответила девчонка. — Усатый, немолодой уже, старше, наверное, моего бати. Мы его так и называли, «усатый».

Оказывается, на сенокосе бригады женские и мужские работали совместно. И мужики с бабами «гужевались» в сене, незаметно для конвоя. «Усатый» облюбовал себе Клавку, которую девки звали «Крошка». Он тоже именем ее не интересовался. А был «добрый», конфет приносил. Бывало, идет, ее глазами ищет. «Вон, твой Усатый идет!» — разбегутся девки постеречь, пока Крошка с Усатым «спит». «Ляжь, Крошка» — усатый Зевс ей.

Она и ляжет. А оно, вишь…

Так у придурковатой сибирской крестьяночки — а имя таким — легион — жизнь ни за что искалечилась. А по дурости своей и младости Клавка не должна бы и осужденной быть.

Среди блатных большинство были садисты. У них возлюбленную полагалось бить. Зверски. Леночка Кузьменко — актриса наша, при насильственной связи с блатным, который для нее «не жалел ничего», ходила прежде в синяках и вздохнула свободно, только попав в среду политических. Однажды в стационар на носилках принесли красавицу — девку, до смерти избитую любовником. Доктор ужаснулся: у нее была разбита печень. Любовник бил ее доскою, снятой с нар. При допросе она начисто отрицала побои: «Вы не понимаете, — твердила шепотом, умирающая, — это он так меня любил».

По женщине, как таковой, страшно и пыточно тосковали

молодые.

Из-за ставшей широко известной строгости моей в этих вопросах, ко мне никто никогда не «приставал», слыла я «монашкой», существом бесполым, чему способствовало и амплуа медсестры. И не оспаривала я мнений, что ни с кем не живу по вере в Бога или «живу» тайно с врачами. Врачу никто, даже блатные не перешли бы дорогу: слишком нужен им был медперсонал. Только однажды, по окончании голода, в жаркий летний день ко мне подошел юноша из наших казаков. В плавочках только, загорелый, тоненький, стройный. Покрасовавшись передо мною цветущим видом, он видимо уловил удовольствие в моих взорах на него не мог же он знать, что, смотря на него, я думала об Антиное, — горячо и убеждающе зашептал: «Борисовна, сестрица! Ну, посмотрите на меня, какой я хороший, здоровый, ни на коже ничего, ни внутри боли какой. Давайте со мною жить. Ведь вы еще сами молодая!» Ни религией, ни брезгливостью я не стала ему объяснять свое «воздержание», как обычно отвечала любопытствующим, а просто сказала, что люблю только мужа своего, а без любви ни с кем не могу сблизится. Антиной понял меня и ушел с сокрушением.

Не объяснила я ему, да и самой стало это ясно лишь впоследствии, что лагерный эрос с первых дней привел меня в состояние сексуального шока, от коего не избавилась я до полного постарения. «Матерное мышление» потрясло меня в первые же дни нашей репатриации так, что я не ощущала себя женщиной до тех дней, пока не попала в «общество себе подобных».

Матерное мышление настигло меня и в следственной маленькой тюрьме, где мы с Верочкой были единственными женщинами. Я восприняла это как факт величайшего унижения человеческого достоинства, которое во что бы то ни стало следовало сохранить… Как шок восприняла я факт, когда при тюремной поверке по камерам надзиратели докладывали старшему (а из коридора в камеры все слышно), что в тюрьме содержится столько-то… и вместо слова «мужчин» произносили заборное слово. И хотя про меня говорили «и одна баба», я, потрясенная, пожаловалась следователю. Он понял это не как возмущение надругательством над человеческой личностью сидящих за решеткой людей, а как возмущение дамы тем, что рядом «выражаются». Нужно признать, после моей жалобы заборных слов в коридоре не произносили.

Второе впечатление в следственной тюрьме. Она была маленькая и незаметная снаружи. Из нее нас возили в большое здание НКВД в закрытом «черном вороне», где каждый

подследственный помещался в отдельный «шкафик». В нижнем этаже большого здания вызова на допрос тоже ожидали в закрытых «шкафиках», к задней стене которых была прикреплена узенькая полочка, на которой даже не помещался при сидении зад. Стены были исцарапаны, исписаны сообщениями, поручениями, фамилиями. Я тщательно читала все: авось, что узнаю о муже. И не здесь ли он? Было нацарапано: «Кребко били резиной». Долго размышляла: кто же такой КРЕБКО, приняв за фамилию, и только постфактум поняла: это слово «крепко». Я тогда любила каждого, кто сидел рядом в соседних «шкафиках» и совала папиросы в скинутые кучей телогрейки, проходя мимо. Запомнила среди подобных надписей одну в бане на Свердловской пересылке:

«Идущий по льду скользит». Потом я взяла эту фразу для заголовка своего стихотворения в период «романа» с В. Г. Щ.

Сидя однажды в таком «шкафике»-ожидалке, слышу из комнаты дежурных конвоиров: молодой голос читает вслух из книги «Анна Каренина» тот кусок, в котором Левин объясняется с Кити. Читающий, видимо, восхищен:…Кити… сияющее лицо… что-то о девичьей чистоте.

— Вот есть же такие девушки! — произносит юный тенорок.

— Все они… — раздается ответный бас старшего надзирателя Есакова, — все хотят… Ты думаешь, вот эта (обо мне) сидит, не хочет? Да ей только предложи…

Будто он по щеке меня ударил: я была в зените тоски и любви, отрешенной от всего земного, к мужу, в высшей фазе своего за него страдания. Смогла ответить этим животным только «королевской осанкой», когда меня вывели из шкафика на допрос.

То, что я знала о грязи житейского, становилось теперь моим постоянным окружением, бытом.

И тревожнее всего я расспрашивала своего, в общем приятного, следователя (нач. следственного отдела, посетив тюрьму, сказал: «Мы вам дали самого нашего гуманного следователя») не об условиях тюремного быта, не о возможном моем сроке, а о том, неужели придется его отбывать с проститутками. Половину его я так именно и отбыла. Стража наша ничем не отличалась от блатяков, безусловно верила, что «все они хотят…». Помню, как удивился солдат, сопровождавший меня из Арлюка в маргоспитальский театр, когда я вознегодовала на его бесхитростное предложение на привале: «А может, полежим, побалуемся, а?» И в чем-то стража была права. Она наблюдала такую распущенность и бесстыдство, неприкрытость лагерного секса, что даже хорошие дядьки делали свои выводы.

Майор Гепало долго тешил себя иллюзией, что порученные

его попечению «уандыши и фияуки» представляют собою «вечно женственное». Женственность же порою оборачивалась обыкновенным скотством. Это именно у него пять женщин забеременели от плотника Ивана. Стали размножаться лесбиянки. Часто, получив командные должности, насильственно развращали девочек. Майор плевался, но терпел. Был доброжелателен. Под Новый год, после 12 часов зашел в бараки поздравить нас с Новым годом и пожелал всем скорого освобождения. Кстати, тут произошел конфуз со мною. Вика Зайлер, концертмейстер И. А., была великая искусница делать игрушки и к Новому году сделала мне из ватки крохотного — сантиметров в пять — дедика-морозика. Очаровательная белоснежная игрушка была мною поставлена под елочную ветку, украшенную белыми бумажными звездочками. Подле этой «елки» мы, пятеро «артисток», встретили Новый год, ели что-то вкусное, привезенное Сониной мамой (Соня была местная жительница), выпили какой-то квасок и улеглись. Вошел майор в шинели внакидку, поздравил. После его ухода бежит красавица-нарядчица Верка:

— Борисовна, майор просит тебя продать ему, за сколько хочешь, этого Морозика.

Вокруг зашумели голоса:

— Отдайте, отдайте ему, гаду! — Все возмутились: только что женщины барака любовались и прелестной игрушкой и умилялись, как «их артиски» так хорошо и благородно встречали Новый год. Конечно, я отдала ему Морозика и заснула горестно. Но утром нашла игрушку под елочкой: Викочка за ночь сделала мне другого. Он — уже затрепанный и грязный, украшает и теперь мои елки.

Майор «воспитывал» нас. И личным поведением, и явной склонностью к изящному. От него всегда несло «адикалоном», как он называл духи. Гепающий по голенищам стеком, стоящий, избочась, с осадкой низкозадого тулова на одну ногу, с фуражкой на лоб — типичная позитура «первого парня на деревне» — он считал себя культурным ужасно, и девок непрерывно призывал к культуре — на воле слово это входило в моду.

И вот ему, шесть раз прослушавшему «Евгения Онегина», бабы из блатной «бригады-ух» устроили сцену.

Бригаду уже вывели за зону на работы. И вдруг девки полегли на землю и, как одна, завопили, что на работу не пойдут, пока не дадут им… мужиков. «Начальничек, дав-а-ай мужиков!». Наиболее отчаянные стали делать непристойные телодвижения, громко и непечатано крича, чего именно они хотят. У ворот зоны началась оргия бесноватых. Конвой открыто бить не мог: вокруг был город. Прибежал начконвоя. Бабы не вставали, хотя их

незаметно, из-под низу пинали сапогами между распяленными ногами. Началась массовая истерика. Выскочили все штабисты. Пришел майор и, надо сказать, оказался на высоте:

— Постыдитесь свету! Вы же женщины! Где ваш стыд?! — Бабы вопили, чтобы он не проходил по зоне, иначе они отрежут ему причинное место и сделают сие место предметом общего употребления. Знаменитый лагерный мат витал над толпою, которую долго не удавалось загнать обратно за прикрытие зоны.

Наконец, вихляющихся и распатланных баб погнали в карцер. Туда прошел майор. Не знаю, о чем говорил, но с опозданием бригада на работу вышла. В карцере майор долго никого не держал.

В этом лагере единственный раз и мне довелось познакомиться с кондеем, уже не в качестве сестры, подающей помощь узникам, а в качестве арестантки.

Грузили бревна. (Я уже не была ни сестрою, ни завбаней — «подсидели» сестры-бытовички-воровки). Начался густой снегопад. Спасаясь от метели, мы стали под стенку сарая-лесопилки. Бригадирша в погоне за «процентом» распоряжается: работать! Я возразила первая: в метель не работают по инструкции — возможны побеги. Все-таки приказано работать. Но прямо с вахты меня и несколько единомышленниц отправляют в кондей. Здесь это был погреб, очень глубокий, нетопленый, как все карцеры.

«Артиски» тотчас прислали мне второй бушлат, еду и курево. Потом через карцерную дневальную узнаем, что в нашем бараке что-то происходит, какой-то скандал и драка… Вскоре нас выпускают. Оказывается, «общественное мнение» в лагерях все же есть. Правда, подпольно его организовала Леночка Кузьменко.

— А где Борисовна?

— В кондее (??!).

Отправление меня в кондей произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Началось «дознание», почему я отправлена. Бригадники рассказали о моем столкновении с бригадиршей, и ее начали бить. За то, что сообщила начальству. «Метелили» все, хоть по разу каждая дала тычка. На этом особенно настаивала Лена, это уменьшало ответственность, исключало подстрекателей. Приговаривали лестные для меня слова: «Такого человека!.. Такую артистку замечательную в кондей подвела! Иди сейчас же к майору, падла! И если Борисовну не выпустят — берегись, будешь у нас «пятый угол искать» до утра. Ты лагерные законы знаешь». И баба, знающая лагерные законы, поплелась к майору. Что ему говорила, неведомо, но, к вечеру мы все, «бунтари», были выпущены, и вся

эта история осталась будто бы без последствий.

Будто бы! Но во мне открыли способность влиять на массу. Это для них было самое опасное. Понять, что девки просто любят меня, за то, что я Человек, ни во что не вмешиваюсь, не интригую и «все знаю», наши «пущаи» были не в состоянии. Лояльное отношение майора ко мне резко изменилось. Мне дали понять, что рассчитывать на работу более квалифицированную, чем катание бревен, мне не придется, даже в Беловском лагере, где высшее начальство меня знало по прошлым годам. Сам майор однажды допросил меня, как это я расхваливала культурность немецких офицеров. И только мой аргумент, что я еще не сошла с ума, чтобы с моей статьею могла бы вслух их расхваливать, был им принят. Видимо, был донос. Вика стала при мне сексотом. Двух блатных девок вызвали и приказали доносить, о чем я говорю. Они мне тотчас об этом рассказали и попросили, чтобы я ни о чем «таком» не говорила. Ему же сказали, что советскую власть я даже похваливаю.

На одном из разводов у вахты начконвоя, заметив какое-то особое внимание ко мне девчат, начал выкрикивать, что все они и в лагерях сидят из-за таких, как я. (По этому поводу я и пригрозила майору, что буду жаловаться и получила тогда его совет-угрозу). Атмосфера вокруг меня как-то стала сгущаться незримо, но тут новый «гордиев узел» разрубила текучесть самой лагерной жизни: женучасток расформировался, и вся эта история сплыла «на нет», может быть оставшись в моем личном деле только.

Возвращаюсь к содержанию этой главы.

Итак, Гепало выдержал «хороший тон» во время и после отвратительного «бабьего бунта», описанного выше. Никогда не кричал, был с женщинами приветлив, все реже прибегал к излюбленному своему эвфемизму. Казалось, все идет «культурненько», как он мечтал.

Ждали генерала. Посещение лагерей генералами НКВД всегда было событием чрезвычайным: все чистилось, полы надраивались до яростного блеска, не жалели марли для занавесок и прочих украшений, постельное белье в прачечных доводилось до абсолютной белоснежности: женский лагерь при майоре должен был продемонстрировать именно «вечное женственное». Все были «на цирлах». В помощь новой рохле-сестре придана была и я, как имеющая опыт в таких светских приемах, и поэтому оказалась свидетельницей капитуляции майора.

Бараки были пусты: работяги днем трудились. Жарко натопленные, сверкающие солнечными бликами погожего дня,

они даже немного «адикалоном» пахли, купленным майором чуть ли не на свои деньги. Стояли даже букеты из хвойных веток.

Комиссия, весьма довольная, во главе с окруженным свитой генералом, двигалась из одной казармы в другую. Майор сиял: такого порядка, такой чистоты, уюта генерал еще нигде не видел.

В одном из бараков, куда комиссия вошла, на верхней койке-вагонке лежала освобожденная по болезни блатная Любка Лянина. Та, из-за которой меня в Анжерке спихнули из сестер «на общие», когда я не признала ее пьяной. Лежала она на спине поверх тщательно заправленного одеяла совершенно голая, без трусов, но в бюстгальтере, который в лагерях именовался «лифтиком». Могучие ноги ее, обращенные к проходу между торцами коек, были от духоты распялены, как на гинекологическом кресле, и всю ее первично-половую суть ярко освещали солнечные лучи из противолежащих окон. Лежала она с книгой. Обычно урки ничего не читают, но Любка мне и нравилась тем, что была великая читательница.

Мы — комиссия — вошли. Дневальная, не заметившая позитуры Любкиной, кинулась ко входу с рапортом о состоянии барака. Комиссия двинулась в проход между койками, на верхнем ярусе которых пахом к проходу возлежала Любка. Тут ее заметили.

— Люба, накройся! — крикнула дневальная. — Накройся, Лянина! — закричали я и начнадзора… Любка не шевельнулась, а комиссия с генералом уже приближалась. Заскочив вперед, майор, избочась следовавший за генералом, подбежал к бесстыдно раскоряченной бабе и грозно зашипел, глядя на ее «причинное место» покамест сбоку: «Ты что, не видишь, мужчины вошли!» — Любка на минуту оторвалась от чтения, с презрением глянув вниз.

— А пошли вы на… — и снова обратилась к книге. В этот миг комиссия и генерал уже поравнялись со злополучной койкой и увидели всю панораму в фас. Кто-то хихикнул, кто-то ойкнул.

— Что же это, — сказал гневным тенорком генерал, — вы и за мужчин нас не считаете, заключенная? Неужели вам не стыдно?

Любка дала мужчинам вдоволь разглядеть ее рыжеватый пах и его содержимое, села на койке, не сближая бедер, неторопливо поправила лямку «лифтика» и отложила книгу.

— Горит у меня там, начальничек, — сказала хрипло, — охлаждаю: горит! Просит: — и взвыла, как умеют только блатные: — Дайте, дайте нам мужиков, начальнички, лишили вы нас всего человеческого. Дайте, говорю, мужиков! Хотя бы самых плохоньких!

И тогда майор Гепало, задрожав от стыда и гнева, рванул

ворот мундира и тоненьким кошачьим голосом завопил:

— Б… — щи! Кошки проклятые! Вот они какие, товарищ генерал! Вот какие! Они меня, товарищ генерал, до сумасшествия доведут! Я из-за них жену ненавидеть стал, товарищ генерал! Освободите вы меня от этой женской зоны! Замучился я с ними! Я их воспитывал… Я их убеждал… — И тут он залился, не прибегая к эвфемизмам, таким пятиэтажным матом какому мог выучиться только здесь, а не на фронте, здесь на месте своей «воспитательной» работы.

— Б…! — визжал он. — Все, как одна! — Обернулся к начнадзора: — Десять…, двадцать суток этой б…ще! Судить ее! Срок прибавить за оскорбление начальства при исполнении слу… — воротник его душил. Все, кроме бесстрастно слушавшего его истерику генерала, притаили дыхание.

— Ну, чего орешь? — спокойно улыбаясь, сказала Любка. — Что они, — она кивнула на генерала, — бабьей… не видали?

Начнадзора стаскивал голую Любку с койки, она отпихивалась, требуя, чтобы ей дали «потолковать с начальством».

После матерной ругани майора кем-то было произнесено слово «проститутка». Тогда разъярилась Любка:

— А ты што?! — накинулась она на изрекшего это слово надзирателя. — Ты, што? Ты мне денег за давешнюю… давал, змей?! Давал?! Говори же, змей!

В самом деле слово «проститутка», совершенно литературное, оскорбляло блудливых девок до костей.

В лагерях, а быть может и в народе, слово б…, значит, просто похотливая податливая женщина. Проститутка же продается за деньги, и это позор. Настолько позор, что само начальство покрывало сидящих «за проституцию»: на перекличках называли какую-нибудь воровскую статью рядом с фамилией и другими данными. Так же поступали и с некоторыми педерастами.

— Оденьтесь, женщина, — спокойно сказал генерал. — Вас сейчас отведут в карцер. — Надзиратель, которого Любка недвусмысленно обвинила, в истинном или ею придуманном сближении, стоял бледный: это очень каралось, вплоть до суда — сближение с заключенными. Багровый майор, взрыдывая, все кричал, какие они все… Эвфемизмов в его жалобах не было, генерал вельможно и брезгливо морщился. Когда Любку повели в кондей, он взял брошенную ею книгу. Это была «Сага о Форсайтах».

Поведение Любки одобрили все ее подружки и весь кондейный срок посылали ей курево, еду лишнюю, теплую одежду. Сыграл ли роль этот эпизод, точно сказать не могу, но

скоро женлагерь расформировали, направили в систему Сиблага, где половой режим был слабее. Однако, Любки среди нас не было: то ли осудили, то ли отправили на дальний этап.

Так печально и фарсово вся воспитательная работа майора Гепало, искреннего культуртрегера, пошла насмарку!

Глава VI
БЫЧОК

1. Труд в лагерях

«…Все это было бы смешно…»
«Задушевная сторона жизни одного дня».

Л. Толстой

— А вы… — бригадирша, глядя на меня то ли хитро, то ли насмешливо мигнувшим оком, помолчала, подумала… — Вы, пожалуй, идите-ка воду на кухню возить. На бычке.

Кончился карантин. Нас, прибывших в Арлюк из ликвидированной зоны Беловского лагеря, распределили по бригадам. Сегодня утром мою рабочую бригаду в мороз ниже — 40° «гонят» в степь «по сено».

Уже не раз бывала я на «общих», но в ИТК, лагерях индустриальных, при сорока градусах не работали, это были самые радостные дни для работяг, хотя их часто восполняли за счет выходных. Здесь же, в системе лагерей сельскохозяйственных, при нужде работают от звезды до звезды, на машинах к объектам работ не подвозят, градусов не соблюдают: скотину надо кормить при любых условиях.

Несколько дней назад, разобравшись «по шесть», мы прошли под конвоем от арлюкского вокзала снежной бескрайней равниной, без единой веточки и, как зимою казалось, без единой балочки. Уныние пейзажа угасило смех и шутки в рядах: каждая припоминала то дурное, что слышала о Сиблаге. Все мнения примиряло общее соображение: тут сельское хозяйство, стало быть, голодать не должно. К этой зиме 50 года страшный, подлинный, скосивший миллионы зеков голод прошел и в прежних наших, промышленных, лагерях, но воспоминания о нем у выживших были еще свежи, и зеки постоянно опасались ухудшения режима питательного. Сердце и у меня падало: как-то проживется здесь еще пол моего срока. В условиях заключения и месяца достаточно, чтобы помимо голода исчезнуть по разным

причинам.

Мне о Сиблаге рассказывал В. Г. Щербаков, прибывший оттуда в режимные лагери в пору, когда объединяли 58 статьи. Несколько лет назад здесь тоже голодали люто, так, что если в бачке с похлебкой, принесенной для бригады в барак (общих столовых не было, как не было «прожарок» — вошебоек, электросвета и прочих благ цивилизации), попадалась сваренная крыса, ее, изматерив кухонный персонал, выбрасывали, а похлебку все-таки съедали, наученные горьким опытом объяснений по этому поводу с начальством. Тараканы даже считались «полезным приварком». Женщины и девушки, и порядочные и проститутки, — ходившие тайно по мужским баракам, — хлеб — плату натурой, полученную ими, обязательно «перед употреблением», чтоб не обманул, — зачастую торопливо съедали в процессе самого «употребления».

Один мой немолодой пациент рассказывал: «Сам голодный, как пес, а попутал меня грех! Девчонка согласилась. За хлеб. Худенькая такая, ну прямо дите! Я, извините, уже штаны расстегнул и уж было лег на ее, гляжу, а она хлеб, что я дал, жует, жует, глотает, аж зажмуривается. И от жалости к ней, вся моя вожделения и мужская сила ушла… Отпустил я девчонку, а она побежала к себе, радостная, что наелась бесплатно. «Спасибо, говорит, дяденька, а то я ведь еще девушка!»

— Так верите, я ту девчонку век не забуду. И за то, что я ее не испортил, мне Бог сто моих грехов должен отпустить…»

Счастливчики-мужчины попадали на животноводческие, руководимые женщинами, фермы в качестве «умельцев» — плотников, слесарей и т. п. И вправду, это были «счастливчики»: сердобольный женперсонал «не замечал», как расталкивая кабанчиков, юзжащих и чавкающих, умельцы украдкой воровали у животных свиную, всегда доброкачественную, пищу и, давясь, поскорей, чтоб не отняли, торопились ее съесть. Владимир Георгиевич, как писатель, рассказывал все это живо, будто о самых светлых минутах пребывания в Сиблаге, где он прожил лет 5–6 лет!..

Да и почти каждый заключенный, даже выбившийся с годами в придурки, за плечами имел такое вот начало срока, пребывая на общих работах. Только чудо и выдержка спасали тысячи безымянных Иван Денисычей от смерти. А уж пережив такое, помереть было трудно.

Рассказывал В. Г., что в Сиблаге почти не одевали. У нас, в системе ИТК, работавшим полагалась не ахти какая, но достаточная, чтоб не обморозиться, одежда. Перепадало иногда и из гардероба (роскошного: чистая шерсть и меха) военнопленных

японцев. Здесь же использовали одежку, начисто списанную отовсюду. Не умеющие ловчить получали ватные брюки, настолько протертые по строченому, что образовывались продольные ватные ленты, каковые надо было прибинтовывать к ногам поперечными ватными же лентами.

Вот в такой лагерь шагали мы по унылой завьюженной степи. Шли почти целый зимний день. Однако этап был «легкий»; вещи наши везли на бычках, конвоиры не очень орали, по первому требованию с ерническим гоготом останавливали колонну «новых баб» на оправку. После таких пауз на снежной дороге оставались желтоватые лужицы и кучи. Обычно же на этапах не полагалось остановок, и часто вслед за колонной тянулись желтые дорожки по снегу. Одеты мы все были неплохо, хотя новые валенки на беловской вахте, выпуская, отобрали. Даже собственные, как у меня. С работой на полях я была уже знакома по Зиминскому лагучастку. Но тогда нас часто увозили в театр, стояло жаркое лето, даже после холодного ливня можно было обсохнуть и согреться. А в Сиблаге — пешие многоверстные переходы по полям, авральные работы на уборке, на которые снимали даже придурков. А что такое труд сенокошения знала я по «Анне Карениной» (Левин на сенокосе) и понимала, что при невозможности постоять, отдохнуть при невероятных нормах соцтруда — это будет для меня казнь…

— Лагерь! Стройся! Равняйсь!.. — Вокруг была степь, «палей» — огорожи не было видно: «голимая» снежная целина. Только вплотную приблизившись, в сумерках заметили в сугробах широкую нору — ворота, а при входе по обе их стороны— колючую проволоку, отгораживающую всегда очищаемую от снега «запретку — огневую зону», как всюду. Ограда же была вровень со степью засыпана снегами.

Внутри зоны зияли какие-то норы, да в густо синевшем с каждой минутой воздухе прямо из всхолмленной земли струились ровные столбики дымов. «Землянки!» — прошелестело по рядам. На душе стало еще тоскливее. До сих пор в землянках жить не приходилось. Были и вши, и холод, и голод, и тяжелая подчас работа, но все-таки для меня — горожанки и урбанистки, где-то вдали сверкал огнями завод или шахта, сновали грузовики, громыхали поезда, были грубодощатые бараки — подобие домов… И электричество… А тут столбов, ведущих провода, не было. Конвоиры зажигали фонари «летучая мышь».

Мы входили в траншеи, прорытые в сугробах, накрывших зону, становившуюся Бог знает на сколько времени нашим домом. В Сиблаге, как правило, зеки на одном участке отбывали весь срок. В прежней системе ИТК работяг «тасовали» часто, что при

мучительности этапов создавало все-таки иллюзию перемен.

Наши бабенки шуршали радостно; уже выведали: теперь здесь не голодуют, режим не дюже тяжелый, расконвойки много, то есть связь с «волей» легка, а работа… тьфу! Почти все были крестьянки, в большинстве сидевшие «за колоски», то есть, за сбор колосьев, оставшихся на уже убранном поле, что считалось «хищением социалистической собственности» и каралось 7–8 годами (!) отсидки. А я ужаснулась предстоящему «идиотизму деревенской жизни», так как успела узнать свое: библиотека плохая, один шкафчик в КВЧ.

Вдоль проделанных в снегах дорожек-траншей ямами зияли темные провалы: входы-спуски в землянки. Шмыгали по обледенелым ступенькам женщины в валенках, по сибирской домашней привычке на босу ногу, когда между юбкой и голенищем мелькают раскаленные морозом подколенные углубления. В первый же вечер увидали массу жалких оборванок «чувырл». Оказалось впоследствии, что много здесь и «истинно советских людей», то есть фронтовичек, получивших сроки за мародерство и послевоенную спекуляцию, «настоящих дам» с претензиями — офицерских жен, попавших за тот же грех, удивительно алчных («нет ли у вас продажных каких-либо украшений»?). Обитали скромные чистенькие старушки, проведшие в заключении по 15–20 лет «за политику», сидели и «за веру», и члены семей посаженных партийных работников. «Прислужницы немцев» и партизанки соседствовали на нарах.

И все были равно несчастны.

Водились и урки, в чем я в первый же миг убедилась: положила неосмотрительно теплый платок на нары, и он тут же исчез. Пропажа столь необходимой вещи (до сих пор не случалось) еще более усилила мою тоску среди копошившихся на общих нарах сумрачных фигур, озаряемых маленькими, чуть мерцающими коптилками со столбов, к коим нары прикрепляются.

Верхняя их часть тут сплошная, на персону около метра пространства. В периоды «пик» лежали так туго, что поворачивались по команде. К счастью, при мне «пик» не случался. С одной стороны у меня вшивая урка-скандалистка, которых в лагерях называют «чума», с другой — очаровательная Леночка Евтушенко, дочь эмигранта из Шанхая, воротившаяся на родину после войны по искреннему добровольному желанию. Позднее Леночка, вымученная ходьбою при сезонной работе, вымолила работу «без ходьбы» — ассенизатором ее назначили, утонченно-прелестную, женственную, но мужественную духовно. Через два дня она пахла далеко не Ориганом, но выглядела

счастливой. При взгляде на Леночку, когда она впервые вошла в зону, мне припомнились стихи Сельвинского: «…вся она опенена, окружена женственностью, как пена шумом…».

В нижнем этаже к нарным столбам прибиты вагонной конструкции персональные топчаны. На них живут аборигены лагеря, старушки-инвалиды, которых уже не гоняют на работу, «придурки», расконвойка, составляющая всюду привилегированное сословие, наиболее крупные урки: внизу, в темноте не так заметен их картеж или дешевая «любовь» со случайно попавшим в зону мужиком или друг с другом — «шерочка с машерочкой».

Я написала «на них живут», потому что спальное место — это и есть индивидуальный дом заключенного, там у него все: и его уют, и его тепло, и подручная часть личного имущества, запрятанного либо в наволочку, либо в солому матраса, или в какую-нибудь ведомую владельцу щель… «Его уют…» Да, часто эти персональные койки украшались вышитыми подушечками, у медсестер художественно измереженной марлей. В женлагерях попадались рукодельницы преискусные, обычно их оставляли в зонах вышивать для госпож начальниц. Заболев, они потрафляли сестрам, врачам, порою бескорыстно работали и для подруг, на марле, на тряпочках, нитками, надерганными из цветных лоскутков. В Арлюке увидела я матерчатые иконки, вышитые мельчайшим крестиком или гладью. Особо позавидовала образу Владимирской, принадлежавшим кн. Шаховской.

На нижних нарах темно, бараки освещаются окнами, вделанными в крыши. Однако привыкают глаза: порою там шелестят книжные листы. Хотя книг в Арлюке нет, их для любителей достает расконвойка, реже приносят «вольняшки», по секрету ужасному, ибо это считалось уже «связью с заключенными» и страшно каралось. За такую связь — носила книги для чтения — сидела моя приятельница В. Н. Кочукова. Иным книги присылали из дому. (Такими присылами питался в Воркуте муж мой). У аборигенов водились и личные коптилки, горючее доставали за пайку — лагерную валюту. И ночью, вскакивая по нужде, я с завистью видела, как в поднарной темноте сторожко, чтоб не застигли надзиратели, теплится чья-то искорка, и мелькают страницы. Еще при моем поселении в Кемерово, до ареста, отбывшая «срок» на Яе, музыкантша Ниночка Котяева рассказывала, что свою теоретическую кандидатскую диссертацию она закончила именно в лагере.

…И вот утро, первое рабочее, и бригадирша из уважения к тому, что я медсестра и артистка, то есть «придурок» в будущем довольно явный и могущий ой, как пригодиться, — это опытными

лагерниками всегда учитывалось — не берет меня в трудную экспедицию «по сено», а оставляет на совсем пустяковую легкую работу «без ходьбы». Предусмотрительно и расчетливо «шестерит» мне она: такую услугу в первый мой рабочий день, особенно морозный, я забыть не должна. Умная баба учитывает все.

Содержание этой главы — труд и быт в обжитых лагерях. Начну с «легкого». На легкие работы назначали самых малосильных или тех, кто мог чем-либо подкупить, хотя бы и был «лбом». Те, кто не составлял класс «придурков», то есть специалистов, или бывших ответработников, трудились дневальными, прачками, банщиками, санитарами и т. п. Это были подлинные мученики: их работа подчас была более тяжкой, чем труд бригадников на «объектах». Там за них думал бригадир, а они «кантовались» и «туфтили», как умели, то есть работали кое-как.

При физическом здоровье, приличном питании производительная работа за зоной, если в нее втянуться, а тем более быть профессионально привычным, была и физически, и морально полезнее истинно безысходного каторжного труда рабочих зоны, работавших неустанно, без норм, нервируемых всегда. Зонных совсем не одевали, даже отнимали у них в пользу работяг то, что удавалось получить по блату. Им завидовали: они, якобы, «сидели в тепле» и трудились не по команде.

Бригадники, делавшие работу «государственную», созидательную, могли что-то требовать от бригадира, а иногда от начальства, хотя их дело всегда было трудоемким, тяжким, вредным и опасным. За условия труда на государство боролись даже. Так в Белове рабочие из заводского вредного цеха дистилляции покусились однажды на жизнь начлага Андреева (профессора), после того, как он заявил, что они на то и зеки, чтобы не кормить их досыта. С тех пор он ходил по зоне с собакой.

Сама подлая идея массового «сажания» и возникла, конечно, от необходимости иметь дешевую рабочую силу при тогдашней нехватке или полном отсутствии механизмов и при огромном объеме работ по «строительству социализма». И бериевская и даже хрущевская амнистии тоже не были «актом гуманности», а просто с развитием механизации труда — а я была свидетельницей ее начала, впервые в лагерях услышав слова «экскаватор», «подъемный кран», — стало невыгодно кормить и содержать миллионы подневольных рабочих. Нужнее стали машины, а не живая плоть и кровь граждан социалистического государства. И кто не погиб, тех выпустили «за скобки»: причем,

как мы убедились — и это гениально показал в «Круге первом» Солженицын, — вольный мир никак не отличался от жизни «в скобках». Тот же страх, все друг у друга под стражей в системе, увязанной только политическим лицемерием и ложью. Был даже хуже, своей безнадежностью, ибо в лагерях жили надеждой на свободу, встречу с близкими, которые рисовались в обманчиво радужных красках. Пока мы сидели, на воле советский фашизм делал свое разлагающее дело: вымирали понятия гуманизма, распадались семейные отношения. В ту пору мне «усечь» все это было трудно.

Но уже тогда в сознание входили аналогии исторические: как все это походило на крепостную Россию и 1861 год! Истинно по-ленински большевики использовали исторический опыт прошлого! Не учли только, что после 20 г.г. советская, точнее псевдосоветская система внеэкономического принуждения и тотального насилия, ставши антинародной, породила внутри страны неисчислимое количество ее врагов, и к мировому недоумению и позору власовщину. СССР поистине оказался «фабрикой собственных врагов». После войны «в скобки» были заключены новые миллионы насильственно сломленных людей, виноватых только в противодействии системе. Пылающим патриотизмом народным массам их объявили «изменниками родине». Родине, но не ее политической фашизированной системе.

Миллионы «внеэкономически принуждаемых», живя в условиях немыслимых, без поощрений материальных, строили дороги в местах непроходимых, таскали тяжести неподъемные, добывали руду и уголь в совсем необорудованных шахтах, заселяли собою необитаемые края, как мальки, кинутые в пруд. Рыли лопатами котлованы, величиною с опрокинутый многоэтажный дом, по пояс в цементе грузили и лопатили. Горы сносили вручную. Кормили страну, сами голодные, даже строили Московский университет. Причем в последнем случае в каждый участок стройки полагалось закладывать доску с фамилией зека-бригадира, ибо при такой системе «туфта» становилась бичом всех созидательных работ, въедалась в поры страны и разъедает ее экономику поныне.

Пришлось однажды нам гатить фундамент для Беловской школы. Слой «замеса», слой камня. Камень следует разровнять в замесе, чтобы не было раковин. Тружусь. Отскакиваю, когда на замес сыплется сверху с носилок камень. Бригадирша мне: «Не ровняй, не ровняй, пусть кучами лежит! Быстрей фундамент поднимется». — «Помилуй, говорю, прочности не будет в фундаменте, а это ведь школа!» — «Э, отвечает, нашим с тобой

детям в этой школе не учиваться, а мне процент повышать надо, бригаду кормить!» И — мат. Так «туфтили» всегда и повсюду.

В общем, смело можно сказать, индустрия социализма в СССР на тяжелейших её участках строилась руками заключенных и высланных мучеников, вымиравших тысячами.

И долгое время при виде новых строений (осматривая тот же Московский университет), я думала не о категориях архитектурно-эстетических, а о том количестве жизней, которые это создание унесло. Так же и природа долго была ненавидима, как среда, стоившая столько мук людям, ее покорявшим и цивилизующим. Петербург строился «на костях», а социализм в СССР в XX веке? Из бабочкиных крыльев, вероятно?

Если подневольные строители на воле были рабочими да еще сибиряками, то общо говоря, в заключении они теряли лишь свободу передвижения. Климат был привычный, работа тоже. Соотносительно семьи их на воле, может быть и питались не лучше, работали так же каторжно. Но фактор заключения порою сам по себе убивал людей.

В самом мучительном положении в лагерях оказывались городские служащие, южане, не переносившие климата, а в особенности интеллигенция с непосильной нагрузкой тела и души. Труд непривычный, непосильный, каторжный убивал таких быстро наравне с животными условиями быта, озверял, а пощадив физически, убивал в человеке духовное. А убить духовное, интеллектуальное, обезличить, измордовать человека, способного на осознание жизни, способного к протесту — это уж была не экономическая, а политическая задача заключения в СССР. Меня по малой моей вине, может быть и оставили бы на поселении, будь я только женщиной, но в массе оказалась заметной — в лагерь!

До войны мордовать начинали уже на следствии, пытали и запугивали, зверски искалечивали. Теперь здоровые люди все-таки были нужны, калечить запрещалось, хотя садисты оставались. В начале 50 г.г. евреи рассказывали о страшных побоях: победивший «советский фашизм» уже не нуждался в фиговых листках лозунга о «братской солидарности народов».

А в лагерях «мордовали» трудом, окриками, ненужной перенятой у блатных, торопливостью, суровой суетою поверок, шмонов, издевательской «инвентаризацией личного имущества» — чтобы красть. При таких инвентаризациях публично просматривали наши нищенские личные вещи, вплоть до плохо простиранных штанишек и мелкостей жентуалета, над которыми гоготали.

Однажды шмон застиг меня посреди зоны среди казаков. Я

вывернула по требованию надзирателя свой мешок, и он с издевкой перед всеми стал перебирать мои тряпочки, презрительно распяливая маленькие в то время мои бюстгальтерчики.

— Ты што над женщиной издеваешься!? — закричали суровые наши дядьки-казаки, стоявшие вокруг, как на толкучке, над своими распростертыми сидорами, дядьки, способные в иной час и изнасиловать, закричали угрозно, видя, как краснела их «сестрица» при этом. И негодяй отстал, даже не «обшмонал» до конца.

Сломить достоинство! Отсюда и сроки чудовищные. Оторопела я, узнав из газет, что какая-то международная шпионка за границею получила семь лет, то есть такой же срок, как и я, и в три с половиной раза меньше, чем мой муж и сотни тысяч русских.

За срок малый человек мог притаить в себе себя, за великий срок, начисто измордованный, сламывался неизбежно. Опять-таки был учтен исторический опыт: после 20 лет Шлиссельбурга никто не вступал уже в активную политическую борьбу. Но тогда были десятки, теперь — масса.

Сломить достоинство! И поэты копали песок годами, пианисты теряли пальцы на шахтах, нежнейшие женщины работали ассенизаторами. Годами. Десятками лет, потому что выход на поселение после заключения обрекал только на физический труд, в паспорте освободившегося профессора писали: рабочий.

Иссасывая из человека его рабочую силу, добиваясь распада личности, его духовно ломали. Десятками лет, потому что после конца срока полагался для «госпреступников» выход «на поселение», в еще большей степени страшная кара. Пожалуй, иные интеллигенты опускались быстрее так называемых «простых людей»: вшивели, бродили по помойкам, обращались в лагерных «шалашевок», пополняли из страха ряды лагерных сексотов. Поняв довольно скоро задачу, я изо всех сил сопротивлялась именно такому насилию. Сотни нравственных запретов на себя налагала и вынесла их, особенно в первые годы. Надо было противостоять их «тыканью», не положенному уже по инструкции, ни разу перед ними не заплакать. Надо было оставаться чистоплотной, что в иных лагерях весьма трудно. Не позволить себе ни взяток, ни подлого должностного «подсиживания». Ни мата, ни скабрезности — не из «прюданса», мне никогда не свойственного, только из противодействия фашизму отечественному, хотя природу его в то время представляла смутно. Я не была в этом, конечно, одинокой, достойно вели себя многие женщины, ставшие моими подругами. Слышала порою: «В

лагерях люди так обнажаются, а вот вы…» Такой способ сопротивления, быть может, и спас меня: уважали!

Пытка трудом была запланирована. Перед арестом меня вызывал начальник следственного отдела НКВД. Он меня называл землячкой, потом догадалась: это был брат моего соученика по школе в Ставрополе. Он грозил: у вас есть мать! А на мой вопрос, за что меня наказывают, ответил, что наказывать, якобы, не намерены, но «проверят» трудом. Беспечно и доверительно, будто разговор шел «на равных», сказала, что труд привыкла уважать с детства — я не лгала — и считаю, что наказание трудом — нонсенс, а уж коли «проверять» человека, который что не положено узнал, и с кем не положено встречался, так уж на поприщах для него привычных. На копке канав только озлобиться мне, да и работала бы неумело, плохо, а мыслей моих им не прочитать. А на труде привычном, идеологическом, очень просто узнать, что я есть. Удивился генерал такому аргументу, в кресле откинулся тупо, разрешили мне даже работать в Кемеровском Комитете по делам искусств, но все же потом посадили «проверять трудом». Тут я им и выдала — бригадиры твердили: старается, а процентов дает нуль. Однако труд государственный, созидающий как бы, уравнивал зеков с прочим населением страны. Я его вкусила порциями невеликими, но памятными.

Неуспех зависел от моей житейской непривычки и слабости. Многие ценили именно такой труд: рабочие изгоями себя не чувствовали, трудности переносили, как солдаты. К примеру, чудесный латышский художник никак не хотел уйти на «легкую» работу из бригады Володи Габулаева, знаменитой своими рекордами по области сплошных лагерей, как Кемеровская. Для меня таким спасением оказалась моя сестринская и актерская работа.

Зонные же рабочие, повторяю, были подлинными изгоями труда, хотя работали не по команде. Дневальная, например, должна была обеспечить свой барак теплом при голодном угольном пайке (это в Кемеровской-то области). Таскать тяжеленные ведра с углем. Его приходилось воровать, выменивать на «кровную пайку», чтобы за недостаток тепла не избили работяги, вернувшиеся с холода. Уголь просеивали, использовали пыль, шлак. Дрова на растопку надо было изыскивать самой, «шестерить» работягам, чтобы приносили щепки и чурбачки с объектов, что в общем-то было запрещено.

Вода добывалась не всегда «из крантика». А ее требовались десятки ведер. Например, в Анжерке в самом углу огромной пустынной зоны был колодец с воротом и двухведерной бадьей на тяжеленной неповоротной цепи. Утопленное ведро — какая

страшная беда для какой-нибудь голосившей по нем старухи, а в дневальные назначали обычно старух.

На женучастках пособить в тяжелом мужиков не было. А уж коли появлялись по самонужнейшему делу, как слезно, бывало, иная «мать» упрашивает ради Христа что-нибудь сделать ей в помощь. А мужики подсобляли главнее тем, кто мог хорошо покормить или уплатить за услугу своей женской статью — голодные мужики в жензоне тоже имели свой интерес.

Обеспечить бригадников надо было чистотою, то есть неустанным скоблением грязи, плесени в огромной порою казарме. Убрать обледенение с порогов (пешней отбивая наледь). Очистить лагерные тропинки после стихийно могучих снегопадов. За клопов материло начальство дневальную, а где не было прожарок, бороться с их неисчислимостью приходилось только кипятком. А это — ведра, ведра, ведра… Мне самой, например, на «придурковой» работе — завбаней доводилось только вдвоем с пожилой тетей Ирой — бывшей участницей борьбы с Колчаком — натаскивать вручную и заливать в цистерны — банные котлы ежедневно по 500 ведер воды, а потом выслушивать грубую брань работяг, когда я требовала эту воду экономно расходовать.

Конечно, они стыли на морозе, а я «сидела в тепле»!

Приходилось (в Анжерке) жить при температуре ниже нуля в каптерке, где хранилось личное имущество заключенных. Мне еще и завидовали люто, «подсиживали»: каптерка считалась доходной должностью — то, мол, кто из местных жителей-зеков картошечки даст, то из посылки что перепадет. Никто и допустить не мог, что я принципиально у своей нищей братии ничего не брала, тем более, не воровала из мешков, как другие каптерши. Меня «подсиживали» на этой должности особенно упорно, даже ворованное подкидывали, и лагерное начальство, хотя и понимало, что это все наветы, сняло-таки меня на общие: «Вам будет спокойней». Я же этой работой дорожила особенно потому, что после долгих лет жила пусть в лютом холоде, но одна, прямо в каптерке, а побыть одной в лагере — редкое счастье. Я даже могла писать в покое.

Ближе к весне в зонах кайлили и вывозили огромные кучи нечистот, намерзшие за зиму над лагерными помойками. Чистили сугробы, высотою в 2–3 моих роста — о как тяжел «невесомый» снег! Мыли полы.

Мытье полов в Сибири — высокое и весьма тяжкое искусство. Сначала на корточках, а кто постарше, на коленях, пол скребут огромными тяжелыми ножами, хранившимися, как и топор, на кухнях. Сначала — кипятком, если он есть, что не всегда

случалось, с «дресвою» (песком) моют каким-то особым сибирским приемом — короткими движениями ног, туго прижимая к доскам тряпку, подплескивая воду к ногам. Мыли чаще всего босиком: специальной обуви для мокрой работы почти ни у кого не было, чуни, почти всегда рваные, береглись владельцами для оказий особых, а разве пол мыть — работа?! Протирали пол насухо и зачем-то еще раз промывали чистой, обязательно холодной водичкой. Пихтовые полы после такой обработки, высохнув до звона (если барак был сухой и теплый), выглядят, будто натертые воском.

Мне, почти постоянному придурку, выпадало полы мыть редко: здоровенные девчата, даже урки, блуждавшие со мною по лагучасткам, от самого первого, считали это для меня работой как бы унизительной — медсестре «не положено» — и вызывались помыть за меня, если случалось. Но когда случалось, мойщицы быстро прогоняли меня из рядов от презрения к моей одышке. Стоять же и смотреть, как товарки моют, было пыткой моральной, но не облегчением.

Однажды в новом лагере, где я была еще никто, некая полная самоуважения бухгалтерша сибирского колхоза, отправленная со мною мыть полы и с бабьим упоением отчаянно их скребущая, очень удивилась моей несноровистости в этом деле, таком пустяковом. «А как же вы дома мыли?» — «Дома, — отвечаю, — не приходилось, полы были другие, крашеные или паркетные, которые вообще не моют».

«Не моют?!!»… — подивилась она: в какой же грязи живут обитающие на паркетных полах. Простодушно спросила: «А что же вы тогда делали дома?» «Работала, — говорю, — на государевой работе, ела в столовых, я для домашней работы женщину приглашала, самой недосуг было». — «А стирать как же?» — «Тонкие вещи, которые прачке доверить нельзя, сама стирывала помалу». И еще и еще подивилась колхозная сибирская интеллигентка быту интеллигентки-москвички 30–40 годов: грязно, неуютно жили мы, оказывается! Разве выполощешь белье хорошо где-нибудь, кроме речки, особенно зимою, когда вода в проруби «как слеза»!?

В большинстве женских бараков по так вымытым полам в уличной и дворовой обуви ходить не разрешалось. Только начальство — вольняшки, да самые знатные придурки имели право наследить, «по-хамски». Это у них даже шиком считалось, по-моему. Женщины же, вернувшиеся с работы, у обледенелого или мокрого порога сбрасывали валенки, а по теплу ботинки, облепленные грязью, и, держа их в руках, бежали к своему месту на нарах. Чулок многие не знали и, подхватив портянушки,

весело разбегались, пошлепывая босыми стынущими ступнями. Снимать «до боса» обувь полагалось и при посещении амбулатории. Сидит босиком какой-нибудь заболевший пневмонией, а ноги его синеют на ледяных досках.

Я сделала «изобретение»: за широким голенищем валенка у меня постоянно засунуты беспятые самодельные тапочки-шлепанцы, сделанные из шкурок овечьих, лоскуты которых можно было достать, украв или выпросив в починочных мастерских.

Валенки и иная обувь, очищенная на пороге, в меру индивидуальной аккуратности, помещается работягой до ночной просушки «в головах» — ведь еще придется по зоне ходить. А при отбое на сон бригадиру или дневальному обувь сдают на просушку или починку, связав побригадно пучками. И она остается там до подъема. Если прожарки нет, как в Арлюке, обувку размещают вокруг могучих барачных печей и тогда всю ночь нас удушают горькие запахи влажных портянок, мокрой сохнущей шерсти или кожи. В бараках мужских этот запах был невыветриваемо постоянен и особенно жгуче-ядовит. Где не водилось сушилок, все лагерные ухажеры, даже умащенные ларечным одеколоном, пахли «жареными онучами» даже в летние дни.

Зато — блаженство при утреннем подъеме сунуть остылые ноги в еще горячие, звонкие от сухости валенки! Если, конечно, они не прохудились. А это бывало, хотя бригадиры зорко следили за их починенностью, чтобы не «кантовался» бригадник по причине рваной обуви — бригадиру за такой неуслед влетало. И бригады сапожников ночью садились за починку, а к утру сдавали в просушку крепкое.

Пока ночью приводится в порядок обувь, в уборную (выгреба эти ради гигиены иногда выносили очень далеко от бараков) беги хоть босиком. Обычно хватали валенки соседей, чуни самой дневальной. Когда кончился острый голод, а следовательно и ежеминутное воровство (валенки-то можно сменять на хлеб!), ввели «дежурную пару» для ночи. (Так я в общей обуви поймала неизлечимый грибок на ступнях). Но бегивали и в чулках: за короткое время в лютый мороз чулки промокнуть не успевали, да бабенки часто и не добегали до нужников, садились между сугробами, лишь бы часовой с вышки не заметил, и оскверняли подходы к бараку. Весною все это обнажалось, кайлилось дневальными, при брани и вони: ведь в землянках-бараках жило до 200 человек. В Анжерке при особой дальности уборной, где до нее бегу было на весь четвертькилометровый плац, такое приседание в сугроб обратилось в бедствие и часовым на вышках разрешили стрелять. Ну, не по женщинам, конечно, а в том

направлении, где заметил присевшую фигурку. Знаю случай ранения.

В малолюдных бараках в самые лютые морозные ночи приплачивали дневальным за ведро у порога, куда делали дела малые, а коли все спят, и крупные, а загодя до подъема многострадальная старуха, чтобы, Боже сохрани, не увидали надзорщики, а то ее посадят в кондей, мчала ведро опять же в сугробы и снежком присыпала пятно от вылитого. Запахи зоны весною были омерзительны. В этом отношении каторжанам, которых на ночь запирали с парашей, было легче. «От вони еще никто не умирал» — это была пословица.

При скверном однообразном питании и постоянном хроническом промерзании ночные вставанья совершались несчастными по 3–4 раза. Во время же голода, когда месяцами не видели даже положенной горсти сахара, ночью с топчанов слышалось лирическое журчание, поднимался переполох, виноватую сонную девку — молодые были как-то особенно «слабы на уторы» — материли лихо, а то и били, и она до утра лежала в зловонной луже, а утром шла на работу.

Встречались дамы, которые это делали сознательно, наяву, и даже большие дела, чтобы, пострадав таким способом, избавиться от тяжелой работы. Пришлось и мне несколько дней спать на узкой кровати с некой Катей, которая таким способом избавлялась от общих и работала портнихой. Она хохотала: «от вони не умирают…», мне же, проспавшей с ней несколько ночей, было не смешно.

Однажды и со мною случилось подобное: после бани и прожарки угрелась в сухом тепле и во сне увидела маму, теплый зеленый луг, укромный кустик… К счастью, вовремя проснулась от своего золотого сна…

2. Внутри жемчужины

Теперь Арлюк, общие нары, обычное лагерное утро — о, эти тюремные и лагерные пробуждения! — вокруг суетятся соратники: немного урок, бытовички-спекулянтки, должностные «преступницы» — все народ, ни в одной стране, безусловно, не подлежащий 10—15-летней изоляции, какую они имеют. В землянке жарко, снаружи мороз «ниже сорока». Уже принесли теплую одежду — тут она переходит от бригады к бригаде, идущей нынче за зону. В полумраке бабы ссорятся из-за полушубков и валенок, примеряя их. Иные уже «метелят» друг друга, мат относительно некрепок и адресован преимущественно начальству, которое «довело» заготовки кормов до морозного

«пика». Соседка моя, заматывая ноги какими-то дополнительными онучками, уныло тянет:

Эх, Колыма ты, Колыма,

Знойная планета!

Двенадцать месяцев зима,

Остальное — лето!

Одетая в добротное «свое» бригадирша смотрит на меня многозначительно, будто советуясь сама с собою, и предлагает мне… бычка, самую легкую по лагерным понятиям работу. Для инвалидов.

Ой, не надо! — вскрикиваю. — Я ужасно боюсь коров!

— Так не корова же, бычок! С яйцами! — хохот завистливый и оглушительный. Еще ужаснее: боюсь!

— А вы его за рога, за яйцы! — гогочут бабы.

— Да разве можно животного бояться, — замечает пожилая бригадница. — Если б вы знали, какие они хорошие! Это человека, Борисовна, бояться надо, а скотина… — И она взахлеб повествует о своих знакомых ласковых коровах, доенных на здешних фермах, об умницах-свинках, ею вскормленных.

Они шутят. А я все умоляю, лучше мне пойти с бригадой за сеном, сложенным где-то на полях в бурты. Мысль о бычке, огромном, рогатом, чудовищном, непереносима.

— Вы с ума сошли, — шепчут соседки. — Ведь ниже сорока! В поле еще лютей. Дороги к буртам нету, придется копать. Лошади падают по такому морозу. Воротимся затемно: далеко! В метель, бывало, заблуживались бригады, на другое утро приходили. В санчасти местов нет от обмороженных. А тут бочки три воды привезете в кухню — и на нары. Да еще и накормят на кухне.

Милая бригадирша под завистливый шепот остальных выделяет мне полушубок, кто-то предлагает свой теплый платок взамен украденного. Соглашаюсь, хотя боюсь, боюсь, боюсь бычка. Оболокаюсь и, вероятно, становлюсь похожа на хрестоматийного пленного фрица. Выхожу. Одна.

Туманец от мороза. Но небо слегка зеленеет рассветом. Мороз охватил степную зону туманом, шорохом, каким-то змеиным сипом, тысячей укусов стужи. Стою и постигаю буквальность выражения «мороз трескучий». В крохотную дырочку меховой собственной варежки сразу будто вонзается ледяная игла. Зажимаю дырочку. Закрываю лицо до глаз, взобравшись на взлобок траншеи, озираю местность, отыскивая кухню. В морозном тумане огни керосиновых фонарей расплывчато тусклы. Однако рассветает быстро, как всегда на равнинной местности.

По траншеям тянутся к воротам бригады, обреченные сегодня

на работы вне зоны. Никто не спешит. Все укутаны до глаз. На работе они, быть может, согреются, но покамест теплые платки, как и у меня, закреплены налобными повязками, чтобы не поддувало в пути и не сползал платок. Так обвязываются, когда голова болит. Выйдут в степь, и одежда перестанет казаться тяжелой: при таком морозе, легка любая покрышка, любой толщины. Бредут молча, только слышен повизг шагов по снегу да пыхтенье. Этот свистящий шорох — единственный звук. Машут мне: кухня — там.

Кухня в вечно голодных лагерях — самое желанное место для баб, особенно профессиональных домашних хозяек, кои десятками тысяч сидели с семилетним-десятилетним сроком за спекуляцию, самогоноварение, за «колоски». Из работ в зоне женщины, да, пожалуй, и мужчины, тоже охотнее всего шли на кухонные, конкурировали, подсиживали друг друга, в кухне-то с голоду не пропадешь да и обязательно тепло!

Еще в Кемеровской пересылке сама я ходила туда чистить картошку для привилегированных столовников, ибо для работяг в котлы в ту пору закладывали просто промытую в 2–3 водах, чаще всего промороженную. Еще тогда убедилась, как безотрадна такая работа, хуже починки: картошка холодная, осклизлая, в чулане, где нас поместили, сыро, полутемно. Правда, кормили варевом сверх положенного, что в те времена было всего важней.

Сегодня я обречена зверю. Возле входа в кухню шевелится нечто. Это — Он, уже впряженный в сани с приделанной к ним бочкой, видимо, мое неумение запрягать объявлено заранее. Упряжь без ярма, как там ее прикрепляли к бычку — не ведаю. Наверное, запрягала сама постоянная водовозка-румынка, нынче освобожденная по болезни и пока стоящая тут же, закутанная в совсем невероятные обвисающие лоскутами лохмотья.

Не успели я разглядеть большое, живое, испарно дышащее впереди саней, как румынка вручает мне узду, говорит какие-то инструктивные слова, неприветливо, как возможной сопернице по ее постоянной «легкой» работе, и исчезает за кухонной дверью, откуда вылетевший пар укутывает меня и зверя так, что я никак не могу рассмотреть его хорошенько. На секунду дверь распахивается снова, из клубов пара мне в руки всовывается кукурузный початок со словами: «Держи за пазухой для Митьки». Не уяснив, какому Митьке должна я сберегать сей продукт, хватаюсь за узду, издаю чмокающий звук. Бычок шевелится, я отскакиваю в страхе, однако за ночь сани примерзли к колее, животное дергает, тужится, но наледь крепка.

Мужичонка, тяпающий топором возле кухни, на вид совсем незастуженный, шустрый — видимо, попав в жензону, он

переспал, конечно, с бабою, потому сыт и весел — мужичонка сам подбегает на помощь, что-то подрубает под санями, они отрываются от колеи. Бычок пошел. И не успев его разглядеть, не успев испугаться как следует, я шагаю рядом, положив рукавицу с уздою на сломанный рог.

Но Боже мой, какой же он не страшный! Страшно холодно только, и больно дышать на морозе. Рога у зверя обломаны, не такой уж и огромный, как представлялось, весь закурчавленный изморозью от собственного тепла и дыхания. Милое, унылое покорное животное.

Безлюдье и тишина. Наружные рабочие ушли, оставшиеся поукрывались от кального мороза. Вымерзли и звуки, и запахи все, кроме снежного. Ни тело бычка, ни навозные навалы, видные из сугробов, образующие на пути колдобины и ямы, не пахнут. До весны.

Накатанная колея вывозит меня и мой транспорт на взлобок траншеи. Пыхтит бычок. Пыхчу я. Вот мы перевалили было высотку, но, скользнув по косой вниз, сани идут «под закат», бычок силится их удержать, елозит копытами по льду, и бочка срывается с саней и летит со звонким стуком вниз, в соседнюю траншею. В ужасе, что она может расколоться, за нею скатываюсь я. И успеваю увидеть, что бычок, почувствовав облегчение, тронул сани и устремился вперед.

Эту сцену наблюдает мужичонко, работающий возле кухни, и, уже, видимо, уяснивший, что я — новичок, снова без зова косолапит мне на помощь, лихо потряхивая концами развязанной шапки-ушанки. Пустую, но тяжеленную от наросшего льда бочку мы вдвоем без особой натуги вкатываем на взлобок. Спущенная в узкую траншею, она и сама бы легла на свое место в санях, но их уже и не видно: бычок отъехал далеко, а повернуть сани в такой узине невозможно. Незлобно выматерившись, мужичонко мне неведомым объездом, опять мимо кухни, подгоняет экипаж к роковому месту. Бочка загромоздила проезд, поднять вверх нам ее не по силам, можно только катить. Мужичонка сокрушен, но возникшие из тумана женщины с ведрами, дневальные, несущие воду в бараки, помогают вскатить мою посудину вверх, санки подгоняются мужчиной, и общими усилиями она укладывается на место. Никто не заметил, а я тем более, что квадратное отверстие, в которое мне предстоит налить воду, ложится чуть вкось.

Помощь мужичонки и баб бескорыстна и доброжелательна: увидели, человек бьется и побежали. Женщины эти — молдаванки или румынки, они ругают бычка дракулой (чертом), в их разговоре улавливаю я слово «кукона», что значит «барыня,

госпожа». Интонации дружественные: не в издевку, а просто им открылся факт — явная барыня-неумеха попала в беду. Румынок, молдаванок, одесситок тут много. На зиму их массово оставляют в зоне, очень уж заметно они вымирали, простужаясь. Почти все — по 58 статье — «за пособничество врагу».

Этот эпизод оказывается только началом пытки «легкой работой». Поблагодарив в самых изысканных выражениях своих помощников, трогаюсь дальше, но бычок кажется мне менее симпатичным. При общении с молдаванками поняла, что понукать его следует криком «ча-ча-ча». Теперь, сжимая узду, не теряю из виду и бочку, под которую, чтоб примерзла прочнее, бабы подплеснули водички.

«Ча-ча-ча!» И подъезжаю к обледенелой, почему-то круглой дыре в боку снежно-ледяного кургана. Внутри этого купола — кран. Траншея тут образует тупик, чтобы бычок не устремился вперед. Поворачивать его надо по тесному кругу на дне ледяного цилиндра с дырою сбоку. Всюду застывшие кочки от пролитой воды. Опустив платок со рта, сплевываю, ради эксперимента, плевок долетает до земли в виде круглого мутного шарика.

Только теперь понимаю, зачем к саням приморожен топор, тупой, зазубренный: в обледенелую совершенно круглую дыру в зимней одежде не пролезть, и с немалыми усилиями отодрав вмерзший инструмент, рубаю по нижнему краю отверстия. Голубоватые глудки и сосули разлетаются со скрежетом, осколочек разбивает мне надбровие, по лицу бежит кровь, но, отертая, больше не настраивается, и никак не больно: при таком замораживании накожные операции можно делать без хлорэтила.

Хряпаньем по льду согреваюсь сразу, но белье, чувствую, намокло потом. Теперь уж постоять, передохнуть невозможно, надо все время двигаться, передергивая спиною. Да и мужичонко предупредил, что на кухне воду ждут, ее тощее чрево жаждет, надо поспешать.

Вхожу внутрь купола, согнувшись почти до высоты ведра, попадаю в грот изо льда, освещенный ледяным же окошком. От испарений стены образовали голубовато-зеленый шатер, подпираемый толстыми, в мужскую руку сосульками, подобным колоннам. Мороз тут не колет, но ледяная сырость сразу охватывает так, что тело начинает буквально колыхаться от дрожи. Дыхание с шорохом облетает ледяную избушку: в стенах живет эхо. Я будто бы внутри огромной холодной жемчужины. Вероятно, это сказочно, но никаких эмоциональных впечатлений у меня в те минуты не было, это я хорошо помню.

Весною оказалось, что куполообразная избушка — это довольно миленькая, окруженная кустами вербы, будка над

источником с наружной трубою и краном. Сейчас он, весь окутанный соломой и тряпьем, почти врос в большой, в форме кабана, сталагмит, и, чтобы подставить ведра, я осторожными постуками топора — не повредить бы тут чего — снова рубаю лед. Надо спешить: а вдруг уйдет снова бычок с пустою бочкой. Сначала вода пробивается едва-едва, размывая наледь в кране, слегка дымясь и шипя, потом струя делается смелей и крепче. Ледяная избушка полярной Бабы-Яги наполняется недобрым гулким альтовым журчанием, и сразу намокают ерзающие у крана руки. Насухо вытираю их обдуманно запасенной тряпицей, но уже переполнилось ведро, и едва успеваю отдернуть ноги в валенках от закипающей внизу лужи. Она, мутная, принимает оттенки голубоватого жемчуга, пока наполняю второе ведро.

С двумя деревянными ведрами-ушатами боком протискиваюсь в щель того, что весною окажется дверью. Ах, все-таки на валенок плеснуло! Но зато бычок стоит смирно, сжевывая обмерзшие соломки, которые я сообразила кинуть ему, пока прорубала вход.

Я радуюсь бычку. Он скашивает на меня выпуклый мутно-красноватый глаз и вдруг, фыркнув теплом, добрым, мягким, широким, как все мое лицо, языком лижет мою посолоневшую от пота щеку и место под носом, которое я от холода давно уже не ощущаю! Милый, совсем не страшный ласковый бычок! Как хорошо было бы нам вдвоем, если б не стужа, не этот звенящельдистый мир, куда нас закинул рок.

Десять раз ныряю я в дыру, натужно подымая ведра вверх, выливаю недобрую эту звонкую воду в квадратное отверстие бочки и, легкомысленно оставив ведра в избушке — ведь надо съездить еще и еще — (не украли их только по особой милости ко мне судьбы), говорю ласково «Ча-ча-ча!». Зверь кивает головой, лижется, но желания двинуться не обнаруживает. Масть его уже нельзя разглядеть под сединами укрывшего шерсть инея. Он недвижен, как снежный памятник общего нашего с ним страдания. Может быть, дремлет, может, загрезился о мире со сверкающим солнцем, о цветущих лугах, полных теплой искристой от влаги травы. Бывает ли такое на свете? Кажется в те минуты, что ничего такого никогда не было и не будет. В арлюкские ночи и меня мучили сны: южные розы с тяжелыми бархатными лепестками, покрытыми крупными, свежими каплями росы. Я задыхалась от их сладкого запаха, просыпалась… Пахло не розами.

Обнимаю товарища за шею, уговариваю идти, тяну за рога, проверяю, уж не примерзли ли сани. Нет: очень уж старалась не подплеснуть под полозья. Недвижен.

— Ишак проклятый! — выйдя из себя, кричу ему все известные мне удобопроизносимые конечно, бранные термины, вплоть до слова «педераст», вошедшего в лагерную моду после разделения полов. Окоченелой рукой колочу по бокам, облезлым и впалым.

Они гудят, сыплется иней, обнажая грязную шкуру, но тварь ни с места.

Вспоминаю «Тройку» Перова и только теперь оцениваю достоинства картины и ее колорита, картины, которую прежде считала произведением посредственным. И завидую тем детям; они тащили сами, а я завишу от немыслящего зверя!

Безмолвие ледяного цилиндра, на дне которого идет моя битва с упрямцем, нарушено шорохом шагов. Из траншеи появляется женщина во вскинутой на голову телогрейке, в чунях на босу ногу.

— Где же вода?! — вопит она, добавляя трехэтажную брань. — Опять стал, пидарас, зараза! У, шкура! — Она сильно бьет бычка по дремлющим кротким глазам, лающе, хрипло несколько раз матерится, громче, громче, — чудо! Бычок зашагал. Кухонная женщина смеется:

— Эт, скотину и ту приучили, без матюков не идет с полной бочкой. Ты его, как опять станет, матери на чем свет, да погромчей: он глухой, совсем старый, иначе не потянет… — Ее совет уже эпически спокоен, она убегает, постукивая чунями.

Бычок, холодный, как сугроб, на подъемах медленно и осторожно кладет клешневатые разбитые копыта на застылую землю, и она отзывается скрипом саней, мерным их постукиванием на кочках: крап, крап! На спусках, толкаемый санями, бежит. Вот-вот его ноги, не поспевающие за инерцией бега, запутаются, подломятся: он упадет, и тогда все рухнет. Мне бежать за ним неспособно: потерявшие чувствительность ступни не гнутся в беге, подобно кочергам. И тут бочка подносит еще одну неприятность: из криво поставленного отверстия на толчках пути начинает выплескиваться вода. Сначала понемногу, потом раскачавшись, все больше. Вода, которую я с таким бережением и натугой добывала в заиндевелой избушке, драгоценные капли которой я так берегла, стараясь не приледенить сани к колее.

— Стой, стой, педераст, зараза, шкура! — кричу напарнику, но он мчится, вздергивая голову. Зато у подъема снова останавливается и замирает.

По голове я его не бью, стараюсь помочь, упираюсь в мосластый зад, не брезгуя ни хвостом, ни близостью ануса. Стоит!

И вдруг оглядывается на меня, и в тупых его глазах я читаю боль, безмысленное глазное яблоко стекленеет, распираемое

безмолвным мучением, оттуда выкатывается слеза, другая. Они медленно проползают по обмерзшей шерсти, мутнея, словно виноградины, и животное, угнув голову почти до копыт, вымученно, кротко мычит красивым баритоном.

— Не могу! Не могу-у-у! — кричит бычок, извергая слюну и пары дыхания. Я тоже плачу от жалости к нему и бессилия. И гнева, смутного понимания одинаковости его и моей судьбы, загнавших нас обоих в эту узкую траншею из снежных кристаллов, в эту беспросветную степь, на конец мира, где только ледяной туман и нет ничего, кроме страдания. Обтираю свои слезы тряпочкой, на ней остаются пучочки ресниц, некогда так украшавших мое лицо.

В особо тяжелые минуты моего заключения я помогала себе волей к фантазии, представляла, например, что я на войне со всеобщим фашизмом, тяготы которой неизбежны и роковы. Вроде бы это помогало перемочь какой-то самый невыносимый миг. И сейчас я убеждаю себя, чисто актерскими приемами убеждаю, что я на фронте волоку тяжелое орудие, от ввода которого в бой зависит его исход.

Но не суетятся рядом бойцы-товарищи, да и сам мизер задания так очевиден, что возбуждаемые сознанием актерские эмоции не пробуждаются, не подвигают на испытание мои бессильные мускулы и гудящее в каждой клетке тела сердце. Всюду обступило морозное безмолвное уныние, ничто не помогает усилиям плоти, то обмерзающей до тла, то кидаемой в пот. Реальность остается больнее воображения.

В борьбе с бычком я не в состоянии, ну просто физически не могу, как самое страшное для меня унижение, уподобиться лагерному «быдлу», изрыгнуть то единственно понятное бычку матерное понукание, которому научила меня кухонная тетка. Войди я в образ бойца или проститутки, я б сумела, знаю. Но образ бойца мне не удается никак, я не могу произнести мат, сопротивляясь духовно тому истинному положению, в которое сегодня поставлена. Гордость это, что ли?

И тут вспоминаю о кукурузном початке у меня за пазухой «для Митьки». Да ведь Митька — это и есть, конечно, имя бычка. Теплый, я вынимаю кочан и способом библейским, придуманным для ослов, заставляю животное потянуться за початком, отодвигая его от жадно вдохнувших кукурузный аромат ноздрей. Бык переступает еще и еще, и сани трогаются. Так повторяю не раз во время нашего ледяного пути.

Возле кухни воду ждет персонал с ведрами. Увидя нас, все разразились веселым матом, но из деликатности ругают не меня, а бычка. Выясняется, что его действительно зовут Митькой, был

некогда производителем, но, переболев, обессилел, постарел так, что когда какая-то баба потехи ради стала его мастурбировать

— «Эх, обхохоталися мы!» — никак не реагировал сексуально, только досадливо отодвинул бабу рогом.

Не в таком я сейчас «чине», чтобы выглядеть скандализованной таким рассказом, хотя и не улыбаюсь скабрезным шуткам, пока воду выцеживают в мелькающие ведра. Но воды оказывается мало, меньше, чем планировали: много ее выплеснулось из криво поставленного бочонка. Слышу матерки, адресованные уже прямо ко мне, но пока не в лицо. Прошу помощи, выпрямить косо лежащую посудину и отыскать дощечку, чтоб не плескало. Бочка снова приледенела.

Горячие кухонные люди с невероятным галдежом и несоразмерной заданию суетою, как полагается истинным южанам — среди них одесситы, молдаване и румыны, — приносят в клокочущем пару кипяток и экономно плещут под бочонок. Пар мешает мне рассмотреть хорошенько, и вся картина возле кухонных дверей делается похожей на сцену из ада, тем более, что все они смугло-черноглазые, оборванные и юркие, как черти. С. оглушительным криком дело закончено, но в мою сторону косятся уже недружелюбно: работы у всех по горло, да и кому охота мерзнуть! Слово «кукона» звучит уже враждебно и насмешливо. Наконец, все убегают. В тепло. Холоду сегодня обречены мы с Митькой.

Во время всей этой суеты, потная и обмерзающая, от боли в груди притаившая дыхание, полная виноватости перед ними, я несколько раз, стоя в сторонке, теряю сознание», вот, падаю, ох! Но усилием воли не позволяю себе упасть, из гордости, другого ли чувства — нельзя. Обогреться в кухне тоже некогда: не хватило воды на самые первоначальные операции.

Снова в путь. И еще скользит бочонок, и бычок тужится и мужичонки нет поблизости. Пытаюсь закатить 20-ведерную бочку одна, соорудив конструкцию из дощечки и топора. Остатки воды заливают мне ноги. Влага студеная, смертная, но я сначала выравниваю горизонталь отверстия, потом торопливо, на морозе прямо, начинаю перематывать портянки, промокшие лишь частично: уж очень валенки проморожены и толсты.

Бычок за это время погудел, погудел и замер. Растираю ему нос. Кукуруза возвращает его к действительности.

Вторую бочку везу. Перед последним подъемом «педераст» останавливается опять. Раскумекав, что кукурузу ему кажут, но пожевать не дают, он уже не отзывается и на этот сигнал к движению, хотя я тычу сей изысканный фрукт прямо в его обмороженно затверделые ноздри. На щеках моих стынут слезы

отчаяния, однако, с детства обожествляющая Слово, я все-таки не могу произнести из их тысяч то, оскорбляющее мое достоинство, то единственное. Все другие он отвергает. К эвфемизмам он глух.

За это время изменился пейзаж. Показавшееся солнце заиндевелый мирок наш не разогрело. Оно «кругло и бездушно, как желтое око совы» — какой точный образ нашел Некрасов! Холодно-матовые тона внутри ледяной «жемчужины» стали светлее, но будто еще студеней. Снаружи алмазные трепещущие просверки снегов. Но все равно безрадостно, от дыхания на морозе больнее и больнее ломит в груди.

А мои собригадницы в этот час еще бредут по снежной целине тесными рядами «по шесть», в каждом ряду сцепившись под руки, чтоб кучнее и теплее. Ритмично, медленно покачивается плотно построенная колонна в такт шагам.

Будто с птичьего полета представляю я посредине заснеженного огромного пространства, окаймленного линией горизонта, прямоугольничек идущих тесной колонной женщин. Впереди, сзади и по бокам шагают, как точки, конвоиры с черточками — «дудорог»[21]. Собак, слава Богу, нет, тут, в Арлюке.

Я знаю, что у каждой женщины от лютого мороза болит в груди, как у меня, мерзнет спина, заиндевела одежда от дыхания тесно идущих. Если кто-нибудь чего-нибудь запросит, на того прикрикнет конвоир: терпи! А коли заволнуются бабенки, вякать начнут, конвоиры имеют право приказать им сесть всем до одной в снег, а то и так: «Ложи-сь!». И тогда надо ложиться, хотя бы и в лужу, а то дано солдатам право стрелять.

Впереди ставят самых слабых и по ним рассчитывается скорость движения. Кто в рядах отстает, перегоняют в ряд передний. Если все крепки, колонну пускают бегом — согреться и бабам и конвоирам. Но в моей колонне бежать нельзя: сзади тянутся сани со впряженными бычками, сено укладывать.

Где-то за этой ледяной степью, вне ее пустынных просторов, летит Жизнь — делают научные открытия, кипит созидающая страда страны, грохочут поезда, набитые вольными (и заключенными) людьми, сверкают витрины магазинов, полные нужных и интересных книг, красивой одежды, еды, разнообразной и вкусной, горят зеленые настольные лампы в сумеречных читальных залах, мучаются родами любимые жены, улыбаются нарядные дамы, а здесь, среди снежного безмолвия, только толпа охраняемых штыками женщин, сестер, матерей, дочерей чьих-то, бредет добывать корм для скота, предназначенного не для своей потребы. И вот так по всей заснеженной России в этот час шагают, спотыкаясь, задыхаясь, проклиная свой подневольный и поэтому

унылый труд, тысячи и тысячи таких прямоугольников, в которых нет ни социальной, ни умственной дифференциации — все зеки. Они, вернувшись, войдут в казармы со стуком — это будет шуметь их заиндевелая одежонка. И молча и покорно будет каждый проклинать эту безысходность ненужного каждому труда. И это тоже героизм. Героизм терпения.

В Арлюке конвоиры незлобные, побегов вроде бы на женучастках не помнится, зеки сидят подолгу, знают уж, кто чем дышит. Попадались, правда, и здесь среди надзирателей садисты и дураки, которым власть над слабейшим показать сладко. Один такой свирепец толкнул однажды меня на поверке, назвал «на ты». Оторопел, когда хорошо сделанным докторальным тоном ему заявила, что не знает инструкции: «на ты» не обращаться и не дотрагиваться до нас. Я-де пожалуюсь его начальству, пусть скажет свою фамилию, а если не скажет, все равно известно, кто делал у нас поверку. Парень не просто струсил, он чуть не упал, так неожиданно встретив отпор среди запуганных арлюкских бабенок и всегда потом смотрел на меня с недоуменной злобой: кто же это я, что посмела знать их инструкцию, может, из таких, как он сам? А вообще такое вот «знание инструкции» вредило мне, выделяло из рядов, а это влекло репрессии, как в Белово, когда я потребовала прекратить работу из-за метели.

Конвоирами при походах были мобилизованные солдаты, направляемые отбывать службу в войсках НКВД (несметных, понятно). Они понимали отлично, как ненавидимы и нами, и всем населением. Иные несли службу со стиснутым сердцем и открывались в этом нам при каком-либо одиночном сопровождении. Ведь у каждого — или отец, или дядя, или брат старший, или дед… Но они-то не виноваты — служба. А за побег зека сам садись, а сроки — огромные: «на троих — сто лет!». Конвоирами бывали и сами зеки с очень малыми сроками за незначительные преступления, каковым в СССР считается хулиганство. Такие были самые противно-бдительные.

А конвоирам тоже куда как не сладко: работяге только бы дойти, а там на любой работе согреется, а им положено стоять на любом морозе. Озлобится иной: «У-у, из-за вас…» Ну как ему объяснить, что не из-за нас он страдает, а из-за тех, кто… Бывало, и падали конвоиры от мороза или летней жары. Так, если начконвоя — Человек, то позволял солдатам по очереди «подмогнуть» бабам. И-эх, работали с подмигиванием, с ощшупыванием и шшипками, и гогоканьем обоюдным. Но все это я увидела после, а сегодня бьюсь одиноко с бычком и вредоносной посудиной.

Мимо идущая немолодая, укутанная, как мы все, до глаз

женщина видит мое отчаяние и возню. Дергает узду, чмокает, нукает. Бык стоит.

— Тетечка, поматерите его, пожалуйста! — В голосе моем мольба.

— Ай сама не умешь?! — Даже по выражению ее глаз — только они и видны на обкутанном лице — чувствую, она смотрит на меня, полуоткрыв рот, как на восьмое чудо света. — Должно, с последнего этапу? — Очевидно, слух о прибывших «артисках» распространился по всему лагучастку.

— Кто же вы были? — спрашивает женщина, разумея мое бытие «за скобками». — Барелина, должно, или пели? — В голосе ее полное сочувствие, слово «балерина» произнесено не ехидно, а уважительно. Обычно же такая профессия среди простых душ лагеря считается вершиной житейской изысканности, и бабы, ругаясь, порою кричат друг другу: «Подумаешь, барелина какая!»

В «Круге первом» меня особо оцарапал такой же вопрос конвоира к арестованному дипломату: «Кто вы были?», оцарапал именно потому, что сама порою выслушивала его в той же форме прошедшей, будто я находилась уже «во гробех». Задавали в лоб такие вопросы редко, только новички, отвечали на них неохотно, сколько-нибудь бывалый лагерник сразу на взгляд понимал «кто есть кто». И сама я сестрою на комиссовании этапов сразу без опроса выделяла в толпе «себе подобных».

Кто я, обращенная в образ «чувырлы», была в образе человеческом, объясняю женщине, уже без стеснения умываясь слезами и соплями (под носом долго держались две промороженные дорожки), постукивая челюстями о каменно залубеневшие возле рта края платка.

По дремучей своей темноте мое вольное амплуа женщина не уясняет, о том, что есть наука история, знает смутно. Понимает только, что я «хорошо грамотная», что из золотой коробочки Москвы, в лагерях была сестрою — это для нее весьма высокое и почитаемое понятное звание — и «представляла на сцене». Она совершенно не знает, что такое драматический артист, в ее жизненном опыте артисты танцевали, пели, фокусы показывали, а «пьески» — это «самодеятельность». Дома она не слыхала о театре, а в Арлюке не бывает даже кино.

В некотором смысле для массы деревенских сибиряков того времени благоустроенные лагери служили просто школой элементарной цивилизации и культуры. Тут они, общаясь с людьми разных профилей, узнавали многое. Иные впервые спали на простынях. Знала я человека, настолько темного, что, попав в заключение впервые «за шпионаж в пользу Канады», он был уверен, что Канада — это какая-то царица в Америке. В лагерях

понял, что к чему. Позже, оказавшись в плену, стал власовцем, получив вполне «европейское образование». Отбывая снова за это срок одновременно со мною, производил впечатление человека достаточно просвещенного.

На гастролях нашего театра по лагучасткам области приходилось встречать и бывших столичных театралов, кто плакал, увидев после долгих лет профессионально сделанный спектакль, и таких, которые познавали театр впервые. Это были самые лучшие зрители. Однажды у нас такие неискушенные чуть не убили брошенным на сцену кирпичом Вурма в «Коварстве и любви», полагая, что он настоящий злодей. Роли злодеев называли «плохими ролями» даже при их чудесном исполнении, негодовали, зачем артистам, нравящимся им как люди — в их числе была и я, скажу без скромности — дают «такие плохие роли». Но о лагерном театре будет глава особая.

Подошедшая женщина проникается ко мне таким решпектом и сочувствием, что с тою самой нужной бранью накидывается на Митьку, берет у меня узду и отправляется со мной добровольно во все остальные рейсы, позволяя мне только помогать ей.

Вдвоем работа идет споро, придумываем мы еще одну заманку для упрямца. Заметила я, как охотно он, оборачивая свою неуклюжую голову, слизывал у меня с лица пот, слезы и извергаемое носом, просто тянулся к лицу. Я догадываюсь: соли бы ему!

Это не дефицит. Женщина приносит соль в горстке, приманиваемый нашими солевыми ладонями, он идет совсем хорошо.

Работает моя нечаянная подруга уверенно, сурово, сильно, расправляется с водою не обережно, как я, а широкими взмахами ловких рук. На морозе разговаривать трудно, но коротко рассказывает о себе. Сказывается вдовой-солдаткой, привычной к воде рыбачкой из какой-то крохотной притомской деревни, из которой все свои сорок лет сроду не выезжала. Посажена «на десятку», за то, что «стиматически» (систематически) воровала в совхозе зерно голодным детям. Слово «систематически» она произносит с особо сокрушенными интонациями, видно, незнакомое прежде, оно ее особенно устыдило в приговоре. Детей теперь от бабушки забрали в детдома, вестей о них она не имеет и истлевает душою.

Томь в их местах красивая, ее мать помнит времена, когда в плавно идущей реке водились русалки. Нет, нет, я не должна в их существовании сомневаться, потому что «мама их сама видела». И еще ее мать умела «заговаривать» боль и кровь. Я с нею не спорю, даже не улыбаюсь: вот такая, как она есть, эта женщина — моя

Россия.

Из стационара-больнички к нам выбегает сестра или санитарка, у них кончилась вода, которую запасать должны сами санитарки. Так не привезем ли мы и для них бочечку? «Все равно ведь, возите!» — «Ну, что ж! — говорит, посмотрев на меня, женщина, — все равно ведь возим!»

По дороге в больничку бочка сваливается полная водою. Пришлось на обочине пережидать, пока не замерзнет озеро пролитой воды: валенки! Митькины копыта в озеро чуть не вмерзли, да он, замотав головою и замычав, — умница — переехал на сухое место. А мы, не утратив мужества, набрали другую бочку и щедро одарили водою сестричек. Высыпали из домика перецеживать ее санитарки и сестры, чистенькие, веселые, добрые от сухого тепла. Вышла и какая-то важная, очевидно старшая сестра, быть может, на меня посмотреть, возможную конкурентку, — слухи-то о нас и сюда вмиг дошли — и назвала меня «сестрицей».

Нам выносят по горячей мягкой крупной котлете. Я не то что не ела, не видела их, пожалуй, с начала войны. И мы тут же на морозе съедаем с женщиной подаренное, бережно подставив под редкостное лакомство ладонь, чтоб ни крошечки не упало. Такой жест делают верующие, когда им дают «святость». И могла ли бабушка моя, учившая меня подставлять ладонь под просфору, предвидеть, что это движение я повторю среди заснеженной своей тюрьмы!

Нас приглашают зайти еще за мясным (!) супом в обеденное время, дадут мне аспирину, а женщине хорошего лекарства от кашля! Мне дарят какие-то немыслимо грязные, но прочные рукавицы, на смену моим собственным, промокших. Я отдаю рукавицы помощнице, и этому подарку она радуется более всего: она дневальная какого-то барака, а дневальных «не одевают», со мною она работала в чужой одежде.

Я хорошо понимаю, что без моей добровольной помощницы я сегодня пропала бы. Когда мы привозим в кухню последнюю бочку, она ловко и быстро выпрягает обморочно обмерзшего Митьку и отводит его куда-то. А я прошу кухонный персонал покормить не меня, а эту женщину. По благодарной радости ее понимаю еще, что она и не рассчитывала на это, когда впрягалась в мою неудалую работу, никак, никак мне не «шестерила», не успев еще постигнуть этого лагерного искусства. Я отдаю ей свой последний рубль, щедро отсыпаю махорки — тоже лагерная «валюта» для обмена на пищу — и предлагаю завтра зайти ко мне в барак, где я отдам ей свою хлебную пайку, ибо сегодняшняя мною уже начата.

Эти мои широкие, прямо королевские по лагерным масштабам подарки производят на кухонный персонал впечатление огромное. Слыша мои слова, все притаивают дыхание на кухне, где мы отогреваемся. Такая щедрость навсегда закрепляет уважение к моей персоне (вместе с мнением: «проста!»). Кто отказывается от еды, тот ее имеет, а кто имеет еду — должен быть уважаем. Это устойчивая лагерная мораль.

Она за обещанной пайкой на другой день не зашла, меня совсем голодной не оставила, посчитав неожиданные дары сего дня избыточными за услугу, эта добрая, темная, простая как трава, русская сибирячка. В толпе раскутанных заключенных я ее потом не опознала. Имя ее забыла, как забыла, окаянно имена многих и многих простых людей, кто помог мне уцелеть в самые сумрачные дни заключения. Кто пособлял нести вещи на этапах, совал мне морковку или свеколку в горчайшие дни голода, выискивал в голове вшей. Кто спасал на тяжелых каторжных непосильных работах, позволяя «кантоваться», кто связывал мне чулки из настриженной от починочного лоскута шерсти, сквозь пальцы смотрел на нарушения мною режима, вступался за меня, сдерживал при мне привычку к срамным словам, предупреждал о грядущих неприятностях, кто даже безмолвно мне сочувствовал… «метелил» из-за меня бригадиршу, исхлопотавшую мне кондей в Белово…

В последующие недели я выходила с бригадой в уныло безрадостные поля то за картофельной ботвой для топки печей, то в многокилометровые походы «по сено», то в сырые громадные погреба на переборку картошки. И ничто не было тяжелее, чем в тот лютый денек борьба моя с оледенелой бочкой и престарелым бычком, которого я так и не успела испугаться.

Обвыкнув на лагучастке, я время от времени справлялась о Митьке. К весне он пал. При перевозке навоза рухнул среди зловонных куч и подняться не смог, мой четвероногий однодневный товарищ. Самому умереть быку не позволили, он считался бы падалью. Из кухни прибежал мужик, быть может, тот самый косолапый мужичонко с топором, что и мне помогал, и прикончил измученное животное. И мы все его съели, радуясь мясу.

3. Пасха в Арлюке

Скоро Пасха. Расконвойка потихоньку торгует мукой, дрожжами, яйцами. Яйца можно будет сварить потаенно за землянками на маленьких костерках из сухого навоза и покрасить луковой шелухой, водицей из линючих лоскутиков, сделать из них нарядные художественные писанки. Художницы, извлекши содержимое для еды, уже мастерят из хрупких скорлупок головки маркиз с локонами чесаного шелка или пакли, Д'Артаньянов, в широкополых шляпах со «страусовыми» перьями от куриц, бриганов в красных косынках с ножом из иголки в хищно оскаленных зубах, литературных героев и даже портреты писателей. Особенно удачно получается Гоголь. Изделия эти дарят друзьям или продают за «бешеные деньги» (по лагерному курсу), меняют на махорку и хлебные пайки — главную лагерную валюту.

Доярки по капелькам таскают в бараки для старушек и подруг масло, продукт самый дефицитный, о котором в будние дни даже не вспоминают, а «беспосылочные» и вкус помнят неясно.

Все это тайно будет испечено в русской печи, которая есть в недействующей всю зиму бане (топлива нет), конечно, за мзду натурой банщице… Здесь, в Арлюке, я понимаю, как важно обжиться на одном месте, в одном лагере, за десятки лет: все можно организовать знакомствами и дружескими связями.

Это первый лагерь, где я вижу: люди готовятся к Пасхе как к Великому дню, потому что здесь много западниц-бендеровок и старушек, сидящих «за веру». Бендеровки к «Пасхе» готовятся особенно яро, живут они в особых от нас землянках и очень спаяны. Но и в нашей казарме для 58 статьи немалая суета.

— Погодите, мы еще устроим богослужение! — говорит генерал-басом симпатичная костистая старуха Шаховская. В самодеятельных спектаклях она первая заводила и в жензоне обычно исполняет мужские роли. Начинаются спевки.

Целостного обряда пасхального богослужения никто не знает. Припоминаются и поются всякие молитвы. Вовлекаются все, кто помнит слова и напевы. Даже Валя-партизанка вдруг припоминает какой-то молитвенный мотив: от бабушки слышала, застенчиво объясняет она свою церковную, такую неожиданную у нее, эрудицию. Поющим помогают все. Я тоже.

Однако, многие старушки, из тех, кто ночами читает под нарами при свете собственных коптилочек, не принимают участия во всей этой суете, из чего можно заключить, что они настоящие

«политические», может быть бывшие эсерки, меньшевички или затравленные старые большевички. Я еще не успела узнать всех своих сожительниц по землянке: зимою каждый «прижухнул» в своем углу.

Шаховская дирижирует хором: «Отче наш», «Богородице-дево», «Царю небесный» знают почти все. Куски каких-то особенно красивых молитв — полностью они позабыты. Конечно, «Христос Воскресе». Все это поется кое-как, вразброд, кто даже подвывает по-бабьи, но все равно получается умилительно.

Вика с постоянно растрепанным своим видом вдохновенно украшает художественной росписью пасхальные яйца. Ей приносят, кто лоскуток, кто проволочку, кто «волосы» или краски. В Страстную субботу, (ровно год назад мы с Викой уходили из Анжерки) всем объявляют, что завтра, в воскресенье Пасхи, для рабочих бригад и для всего населения зоны выходного дня не будет, с утра уборка территории от снега, навоза и оттаивающих экскрементов. Выходной для зеков, как день свободный от унылого каторжного труда, вообще драгоценен, а тут… Все в унынии.

Однако после отбоя, когда надзор, сделав поверку, удаляется, к ночи в восточном углу нашей огромной, человек на двести, казармы составляют вместе все столы, накрывают их заранее запасенными чистыми простынями, на белом раскладывают сдобные булочки, здесь испеченные и присланные из дому счастливчикам. Рядами кладут иконки, вышитые крестиком на тряпочках. («Предметы культа», даже нательные кресты, не разрешались, а такие нетрудно было притаить среди бабьих тряпочек). Стол украшают самыми изысканно изготовленными пасхальными яйцами-писанками. Я кладу подаренного мне Викой Гоголя. Крестики, в большинстве самодельные, погружают в стаканы с прозрачной кипяченой водою. Я достаю крестик-распятие, сделанный для меня в Киселевке литовским художником из ручки от зубной щетки. Прикрепляют свечи, и присланные в посылках (в лагерях без электросвета это разрешалось), и где-то раздобытые настоящие церковные-восковые. Ставят букетики еще не распустившихся вербочек. Евангелия нет ни у кого и достать не смогли. Были у кого-то отдельные листки, да затерялись при лагерных шмонах или блатные стащили на самокрутки.

Приодевшись почище, собираемся вокруг принаряженного всем этим редкостным богатством стола, И в полумраке барачных коптилок немолодая одесская учительница истории, сидящая «за оккупацию», начинает, вместо чтения Евангелия, рассказ о жизни Христа.

В белой блузочке, тщательно разутюженной разогретым обрубком рельса, составлявшим сокровище нашего барака — ни в одном не было утюга (это при женском-то лагере и обилии вшей), положив по-учительски кисти обеих рук на край стола, она начинает: «Уже две тысячи лет…»

Говорит она, как историк, обрисовав политическую обстановку Римской империи, не вдаваясь, однако, в детали вопроса, как возник сам миф о Христе, что обязательно сделал бы лектор-безбожник. Только маленький «реверанс» в их сторону: был ли Он, и что такое евангельские записи о Нем — легенды или факты. Она долго и обстоятельно говорит о великом этическом значении Христова учения для всего человечества.

Особенно внимательно слушают ее урки — блатные девчата, впервые узнающие все это, и, я чувствую, говорит она, главным образом для них. После исторической преамбулы добросовестно, этап за этапом, передает советская учительница — быть может тоже впервые — евангельские эпизоды Его жизни, казни и воскресения. Язык у нее богатый, образный, хотя и говорит она просто, слушать все это, знакомое, в эту ночь сладостно. Давно я не слушала хороших ораторов.

В перерывах ее «лекции» хор поет молитвы, какие знает. Чаще, конечно звучит «Отче наш». Блатные подтягивают тоже. Кто-то из бывших монашек декламирует какой-то канон, кто-то соло исполняет красивую молитву.

Когда рассказ приближается к эпизодам Великого Искупления после предательства Иуды и отречения Петра, Шаховская, жестом остановив «оратора», произносит басом: «Сейчас каждый, кто верует, пусть про себя перечислит свои грехи и покается перед собою и Богом». Молчание. Секунда, — и слышатся рыдания, то негромкие и сдерживаемые, то отчаянные, как вой. Валя-партизанка, свесившая с нар голову, тоже беззвучно шевелит губами и плачет. И вдруг явственно слышны всхлипы и под нарами, где живут старые материалистки, не принявшие участия ни в предпасхальных хлопотах, ни молении. Блатные, бледные от волнения, молиться не умеют, но как одна, шепчут побелевшими губами: «Господи, прости! Прости, Господи!».

Однако кликушества никакого во всем этом нет, просто суеверно каждая жаждет в этот миг снять с души налипшее на ней зло. Никто из неверующих не улыбается, не фыркает, не иронизирует, все будто притаили дыхание: приближается миг Великого Искупления. В это время в дверях барака показываются дежурные по ночной зоне надзиратели, сняв фуражки(!), пошептавшись с дневальной, удаляются молча, не вмешиваясь в безусловно не разрешенное в лагерях действо.

Учительница, посмотрев на раздобытые и в те годы запрещенные в лагерях часы, (позднее узнала: их «купили» на эту ночь у вольного надзирателя) к 12 часам заканчивает эпизод Воскресения: испуг Магдалины при виде отверстой гробницы, встречу с «садовником» и вопль узнания: «Равви!»

Зажигают все свечи. Хор запевает «Христос Воскресе». В восточной половине барака становится тесно. Снова рыдания. Плачу и я. Поднимают матерчатые иконки, идут вокруг стола, брызгая водою из стаканов, где лежали крестики, на булочки, яйца, на углы барака, на лежащих на нарах неверующих, — никто не спит — и каждая из них побывала среди молящихся. Урки, толкаясь незлобно, суеверно подставляют под эти брызги головы, плечи и почему-то руки, как наиболее нагрешившие что ли. Плачут почти все. А хор все поет «Христос Воскресе…»

Далее по предварительному, вероятно, соглашению со стола снимают все наше, и его окружают бендеровки из других бараков, раскладывающие что-то, принесенное с собою! Они униатки.

Я ушла в свою западную сторону землянки и ничего не вижу, зато слышу, читают по-настоящему чьему-то Евангелию (а может быть наизусть знают текст), поют по-латыни, поют «смертью на смерть наступи» — униатки, старообрядки — все, видно, сошлись в один наш барак, может быть с ведома дежурного начальства, может быть сами по себе. Западные украинки поют молитвы разные, поют стройно, согласно, церковно. Солируют по хорам. Они еще не позабыли, не растеряли канонов своих богослужений, как мы, «советские». И под это прекрасное пение я, сморенная дневною работой, засыпаю: ведь завтра праздника нет, вставать на грязную работу нужно рано!

Сквозь неверный сон доносится, лаская душу и слух, «Христос Воскресе», канон краткий, глубоко философский, полный задушевной поэзии детства, исполненный для меня тоскою о всей страдающей России и о маме моей. Приоткроешь дремлющие глаза — на другом конце землянки мерцают пахнущие горячим воском свечи, светом и теплом озаряют лица поющих, на душе у которых «Пасха, Господня! Пасха!». Кто-то возжег крошку ладана (потом узнала, в посылке бендеровке в крупе прислали). Аромат по всему бараку. Звенят голоса молодых бендеровок (их в лагерях больше, чем старых), и все девчата истовые, нарядные, в белоснежных расшитых сорочках. С Пасхой в душе впадаю в дрему и снова просыпаюсь при новом всплеске ликующего пения. Говорили, служба инаковерующих продолжалась до самого утреннего подъема.

После утренней поверки умываемся без обычной толкотни и брани. Даже постоянно кудлатые девки причесываются,

одалживая друг у друга гребни. И я свою расческу безропотно протягиваю просящей, хотя ее волосы унизаны жемчужными поднизями гнид.

Аборигены, христосуясь, угощают нас крохотными «свяченьими» кусочками сдобы. Вика выдает нам с Надей по крашеному яйцу, и мы отправляемся на воскресник. Во время этой особо грязной и трудной очистной работы, когда мы все стоим по щиколотку в обтаявшей навозной жиже, смешанной с расползающимся снегом, я не услышала в то утро ни одного бранного слова, никто не ссорился, как обычно на работе.

В час дня воскресник закончен. В землянке нас, пахнущих нечистотами, животными и человеческими, встречает расстроенная Вика — ее, как инвалида, от уборки избавили. Она имела неосторожность свои художественные изделия из яиц разложить по краю нар для всеобщего обозрения. Надзиратели, поминутно входившие в почти пустые бараки будто бы по делу, выпрашивали у нее для своих детей «яичко крашено». Один даже выклянчивал для дочки артистически сделанную Викой куклу, которой она для праздника украсила свое убогое прибежище на нарах. Едва отговорилась тем, что куклу заказал начальник более высокий. «Да вы ему другую…» — приставал нахал. Позднее Вика на таких заказах-поделках сделала себе в Арлюке «карьеру».

— Бог подасть! — кричали с нар тетки надзирателям, собиравшим пасхальную дань с заключенных. В других бараках эти баскаки были еще наглей, угрожали даже. Да и как не дать, когда «оно — начальство». Только одна бендеровка ухнула свой драгоценный десяток «крашенок» о пол: «Берите!».

Подобные «богослужения» бывали не ежегодно, так что мне посчастливилось в Арлюке участвовать и в такой религиозной «самодеятельности».

Позднее, уже во время разъездов с театром по участкам Сиблага, на летних гастролях, снова видела я вышитые иконки в изголовьях нар и коек, но особенно поразило меня зрелище такое. На закате солнца внутри зоны, на бугорке, откуда видна была даль, собралась толпа что-то поющих и читающих женщин. Может быть это была суббота, может быть так делали ежевечерне: повернувшись лицами к востоку, они молились «соборно», читали молитвы, становились на колени, как в церкви, крестились. Их никто не прогонял, не смеялся над ними. Это была лагерная «церковная служба». Самодеятельная. Алтарем служили видные с пригорка поверх ограды русские сибирские просторы.

Монашки ли все они были, просто ли верующие, но поразилась я тогда силе веры, которая церковь свою, свое «соборное» моление, принесла с собою в тюрьму, в застенок.

И еще была свидетелем силы веры у магометан.

В последние недели перед своим освобождением, в период «бериевской амнистии», которая на нас, «политических», не распространялась (я освобождалась летом в том году по окончанию данного мне срока), я жила в пересыльном лагере Маргоспиталя и работала несколько недель снова сестрою. Прибыл огромный этап курдов. Они были во время войны высланы из Закавказья, поселены где-то за Уралом и бежали массами с места высылки, за что получали по 25 лет каторжных работ. По амнистии каторжные сроки «за побег» с них сняли и теперь везли этапами на места их первоначальной высылки. Собою эти курды представляли орды дико выглядевших людей, как цыгане оборванных, грязных и кудлатых, галдящих, шумных, мрачных. Были и семейные с голопузыми детьми. И тут я пережила страшно интересное, личное.

Среди них почти не было говорящих по-русски. Но они — все до одного — сразу же заговорили со мною по-курдски. Почему? — спросила я у переводчиков. Обычно в Сибири меня по моей «восточной» внешности принимали за еврейку (и не будучи ею, я много неприятностей испытала от антисемитов. Только казаки понимали, что еврейкой я быть не могу). Но из курдов никто еврейкой меня не посчитал. Курдинка — и все! Национальное, прабабкино, было во мне безошибочно угадано этими «дикарями». Удивленная, я объяснила, что, действительно, курдинская кровь во мне есть и вправду. От пробабушки, пленной курдинки.

— Врешь ты все, — отвечали мне владеющие русским языком. — Ты курдинка! Только ты работаешь в НКВД и притворяешься, что нашего языка не знаешь, чтобы слушать, что мы говорим, и передавать в НКВД! — И никак я не могла никого из них убедить, что я не курдинка, а русская.

Но, пользуясь тем, что я кровь свою не позабыла, многие приходили ко мне в санчасть за марлей, хоть за крохотным кусочком чистой ткани, чтобы служила мужчинам хотя бы символическим ковриком для намаза. Марлю я раздавала щедро, как курдинка курдам.

И вот случилось, что время отправления от нас этого огромного этапа совпало минута в минуту со временем намаза на закате. Выстроили курдов перед вахтой, чтобы выводить их на железнодорожную станцию, следовать дальше, куда нужно, но мужчины начали становиться на колени перед белоснежными марлевыми клочочками и творить намаз. Часовые, опаздывая к поезду, били их прикладами, орали, сбежалось все начальство, но курды — иные были уже в крови от побоев — продолжали

молиться, по ритуалу. Умный начальник, чтобы прекратить побоище, сумел задержать этап, и его перенесли на время, когда намаз был окончен.

Однако, в лагерях замечала я не однажды, что наиболее фанатичные церковники и начетчики, среди «пострадавших за веру», далеко не все представляли собою образцы человеческой добродетели: бывали алчны, никому ничего не уступали, не помогали, вечно ссорились с соседями и друг с другом, жили разобщенно и спекулировали хлебными пайками. Лучшими по нравственности были бендеровки. В столкновении с нашими мужчинами их очень целомудренные девушки всегда повторяли: «Дружиты будемо, а спаты — ни». — Веровали искренне, как дышали. Да еще русские крестьянские женщины с их бесхитростной «детской» верой, с убеждением, что они — грешницы великие, что Бог послал им испытание, но простит. Их конкретно выражаемая доброта, бескорыстие и человечность были безусловно выше ханжеского высокомерия городских «профессионалов от религии». Многие напоминали мне Платона Каратаева.

А импровизированное наивное «самодеятельное» пасхальное богослужение в Арлюкском женском лагере, так же как церковное соборное моление на бугре перед алтарем природы, самодельные иконки на лоскутках — не забуду вовек, как самую высокую ступень самоочищения. Все это было так искренне, чисто и прекрасно, как сама уже агонизирующая душа моего несчастного народа, инстинктивно ищущая спасения и очищения от горючего зла, затопившего Землю.

4. Неправдоподобный начальник

— Ну, что же мы, Борисовна, будем с вами делать? А? — Так спрашивает меня начальник 3-й части (следственного отдела и своеобразной политчасти в лагерях) — так называемый «третьяк», молодой офицер с приятными манерами и (о, чудеса!) совершенно интеллигентным обликом и речью.

К «третьяку» только что позвали меня из барака, и я, поплелась, недоумевая: зачем?! Вызов к «третьяку» всегда неприятен: это либо донос на тебя, либо преследствие, как у моего мужа, что грозит мне новой «полной катушкой» — двадцатью пятью годами вместо прежней семерки. Или…, а вдруг… сексотство предложит?.. Я все обдумываю по пути…

Ранняя, ранняя весна. Обтаивает зона. Ноги проваливаются в размытые сугробы, я вхожу в кабинет с совершенно мокрыми ступнями. Сажусь по приглашению, после его вопроса, вероятно,

бледнею, потому что торопливо и мягко добавляет: «Не пугайтесь, Евгения Борисовна!»

Евгения Борисовна! Так даже самые славные «начальнички» меня не называли — не положено! В лучшем случае, с глазу на глаз, «Борисовна» или сестра, но обычно по фамилии, без прилагательных. Это человеческое обращение совсем выбивает меня из колеи: «Ох, будет вербовать в сексоты!» |

— Я вот почему Вас пригласил, — продолжает офицер. — Мы, в частности я, намеревались вас надолго задержать в Арлюке, у нас, видите ли, самодеятельность развалилась. Посмотрел я ваши документы — самый подходящий руководитель. У нас, знаете, даже «Бесприданницу» ставили, и неплохо, знаете, да вот… как-то все разъехалось. А балагана не хочется. Я сейчас совмещаю должность начальника культчасти…» — В последующем разговоре узнаю, что он ленинградец, был студентом театрального училища. Пока говорит, отмечаю речь правильную, мальчик явно из хорошей семьи, так удивительно не похож на лагерных офицеров-«пущаев». После майора Киселева это второй интеллигентный офицер НКВД, которого вижу.

Мысль, что мне придется налаживать самодеятельность в этой «Пропащей пади», где нет даже электричества, с капризными бабами-офицершами — мне ужасна. Я пробовала здесь поставить для лагерного смотра какую-то жалкую пьеску из «Затейника», ничего не получилось: «любители» важничали, дисциплины никакой, мужчин играли басовитые старухи, например, кн. Шаховская — единственный этому делу подлинный энтузиаст. Пьес в убожайшей лагерной библиотеке нет. Недавно из старых «номеров» сколотили концертик и меня настойчиво пригласили посмотреть. Выявилось лишь одно дарование — моя бригадирша. Остальное — низкопробная халтура под гитару, безвкусицы. Повезли концертик на смотр. Там тоже балаган, главным номером которого был прыжок на сцену с потолка престарелого любителя, таким кульбитом он начал гопак. Боже!

— Организатор я никакой, видите ли, гражданин начальник… — начинаю я неуверенно первые фразы своего неприятия новой работы. — Музыкальную часть не сумею… И нужно ли тут общее художественное руководство… — Бормочу и думаю: «Что ж я делаю! Надо соглашаться. На дворе весна, рабочая пора, замучусь на общих…»

К этому времени положение киселевских «артисок» сложилось так: Нину, как туберкулезницу (предыдущая связь с врачом, создавшим документацию), отправили в Боим — лагерь санаторного типа. Леночку старые друзья устроили на центральный участок в бухгалтерию, Соню назначили дояркой,

она восторженно возилась с коровами, как и дома ей случалось, и тайком носила нам с Викой молоко. Вика-воробей в качестве инвалида обитала «на нарах» и делала куклы для надзирательских детей. Я же состояла в рабочей бригаде — первая категория труда, данная мне в Анжерке доктором-убийцей, пришла за мной и сюда (в Киселевке не успели переменить, исправить). Порою меня освобождали то для пресловутой самодеятельности, то для библиотеки, состоящей из 10 книжечек. Но наступала рабочая пора сельхозлагеря. Нас уже заставляли чистить снега, высотою с многоэтажный дом. Соображаю: за зону меня настойчиво не гоняли, так как берегли для организации и руководства самодеятельностью, как я понимаю, сидя перед начальником.

За зону ходить зимою было столь тягостно, что прелестная Леночка Евтушенко вымолила себе работу в зоне — ассенизаторство. Ходили слухи: вот-вот слабосилку бросят «на навоз».

Уже не раз сгоняли всех на переборку картошки в расположенные рядом погреба. Здесь помогли мне новые мои друзья. Это очень тяжело — таскать каптошку из погребов в ящиках-носилках, как все в лагере, — бегом. На переборке сидят самые ветхие, даже слепая урка-студентка пальцами учуивает ростки и обламывает.

Вынесла я «на гора» два ящика из подвала, задохнулась, невыносимо заболели больные плечи. Бежит бригадирша: «Девки, кто на весах работать умеет?» — молчат. Она ко мне: «Идите работать учетчиком». Не имею понятия, как взвешивают на весах-платформе, но покорная лагерному закону — не отказываться от лучшего, подымаюсь. «А ну!» И в голосе моем — наглость.

Скосив глаза на других учетчиц, вижу их записи веса ящиков: 27, 30, 40 кг. Выше сорока записей мало. Начинаю у своих весов слепо гонять гирьку по горизонтальному стержню и на листе пишу наугад: 27, 30, иногда 40 и в пределах этих чисел. Едва успеваю гонять наугад цилиндрическую гирьку, подносят ящики часто, один за другим. Все — в беге.

— Евгения Борисовна! У вас же нет гирь! Положите же гири! — шепчет мне, отирая пот, Леночка Евтушенко. Оказывается, сбоку есть вертикальный стержень, на него надевают килограммовые гири, а по горизонтали двигают гирьку в пределах 10 кг. Все это на бегу показывает мне Леночка, красная от натуги. Потом снова таскает ящики, задыхаясь и спотыкаясь.

Как пользоваться весами я узнала теперь, но ящики носят так часто, что доточно взвешивать не успеть, записываю все равно «на

глазок». Такая работа называется «туфта». Я думаю, почему же Леночка, умея обращаться с весами, не вызвалась в учетчики?

Леночка удивительно добросовестна. Что такое туфта, она еще не знает. Такой же была в лагерях и я вначале. Фундаменты складывала по инструкции, правильно сажала растения. Теперь, после жуткого опыта Анжерки, я другая.

Леночка — дочь эмигранта из Шанхая. Свое заключение она пока принимает как подвиг. Подвиг во имя чего? Родины, на которую она после войны вернулась добровольно и без всякой вины была с мужем посажена. Пока у нее принцип: «Мне то же, что и моему народу!» Никаких «антисоветских» разговоров она не ведет, оправдывает многое, воззрения ее гуманны. Однажды она упрекнула меня в неуважении к окружающим людям и заставила меня задуматься и понять, как я внутренне изменилась.

В перерыве подзываю бригадиршу: «Я пойду таскать. Поставь на мое место Лену. Она тоже слабосилка и весы знает». — «Так я же Вас на ее место и поставила. Уж больно долго она копается с расчетом веса. Ящики рассматривает. Они у нас двух стандартных весов, надо вычитать средний и все.

— Эге! — думаю я, — значит, надо еще и вычитать! Значит, я сразу же работаю по законам туфты. Продолжаю с деловым видом гонять гирьку, пишу, что попало, девчатам приятным ставлю высший вес. Леночкиной паре — самый высший. На лету шепчу Леночке: «Ах, Леночка! Когда же вы научитесь туфтить!». Она смотрит на меня осуждающе: на ее родине строится социализм. При такой оказии туфтить преступно!

Все это пробегает в моей памяти, пока я «кобенюсь»— перед начальником, но в области искусства — помилуйте! — я тоже не хочу «туфтить». А офицер, доброжелательно глядя на меня, продолжает своим интеллигентным, голосом:

— Очень хорошо бы оставить Вас в Арлюке. Хорошая самодеятельность — знаете, какая отрада в безотрадной жизни зеков! Но и вас… жаль: очень уж в Арлюке условия жизни ужасные… Вот и думаю я, как вас устроить! Как спасти?.. От всего этого, как спасти?

— Что он притворяется, играет в «доброго дядю»? Может быть, это предисловие, чтобы предложить мне сексотство, завербовать повернее? Неужели это хитрость? Жаль. Он совсем интеллигентен… — и в наступившем молчании у меня вдруг вырывается хриплый шепот: «Как Вы сюда попали, гражданин начальник?» — Я холодею от такой «Достоевской» ситуации. Однажды такая ситуация уже была в разговоре с «вольным» лагерным собаководом, пришедшим в нашу амбулаторию что-то полечить. Слушая его восторженный рассказ об уме какой-то

собаки, я заметила что-то вроде, можно ли любить собаку, дрессированную для преследования людей. Парень посмотрел на меня с удивительно задумчивой серьезностью: «Собаки не виноваты…» Но то была короткая реплика, а тут шел разговор на «равных».

Позднее узнала я, что многие наши начальники были, действительно, с нами «на равных». Это были или вовсе уж ни в чем не виноватые «окруженцы», неудавшиеся разведчики, вроде моего мужа, или вообще чем-то провинившиеся перед каменным твердолобием советско-фашистской системы. Обстановка тех лет, когда каждый был «сам у себя под стражей» (вплоть до самого Сталина), в их примере реализовалась особенно четко. Такие офицеры, начальники санчастей с нами были особенно осторожны, но, безусловно, понимали тех, кому «повезло» меньше, чем им. В дальневосточных лагерях, по рассказам мужа, простые надзиратели грубили таким офицерам, злобно и публично обзывали их «власовцами», если проникали в тайну. И те вынуждены были «глотать» обиду.

— Разными путями попадаем мы в Арлюки, — отвечает мне с горечью невероятный этот, неправдоподобный офицер НКВД, разминая очередную папиросу и, повернувшись лицом к окну, а ко мне спиной, говорит: «А ведь я вас видал. В двух спектаклях в Киселевке. Девочка-негритянка… Вы-то меня не запомнили — мы ведь для вас поди все на одно лицо… — Пристукнув портсигаром, он заканчивает разговор.

— Вот что. Скоро приедет сюда комиссия с генералом во главе. Вы конечно знаете, что в Сиблаге, на участке Маргоспиталя, есть стационарный профессиональный театр из заключенных артистов. На всю округу известная наша «театральная шарашка…»

О профессиональном театре Сиблага мы, артистки киселевского «погорелого театра», конечно знали, оттуда в систему ИТК попал и наш Иван Адамович. Но в Арлюк на гастроли тот театр не приезжал: далеко, и нет условий. Тот театр казался нам недоступен, как и театр Радлова, подвизающийся, по слухам, на Волго-Доне.

Театр Радлова попал в заключение всей труппой, как репатриированный. В оккупацию он застрял в Пятигорске, еврейский состав потерял: то ли убили, то ли эвакуировать успели. Оставшуюся труппу немцы вывезли в Германию, потом прямым ходом их репатриировали в заключение куда-то на Волгу. О таких «настоящих» театрах мы и помышлять не смели, тоскуя о своем, «погорелом», стоившем нам стольких жертв, переживаний, волнений. Мы теперь только добром поминаем сердитого,

несправедливого, надменного, наглого и талантливого И. А. Пьяницу, деликатного ворюгу, лагерного волка, давшего нам сладость творческой работы.

— По большому секрету: — продолжает неправдоподобный начальник, — театр Сиблага тоже разваливается: оттуда идет этапирование зеков с тяжелыми статьями в лагери особого режима. А у них — большинство таких. Артистов начинает не хватать. Обратимся-ка мы с вами к генералу! Подайте заявление через нашу КВЧ в тот Театр. Я генералу суну готовую бумажку… Там электричество. Евгения Борисовна, настоящая сцена…, режиссура… Стоит попробовать. Только этот разговор наш строго между нами. Я уверен, вы умеете молчать.

Памятуя свою первую просьбу к генералу Шамарину об отправке меня в Яю и его злорадный ответ — «В Черту», я справляюсь, не Шамарин ли сюда ожидается и, узнав, что не он, такое заявление подаю. В удачу почти не верю, но молчу: ни Вике, ни Соне! Может быть, это немного и подло, но… Неужели я снова выберусь из этих разваливающихся землянок, уйду от ернических песен, от гнилых старушек, от идиотизма деревенской жизни?! Не может быть!

Заявление я составляю дипломатически. Я называю столичные театры, где училась (вернее, посещала студии). Но я говорю не о студиях, а нагло пишу «работала», осторожно не называя себя, однако, профессиональной актрисой, хотя перечисляю свои острохарактерные роли.

И вот приезжает комиссия во главе с генералом. Накануне коллективными усилиями бараки чисто-начисто выскребли, насколько можно вычистить землянку. Топили прожарку, «чтобы ни одна вошка…» Все это мало украсило нашу полутемную, унылую подземную казарму с двухэтажными общими нарами.

В момент наивысшего напряжения в ожидании сиятельного начальства, когда вылощенные надзиратели вытянулись у входа, дневальные в трепете выпучили глаза: «идут! идут!», в нашей землянке с шумом и гулом обрушивается размытый таянием снега потолок. Обвал очень удачный: посредине строения, так что нары наши почти не засыпало землею. В дыру просвечивается небо. Перепуганные дневальные и надзиратели кидаются на крышу заделывать дыру, убирают землю. Женщины, волнуясь, что во время грядущих дождей будет течь, подхватив постели, перебираются в углы подальше от провала. Я припоминаю рассказы Щербакова, как в таких вот землянках Сиблага он постоянно прилаживал над постелью желоб, чтобы капель стекала на пол, а не на голову. И так было годами…

Сейчас гомон, визг. И в этот самый миг в землянку со звоном

и помпой спускается генерал в лампасах и при золоте разных нашивок. Вся комиссия недоуменно застывает у входа.

— Что за суета?! — бешено вскрикивает начлага. Ему докладывают. Мы все выстраиваемся вдоль нар и нам, как никогда, весело: ихний генерал сам увидел, как мы живем. Вот удача!

Среди лагерного начальства душевный переполох, перед генералом осрамились, хотя и не виноваты. Начлаг увял, все расстроены. К счастью, земля сырая, пыли нет. Зато в землянку хлынул свет, и видно, как от отверстия к стенам массами уходят клопы. Неправдоподобный «третьяк» тоже в свите, он скашивает на меня глаза, и в них игранула лукавинка.

Тут кто-то из латающих крышу в благоговейном ужасе нечаянно наступает на вделанное в потолок окошко, сверху со звоном и хрустом летят стекла к ногам генерала, он испуганно отступает прямо к моему месту. Мы все даже не улыбаемся, но в душах ликование: сам увидел! Сам увидел!

— Плохо живете, женщины! — произносит тенорком генерал, приняв рапорт от дневальной, что в бараке столько-то заключенных (до 200), из них на работе…, в больнице…, не работающих инвалидов… и т. д.

— Плохо живете, вижу! Но в этом году мы дадим Арлюку для жилищ финские домики, и вы будете жить в сухих и теплых помещениях… — При создавшейся ситуации генерал обязан быть приветливым.

— Ну, а как вам живется? — вежливо обращается он к старушкам с 58-й статьей, которые сидят здесь чуть не по 20 лет. Некоторых он знает по фамилии.

— Очхорошо живем, гражданин генерал, сами видите, — басом за всех отвечает старуха Шаховская. И все смеются и смелеют.

— А нельзя ли расширить библиотеку? — А электричество будет?

— А будет когда-нибудь амнистия для 58 статьи?

Генерал приосанивается:

— В послевоенное время, естественно, всем трудно! («будто бы в довоенное было лучше», — думают старушки, сидящие десятилетиями). Теперь только можно обратить средства на благоустройство лагерей… Что же касается государственных преступников (он именно так о нас и выражается)… полагаю… когда-нибудь… (все понимающе улыбаются). Амнистия будет…

И на стандартный вопрос «жалоб нет?» при мгновенном молчании я выдвигаюсь из ряда и прошу слова: у меня просьба. Ради посещения генерала я приоделась, сделала наивозможно

элегантную прическу. Мне необходимо наиболее контрастно выглядеть рядом со всеми. Дама, попавшая в самые жалкие обстоятельства, но дама! — вот кто я!

Начлага вздергивает голову. Он же не знает, о чем я буду просить. Он трусит. Но генерал, окинув меня снисходительно-любопытным взором, разрешает мне говорить. И я нагло говорю, что я — работник искусства, работала в художественных учреждениях Москвы (я не называю учреждений, пусть считают их театрами). В лагере работала в Киселевском театре…

— У Райзина? — живо спрашивает он. — А, Вы? Француженка такая в «Скупом»? — Меня охватывает полымя счастья. Он видел! Он запомнил мою Фрозину! Отвечаю достойно и прошу перевести меня отсюда в Мариинский театр Сиблага. Неправдоподобный мой доброжелатель протягивает генералу мое заявление. Генерал безусловно театрал, потому что, когда он читает имена Гайдебурова, Ходотова, Мейерхольда, брови его подымаются. Я ведь не пишу «студия», я пишу «работала»… Я же не пишу, сколько недель или даже дней это продолжалось. Генерал становится серьезным.

— Видите ли, они обычно сами отбирают себе артистов на самодеятельных смотрах, — говорит он, — но сейчас мы постараемся вас им «навязать»; у них этапируют большие сроки, и артистов не хватает. Они уж и Бог знает, кого берут, портят состав. А у вас? О, с вашим сроком, статьей и подготовкой можно надеяться, вы у них задержитесь. Хорошо. Я поговорю». — Он кладет мой листок в карман, еще раз протяжно смотрит на меня и на наше жилище для пауков и ужей и уверенно подтверждает: «Хорошо!»

Я стараюсь не смотреть на неправдоподобного «третьяка» и кавечиста. Боже упаси обнаружить сговор. Но счастлива и тем, что из слов генерала поняла: мой пункт статьи и небольшой срок могут уберечь меня от этапирования в спецлагери со строгим режимом. Однако, ни на что не смею надеяться: лагерная жизнь, что кисель — меняет форму от формы сосуда. Вика смотрит на меня с завистью. В Киселевке никто не интересовался моей профессиональной подготовкой, считали, «хорошо играет», все, кроме И. А., считали, что знаю «технику». Конечно — нахальство заявить себя профессиональной актрисой, но Вика не допускает, что я могла что-то измыслить, да еще кому? Генералу НКВД! Я же, допустившая не полную ложь, а то, что в медицине называют аггровацией, спасаюсь от Арлюка и самонадеянно думаю, что уж в театре-то мной будут довольны!

Весна в Сибири приходит внезапно, сразу «выстреливает» травою и зеленью березок, теплом и обилием солнца. Именно в

такой денек меня вызывают на этап. Сердце падает: все-таки, куда? В режимные лагери Тайшета, Казахстана или в театр? Неправдоподобного в зоне не встречаю, пойти самой к нему — зазорно: ходить без вызова к «третьяку» — значит, сексотничать.

Вику и Соню мне жаль оставлять до душевного визга. Они молят: если — в театр, замолвить и за них там словечко. Но я сама начинаю тревожиться: там работают премьерши оперетт, актеры крупные, с именами. Сдюжаю ли сама среди таких?

Брела с единственным конвоиром (что было бы немыслимо в системе ИТК полагалось два по 58 статье) по весенним оврагам на центральный участок Арлюка. Над степными озерками склонялись пушистые веточки верб. Конвоир, утопая сапогами в болотце, сорвал мне пучочек. От него узнала, что отправляют меня в Мариинск. Значит, — театр! На центральном участке завели ночевать в пустой холодный каменный «кондей» (карцер): участок был мужской. На утро отношение сугубо уважительное: начальник КВЧ чуть ли не извиняется, что ночевала в холодном кондее. Очевидно, полагают, что я какая-то знаменитость. Тоном сокрушенным сообщают, что к вокзалу идти пешком придется: все лошади и бычки на весенних работах. «Вещи вам конвоир подможет нести!».

Мне показалось, что в Сиблаге, несмотря на его бытовые неустройства, в отношении к заключенным было больше человечности что ли, и у начальства, и у конвоя. Люди сидели здесь подолгу, относительное понимание «кто есть кто» было. Многие, кто не живал в других «системах», вспоминают лагерное время даже не без удовольствия. Вера Николаевна Кочукова, которая до сих пор жива в доме старости[22], однажды сказала: «Ну, где бы я в нынешней России нашла бы такое изысканное общество! Лагерь — это было лучшее время моей послереволюционной жизни».

Не случайно и стабильный театр именно в Сиблаге возник, а в ИТК у И. А. так и скончался «по режимным соображениям». И интеллигенции истинной было в Сиблаге очень много. Были хорошие больничные лагери, например, Маргоспиталь, Боим, вензона с очень квалифицированными врачами. Может быть, мне так кажется, потому что в Сиблаге не испила чашу до дна во время голода.

Вокзал Арлюка, впервые увиденный ушедшей зимою — бревенчатое старое здание со светлыми резными наличниками и карнизами, встретил нас трепетом листвы и тополиным пухом. Конвоир, сложив мои вещи у стены, свободно отпускает меня в уборную. Я впервые за эти годы иду без штыка за спиною. В ожидании поезда привожу себя в порядок, крашу губы, чего

прежде вне сцены не допускала. И вдруг — сначала конвоира, а конвоир меня — к телефону!!! Позабытым движением снимаю трубку с развилки аппарата старой конструкции, робко подношу к уху.

Мальчишеский голос кричит из гудящего пространства: «Как Вас зовут? Евгения Борисовна, если б вы знали, как мы вас ждем! Надо выезжать на гастроли, а у нас не хватает артистки… Вы старух играли?

— Сыграю, — говорю, — хотя еще никогда… Впрочем, — какая старуха! Мерчуткину играла. Улиту готовила… Характерную старуху…

Оказывается, я говорила с заключенным расконвоированным директором театра. Я, с вычищенными ногтями и накрашенными губами, говорила по телефону!!!

— Гм, старуху! — Мне вспоминаются робкие просьбы бесталанной Вики З.: «Может быть, старух?»…

— Ладно! Я еще не знаю, какую старуху от меня потребуют. Но, вместо того, чтобы вспоминать пластику старух, которую я прежде никогда не наблюдала, — хотя ведь и моя Фрозина могла быть старухой — я припоминаю «штампы» Корчагиной, Блюменталь. Я вижу Фрозину старухой, но не вижу старухой себя… А для характерной, какой я себя заявила, старухи обязательны…

— Неправдоподобный мой офицер НКВД! Имя которого я даже и не знала! Спасибо тебе! От самого дна черного и беспросветного отчаяния я снова подымаюсь в первые светлые круги нам предназначенного ада. Опять бытие трансформируется в чудо. И подтверждение этому — только что отзвучавший мой (мой!) разговор по телефону, в трубке которого гудело и металось свободное пространство целого мира!

Глава VII
«ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ» ТЕАТР

«Сохранить себя физически, эстетически да еще и творчески можно только при удаче — умении жить в данных условиях. Здесь жить трудно, даже, если физически не тяжело.»

(Из письма Льва Гумилева к Э. Герштейн)

Мы в гастрольной поездке. Орлово-Розово. Отлично оборудованная сцена в клубе, расположенном далеко за зоной. Стою на балконе перед спектаклем, ищущая одиночества («вхожу в образ» Галчихи). В лучах заходящего солнца по извилистой пропыленной дороге, ведущей к клубу, показываются колонны заключенных. На этот раз их «гонят» в театр. Они запаздывают и почти бегут. Я вижу, как спотыкаются плохо одетые люди, знаю, как тяжело они дышат, шагая по уставному порядку «по шесть». По обочинам дороги — много конвойных, потому что в этом лагере большинство — «государственные преступники» (политические), крупные бандиты со статьей 58–14 (побеги, отказ от работы и проч.). Шарканье ног, лай собак, окрики конвоиров уже в клубном скверике. Кое-кого привели под руки товарищи. Представляю отчаяние орловорозовских старушек, больных, которым не дойти до клуба и которых «не взяли».

Их гонят… Нас гонят… Нет, сейчас это, действительно их гонят, а я на вершине лагерной удачи. Неловкость какая-то: ведь я-то, собственно, и есть — они. И как оправдание: но сейчас я и другие будем давать им радость… Для нее они шли, ради того, чтобы пройти этими полями не на каторжный труд или этап, а для удовольствия, без которого невозможно жить, совсем озвереет человек без радости, издохнет.

Колонны по частям подводят ко входу в здание, пересчитывают, записывают количество на дощечку и загоняют между рядами надзирателей в зрительный зал. Надзиратели, опоздав, торопятся, орут, волнуются: ох, уж этот театр, лишняя им докука!

Теперь я наблюдаю зрительный зал в дырочку занавеса. Сражаются за места. Сильнейший спихивает слабого. Слышится и родной мат, но с шипением, не так уж громко: предупредили! В огородках, напоминающих ложи, располагается начальство с супругами и детьми. У обеих дверей зала — часовые. Всем зекам мест не хватило, с шумом располагаются в проходах, на полу.

Часовые и за кулисами. Там, где сцены прямо в зонах, сооруженные хотя бы из столов, такого не бывало: зрители приходили свободно. Бывало, начинался дождь. Публика накрывалась бушлатами, никто не убегал. На несколько часов уйти от идиотизма их деревенского быта, от навоза и бычков, от хрюкающего, мычащего, кудахтающего и матерящегося сотоварищества. Будь я сейчас среди публики — место мне предоставили бы сами урки: «она понимает!»

Гонг. Воцаряется такая тишина, какой не бывает перед поднятием занавеса в обычном театре, где даже после начала спектакля в публике еще живет какое-то «колыханье». Здесь —

тишина космическая. Играть перед такой публикой — наслаждение высочайшее.

Но не шорох раздвигаемого занавеса — прекраснейший в звуковом мире шорох, слышим мы. Из зрительного зала — мужской солидный «голос». Видимо, начлага говорит, что в этом году «контингент заключенных» хорошо поработал, и поэтому администрация Сиблага направила сюда для гастролей свой стационарный театр. Сегодня они увидят пьесу «Без вины виноватые» в исполнении артистов, из коих многие уже известны «нашему контингенту» (слава Богу, о том, что почти все артисты — «государственные преступники» не помянул). Аплодировать разрешается, но вызывать артистов по фамилии, если вы их знаете, — нельзя. У некоторых зрителей — цветы, ими «благодарить» артистов можно бросанием на сцену, но не подношением. Если сегодня среди вас не будет «нарушений» и в зоне нарушений не будет, через два дня вас приведут на следующий спектакль.

Мне рассказывали, что вначале в «шереметевских» театрах запрещались аплодисменты, но крепостные артисты очень обиделись, жаловались чуть ли не в Москву, и аплодисменты разрешили.

Старых своих знакомых актеров все-таки вызывали по фамилии, а мне, которую тут еще никто не знал, отрадно было слышать: «Лукерью», или «Галчиху».

В Орлово-Розово своя сильная самодеятельная труппа, руководимая артистом, сидевшим, как говорили, за педерастию. Почему-то в наш театр его не брали, хотя у нас был такой же — режиссер Н. С. Х. — один из самых симпатичнейших людей в труппе

На участках Ивановка, Суслове оказалось множество подлинной интеллигенции с известнейшими именами: Корвин, например, или сидящая за участие в каком-то мистическом обществе (чем-то связанным с Рерихом) — художница (теща Н. Тихонова), поэтесса — подруга Ирины Мейерхольд.

На одном из участков масса немок довольно сытых и в честь нашего приезда нарядных. Одна из них — жена власовского офицера, была дочерью потсдамского ресторатора, в заведении которого мы с мужем часто бывали, живя в Потсдаме. Вспомнив со мной ресторан отца, она заплакала. Другая, русская, из «остовок» — жена австрийца, после окончания войны была похищена обманом из какого-то австрийского городка. О судьбе мужа, который очень ее любил, ничего не знала, как и он, вероятно, о ней.[23]

В Ивановке колючая проволока отделяла женскую

«каторжную зону». Каторжанок мы через проволоку видели, но общаться не пришлось, посещения театра каторжане были лишены. Голоса артистов и музыка доносились к ним, но сцена стояла к их зоне задом. Все же во время спектаклей у проволоки толпились женщины, в большинстве немки. Были мы и на лагучастке «Конный двор», где нам показывали очаровательных лошадок. На этом участке собраны были исключительно репрессированные энкаведешники и работники юстиции. На общих участках их бы убили. Для них мы все без предварительного соглашения играли кое-как, хотя встретили они нас по-королевски, разговаривали же мы лишь по делу с начальником КВЧ. Одну из нас там изнасиловали.

В театре Сиблага мало кто «сожительствовал»: пары, уличенные в «прелюбодеянии» тотчас разлучали, как всюду. Однако, молодые сходились по симпатиям. И только раз потихонечку пожаловалась мне бывшая блатная (о том, чтобы разрешить ей, очень от природы талантливой, работать в театре и учиться там же, блатяки сделали специальное заседание — «толковище» и отпустили ее в мир) балерина Элка, что к ней «пристают» оба ее балетные партнера, бьют, принуждая к сожительству. Николушку Х. — педераста шантажировали мальчишки — блатяки, среди которых он тайно искал партнеров. Впервые я поняла, что педерастия — могущественная страсть, когда, наш Николушка, увидев некоего красавца-парикмахера, дрожал и менялся в лице от восторга и желания. На гастролях Николушку однажды чуть не изнасиловали урки, в барак которых он зашел неосторожно.

Нужна была огромная осторожность в поведении: на театр нельзя было набросить тень. Обычно нам давали отдельную комнату, иногда за кулисами, порою даже вместе с нашими мужчинами. Конвой, нас сопровождавший, выделялся из Мариинска на все лето и нам доверял безусловно. Однажды женсостав театра отпустили даже без конвоя на озеро вымыть театральные сукна, и мы целый день барахтались в воде и загорали.

Вообще поездки театра — драмбригады и концертной отдельно — были сами по себе радость. Кроме встреч интересных с себе подобными, сам процесс переезда из лагеря в лагерь на большой пятитонке, где сложен был наш реквизит, сундуки и сукна, а сверху, как воробьи, рассаживались мы, человек 17, а на задних углах располагались конвоиры, сам путь по просторам летней Сибири был праздником: поля, перелески, проплывающие мимо березовые нарядные рощицы — «колки». Останавливались возле магазинчиков в населенных пунктах, даже иногда обедали в

попутных столовых, как обыкновенные граждане. Сельский пейзаж деревень в те годы поражал нищетою изб, овражистыми улицами, малолюдством.

С мая по сентябрь. Осенью в стационарный театр в Маргоспитале (госпитальная зона в Мариинске) съезжались концертная и драматическая труппы, и начинался зимний сезон с уже нечастыми наездами в город на спектакли и концерты для «вольных». И с «премьерами», в самой зоне Маргоспиталя, приготовленных в поездке новых спектаклей.

Недавно с одним «однострадальцем» мы припомнили расположение зданий барачного типа в Маргоспитале, где бытовал наш театральный стационар: госпитальные корпуса и рядом жилые домики женщин — госпитальных работников и наш, актрис, отдельный. «Амуры и зефиры» мужского пола жили в рабочей зоне госпиталя (мужской), где были какие-то мастерские. Сообщение между рабочей зоной и госпитальной было для нас свободное. На одной линии с домиком актрис, с садиком, было и крупное здание театра — видимо, бывший гараж или ангар, со зрительным залом человек на 500, хорошо оборудованной сценой и закулисными помещениями: мастерскими, гримировочными, прекрасной, хоть любому театру, костюмерной.

Как возник театр? После голода началось с того, что в зоне на большой поляне, с одной стороны замкнутой громадной слепой стеною-брандмауэром старинной кирпичной мариинской тюрьмы, по праздникам стал играть оркестр. Затем И. А. Райзин собрал вокруг оркестра труппу драматическую. Вначале с ним работал художник Будапештского театра, видимо, эмигрант, Федоров, по его смерти — талантливый Владимир Сергеевич Максимов, живущий ныне в Москве, на пенсии, бывший зав. постановочной частью Большого театра. Бутафоры были блистательные, например, мебель для «Маскарада» белая с лепными рельефами из крохотных белых розочек — рококо была изготовлена из дерева и папье-маше, но выглядела как подлинная. Полагаю, после ликвидации театра ею не побрезговал какой-нибудь начальник, так же как и костюмами для советских пьес — это были прекрасные портновские изделия.

Занавес из алых бархатных квадратиков от подсумков японских военнопленных по фактуре с сочетанием ворса вниз-вверх был очень наряден. На костюмы экзотические шла так называемая «тарная ткань» (как и во многих театрах того времени), мягкая, хорошо драпирующаяся и окрашивающаяся. Грим хорошо знал актер «Нилыч» (фамилию не помню, война застала его в Смоленске). Был театральный парикмахер. Киевская кукольница Хава создала театр кукол. Балетмейстером был

Виктор Иванович Терехов, бывший балетмейстер одесского театра. После Райзина, отправленного на этап за хищения и «обнагление», директором театра стал музыкантишко, конечно, «бытовик», то есть вор, из бывших коммунистов. С ним-то я и говорила по телефону.

Меха создавались из обыкновенной овчины. Парча для «Отелло» — из мешковины и из масляной краски. Огромный, во все зеркало сцены кружевной занавес для «Маскарада» был выполнен из марли и наклеенных бумажных черных узоров. Изобретательность поражала.

При мне были два концерта. По моде того времени они были сюжетны. Оформлены были они так, что и в Москве сделали бы славу. Тогда впервые услышала я отрывки из «Василия Теркина». Новогодний — был зимний лес с остановившимся в нем поездом с артистами. Первомайский — терраса с видом на Москву, с чудесными «стеклянными» прозрачными колоннами из вертикально натянутых ниток, создающих полную иллюзию каннелюр. Прежде колонны эти играли в «Маскараде». Чудесна была терраса в «Глубоких корнях» со скульптурами негров, держащих светильники.

Я думаю теперь: что был театр для зеков? Зрелищем только или воспиталищем? При невероятном многообразии лагерного населения одним словом не определишь! Для меньшинства, в том числе и участников, это было наслаждение творчеством, искусством. С заключенными художниками-станковистами судьба меня не столкнула. Музыканты только в крайних случаях имели инструменты. Писать запрещалось. Правда, поэты потихоньку стихи сочиняли, запоминая наизусть, прозаикам было хуже: при первом «шмоне» рукопись могли отобрать. Оставался один материал для творчества: собственное тело — театр. Хотя каторжанам, как упоминала, даже самодеятельность воспрещалась.

Для подавляющего большинства зеков театр был только зрелищем. Но и тех и других театр от скотского существования, из лагерного ада уводил в мир иной, пробуждал эмоции человеческие. А так как не во всех участках были библиотеки, то театр был подлинным «островком гуманности» в океане страдания, как и санчасть. Те зеки, кто познал этот вид искусства, все же получили духовной пищи больше, чем те, кто не соприкоснулся с этим никогда.

Я уже писала, что для многих, как это ни парадоксально, лагери были школой цивилизации и культуры. Сибиряк, спавший дома на овчинах, попадал в иных лагерях с хорошими условиями в такое обществе, о существовании коего не мог и подозревать.

Многим лагери открыли глаза на политическое положение в стране и пути к науке и культуре, по крайней мере, уважения к ней.

В массе у нас, в Кемеровской области, в заключение преобладал коренной сибирский народ, вообще мало эмоциональный. И театр — самая общедоступная и демократическая форма искусства — был особенно нужен. Для характеристики тогдашнего быта сибиряков позволяю себе «вставную новеллу».

В Кемерово после расконвоирования из ПФЛ я вместе с некой Дуней, женою казака-офицера, сняла угол у бывшей колхозной семьи фронтовика (их после войны по желанию отпускали из колхозов в города). Самодельная полуземлянка-полумазанка хозяев была дика и хлевообразна. В ней я прожила до ареста. Быт хозяев был примитивен, как у оседлых скифов. Мат был обычен, как «Господи помилуй», так, что сын называл мать на букву «б…», а она его посылала… Дочь, работавшая продавщицей в закрытом распреде, на свои карточки приносила давно невиданные продукты: яичный порошок, баранину, деликатесы. Мать — вчера сельская бабенка, все это сваливала в чугун и варила вместе как похлебку. Это так было смешно, что я однажды сама предложила сварить им плов. Хозяин материл жену: смотри, чурка с глазами, это пища! (Он был несколько просвящен в заграничных военных походах). Спали они на собственных полушубках без простыней.

Однажды ночью мы с Дуней тихонечко припоминали ласковость и заботы наших уже заключенных мужей. В дверях показался силуэт хозяйки, соскочившей с супружеского ложа.

— Бабоньки, — сказала она, полузадохнувшись, — Неуж не брешете? Неуж такие-то мужики бывают? А мой-то… Мой меня ни разу после венца и не поцеловал! Вот и не бьет, жалеет вроде, а не поцеловал ни разочку… — Из соседней комнаты-завалинки послышалось ленивое: — А что целовать-то тебя? Что ты, икона? — Наши казаки молодые плевались: чтоб я да женился на такой сибирячке неумытой?! А те просто «падали» на «наш контингент». И на мой вопрос, что им в наших мужчинах-«власовцах» привлекательно, отвечали: «Ласковые они». Бежит на свидание с нашим поселенцем некая Фиса. Я: «Фиса, да ведь у вас шея грязная!» Беспечно отвечает: «Ага, в бане давно не была!» — «Помойте шею и прочие места в тазу!» — Фиса, оторопев, отвечает с великим удивлением: «А и впрямь!»

Влюбленные в меня старики-сибиряки, у которых после освобождения я стояла на квартире, находили во мне, как у постоялки, только один недостаток: «ж… кипяченой водой моет!». Таков был уровень цивилизации простого сибиряка в 40–50 гг. И

вот для таких людей мы играли в нашем театре — школе понимания жизни, страдания, прошлого в исторических пьесах, впечатлений эстетических.

Неискушенные зрители были прекрасны. Никогда я не видела столь сильного эмоционального воздействия. Все принималось за истинное. Это здесь в «Коварстве и любви» в Вурма бросили из зрительного зала кирпичом. Я сама, играя в «Поздней любви» хитрую и подловатую старуху, слышала из зрительного зала злобное шипение: «У-у, с-сука!» Такими же возгласами сопровождалось исполнение мною роли Джен (из «За вторым фронтом»), предавшей советскую летчицу ради целости своих заводов. Муки совести Джен я передавала в немой сцене, стоя к зрителям спиной, но по злорадным восклицаниям из зала понимала, что играю верно. Энтузиасты театра бросали нам букеты, их подхватывали, как водится, «первые сюжеты», но однажды букет попал мне чуть ли не в лицо. Бросившие малолетки прибежали за кулисы с оригинальным «извинением: «Мы вам бросали, а то те с…, все себе хватают, вот мы и бросили прицельно: вам!»

Театральная провинция

Весна. Драматическая и концертная труппы в сборе. В актерском общежитии для женсостава труппы (бараком этот домик не назовешь!) повсюду разбросаны принадлежности дамского туалета. Пахнет духами. Их, как и наряды, присылают артисткам из дому в посылках… Артисткам это разрешают.

У ворот Маргоспиталя меня встретила очаровательная девушка с поразительным тембром голоса. Тамара Самолетова. Сидела она за то, что была женою американского офицера, аккредитованного в Москве после войны. В один прекрасный день он — исчез, ее «взяли». Без суда.

Режиссер театра приветливо поднялась навстречу: «Простите, руки не подаю: лак на ногтях не высох…» Лак… Где я? Что я?

Вечер. Целый день были репетиции. Сегодня спектакля нет, и мы свободны. Запах кулис. Актерские страшные сны: не знаю роли… Нас уже немного. Иностранные «звезды» уже взяты на этап. Среди них была венгерская знаменитая балерина Долли Текворян, о которой поминает Солженицын, премьерша Таллинской оперетты Герда Мурэ. Остались преимущественно актеры провинциальных театров и наиталантливейшие самодеятельники-бытовики (то есть не политические) с небольшой прослойкой одаренных бывших блатнячек, отпущенных «толковищем» паханов в театр на обучение искусству

и работу.

Позднее узнала я, что такие лагери для специалистов называются «шарашками».

Этапированные из этого театра «звезды» пишут из Тайшета, из Экибастуза, работают в пошивочных (в лучшем случае). О Маргоспитале вспоминают, как о Париже. Теперь в этом лагерном «Париже» я. Конечно — это лагерный Париж. Человеческие условия быта. На 90 процентов среда интеллигентная — актеры, врачи Маргоспиталя. Разговоры об искусстве, новинках литературы. Газеты. Прекрасная библиотека, в которой узнаю, что иные книги «сидят» со своими авторами, хотя списки изъятого присылают, и во главе библиотеки — бывшие крупные коммунисты с руководящих постов (им не давали «пропасть»: кто знает, что дальше будет).

Единственное страдание мое — всегда поющее радио. Его не замечает даже профессиональная пианистка Магда Мацулевич, ученица Глазунова и Николаева, наш концертмейстер. (До сего дня с нею в переписке и даже навещала ее в Коктебеле, где у нее теперь дача[24].) Сейчас, к ночи, она возвращается из своих расконвойных занятий, с музыкальных уроков, которые дает для «господских детей» г. Мариинска в музыкальном училище. Ее уверили, что за эти уроки ей платят переводами на ее текущий счет, так что по освобождении она сможет купить себе пианино. Конечно наврали: на счету оказалось только ее лагерное жалование (нам уже немножко платили). Магда — немолода, но с мороза приходит с хохотом и принимается кормить свою кошку. Кошка — значит — голода уже нет. Иногда мы едим мясо. И в гастрольных поездках, в Боиме (туберкулезный лагерь), в буфете я, — обычно равнодушная — проела месячное жалование (80 руб.) на пирожках с мясом, хотя год моего освобождения — следующий, и мне надо копить «на освобождение».

Вот погасили радио, я, ликуя, хочу заснуть, но вдруг пожилая актриса Морская издает во сне звук. Опять?

Бывшая блатная Тоська из подмосковных мещаночек — наша певица орет, что «эту старуху» надо выселить из нашей комнаты. Гневно звенит хрусталями голоса Тамара — «первый сюжет». Наш «Рай» обращается в обычный лагерный ад. И тут я поднимаю голос в защиту «старухи». Я уже обрела симпатии всех, ибо никому не завидую, не охаиваю, не поучаю, а главное образованнее всех этих профессиональных и самодеятельных деятелей сцены (кроме Магды и Альфредовой). Мой «хороший характер» безоговорочно признан всей труппой. В ее женском составе безусловно интеллигентны немногие: среди них режиссер Розенель Альфредова, с манерами светской дамы и гнусавинкой

«под Савину», — режиссер, дружно ненавидима всеми за нрав злой и завистливый как и подобает актрисе провинции. Столичных — Морскую и прибывшую к нам бывшую актрису Мейерхольда, не выносит и ролей не дает. Даже меня в пример им ставит, хотя на первых же порах сказывается моя «профессиональная непригодность» — я, как и в киселевском театре, забываю отдельные слова ролей. Где моя «клинописная», как говорили обо мне прежде, память? Мне Альфредову жаль, и я ее всегда защищаю: кроме театра она ничего не умеет, не любит и даже здесь, где театр — спасение жизни, профессионально выживает хороших актрис. Когда я после многих неудач по-настоящему заиграла в Галчихе, так, что товарищи толпились за кулисами смотреть меня, Саша — актер сказал мне: «Ну, — вы заиграли, теперь она Вас съест». Однако она тайно во многом помогала мне, как впоследствии оказалось, вероятно, потому, что из дилетантов я все-таки была самой просвещенной, и наши оккупационные судьбы были схожи.

Актрису «концертных номеров» Морскую она оставила лишь чтицей концертной труппы. Та была типичной элитной актрисой, столичной и весьма просоветской барыней, работала чтицей в концертах с Максаковой. Здесь держалась от всех обособленно. Еврейка, она считала нас с Альфредовой, да и всех «настоящими» преступниками, себя — попавшей «по недоразумению», по особому совещанию (без суда) ни за что. Мозг актерский — куриный. Когда ее по происках Альфредовой первую этапируют из совсем закрывающегося театра (за полгода до моего освобождения) Морская недоуменно спрашивает: «А как же народ без меня?» (то есть без ее искусства). Она вообще ничего не понимала, что с нами делают. Верила всем «парашам» об освобождении. Однажды зашел к нам в комнату генерал НКВД. «Послушайте, генерал, — сказала Морская с интонацией гранкокетт, — Я хочу домой!» — И это у нее прозвучало как: «Послушайте, милейший!» — Генерал посмотрел обалдело на истинную даму, женственно-очаровательную старушку и мягко сказал:

— Домой? Ну, скоро вы поедете домой!

После этого Морская захлебывалась: «Сам же генерал сказал!» Когда я скептически отозвалась, обернулась ко мне гневно: «Вам, конечно… у вас — преступление, а я поеду домой!»

Но все более частые замечания генералов о свободе свидетельствовали, что какие-то перемены, видимо, готовились еще до смерти Сталина.

Морскую посадили, возможно, ради того, чтобы завладеть ее имуществом. Подобная история случилась с близкой театру (не

актрисой) Ксенией Павловной Сабининой, еще в Ленинграде вращавшейся в кругу крупнейших певцов и артистов. Я потом встречалась и дружила с нею в Пятигорске, куда она приезжала лечиться. После смерти ее мужа-профессора, очень крупного, она жила на большую персональную пенсию в квартире из 5 комнат. Все это понравилось некоему ее знакомому прокурору НКВД. Ей дали 5 лет ОСО[25] с конфискацией имущества. По амнистировании и реабилитации 1953 г. имущество полагалось вернуть, но так как оно было уже «реализовано», возвращали в деньгах. Оказывается, в актах изъятия эраровский рояль был оценен в… 50 руб. (старых!), алмазные кольца в 20 руб. и т. д. (чтобы энкаведешникам было легче приобретать все это себе). Однако, имущества в старой профессорской квартире было столько, что получив компенсацию, Ксеня безбедно прожила до смерти (в 60 гг.). Были снова у нее и песцы, и чернобурки, в старой же квартире поселился тот прокурор, а ей по реабилитации дали «площадь» в коммунальной. Подобные конфискации часто и были причиной осуждения невинных людей «по ОСО», без суда, вроде бы как «изоляция потенциально инакомыслящих».

Забавная история произошла и у Магды Мацулевич. Ее посадили с сыном. Ее — с конфискацией, его — без оной. На нее записали все ценное в доме, ему оставили старые, траченые молью дедовские фраки. Но удалось приписать ему два фамильных дорогих кубка. Парных. По освобождении Рюрик пошел получать свое «взятое на сохранность» имущество. Один бокал отдают, другого — нету! Пошел жаловаться на дом к прокурору. Доложили. Ждет в передней. И в горке с хрусталем видит свой второй кубок. Он его сам вынул, и не дождавшись приема, ушел. Прокурор его не искал: наступили и для них неприятные хрущевские времена, растерялись они временно. Так же в этот период через «Прокуратуру по надзору за действиями НКВД» (в Москве) мне удалось вернуть буквально отнятые у меня при поездке на свидание с мужем в Воркуту антикварные книги, предназначенные для продажи в Москве, чтобы окупить поездку. Это было почти полное собрание сборников Гумилева, прижизненные Ахматова, Кузьмин, Мандельштам, Ходасевич. Прокурор в Москве на мою жалобу, засмеявшись, сказал даже: «Ну, эти парни просто хотели пополнить собственную библиотеку таких изданий».

Вернусь ко временам «театральной шарашки». Вдохнув по приезде запах лака, я под предводительством администратора Володи, чудного природного актера-эксцентрика, иду получать одежду. Новые по ноге(!) ботинки, теплое для гастрольных

поездок белье — Все новенькое! И в тот же день получаю две роли. Старух. Одна — знакомая — тетка из «Женитьбы», другая — Лукерья — из «Свадьбы с приданым», пьесы, которую не знаю, следовательно, роль учить трудно. Это режиссер Альфредова испытывает меня на «профессионализм» учить роль механически, чего я вовсе не умею.

Лукерья не дается. Воспитанная на экспрессионистском театре, я не умею двигаться по-старушечьи. «На дворе зима, у вас замерзли руки», — говорит мне режиссер этой пьесы Храпко. Я тру пальцы. «Но вы же старая, пальцы у вас не гнутся…» Черт их знает, как гнутся пальцы у старух! После многого сраму я обращаю Лукерью в разбитную воровитую и лукавую пожилую бабенку. Нечто получается. И Галчиха мне удалась, потому что я играла не старость, а безумие. Три мои роли с гаданьем, с картами. Я не умею тасовать. Днями хожу и тасую картоночки. После первых же спектаклей Храпулечка приносит мне подарок блатных зрителей: почти целая колода новеньких карт. Я не умею давать фальшивый подзатыльник. Дормидонт жалуется режиссеру, что я его хлопаю «по-настоящему». В общем, такая «техничная» у Райзина, здесь я «мелочь пузатая». Но меня в труппе любят и помогают. Прекрасный артист Нилыч, сотрудник Альфредовой по смоленскому театру, где они попали в оккупацию (вина их была в том лишь, что для немцев играли и Альфредова забирала себе «молодые роли»), учит нас гриму, чего я совсем никогда не умела. Альфредова много дает мне как старая профессиональная актриса, хотя и глубоко провинциальная.

Но у Райзина я играла «от себя», выпадая порою из ансамбля, в этом профессиональном театре при его весьма реалистической манере, я не чувствую себя ловко. Я не вижу себя старухой! Я не вижу себя Любовью Яровой, которую Альфредова дала мне лишь потому, что просто некому было дать — оставалось все меньше актеров! А мне бы Дуньку, Горностаеву, бабу, ищущую сына! Я же не «героиня»! Так в этом театре я и не обрела свае «амплуа», хотя по мере распада театра получала и «хорошие» роли. Но если у Райзина было горение искусством, поиски образа, муки, здесь театр и работа в нем — только спасение жизни!

И все-таки это была радость, воссоздавая чужие жизни, уходить от своей, истлевшей дотла. И муки своего несовершенства в образе (хотя зрители меня полюбили), своего неумения, которому не помогали ни эрудиция, ни «система» — тоже было счастье творчества, такое немыслимо редкостное в лагерях!

Когда за несколько месяцев до моего освобождения театр

совсем ликвидировали, Альфредова помогла мне остаться в Маргоспитале сестрою, хотя медперсонал называл меня «артисткой».

Все же я осталась в более-менее интеллигентной среде.

После освобождения, два года не находя работы в Пятигорске (нас, бывших узников по 58-й статье на работу боялись брать), я обратилась в Маргоспиталь за справкой, что у них работала. Мне написали: «…в заключении использовалась в качестве медицинской сестры». С такою «рекомендацией», естественно закрыты были все пути. В паспорте в графе «соц. положение» было написано: «рабочая».

Глава VIII
ФАБРИКА ВРАГОВ
(Украденные жизни)

«Эти люди когда-то вспомнятся тебе, как твои семейные».

А. Солженицын

Я стою пред распадающимся духом и телом России и смотрю вдаль. Перестанем — это раздражает сердце».

А. Бестужев — Марл. 1823 г. в письме П. Вяземскому.

«Вон, когда это началось — распадение «духа и тела». И уже, кажется, заканчивается сейчас. И исток этого — ложь народу, вынужденному жить в страхе, обрести «двойное дно», обнаруженное мною в начале оккупации.

Самые аполитичные граждане усилиями советской системы были превращены ее фанатизмом и насилиями в потенциальных врагов, глубоко запрятавших ненависть и противодействие антинародному советскому режиму. А не тронь их безжалостно и тупо, — были бы совершенно лояльны, как бывает всякий народ в массе. Несправедливость репрессий, как системы, вовлекла в орбиту ненависти к правительству почти каждого[26].

И сказывается это особенно ярко сейчас, когда сами работники системы, так называемые «коммунисты» ни во что не верят, и хотя уже не мыслят по стереотипу, но по нему ведут себя.

Однопартийная система социализма, то есть ее фашизация, скомпрометировала себя «изнутри» и пожинает плоды в окаменевших бюрократических формах[27]. «Фабрика врагов» советской системы работала по-разному.

1. Тетя Дуся

«Дорогой наш дедушка Сталин! Нашу маму посадили в заключение на 15 лет (далее шел рассказ, за что). Дедушка, дорогой! Мы понимаем, что мама нарушила советский закон, но нам так плохо без мамы, что мы, шестеро ее детей, просим тебя: прости ее! Она это сделала первый раз, и так плохо и нам и ей, что больше она никогда в жизни не будет! А у нас отобрали корову, даже кровати продали, в квартире пусто, папа с нами плачет каждый день.

Мы так надеемся, что ты простишь нашу маму и вернешь нам ее, а то Светланке надо бросать школу, чтобы нас всех кормить и обстирывать».

Следовали подписи, самыми аккуратными школьными почерками:

Светлана Кузминская — 15 лет, Володя — 12 лет, Петя — 10 лет, Вася — 7 лет, а внизу страницы обведены карандашом две детских ладошки, внутри каждой написано рукою старшенькой Светланы: «Соня — 6 лет» и «Юра — 4 года» и потом: «Ждем ответа, как соловей лета» и адрес.

Это письмо со всеми его грамматическими ошибками, написанное на самой хорошей тетрадной бумаге, принесла мне показать тетя Дуся, жительница г. Белово, где находился наш лагерь, попавшая в заключение на 15 лет кассирша железнодорожной станции. Дети и убитый горем муж, кадровый железнодорожник с обвисшими сивыми усами, почти ежедневно получали с нею «свиданку». Дуся выходила к ним в проходную, они обнимались и плакали горько. Вместе с ними прослезится, бывало, и дежурный «начальничек», знакомый семьи. Да и незнакомые растрогивались.

А преступление тети Дуси заключалось в следующем.

Сталинская денежная послевоенная «реформа» 47 года была такова: у кого на сберкнижке три тысячи, так они тремя тысячами и оставались. Остальное содержимое сберкнижки снижалось в 10 раз. А товары оставались в старой цене, кроме хлеба и продуктов самой первой необходимости. Так что послевоенные «тысячники» сразу обеднели.

Деньги же, находившиеся на руках — хоть 100 тысяч, тоже снижались в 10 раз, их номинальная стоимость не оставлялась даже и для трех тысяч. Но не в этом был ужас: деньги на руках следовало в какой-то очень короткий срок, чуть ли не в сутки, обменять на новые банкноты. Не обменял в срок — а как успеть? — все насовсем терял. За сутки.

Что там делалось возле сберкасс — не ведаю. А кто был в отъезде? Был болен? Или там еще почему не смог? Те, кто о грядущей реформе вовремя узнал, кинулись вещи покупать. Цены-то на них оставались прежними, высокими. В те разоренные времена вещи были тоже «валюта».

Да кто о реформе «вовремя» узнал? Элита только бюрократическая. А среди массы народа лишь слухи только бродили, какие-то «тайные комиссии» в глубоком от народа секрете что-то готовили. Было это тайной государственной, не то что «хрущевская» реформа, носившая характер обнародованной кампании, при которой паника исключалась, и покупательные цены на все менялись как один к десяти. И срок на обмен купюр давался достаточный. Сталинская же реформа никак не учитывала интересы народа. (Так же случилось и в начале реконструкции Москвы: ваш дом под снос и отправляйтесь, куда хотите! Масса самоубийств вынудила правительство давать при этом случае по две тысячи на рыло, многосемейные могли в окрестностях Москвы хотя бы что-то себе построить. Одиночки, конечно, не могли — постройка стоила в 10 раз дороже, только после войны стали обеспечивать выселяемых новой жилплощадью).

Бесчеловечна и антинародна была та реформа в 47 году.

Тетя Дуся узнала о реформе только вечером накануне назначенного дня, когда сберкассы были уже закрыты, или попасть в них было уже невозможно: люди спешили все положить на книжку, чтобы хоть три тысячи остались в номинале. А у ее семьи на руках была тысяча отложена. Корова помогла прикопить. На руках! Пропадала заветная тысяча! Кинулась тетя Дуся к мужу, к подруге, дежурной по станции, у которой тоже были сбережения на руках, вне сберкассы. Как тысячу для шестерых детей спасти!? Ведь завтра она в сто рублей обратится, а пальто для Светланки как стоило 600 рублей, так и будет стоить!

И решили они: за этот вечер на тети Дусины и подругины деньги возьмет кассирша из кассы несколько железнодорожных дорогих билетов, а завтра будет продавать их по прежней цене — тысяча тысячей и останется.

Да еще и радовалась Дуся: как раз она дежурная — повезло! Правда, колебалась вначале, да подруга уговорила на исполнение тайной операции, очень уж не хотелось, чтобы тысяча в сто рублей обратилась!

Так и сделали. А уже наутро — в кассе ревизия. То ли по доносу тех, кому в такой услуге было отказано, то ли у начальства заранее было намечено.

И со всего города Белово, где многие, заранее узнав детали, так поступили, использовав служебные возможности, изловили одну только тетю Дусю с подругой. Кассиршу на станции не любили, остра на язычок была, критику начальства позволяла, честности всегда требовала. И все радовались, что она «попалась», а никто не попался. И на суде прокурор говорил, осрамила-де одна мошенница город Белово! И как всегда по новизне декрета, по первенькому снежку бывает, дали законники ей, матери шестерых детей, высшее наказание — 15 лет с конфискацией имущества. А подруге — десять.

Вначале она и подругу не называла, все, мол, деньги — мои, но стали давить, обещать, что простят — ну, подумаешь: преступление — злоупотребление служебным положением, кто его не совершает! Надо только назвать соучастников. Она испугалась: спросят, откуда у вас, кассирши, большие деньги, и рассказала о подруге, а та — на нее. На следствии тетя Дуся с ее ироническим и сердитым язычком говорила от гнева многое, что о них думала и знала. Тут припомнили, что она дочь высланного в Сибирь кулака, хотя много лет об этом уже и не вспоминали.

И ударила сталинская денежная реформа не по «жучкам», нажившимся на войне невыносимо, а по тетям Дусям.

И вот в беловском лагере в барак входят две испуганные «приличные» женщины, бледные, с узелками. Зрачки от ужаса огромные. Сколько уж я еще в Москве видела таких зрачков!

Деньги, что они на этой операции «нажили» — конфисковали, а так как купленные билеты они еще не реализовали, у бедняков отобрали коров, мебель, вплоть до детских кроваток.

Старшая Светланой названа в честь сталинской дочери. Именно в ту пору Светлан в СССР появилось десятки тысяч. В честь. И Дуся назвала, хотя была дочерью кулака, да к тому времени позабылось. А первый сын — Володя в честь Ленина.

Придет «орава» эта к матери на свидание. Детишки засопленные, в головах вошки завелись. Муж плачет, слезы по усам повислым: «Не тебя, Дуся, наказали, а меня да Светку!» В школе — двойки. Володя говорит: «Это у меня, мам, от горя». Светке, чтоб ораве сготовить да постирать, да много чего поделать — в школу уже не ходить! В детдома детей? Отец волосы на себе рвет: «Не сироты же они!» И дети: «Хотим с папой остаться!»

Однажды начлага Андреев («профессор») — жена его была отменно добрым человеком — знающий трагедию семьи, принес тети Дусиным детям пирога. Пришел «на свиданку», стал раздавать, не берут они у него ни кусочка, маленький его еще и за палец укусил: «Ты нашу маму мучаешь!» Тетя Дуся с мужем

ужасно тогда испугались: подумает, подучили ребенка, еще мстить начнет! Но ничего, обошлось.

Подругу скоро в другой лагерь этапировали: не положено «подельщиков» (сидящих по одному делу) в одном месте держать. Дусю пока оставили. На общих работах, зато дети рядом. Непривычная к тяжелому не бабьему труду мучилась она с печенью своей на копке канав и траншей, худенькая, остроносая, язвительная от природы.

Однажды во время прихода бригад на обед в открытые ворота зоны увидела я ее семейство. Они стояли, шестеро на пригорочке, а мимо них в рядах своей бригады проходила мать. Заметила я только, что белоголовые все, босиком, лето шло. Вдруг маленький сорвался с пригорка и побежал к рядам зеков — мать увидел. Тут уж мне не видно стало за толпою, но рассказывали потом: конвоиры закричали, она тоже заголосила, завыла, другие малые тоже к ней кинулись, старшие, Света и Володя, удержать не успели. И конвоиры со слезами на глазах своих отрывали детей от материных колен. Слава Богу, обошлось без больших грубостей, а то ведь при таком разе имели право выстрелить. И тогда в часы провода бригад начальник запретил Светке детей приводить. А тетю Дусю чуть не этапировали в другой город.

Встал вопрос оставить ее в зоне, чтобы дети не видели ее на улице, хотя в середину колонны ее ставили. Рассказывает мне, плачет: знакомые идут, здороваются. А ей стыдно: каторжная!

Взяли ее доктора в больничку-стационар кастеляншей: на этом деле честность нужна. Недели через две у честной женщины конкурентки на должность — беловские воровки, по блату пробившиеся в санитарки, стали растаскивать белье. А это значит — недостача, опять же дело подсудное. В казенном сундуке не стало несколько пар белья. Поняла. Пошла сама к начальнику: не умею в лагере кастеляншей быть! Стала сдавать имущество другой кастелянше — в сундуке все белье по счету. Значит, большой новой беды воровки ей не желали, надо им только было, чтоб ушла. Сама. И ушла, и опять землю копала со своею язвой, печенью мучилась. А язычок сатирический свой не придерживала: «На нас глядеть начальству досада берет, уж больно хорошо мы тут устроились: едим в себя, спим — для себя. Чего еще нам надо!»

И спустя время принесла мне посоветоваться детское письмо дедушке Сталину, сочиненное тезкой сталинской дочки.

— Ну что ж, так и посылайте, как есть, — ответила я, не скрывая, впрочем, скепсиса.

И отправив его, мечтали тетя Дуся с мужем, может, срок этот немыслимый, несоразмерный преступлению ей снизят, а вдруг и

совсем помилуют. Дети, сочиняя письмо, верили в последнее, супруги вздыхали хотя бы о первой милости.

Довольно скоро, то ли по письму, то ли рачением местных властей вернули тети Дусиным детям кровати. Из всей жалкой мебелишки — какая там в те годы у скромного железнодорожника могла быть мебель! — кровати вернули, видно не «реализовали» еще, не продали, как следовало поступить с конфискованным имуществом. Шесть кроваток. А седьмую, супружескую, мужу не отдали, будто реализована уже. И правда, хорошая была кровать любому начальству не в стыд.

Было это все в городе Белово Кемеровской области в 1947—48 году.

2. «Знал, да не донес»

Янош Штельцнер — венгр по матери, по отцу «шваб», был железнодорожным служащим не то в Дебрецене, не то в Мукачеве, незначительным чиновником каким-то. Должность барская, а Янош был сыном паровозного машиниста, который «был гордый» тем, что в оны времена возил самого Франца-Иосифа.

В оккупацию немцами Венгрии и Чехословакии работал молодой и красивый железнодорожник на своем месте: броня. Хорошо ли плохо при немцах жилось, но в партизанах не был, как и его отец, коммунистам не верил, но и немецкого оружия в руки не брал: кому нравится оккупация родины! Так, был типичный европеянин-обыватель, единственный у родителей сын, любящий и любимый муж, отец годовалого сына и дочки, родившейся после конца войны и его ареста.

Человек мягкий, хорошо воспитанный, с глазами цвета винограда, по типу скорее австриец, чем венгр. Но темперамент венгра, а национальность у них считается по матери. Музыкальный, как Бог, чардаш танцевал так, что вся душа народа была обнажена в танце. В меру был Дон-Жуаном, рассказывал о какой-то даме «с телом, как у Мадонны», соблазнившей его в Будапеште, о педерастах, его в юности преследовавших. Словом, нравственности нормальной для весьма привлекательного европеянина, никому не опасный обыватель. И дожил бы до старости, никого не затронув, политикой абсолютно не интересуясь, работая добросовестно.

Пришли в их город советские. И попал Янош под подозрение как «бывший в оккупации». На работе понизили. Жена, учительница, тоже что-то утратила. — «Но я тогда не очень обеспокоился»: у него припрятан был миллион сигарет.

Только однажды в каком-то споре назвал он сотрудника «ванячим коммунистом». А советская власть принесла в городок и нравы советские. Оскорбленный донес — и Яноша как «пособника врага» — на семь лет в Сибирь. За работу по специальности, на транспорте.

Долго и незачем описывать страшные горести, перенесенные в советских лагерях человеком почти «без языка», на общих работах — тяжелейших, мук от голода и холода. Родные посылками помогали, но всякую посылку у смирного иностранца отнимали блатные. Написал домой: «Не посылайте, лучше питайте детей».

Но случилось более ужасное: венгры, чехи, рейхсдойчи (немцы из самой Германии) были в каком-то лагере в большой массе и задумали они — в лагере-то! — грандиозное «восстание» с последующим побегом. Ему об этом сказали. Неглупый Янош только засмеялся: «Что за гимназическая затея! Ну, если даже удастся справиться с конвоем, переловят вас на первой же версте: в чужой стране нас горстка, а вокруг даже у местного населения сочувствия не найти! В приграничных районах еще можно бы, а в сердце Сибири… мальчишеская затея!» Его оставили в покое.

«Заговор» был раскрыт, участников судили снова. Кто-то выставил Яноша свидетелем. Он на следствии простодушно повторил, что и товарищам: «мальчишеская затея!»

— Ага, так вы знали о сговоре?

— Ну… — смутился Янош, — знал… да…

Знал, но не донес! И за «недонесенье», как обычно называют такие «преступления», ему к семи годам прибавили еще пять. И стал он дважды судимым по политической статье, то есть попал в самый тяжелый разряд политических преступников, не подлежавших никаким снисхождениям.

Тут он претерпел еще больше и попал умирать в Маргоспиталь Сиблага, при котором существовал наш «шереметевский» театр.

Протекцией заключенной знаменитой венгерской танцовщицы Долли Текворян (муж — армянин), ныне покойной, был оставлен при госпитале санитаром, аккуратностью и усердием обратил на себя внимание врачей. Доктор-чех, Миклош-бачe (дядя Коля), обучил его основам фельдшерского ремесла и устроил фельдшером в венотделение госпиталя. В этом качестве, уже после отъезда Долли, я и узнала Яноша как человека, близкого нашим актерам.

Вместе с Миклошем-бачe распевали они у нас в больничке венгерские и чешские народные песни, прекрасные, как сама душа музыки, арии из неведомых нам оперетт («Янош —

королевич», например). Янош уже хорошо говорил по-русски, писал даже, ошибаясь только изредка. Так, вместо «меха» он мог сказать «мхи», вместо «я откланялся» — «отклонялся», чем вызывал у нас веселый смех. Его за эти ошибки при обаянии личном все любили.

Однако впереди судьба ему не улыбалась: как дважды судимого его после освобождения не отпустили бы домой, отправили бы на далекое поселение. Он мог никогда не увидеть семью и горячо любимого сына, «ибо не мог и подумать, чтобы обречь всю семью на ужасы поселения. Жена его уже благополучно учительствовала, дети учились в советских школах. Он наивно верил, что после лагерной практики сможет «на воле» работать фельдшером, не имея специального образования. Как снять вторую судимость?

— Мокушка! (белочка), — однажды с криком ворвался он в нашу комнатку: — Я придумал заявление!

В просьбе Яноша о помиловании по второму делу были такие слова: «Я вырос и воспитался в буржуазной Венгрии, с детства слышал, что доносительство на товарищей — страшный и презрительный порок. Меня на перевоспитание услали в Сибирь, и теперь я другой. Я страшно раскаиваюсь, что не написал тогда доноса на открывшихся мне товарищей по заключению… Прошу учесть, что я уже не прежний Янош и дать мне помилование от второго приговора, лишающего меня возможности вернуться домой после освобождения…»

Да, это был не прежний Янош: танцор и обыватель, если б его теперь вооружили, он не просто убивал бы своих мучителей, он бы их пытал, кровожадно, как его далекие предки. Он мечтал пробраться в Венгрию (начало 50 гг.), чтобы рассказать людям истину о советском строе, «поднимать народ на мятежи».

…Радио оповестило о болезни и смерти Сталина. Торжественные траурные мелодии разносились над Маргоспиталем и над страной. Зеки притаились, осторожно скрывая ликование. Я спала после дежурства. Экспансивный Янош ворвался к нам, потный, задыхающийся от счастья, разбудил и, дрожа, зашептал: «Сдох, сдох, Мокушка, уже сдох! Ура! Мы на свободе будем! Я домой поеду! Увижу Маринку, Яношка своего и в ту же ночь — за границу. В Венгрию! Мстить им, Мокушка! Ох, как мстить!»

Так он неистово мечтал в тот день, и никакие мои скептические рассуждения, что смерть одного не разрушила всю систему, не могли погасить новый огонь в его обычно тускловатых глазах.

Неделю-две спустя, он встретил меня с письмом в руках,

постаревший, поникший, молча протянул листок и глухо сказал:

— Я домой не вернусь: у меня там нет больше семьи. Сына, сына у меня отняли… — и зарыдал.

На листочке с самодельной траурной каемкой из черной туши было написано школьным почерком, как пишут в третьем классе:

— Дорогой папочка! Мы не знаем, дошла ли до вашей глухой дали страшная весть: страна потеряла товарища Сталина! Умер, умер гений человечества, наш любимый вождь, друг и учитель! Так много думал он о народе, что мозги его переболтались с кровью (так было в том письме). И он умер. Мы, пионеры, дали клятву быть верными его делу…

А жена Яноша написала: «Вкладываю тебе письмо маленького Яноша. В дни великого нашего траура он особенно волнуется, что ты можешь этого еще не знать…» И далее следовало то, что обычно пишут жены ссыльным мужьям: о здоровье, посылках и прочем.

Видимо, это было первое сыновье письмо, где говорилось не только о школьных отметках и футбольных успехах, но о том, что навсегда опускало плотную завесу между заключенным ни за что отцом и сыном, которого воспитали его самые страшные враги.

Читая о венгерских событиях 50-х г.г., я все думала о Яноше, мечтавшем добраться до Венгрии, чтобы рассказать Европе истины, постигнутые им в советских лагерях, чтобы поднимать пылких венгров «на мятежи».

А быть может, и попал он туда после амнистии, и раздавили его гусеницы советских танков?!

3. Верочка

Мне уже тогда, более 35 лет назад, захотелось написать о ней и начать прямо со школьной пионерской линейки, на которой стоит ребенок, пионерка страны Советов, и именем Сталина клянется… На такое начало натолкнула меня встреча в камере, где под следствием сидели только мы двое. После разговора о настоящем послевоенном положении Родины пухленькая девчонка с удивительно русским некрасивым личиком, зарыдав, билась головою о стену и, всхлипывая, твердила:

— Не хочу! Мне стыдно, стыдно в России жить! Как это хорошо, Евгения Борисовна, что Он посадил меня в тюрьму! Тут для нас честнее быть!

Ее вызывали на допросы чаще, чем меня, и держали дольше, не давая передохнуть. «Кого из партизан выдала?» — спрашивали. И пытали «неболевыми методами»: оскорблениями с

употреблением непечатных слов, долгим сидением на ребристом стуле без спинки. Сменялись следователи, уходя на отдых, а она должна была сутками сидеть на узенькой рубчатой дощечке. Это продолжалось долго, пожалуй, дольше бессонницы, которой пытались «воздействовать» на меня в начале следствия. На местах, предназначенных природой для сидения, у Верочки образовались «просидни». Тогда мы вдвоем в камере придумали: иголки, нитки и шитье нам разрешали, вещи тоже были при нас, и мы пришили к ее трусам с изнанки по стеганой ватной рукавичке. С допросов Верочка возвращалась теперь веселенькая, хоть и усталая: ни капельки не больно!

После репатриации до ареста Верочка уже успела получить от матери письма. Из родного города Калинина ей посылали поклоны именно те партизаны, во главе с начальником отряда, в выдаче которых немцам, после того как она попала в плен, ее теперь обвиняли следователи Кемеровского НКВД.

Бывшие партизаны спрашивали с недоумением Верочкину мать, как их «кнопка» уцелела в плену, как попала в Сибирь да еще на поселение, и чем они, однополчане, могут ей помочь. Помочь оказалось нельзя: ее выпустили из ПФЛ на поселение, прикрепив к шахте, девочка безропотно и хорошо работала, но потом ее «все равно арестовали». А уж отсюда ей было никак не оправдаться, и ей грозила статья 58-1-Б, то есть измена Родине военнообязанного.

«Кнопка» — так фронтовики называли совсем маленьких кругленьких девчонок — попала в Сибирь путями сложными.

В партизанки советская, школьница пошла после оккупации Калинина, когда своими глазами увидела труп изнасилованной немцами девочки-подружки. Мстить! У Верочки ноги были тогда тоненькие, маленькие, а ей достались огромные валенки. И когда отряд, в котором она была, окружили немцы, девочка не смогла по глубокому снегу от них убежать, как другие, из-за тяжелых тонущих в снегу валенок. Не сразу, но она догадалась их сбросить и побежала по топким сугробам босиком, да снег был ей, маленькой, по грудь, и ее поймал высокий патрульный немецкий солдат.

— Я ему все руки искусала, царапалась, в исступлении кричала: «Убей меня, гад, сволочь, сейчас же убей!» — Но он дал мне тумака, и я потеряла сознание. Очнулась от мотоциклетного шума. Ее куда-то везли.

Увидя крайнюю молодость пойманного «языка», немцы ее даже не допросили — тому особенно не хотел верить следователь с фамилией Краснов, — который, впрочем, всю войну как поняла из разговоров с ним Верочка, провел под защитой снегов

сибирских. Немцам, видимо, и без нее было известно. Выдали тотчас ей на босые приморожденные ножки маленькие сапоги, угостили шоколадом. Вначале она была уверена, что он отравлен, и охотно положила его в рот, не опасаясь даже мучений от предполагаемого яда, оказалось просто вкусно, да и не ели партизаны несколько дней. Потом ее направили на кухню в их «эйн-зац» картошку чистить.

К несчастью, эта часть была частью немецкой разведки или СС, чего она не знала до самого ареста — для нее все они были просто немцы — враги. А поваром у них оказался пленный русский, который в первую же ночь взял Верочку «в жены». А она и рада была: не немец же, хоть и «бывший свой», но свой. Так она и поехала с ним «за границу».

Я не помню перипетии ее дальнейшей судьбы, но уже понимавшая, что отныне она «изменница Родины», узнавшая многие и многие истины об отношении к людям в «сталинском парадизе», как пошучивали немцы, она уходила глубже и глубже в немецкий тыл, изо всех сил цепляясь за русских солдат, волею таких же случайностей оказавшихся в стане врага. Последним мужем ее был пленный Вася из Новосибирска, который от голодной гибели примкнул к сибирским казакам, образовавшим за рубежом свои антисоветские отряды.

После насильственной репатриации обратно на Родину их везли вместе, в одном эшелоне со мною. Только Вася ехал в мужском вагоне с более суровым режимом, а Верочка — в женском. В дороге был у нее выкидыш шестимесячный. Привели дрожащую «кнопку», всю окровавленную, в наш санитарный вагон, и долгое время она боролась со смертью. Бывало, по утрам бегу вдоль стоящего эшелона с ведрами, разношу горячий кофе «только поносникам», Васин голос кричит в узкое окошко-продух:

«Сестричка, как там моя Верочка?» И наступил день во время нашего полуторамесячного пути, когда я крикнула в ответ, что она поправляется.

Так мы познакомились в первый раз, а потом встретились уже в камере следственной тюрьмы, и я ее узнала по изрядно обтерханному заграничному стандартному сиреневому платьицу. А Васю к тому времени уже осудили, еще в ПФЛ «взяли». Привыкнув к смене «мужей», Верочка не так часто о нем вспоминала, ее больше всего волновала моя смертная тоска по моему мужу, любовь к нему, чувство ей прежде неведомое. Я уже знала о нем по его единственному ко мне письму, что он «едет далеко и надолго» и просит устраивать свою судьбу, как могу.

Однако Верочке довелось встретиться и со свекровью.

В те годы меж нами ходило множество «бродячих сюжетов» о

неожиданных встречах с близкими. Был сюжет о советском офицере, застрелившем увиденную среди нас жену. И о генерале, который, наоборот, нечаянно встретив жену и ее нового мужа — казака, посадил их в свою машину, казаку за спасение генераловой жены дали индульгенцию (казаки действительно спасали русских девчат из остовских лагерей с невыносимыми условиями, беря их в жены), а жену, осыпав заграничными трофейными подарками, генерал увез с собою. Свидетелем такой случайной встречи-чуда оказалась я и сама.

Эшелон наш долго стоял в Новосибирске, в тупичке. Пожилая женщина брела вдоль путей по своим бабьим делам.

— Эй, тетка! — закричал часовой — тут ходить не разрешается! — Подняла баба глаза. Прямо перед ней стоял на рельсах товарный эшелон с наглухо закрытыми дверями, узенькими под самой крышей окошками, закрученными колючей проволокой, с часовыми на площадках. Сквозь колючую проволочную решетку продухов-окошек смотрели какие-то темные лица, небритые, с сумрачными глазами.

Ходили по Новосибирску слухи, что через их станцию денно и нощно с запада гонят эшелоны со «власовцами» какими-то, и те власовцы — изменники Родины. Задумывались железнодорожники: «Что же это? Не может быть столько изменников — целые армии везут.» — А кто уже кое-что слыхал, о том, кто они. Мне лично однажды злобно сказал один сибиряк: «Мы тут за вас Богу молились, а вы… Столько вас, не сумели Расею ослобонить…» — И плюнул злобно. — «Ведь вас вон какая сила была… Э-эх, вы!»

Поняла тетка, некогда раскулаченная, что эти небритые за решеткой и есть они, власовцы. Вспомнила бабка похоронную на своего Васю, сына, честно погибшего в честном бою с врагом, и подняла было кулак погрозить этим проклятым изменникам, может из-за них ее Вася погиб. Но вдруг из окна-продуха услышала: «Мама! Мамаша!» — и в окошке среди других темных лиц увидела лицо своего Васи. Не упала, не сомлела, кинулась к вагону с криком: «Сыночек!» Похоронная-то ошибкой оказалась!

Перестали клацать затворами часовые, такие же парни-солдаты, как ее Вася когда-то был. Побежал один из них к начальству эшелона. А тот за многие недели пути от границы понявший, что везет не преступников каких, а таких же русских солдат, как и он сам, только попавших в большую беду, да еще с семьями почти все, разрешил, пока эшелон стоит, вывести Васю на свидание с матерью. Выпустили из женского вагона и невестку Верочку.

Жили недалеко, послала мать за продуктами, за другими

членами семьи. Начальник эшелона утешал: разберутся, выпустят ее Васю с невесткой по прибытии на место. Ну… Васю на 10 лет куда-то, Верочку сперва на поселение, потом тоже на десятку. Разобрались!

Я помню, как кружком сидела семья на травочке, столь необычно встретившись, и Верочка была в этом же единственном полученном по бечугшайну на неметчине сиреневом платьице.

В камере для меня выяснилось, что хамоватая девчонка оказалась неглупой, мыслящей, не по образованию, а по впечатлениям жизненным, заграничным: побывала и в Германии, и Италии, и в Югославии. В плен попала пятнадцати, теперь ей было около двадцати. Кругленькое лицо еще сохраняло детские черты. Порою страстно вскрикивала: «Ой, как на свободу хочется!», особенно, когда до открытого летом тюремного окна откуда-то музыка долетала.

«Дела» своего в деталях мы друг другу не открывали, но что-то нас, хотя разные мы были, связывало крепко. Может быть общность судеб? Общность будущих испытаний? Общность отношения к событиям и тайным путям только что отгремевшей войны? Обе мы прибыли «с другой планеты». Мне не скучно было с девочкой, чувствовала я, как ее облагораживает мое влияние. Она совсем перестала «выражаться», стала добрее и чище. Я поделилась с нею скудным своим гардеробом: девчонка была почти голая. Это ее особенно поразило при общей тогда жадности к вещам, особенно у репатриированных. Она и до сих пор, если жива, помнит, как, разорвав пополам одеяло, я шила ей теплые штаны. Шла зима. Другая половинка одеяла у меня и по сейчас «живет» в качестве половика.

Судили ее раньше меня. «Я вас, Евгения Борисовна, никогда не забуду! Вечно буду любить!» — сказала она мне при разлуке, отправляясь на суд. Прибыв после своего суда в общую тюрьму, узнала я — она просила мне передать, — что дали ей 10 лет по ст. 58-1-Б. И столько, видно, рассказала девкам-уркам обо мне хорошего, что меня никто не обидел. Там же сообщили мне по Верочкиному поручению, что блондинка, к нам однажды в камеру посаженная, оказалась «наседкой» и много повредила Верочке, которая неосторожно была с нею откровенна.

Верочка! Тебе теперь, поди, за пятьдесят! Жива ли ты, невольная моя подружка? Или, не погибнув на «фашистской каторге», погибла где-нибудь «во глубине сибирских руд»? От болезни, от голода или насилия? Трудно, ох, трудно молодой женщине в лагерях!

4. Вайс и Герд

Долговязый и нескладный стоял полуголый огромный подросток перед врачом Беловского лагеря, комиссующим вновь прибывший состав. Мальчишку покачивало от слабости, он заметным усилием воли преодолевал ее, едва придерживая штаны длинными пальцами костлявых рук. Мослы его были огромны, как у лошади, но лицо— с глазами ярко-голубыми, простодушно открытыми на мир, с расквашенными по-детски губами, было совершенно ребяческим, без признаков юношеского пушка.

— АД-4, — сказал мне для записи доктор, что означало: алиментарная дистрофия в последней стадии.

— Гельмут Вайс. 17 лет. Немец, — записала я и добавила распоряжение врача: «госпитализировать». Спасти малого. Высоченный костистый парень, немец из Саксонии, лег на койку в стационаре. Ночью во время обхода увидела огромные серые, хотя и отмытые в бане, ступни, далеко торчавшие между решетками спинки. Я подобрала ноги, натянула на них одеяло, а он спросил: «Скоро утро?» Это он ждал свою хлебную пайку.

Горше всего во время голода приходилось людям с большим костяком. Они умирали первыми. Изредка врачи выписывали таким «великанам» двойную порцию похлебки.

В беловском лагучастке голод уже заканчивался, так что в больничке оставались «сливки» — несъеденные больными остатки тощего супа. Обычно их подъедали ненасыщавшиеся. Потом для этой цели стали держать свиней.

Вайс — мы сразу стали называть его по фамилии, превратив ее в имя — мог съесть сразу полведра таких «сливок». Раздобыл каким-то чудом ведро свеклы, пек ее, варил и в полдня съел. Смотрел на меня собачьими глазами, когда я раздавала витаминные шарики на сахаре. И хотя рацион был еще постен и скуден, все-таки через месяц-другой парень «выелся», то есть перестал томиться постоянным рвущим желудок голодом. Мы оставили его пока санитаром.

17 лет! Как попал в советские лагеря да еще просидел уже почти три года! За что? Статья у него была ужасная: «подготовка вооруженного восстания».

Сынишка саксонского крестьянина состоял в Гитлерюгенде[28]. По окончании войны за одно это советские военные власти, к удивлению, не преследовали и не карали. Летом 14-летний Гельмут, бродя по окрестностям, в куче камней нашел кем-то засунутый туда «Вальтер». Может быть, немецкий офицер, солдат или власовец в бегстве бросил его туда.

Мальчишка в восторге схватил совершенно исправное оружие и спрятал. От отца скрыл находку, но не выдержал секрета и

похвастался сыну соседа. Сын — своему отцу, тот донес (фашистская привычка), да еще рассказал, что Вайс был в Гитлерюгенде. Гельмута взяли. 14 лет не стали помехой, очень уж рослый был парень! Был он объявлен 17-летним и в день-два осужден «за подготовку вооруженного восстания». Пока родные хватились доказать, что он ребенок, подоспел этап, и поехало немецкое дитя на восток, сначала куда-то в Польшу, потом докатилось до Кемеровской области.

Безусловно, не будь исход войны гибельным для Германии, из него выработался бы правоверный фашист: и сама атмосфера страны, и сила огромная в парне, и некоторая умственная туповатость, свойственная офашизированным немцам — все этому способствовало бы. Не случись такая с ним беда, мальчишка, не могущий иметь убеждений, а только «стереотип мышления», быстро перековался хоть бы и в комсомольца. Но пока он был дитя, фашиста из него делали в советском лагере. Видимо, организм был могуч, если мальчишка не погиб в своих трехлетних скитаниях.

Среди лагерного разврата он оставался чистым и невинным, хотя в Польше его два года держали в женской зоне, ради издевательства, что ли. Над его невинностью подтрунивали больные и персонал, хотя я не позволяла при нем говорить гадости. А мне он сказал однажды, что он так много в этой области видел, о чем я даже и подозревать не могу, и никогда никому рассказать нельзя, что женщины ему омерзительны, и, вероятно, он никогда не сможет, Как он выразился, «делать детей».

Ко мне его привязанность была огромна, может быть, по расчету получить что-нибудь лишнее, может быть пункт моей статьи к этому располагал, может быть мое им еще не виданное в СССР внимание к людям. Помогал мне во всем, ничего не крал, даже очень голодный, и никогда ничего не просил.

Губастый, с удивительно детским лицом, огромными, как яйца, голубоватыми белками глаз, он был совершенно бесхитростен, удивительно правдив. Сын крестьянина, поражал тем, что мы называем воспитанностью.

Мне же хотелось покровительствовать этому огромному ребенку и потому еще, что нашел он погубившее его оружие в камнях. В кучу камней сунул свой револьвер и близкий мне человек, когда пришло время с оружием расстаться. И все мне казалось, что это я лично перед мальчиком виновата, хотя местности были разные.

Однажды на комиссовании обнаружился еще один совсем юный — 18 лет — немец Герд, из пленных юнцов, призванных

Гитлером в последние дни войны и не успевших сделать ни одного выстрела. Герд вроде бы получил какую-то военную подготовку в школе и выглядел «мальчиком из хорошей семьи». Ослабев, он тоже попал в больничку, но в отличие от Вайса был грамотнее — из гимназии, городской житель.

В поведении обоих «фашистят» было, несмотря на разную социальную их принадлежность, много общего: какое-то достоинство, европейская сдержанность какая-то. Они никогда не жаловались, не ныли, в рассказах о своих бедствиях были сдержанны. Я не видела их крикливо страдающими, как принято у нас, русских.

Герд попал в советские лагери не сразу, как Вайс. Свои 25 лет советского заключения он получил после лагеря военнопленных. Когда их стали постепенно отпускать в Германию, он по полной безвинности и юным годам попал в первую партию. Немцы, остававшиеся пока в плену, надавали ему свои адреса, сообщить родным по возвращении домой. Он простодушно записал адреса на листочке и положил в карман. На вахте при выпускном обыске листок был обнаружен.

— Адреса?! — и в результате «шпионаж» и 25-летний срок.

Все было так чудовищно, что парень не мог осознать реальности случившегося, и так же, как Вайс, относился к своей участи без явных признаков отчаяния.

На переломе зимы 48–49 года нас из Беловской пересылки отправили в спецлагерь для 58 статьи в Киселевск. Врачом стационара сделался доктор Тоннер, обрусевший голландец, которого вместе с советскими немцами выслали, а потом посадили. (В те годы даже швед тоже считался «немцем». Так выслали Витьку Бутлара). Тоннер снова госпитализировал двух юношей, и они лежали в палатах для самых тяжелых, ради присмотра за ними, так как я была единственной сестрою, но все-таки не могла не спать. Герд и Вайс были совершенно идеальными добросовестными мне помощниками, на них можно было полностью положиться, Мальчики тактично говорили между собою по-русски, изредка только перебрасывались немецкими фразами, «чтобы не забыть родной язык», как объяснял мне Герд.

Ночью я вставала и обходила палаты. В одну ночь вижу; Вайс спит, рядом, сидя на своем ложе, Герд мастерит что-то.

— Чем ты занят, Герд?

— Т-с-с! — Он прикладывает палец к губам и показывает на спящего Вайса. — Я делаю для него торт. Завтра у Гельмута день рождения. — «Торт» представлял собою кусок черного ржаного пайкового хлеба, квадратом вырезанного из пайки. Он положен на красиво вырезанную из бумаги «кружевную» салфеточку, и я

понимаю, для чего вечером Герд попросил у меня листок белой бумаги. В хлебную мякоть Герд узором втыкает скопленные за несколько дней лекарственные витаминные шарики на сахаре. Хлеб — это тоже жертва: от скудной пайки в 600 грамм надо было вырезать изрядный кусок.

Узор из белых шариков образует число 18 — столько лет исполняется Вайсу. Теперь он — совершеннолетний. Розовые, разложенные с чисто немецкой аккуратностью, украшают углы. Растроганная, я приношу Герду еще горсточку витаминов и к его подарку добавляю от себя карандаш и маленькое саше для гребенки. Во время утреннего пробуждения именинника я буду занята в амбулатории.

Утром сияющий Вайс приходит благодарить меня. Мальчик в восторге! За тысячи километров от родины у него есть друзья, устроившие ему настоящий «гебурстаг».

В ту суровую зиму мы с Тоннером спасли этих двух немчат. Весною Вайс, уже здоровый, пошел на общие работы, Герда, нежного, как девушка, и более образованного — он знал латынь — Тоннер понемногу приучил к фельдшерскому ремеслу, и летом Гердик уже чудесно делал вливания и аккуратнейше фасовал порошочки в чистенькой нашей аптечке. И даже ухаживал за хорошенькой новой сестрою. Я же в этом лагере была в новой ипостаси: актрисой создаваемого там театра.

Если они живы, где и кто они теперь, два немецких мальчика, два «фашиста» — крестьянин Вайс и интеллигент Герд? И что они думают об СССР?!

Глава IX
СМЕРТЬ «УСА»
(Запись конца 70-х г.г.)

Записки, эти я пишу наспех, «между делом» — рукоделиями краеведческими (в соавторстве с мужем и Розенфельдом) и домашними крайне тяжелыми для меня обязанностями, поэтому записки бесформенны (я спешу, не додумываю), не доделаны, не закончены. Однако следует (если кто их будет читать) завершить хотя бы сюжетную линию.

«Шереметевский театр» распался, как распадалась к 1953 году вся экономическая система сталинских лагерей. Театр пал жертвой начавшегося еще до смерти Сталина сокращения расходов на содержание в лагерях «внеэкономически принуждаемых к труду». Кормить — хоть и впроголодь, миллионы зеков стало дороже, чем стоила возросшая техника.

Допускаю, что сам «Ус», как его называли в лагерях, подал

идею о нерентабельности нашего ручного труда при заметно усиливающемся машинном. Но с зимы 1952-53 года постоянно намекали посещавшие нас генералы НКВД: будут изменения и реформы. Может быть, и у всей страны уж лопалось терпение: ведь они начали сажать и «своих». Я относила эти обещания изменений за счет того, что они боятся восстаний внутри лагерей (слухи о которых докатились и до нас) и поэтому создают у заключенных иллюзии грядущей свободы. Такой приемчик у них существовал.

Любовь народа к Сталину? Это до сих пор неразгаданный феномен. Ведь говорил же мне следователь, что расстреливаемые в «застенках» часто умирали с его именем на устах. Что была эта любовь? Тоже стереотип мышления? Вероятно. У меня лично имя его и представление о нем даже в период моего стереотипического мышления не вызывало особого пиетета. Просто, он и его культ был как данность. Но помню, во время войны, в Ставропольском моем изгнании, директор школы, где я после эвакуации из Москвы работала, когда мы с нею планировали украшение школы, сказала: «А тут… — она помолчала взволнованно и с безусловной искренностью, в захлебе верноподданнического восхищения продолжила… — тут мы повесим портрет товарища Сталина». Этот захлеб восторга при имени вождя тогда уже меня поразил и запомнился до сего дня.

Ну, откуда это? От монархических «генов», от крепостного права, от религии? Феномен не просто уважения к Ленину и Сталину, а именно культ, иного слова не найдешь. И это не только национальное наше, с такой же хлыстовской страстностью немцы (особенно дети) молитвенно обожали Гитлера. Это был именно захлеб.

И вот он умер. Его не стало. Как же встретили эту смерть там, где его так же — «взахлеб» ненавидели и считали только его одного виновником всех своих бед и бед России?

— Эй, ребята, «Ус» умер! Скоро вы будете на свободе! — кричали в марте 53 года заключенным в столыпинских вагонах ликующие вольные солдаты из встречных поездов, а тем, кто за закрытыми окнами не мог расслышать, крутили воображаемый ус и рисовали на стекле оконном кресты.

У нас в Маргоспитале, где по закрытии театра я работала снова сестрою гнойно-хирургического отделения, началось так.

Мне оставалось около 4 месяцев до моего юридического освобождения.

— Сталин заболел! — встретили меня больные, когда я утром пришла на дежурство и попыталась выключить невероятно орущее радио, по которому периодически передавали бюллетени

о его состоянии. Как позднее выяснилось, он был уже мертв, не то Хрущев, не то Берия прокричал свое знаменитое «Тиран сдох», но люди не смели выключить орущие тарелки. Ведь многие и сидели за то, что выключали оранье и карканье всюду торчавших репродукторов: те, кто желал от кого-то избавиться, доносили: «Не хочет слушать советские передачи» — и 10 лет! Уже много поздней, возвращаясь из Воркуты, куда я ездила на свидание с еще «сидящим» мужем, я, доведенная до обморока орущим в вагоне радио, попросила выключить или хотя бы уменьшить карканье и шипенье черной тарелки-репродуктора, но кто-то «ученый» сказал: «Э, нет! Выключайте сами!»

Так и тогда. Больные не спали, радио грохотало во всю мощь, сообщая сперва о ходе болезни, потом о смерти, о соболезнованиях, митингах, вперемежку с траурной музыкой, которая по громкости и музыкой не казалась. «Страна прощалась с вождем». Тяжелые больные не могли спать. Нервы были напряжены до отказа. Все молчали, покряхтывая, притаенно, хмуро, не выражая ни печали, ни радости. Мы и не знали тогда, что он, одержимый паранойей, находился «сам у себя под стражей» в подмосковном собственном бункере.

«Сдох, наконец, сдох!» — разбудил меня Янош в объявленный день его смерти, когда там, наверху, кое-как поделили его проклятый народом престол.

— Вы еще о нем пожалеете, — сказали иные надзиратели, — он готовил амнистию. — Все свершалось еще его именем, хотя он был уже и юридически мертв. В первый раз в лагерях я под впечатлением нескольксуточной непрерывной траурной музыки, дивной, дополняемой лучшими музыкантами и певцами страны (тогда они еще были), разрыдалась. Никаких иллюзий у меня не было, я понимала? один человек не мог быть причиной ВСЕХ народных бедствий, жестокостей и репрессий, возглавляя лишь целую систему отечественного фашизма, а у каждого, кто его заменит, руки в крови по локоть. Даже было предчувствие: все жестокости антинародного режима возложат теперь на него одного. А сами не будут ли хуже? Так почти и случилось, собственно. Траурная музыка пророчила мне лично новые бедствия. Я понимала, что сейчас «паны» дерутся за власть, как бы у нас не затрещали чубы.

Потом мужчин выстроили во дворе на траурный митинг и, прочитав правительственное сообщение, от себя добавили, что Сталин готовил амнистию. Слушали молча, хмуро, не выражая никаких чувств.

Муж потом рассказывал: в их лагерях особого режима в Воркуте, где он отбывал новый 25-летний срок, тоже выстроили

зеков. Все — в шапках.

— Шапки — долой! — Не снимают. Повторили команду с интонацией зверской. И тогда сотни шапок взлетели вверх (в армии — знак ликования), прежде чем оказаться в левой руке по уставу. В тех, режимных, лагерях для одних 58-х ненависть к еще живущему Сталину обычно всегда выражалась открыто: появлялся ли он в кинохронике или в образе, поднимался свист, кричали «гуталинщик»! «Долой!» Киномеханики спешили скорее провертеть такие кадры.

Несколько дней спустя, Верочка Кочукова получила письмо из Ленинграда, что ленинградские дети на вагонных рессорах, в тамбурах, на крышах помчались в Москву на похороны. Родственники обронили фразу, что, к счастью, их мальчик за ночь пути так устал, что день похорон проспал. Еще позже стало известно, почему они написали «к счастью». Ходынка похорон стала еще одной гекатомбой по достоинству завершившей деятельность «обожаемого вождя».

В последующие недели в амбулаторию Маргоспиталя из соседней тюрьмы потекли к врачам-специалистам массы вновь арестованных в лагерях зеков и вольных. «За что?» — «Радовались смерти «Усатого», — отвечали новые пациенты.

Все такие экспансивные были тогда посажены с добавлением срока, если он уже был. Все пока оставалось по-старому. Отпустили ли их потом — не знаю. Вскоре была объявлена так называемая «бериевская» амнистия.

Умер «Усатый». Функции его сползли вниз ко множеству местных «царьков», к партийной элите, раздающей партийные блага непосредственно. Что лучше? И так до сего дня[29], если исключить половинчатую благодетельную «оттепель» хрущевских времен. А сейчас уж и не «культ личности», а «культ должности». Хорошо выразил это и Евтушенко в «Потомках Сталина» и скульптор Эрнст Неизвестный, ныне эмигрант, чей памятник теперь стоит над Хрущевым на Новодевичьем. Посетив выставку Неизвестного и других абстракционистов, Хрущев закричал: «Это не искусство». Эрнст ответил, что Никита в искусстве просто не понимает. Не в пример Ленину, Хрущев сказал: «Ну, хорошо, когда я был шахтером, я, положим, не понимал, но сейчас я как-никак глава правительства…» И сейчас ничтожества, дорвавшиеся до партийной должности, диктуют специалистам. Так была погублена взрывом целая плеяда ученых-космонавтов: приказали «должностные лица» отправить ракету, которая не была готова. Я уж не говорю об изуродованной психике целого народа, отравленного такой системой. Молодые всему этому просто не верят, ничего не знают. (Особенно не прочитавшие «Архипелаг

Гулаг», обнаживший истинное лицо того, что называют советской властью. Но кто книгу читал? Единицы!) «Россия в концлагере» — крепостная, фашизированная, сломила и народную гордость, и национальное самосознание, породила шовинизм и в последние годы открытый гитлеровский антисемитизм.

Коснусь еще «бериевской амнистии», с которой совпали сроки моего юридического освобождения.

Энкаведешники растерялись. Куда меня? На поселение? — Оказалось, я не успела быть зарегистрированной как поселенка, когда арестовали. Сутки лишние держали меня в зоне. Решали, что со мною делать. Отпустили в станицу Ново-Александровскую Ставропольского края, где я прожила 2 недели и там услыхала о снятии Берия. Было явно не до нас. Я уехала сперва в Пятигорск, где меня все-таки не прописали, пришлось вернуться в Кемерово и прожить там год. Амнистия то ли действительно обдумывалась еще при «тиране», то ли служила поиском популярности для другого грузинского наполеончика.

В первую очередь выпустили массы тяжелых уголовников и «мамок». О том, как, получив своих детей в детдомах, «мамки»-урки от них избавлялись по дороге, я уже писала. А эшелоны освобожденных — так называемые «пятьсот веселые» поезда, — день и ночь шли с востока на запад, набитые уголовными элементами. Да за долгие годы заключения и многие так называемые «бытовики» успели утратить облик человеческий. Эшелоны шли через Сибирь, как буря. Зеки убивали железнодорожников и паровозных машинистов (если имелся свой умелец), нападали на вокзалы, грабили магазины. Ведь начлаги, стремясь поскорее избавиться от тяжелейшего элемента — блатных, отпускали их в первую очередь, а за взятки (постепенно проникающие во все поры системы к тому времени) отпускали и не подлежавших амнистии. Кроме нас, «политических», разумеется. Даже в июне уже, в том «пятьсот веселом», в котором я ехала от Новосибирска до Харькова, еще резали и грабили. А политические и порядочные люди из бытовиков продолжали «сидеть». Из «политических» амнистия затронула только тех, кто был посажен «по Особому совещанию», то есть без суда, и «пятилеток». Но таких было крайне мало. Так «госпреступники» остались «в скобках», а истинное преступление было выплеснуто в сердце страны. Большинство не амнистированных тогда просто уже вымерло, таких теперь называют «инакомыслящими» и карают инако: психбольницами и тайными лагерями. Многому помог Хрущев, поднявший «железный занавес» между лагерями и общественным мнением заграницы, многие десятилетия дремавшей, будто бы в неведении.

Иные считают, что причиной и бериевской амнистии, и все-таки последовавших (очень непоследовательных) льгот для «политических» послужили их лагерные бунты, прокатившиеся вслед за «бериевской» амнистией.

Так или иначе, лагеря пустели. Не прописанная в Пятигорске, я вернулась в Кемерово, так как еще ранее в одном из разговоров с начальником ИТК, когда я не выразила радости о скором освобождении — что мне придется делать? — он обнадежил, что меня они устроят «у себя». Приехав в Кемерово, пошла к нему. Он покраснел: «Знаете, я прежде бы помог, но у нас лагери закрываются после амнистии, и (с сокрушением) даже многие наши офицеры идут работать в шахты, так что…». Злорадно подумав, что наконец-то их офицеры-«пущаи» нашли свое истинное место, я больше к «своему учреждению» не обращалась. Приходилось и газетами торговать — нас еще боялись брать на работу. Два с половиной года я была вообще без работы.

Так я вступила в мир, без иллюзий, претерпев после освобождения чуть ли не равное количество бед. Многое поняла и оценила в ретроспекции уже, теперь числюсь в «инакомыслящих». И вот — эти записки.

Глава X
ЛАГЕРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
(в обработке автора)

Тихий разговор на нарах.

— Интересно, что с Мейерхольдом?

— Говорят, где-то на Печоре самодеятельностью руководит.

* * *

— А говорят, Фанни Каплан, что в Ленина стреляла, еще жива. В централке — не то Иркутской, не то Орловской. В совсем изолированной одиночной камере. Никто не знает, кто она. Живет под номером. На прогулку выводят ночью. При ней два постоянных надзирателя, оба глухонемые. Из бывших зеков. Так она, говорят, завела себе голубя. Приручила, залетел случайно в камеру. С ним она и разговаривает…

— Вот ужас!

— Конечно. Казнить смертью уж лучше бы…

1. Явление Христа народу

Бандит-азербайджанец убегает из города по накаленному от солнца шоссе от преследующих его милиционеров. Он сбросил рваные ботинки и мчится, храпя и задыхаясь. Голые его пятки почернели от гудрона, локти работают как поршни, выпученные глаза вылезают из орбит от натуги. Ему навстречу по шоссе медленно бредет странно одетый в светлый хитон человек с просветленным лицом. Бандит замедляет бег.

— Э, дружьба, куда идошь?

Человек поворачивает к вопрошающему нездешнее лицо и голосом, тоже нездешним, кротко и тихо отвечает, показав куда-то назад:

— Оттуда иду. В город.

— А как зовут тебя, дружьба? — нащупывая кинжал у пояса, спрашивает бандит и обтирает горячий пот, размазывая грязную пыль по носу и щекам, поминутно оглядываясь назад.

— Люди зовут Иисус Христос, — потупив глаза, отвечает встречный.

— Как? Хыристос? Это каторый Сын Божий?

— Так называют!

— Это который Спасытыл?

— Так называют…

— Слюшай, Спасытыл, спаси мене от милиции, я тебе за это жизн сохраню. Нэ буду, нэ буду резат, панымаишь?

Христос молча неторопливо снимает с себя хитон и, оставшись лишь в набедренной повязке, набрасывает бандиту на плечи. У того мгновенно меняется внешность. Он оглядывает себя и, хохотнув, не опасаясь, что опознают, не спеша продолжает путь. Обнаженный Христос снова трогается в направлении города.

Его увидели преследующие бандита милиционеры. Их воющая мотоциклетка с коляской круто со скрежетом останавливается и, пахнув удушливым газом, преграждает ему дорогу.

— Эй, голый! — кричат блюстители порядка. — Ты кто?

— Христос я, — застенчиво отвечает человек и чистым взором глядит на неведомое, похожее на гигантского жука вонючее животное и оседлавших его двух одинаково одетых мужчин.

— Хто? Христос?! Тю, Жора, да это псих! Вылазь с коляски, я его в дурдом повезу, заразу.

— А тот, как же?

— Тот уже, видно, далеко ушел! Поздно мы хватились догонять.

Они подходят к безмолвно стоящей нагой фигуре, грубо связывают руки и с матерками толчками усаживают в коляску

мотоциклетки. Один вытирает пот взмокшей фуражкой и отходит к кювету. Другой садится за руль. Дохнув вонью, со скрежетом и оглушительным лязгом машина заворачивает в город.

Коляска пуста.

2. Огонь по Христу

Бригада заключенных работает на лесоповале непромышленного значения, где нет никаких механических пил, трелевочных машин, вертолетов, и только к концу дня старенькие медленные трактора со скрежетом и хлопаньем поволокут на огромных санях мощные порушенные стволы-дрова к лагерю, где рабочие-зеки живут. Дрова для отопления самого лагеря.

По пояс в снегу, одетые в ватники давнего срока, в валенки, растоптанные и латаные-перелатаные, грозные на вид мужики с топорами и двуручными пилами перебираются от дерева к дереву. Мороз. А тепляков нету.

Если сверху посмотреть на вырубку редеющей лесной опушки, — фигурки людей покажутся беспомощными и крохотными, но наблюдателю с земли издали они представятся богатырями. На заготовку топлива для своей потребы лагерь послал самых сильных и крупных зеков. Слабосилки тут мало, она следит только за кострами.

Пара-другая лесорубов присядет к костру ненадолго, мрачно пожует кое-что, валенок стянув, перемотает портянку — и за работу скорее. Здесь — тоже норма, тоже план;

За нормой следит бригадир, по лагерному «бугор», могучий, краснорожий, добротней других одетый дядька, переходящий от звена к звену. Стоять, наблюдая да покрикивая, ему в сильный такой мороз невозможно, он то отюкивает топором сучья, легонько, будто и не тяжело, то помогает вывязить из сырой древесины засевшую пилу. В воздухе визг пил, хруст, мат, натужный сип. Мороз!

Место работы на опушке и по за ближними деревьями оцеплено часовыми. На дальних лесоповалах не всюду они есть — там побег невозможен в крутой тайге, в этой компании их много: преступники все крупные — «государственные». И вся площадь работ на уровне земли до заснеженных веток опоясана двойной цепью алых флажков, хорошо на снегу видных. Преступишь эту цепь — считается побег. Собаки привязаны по кругу.

Вышли на заготовку дров затемно. Вернутся уже по темноте. Поэтому конвоиры бдительны. Им, пожалуй, тяжче, чем зекам, хоть и огромные тулупы крепкие для них привезли, и валенки по примеру фрицев, засунуты в соломенные лапти — недвижно

трудно стоять. По очереди к костру подходят. Костер для них особый.

Начконвоя — молодой старшина войск НКВД, тоже у костра, то по кругу ходит, зыркает, то с бригадиром совещается. Лагерь недалеко, в каком-нибудь часе ходьбы, поэтому в полдень привозят сюда в полевой кухне обед для зеков и конвоя. У каждого зека краюшка хлеба от выданной утром пайки в тряпицу завернутая за пазухой сохраняется, потом пропитываясь. Часовым хлеб привезут в передке полевой кухни, от мороза закутанный, теплый. И еда им будет в отдельном термосе. А зекам — баланда «из палочек» колбы да две-три ложки каши. Хотя и распорядился начальник на лесозаготовку баланду погуще приправлять вонючей рыбешкой, все равно, в густоте только хилые косточки окажутся. А зекам сейчас в твердое бы зубы врезать. А твердое — один хлеб. Да что его — кроха!

Приглядись поближе к «богатырям». Ой, не крепки они, все худые, заросшие, глаза с блеском голодным. Да и одеты так, что без работы и движения ни минуты не простоишь! Валенки кое-как починены, рукавицы стеганые у каждого, шапки зато без меха, просто стеганые картузы на вате с наушниками. А брючные ватные комплекты вовсе поношены: иные поперек изветшалой продольной прострочки по вате примотали их к ногам еще и ватными «лентами».

Когда привозят баланду, все бросают пилы свои и топоры, кидаются к подъехавшей кухне. Это священные минуты — питание. Привезли в мешке и алюминиевые миски. Ложка у каждого своя, за поясом, в кармане, за голенищем. Миски моментально расхватывают, подносят к костру погреть. Пока повар наливает, пар клубами окутывает группу, каждый торопливо, стоя, не присаживаясь на пеньки, глотает порцию, пока не остыла баланда.

И тут начинается свара. Как ни зорко следит бригадир, чтобы никто не «закосил» лишнюю миску, но в тумане пара кто-то, кажется, закосил! — Я тебе уже наливал! — кричит повар и замахивается поварешкой на хиленького мужичонку. Тот, взятый на лесозаготовки по чьей-то злобе и гожий только на поддержку костров, клянется, что еще не ел, и миска — все поглядите — чистая! — Ты ее, падла, снегом обтер, — бригадир больно толкает мужичонку в грудь, бьет по шее, тот падает, размазывая слезы.

— Обтер, потому что немытую, падлы, дали. Я гребливый. А потому я ее погрел, а потом…

— Гребли-и-и-вый! — шумит бугор. — Ты на работу гребливый, а как жрать — пе-ервый!

Бригадники молча хлебают стынущее варево, исподлобья

глядят на эту сцену, не поддерживая ни бригадира, ни работягу. Тот рыдает и рвется к остывающему котлу.

— Да тебе что, баланды казенной жалко? — облизывая ложку, бросает бригадиру угрюмый костистый дядька. — Может и правда, он еще не ел. Видел кто, ел он или не ел? — Никто не приметил, получал ли мужичонко порцию.

— Ну, дай ему, нехай, даже и вторую, дай! — хмуро советует бригадиру кто-то.

— А за што? — взъяряется бугор. — Я, если останется, лучше дам тому, кто работает ударно. Хоть тебе. А этому за што? За какое ударничество?

Еще кто-то сипло замечает, что мужик и работает вяло, потому что слабый, доходяга. «Дай ему!» и добавляет увесистую матерную брань. Мужичонко подымает голову и рыдающим голосом вопит: «Да не ел я, ребяты, не ел еще совеем, не получал я! Пока миску чистил, пока грел… Что ж я товарищей своих… — и, обернувшись к бригадиру, злобно заканчивает: — Не так от начальства терпишь, как от таких вот…

— Ну! — угрозно обрывает его бугор. — Ты што? Опять советской властью недоволен?!

Парень в хорошей одеже, который почти не работал, только согревался шевелясь, или сидел возле костра, видимо, крупный блатной «в законе», поворачивает голову:

— Отдайте ему мою полпорцию! — Он сам еще и не получал баланды, на его коленях разложен грязноватый зеленый платок, какие в немецкой армии выдавали солдатам — он, конечно, отнял его у какого-нибудь «власовца». — На платке он аккуратно режет вынутое из-за пазухи сало. Все знают: сало это он отнял из-под ножа у литовца, получившего посылку из дому. Ему баланда нужна разве только, чтоб хлебнуть горячего. Возле него на корточках прикорнули два-три блатяка и умильно глядят, как пахан «кушает».

— Ну, налей ему! — наконец, разрешает бригадир, становясь поближе к котлу с кашей. Доходяге наливают со злобой. Всхлипывая, набрасывается он на еду, тщетно отыскивая в баланде хоть кусочек «твердого».

Мат, висящий в воздухе, так густ, что не посвященный в дело, пожалуй, сквозь его завесу не сумел бы и понять, о чем, в сущности, спор, почему крик, что за свара близ котла.

На раздачу каши бугор подзывает начальника конвоя: пар густой, понимаешь, а каши всегда мало, закосят — всем и порции не хватит! Каша — это лагерный деликатес, каждый получает не более 2-3-х ложек, да и то потому, что они сегодня на особо тяжелой работе, а то бывает и поменее.

На раздачу каши всех выстраивают в линейную очередь. Мать…, мать…, мать…, так и гудит в воздухе, вокруг чана с варевом.

И в этот миг среди смакующих кашу зеков появляется новый человек. Он ниоткуда не подошел, никто его вначале не заметил, все едят кашу медленно, углубленно, вдумчиво.

Человек бос. На нем ничего теплого. Белая, длинная ниже колен рубаха без опояски. Будто не чувствуя холода, стоит он недвижно среди обедающих. Бледно его лицо, светлы глаза, спутанные волосы доходят до плеч, и на них тают снежинки, тихо и редко вспархивающие от окруживших порубку деревьев. То, что он живой, не статуя, говорят его глаза, перебегающие от фигуры к фигуре. Он наклоняется и поднимает миску, брошенную уже насытившимся. И стоит с нею, как нищий, будто, ждет, что его тоже накормят. Тело его начинает мелко дрожать, но лицо бесстрастно.

Первыми его заметили блатные. «Кто это?! Ой!» — шепчет в ужасе один, и все они, роняя с колен свою снедь, медленно встают, не отрывая взоров от похожего на видение человека. Затем пугается бригадир. Вскрикнув, он отпрыгивает от странной фигуры и тогда ее замечают все. И все замирают. Человек недвижен и тих. В руке его колеблется холодная алюминиевая миска.

— Кто такой? — вскрикивает, хватаясь за кобуру, начконвоя. Голос его дрогнул: слишком необычен вид человека, кротко стоящего в одной рубахе босым на снегу. Слишком непонятно его появление.

— Кто такой? — повторяет теноровый голос, и в наступившем безмолвии слышно, как с шорохом и хрустом осыпается с деревьев льдистый иней, и будто эхо прошло по порубке:… такой… такой…

У многих зеков ужас поднимает волосы, кажется, даже шапка у того-другого шевельнулась. Человек делает шаг к начконвоя, тот на шаг отступает. Револьвер его — за зоной оцепления, в кругу заключенных нельзя иметь на себе оружия.

Конвоиры, к обеду сузившие кольцо вокруг бригады, пока не видят человека за спинами людей, но слышат возглас начальника и воцарившуюся после гомона и матюков тишину. Они поднимают головы, стараясь разглядеть, что там, в бригаде.

— Христос я, — медленно и тихо произносит странный пришелец и протягивает бригадиру руку с миской.

— Сумасшедший! — проносится в мыслях почти у каждого. Но как он сюда попал, почему не замерз, не обратился в ледышку от жгучего мороза, в снегу, полуголый?

— Накормите больного! — шепотом вырывается у кого-то. Кто-то из блатных тянет с плеча бушлат, чтобы накинуть на плечи странного безумца.

— Христос я! — повторяет он негромко, и этот тихий возглас отдается громом в сознании каждого.

— Спасайте больного! — громко кричит еще кто-то, и десяток бушлатов тянется к нему. Иные крестятся в ужасе.

— Не подходи!.. мать… — взвизгивает начконвоя. — Бдительность! Степанов! Иванов! — голос его дрожит, все тело колеблется от страха. Испуган он до икоты. Двое конвоиров с автоматами входят в толпу и застывают, увидев Человека.

Кроткие глаза его все время блуждают от лица к лицу, и он поднимает руку, точно для благословения.

— Ребята, да это Бог! — выдыхает кто-то из литовцев.

— Ка-акой тебе Бог? Какой тебе Бог… мать… — говорит начконвоя. Он забыл даже обычную при оказиях команду «ложись». Выхватив у часового автомат, он отступает к полевой кухне. — Ты как сюда попал, а? Как попал?! — мать… мать… Возникает шум. «Накормите больного! Психа энтого накормите!» — захлебывается хилый мужичонко. — «Одеть его надо — и в зону, в больницу».

А в группке блатных — истерика. Сорвав с себя шапку, затаптывая в снег собственные добротные меховые рукавицы вместе с кусочками недоеденного сала, «пахан» рвет ворот рубашки и с воем падает в корчах. Над ним захлопотали его товарищи, а мужичонко рванулся и торопливо выбирает из снега кусочки сала, как будто потеряв интерес ко всему, что совершается возле полевой кухни. Начконвоя, вооружившись автоматом, выхваченным у конвоира, наконец-то приходит в себя. Дело пахнет хитро организованным побегом.

— Ложи-ись! — командует, он заключенным. Удвоить бдительность! Оружие на изготовку! А-атпустить поводки?

Клацают затворы. К месту события волокут на сворках собак. Зеки, отбежавшие от кухни, залегли вниз лицом. Человек теперь виден всем конвоирам хорошо. Повар, бледный, трясущимися руками закрывает крышки котлов: не закосили бы остатки!

А над участком порубки разливается какой-то розоватый свет, будто солнце пробивает свинец сибирского зимнего неба. И в этом теплом свете одиноко стоит безмолвная поникшая фигура с миской в левой руке и с поднятой как бы для благословения правой.

Ужас начконвоя и солдат беспределен, когда три дюжих пса, ими понукаемых, не проявляют ни малейшего послушания и беспокойства. Все видят, — и заключенные, приподняв от земли

головы тоже, как одна из собак, а потом и остальные две, повизгивая, на брюхе подползают к босым ступням.

— А ну, дуй отсюда! Ты! Слышишь, дуй, стрелять будем! — лепечет белыми губами конвоир с автоматом.

Тогда бесстрашно отрывает голову от земли дюжий костистый мужик, прежде вступавшийся за мужичонку.

— То есть как это дуй! — тихо с угрозой произносит он. — Ты что же это? Да ты понимаешь, кто это? А? Ты почему же это накормить и одеть его не даешь, а? Больного человека, а? — В голосе костистого столько угрозы, что начконвоя, наконец, соображает.

— Ложи-ись? — еще раз кричит он и пускает очередь из автомата вверх по деревьям. А когда все спрятали лица в землю и, угрожавший голосом мужик пал, и повар зарылся в снег лицом, начконвоя повторяет: «Лицом в землю! Плотней! мать…, мать…» — и разряжает автомат в неподвижно стоящего пришельца. Но слегка качнувшись телом, тот стоит еще мгновение, только кровь брызгами, потоками орошает снег у его ног. Он не падает под выстрелами, не издает ни звука. Он просто исчезает.

Но Он был! С ужасом смотрят конвоиры и их начальник на кровяные пятна, оставшиеся на снегу, и четкий глубокий отпечаток босых ступней. И, не отрывая глаз от этих вещественных знаков начконвоя медленно стаскивает шапку и падает на колени. Только что он был брюнет, сейчас его волосы совершенно седые. Заключенные отрывают от земли лица, приподымаются без команды и тоже смотрят на кровавые, будто клюкву давили, следы и слегка подтаявшие отпечатки ступней Человека. Без команды в полном молчании собирают инструменты и, смешавшись с дрожащими, ошеломленными, молчащими конвоирами пытаются построиться. Дергающегося судорожно пахана поддерживают его товарищи. Мужичонка доглатывает сало. Лицо бригадира теперь восковой бледности. Он безмолвен и только мелко-мелко крестится да глазами указывает, что надо делать каждому. Дюжий костистый мужик подходит к застывшему на коленях начконвоя.

— Иттить можешь? — и пытается поднять начальника. — Носилки надо! — Бывалые фронтовики молча подносят длинные жердины, продевают в их концы рукава двух телогреек и кладут на самодельные носилки одеревенелое тело начальника.

— В Христа стрелял… Его бы надо… — шепчет кто-то. Другой молча бьет его в ухо.

Нестройною толпою, совершенно безмолвно бригада и ее конвоиры направляются к зоне. Собаки, испуганные, взъерошенные без поводков следуют за людьми. Повар с

запряженной в полевую кухню лошадкой тащится позади. Ноги его заплетаются, зубы стучат.

А по лесу зазвучала еще не забытая кем-то молитва: «Верую во единого Бога, Отца — Вседержителя Творца…» —…видимым же всем и невидимым…» — повторяют за солистом и пахан, и урки, и конвоиры, и костистый мужик, и каждый в толпе, кто помнит слова.

…Районный психиатр ничего не понимал, разводил руками: около трех десятков зеков и вольных поступили с лагучастка в больницу. Сосредоточенные, молчаливые все. И ничего не рассказывали. Начлага сняли с работы: не сумел подавить странные слухи, распространившиеся из его зоны по округе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ИЗБРАННОЕ

I. НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1. Потсдам и Берлин

Если во второй половине войны в Берлине, да и других городах Германии, вы не знали, как пройти куда надо, а немецким языком не владели, стоило только в людском уличном потоке, в вагоне трамвая, в метро (автобусов почти не было — все были на войне) громко по-русски задать нужный вопрос. Обязательно кто-нибудь отвечал вам по-русски. В Германии были тогда миллионы советских граждан, в качестве военнопленных, «остовцев» (восточных (советских) рабочих) или эмигрантов, «новых» и «старых» — послереволюционных. Их так и называли: люди старой и новой эмиграции.

На улицах, в ресторанах, лагерях неожиданно встречались земляки, знакомые в разных ипостасях: один мог иметь «ОСТ» — значок, обязательный для мобилизованных из России (главным образом с Украины) рабочих, другой — погоны сперва немецкие, потом «власовские», третий — умирал от голода в лагерях военнопленных или бежал из концлагеря, или стал вором, международным, беспринципным и аполитичным. В единичных только случаях можно было встретить случайно уцелевшего сумевшего скрыться еврея. В плену или оккупации их сразу выдавали свои же советские соотечественники. Так уж были воспитаны. Обстановку в лагерях военнопленных характеризует рассказанный мне близким лицом случай.

Говорящий по-русски начальник шталага (его мать была русская армянка) построил советских военнопленных в каре и заявил: «Прошу прекратить доносы друг на друга. Мы сами разберемся, кто из вас еврей, кто коммунист. Вы мешаете нам работать правильно, донося друг на друга» — и добавил: «Удивительные вы люди, советские подданные! Попав к вам в плен, я бы молчал, зная, что мой сосед, допустим, «фашист». В общем несчастье он для меня был бы просто немцем. Делайте выводы о нас и вас сами!»

Выводя «за скобки» нежелательный элемент, внутри каждой корпорации, советские люди вроде бы жили без «классовой борьбы». Остовец помогал остовцу, власовец — власовцу, доходяга — доходяге, но подспудная, привычная «бдительность»

отравляла существование, и люди все-таки имели «двойное дно», то есть, лгали или боялись говорить открыто.

Положение русских людей, мобилизованных немцами в остарбайтеры (в так называемое «немецкое рабство»), было разное, в зависимости от личности и офашизненности хозяина. На заводах при казарменном положении было трудно, в сельском хозяйстве у хорошего бауэра — сносно, у плохого — ужасно, особенно для городской молодежи. Напечатанные рассказы о быте остовцев в военной казарменной Германии похожи на картину советских лагерей. Лучше всего (физически) жили те, кто попадал в городские дома прислугой. Нужно заметить, что советские девчата (преобладали украинки и белоруски), согнанные в Германию порою из самых глухих углов, чрезвычайно быстро воспринимали внешнюю европейскую цивилизацию. Немцы удивлялись, как быстро они овладевали языком, говорили без акцента, не в пример рабочим других национальностей. А в рабочих лагерях были надписи на 11 языках! Вавилонское смешение!

Рассказывала мне украинка, немолодая, отторгнутая от троих детей (попала в облаву на базаре — и увезли), как мучительны были первые недели на заводе: «Майстер кричить, ногами топаеть, а я ничего не разумею. Он пальцем меня в лоб тычет: «Русский Иван, кричит, думм». (Думм — дурак — это первое слово, которое она уразумела). С овладением языком дело у бабы пошло так хорошо, что ее в пример ставили, хлопали по плечу: «О, стахановец, стахановец!» — «А я, бывало, майстру скажу: «Ну что, думм, русский Иван?» А ему и стыдно. На зло им, проклятым, хорошо работала!» В массе же и советские и прочие иноземные рабочие работали плохо.

Русские быстро сходились с французами, норвежцами, чехами и англичанами (в плену), так же ладно постигая их языки. К концу войны народы объяснялись между собой почти свободно.

Если появлялась возможность одеться (у горничных, например), либо на подарки барынь или любовников, либо по бецугшайнам — талонам на покупку одежды, либо укравши, то русские девчата выглядели изящнее немок. Даже так: если по улице шла выделяющаяся элегантностью из толпы дама (иногда с собачкой на цепочке), с половиной вероятности это была русская горничная — остовка. А мимо нее могли пройти компатриотки — остовки, истощенные, грязные, одетые нищенски. Им «не повезло». Чтобы не отличаться от немок, девчата предпочитали черное (цвет войны) и надевали шляпки с траурным крепом. И тогда можно было не надевать значок «ОСТ», унижающий и ненавидимый.

Правда, к конфузу русской женщины, а скорее к конфузу ее нищей страны, «Дуньки в Европе» порою венчались с казаками в… ночных рубашках, украшенных кружевами и шитьем, не догадываясь о назначении столь «шикарной» одежды.

Воровали остовцы ужасно. Как никакие другие народности. Тюрьмы были переполнены ими. Воров за крупные дела в Германии вешали (как и оплошавших, приученных фашизмом и войною к воровству своих же немцев). Девчата воровали от хронического голода по «барахлу». Во время бомбежек наиболее алчные грабили брошенные квартиры и даже эшелоны с товарами. На Александерплац можно было подпольно купить что угодно, хотя полиция ловила и карала беспощадно. Спекуляция преследовалась бдительно. Ею занимались и «плохие» немцы, впрочем, используя иногда русских арбайтеров как исполнителей.

Родившим женщинам всех национальностей и социальных ступеней выдавалось детское приданое и коляска, похожая в те годы, на маленький межпланетный снаряд.

А что такое «хороший бауэр» — хозяин, я узнала впервые в Потсдаме, где мы прожили лето, осень и часть зимы 44 года… Неподалеку от парка Сан-Суси, рядом с которым были наши бараки, раскинулась — деревня не деревня, может быть пригород Потсдама. Там были сады и называлось место Garten. У частных владельцев усадьб с фруктовыми садами можно было купить без карточек фрукты или овощи, но не совсем легально. Все съедобное надлежало во время войны сдавать «Рейху» — государству, оставляя лишь на собственный стол. В пищевой фонд государства сдавали даже собираемые частной инициативой дикорастущие орешки, ягоды, травы, желуди, получая взамен что-то, кажется, священное по военному времени Bohenkafe — (настоящий кофе). Оно служило как бы символом довоенного быта, у немцев расплывались улыбки при одном названии продукта. Германия гениально использовала в пищевой фонд каждое съедобное зерно. Из каштановой, например, муки изготовлялись вполне удовлетворительные эрзац-пирожные. Они продавались без карточек. Мы иронически называли их «пирожные из опилок». Конечно — суррогат, но пирожные все-таки делают жизнь нарядней! Создают тот уют, без которого немцу невозможно. Даже по линии фронта, построив блиндаж или заняв на время квартиру, солдаты прежде всего создавали уют. Даже в советских лагерях военнопленных, где немцы умирали сотнями (не только от голода — им давали 800 г хлеба, в то время, как своим — 600, сколько от климата, подавленности, болезней), они в своих бараках держали уют, сооружали удобные полочки, абажурчики, дорожки из старого толя, чем восхищали

лагерное русское начальство, или, наоборот, завистливо раздражали, когда начальство было дураки. Впрочем, и японские пленные тоже украшали лагерную жизнь уютом, еще более умелым и с большим изяществом.

Так вот, эрзац-пирожные делали этот уют.

Натуральная брюква насыщала. Без карточки можно было получить так называемый gemusesuppe — брюквенный — овощной суп в каждом питающем предприятии, кроме самых фешенебельных. И, противный на вкус, но все-таки углеводистый, зуппе этот, быть может, спас жизнь не одному расконвоированному советскому пленному. Без карточек была и рыба, но она случалась редко. Из расконвоированного лагеря Вустрау под Берлином, где мы одно время жили, мужчины иногда (ежедневно было накладно) ездили в Берлин, где в столовой францисканских монахов можно было без карточек (а их у пленных вообще не было) съесть и гемюзе и рыбу. Все это была отлично продуманная государственная система общественного питания, включающая и «отверженных».

Но вернусь к «садам». С корзиночкой и в фартучке — «под немку» я отправилась в эти сады, чтобы у сговорчивых хозяев купить на деньги витаминную еду, в нашем пайке дефицитную. У садовладельцев работала советская молодежь — «остовцы», сдаваемые им государством за небольшой налог. У приветливого немца покупаю фрукты. Исподлобья глядят на меня наши девчата, работавшие в саду с лопатами и граблями. Спрашиваю по-русски, как им у этого хозяина живется. Мы в то время очень этим интересовались (для газеты), так как казаки и власовцы начали кампанию за улучшение положения восточных рабочих. Свободно живущим русским (советским) даже разрешали выбирать себе жен из девушек «остовок», и замужество такое освобождало девушку от «рабства». Наши казаки-ландскнехты, чающие обретения свободной России, приходили в женские общежития предприятий с особо тяжелым режимом или трудом, указывали пальцем на самых истощенных девчат, объявляли их своими «невестами» и уводили как своих жен. Кто так и вправду женился, кто нет, но девушка дальше работала уже «по вольному найму» что было спасительно.

Вернусь, однако, к эпизоду в Садах. Девчата ответили: живется вполне терпимо, хозяин сытно кормит, главное и борщ варят, и не бьет… А вот у соседа… начала было девчонка… Но тут хозяин, видно понявший суть нашего разговора, перебил и любезно мне улыбаясь, сказал: «Хороший хозяин понимает: если свинью плохо кормить, от нее будет мало дохода». Больше я к этому «хорошему хозяину» за фруктами не ходила.

В парке Сан-Суси воскресными вечерами местные жители не появлялись: там совершала прогулки иноземная молодежь из Садов и прислуга из потсдамских особняков. Русские, украинцы ходили стайками, как в России. Слышались гармонь и пение. И гогот наш беспардонный, и визг. Парни стояли в классических деревенских позах: избочась рукой в бедро с шапочкой на глаза. Но парней было мало. Танцы во время тотальной войны в Германии воспрещались, как и всякие публичные увеселения, закрылись даже театры. Только кино работало. Но наша молодежь все-таки отстукивала каблуками с «приговором» в укромных уголках, подальше от взоров шуцмана. И семечки, несмотря на запрещение, лузгали, быть может в посылках присланные с родины. Остовцам посылки из дому разрешали. Военнопленные же советские были посылок лишены: Сталин заявил, что своих пленных считает изменниками родины, и СССР в Международный Красный крест не вступил. Поэтому, голод так нещадно косил советских военнопленных.

После гулянья парк убирали те же остовцы, застигнутые шуцманами за чем-то запретным. За порчу зелени следовала кара, но ее наши все-таки портили, от злобы. Злоба на «неметчину» у остарбайтеров было огромна, да и у всех иностранных рабочих, как при всяком внеэкономическом принуждении к труду. Да и служила злоба проявлению патриотизма, даже у тех, кому и неплохо физически жилось.

2. Катя

Парк Сан-Суси в Потсдаме окружали дачи императорской элиты и, полагаю, в них жили ее потомки, так как национал-социализм ни у кого, кроме евреев и репрессированных инакомыслящих ничего не отнимал (впрочем, семьи не преследовались), а нынешние германские нувориши жили в других не менее приятных, чем старомодный Потсдам, местах и дворцах.

За решетками драгоценной работы в Потсдаме прятались молчаливые дачи-дворцы, окруженные вековыми дубами и липами, когда-то священными деревьями тевтонов. Очень редко, тихо шурша по асфальту тенистых красивых улиц, проплывали дорогие машины. Все частные автомобили были реквизированы для нужд войны, эти же либо оставили особо знатным владельцам, либо те имели высокие посты в нынешнем райхе. Парковый покой. Тишина… Удивительное безлюдье.

Раз, заблудившись среди парковых дачных владений, я обратилась с вопросом, как пройти в дворцовый парк, к шоферу,

мывшему дорогой мерседес возле открытых ворот нарядной дачи. Он не понял вопроса по-немецки. Спрашиваю по-русски, и тогда он кричит вглубь двора: «Катья!». Из-за угла дачи выходит Катя.

Крахмальная наколка и фартучек горничной из дорогого русского кружева. Под обеими подмышками держит двух выхоленных жирных шенков. Услышав мою русскую речь, она взвизгивает, роняет щенков на землю так, что у них екнуло, и бросается ко мне.

— С России! Хосподи, вы с России! А давно? И что там о войне слышно, мы ведь тут, в этой тюрьме, ничого не знаем!

Выясняется, что с советскими русскими она почти не встречается, ее на гулянья в парк не пускают «из-за этих гадов», — она кивает на щенков. Ее сытый вид и нарядность заставляют меня сказать, что ей жаловаться грех: ее доля несравненно лучше, чем у других девчат? Катя вздыхает, оглянувшись на окна, и начинает щебетать, как истая украинка:

Да уж, живу хорошо! Только в кино я видела такое життя раньше. Жалиться, конечно, грех. Барыня меня любит, работа моя — только ее одевать, причесывать, лечить, да вот еще за ихними кутятами проклятыми доглядать. У, Ледаще! А все-таки так бы голову ей и оторвала. Ведь, гражданочка, в рабстве я у нее, в рабстве! А она мне ещё говорит: «Я тебя, Катя, за немца замуж выдам!» Тьфу! Ведь я в школе лучше всех училася. Комсомолкой была, может, на инженера бы выучилася… Лучше б мне с нашими девчатами горе принимать, чем за энтой старухой ухаживать, да ей улыбаться… Тьфу! Да еше меня называет «малорос, малорос!» Тьфу! — Она опять осторожно озирает хозяйские окна и подбирает с земли брошенных щенков.

Я говорю ей, что сейчас важно нам, русским, сохранить жизнь и силы. Если даже немцы победят, России будут нужны люди, чтобы бороться с немецким влиянием.

— А то еще я думаю, гражданочка, — Катя переходит на шепот: — а если наши победят, что они с нами сделают, кто в Германии работал? А? У нас тут как-то наших военнопленных на работу пригоняли, так они и то боятся. Про нас, будто, Иосиф Виссарионович говорил, что мы — изменники Родины. Правда это? Неужели правда?

Отвечаю, что едва ли «наши» ее расстреляют, но комсомолкой ей, конечно, уже не бывать.

Шофер, слушающий нас (он оказался бельгийцем), широко улыбается, радуясь встрече компатриоток и, прдмигивая мне, показывает на Катю: «Сталин, Сталин, Любит Сталин!»

Катя, как и другие наши юноши и девушки, была привезена в Германию насильственно вскоре после оккупации Украины,

«Казали нимци, чтоб в районном селе собралась вся молодежь от 15 лет, будут объяснять «новый порядок», На кой он нам был, ций новый порядок! Однако родители просили: идите, не противьтесь, а то хуже не було бы! Многие из любопытства пришли из окрестных сел, на бричках и пешие, иные и босиком. Казалы: «Комсомольцам ничего не буде от нимця». Пошли и комсомольцы. Собрали нас, человек пятьсот, возле клуба», — рассказывала девушка. Разъяснив на собрании порядки третьего рейха, права и обязанности «восточного населения», окружили клуб танками, детей «покидали у машины» и увезли в неволю. Парни кое-какие убежали, девчата не сумели. А потом их во время санобработки в бане, голых, унизительно осматривали «хозяева», выбирая по вкусу самых здоровых. Сын хозяйки — офицер тогда выбрал для матери Катюшу, проверив через врача и удивившись ее девственности.

Подобных рассказов слышала я много. Кто попал в облаву на базаре, кто в кино, дома у иных оставались маленькие дети… Как-то в Николаеве, придя на базар, попала в облаву и я. Едва отговорилась, что уже работаю, а то и «связи» не помогли бы, так жестоки были эти облавы.

Добровольно приехавших в Германию на работы по любопытству или юношеской любознательности было меньше, но и те кляли судьбу, попав в тяжелые условия или испытывая мучения ностальгии. Впрочем, в добровольном приезде нам, русским, признавались только в самых интимных беседах, а после репатриации все объявляли себя «угнанными насильно», и только вернувшись на Родину и попав в тиски фашизма отечественного, не одна дивчина порою (тоже по секрету) восклицала: «Господи, да как же там, на неметчине, було гарно!»

А судьба таких Кать была вот какая.

Кое-кого передавили танками наши наступавшие «освободители», когда девчата из лагерей толпами выбегали на дороги «встречать своих». Кого-то отпустили домой, где, в лучшем случае, их многие годы называли «немецкими овчарками» или «немецкими подстилками», в худшем — бросали на самые тяжелые работы. У возвратившихся из «неволи» отнимали награбленное ими после победы «добро», жадность к которому у нищего советского народа была непомерна и удивительна для иностранцев. Девчата рыдали: они считали, что эта «одежа» ими выстрадана, как выстрадана была победа всей страны… Во время нашей репатриации одна остовка с узлами мне даже призналась:

«Если барахло отберут, я под поезд брошусь». Это была даже не обычная жадность — это были трофеи ее войны в роли

остовки. Бывало и так: в фольварк, где работали остовки, въезжали «освободители», «Девчата, забирайте у хозяев, что вам хочется! Берите, что получше!» — Девчата кидались к белью, посуде, мехам, одежде, а солдаты, покидав в машины узлы с девчатами, отъезжали, сгоняли их с машин с бранью (иногда насиловали) и увозили «добро». Беременных били сапогами в живот: «от немца!». Однако большинство наших девушек с немцами сходились неохотно, норовили связать жизнь, с русским, таким же остовцем, власовцем, легионером. В последних случаях о возвращении на родину не могло быть и речи. Некоторые теперь приезжают сюда интуристами.

Зимой 45–46 гг., живя до ареста в Кемерово на поселении, я сама была свидетельницей: на вокзал прибыл товарняк с молодежью. С Украины. Почти раздетые, без багажа, синие и дрожавшие от холода, ребята и девушки толпились на перроне, ожидая, когда их уведут с мороза. Никто не был одет по-зимнему. Испачканы они были невероятно, углем, который сами грузили в пути, глиной, золой. У нескольких девчат заметила я незамытые следы менструальной крови на юбчонках и чулках. Вши их заедали: стояли, почесываясь.

Они рассказывали: были немцами угнаны «в рабство». По окончании войны распустили по домам: это были «показательные» для заграницы эшелоны, украшенные гирляндами, лозунгами, надписями «Домой!» и прочей «наглядной агитацией». Играли оркестры. И встретили их неплохо. А осенью без предупреждения собрали «кто в чем был» (вроде облавы), погрузили в этот самый товарняк и два месяца везли в Сибирь «на работы». Вначале было так тесно, что лежали «по сменкам». Потом умирать начали — поредело. В дороге кормили чуть просоленной вонючей рыбой и давали 600 граммов хлеба. Без горячего, без эшелонного медперсонала, без бани. Вода — только пить хватало. Куда везут, — не знали, и только сейчас, на перроне, им назвали город. Это после войны! У себя на родине! Лязгая зубами, приплясывая от холода на месте, стояли на сибирском морозном перроне сотни ни в чем не повинных советских полудетей. Парни смотрели зверями, размышляя, вероятно, который из фашизмов хуже, чужой, ненавистный, или отечественный, именующий себя советской властью. А из вагонов выгружали и носили, кого в больницу, кого — в морг. Не меньше часа проторчали они на жестоком морозе, потом их погнали на «шахту». Это не «фольклор». Это я видела собственными глазами. Таким образом, попавшим в ноев ковчег с чистыми и нечистыми, голубь мира не принес масличной ветви. Пожалуй, получила ее только партийная элита. Между рядами этих детей с Украины

топтались и безногие и даже безрукие солдаты-победители и собирали милостыню. И дети отламывали хлеб, у кого остался, и им давали. И это все было уже после войны. На Родине.

3. Не все немцы дураки

Потсдам населяли, т. е. были там особенно заметны, мамы с колясками, эвакуированные из горящего в еженощных бомбежках Берлина, и постоянные жители-старички, такие же стильные, как сам город. Все, способные к труду, работали на войну. Шли мужчины преклонного возраста в цилиндрах, котелках и конотье, чинные чопорные старушки в черном, только в черном, с горжетками из драгоценных мехов, со старинными брошами на обязательных кокилье из старого валансьена. В СССР некогда состоятельная бабушка давно отдала бы такие украшения внучкам. Немецкие же внучки носили модное, не отнимая у бабушек их достояние. Вообще, в сравнении с Москвою, в Германии меня сильнее всего поразили нарядные и ухоженные старики и дети.

У некоторых старушек в мехах и старомодных костюмах-тальер заметила я приколотые вместо брошек значки со свастикой — партийные. Однажды рядом со мною на трамвайной остановке оказалась аристократического вида старушка, правда, без свастики.

Выгляжу я нарядно. Немки любуются моим шарфом армянского шерстяного кружева, вещью моей бабушки. Старушка тоже, вижу, хочет спросить о шарфе, смотрит, любуется, но воспитанно молчит. Пошел дождь. Она открывает зонтик и — вся обаяние, подвигает в мою сторону, приглашая сесть поближе. Любезно благодарю. По моей речи заметив, что я не немка, также любезно спрашивает: мой националитет.

Не француженка ли я? «Нет», — улыбаюсь. «Полька?» — «Нет, я русская».

Надо было увидеть лицо старушки: и брезгливость, и возмущение, и ненависть на нем смешались. «Шопинг» сделали плечи. Значит, я остарбайтерин, но без значка! «Шопинг!» — я из вражеской страны! Зонтик, конечно, рывком уплыл в сторону.

— Где ты взяла это? — строго спрашивает она, дернув меня за шарф. Будто не заметив этого «ты» только из интереса спортивного любезно отвечаю:

— Видите ли, мадам, (сознательно не сказала «гнедиге фрау»). Я с Кавказа. Это наше национальное вязание (сказала mettles — она должна понимать это слово). Делала моя бабушка. Я казачка. — Kosakin.

— Kosakin? Frau Kosakin! — она оторопела, гнев и презрение исчезли. Она уже слыхала, что казачьи легионы сформированы из русских на ее земле, и сокрушенно бьет себя по бедру. Не подойди трамвай, она могла бы пригласить меня на чашку Bohnenkafe которым прежде пахли сами улицы Потсдама.

А другая такая же старушка — аристократка фон Ягов в эти же дни в Берлине осыпает ласками гостеприимства мою русскую подругу Женечку Чукаловскую и ее мужа скульптора[30]. Вдова крупнейшего императорского чиновника, воспитанная в духе старой Германии, наивно верит, что после войны приедет в Россию искать могилу убитого сына. Мы ее не разуверяем, уже хорошо зная, что на освобожденных землях могилы немцев в лучшем случае сравнены с землей.

Еще «картинка» под заголовком «Немцы бывают разные». Еду из Берлина в метро домой, в Потсдам. Разговорилась по-русски с какой-то несчастного вида остовкой со значком ОСТ. Напротив сидит немец, немолодой, бюргерского типа, в тирольской шляпе с пером, типичным для тех, кого называют, «колбасниками». Он вроде бы прислушивается к нашему русскому разговору. Остовка на остановке выходит. Рядом с моей скамьей в тесноте встала дама, молодая, с пакетами. Тирольская шляпа обращается ко мне:

— Э, встать! — не сразу понимаю, чего он хочет. — Ты ослепла?! Немка стоит, — он указывает на даму, — а ты сидишь? — И ко всему вагону: — Русская сидит, а немка должна стоять!

Все свидетели сцены прячут глаза и молчат: сочувствие русским — государственная измена. Но никто его и не поддержал, ни вздохом, ни мимикой. Возмущенная предельно, отвечаю все-таки вежливо:

— Эта немка моложе меня. Если вы мужчина, это вы должны уступить место даме. И потом, почему вы говорите мне «ты»?

— Где твой ост? (значок) — рявкает колбасник. Ношение значка для восточных рабочих обязательно. У меня же с собой нет никаких документов.

На остановке краснолицый немец пальцем подзывает с перрона шуцмана. Что-то ему говорит гневно. Тот готовно и шустро козыряет и устремляет указующий перст в мою сторону. Шуцману я повинуюсь, выхожу, бросив молнию взгляда на колбасника. Он ворчит мне вслед. «Эти русские хуже грязных негров, те, по крайней мере, знают свое место»! (негры встречались среди англо-американских военнопленных).

Шуцман, однако, отводит меня от тронувшегося вагона. Он тоже краснорожий, тоже типа «колбасника», но этот дядька в форме говорит мне: «Подождите следующий поезд, пани!» И

презрительно махнув рукою вслед отошедшего состава, извиняющимся тоном произносит: — «Это глупый немец! Однако, пани, не все немцы дураки, не все!» Шуцманами работали или, совсем пожилые немцы, или инвалиды этой войны, хлебнувшие горя…

Следует отметить, однако, что если бы не изобилие иностранных рабочих, уличная полиция была бы и не нужна: немцами всюду соблюдался невиданный нами порядок и дисциплина. То, что входит в немецкое понимание слова «культура».

II. ДОЙЧЕ ГАЙСТ (НЕМЕЦКИЙ ДУХ)

1. Сан-Суси

Потсдам удивительно похож на Петербург в миниатюре или на Царское село. Похож стилем барочных и ампирных памятников, цветом и порядком зданий, но особенно воздушной дымкой, которая окутывает город в бессолнечные дни. Сумерки в Потсдаме выглядят, как белая ночь над Петроградом. Особенно напоминает Северную пальмиру центральная площадь Потсдама с собором, похожим на уменьшенный Исаакий.

В Берлине над старыми стильными зданиями можно было увидеть грубую фабричную трубу, этот же город — прежняя резиденция королей — не знал крупных фабрик, грохота и суеты столицы. Его еще не бомбили. Было мирно и тихо, только ночные сирены воздушных тревог будили и разрывали нависший над городом покой. В старомодном, патриархальном, олицетворявшем Германию городке ходил кое-где по торцам(!) тоже старомодный трамвайчик, формой похожий на карету. Во многих вагонах на креслах еще сохранились гобеленной работы коврики с вытканными германским-кайзерским орлом. На ковриках порою лежали аккуратные заплатки из обычной материи.

Улички Потсдама прелестны. Домики, увитые въевшимся в серые стены старым плющом или розами (так и повсюду в Германии и даже в неуютном Берлине), блистали чистотою, уже не раз описанной в литературе. Мне до сих пор снится узкая Голландская улица, чистая, промытая до блеска, с высокими крышами домов с белыми оконными наличниками. (Кажется такая есть и в Петербурге).

Будто из сказки городок! А я повидала их немало. Только наше положение «отверженных» от Родины, грозное, неведомое будущее да ночные тревоги мешали насладиться городом и лучше

его осмотреть.

Потсдам окружали «дорфы» — прежние деревни, теперь пригороды. Один из них, через который мы проходили с метро в наши редакционные бараки, в которых мы и жили, назывался Александердорф. По иным рассказам посещавших послевоенный Потсдам, она уже не существует: сгорела от бомб. Деревня эта была подарком русского царя Фридриху Великому: несколько семей русских гренадеров (крепостных) вместе с домиками для их проживания — повторением русских бревенчатых изб. С вычурной резьбой, шатровыми воротами, коньками и всем, что полагается народному стилю «руссиш». Избы после многих десятилетий все еще были выхолены, как всякий немецкий домик, будто покрыты лаком. Вначале это была небольшая русская колония с появившейся позднее в «стасово-репетовском» стиле, копии «Спаса на крови» крохотной русской православной церковью среди соседней березовой рощицы. В наше время православное богослужение в ней шло на немецком языке. На нарядных «в два венца» избах, в которых теперь жили потомки Павловских гренадеров были прибиты однотипные таблички с фамилиями владельцев. Но только на одной избе значилась русская фамилия Pawlow. Остальные обитатели онемечились и носили уже фамилии немецкие.

За Александердорф начинался парк Сан-Суси со старым, времен Фридриха барочным прелестным дворцом среди парка с каскадами. Это был Петергоф в миниатюре. Дворец-музей во время войны был закрыт, но в еще не разбитые окна его видно было убранство, которым потсдамцы весьма гордились. Конечно, я полагаю, особо ценные вещи были спрятаны, но отделка плафонов и стен, сохранившаяся мебель не блистали роскошью драгоценных петергофских дворцов. (В то время мы еще не знали, что они уже разрушены). Здесь экономными королями экономного народа создавалась лишь иллюзия роскоши: мрамора и самоцветов — роспись «под», не резьба, а гипсовые поделки; 6/7 бюджета у Фридриха Прусского и его сына — «дер Гроссе» шли на войны, объединяющие Германию.

Сан-Суси — это было «мещанское барокко».

В прелестном французском парке с уступающей Петергофской, но на нее похожей каскадной лестницей, сохранились и немногочисленные «затеи» в виде китайской беседки, отдельно стоящей исторической мельницы, принадлежавшей крестьянину, который отказался продать Фридриху свой участок этой мельницы под дворцовый парк. И мельница так и осталась в парке, содержавшаяся в хорошем музейном порядке, как свидетельство монаршего уважения к

священной частной собственности.

Мне, музейщице, парк Сан-Суси служил большим утешением, единственным «питалищем» стариною (все музеи были в военное время закрыты) моего «музейного чувства». Я там и гуляла, и ходила собирать сухие обломки сучьев для растопки скудно отпускаемых брикетов в нашей барачной печурке. Случайно, гуляя, попала на выставку известнейшего скульптора, с позабытой ныне фамилией, черпавшего героические сюжеты из тевтонской мифологии и работавшего в формах обобщенно-монументальных (нечто похожее в наших нынешних памятниках Сталинграда и других местах). Запомнилось лишь общее впечатление от выставки.

Среди парков была и семейная усыпальница Габсбургов с гробницей Фридриха Великого. В усыпальнице было несколько новейших гробниц, накрытых фашистскими знаменами: значит, потомки Габсбургов отдали тоже на фронте жизнь за новую Германию. Вокруг паркового памятника Фридриху дер Гроссе в виде конной статуи, на круглой обширной куртине, бывшей некогда цветником, ныне был (вероятно, служащими музея) посажен картофель, и его декоративно окаймляли подсолнухи. (Восхищенные постным маслом, которое в запаянных канистрах посылали домой солдаты с восточного фронта, немцы во время войны стали прививать и у себя эту сельхозкультуру). Вознесенные над картофельной клумбой копыта Фридрихова коня охраняли нынешнее немецкое достояние, олицетворяя какую-то черту Германии.

Среди всех этих затей в теплые дни гуляли не занятые общественным трудом местные жители — только старые дамы и мамы с колясками, все остальное работало для войны. Столичные дети, как и повсюду в Рейхе, были выхолены и нарядны так непривычно для советского глаза, они получали вычисленное до грамма все необходимое для роста, даже апельсины. Одеты в однотипные костюмчики нежных тонов из шерсти, что теперь называют мохер. Дети рабочих и министров — одинаково! Да и папы с фронтов засыпали семьи посылками. Дамы, сидевшие на садовых скамейках и непрерывно шевелившйе спицами, в разговорах все повторяли: «пэкхен, пэкхен» — посылочка, посылочка. Их они получали от своих фронтовиков. А Рейх в свою очередь, посылал своим солдатам «пэкхен» к праздникам. С каштановыми печеньями, теплыми вещами, удобной пластмассовой посудой с елочными веточками и крохотными искусственными елочками к Рождеству.

Рождество в военной Германии было «праздников праздник» с соблюдением всех возможных ритуалов, хотя были скудны

елочные игрушки грубой работы. Их изготовляли из каких-то тяжелых отходов. Поразило в предпраздничные дни: бомбящие Берлин английские самолеты ради дезориентации зениток, сбрасывали на город, пролетая, тонны серебристой бумажной блестящей соломки, весьма пригодной для елочных украшений. Но при их дефиците ни один немецкий ребенок не поднимал эти вражеские блескучки для украшения своей елки. И когда мы их поднимали, немцы смотрели на нас с негодованием. Если маленький хватал нарядно блестевшую полосочку, матери сердито вырывали из ручонок и награждали пощечинами, объясняя, как это не патриотично.

Однажды в Потсдамском парке среди сидящих на скамейках и шевелящих спицами, дам появился неторопливо прогуливающийся с крохотной собачкой господин в сверкающем высоком цилиндре, с эспаньолкой, закрученными остренько кверху усами. Глаза его были неожиданно для старика выпукло ярки. Старомодный сюртук был тщательно выглажен и без пушинки. Цилиндр и монокль на широкой черной ленте обращал его в выходца из времен давно позабытых. Он шел вдоль аллеи, и дамы (все!) поочередно поднимались и с улыбкой делали поклоны, похожие на реверансы. Изысканно вежливо приподнимая цилиндр, шагающий старый господин раскланивался налево и направо, пока не свернул в безлюдную аллею.

— Кто это? — спросила я у пошевеливающей крючком соседки, заметив, что на меня, не вставшую при его появлении, она посмотрела с неодобрением. Поняв, что я «провинциалка», дама ответила: «О, это же кронпринц!» Это был сын Вильгельма II, живущий в городском королевском «паласе» Потсдама. Любопытно, что кайзерова сына приветствовали книксеном и старушки со свастикой вместо брошки. Кронпринц прошел к семейной усыпальнице Габсбургов. И хотя там уже были могилы убитых, накрытые фашистскими флагами, полагаю, после июльского неудачного покушения на Гитлера аристократической верхушки, там прибавилось могил.

Чудно и дивно для советского человека смешивались в «Третьем Рейхе» патриархальные традиции старой Пруссии с немецким «бидермайером» 19 века, с «новым порядком» национал-социализма.

В центре Потсдама, близ королевского дворца-паласта (Зимний в миниатюре), существовали огромный, самый респектабельный ресторан «Паласт-отель», а неподалеку «Потсдамергоф», посещавшиеся по преимуществу офицерами с дамами. Там, в залах, отделанных деревом по-тирольски или

металлическими формами модерна начала века, царила тишина, салфетки стояли крахмально, как в довоенное время. Здесь каждый мог (и должен был по государственной задумке, ради сохранения народного тонуса) отдохнуть от войны, забыть о ней. Музыки, правда не было (как повсюду в общественных местах), бесшумно скользили официанты во фраках и пластронах — бельгийцы и французы. Без карточек подавали голубую форель «кольчиком», вино, только по одному бокалу на персону. Впрочем, за мзду лакею можно было получить и еще. Немцы это делали редко, русские, кому удавалось сюда проникнуть — всегда. Здесь «фендрики» — выпускники Потсдамского офицерского училища — торжественно отмечали свои выпуски, производства в чины, гебурстаги — священные семейные праздники и свадьбы.

Отмечать семейные праздники в ресторанах и кафе стало народным обычаем, только теперь к нам переходящим. Даже в деревенском кафе видела я какой-то детский торжественный обед. Причем дети сами себя и обслуживали очень достойно. Свадьба знакомого русского офицера — Коли Давыденкова (потом расстрелянного в СССР) отмечена была в Берлинском ресторане Tirolishe Hitter — (Тирольская хижина) после его вечернего закрытия для посторонних посетителей. Были отрезаны талоны на карточках, подано вино, на свадьбу полагающееся.

Вообще столичный ресторанный быт был пропитан национальными традициями: эрзац-пиво — в специальных фаянсовых кружках, под которые подкладывались выдаваемые каждому картонные кружки. Их брали «на память» о событии. В одном маленьком уютном ресторанчике Берлина время от времени начинали качаться стены, справа налево, слева направо. Пьяных вдрызг немцев я не видела, зато русских (власовцев) выводили не раз. Выпив, немцы в компаниях пели, сидя, взяв друг-друга под руки и покачиваясь ритмично, как в хороводе. Такая манера национального фройндшафта[31] — обнимания друг друга цепью и раскачивание с песней (часто с тирольскими переливами) — поразила меня до слез еще в симферопольском театре. Там же впервые услышала я и аплодисменты «в такт», что и у нас принято теперь.

Кстати, в одном из берлинских ресторанчиков я пережила потрясение. В юные годы я работала в Алупкинском музее Воронцова. Инвентаризовала графику «свинцового кабинета». Среди подлинных гравюр Рембрандта, Дюрера, собранных еще М.С. Воронцовым, было много современной графики, поступившей в музей после революции, были акварели Волошина, Добужинского, Богаевского. И вот на стенах берлинского

ресторанчика я увидела два известных мне (запомнившихся) акварельных рисунка Богаевского из Алупкинского музея.

— Откуда это у вас, — любезно, но задрожав внутри, спросила я у хозяина ресторанчика. Оказывается его сын воевал в Крыму и привез… И когда я читаю у Сельвинского, как он «с мясом» вырывает из рукава немецкого солдата значок участника битвы в Крыму, я вспоминаю эти акварели, но повторить жест Сельвинского мне мешает мысль: «А в чьих карманах остальное?»

Удивителен для нас дружеством своим был народ немцы! Действительно, вопреки всем пропагандам, в горестях войны (а война и для успешно воюющего народа — горесть) немцы внутри страны сохраняли невиданный у нас порядок, достоинство и до мелочности соблюдали свой национальный патриархальный уют. К концу войны многие улицы Берлина представляли «лунный пейзаж», но если сохранился дом, часть даже, в уцелевшей части с кое-где аккуратно заштопанными рамами в окнах блистали белоснежные и нарядные занавеси.

Берлин пылал. С грохотом рассыпалась Германия. Космическим ужасом веяли ее развалины. Будто нездешняя сила нагромоздила на Мюнхенском вокзале громады плит на плиты, но в окнах ближайших домиков-времянок, сооруженных из не совсем покореженных вагонов, висели кокетливые занавесочки. Народ жил!

Нам, русским, особенно жителям столичных городов, была удивительна не архитектура, не цивилизация, а культура общения немцев друг с другом. В переполненных вагонах метро и железных дорог люди, имеющие сидячие места, посидев, доброжелательно и любезно сами уступали их стоявшим, усталым: чередовались без сговора и споров. Не слыхала я ни разу ни злобного огрызанья, ни хамства, ни споров, как принято у нас.

Во время налетов, а они были ежедневными и еженощными и приносили мирному населению бесчисленные потери, — вели себя немцы прекрасно (как впрочем и москвичи, что я отметила в самом начале войны). Шумной паники не помню, только бледнели, когда радио в бункерах звучало: «Файндлихе флюгцойге юбер»[32]… если это «юбер» был близко. После отбоя на разбитых в щебень улицах появлялись не только кареты скорой помощи, но полевые кухни, и подле них никто не толкался, не лез без очереди. И еще поразило невозможное у нас: в последней новогодней речи (1.1.45 г.) их фюрер выражал сожаление и сочувствие народным потерям, благодарил за жертвы во имя Родины, но особенно поразителен был кусочек речи, где он говорил о потере многими «памятных семейных реликвий»,

гибнущих в бомбежках. Ну кто из фюреров советского фашизма говорил бы о таких «потерях», когда и жизни-то гибнущие были им как текучая вода! Обращение Сталина в роковые минуты к «братьям и сестрам» даже в годы его культа для миллионов прозвучало лицемерием. Рядом же с потерями живыми скорбь о «семейных реликвиях» выражала дух самого народа, уже предчувствующего свою обреченность, но не сломленного духовно. Каждый немец чувствовал заботу о нем государства, даже ненавистники фашистского режима не могли этого отрицать. Отсюда и видимое спокойствие. Страдали, но молча, отчасти, может быть из страха перед карами, могущими в любой момент обрушиться на «плохого немца». Только один раз я видела, как простое человеческое сломило немецкий Geist (дух). Во время эвакуации из Ставрополя, сопровождавший наш вагон унтер-офицер-музыкант на какой-то станции впустил в вагон солдата отступавшей армии, рыжего как пламя и весноватого как кукушкино яйцо. Он был пьян. Рыжий вошел, весь растерзанный, мокрый, видно товарищи отливали его водой для протрезвления. Упал он на колени и завыл, как воют на могилах русские бабы. Только что на вокзале он узнал, что вся его семья погибла при бомбежке Гамбурга. При совсем скудном тогда понимании языка я все-таки сумела понять его воющие восклицания: «Мамочка! Любимая! Сестра! Малютка… Шелковые волосики… глазоньки голубые! За что!? Почему?!» Весь наш вагон-товарняк притих, внимая этому страшному плачу дюжего парня. Он еще что-то кричал, подымая кулаки к небу, проклинал… Что он проклинал, понятно стало, когда «шеф» вагона Вальтер стал зажимать ему рот ладонями. Парень знал, что в вагоне везут русских и не на наши головы призывал небесные кары, потому что протягивал нам сведенные судорогой руки и, корчась на полу, взывал: «Люди!». Среди нас были пожилые. Он нам кричал: «Отцы! Матери!»… Это была единственная мною виденная истерика. Больше ни душевной, ни внешней расхристанности ни при каких ситуациях не помню. Так же как не видела ни одного стоптанного каблука, ни нищей одежды — порядок в снабжении каждого, кто был немец или был полезен рейху — был отменным. Может быть перед иностранцами прятали переживания от национальной гордости, перед своими — от страха: осуждение войны фашизм карал.

Скажут: хорошо было их спокойствие за счет ограбленных стран. Но награбленное нами после победы впрок не пошло ни государству, ни людям, из-за уже прочно развращенной психики нашего народа. И видела я немцев в разных ипостасях (в советских лагерях, например) в обстоятельствах, далеко не

победительных, по ужасу равных войне, но и там вели они себя достойно. Вот пример для нашей национальной разболтанности, во сто раз увеличенной антинародной советской системой!

2. Немецкая идиллия

Большинство некрупных кафе, бирхалле, ресторанчиков были частными предприятиями. В одном из таких ресторанов мне довелось увидеть немецкий быт как бы «изнутри»,

Я пришла сюда наниматься прислугой. Маленький удивительно «гемютлих» домик на окраине Потсдама. С обвитой розочками террасой, с палисадником, ухоженный, как девичья комната, с фаянсовыми гномиками под кустами жасмина и сирени, искусственными грибочками в ярко-красных шапочках, разбросанных среди травы — типичный немецкий палисадничек с грошовыми, но милыми затеями. Гамак под деревом… качалка и детские игрушки, забытые на прелестной садовой скамеечке…

Хаусфрау «даст обеды», как прежде водилось и в России. Летом столики на террасе, под вьющимися розами, зимой — тесно стоят в небольшой передней комнате, гостиной. За нею кабинет хозяина. Он на фронте, офицер вермахта (армии). В супружеской спальне — глубокая ниша под аркой, в ней детская кроватка с распятием у изголовья. Кухня с газовой плитой, приспособленной и для топки дровами или брикетами (газ из-за бомбежек почти не включают). Уютный светлый и теплый коридор бездомному москвичу (а их до войны сотни тысяч) мог бы служить первоклассной квартирой. В нем хозяйка предполагает поставить для меня кровать, в чистом, как комнаты, чулане есть у нее запасная, не новая, но неплохая.

Хаусфрау молодая, моих лет дама. Сыну 8 лет, он уже ходит в школу. Муж до войны служил «в бюро». Типичная семья «средних немцев». Не слишком интеллигентных.

Я пришла к хозяйке «по вольному найму»: она боится остовок-воровок, и меня ей рекомендовали, как русскую интеллигентную женщину, нуждающуюся во временном приюте и работе, пока ее русский муж выезжал ненадолго из Потсдама.

Слово «интеллигент» в нашем понимании в Германии не существует. Возможно, его вытравили фашисты. Там говорят «гелертер», т. с. образованный, ученый, «виссеншафтлер» — научный работник. С категорией же интеллигентов дама по имени Эгнес (Агнесса) не сталкивалась, разумеется.

Мы знакомимся. На коленях фрау сложены тяжелые руки, совсем не выхоленные: она трудится. Вежливо-высокомерна, как подобает работодательнице, я — вежливо почтительна, как

подобает будущей прислуге.

Имя мое — Евгения она слышит впервые, и очень удивлена, что к имени у нас прибавляют имя отца. «…нет, это длинно, трудно — смущается она. — Я буду называть вас мадам, а вы называйте меня Эгнес». Слегка обалдеваю: какое-то перевернутое представление о хозяйке и прислуге, по нашему разумению.

— А какая для меня у вас предполагается должность: горничной или кухарки? — Эгнес в величайшем такте возводит брови: ее предупредили, что «гелертерин» (образованная).

— О! кухарка! — Моя хельферин, — помощница! — объясняет, что готовить она будет сама, у нее постоянная клиентура, ее стол хвалят. И за провизией будет ходить сама, она ее возит в коляске. Я должна в это время присмотреть за ребенком — о, он послушный мальчик, но ребенок все-таки, и за домом, Эгнес очень боится воровства. Кругом, в Садах эти русские рабочие — она запинается и краснеет: я могу ведь оскорбиться за русских вообще!

Кроме того, я должна разносить обеды четырем соседям, накрывать столы и подавать клиентам из кухни, убирать столовую (при чистоплотности немцев это оказалось самым нетрудным делом), нужно, изредка кабинет хозяина. В нем никто не живет, все сохраняется, как и при нем, но иногда… пыль… ковер… Спальню она — сама, как и двор с садиком. Эрни — сын даже любит такие уборки. В стирку она отдает… разве только мелочи… О, кастрюли она чистить никому не доверяет… У нее чудные порошки! Деньги… Она высчитывает каждый пфенниг моих будущих расходов?., трамвай… кино… Вы не ходите в кино?! Почему?.. Да, да, она будет платить! Остовки не получают денег, их государство дает немцам бесплатно за небольшой налог… Я прошу, чтобы она предупредила клиентов не давать мне чаевые, этого я не могу… Она огорошена. Зачем же от этого отказываться? Она их у меня отбирать не будет… Но… впрочем, понятно: чаевые — это для лакеев… Обстоятельнейше объяснив, что я должна делать, она мягко кладет свою жестковатую руку на мою и мило говорит: «Нике эксплоатирование… Нике ангст (не бойтесь)!»

Этот ресторанчик Эгнес открыла еще до войны: надо было внести свою долю в семейный бюджет, закончить оплату и отделку домика, приобретенного супругами. Домик, действительно «отделан» на славу: снаружи и внутри ни царапинки, ни пылинки. Дорожки, ковры стерильно чисты, хотя пылесосов их быт еще не знает. На стенах неплохие подлинные картины, наследие предков. В комнатке-нише ребенка и на кухне вышитые и выжженные на дереве изречения-пословицы, как

принято в немецких обывательских домах. На наволочках белой гладью вышито: «Спокойной ночи». Для меня все это — экзотика, и стиль бидермайера здесь воспринимается не как безвкусица, а именно стиль. Мебель старинная, ухоженная. Но столики в столовой пластмассовые, модные, в СССР я уже видела подобные. Холодильником ей разрешают пользоваться как представительнице общественного питания. Есть и машина для стирки, но ей пользоваться нельзя — во время войны строго экономят электроэнергию. Имея электроутюг, Эгнес гладит старинным паровым. Немцы таким запретам подчиняются безоговорочно, никогда не прибегая к жульничеству: война ведь для будущего процветания! Однако будущее становится неясным. Эгнес нервничает: когда же этому конец?

Но по-настоящему тревожится она только за мужа. Он у нее милый и добрый. Она «угощает» меня обязательным в обывательском быту «угощением»: фотографиями. Вот они жених и невеста. Новорожденный Эрни в разных видах. Дед — прусский офицер. А вот и война. Рассматривая фронтовые снимки, вздыхаю с облегчением: обычные фронтовые будни. Хотя и не послал бы он своей чистой и безгрешной Эгнес снимки с жестокими эксцессами или бабами, если такое случалось.

Война и муж пока далеко, но фронт приближается к Рейху. Пока Бог бережет мужа. Был ранен неопасно. Ежегодно приезжает в урлауб (отпуск). Потсдам — город-музей, его не будут бомбить, наивно думают они оба. Я тоже в тревоге за мужа, и мы, женщины двух вражеских стран, со слезами молимся за близких.

Ресторанчик ее содержится так: еженедельно она отбирает у постоянных клиентов талоны (в меню указывается и число граммов), получает по ним продукты, из них готовит. На общественное питание легче получить мясо хорошего качества и другое (не случайно немцы предпочитают питаться в ресторанах). Приходится добавлять и свое — за домиком небольшой огородик, так как в ресторанчик заходят и случайные клиенты, их не так уж мало. У них она срезает талоны, согласно с меню, и получает на них продукты так сказать «задним числом». Так вращается колесо снабжения ее частной кухни. Картофель и тяжелые продукты ей завозят, и молоко, и крупы, и муку…

Так продуман до мелочей спокойный и уверенный порядок снабжения в стране, охваченной пожаром, что мне удивительно.

— А если не будет продуктов, не завезут — Эгнес удивленно отвечает, что этого не может быть. Если разбомбят… Уверенность в «орднунге» — порядке — вот суть гражданского самочувствия Эгнес. Над нею Рейх, который бережет ее жизнь и ее сына.

С чемоданчиком я перебираюсь в очаровательный домик.

Кровать, как оговорено в коридоре, кроватка чистенькая, но «с шишечками». Эгнес восхищается изяществом моих платьиц, которые я развешиваю в ее шкафу. «Лоскуток, просто лоскуток! — восклицает немка. — А вы в нем, как парижанка» — это высшая похвала женщине в Германии. Немцы-мужчины первыми познали изящество иностранок в сравнении со своими топорной работы женами, потому и немки признали их преимущество.

Очень скоро мое положение в этом доме резко улучшается. Допущенная к уборке «святая святых» — кабинета, я кинулась к книжному шкафу. Роскошные Лейпцигские издания европейских классиков. «Для Эрни» — с гордостью говорит она, удивившись, что я свободно читаю фамилии на корешках. Раскрываю Гете, отыскиваю «Лесного царя», первые строки читаю по книге, потом по школьной памяти (учили немецкий) наизусть. Потом по-русски. Эгнес округляет глаза: Как, я знаю так хорошо великого Гете? Я называю его произведения, которые она не читала. Ка- ак! Я, русская, из варварской страны, как она полагает, знаю так хорошо и Шиллера, и Лессинга! До какой же степени я образованна! О, Готт! Выясняется, что многие обстоятельства и детали германской истории и эпоса я знаю лучше, чем она, кончившая среднюю школу! О, Готт! Она, всю жизнь проживавшая в Потсдаме, мало знает о Фридрихе Прусском, путает эпохи, в первый раз слышит от меня, что однажды немка была Великой русской царицей.

Мещанка русская, обозлилась бы, узнав о таком преимуществе прислуги над ней, мещанка-немка, напротив, преисполняется ко мне решпектом.

В следующие дни, когда я упомянула изъятого в фашистской Германии «юде» Гейне и прочитала по-русски несколько его стихов, она, приложив палец к губам, открывает шкаф и там, в самом заду, показывает мне тщательно замаскированные томики великого немецкого поэта. Если б немецкий фашизм не рухнул, ее сын имени его не узнал бы. Хотя стихи Гейне анонимно проскальзывали в учебниках. Немецкая женщина шепотом говорит мне: «Дер гроссе унзер дихтер» — и со страхом признается, что берегут для Эрни: «Не всегда же это будет продолжаться… Были еще прелестные оперетты Оффенбаха. Мы их теперь не слышим… И хотя юде — большое зло, талантливых юде нельзя было выбрасывать прочь… Только, фрау Еугения (так она меня теперь называет, сократив мое имя), никому… ради Бога… И вообще, говорит, их всех убили. Правда ли это? Зачем? Люди же… Их можно было поселить где-нибудь отдельно… — Она еще ниже понижает голос — Вилли (муж) тоже так думает». Называет фамилии Потсдамских врачей, художников, которые у

нее на глазах исчезли…

О массовом уничтожении евреев она ничего не знает, я знаю только по рассказам украинцев. Ненавидевшие их украинцы жалели, говоря: «Вредные они, но тэ ж людыны».

Немецкий народ прекрасно понимал, что массовые жестокости фашизма — позор Германии. Однако на темы политики мы с Эгнес говорили мало: ее это интересовало не так уж больно.

В разговорах с Эгнес я убедилась, что «крамольные мысли» очень даже жили среди народа, запуганного и запутанного в такой же степени, как советский. И быть может, немке Эгнес не сказала бы того, что говорила мне. Только у немцев перед нашими было преимущество: о них неусыпно заботился Рейх, и они это чувствовали и гордились Рейхом. У нас же население служило только горючим материалом для процветания советского фашизма. Их фашизм исходил из привычек и традиций, играя на низменных инстинктах народа, порою, но не разрушая его исторически сложившийся дух, поэтому народ был народом. У нас разрушал этот дух, насиловал его, поэтому стал ненавистен, что и отразилось в том, что на сторону «внешнего врага» переходили сотни тысяч людей, несмотря на ненависть к этому врагу. Если б не сумасшедшая теория порабощения славянства и биологический антисемитизм, Германия на Востоке войну не проиграла бы. Культурные немцы стеснялись проявления животной расовости, проповедуемой с кафедры и в прессе. Существовал, например, журнал «Унтерменш» — дикое расовое пропагандилище. Интеллигентные немцы его не читали и смеялись. Расовость была популярна, вероятно, только в узко сектанско-партийных кругах и среди колбасников. Да, изо всех европейских народов немцы во многом похожи на нас, кроме может нашей беспорядочности. На чехов — педантичностью и страстью к порядку, на нас сентиментальностью и жестокостью.

Эгнес, когда я показываю ей мои статьи, иногда называет меня даже сударыня. Я вижу, как она шепчет обо мне постоянным клиентам: Шрифтлейтерин… Они тоже обращаются с уважением… А то, что я «прислуга», в Германии и Европе всякий труд почетен, министр и академик могут копать землю вместе с другими. Теперь Эгнес вырывает у меня наиболее грязные кастрюли и был случай, когда она постирала мое белье вместе со своим. И ночую я уже не в коридоре — там дует! — а в «священном капище» дома — кабинете хозяина, на диване. Мы становимся подругами. Питаюсь я вместе с нею и клиентами (так было в условиях найма), но вначале мне выделялась «порция», потом меня угощали украинским салом из виллиных посылок и

священным Bohnenkafe, потом я могу есть, что хочу. Я не злоупотребляю таким доверием. Мне дается лишнее: «Вернется Ваш муж, Вы должны быть полненькой». Чувственная, как большинство немок, она признается, как по-женски томится без мужа, но удовлетворения на стороне не ищет, как некоторые немки, прикармливавшие наших военнопленных. Ко мне иногда заходят русские знакомые офицеры из пропаганды, она угощает их тоже. С деловитостью истинной европеянки, которые на эти вещи смотрят просто — физиологически, беспокойно спрашивает (из-за сына), не собираюсь ли я «спать» с кем-либо из своих знакомых, и получив отрицательный ответ, успокаивается.

Наконец, заметив, что мои платьица — только изящные перештопанные «лоскутки» и «ничего не весят», (а она, как истая немка любит вещи весомо добротные) Эгнес предлагает мне свой бецугшайн — талон на приобретение одежды, выдаваемый — платье и пара обуви на год, пальто — на два-три года и т. д. Можно купить платье готовое — ими были переполнены магазины, так как они стандартные, можно при удаче взять меру материала. Немки предпочитали готовое, так как портняжные мастерские закрылись, кроме немногих дорогих и фирменных салонов, куда можно было проникнуть только элитарным дамам. «Мы сами сошьем, — говорит она. — У вас такой вкус…»

Я отказываюсь от бецугшайна категорически, зная, что прежний она меняла на что-то более нужное. Тогда Эгнес, тактично повторяя, что многие нынче переделывают из старого, предлагает мне старое немодное платье из «вечной» материи, из натуральной шерсти со множеством складок. «Мы с вами сами его для вас переделаем». Я снова отказываюсь и настаиваю переделать ей из этого богатства летнее пальто, которого у нее нет. Моей непрактичности и бескорыстия к себе самой она никак не может понять: «Ох, эти русские!»

Эгнес совершенно, вопреки представлениям о немцах, не была скупа: одежда в войну — царский подарок. Но щедрость свою она объясняет практически: я принесла успех ее заведению! Польза от меня была: я научила ее готовить русский борщ, вареники ленивые. Клиентов прибавилось, уверена, многие заходили, чтобы посмотреть на меня, выпив хотя бы кофе.

Пфенниг — основа основ для этой далеко не скупой идеальной немки. А Эгнес конечно была идеальной в гитлеровском Рейхе: слепая вера в установленный ход вещей и четыре «к»: кюхе, киндер, кляйде, кирхе. Таких у нас мы называли «курицами». Не общалась она с подругами, не ходила по гостям и на зрелища («Не хочу без Вилли»). Целыми днями в заботе о своем заведении и сыне. В кухоньке своей в передничке месит,

парит, развешивает на весах продукты с чрезвычайной скрупулезной точностью, учитывая граммы, порции, согласно карточным нормам. Зря не пропадал ни один грамм, ни один помидорчик. Экономность ее ювелирна: как можно упустить, испортить, не использовать, не превратить в пфенниги! И самое-то слово это она произносит как- то особо «вкусно». Но это не скаредность противная, а проявление национального характера. Тогда меня это и раздражало и смешило, но теперь, наблюдая разор своей страны, я умудренная граждански, думаю, как могло бы возрасти наше, национальное богатство, если б мы были хоть наполовину так трудолюбивы, дисциплинированны и осмысленно экономны. Причем эти черты пронизывали не только семейный быт, но всю жизнь страны.

Например, у практичных немцев в военное время существовали «магазины обмена старых вещей». Можно было сдать ненужную старую вещь, от носового платка до мебели, даже изломанной. А на сумму ее оценки тут же приобрести необходимое. Полагалась даже «сдача» мелкими вещами. Принималось для обмена даже рванье: для половых, например, тряпок! Я, к примеру, на совершенно изношенные туфли зато из «настоящей кожи»! (кому-то сгодится на заплатки или детские башмачки) выменяла зубную щетку, расческу, линялый, но крепкий фартучек, не то шарфик, не то кушак шелковый и резинку для вздержки. Шарфик до сих пор жив, как память о Потсдаме.

Итак, Кюхе и Кинд были у Эгнес на первом плане, Кляйдунг в весьма женственных, но не чрезмерных формах. Кирхе — тоже имела место, но, как у женщины современной, не до исступления, что случалось во время войны у верующих русских женщин. Горячо молилась она Богу за мужа. Остальное было — формальность. Раз в неделю, а то и реже, обрядив себя в черный кляйд, а мальчика в щегольской костюмчик с галстуком-бантом, она отправлялась в церковь. Во время алярмов осеняла себя, его, а потом и меня крестом. Кирхе нужна была еще для организации так называемой «зимней помощи»: изготовления или сбора теплых вещей для фронта и для потерявших имущество в бомбежках. В «Зимней помощи» Эгнес даже занимала какой-то пост.

Война рычала вокруг. Апокалиптическое зрелище разрушаемого Берлина сокрушало нервы. Ночами над столицей горели гирлянды ракет, в их свете клубились черные дымы. В Потсдамских убежищах стучал метроном, радио сообщало местоположение вражеских самолетов: «uber…uber…uber…»[33]. Все понимали: в этот миг погибают невинные люди. В

Потсдамских бункерах немки тихо вязали, переговариваясь: «пэнхен», «айер», «буттер»[34]… Шуршала за досчатой обшивкой обсыпающаяся земля. Всех беспокоило соседство военной офицерской школы, но никто не верил, что город-музей будут бомбить. Однако отдельные самолеты прорывались и на этом участке. И тогда мигали лампочки, матери прижимали детей и где-то близко рычала земля, люди шарахались в глубину бункера, и только кто пережил, знает, какой теплой волной заливало сердце при отбое. При мне разрушений в Потсдаме не было, я не видела, но после отъезда его все-таки бомбили. Зато пережила настоящий ад, уже попав в дневную бомбежку Берлина, и из под арки виадука видела, как, медленно разваливаясь пластами, так казалось издали, падали стены многоэтажных зданий.

…Отыскала ли бы я теперь очаровательный домик Эгнес? В нем среди громов и молний войны, тоске и отчаянии разлук и изгнаний я нашла на нашем нелегком пути в патриархальной тишине немудрый жизни уют и отдых, хотя и недолгий. Среди ненависти и битв, злобы и предательства нашла простое человеческое сердце немецкой горожанки Эгнес.

Спустя месяц-полтора, получив от мужа письмо, она сообщила мне, довольная, что муж меня приветствует. Четким готическим шрифтом был написан «сердечный привет милой даме, тебе помогающей. Я рад и за тебя и за нее». Эгнес смеялась: «Я ему дала понять, что вы русская. Но вы заметили, он не написал «русской даме». И вздохнула: «Цензура! Мы не должны вас хвалить! О, Готт!»

А вот сын!.. Впитавший с молоком прусский патриархальный уклад он шаркал вежливо ножкой, чинно и правильно вел себя в общественных местах и за столом — за этим мать следила особенно, но рос человеком совершенно новым. С детским ригоризмом он прямолинейно воспринимал шовинистические догматы фашизма. В школе, в гитлрюгенде, среди товарищей, в детских книгах. Мать, замечая это, тревожилась.

Разговоры с сыном всегда велись в полутонах, даже если она его бранила или награждала пощечиной.

Пощечина у немцев — обычный вид наказания, даже у взрослых, в школах учителя давали их направо и налево, об этом без смущения рассказывал Эрни: «Я сегодня получил пощечину» — звучало, как «получил двойку». Если балл был удовлетворительным, мать молчала, если плохой, еще добавляла плюху. Без особых эмоций! Даже угрозу: «Я тебя высеку» — она произносила спокойно.

Главным орудием воспитания служил авторитет отсутствующего отца, в представлении маленького немчика

окруженного ореолом легендарного германского героизма. «Папа сражается за родину, а ты…», «Ах, что скажет папа, когда увидит, как ты держишь вилку…», «Папа задрожит на фронте от холода, если ты не наденешь пальто…» И ребенок беспрекословно подчинялся нотации в такой форме.

Он ходил на сборы гитлерюгенда, хотя мать его туда неохотно отпускала, но очень уж ему самому хотелось! Он надевал белую рубашку с коричневым галстуком, заправленным в кольцо. Точно такое, как у наших пионеров, только вместо костра была свастика, да и салют был иной — рука, выброшенная вперед. Такие же, как и у нас, барабаны, и шествия. Да вместо «бей буржуев» кричали «бей евреев!» Я все думала, кто у кого заимствовал все эти формы, видимо, они у нас, так как германский фашизм моложе советского. Юный Эрни попал под двойной пресс: нового влияния с бесчеловечными принципами расового господства, элитного антисемитизма и гуманных привычек патриархальной семьи. Все это сказалось в отношении ко мне.

Впервые с детским шовинизмом я столкнулась в деревне под Берлином. Группа мальчишек-подростков, которые есть в любых странах (мальчишки повсюду удивительно одинаковы), зная, что я из русского лагеря, начали плясать вокруг с дикими криками: «Каташка, Каташка!» — так испорченным словом Катюша (из проникшей в Германию нашей песни о Катюше) называли русских девчат. Я сказала что-то вроде «Ах, как невоспитанны немецкие дети!», и тогда они стали бросать в меня довольно крупными камнями. Пример отцов, в драках, создававших свою «новую Германию» был воспринят и юным ее поколением прямолинейно.

(Позднее похожая история повторилась в Сибири, когда детей из ПФЛ, посланных было в школу, сибирчата тоже били камнями). Чувство именно такого «кулачного патриотизма» уже было воспитано и у Эрни. И проявлял он его за спиной матери. Сперва, не зная, кто я, шаркнул ножкой и подставил щеку для поцелуя, но узнав все, начал грубить, говорить «ты» глядеть исподлобья, шептать «Катушка», особенно в дни наиболее неблагоприятных известий с фронта.

Мать, однако, пыталась, не разрушая героический «германский дух», соединить его с гуманностью общечеловеческой, полагая справедливо: «не будет же это продолжаться вечно».

В семье существовал ритуал отхождения ребенка ко сну. В ночной длинной рубашечке мальчик с матерью отправлялся в «нишу». Начинается молитва перед распятием. Сложив ладошки, коленопреклоненный, он просит сперва, чтоб немецкий Бог

сохранил его фатти. Потом за — родину, Gott mit uns[35] заканчивается молитва. Но мать всегда напоминает, чтоб добавил: «И со всеми людьми на Земле, пусть будет мир». Укутав ребенка, Эгнес садится на край кроватки и требует покаяния во всех дурных делах, совершенных им за день. Лежа в кабинете, я невольно слышу диалог:

— Мутти, я еще птичку в саду камнем напугал…

— А еще, еще? — добивается мать, видимо что-то заметившая днем. Нехорошее.

Недовольный ропот, сопение и, наконец, признание:

— Фрау Эугении погрозил кулаком…

— Зачем же, дорогой?! Ведь ты сам мне недавно сказал, что она хорошая…

… — Она русская! Русские могут папу убить! Русские бомбят Германию!

— Но ведь то солдаты, на войне, а фрау не солдат. Да еще несчастный человек, потерявший Родину. Представь на минутку, что нам с тобою пришлось бы потерять свою…

— У нее плохая Родина. Шайзе — Хаймат (г… — родина).

— Не смей говорить грубые уличные слова! (звук пощечины). Каждому человеку его Родина священна, даже если она плохая!

Слышу, мальчик всхлипывает, куксится (после пощечины).

Мать снижает тон:

— Ты же видишь, фрау такая хорошая, воспитанная, образованная, так много знает…

— Больше, чем наша училка, мутти?

— Я думаю, больше!

— А почему она не уезжает в Россию?

— Потому, что война, она убежала от коммунистов…

— Но они могут убить папу!

— Если будешь за него молиться и будешь добрым мальчиком, Бог его сохранит. Только, знай, надо быть добрым внутри, по- настоящему, а не только для вида…

— Я буду, мутти! — какое-то неразборчивое шептание, возня, и я слышу, к моему дивану притопали детские ножки в пантуфельках. Вкрадчивое движение у подушки. Теплое детское дыхание… Он убегает, под подушкой я нащупываю конфету. Это подарок. Сюрприз.

Во время военных трудностей немцы дарили скупо. На первых порах казалась оскорбительной их манера дарить: например, предлагают сигарету не из пачки, конфет не из коробки, а вынув одну. На лице появляется торжественное: «Я дарю Вам!» Так было и среди хорошо воспитанных людей. Наш немецкий начальник до войны долго работал в посольстве в

Москве, знал наши русские «светские» привычки, однако, угощая конфетами, вынимал из коробки одну и давал, как ребенку. Я возмутилась открыто: неужели он полагает, что я возьму целую горсть? Оказывается — это обычная немецкая манера — каждому вручалась его «порция». В Европе я поняла, что там называют «широкой русской натурой». Даже в сталинских лагерях во время голода и скудости папиросами угощали, открывая всю коробку (за что порою и наказаны были: одаряемый брал горстью).

Во время войны и предшествующих ей кризисов немецкая расчетливость и священное «мое» особенно углубилось в народе. Я наблюдала, как немец мог вкусно со смаком есть, в то время как рядом стоял его голодный соотечественник. Он ел «свое», полагающееся ему, а не голодному. Русские же голодающие военнопленные делились, как правило, с ближними. Эгнес была шире своей национальной черты, о чем свидетельствует предложение мне подарка немыслимой ценности — бецугшаина на одежду. Подарок конфеты ребенком был сделан по-немецки, с расчетом, чтобы «Бог сохранил отца». Эрни должен быть добрым. Должен! Ну что ж, привычка быть добрым вырабатывается разными путями!

Утром я протягиваю ему его конфетку: «Смотри, чудо! У меня родилась конфетка». Мальчик прячет руки за спину: «Чудес не бывает! — говорит наставительно. — Это Вам. Я. Сюрприз.». И лицо его принимает подарочно-торжественное выражение: Я дарю! Вам! — Он приветлив. Мы усаживаемся решать арифметические примеры. Приходят дни, плохие для Германии, — и снова «ты», снова «Катушка», кулаки и злобные взгляды.

Особенно поражен ребенок открытием, что русские, какие-то «власовцы» «мит унс» (с нами). Сначала он понял это, как обычай ландскнехтов у Фридриха Прусского, потом так: попав в плен, они увидели, какой хороший порядок в Германии и решили свалить Сталина, потому что он «шайзе». Сохранись германский фашизм, из Эрни выработался бы типичный фашист, с присущим им хамством и грубостью, недаром к отчаянию матери он так легко «усваивал» уличные слова. Но вот в образе хиппи этого немецкого юноши я представить не могу, да их, как будто в послевоенной Германии и не было…

В военной Германии и порабощенной «тедесками» Италии мне не удалось увидеть музеев. Они были закрыты. Дрезден разбомбили перед самой предполагаемой моей туда поездкой, в Потсдаме видела только выставку известного скульптора «новой Германии». Зато запомнила архитектуру еще уцелевших, еще сохранивших лицо городов, с их барокко и рокайлями в Берлине

и Потсдаме, постройки Тироля — высоко-готические белые дома с наружными фресками каких-то вытянутых в высоту фигур. Мюнхенский очень поврежденный собор на пути в Италию… Многое осталось непонятным — не было ни путеводителей, ни сведущих спутников. Зато прелесть немецкого Гемютлихкайта, идущего от «биденмайера» середины прошлого века, а главное жизнь народа — вкусила достаточно.

В заключении советском, среди такого родимого серого смрада, снилось мне увиденное и не увиденное в Европе: замки, магазины, полные красивых изделий, и особенно — уютные прелестные домики одноэтажной Германии и Тироля — олицетворение мира. Я не жалею о тяжком времени своего зарубежного изгнания.

При скудности чисто «туристских» впечатлений особенно важное в стране — народ и характер, я узнала. «Курица» Эгнес и подобные ей помогли мне понять его внутреннюю культуру, основанную на осознании себя единым целым «мы», при величайшей национальной организованности. Из глубин истории этот народ донес до жестоких годин добродушие и сердечность, и это добросердечие не успели вытравить десятилетний гитлеровский режим, опирающийся на средневековье, на инстинкты низменные, садистские, имеющиеся, понятно, в народе каждом. Естественный, воспитанный историей патриотизм пытались обратить в шовинистический бред! В этот период немцы уже не разделяли себя на пруссаков, саксов, баварцев и австрийцев. Они обрели сознание единства, и это скажется на дальнейшей истории Германии, чреватой многими международными бедами. «Яволь» и бездушие царило лишь в фанатической и бюрократической среде партийной элиты. Как у всякой элиты. Неистовая человеконенавистническая пропаганда, понятно, велась во имя войны с «унтерменшами». Точно такое царило и у нас: помню зрительно статью Эдинбурга: «Убей немца», которой писатель потом безусловно стеснялся, как стеснялись немцы мыслящие журнала «Унтерменш»[36], дискредитировавшего славянство. Все это тогда служило оружием войны. К слову: один из наших немецких редакторов, возглавлявший пропаганду и конечно, осознавший «позор Германии», сказал как-то в интимной беседе: «Мы делали, делали антисоветскую пропаганду, пока сами в нее не поверили!»

Но в тайниках народной души, всегда и везде спрятанной от правящей элиты, сохранилось человеческое, что собственно и спасает нацию. Советскими же «фюрерами» зло, классовая вражда и подлость внедрялись десятилетиями во имя мифического будущего, ради разрушения русской народности, прошлое

которой сперва проклиналось и осквернялось, затем служило предметом пропагандой спекуляции (ордена Суворова, Кутузова и пр.) и только теперь в совершенно искаженном виде выкапывается из-под мусора всеми преследуемыми лучшими людьми России. Но не поздно ли?

И тогда я уже поняла, что для будущего Человечества важно не различие богатых и бедных, владеющих средствами и не владеющих, что нет на земле ни немцев, ни англичан, ни русских, никаких рас, — это все лишь «понятие», а есть только люди, плохие и хорошие. И наступление лазурного будущего Человечества возможно только тогда, когда исторически отомрут «искусственно» созданные людьми лжепонятия и классификация. «И будут Люди на Земле!»

III. ИСЦЕЛЕНИЕ

Пробабушку мою Марину Никитичну в станице Суворовской все знали и как огня боялись.

Она была женою казачьего полковника Михаила Ильина, происходившего из пленных крещеных персов, принятых в 17–18 веке в казачество. В зрелые годы свои был прадед атаманом станицы, и его вдову до смерти звали Атаманша Ильиниха.

Ее судьба замечательна: она по рождению курдинка. Михайло был уже женатым офицером, когда во время Кавказской войны, какой-то кровавой стычки с курдами в Закавказье, нашли казаки на дороге, по которой бежали от них курды, грудного ребенка, девочку. В пелены дорогие был завернут потерянный ребенок, ценными амулетами увешан, видимо, была она дочерью какого-то курдинского бея, хана — не знаю, как у них знатные назывались.

Михайло взял ребенка, в седле возил, его приближенные казаки кормили малютку из соски. Скоро, закончив кампанию, вернулся Михайло домой и привез девчушку жене-казачке.

Окрестили найденыша. Воспитали вместе с родной дочкой хорошо, отдали в Институт благородных девиц, вероятно, в Новочеркасский, ибо Екатеринодарский был основан позднее.

Когда жена умерла, было полковнику Ильину под 60, а Марине 16 лет, но он с разрешения архиерея женился на воспитаннице, благо, не усыновлял ее, и отчество носила она по имени суворовского казака Никиты, ее восприемника при крещении, и фамилия девичья у нее была по крестному отцу, не знаю, какая.

Даже в старости очень красива была совершенно обруселая и оказаченная курдинка: высокая, стройная, беломраморной кожи, глаза черно-огненные, и волосы до пят волнами черными. Это в

нее не седеем мы долго.

Я представляю прабабку в тонах кавказского чекана: ослепительно светлое серебро и чернь. Сатаней из нартских сказаний для меня принимает образ прабабки. На Марину, говорят, заглядывался сам наместник Кавказа С.С. Воронцов, сын «того» Воронцова. Его заглядывание, кажется, и подвигло прадеда, овдовев, жениться на красавице-воспитаннице. Было у нее с Михайлом двое дочерей, одна из них, Таня — мать моего отца.

Отец в девичестве моем говорил, что чертами лица похожа я на эту свою прабабку. И вот, гляди: она красавица была, а я только хорошенькая девочка, не более. Видимо, дело тут — в колорите, в этих «тонах кавказского чекана», в стати. Тамара наша ближе к ее облику. Умерла она до моего рождения, портреты не сохранились, смутно помню только другую свою прабабку, мать деда, противную мокрогубую старуху Львовну, от которой я даже пряталась во младенчестве. Зато прабабушку Марину мне хорошо обрисовали и бабуля Таня, и отец, и тетя Веруся. Она мне ну, прямо, видится, как живая. От дней институтского воспитания говорила и читала она по-французски, чем уже плохо владели ее внуки, умела «принять» любого гостя, любой разговор поддержать, но в быту была типичной станичной казачкой. Что там корову выводить — кизяки[37] и саман при нужде с девками месила ночами сама. Даже босиком порой хаживала.

Идет, бывало, атаманша Ильиниха по станице, высокая и до глубокой старости стройная, как раина. В знак траура по мужу одета постоянно в черное до пят платье, покроя особого, вроде монашеского, не казачьего и не барского. В руке обязательно палка — высокий посох, иногда это просто выломанный от мощного подсолнуха стебель. Идет неторопливо, будто шествуя торжественно, с посохом своим похожая на патриарха с жезлом.

Мимо идущие казаки, и молодые и старые, почтительно снимают шапки и кланяются бывшей атаманше в пояс. А она иного подзовет низким басовитым голосом, остановится величаво и начинает «чепушить» за какую-нибудь ею замеченную провинку. Или в церкви не истово стоял, или жене изменяет. Все, что в станице делается, Ильиниха знает. Особенно негодовала она на тех, за кем приметила порок ругаться «черным словом» (чертом). Подзовет иногда поближе, поближе и — «за чуприну»! Не взирая на возраст и общественное положение в станице. Говорят, дирывала за волосы и молодых офицеров даже. Иного еще и посохом своим подсолнечным по спине так протянет, что хрупкая палка переломится, из чего видно, что посох-жезл брался в руки

не столько для опоры тела, сколько для величия, как знак власти.

И все безропотно принимали от старой атаманши наказание, да принято было еще благодарить «за науку» целованием наказующей руки.

На сходки казачьей «старшины» женщины не допускались. Но прабабка Марина смело и без зова шла к казачьему кругу, все перед нею почтительно расступались, и она диктовала старым казакам, как надо поступать в том или ином случае.

В молодости стреляла метко, участвовала и брала призы в джигитовках казачьих и, по слухам, чуть не застрелила на чьей-то свадьбе мужа, когда он шутейно приволокнулся за какой-то смазливой казачкой.

Дочь ее Таня — бабушка моя — окончила Александровскую ставропольскую гимназию, называемую «пансионом», т. к. многие гимназистки, дочери знатных или богатых обитателей сел и станиц губернии, жили при самой гимназии в течение учебного года. В Ставрополе же бабуля и замуж вышла, к негодованию прабабки, за «простого солдата», т. е. чином невеликого чиновника, писаря. Маша — дочь тоже замужем была за немцем, богатым колонистом, жила с детьми где-то в Средней Азии, кажется. На фотографии Машина дочь Ирина — с моим профилем, а сын Ипполит — будто мой отец.

Вдовствующая прабабка Марина в старости оставалась совсем одна в своем хорошем станичном доме, окруженная только челядью. Но по близости Ставрополя внуки, Танины дети — отец мой и его сестра, гимназические каникулы проводили у бабки, в станице, а зимою она сама езживала погостить в город к рано овдовевшей Тане.

Дом прадедовский в Суворовке, теперь так неузнаваемо перестроен, что навестившая дедовщину в сороковых годах тетя Веруся узнала его только по старой кривой вербе[38]. Использовался он в советское время как детсад, а прежде был выстроен по барски: с деревянными колоннами, с большой застекленной террасой, как полагалось на юге… При нем был сад, тополя и памятная верба… Внутри дома — обстановка хотя бы и столичной семье впору: мебель ампирная была, в «зале» на мраморных подставках в виде античных колонн — небольшие мраморные статуэтки, видимо, дедовские «трофеи», привезенные из западных походов. В горках — фарфор, хрусталь, были чарочки с вензелем N, чашки с узором из пчел, отбитые дедами в наполеоновских обозах. Единственный такой стаканчик, памятный, недавно разбит уже в моей семье. На стенах — ценное оружие на чудных кавказских и персидских коврах. На одной полувыцветшей фотографии прадедовского домашнего интерьера

разглядела я маленькую скульптуру «Трех граций» в струящихся к ногам хитонах.

Была там статуэтка стоящего в рост офицера, похожего на Нахимова одеждой и горбатым носом. Отец мой и тетки называли между собой фарфоровую фигурку «Печориным», а бабушка, перепутав имена и портретность, считала: это изображение Лермонтова. И задумчиво глядя на статуэтку, говаривала: «Чудные стихи писал!» Напевала внукам строки «Колыбельной казачьей» и, совсем перепутав биографию, — а, быть может, в те времена в той среде ее просто и не знали, — добавляла: «Простой наш казак, а какие стихи!» Отец мне говорил, что долго, из-за этого бабушкиного утверждения, считал Лермонтова казаком и был огорчен, узнав, что это не так.

Изо всех внуков прабабушка любила особо Борьку, будущего отца моего. Как же: единственный в семействе мужчина-казак и «наследник»! Остальные внуки были «девки», как она говорила. Внука Ипполита от дочери Маши, она, возможно, и не видела, а Борька с младенческих годов у нее проводил лето, подростком шныряя пешком по призеленчукскому притеречному Кавказу, где в станицах жили многие родичи Ильиных. В годы гимназические и студенческие портил девчат в Суворовке, за что был бабкою, бит нещадно, так бит, что однажды она вырвала у него юный ус. Любила его, но даже на него тратиться скупилась. Очень была, по рассказам, скупа. Еще крохотным мальчишкой излупила памятно за то, что обмарал новые сафьяновые сапожки красненькие. Как ни наказывали — «не порть одежду!» — Борька все-таки лазал по деревьям и однажды порвал штаны, повиснув на суку. И тогда бабка раздела его до гола, уже десяти-двенадцатилетнего, и привязала веревками к груше, на видном месте, и все мимо идущие — и девчонки, главное, — смотрели на голого ревущего полковницыного внука и смеялись. Только к вечеру какой-то казак осмелился, когда бабка не видела, отвязать Борьку, он, голый, убежал и несколько дней укрывался от бабкиного гнева у родственников. По возвращении был и еще выпорот за переполох при его поисках.

А казак, его отвязавший, при очередном обходе атаманшей станицы был наказан ею телесно за вмешательство в бабкины семейные дела.

Такая вот была властная, нравная, жестокая старуха!

Все эти эпизоды мне рассказаны не только бабулей Таней, отцом или тетей Верусей, но нашли и еще одно подтверждение относительно недавно, когда мне самой было за сорок лет, и ни Борьки, ни бабуленьки моей уже не было на свете.

Еду как-то электричкой в Минводы. Со мною в вагоне старая,

престарая бабушка с корзинкой, а в корзинке гомозится беспокойный петух. Старенькая, сморщенная вся, но бодрая, веселая и разговорчивая ужасно. Оказывается, она из станицы Суворовской. Едет, кажется, к своим детям. Породистый петух — им подарок. Я и скажи, что Суворовка — моя дедовщина, хотя сама я там не бывала.

А чьих вы: — спрашивала бабушка.

Ильиных, — говорю.

Это каких же Ильиных?

Объясняю, зная, что в станице Ильиных было много, вплоть до участника гражданской войны «авантюриста» Ильина.

Бабуся сама — тоже Ильина, и прекрасно по своему детству помнит и атаманиху «Микитичну», и гимназисток — внучек ее, и «черкашенина» Борьку, который ее девчонкой за косы дергал, бывалоча, и колотил — драчун был невыносимый! Станичники и родственники называли хулиганистого мальчишку «черкашенином»[39], потому, что был угольно чернявый, глазастый и ловкий, как вьюн.

Говорю ей, что по всем приметам Борька-«черкашенин» — мой покойный отец. Даже прослезилась старушка, встрепенулась вся. Видимо, девчонкой была неравнодушна к Борьке. А, может, из-за нее он и ус свой первенький потерял! Очень взволновалась бабушка, стала приглашать меня в станицу, где живет с внуками. «Да, Господи! Борькина дочка! Да приезжайте к нам, как бы домой!» — твердит. И тут же мне рассказывает, как бабка Марина Борьку голого — «а он уж почти парень был» — привязывала к груше, как лупила моего будущего отца, так лупила, что родственники-соседи прибегали «отнимать».

Петух в корзинке у старушки клекочет, бьется, стремится разорвать свои путы, а она запихивает его поглубже и все рассказывает, рассказывает мне о моей родне, припоминая подробности. Как все решительно казаки уважали и боялись строгую Атаманиху, работали на нее бесплатно «от уважения». Какая скупая была она: луковицу, которую у нее занимала соседка, на весах взвешивала, чтобы получить обратно такую же по весу. Как она неусыпно сражалась за целость фруктов в своем саду, который «обносили» станичные дети. А фрукты все равно сгнивали — продавать их не было в обычае.

Я слушаю старушку с упоением. «Обносить сад» — это ведь и от моего детства выражение, это значит, залезать потихоньку в чужой сад и воровать там фрукты. Ворованные они вкуснее и желанней. И теперь еще форштатские ставропольские старухи: «Усю яблоню детишки обнесли!»

За «обнесение» полковницыного сада пойманные на месте

преступления ребятишки-казачата, бывали моей прабабкой собственноручно сечены крапивой по обнаженному задочку, штаны или юбчонка отнимались, и приказывалось, чтобы за получением их приходил сам отец или мать. Те, в свою очередь, пороли виновника и за то, что взял чужое, и добавляли за то, что их Ильиниха «выстрамила»: детей-де не умеют держать в подобающем страхе! Так что станичные дети очень боялись быть пойманными атаманшей, но так как «запретный плод сладок», все-таки набегали на ее сад, иногда предводительствуемые самим внучонком, который им сообщал, что бабушка спит или куда-то ушла.

Хорошо помнила старушка и теток-«имназисток», приезжавших к бабушке на каникулы. Я только напомнила ей их имена: Женя, Оля и Веруся. «Ага, ага, — радостно закивала она. Видимо, тетки мои были старше ее, ибо она называла их барышнями, а отца просто Борькой. А м. б. их благонравие, общественное положение соответствовало слову барышня.

Сама же прабабушка Марина называла внучек девчатами или даже девками. Конечно, такую свирепую бабушку внуки боялись больше, чем любили, но подчинялись безоговорочно. Вдовая ее дочь Татьяна Михайловна, моя бабунечка, была мягкая и ласковая, женственная и красивая, красавица даже, но в другом жанре, дама уже совершенно городская, у которой и традиции казачьи вымерли. Осталось только в выражениях нечто: так, она говорила «оклуночек», вместо «мешочек», «полорукой» о неловком человеке, негодяев называла «нелюди». Да по священному кавказскому обычаю каждого даже нежеланного гостя бросалась «потчевать» чем-нибудь вкусным — великая мастерица была в кулинарии.

Бабунечка Таня постоянно просила прабабку: — Мама, уж Вы с ними построже. Растут без отца… (дедушка — «простой солдат» утонул в разлив реки Егорлыка, два отчима тоже умерли). Не дай Бог, что… Вы их моею рукой бейте, наказывайте, мама, не жалейте!

Однако прабабка «девок» пальцем не трогала, боем «воспитывала» только Борьку, любимца и «наследника», очень уж был шаловлив и шкодлив. И учиться не хотел, не усадить за учебник. Хотя летом должен был готовиться к неизбежным из-за лени переэкзаменам. Нанимала Борьке репетитора. Однажды пришел репетитор: «Что ж Боря не приходит?!» Выпороли и приказали, чтоб ежедневно приносил от репетитора расписку, что мальчик на уроке был. Носит расписки. Но вскоре репетитор снова заявляется: «Опять Боря не приходит». — А расписки? — Подделывал подпись. Опять секли. А способен к учению был

отменно. Прабабка же ученость весьма почитала, и лень не прощала.

Дети уезжали на каникулы. А бабушка Таня денно и нощно играла в преферанс, до которого была великая охотница. И проигрывала много, какие-то «земли» например, и удача бывала. Кажется на эту «удачу» — на выигрыш она и содержала семью.

И вот уж подросли «девки», подлинными барышнями стали. Бабушка им, несмотря на скупость свою, и материй на платья накупит, и на ботиночки модные щегольские денег даст: сиротки вы мои! «Справила» сестрам роскошные «малороссийские» костюмы. В них они сняты возле прабабкиного дома. У колодца, в венках, монистах, с коромыслами и ведрами. Нарядов для «невест» не жалела. Однако волосы завивать или там притиранья какие для лица — ни-ни! Боже избави! Убью!

А в станицах девчата всегда на ночь мажутся разными самодельными молочными мазями для белизны лица. И теперь еще в сенокос или уборочную казачки сметаною густо намазывают лицо, от загара и, чтобы «не шорхло».

И потихоньку от бабушки Марины тетки мои раздобыли себе у станичных девчат-подружек «мазилу», чтобы стать «беленькими». Но где от бабушки мазилу прятать? И прятали баночку с самодельным кремом в печке-грубке: летом ведь печка не топится и никто в нее не-заглядывает.

Кончились каникулы, и девушки уехали в город. Мазилу же свою захватить с собою забыли, в печке осталась.

Спустя месяц-другой является бабушка Марина в Ставрополь, в гости к дочери и внукам. Вошла, багаж ее, оклуночки да саквояжики, внесли, и сразу:

— Ах, Таня, Таня, говорит, — чуть было я не пропала! Как заломили у меня ноги, ну, прямо, спасу нет! Я их натирала скипидаром да керосином, и травами парила. Ничего не помогает! Кричу, ну, просто, криком кричу! Совсем было ходить перестала…

— И взмолилась я Богородице: Матушка наша заступница, помоги! Пантелеймон-целитель, батюшка, спаси меня, старуху одинокую, как же без ног доживать мне!

— Помолилась это я на ночь, поплакала, с трудом превеликим с колен поднялась. Зазнобило что-то меня. Затрясло. Думаю, грубку, хотя и тепло еще на дворе, а затоплю. Послала Дуняшку за дровами, а сама хотела из грубки еще летошнюю золу выгресть.

Открыла это я дверку, кочергой только двинула, а там в углу что-то белеется. Гляжу — баночка с мазью…

Тетя Оля с Женей переглянулись и обмерли: забытую ими

«мазилу» бабка обнаружила!..

Господи, думаю, откудова эта мазь? Дунька, ты чего-нибудь в печку ставила?

— Нет, говорит. Вижу, не врет девка, сама удивляется этой баночке. Еще Милашку позвали, Николая-кучера. Что за мазь? — Никто в печку ее не ставил.

И тут меня как ударило: да ведь это же по молитве моей Царица Небесная послала мне! Это ведь лекарство мне небесные силы даровали! Чудо, дети, чудо! Помазала я этой мазью на ночь ноги со слезной молитвой и легла. Легла я это и плачу. Чудо! Чудо! — думаю! И молюсь. И заснула.

Утром встаю — и как будто и не было той сильной боли в ногах, так, чуть поламывает. Целый день ходила, об ногах и не вспоминала! Как рукой сняло! И до се. Хожу, как молодая. Я уж молебен благодарственный Богородице отслужила, и Пантелеймону-целителю свечи ставлю! Чудо, чудо, дети!

И тогда, не так уж крепко верующая, вольнодумная моя бабунечка Таня заплакала, закричала:

— Становитесь на колени, дети, Бога благодарите за бабушкино исцеление!

И мы, — рассказывала тетя Веруся, — повалились на колени во главе с бабкой и матерью и стали радостно креститься. Радостно, потому что вначале страшно испугались с Женькой: бабка догадалась-де, чья это мазь и кем она в грубку поставлена.

От обычной яично-сметанной, без иных лекарственных примесей, «мазилы» суворовских казачек, ноги бабушки совсем прошли. «Вот, что такое вера и сила самовнушения», — заканчивала рассказ об этом случае тетя Веруся-врач.

А «священную» баночку из-под мази, ниспосланной самой Богородицей, Ильиниха отдала в церковь. О чудесном исцелении Атаманши в награду за праведность ее жизни, рассказывал батюшка с амвона. И в ставропольском монастыре для своего дома прабабка заказала монашкам-богомазам икону Пантелеймона-целителя.

Где та икона?

IV. ЖЕНЬКА

«Счастливая, невозвратимая пора детства…»

О наказаниях

«Человек — это мир». Умирает, уходит со мною мой мир,

поэтому так тянет запечатлеть его в воспоминаниях.

Самым мерзким качеством человеческого характера мой отец считал упрямство, может быть, потому, что в молодости упряма была моя мать, которую он разлюбил. Еще совсем маленькой мне папа объяснял разницу: упорство — это хорошо — что задумано, хоть оно и трудно, следует доводить до конца. Упрямство же — это мелочное, беспричинное сопротивление тому, что делать НАДО.

В фольклоре осел считается самым упрямым и глупым животным, папа верил фольклору и клеймил ненавистный порок словами «ослиное упрямство», «ослица», иногда с прибавлением «валаамова» — что было высшей степенью упрека —, «ишак» были у него самые ругательные слова. Самым же похвальным служило словечко «превосходный».

Кроме ненависти к упрямству, отец еще воспитывал во мне и спартанские привычки, например, постель твердая без пружинящей сетки и перинки. Это очень пригодилось в дальнейшей взрослой жизни. Бранил за беспомощное «не могу», которое так часто повторяла моя капризливая мать. Уже была я на грани юности, когда в борьбе с моим «не могу» папа говорил мудро: «Надо делать через «не могу»! Нет, Журжалка, такого, что человек не может» (Как он был прав, я поняла в заключении). Вместо «не могу» следовало говорить «не под силу», «не понимаю», «не люблю» и даже «не хочу». И еще преследовалось — тут уж обоюдно и отцом и матерью — неумение сдержать при посторонних свои неумеренные восторги и отрицательные эмоции. Плакать публично объявлялось последним срамом. К несчастью оба родителя не преуспели воспитать во мне сдержанность в выражении чувств! Наибольшее и постоянное внимание в моем воспитании папа уделял все же упрямству.

У нас в семье моим упрямством называли непослушание старшим. Единственная порка, которую отец мне вкатил, которая доселе памятна, состоялась за упрямство, а не за самый факт проступка. Я дразнила кого-то языком — запретили раз и два, продолжила, и тогда отец взял ремень.

Обычным же наказанием за упрямство, под которое подводилось всякое повторение запрещенной шалости, служил так называемый «угол». «Стань в угол!» или — степенью выше: «носом в угол!»

Попробовали бы вы постоять неподвижно хоть минут десять — это и скучно и утомительно, поэтому я, скрепя сердце, подчинялась приказаниям старших и незаметно, постепенно становилась послушной, то есть, папиным словом говоря, не упрямой.

Однажды я приставала к взрослым, игравшим в карты, мне хотелось, чтобы они из этих карт строили для меня домики. Раз пристала — прикрикнули, снова пристаю. Отец приподнял свою черную подвижную левую бровь: «Ах, упрямишься!» И — в угол!

Формулой для прощения служила фраза: «Я больше не буду!» В тот раз я упрямо не изрекаю нужной формулы, так долго, что взрослые затревожились: устал ребенок и, может быть, заснул. Посмотрели — нет, я дерзко и независимо стою в углу солдатиком. С детства у меня были слабые ноги, я уставала быстро, и мое мужество сейчас — непонятно. Может быть, ты, Женюшенька, попросишь у папы прощенья?? — мягко подсказывает тетя Веруся. Я только головою отрицательно качнула. Отец опять поиграл бровью: «Так ты еще упрямишься! Тогда в угол носом!»

Снова неподвижно стою, уткнувшись лицом в стену, по ритуалу оборачиваться не полагалось. За моею спиной двигаются, разговаривают, вот уж и преферанс расстроенно закончили, тетя уходит. Стою из последних сил, но прощения не прошу. Тетечка, любимая, подходит уже в шубке и капоре, уютная, душистая такая:

— Ах, Женюша, ну что я теперь скажу бабуленьке!

И только тогда я зарыдала отчаянно, сползла от усталости на пол и закричала: «Передай бабуле, что ее сын Борис — свинья!»

За это не наказали, кое-как замяли дело: я была в изнеможении. Да дерзость как таковая и не подлежала наказанию, каралось лишь сопротивление нотации за нее.

Если я гостила у бабушки Тани и тети Веруси, меня ставили не в угол, а на коленки, но весьма гуманно: перед кушеткой, на которую клали игрушки. Здесь наказанием служила вынужденная поза. Быстро ею утомившись, я изрекала нужную формулу. Запрещалось только вскакивать с колен прежде, чем скажут о прощении.

Папа обычно заходил к бабуле, чтобы отвезти меня домой. «За что стоит?» Если отвечали — за упрямство, вздернув бровь, он говорил красивым своим баритоном: «А! Ну, за дело, за дело!» и ждал, когда попрошу прощенья. Как только я произносила «формулу», папа со словами «вот, и прекрасно!» укутывал меня, устраивал в специальную сажалочку впереди велосипедного седла и увозил с миром. И даже маме не рассказывали. Если же прощенья просить не торопилась, а папе было некогда, все-таки подымали с колен, так же усаживали, предупредив, что дома я буду переставлена в угол носом. Это, видимо, считалось эквивалентом бабушкиного «метода».

Еще в пути я спешила рассказать о своей вине и произвести

свое «не буду». Тогда папа говорил, что я превосходная девочка и норовил меня сверху вниз поцеловать, а велосипед при этом делал петлю. Один раз вечером во время такого вольта мы упали, и папа ладонью угодил в коровью лепешку, их у нас в доме называли почему-то «редикюль». Вот какая антисанитария в то время была на городских тротуарах!

В велосипедных разговорах иногда отец заявлял, что наказана-то я бабулей, и прощенья следует у нее просить. При следующем посещении я прямо с порога кричала «прости». Иногда папа для верности интересовался: «Но ты действительно раскаиваешься, или только, чтобы не стоять в углу?» Не помню, что я тогда отвечала отцу, но отлично помню, что в детском сознании своем разницы между раскаянием и произнесением формулы в ту пору совершенно не понимала. Наказание просто механически отбивало у ребенка дурные рефлексы, и, следовательно, было целесообразной мерой воспитания.

Наблюдая нынешних всеми демонами одержимых детей, которых не только не наказывают, но полностью предоставляют собственной природе, никак их не воспитывая для общественного поведения, я думаю, что мы были «шелковое поколение».

Существовала еще высшая степень наказания: «на колени на горох». Под угрозой такой пытки я сразу же торопилась просить прощенья, для верности два-три раза так что эту степень знала только теоретически.

Вообще же наказания страшили и заранее предотвращали проступки. Однажды, когда я упрямилась, меня в угол не поставили, но посмотрели на меня с брезгливостью и сказали: «Давайте эту фокусницу просто игнорировать!» Я закричала в ужасе: «не буду, не буду!» Непонятное рыкающее слово показалось мне страшной угрозой еще неведомого наказания, придуманного для меня взрослыми. У меня началась истерика, родители наперебой объясняли, что это значит «не обращать внимания», но, когда они повторяли ужасное слово, объясняя его, я снова кричала до икоты. Слово это и после оставалось орудием устрашения, хотя смысл его уже мне истолковали. Только скажут, бывало: «Смотри, Женюша, мы тебя…» — я с ревом смирялась — положительные рефлексы закреплялись словом. Чуть подросши, я говорила это слово младшим товарищам, и они тоже пугались.

Любопытно, как дети умеют «обыграть» само наказание. В нашем дворе у хозяев были трое мальчишек: Санька, Васька и маленький Мишка. Я не очень любила с ними водиться, они были отвратительные собственники, чуть что кричали: «Не трожь эту палку, она на-а-ша! На-а-ш мячик, на-а-ш котенок, не тро-о-жь!» И деньги они называли противно: денюшки. Но все-таки в летние

дни это были единственные мои товарищи в дворовых играх.

Их мать, тетя Настя, сварливая окраинная мещанка, целый день возилась с хозяйством — сад, огород, свинья, куры, корова, кизеки для топлива, глина на обмазку хаты, чугуны с обедом, стирка… Всегда она была в тесте, в мазуте, в извести, с мокрым подолом. Дети бегали замызганные, сопливые. Но их воспитывали. Если один из них напроказит, тетя Настя за неимением времени разбираться, кто именно виноват, раздавала торопливые тычки всем троим, всех пороли по старшинству, а потом ставили на колени в сарае, на дрова. Причем, в их семье говорили не «на колени», а «навколюшки».

Стоя вряд в сарае, мальчишки время от времени хором взывают очень согласно, как дьячки на клиросе: «Мамочка, родненькая, простите, мы больше не бу-у-дем!» Причем, каждый был обязан следить за другими, чтобы стояли именно «навколюшках», а не садились на пятки. Маленький ехидный Мишка чаще других предавал расслабившихся братьев. Мать появлялась и затрещинами водворяла нужный порядок в ритуале наказания.

В такой час наскучит мне, бывало, играть в садике одной, забегу к ним в сарайчик, стану «навколюшки» рядом и подтягиваю дискантом: «Мамочка, родненькая…» Напев этот ритуальный, будь я музыкантом, и сегодня могла бы положить на ноты. Однако скоро кто-нибудь из ребят замечал хмуро: «Это на-а-ш сарай! Уходи отседова!»

Нашу семейную кару — «в углу носом» мальчишки и наказанием не почитали и остро мне завидовали: «Вы ведь господа! У-у, благородная!» Их чаще всего пороли хворостиной, она обдирала нежную попку. Ремнем, считалось легче, ну, а уж мокрым полотенцем — тьфу, и вовсе не больно! Их отец был театральный парикмахер и гример, известный среди актеров — художник-мастер. На стенах их хатки-флигеля висели мухами засиженные фотографии знаменитостей, которых он причесывал, с автографами: «Замечательному мастеру Саше Пашкову». Выросши, сыны его стали актерами или театральными деятелями.

Ребятишек тогда пороли почти во всех семьях. Летом то из одного, то из другого двора доносились детские вопли и ритмическая возня с родительским назидательным приговариванием. Даже учитель гимназии, наш словесник Петр Никитич Иванов секивал своих сынков, близких моих товарищей Бориску и Юрочку, и тогда слышала я, как мои «кавалеры» — так называли их окрестные простолюдины — вопят на всю улицу: «Не буду, папочка, ой-ой-ой, не буду!»

Жалко ребятишек! А все-таки мы, поколение поротых,

вынесли все тяготы строительства, ежовщины и войны, не поротым такое не выдюжить! Недавно я разговаривала с бывшими соседскими пареньками — теперь они, разумеется, старики. И мы вместе пришли к этому выводу.

Правда, иные родители зверствовали излишне и погибельно. На нашей окраине, где жили по преимуществу люди рабочие, грубые, у одной девочки, лет 14–15, стал увеличиваться живот. Отец ее избил до бесчувствия под причитания матери. Соседи ее отняли. Отвезли в больницу избитую без памяти, и оказалось, что у нее просто киста. Сделали операцию, а отец покушался на самоубийство — вынули из петли.

Ужасом опахивали мое детское сердчишко подобные истории. И только в зрелом возрасте я примирилась с понятием «порка» и считаю порою и необходимой.

Однако детские впечатления мои ограничены не только наказаниями. Помню я себя с очень раннего времени. За пределами памяти только возраст грудной — с нянькой Матвеевной из местных мещанок. Ее уволили быстро, обнаружив, что она кормит меня «жвачкой» из своего рта. Я увидела няньку уже лет 25-и, приехав в гости к матери. Дряхлая, дряхлая старуха расплакалась и поцеловала меня в плечико. После изгнания няньки меня воспитывали сами родители с помощью бабушек, бесчисленных теть и дядь. Даже первые уроки французского получала я от отца и тетки.

Мне со взрослыми скучно было, я просила у мамы братика. По рассказам мамы, меня нашли в глубоком яйцеобразном фонарике, который висел у нас в спальне, на цепочках. «Он закачался, закачался, мы посмотрели, а там малюсенькая девочка — ты». Обычно же детей «находили» в капусте, на огородах. Пойдем мы с мамой за молоком к соседке, я тотчас бегу к капустным грядкам, пристально вглядываюсь под раскинувшие листья кочаны: а вдруг сама найду себе братика!

От одиночества развивалась ранняя склонность к размышлениям: любимая игра была — взять игрушки, среди которых самой близкой был мой «ровесник» плюшевый золотистый Мишка, обложиться на опрокинутом стуле подушками и, сидя часами, думать, думать, смешивая реальное со сказочным, фантазировать, фантазировать без удержу. Называлась игра «ехать в Анапу», куда меня, рахитичную, возили каждое лето.

Мне могло быть не больше трех, когда я начала постигать время. В снегопад — помню зрительно атмосферу того дня, будто вчера случилось — пришел папа и заявил, что до обеда мне следует погулять полчаса. Пока одевают, я раздумываю: сколько же это — полчаса, долго или мало гулять. Бегаю под падающим снегом, ловлю ладошками снежные бабочки и слежу за временем, надо же установить, сколько это — полчаса… Причем, ясно помню, что в этот миг осознаю и вижу себя будто со стороны: вот хорошая послушная девочка — за это, собственно, и получила прогулку под снегопадом — бегает по двору и картинно ловит снежинки, как в книжках.

В памяти живы и пространственные постижения: море, увиденное впервые, показалось синей высокой стеною, вдоль которой мы едем. Неумение осознавать перспективу и в том, что, когда мы смотрим с высоты на дно глубокого оврага — Холодного

родника, люди и согнанные на водопой коровы кажутся крохотными, игрушечными, и я уверена, что они именно такие, а когда спускаемся, недоумеваю, куда же они девались?

Постигаю «своим умом» саму действительность: есть ли мир вне меня? Закрою глаза и открою мгновенно, проверяя, было ли все виденное, пока меня с ним «не было». Или, подкравшись на цыпочках, внезапно распахну дверь в соседнюю комнату: есть ли она, когда меня в ней нет?

Может быть, последнее размышление было отзвуком услышанных разговоров взрослых о берклианстве. Папа мог вести такие разговоры за шахматами с племянником Г. Лопатина или своим приятелем Скуфати.

Помню хорошо, как вечером в кроватке я «выучивала» правильное произношение звука «Ж». Он был еще досаднее «р», так как входил в мое имя, и детишки смеялись, дразня: «Зеня, Зеня». Заснула я, когда правильно, «как взрослые» произнесла: «Жук, Жук!»

Были, как у всех детей, комичные недоумения. До 17 года, пели у нас революционные песни. Семья матери вообще была и музыкальной, и песенной — мать с юности пела в хорах. Я тянула вместе с родителями: «Голодай, чтоб они пировали, голодай, чтоб в игре биржевой…» Последние слова я понимала так: «чтоб вы Гребер живой…» (был в городе еврей по фамилии Гребер).

Отец работал тогда статистиком в крестьянском банке. Мама говорила пришедшим: «Его нет дома. Он в банке» Я бежала в кухню, взбиралась на табуретку и заглядывала в трехведерную глиняную банку, в которой у нас хранилась вода. Помню сейчас даже свежий дух водяной из этой банки и мое отражение в воде, когда я искала «в банке» отца.

В реальность сказочного мира верю твердо. Весь дом наполнен сказочным. Под влиянием какой-то повести из «Задушевного слова» подсматриваю за куклами, как они «живут», когда остаются одни. Утром в день именин, проснувшись, нахожу игрушки вокруг меня; мама удивленно делает вывод: это ночью они собрались меня поздравить.

Мир эмоциональный во мне пробуждает мама, включая и понятия доброты. Дядю Васю одевают дедом Морозом и он «сам», живой, приносит мне елку и игрушки. В полутемной прихожей дядю в нем не узнаю, только знакомая шляпная картонка с игрушками вызывает недоумение, которое мама разрушает: ведь могут же быть одинаковые картонки! А ту, которую я знаю, сломали, выбросили. После этого в истинном существовании деда Мороза я не сомневаюсь до школьных лет, уверяю школьных подружек: «Я же видела его сама!» И они меня, смеясь, долго не

могут переубедить.

Они же откроют мне и тайну деторождения, но долго еще я буду просматривать капустные грядки.

Хотя я помню полицейских — «городовых» и многое из царской России, я все-таки дитя века: кинематограф я увидела раньше, чем театр. Бабушка взяла меня — крошку в «биограф», как тогда называлось кино. Была комедия с Дурашкиным. Запомнилась дама в страшно узкой по моде юбке, из-за узости которой дама беспрестанно падала. Кино было первым впечатлением, театр — вторичным. Первый спектакль — «Свинопас» Андерсена. Не понимая что к чему, я все-таки запомнила сверкающие блестками платья принцессы и фрейлин, но когда опустился занавес, я решила, что вот теперь-то на этой плоскости и начнется настоящее зрелище, будет падать дама, и забегают смешные люди…

2. Друзья

Самым любимым моим взрослым другом в младенчестве становится папин приятель Валериан Алексеевич Скуфати, человек незаурядный, интересный не тольцо для ребенка, из породы «чудаков». Интеллигентный грек-одессит, экспансивный, седеющий уже холостяк, он в нашу семью влюблен. Эстет, страстный почитатель новой западной литературы. От него я получила «Маленького лорда Фаунтлероя» и он, обожатель изящных женщин и презирающий «коров», называет мою маму по имени героини «Фаунтлероя» «Милочкой». Детей любит самозабвенно, зовет их «шпунтиками». Однажды при нем разгорается ссора между моими родителями. Он, ужаснувшись папиному необузданному гневу, успокаивая, целует руки и отцу и маме. Он фантазирует: когда я вырасту, мы поженимся, и мы с ним долго играем в игру — нашу свадьбу: я надеваю шарфик в виде фаты, он галантно склонясь, берет меня под руку, мы торжественно шествуем по комнатам и некто воображаемый несет за мною шлейф. Эта игра почему-то не нравится маме, но меня приводит в восторг. На домашней елке В. А. главный и чудесный распорядитель, показывает фокусы, им придуманные игры необыкновенны.

Непрактичен и добр до юродивости: раз зимою, проходя мимо замерзшего полуголого нищего, он, не раздумывая, отдает свое пальто «голубчику», так называет он всех людей. Сам, человек небогатый, остается в тужурочке, пока мама не дает ему старое папино пальто. На упреки отвечает смущенно: «Ну, что за пустяки, голубчик, я ему дал, вы мне».

Отец и В. А. очень любят друг друга, отец — «Бобка» восхищен его святым бескорыстием, но когда позже В. А. узнает, что Бобка стал большевиком, он проклинает его, повторяя: «Боже, такой добрый Бобка, сделался «негодяем!». В гражданскую войну он, так и не вернулся в любимую Одессу, из которой был выслан за какое-то политическое выступление, работал писарем в госпитале, клял большевиков, «разрушивших культуру», ходил в шинеленке, подпоясанной скверной веревкой, и умер от голода или тифа.

Второй моей детской любовью была водоноска Марфа. Старуха, когда-то бывшая работница у «барина», она по святости своей обнищала и разносила в «хорошие дома» воду с родника на Мойке. В гору — с горы, в гору — с горы, много раз за день. Одетая нищенски, она все, что ей дарили, раздавала. Иногда соглашалась едой «погреться». Ее появление сопровождал едкий запах немытого тела. Я спрашивала: «Почему ты Марфочка, не искупаешься?» Отвечала всегда фразой: «А Бог не купается». Я обожала ласковую и терпеливую Марфу, мне хотелось ее целовать, прижаться к ней — не позволяли. Я никак не могла понять почему о ней говорят «грязная». Любила ее сморщенное лицо, голубые, как небушко, глаза, а она, наклонясь целовала в плечико: «Ба-арышня!» Принеся два ведра на коромыслах, она садилась передохнуть, и тогда я вертелась в кухне, слушая ее немудреную речь пересыпанную пословицами. Воду она приносила при всех оказиях, даже совсем больная, и, будучи неграмотной, мелом отмечала на фрамуге количество ведер. Сверх заработанного — копейка два ведра — никогда не брала: грех! Как ни странно, нищенка почитала иерархию — деление мира на «господ» и прочих, белых считала «нашими». Во время боев за город в гражданскую войну несла под пулями неторопливо свои коромысла. Только раз, помню, оставила ее у нас мама во время боя прямо в нашем районе, когда даже на крыльце у нас стоял строчащий пулемет и мы с мамой прятались под столом. Марфа ходила по комнатам, предварительно закрыв ставни, крестила окна и углы и бесстрашно наблюдала исход боя. А потом, когда по шоссе мимо нашего дома помчались всадники белой армии с погонами, она прибежала с радостным криком: «Ми- китишна — ей строго запрещено было говорить, как ей хотелось, «барыня» — Микитишна, наши! Наши!» И ушла, взяв свои коромысла, когда убедилась, что обстрел кончен и мы в безопасности. Умерла она в своей развалюшке, где жила одна, от голода. На русской печке так и окостенела.

В политических спорах матери и отца Марфа всегда была у мамы аргументом, как образец тех, кому должны помогать ком

мунисты-большевики в первую очередь, но не помогают.

А детское мое общество было скудно. Кроме Саньки, Васьки и Мишки, иногда товарищами моими бывали двоюродные братья Лесенька и Славочка. Они приезжали из села, где учительствовал их отец — муж некрасивой и неумной тети Оли. Тихого этого блондина-зятя почему-то ненавидела бабуля Таня. Может быть, он изменял ее дочери, похожей на галку. По семейным рассказам, тетя Веруся «даже стреляла однажды в ненавистного «Петьку», а папа при этом пал на колени и умолял сестру пощадить «Петечку».

Когда приезжали кузены, я подолгу гостила у бабули Тани и даже у них ночевала. Припоминаются смешные эпизоды.

Утром, когда мы с бабулей еще в постели, Славка, умытенький, розовый, в красной косовороточке в белую клеточку, входит в спальню: «Бабуля — сообщает он таинственно — а у нас в селе уборную называют «нудник!»

Меня всегда ставили в пример братцам-шалунам, потому что я не ломала игрушки. Они же, получив однажды редкостное тогда изделие — автомобильчик, вмиг сломали его. В ответ на упреки оба с ревом уверяли, что они вовсе не ломали автомобильчик, а только хотели сделать из него… лисичку. С той поры в семье часто говаривали о чем-нибудь бессмысленно испорченном: «сделать лисичку». И теперь я говорю об иных моих редакторах, что они «делают лисичку» из чего-нибудь, мною написанного. Дядя Петя («Петька») повел нас троих в цирк. Все хохотали, как безумные, когда клоун, низко кланяясь публике на все четыре стороны, выпускал из зада с соответствующим звуком клубящуюся струйку темненького дыма. Всех этот фокус восхитил, но я оставалась печальной. Узнала по расспросам, что клоун — это артист, работающий из-за денег. У нас в доме портить воздух называлось «делает фуфушку», считалось крайним позором и составляло тайну. А тут дядя за деньги себя так безобразно раскрасил и публично, при всех, «делает фуфушку»! Что же такое эти деньги, ради которых надо подвергать себя поруганию! Я рыдала, я умоляла дядю Петю дать ему денег, только чтобы он перестал. Славка и Леська всласть насмеялись уже не только над клоуном, но и надо мною.

Славка был удивительно жадный! Положит бабуля нам трем на блюдечки варенья поровну, Славка плюнет в мое и лесино блюдечко. Мы от брезгливости и не едим уж свои порции, а он пожирает все три, собственные-то слюни ему не противны!

— Я упрямая, а Славка жадный, — говорила я папе. — Что хуже? — Папа твердо отвечал, что жадность мерзка, но и упрямство с нею рядом стоит!

Воспитывали кузенов с лицемерием: увидев пьяного, при взрослых надо называть его «больной». Друг друга они были обязаны называть Лесечка и Славочка, и даже наедине, в драке, пыхтели: «Ну, Лесечка, проклятый, я тебе сейчас…» или: «Славочка, сволочь этакая, перестань!» Мне такое не нравилось в братиках, я била Славку по толстеньким, вкусно щелкающим, щекам за всякую неправду или наглость, и тогда нас всех бабуля ставила на колени.

Однако наказания углом, коленями были уже недостаточны: я выросла, надела гимназическую форму приготовишки.

3. Гражданская война

Пришла гражданская война и разруха. Мать с отцом разошлись, мы с мамой жить перешли к бабушке Евочке в дом с чудесным зеленым двориком, огромным садом и службами, настоящую маленькую усадьбу на окраине — форштадте города. Семья теперь состояла из шести человек — маминых братьев, сестры и бабушки. Если приезжали дядя Фатя с женой или Дина с мужем, то за стол усаживалось одиннадцать-двенадцать персон. Обед готовили тогда в русских печках, летом на мангале с углями, только к концу гражданской войны появился у нас примус. На него как на диковинку прибегали смотреть замученные «готовкой» соседские бабы и ахали завистливо. А иные, более косные, плевались: пища керосином провоняется.

Мамочка бедная — ей и тридцати не было — разойдясь с отцом, намеревалась подготовиться, учиться дальше, мечтала врачом сделаться, но за болезнью и смертью бабушки, а потом и тети Ани, осталась хозяйкой этого большого тогда имения да так и состарилась в заботах, подобных тетинастиным! Я же оказалась уже не центром, а только звеном новой большой семьи. За маминой занятостью мои шалости и непослушание сходили с рук. И, как ни оберегала меня мать, мне пришлось помогать семье в делах хозяйственных, что оказалось весьма полезным.

Город переходил от белых войск к красным. Отец стал комиссаром Красной армии, и как только город занимали красные, тотчас появлялся «на побывку», чтобы меня увидеть. Приезжал в военном, в галифе — один раз к негодованию мамы и тети Ани они были из красного потертого бархата. Кожа ремней скрипела вкусно, остро пахнул овчиной полушубок. Мама фыркала: «Оставь, оставь эту воинскую гадость в коридоре!» Жил он в те наезды у бабушки Тани, а к нам приходил как гость, и для меня это был праздников праздник.

Я любовалась и гордилась красивым отцом. Грозный

комиссар, в играх со мною, не по возрасту миниатюрной, худенькой, самой маленькой в классе, превращался в мальчишку. И любимая моя игра была «ходить по папе»: он держал меня за ручонки, а я, упираясь ногами, взбиралась по его невысокому плотному туловищу до самых плеч, и он «катал» меня по комнатам или саду. Привозил мне одежонку, еду, покупал книги — дочь была уже страстной читательницей. Незадолго до развода родителей в 8 лет я начала писать сама «роман» — нечто в подражание «Детям капитана Гранта», где действующими лицами были Леди Мария и мальчик Юрочка. Жаль, что взрослые не поощрили тогда и не развивали во мне стремление сочинять, м. б. жизнь моя пошла бы по другому. Соответствующей же детской среды — не было. Потом я писала пьесы для детского нашего домашнего театра. Помню персонаж — застенчивого мальчика с фамилией Стародубцев — в те годы мальчик с такой фамилией был уже не первой моей «любовью».

Папу удивительно любили мыши. Если в доме была единственная мышка, обязательно к нему полезет! То с занавески на плечо спустится, то заползет с пола по ноге внутрь брюк. Так было во время карточной игры: мышь залезла в брюки, папа со страшным визгом стал ее сбрасывать при всех. Храбрый и сильный, отец мышей боялся истерически, визжал, дрожал под общий хохот. Однажды при наезде отца, по моим слезным мольбам, остался он у нас ночевать. Постелили ему в холодной гостиной на тахте. Побарахталась я с ним перед сном и убежала в нашу с мамой спальню. Утром нас разбудил папин вопль, и он выбежал из гостиной полураздетый. Оказывается, проснувшись затемно, зажег он лампу, а на стуле, где сложена была его одежда, что-то шевелится. Внутри ремня, свернутого пружинкой, притаилась мышь. За ночь она натаскала из повязки с раненой ноги ватки в это подобие круглой коробочки и вывела там мышат. Папа дрожал и повизгивал. Когда мы столпились вокруг, мышка-мать не убегала, и вокруг нее копошились крохотные, как ноготь моего мизинца, голые розовые комочки. А папу стошнило.

Навещая нас, он всякий раз строго допытывался, как учусь, как успехи, а главное, не расту ли упрямой. Строгая и раздражительная тетя Аня уверяла, что упрямей моей балды она не встречала. Папа огорчался до слез.

Школьные успехи были так себе: наступала разруха, голод, неустройство, школы не отапливались, работали с перебоями. Шли бои за город. Однажды, например, вернувшись из советской трудовой школы, на утро я очутилась в гимназии: за ночь белые взяли город, он перешел на «старый режим». На уроки закона Божия явился батюшка, на доске писали с твердыми знаками и

ятями. Через несколько недель опять «Советская трудовая». А потом и всякие школы закрылись: началась эпидемия тифа, школьные здания стали госпиталями.

Прибежала как-то в госпиталь навестить дядю Гусейна, он был там главврачом. Иду по коридору, а под подошвами что-то потрескивает. «Это вши» — равнодушно сказала сестра милосердия Катюша. А дядя, издали увидев мою фигурку, закричал со страхом: «Уходи отсюда немедленно». И во дворе внимательно осмотрел мою одежду: не набралась ли тифозных вшей.

При красных посадили в тюрьму дядю Ваню, офицера. Я носила ему передачи, меня как ребенка пропускали внутрь тюремного барака, битком набитого офицерами. Там впервые увидела я деревянные двухэтажные нары (на таких же, 28 лет спустя, станет протекать и моя жизнь). У дяди в тюрьме тоже кишели вши. Он заворачивал грязное белье в несколько газет, и дома мама, не разворачивая, бросала пакет прямо в кипящий котел. В офицерской среде вшей называли «блондинками».

А дядя Ваня мог бы убежать! Он вышел вечером ставни закрыть и разговорился с соседом. Подъехали сани с красноармейцами. Дядя сообразил: за ним! И укрылся у соседей. После обыска и отъезда экспедиции, передали мы ему одежду, и он скрывался. Узнал, что уже не расстреливают, пошел на офицерскую регистрацию и угодил в тюрьму. Позднее попал в Орловский централ и погиб от чахотки. Веселый, кудрявый, разноглазый мой дядя Ваня!

Мне жаль дядю Ваню, страшно за Сережу и Васеньку, бывших вольноопределяющихся и тоже опасавшихся «возмездия», хотя они и работают теперь в советских учреждениях. Почему мой обожаемый папочка, о котором дома теперь вспоминают со злобой, находится в стане тех, кто преследует дядю Ваню?

Позже, когда я вырасту и папа вернется в этот городок в ипостаси «ответственного работника», я с юношеской жестокостью уйду от матери к нему и его жене, покину эту семью, «пошехонские» традиции которой станут мне ненавистны. Ненавистен станет и дом, которому семья приносит столько жертв. Тот трагический бунт закончится только с повзрослением. Понимание примирит меня и с несчастной матерью. Все это случится потом, а в те годы я люблю их всех, и мамочку дорогую и дядей, но папу до пронзительности остро, и особенно потому, что родственники грубо при мне его обвиняют. В чем?!

Отец помогал семье не только материально. Дяде Ване он помочь не смог — был в отсутствии. Но имя папино оберегало нашу (мамину) «офицерскую семью» от реквизиций и обысков.

Благодаря папе, сохранили и дом. Обысками же нас замучили, искали «офицерское оружие».

Однажды произошла «конфузия». Во время обыска молодой комиссар, выпускник ставропольской гимназии, отобрал в узел много женских вещей, даже «реквизировал» духи. У нас знали, что он только что женился на некой знакомой барышне Олечке. Читая протокол обыска, мама просит его кланяться Олечке. Опешил молодой человек: «Откуда вы ее знаете?» В разговоре выяснилось, что мать — жена красного комиссара, ему знакомого, он даже сходство у меня с отцом установил. До слез сконфуженный, парень ушел, не коснувшись узла с вещами, «реквизированными» для Олечки. Маме даже руку поцеловал. Жил он в городе долго, и заметила мама: при встрече с нею переходил на другую сторону улицы. Злорадствовали у нас по этому поводу ужасно!

Вообще «товарищи» как называли обыватели представителей советской власти, правом реквизиций часто злоупотребляли в свою пользу. Такое приобретение называлось «реквизнуть». Они так себе этим репутацию испортили, что, по рассказам мачехи, познакомившись с отцом-комиссаром, будущим мужем, и увидев его собственные золотые часы, она подумала: «Ишь, наверное, у кого-нибудь «реквизнул».

В городе все перемешалось! При белых в нашем большом подворье расположилась на отдых горская воинская часть. Среди подсолнечных и кукурузных будыльев на огороде горцы делают намаз, пляшут лезгинку под развесистой — в полсада грушей. Перед нашими окнами красивый тоненький офицер в черкеске кинжалом зарезал другого за то, что тот нескромно коснулся его барышни, гимназистки с нашего квартала. Труп с гомоном убрали, а роман барышни и убийцы продолжался.

Появились и т. называемые «зеленые» — белые или красные партизаны. Эти вовсе уж не уважали «священную частную собственность».

Пафос совершающихся событий проходит как-то мимо «мирного населения» — обывателей. При каждой власти оно живет само по себе. Свадьбы. Гости. Театры работают с бежавшими из столиц крупными артистами, поет Вертинский. О них разговоры. Дамы заботятся о нарядах, возможности для этого становятся ограниченнее.

Семья не столько музыкальная, сколько певческая. В нашем уютном доме часты гости. У дядей — барышни-гимназистки, офицеры. Танцуют. Поют романсы Вертинского о пальцах, пахнущих ладаном, о лиловом негре. Иногда с хохотом напевают на мотив мазурки:

Лучше в пляске закружиться,
Чем в гимназии учиться…
А корниловские гости-офицеры подхватывают:
Э-эх! Лучше в пляске закружиться,
Чем в бою кровавом биться,
Чем лежать в бою убитым,
Всеми позабытым…
Дядя Вася чудесным тенором под гитару рассказывает:
А ка-а-а-рнет ее увлек
В темный сада уголок…
Чок-чок, чок-чок,
Так целуется Лизок (Лидок, Нинок, в зависимости, какой барышне пелось).
Или:
Ах, если б все девчонки
В лягушек превратились!
Тогда бы юнкера
И квакать научились!
Со смешным нелепым припевом:
Тужур, тужур, Мадрид и Лиссабон (2 раза)
А на улицах воинство поет:
Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольем
Кровь молодую!
Когда в городе красные, — на этот же мотив звучит:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это!
В двадцатых годах, ближе к НЭПу, все будут петь ернически:
Цыпленок жаренный, цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить…

* * *

Я не кадетский, я не советский,
А я — народный комиссар…

Для детей устраивают елки, шествия. Некоторое время при белых, я посещаю отряд «волчат» при бойскаутской организации. Вообще активно участвую в «светской жизни» города. Я — первая актриса детского самодеятельного театра, организованного

живущей от нас неподалеку Серафимой Алексеевной Ситчихиной, женой не то умершего не то расстрелянного офицера. Мы ставили детские пьесы в народном доме, в клубе местного госпиталя. Меня отдают в балетную студию, начинают учить музыке. Причем выясняется, что я природная левша, за моими движениями следят и их исправляют.

Город занимает Шкуро. В его честь «дамы-патронессы» в городском саду устраивают детское шествие «Времена года». Я, одетая снежинкой, бегу по аллее за колесницей Зимы и из мешочка бросаю в воздух белые конфетти. Вокруг зашептались: «Ах, вот Шкуро, сам Шкуро!» Маленький кривоногий офицер в кубанке, лицо в родинках, появляется в первых рядах зрителей. Глядя на «Шествие Зимы», он вдруг подается вперед, выхватывает из массы детей-снежинок меня и подбрасывает вверх: «У, ты, какая маленькая!»

Мама на вершине восторга: ее дочь имела первый светский успех! Позже об этом расскажут папе, и, по-моему — он тоже порадуется. Радуюсь и я, в миг торжества позабыв о папе, которому этот маленький офицер — враг.

Я еще совсем не задумывалась, кто за что сражается, кто в этой борьбе прав. Все эти комиссары, матросы, офицеры со значками на рукавах, с изображением черепа и костей — корниловцы, казаки с красными, белыми, зелеными ленточками на кубанках, свирепого вида горцы — для меня просто люди, дурные и хорошие, добрые и злые. Я только не по возрасту осторожно избегаю открывать им политические симпатии как отца так и материнской семьи.

Белогвардейская часть покидает наше подворье. Дикого облика солдат-горец, уже вскочивший на заплясавшего под ним коня, внезапно застывает, он простирает ко мне свободную от поводьев руку и неистово гортанно кричит: «Малчишка, малчишка!» По лицу его льются обильные слезы. Придерживая гарцующего коня, он роется в карманах, не отводя от меня налитых слезами глаз, швыряет мне толстенную пачку денег с воплем: «Камфет! Камфет!» и с рыданием пускается догонять отходящую часть. Мама объясняет: у него, наверное, дома остался мальчик, на меня похожий, и перед выездом на фронт, он подумал, что его убьют, а мальчик будет сиротой. Я же, фантазерка великая, всю ночь не сплю и представляю мальчика из аула, его отца убитого и плачу… Жалко!

Наш большой дом часто занимают под штабы. Запомнился комиссар Верстак, видимо из писарей, с женой Нюрой. Он научил меня лихому росчерку в виде рыбы вот так: Женя. Ординарец его Миша говаривал умиленно: «Мене воевать не страшно, я свою

мамашу полностью обеспечил».

Когда возвращается штаб опять в наш дом, только и слышишь: «Убит, убит…» Убили и Мишу.

И хотя для меня все они только люди, все-таки подсознательные мои симпатии на стороне чего-то нового, мне неведомого. Я все-таки с папой. Позже форштадский мальчишка Санька Квасов будет колотить меня за то, что во время пения «Интернационала» у меня, якобы, блестят глаза. И — парадокс времени: еще позднее этот же Санька студентом в институте будет со свету сживать моего будущего мужа за то, что тот сын «попа». Иногда мама прибегала в ужасе: «не смей выходить на улицу, не смей!» И правда: на улице были страсти. Пьяные матросы — их звали «братишками» — возят на лафетах пушки, обитые красными лентами, а на знаменах написано: «Красный террор!» Из соседнего лесочка после подавления офицерского восстания мы то и дело слышим пулеметные очереди, это расстреливают офицеров и «буржуев». При белых в тетианиной школе я увижу суд офицеров и деятелей форштадта над пойманным красным «бандитом» Ашихиным, который организовывал эти расстрелы и казни с пытками. На тюремной площади города несколько дней будет висеть труп приговоренного к повешению «красного садиста». Потом площадь получит его имя, а сейчас историки ревдвижения в нашем крае возмущаются таким капризом топонимики, установив, что Ашихин был просто вор и бандит! И еще «парадокс времени»: младшая его сестра сидела со мной в лагере «За оккупацию», видимо, предавала немцам евреев и коммунистов.

А улица ребенку из хорошей семьи была, действительно, противопоказана.

В пальтишке и матросской шапочке я была похожа на мальчика. Проходивший пьяный матрос, весь в пулеметных лентах и гранатах, крикнул: «Эх, братишечка!» — приобнял меня и заорал, озорно подмигивая и приплясывая, песенку. В ней барыне советовали продать шубу и купить нечто другое, из трех букв:

«Тебе шуба не на век,

А (этот некто другой) — добрый человек!»

Абсолютно не поняв о чем речь, восхищенная озорным напевом, я с приплясом, имитируя матросовы движения, пропела эту песенку дома, вечером, когда у нас вокруг горящей печки собирался семейный хор. После этого меня надолго заперли в четырех стенах.

4. Подарок

И вот, в такой обстановке, навещая нас, папа продолжал заботиться о формировании моей личности, о том, как все-таки искоренить в ней упрямство. Он решил: воспитывают не только наказаниями и превосходными примерами, но и дурными, и неожиданно подарил мне ослика, того самого, который в мировом фольклоре считается эталоном ненавистного порока. У ослика было надломанное отвисшее ухо, он смирно и понуро стоял, пока шла о нем перепалка.

— Чем мы будем его кормить? — восклицала мама. — Зачем он нам! — Дяди же папу поддержали: на этом вьючном животном можно будет ездить в соседские хутора за продуктами, которых из-за разрухи становилось меньше и меньше. Был проект, впрочем, в нашей не коммерческой семье так и не реализованный, возить с его помощью на базар груши. У нас в саду их были возы, и они гнили. Организовали маленькую двухколесную тележку-бидарочку, типа арбы для груза и седока. В летнее время ослик будет сыт травою, которой так много в саду, а на зиму папа завез ему сена. От реквизиций сено запрятали в потайной сухой сарай между домами

Папа был очень доволен подарив мне ослика: все устроилось превосходно! Он требовал самого тесного моего общения с осликом. «Повозись с ишаком — узнаешь, как отвратительно упрямство!» И в назидание мне назвал осла Женькой.

Мы все полюбили Женьку, он оказался чистоплотным в стойлице, мирно пасся, привязанный за колышек, только изредка оглашал окрестности оглушительным икающим воплем. Я расчесывала ему шкуру, ласкала замшевые ушки, левое никак не выпрямлялось, болталось, как тряпочка. Мое «наглядное пособие, как не надо себя вести» показывали гостям, дяди катали на нем своих барышень. Соседские дети то и дело влезали на высокий забор: «Теть Мара, а игде ваш Женька? Можно погладить Женьку?»

Почему он дан мне как «наглядное пособие», я не понимала до тех пор, пока мы с соседской девочкой не запрягли его и не отправились на Опытное поле «разжиться» крупами. Мама дала мне поношенную одежонку, в обмен на которую тогда только и можно было достать продукты: деньги-бумажки, выпускавшиеся различными правительствами, совсем потеряли хождение, а магазины были пусты. Вот тогда Женька и раскрыл свой характер! До пота, до отчаяния мы с ним намучились. Станет посреди дороги и ни с места, ни побои, ни ласка — ничего! Или вдруг покатит тележку с такой прытью, что мы не в силах его догнать. Да, увидела я, что упрямство — вещь неприятная. После этого было обидно, если кто невзначай называл меня Женькой, будто

дразнят за упрямство.

Все дальнейшее происходило уже при деникинцах.

Самым удобным оказалось возить на ослике дрова. Окраинное население с лета запасалось хворостом, или как говорили «хмызом», из окрестных лесочков. Волокут, бывало, из лесу тетки на спинах круглые тяжелые вязанки. А у нас с топливом стало так плохо, что мама меня с Женькой и соседскими девчонками отпустила в лес «по дрова».

Прежде от общения с фортштадскими детьми меня оберегали, главным образом, потому, что они «выражались». Ну, например, мальчонку в очень коротеньком пальтишке дразнили самодельной песенкой:

Ах, Сенька Зарочинцев,

Жопинишка корочинцев!

Мама с тетей фыркали: «Фу, как вульгарно!» Мне же этот стишок казался верхом остроумия, хотя сама я так и не научилась «выражаться». А в ответ на мои нотации, что так говорить нехорошо, ребятишки кричали: «У-у ты, какая благородная!» — и высмеивали мои эвфемизмы низких лексем. Благородными же фор штадцы звали всех не крестьянствующих и интеллигентов.

Однако в наступившем социальном хаосе гражданской войны мне в играх и в делах хозяйственных пришлось тесно сблизиться с так называемыми «уличными» детишками соседей. Особой моей подружкой стала конопатая Нюська Балбекова, жившая с нами забор в забор. Бывало, дядя Сережа в саду делает на параллельных брусьях гимнастические упражнения. Я тоже с ним кувыркаюсь, как обезьянка. Нюська сидит на пограничном каменном заборе, обтянув коленки платьишком, и канючит: «Дядь Сереж, а дядь Сереж, дайте я тоже хоть разик спражняюсь!»

И вот, с Нюськой и несколькими девчонками мне разрешили идти в лес. Лесник, оберегая целость леса, гонял собирателей хвороста, вероятно, кроме сушняка, они обламывали свежие ветки. Если за таким преступлением кого из баб застигал, — высекал хворостинами. Причем, бил унизительно — «по голому». О его жестокости ходили страшные рассказы, и по-тургеневскому образцу дети прозвали его Бирюк.

Однако дрова нужны позарез, и сопровождаемые маминими наставлениями, мы запрягли Женьку и отправились. Денек погожий, теплый. Теперь на месте того леса — многоэтажные дома, но кусочки лесные остались. И недавно я опознала уцелевший уголок, где разворачивалось действие.

Собираем сучки и хворостины тихонечко, опасаемся, как бы Женька не завопил, не аукаемся, не поем — Бирюка боимся. В лесу и без того страшно: всюду следы того террора, что тут

творили «товарищи»: то скелет, еще отдающий падалью, под кустами, то череп, до чиста муравьями обглоданный, тужурку, вроде бы студенческую, полуистлевшую, среди колючек обнаружили, две затоптанные в землю офицерские фуражки нашли. Большинство форштадского населения белых называет «наши», и девочки вместе с сучьями небрезгливо подбирают останки «мучеников», чтобы на кладбище «похоронить». Страсть!

И вдруг, на лесной тропинке бородатый, коренастый Бирюк с ружьем. С визгом мои подружки бросают собранное и — наутек! А у меня Женька с тележкой, куда я с ним убегу?

Стою на дорожке, обняв за шею ослика, и с трепетом смотрю в глаза приближающемуся леснику.

— Ты что же это, а? Твой ишак? А ты чья? — с удивлением смотрит на мою старенькую и тесную, еще с приготовишек уцелевшую гимназическую формочку с пелеринкой. Притом окраинные ребятишки как один — босые, а я в ботиночках.

— Чия-а? А ты уж не Бориса ли Георгича дочка? Ну! — Он смеется довольный. — Уж больно похожа! — Много позднее от папы узнала, что в этом лесу под видом картежной игры ставропольские революционеры — эсеры, максималисты, к которым прежде принадлежал и отец мой, устраивали нелегальные сходки. Бирюк же был их участником и охранителем.

— Как же тебя, такую маленькую, мать в лес посылает? Дров нет! Ах, ты! А правила о сохранении леса знаешь? — Он оглядывает наши вязаночки, свежих веток в них вроде бы нет. — А чего меня не побоялась, не побежала? В отца! А не боишься, что я осла вашего заберу? Я б забрал, если б ты не Борис Георгиевича дочка. Враз реквизировал бы ишака!

Он наклоняется ко мне и шепотом спрашивает: «А от отца вести есть? Он теперь, поди бо-ольшая шишка! Ну, ничего! Наши придут, и отец прийдеть. На! — Он протягивает мне кусок золотистого пчелиного сота, величиною ладони в три. — Ну, чего там, бери, матери отдашь. Мать-то не преследуют? В разво-оде?! Вишь ты! — Я доверчиво рассказываю ему, что у нас дяди офицеры, и при белых нам ничего, спокойно.

— Ну, лады! Пригодилися, значит, и ахвицеры. Молодец ты, девка хорошая, и отвечаешь вежливо. — Он собирает весь брошенный хворост и ловко укладывает его в бидарочку. Я жалуюсь, что Женька упрямый очень, иногда останавливается и — ни с места.

— А я тебя, дочка, научу, — говорит лесник. — Припаси заранее травки или сенца подуховитей и перед носом у него поводи издали. Он за им тронется — ты спереди его и приманивай, и приманивай. А уж как разойдется — скорми, он

тогда долго послушный шагать будет… А в лес больше не ходи. Лихих людей много. Матери скажи, нехай ко мне в сторожку зайдет. Я дам хмызу, сколько надо.

Вежливо поблагодарив лесника за медвяную сотину, я, как мужичек с ноготок, трогаюсь в путь рядом с бидарочкой, из которой торчат сучки и хлобыстины. Заупрямится Женька — делаю, как научил Бирюк…

5. Реквизнули Женьку

Уже в степном промежутке между леском и городом — два усталых офицера в черкесках и кубанках.

— Девочка, эй, девочка! Твой ишак? А ну, давай его сюда! Он нам нужен. Давай, а то… Что у тебя там, дрова? Бидарка нам не нужна, выпрягай, может, на себе докатишь. Ну, тогда возьми, сколько донесешь, а потом вернешься, остальное возьмешь! Не плачь. Ишака мы у тебя реквизируем по законам военного времени, поняла! Не пла-ачь, ну!

Да ты вроде в гимназии учишься? — говорят они, рассмотрев мою форму с пелеринкой. — В Ольгинской? Ишь ты, молодец! Ну, не плачь, гимназисточка, — война идет!

Говоришь, живешь близко? На Невинномысской? А давай-ка, гимназисточка, мы вместе с тобой дрова довезем до дому, а потом ишака все-таки заберем. Да не плачь ты! Скоро вот белая армия победит, тебе жених-офицер коня каракового подарит. А твой папаша кто?

Я знаю, как им ответить на этот вопрос. Папы у меня нет. Потом, суеверно ужаснувшись тому, что сказала, добавляю, что он живой, они с мамой в разводе.

Приехал однажды, подарил мне осла и уехал, может быть, насовсем. Кто он, я, Боже сохрани, не сообщаю. Они в восхищении выслушивают историю о «наглядном пособии» против упрямства и о происхождении имени ишачка.

Ну, не плач Женечка, — утешают, — Женька твой нам действительно очень нужен, но мы его тебе вернем, ей Богу вернем. Что мы, красюки-хамье, чтоб так просто отнять отцову память? Мы его вернем… ну, через месяц-другой…

Разговаривая, мы уже шагаем по нашей улице, немощеной, широкой, как луг, поросшей травою, цветиками и перерезанной канавками. Навстречу нам бежит, спотыкаясь, мама, испуганная, в домашнем. Нюська прибежала, черная от ужаса, и рассказала, что мы с Женькой попали в плен к Бирюку. Мама мчится выручать дочку и изумленно замирает: перед нею я с двумя офицерами, Женькой и тележкой, полной хвороста.

— Мадам! — изысканно обращается к ней офицер. — У вас прелестная дочка. Но мы вынуждены огорчить вас, нам нужен этот ишачок. В обозах не хватает тягла — война, мадам. Вы уж нас простите, но мы заберем ослика, гм… с обязательством вернуть его при первой же возможности.

Офицеры пошептались, и один из них обещает: — Завтра я прикажу завезти вам дров. Где ваш дом? Вон тот? То-от? — с почтением переспрашивает он, потому что наш дом на окраинной улице среди хатенок выглядит весьма буржуазно.

Мама, бросившаяся ко мне, почти не слушает их, она счастлива, что я жива-здорова, утирая мои слезы, она утешает, что Женьку возьмут только на время.

Ведь это офицеры, — говорит она, — они не обманут. Офицеры, Женя, обмануть не могут. Перевезет им Женька что нужно, и его вернут.

И тогда мы с вами, мадам, выпьем бокал прекрасного вина за здоровье вашей девочки, — добавляет один, приосаниваясь и соколом глядя на еще хорошенькую маму-разводку.

Мама отвратительным для меня образом улыбается. Она не протестует, что отнимают Женьку, папин подарок, папу могут убить, и у меня от него ничего не останется! Я задыхаюсь, от горя, срываю для Женьки ромашки, он их любит особенно, мягкая мордочка щекочет мои ладони, ослик трогательно пошлепывает сломанным замшевым ухом.

Возле дома офицеры галантно сами сгружают хворост и уводят ослика, приговаривая; «Женька, Женька, пойдем Женька!» И он идет покорно, дожевывая мои ромашки, только спустя несколько минут издали доносится женькино рыдающее иканье. Видимо, остановился. Ага! Пусть они с ним помучаются, ведь они не знают секрета, какой сообщил мне Бирюк. Но вдруг меня осеняет другое:

— Мама, а ведь они его будут бить! — И хотя я сама не раз колотила упрямца кулаками по барабанящим бокам, сердце мое сжимает такая тоска по ослику, такая жалость, что силу ее я помню по сей день. Мама убеждает, что бить не будут, ведь он хорошо и послушно пошел за этими офицерами, но я плачу долго, горько и в тот вечер не успеваю рассказать маме, о чем говорила с Бирюком и почему он меня отпустил. Наутро вся окрестная детвора уже проведала, что Женьку забрали, и ребятишки, вспрыгивая на забор, выражают мне соболезнование.

А дров нам действительно привезли. Солдат с белой ленточкой на кубанке выгружает их сам. Историю с Женькой он знает и уверяет меня, что ишачку в обозе плохо не будет, там есть много ослов, мулов и даже пони — «маленькие-маленькие такие

лошадки, но прямо как настоящие». И если я захочу, мне вместо ослика вернут такую «поню», но я умоляю отдать мне моего Женьку со сломанным ухом. Солдат обещает запомнить примету. Он еще утешает: таких вьючных животных в бой под пули не берут, там годятся только быстрые кони, и Женька будет работать в городе. Где же, где именно? — Очень далеко, на другой, противоположной, окраине, за вокзалом. — Ах, так далеко мама, конечно, меня не пустит. Даже с Нюськой ни за что не пустит навестить Женьку. Да и не дойдем, заблудимся…

6. Возвращение

Ранней весною город занимают красные войска. Теперь уже навсегда у нас устанавливается советская власть. А папы нет и нет! Перестаю спать, кричу по ночам, неужели папа убит? Бабуля Таня тоже не имеет от него вестей.

Еще морозец давит, однажды звонок в парадную дверь. У порога солдат с красной звездочкой на шапке держит на поводке понуро стоящего ослика. Левое ухо висит, как тряпка.

— Женька, Женечка! — Осел опахийает мое лицо паром своего дыхания.

— Где вы его взяли, дядечка? Ведь его белые забрали! Мама, мама! — Красноармейца впускают в дом, но опасаясь насекомых, в комнаты не приглашают. Женьку на радостях заводят в коридор, и он усеивает пол крепкими крупными орешками. Мама морщится, дядя обрадовано бежит за сеном, которое еще лежит в сарайчике-тайничке. Женька нас вроде бы узнал: каждого бодает упрямым лобиком.

Сначала кормят Женьку. Солдата, осведомившись, нет ли «блондинок», впускают в кухню. И я сама ставлю для него самовар, ведь он, оказывается, папин посланец. Папа жив! Скорей бы сообщить об этом бабуленьке! Папочка мой жив-здоров! Женька ко мне вернулся!

Солдат вынимает папины «гостинцы»: сахар! Белый хлеб! Ботиночки мне и, главное, красиво переплетенную книгу Чарской «Княжна Джаваха»!

— Борис Егорыч живы-здоровы, шлют вам почтение, — степенно говорит молоденький крестьянский паренек в старенькой шинелишке, голубоглазый, с белыми, жесткими ресницами. Иногда, рассказывая, он называет отца товарищ комиссар, а в местах умилительных Борис Егорычем.

— Они человек очень прекрасный, у нас в части их уважают дюже. Умственный они человек. А вы, значит, его супруга будете? Он оглядывает светлую кухню. — Дом у вас вроде свой? Ничего

живете, чисто. Как буржуи!

Это замечание выводит из себя тетю Аню, великую труженицу на ниве народного просвещения, и она возмущенно объясняет ему, а попутно и я получаю урок классового расслоения. Оказывается, мы вовсе не буржуи, а трудовая интеллигенция, близкая народу и его интересам как, к примеру, сам Борис Георгиевич. Мы ведь его семья!

Теперь я точно знаю и ликую: мы не буржуи!

Красноармеец готовно соглашается, что «грамотные», даже и «чисто» живущие люди нужны и полезны революции. Однако еще десятилетия слово интеллигенция останется столь же одиозным, как слово «буржуй».

Мама же, прежде восторженно принявшая февральскую революцию, теперь ненавидит «распоясавшуюся чернь», ее слишком тревожит судьба родительского дома, который «эти коммунисты» могут реквизировать как буржуазное имущество. Она неприязненно косится на солдата: и зачем Борис прислал к нам этого «мужика»!

Паренек уважительно беседует с тетей-учительницей. Он, оказывается, после того как уничтожат «гидру», мечтает учиться, чтобы стать доктором. Хирургом. Мама кривит насмешливо губы, я знаю, она думает: «Ну, какой из мужика хирург!»

Узнав, что у тети больное сердце — она вскоре и умерла по этой причине, — юноша замечает, нельзя ли вылечить ее операцией: взять сердце совершенно здорового барана и врезать на место больного тетиного. Он видел: сердце баранье ну, точь-в-точь, как человеческое. Все смеются и объясняют ему, что до этого медицина еще не дошла, но солдат уверенно произносит: «дойдет!» После его ухода тетя скажет: «Что за талантливый парнишка!», а мама, которая прежде так защищала идею народного образования, подожмет губы: «Из хама не сделаешь пана!»

Меня тяготят все эти политические и медицинские разговоры, меня интересует, как мой ослик попал в руки красноармейца из папиной части.

— Бросили белые обоз под селом Надеждой, — рассказывает он, прихлебывая чай. — Товарищ комиссар с начпродом пошли ентот обоз принять. Смотрят, там ишак, ухо отвислое. Борис Егорыч присмотрелся да как крикнет: «Женька!» А ишак к нему подается, подается и мордой тянется. «Так ведь это моей дочки ишачок!» — кричит Борис Егорыч.

— Ну, тут смеху было! Комиссар вроде сродственника нашел, такой радый. А мне по делам в Ставрополь ехать надо, с грузовиком, в пекарню. Товарищ комиссар просят: «Отвези,

Зыкин, моей дочке ишачка. Его, видать, белые у них забрали». Ну к что ж! Возвели мы это осла по досочке в кузов, привязали, дюже ревел, как машина пошла — напугался. Ну, а потом ничего, притих. Вот я вам его по адресу и доставил. — Допив чай, парень заторопился и ушел с моим письмецом к папе.

Скоро и сам папа приехал и опять горячо интересовался, не упрямлюсь ли я, как в раннем детстве бывало, и повлияла ли дружба с Женькой положительно в этом отношении. Потом папа уехал надолго. Вглубь Кавказа.

Женька жил у нас еще с год. Наступил настоящий голод. В городе шли судебные процессы над «людоедами». Осла из сарая у нас украли вместе с курами. На мясо. От меня скрыли, но я понимала, что вывести из стойла ночью упрямое животное было не легко, получился бы шум, и воры его, вероятно, на месте убили. А если была кровь, взрослые ее убрали, чтобы я не видела. Пробовала недавно расспросить маму о прдробностях, но она теперь все перепутывает в старческой памяти. Я же, хотя и старушка тоже, помню все детали тех лет, помню цвет, краски, звучание и даже запахи событий.

А все-таки дружба с Женькой навсегда отучила меня от упрямства.

V. КРАЖА [40]

1. «Собственность — есть кража»

Сейчас воруют все. Врачи уверяют, что обилие гастритов нынче вызвано обилием краж: воруя, люди все-таки боятся быть пойманными, а эмоция страха обескровливает ткани желудка. Сейчас «космическое воровство» стало одним из обыденных приемов жизни.

В Сибири, на Тайбинке, где я жила после заключения, рядом с большими домами рабочего поселка, который выстроили зеки, через шоссированную дорогу существовал другой вольный поселок — частные домики. Несколько улиц, восходящих на пригорок. Домики были добротными, чистенькими: побывав в Германии, наши солдаты восхитились, как «чисто живут» граждане Европы, и тоже захотели уюта, в довоенном времени презираемого, либо как мещанство, либо как ненужность. Ведь как прежде жили сибиряки: — Абы тепло!

Все эти коттеджи и беленькие хатки, крытые железом, окруженные добротным штакетником, строились вольным персоналом Тайбинской шахты исключительно из ворованных материалов. Эту часть поселка так и называли: «Ворованный

угол».

На рабочих планеркдх главный инженер строительства начинал беседу с прорабами так:» Ну, вор такой-то, докладывай…»

Негодовал, что все государственное строится «сикось-накось», допытывался, куда девался тот или другой штабель лучших сортов досок или кирпичей. Прорабы разводили руками, лукаво опуская очи. А один проворчал однажды: «Ишь, строжится! Игде той штабель, игде? Забыл, что я его вчерась ему во двор отвозил!»

Существует иерархия краж. К примеру, рядовой-продавец себе оставляет не так уж много, львиную долю он обязан отдать вышестоящим товарищам, те — еще более вышестоящим, или тому, кто сквозь пальцы смотрит на такие операции.

Воруют все, не только то, что можно унести под полою, но даже санаторное лечение: главврачи «слетают с должностей» за то, что в их санаториях обнаруживаются посторонние лица, то есть лечащиеся без путевок, за мзду. Всяк ворует доступное. Во времена моего заключения существовал даже термин: «доступная кража», она уже позором не считалась, сидящие за нее оставались в категории людей порядочных, как бы злоупотребивших служебным положением.

Я сейчас пишу на ворованной бумаге. Ни копирки, ни машинописной бумаги в продаже нет, приходится улыбаться машинисткам, редакционным работникам, всем, кому бумага «доступна». И тем не менее мы «порядочные люди», в карман ближнего лапу не запускающие.

Используется все, даже законы. Один из видов кражи — присвоение так называемых «списанных» в учреждении старых вещей. По совершенно идиотскому закону их надо ломать, сжигать, чтобы никто, упаси Бог, не воспользовался «социалистической собственностью». Однако ломку порою просто инсценируют, а все гожее растаскивают (и это отчасти так и надо — зачем вещам пропадать!), но придумали это уничтожение воры, чтоб «концы в воду». Ворюги исхитряются. Списав в утиль, например, ковры, отдают их в чистку, ставя новые инвентарные номера, а новокупленные забирают себе. На фабриках воруют путем секретной экономии сырья (за счет качества), из сэкономленного делают «лишние» вещи, уплывающие через госторговлю в пользу ворюг.

Все это, включая взятки, работу «налево» в служебное время, получило уже и формулировку, что-то вроде: «повышение народного благосостояния в социалистическом обществе несоциалистическими методами».

Так что сейчас народу, в особенности шоферам, строить

частные дома есть на что, и в нашу эпоху борьбы с жилкризисом всемерно поощряется т. н. «частное строительство».

Не будучи собственницей, я вспоминаю боль времен, когда «собственность — есть кража» было лозунгом. Когда домовладелец был фигурой одиозной, изгоем, «лишенцем» (его лишали избирательных прав, сокращали со службы, не давали хлебной карточки, выгоняли из партии. Так и писали: «Имея свой дом, пролез…»). У кого было хозяйство, тем бы и плевать. Но, например, моя несчастная мать вынесла горы лишений и горя за свой дом. Бабушка Таня моя, владелица двух (!) домов и флигеля — целой поэтической усадьбы на Гимназической улице Ставрополя, в 20-е годы была объявлена «лишенкой», что весьма компрометировало отца и дядю — членов партии. Пришлось старушке добровольно отказаться от домов в пользу государства, то есть разорить внуков на те грядущие времена, когда собственность перестала быть «кражей». Но отец и дядя вздохнули свободно.

Теперь, на новом месте, дома строят, строят… Никита Сергеевич, покойник, — не без ехидства замечу, владелец нескольких дач, — начал было поход на строителей особо роскошных особняков (отгрохивали по 20 комнат). На какие, мол, средства их воздвигают? Иных выселили, иные сами отдали дома «под дет. ясли». Однако, этот последний нажим на частную собственность быстро прекратился, т. к. строителями таких палаццо оказывались сами «слуги народа», они и до сих пор ненавидят Хрущева, единственного, кто попытался вернуть хоть относительную имущественную справедливость так называемого «социалистического общества». После Хрущева притесняют только за инакомыслие, а жажда обогащения любою ценой рассматривается сквозь пальцы. Правда, в Грузии стали было открыто говорить: «Когда у нас была советская власть…». Власти постарались, посадили кой-кого, и, говорят, теперь в Грузии «модно быть бедным».

А истоки воровства, стихийного, нынешнего, корнями уходят именно в пору, когда советская система складывалась с присущими ей «культом» нищеты, небрежением к личности и обычным житейским нуждам целого народа.

Начало тридцатых годов. Московская коммунальная квартира, переделанная из какой-то фабрички, в которой большие залы перегородили однорядными фанерками, оклеенными дешевыми обоями, и поделили «квартиры» для ответственных работников Госплана. В такой-то квартире, полученной «как сто тысяч в лотерею», четыре члена компартии играют в преферанс. Возможно, они пришли на новоселье к моему отцу. В те годы (30-

е) новоселье в Москве — событие редчайшее.

Все они — работники ответственные, «номенклатурные». Сейчас это как минимум персональная машина, дача, хрусталь и прочее. Тогда, в тридцатые, — «москвошвеевские» костюмы и кожаные не новенькие портфели. Со дня Октября — уже 15 лет!

Погас свет. Преферансисты испуганы, особенно хозяин — мой отец: неужели лампочка перегорела! Вот это беда! Справлялись у соседей — у них тоже темно. Слава Богу! Общая авария! Исправят!

Один из гостей рассказывает о недавней домашней драме: сгорела лампочка и три дня невозможно было купить (уже в то время вместо «купить» говорили «достать»). И он украл лампочку в учреждении, которым управлял, чтобы не заметил завхоз — неудобно все-таки!

Это теперь глава учреждения просто скажет: «Это и это отвезите ко мне». Неловко ему будет лишь в одном случае: подумают — бедный, мол! А тогда и попросить лампочку у завхоза для себя считалось зазорным. Собственность-то социалистическая! Проще — украсть. И тогда мой совершенно интеллигентный отец заканчивает рассказы гостей своей смешной историей.

Нам позарез нужна была дверь. Обыкновенная, на навесах, чтобы вставить в перегородку самостийно разделенной на две комнаты квартиры. Ни купить, ни заказать невозможно, даже «по блату» (уже существовал термин), даже за бешенные деньги. Просто не предусмотрено было соцгосударством, что его гражданину может понадобиться «частная» дверь, так же, как гвозди, доски и прочая домашняя снасть.

И вот однажды, зайдя по делам в какое-то учреждение, в котором шел ремонт, папа увидел в коридоре прислоненную к стене возле дверного проема новехонькую дверь. Добротно сколоченную, еще некрашеную, с ручкой, уже привинченными навесами и даже с дверным ключом. Видимо, ремонтирующий комнаты рабочий принес дверь со всем ее прибором и ушел, чтоб, вернувшись, приставить ее к месту.

Папа окинул дверь завистливым оком. Именно такую он хотел, да и по размеру она вроде подходила к нашему проему в перегородке. Он даже слегка промерил ее пядями. Прочная, достаточно массивная, не фанерка какая-нибудь. Захлопни — никакой звук из соседней комнаты слышен не будет! Отец постоял, погладил дверь рукою. В коридоре не было ни души. И тогда мой интеллигентный папа, обхватив ее обеими руками, примеряясь, поднял на себя и, держа как щит, пошел к выходу. Шел, не торопясь, не потому, что тяжело было нести, а потому,

что обдумывал, что он скажет, если его остановят. В голову не лезли никакие оправдания, не мог же он, например, сказать, что несет ее на улицу, чтобы полюбоваться такой любопытной штуковиной при дневном свете… Кое-кто из, к счастью, незнакомых ему сотрудников учреждения попадался навстречу, но никто не любопытствовал, почему прилично выглядевший брюнет с натугой тащит новенькую дверь.

— Если б кто окликнул меня, — давится от смеха отец, — я быстренько поставил бы дверь к стене и убежал.

Спереди она прикрывала его с головой, так что и знакомые не сразу бы узнали, разве что в спину. Он, однако, опасался швейцара, но тот готовно распахнул перед ним входную дверь, помог папе, избочась, протолкнуться с ношей на улицу и, заметив, что папа прилично одет, крикнул вслед: «Может, вам помочь ее донесть?»

Только когда вышел, почувствовал дрожь под коленями, и не от тяжести и страха, а от чего-то похожего на стыд. По улице почти побежал — а вдруг шофера ожидающих у подъезда машин его знают в лицо? — но отойдя изрядно, уже неспешно направился к Ильинке и далее к Москворецкому мосту. Поставит, передохнет, пока не сговорил грузового шофера доставить его с дверью на Шаболовку.

— И не стыдно было? — спросила я.

— В том смысле, как ты понимаешь, что вот я, Б. Г., в центре столицы несу, как обыкновенный грузчик, дверь — не было, ты знаешь, как я отношусь к подобным вещам: надо — и на бочке золотаря поеду. А другой стыд, от самого факта кражи, перекрывала радость, что наконец-то у нас будет дверь, не стоящая к тому же ни копеечки, и что я избежал позора быть пойманным.

— А о рабочем ты подумал?

— Ну, тут я был совсем спокоен: как администратор, знал: составят акт пропажи, достанут другую. Только с тем учреждением лишь по телефону сносился: вдруг швейцар меня запомнил, но там скоро другой старик уже стоял.

Все остановили преферанс, чтобы осмотреть дверь. Она пришлась совсем впору, только немного подтесать пришлось. Теперь она была окрашена краской, которую «сперла» в своем музее я. Краска была застывшая, ее долго перетирали с олифой.

Поглаживая дверь, один из папиных друзей изрек: «Маркс сказал: «Собственность есть кража». — «Это Прудон сказал», — поправил его отец, и все вернулись к своему преферансу и заговорили о Прудоне.

И пошло! На своей службе я из кем-то разбитой витрины

стянула беленькие перчаточки. Витрину, видимо, разбил кто-то из наших же служащих, в ней выставлены были истинно «музейные» в те времена экспонаты — продукция какой-то московской шерстевязальной фабрики: дивный свитер, торгсиновские кофточки — не для советских рядовых покупателей. Я скромно взяла только перчаточки — очень уж в продаже «для всех» были охально безобразные, грубые. Через день витрина опустела, и я сожалела: взяла бы уж и кофточку! Составили акт на пропажу…

Боба С. был другом юности Андрея Достоевского и Леси Террабилло. В Москву приехал из Крыма и оказался без гроша, ибо и тогда уже пьянствовал. Уверенным шагом молодой человек из прекрасной семьи вошел в какую-то контору. На стене висели большие красивые часы. Не обращая внимания на сотрудников, Боба деловито придвинул стул и осторожно стал снимать часы. «Вы что, товарищ?» — заинтересовался кто-то. Боба хладнокровно пожал плечами: «Чинить!» Извинившись вежливенько, положил часы на чей-то стол, снял и бережно положил в карман маятник и, обнявши тяжелый футляр, потащил его на улицу. Все в конторе безмятежно продолжали свои дела, а Боба завернул за ближайший угол, дотопал до первой же лавочки часовщика и продал ему часы. Конечно, не за полную их стоимость, но торговаться не стал из деликатности. Проходя мимо этой лавчонки в следующие дни, он видел на стене «свои» часы, потом они исчезли.

Так все нынешнее начиналось, и никто уже тогда не испытывал брезгливости при таких рассказах.

Так и хочется закончить отрывок криком: «Караул! Россию грабят! Я. Ты. Он, мы, вы, они — грабят!»

Но новелки эти о кражах материальных, меркантильных — лишь отдаленная преамбула к рассказу о краже, так сказать, романтической, с сюжетом.

2. «Пятистопные ямбы»

«Положи меня, как печать, на сердце своем…»

«Песнь песней»

Середина двадцатых годов. Некупированный грязноватый вагон прямого следования Ленинград — Тифлис наполнен почти исключительно студентами, едущими на каникулы. Сразу же установилась атмосфера веселой непринужденности, какая

возникает во всякой молодой, даже случайно собравшейся компании. Легко и мгновенно завязались знакомства, ребята и девчата, как мы себя тогда называли, быстро организовались в пары, почти каждый юноша облюбовал себе девушку и в меру уменья и сил оказывал ей внимание, то в форме умного разговора, то явного ухаживания в виде уступки более удобного места, каких-нибудь услуг дорожных или прямолинейного угловатого донжуанства. В первые полчаса ко мне подсел было наш универсант-историк, губастый, неуклюжий, но всезнающий, как «сам Тарле» — его учитель. Прельщать меня начал со стихов Гейне по-немецки о принцессе Ильзе. Называл меня изысканно Джен, произнося имя не как англичанин, а как самый разрусский: «Д-жэн». И хотя вкус к простоте в те полудетские годы я еще не приобрела, такая претенциозность со стороны неуклюжего на вид парня несколько меня от него отвратила.

Вскоре среди многих девушек, среди которых были и «синие чулки», и очень даже хорошенькие, меня особо выделил другой юноша, лет на пять меня старше, очень эффектный грузин Шалва, одетый с необычным для студента тех лет изяществом, прекрасно воспитанный, холеный и не считающий нужным все это маскировать, как поступали в те годы почти все молодые, ибо эталоном служила манера рабоче-крестьянская. Назвался Шалва студентом «Техноложки и ехал в Тифлис — тогда город еще не называли Тбилиси. Держался он не так чтобы высокомерно, но с достоинством, как свойственно горцу. Это делало его как-то старше всех нас.

Осуждая развязно-грубоватое обращение с девушками, столь принятое среди студенческой комсомольской богемы, он знакомство начал рассказом о грузинском характере отношений между полами, обычаях, повторяя: «В Грузии…» Был при деньгах, угощал девочек конфетами, и недешевыми.

Узнавая друг друга, мы с ним проболтали всю ночь. С рассветом на какой-то станции он купил мне сноп росистых цветов, похожих на душистый горошек, извинившись, что лучших не было. И в последующие остановки засыпал меня цветами в таком избытке, что спутники ворчали. Губастенький историк, «будущий Тарле», совершенно затонул в том ливне нежного внимания, который проливал на меня Шалва. Коли б не его настойчивое и изысканно вежливое ухаживание — он даже вставал, если я стояла, и, сомкнув стройные ноги, ждал, пока не сяду — я все-таки вначале предпочла бы историка: никогда мне не нравились «красавчики», обычно увлекалась я умными уродами-эрудитами, такими, как оборванный Генька Гор или похожий на медведя Валерий Друзин. Шалва же был

поразительно и оригинально красив: лепка лица кавказская при золотисто-светлых и волнистых волосах. А глаза — светлее лица, хотя оно не было ни смуглым, ни загорелым. Почти белые, как хрусталь, они могли темнеть до черноты. Осененные мягкими черноугольными ресницами, необыкновенные эти глаза делали его похожим на врубелевского демона, в те годы известного мне лишь по репродукциям.

Вступая тогда в мир искусства, я только училась не просто смотреть, но видеть, и, припоминая теперь внешность Шалвы, скажу языком художника: «светосила» его взора была столь велика, что даже когда в улыбке он показывал красивый оскал, глаза выглядели светлее ослепительно белых крупных зубов. Отношения тонов лица в его портрете живописцу пришлось бы соразмерять с бесцветным, но ярким тоном радужной оболочки. Здесь тон холодный доминировал над теплым. Так блеск льда кажется ярче и светлей окрашенного зарею неба. В минуты взволнованности зрачок заполнял все поле радужницы, оставляя от нее только узенькую окружность, и тогда это было совсем другое лицо, обретавшее новую прелесть: глаза, не теряя в светосиле, становились черными грозными кострами, в них роились черноугольные блики, как на изломах антрацита, и даже мое отражение в его зрачке приобретало голубоватый оттенок. Художник, пожалуй, и не смог бы в одном его портрете передать сходство. Такие контрасты облика я не встречала ни прежде, ни позднее во всю жизнь, и именно эти контрасты придавали лицу прелесть редкостную, сумасшедшинку какую-то, что теперь я назвала бы демонизмом.

Среди остальных ребят он выделялся даже не красотою — были и более красивые, — не тщательностью одежды, но пластикой движений, будто сценичной — ничего лишнего! Не было совсем юношеской суетливости, даже когда спешил. Такая восточная неторопливость, экономность, законченность движений в России встречается у кавказских горцев или породистых грузин.

Теперь я понимаю, что, разглядывая его влюбляющимися глазами, я, по сути, любовалась им, как произведением искусства, созданного самой природой. Такое бывает. Ведь о живой женщине писал Пушкин: «Все в ней гармония, все — диво». А в природе человека встречается большее, чем красота: пластика, прелесть движений, краски, голос иногда. Потрясение той встречи, как я теперь понимаю, и заключалось в потрясении совершенством такого произведения природы, тем более, что «произведение», как выяснилось, обладало и умом, и душою, и развитием большим, чем мое, хотя и не в привычной мне области. Ничего совершеннее этого юноши я потом не встречала, у всех, кого потом любила, не

хватало этой Богом данной благородной простоты, каждый был стиснут то рисовкой, то застенчивостью или развязностью, эгоизмом или бездуховностью.

А то, что я его так запомнила, так ревностно проследила его облик, действительно необыкновенный, показывает степень моей влюбленности, которая только одна и видит так четко детали внешние. Понятно мне, что настоящий портретист должен быть влюблен в свою модель, иначе он ничего в ней не увидит.

И еще, конечно, Шалва пленил меня тем, что никак не походил на «героя тогдашнего времени», богему двадцатых годов, в большинстве развязную, не ставящую перед жизнью общефилосовских вопросов. Внутренний мир Шалвы открылся мне уже в наших ночных разговорах.

Ленинградские вагоны прямого сообщения в те годы с утра весь день отстаивались в Москве, видимо, в столице формировали составы, отправляющиеся на юг только по вечерам. Вагоны отгонялись по Окружной дороге на Курский вокзал, их до вечера вместе с вещами запирали, а пассажиры могли, в течение дня оставаясь в Москве, осматривать столицу.

Весь длинный июньский день мы с Шалвою ездили и бродили по Москве, которую он знал лучше меня и мне показывал. Мимо нас скрежетали и лязгали трясучие — не в пример ленинградским, почти бесшумным — беспокойные трамваи, пролетали экипажи — их так много еще на улицах, — тянулись телеги с грузами. Машин было мало. Москва, пряничная, подсолнушная, булыжная, простоволосая еще кипела вокруг нас, теснила. После покоя ленинградских площадей и улиц с их торцовыми бесшумными мостовыми столица казалась ярмаркой, суетливой и пестрой. Утомившись теснотою, уставши выскакивать из-под катившихся со всех сторон колес и копыт, мы выбрали тихие переулочки Арбата, и в маленьком скверике на Собачьей площадке поцеловались впервые прямо на виду у прохожих. Для тех времен это было беспримерно, пуристы могли бы и милицию позвать.

С того мгновения мы Москвы не замечали. Передо мною сиял меняющий оттенки огонь поразительных хрустальных глаз, смотревших в мои неотрывно и восхищенно. И целовались мы удивительно: он бережно, как хрупкую вазу, брал мою голову в обе ладони и медленно целовал сперва в глаза, потом в губы и в волосы, руки, платье и говорил, что я необыкновенная девушка. Другие юноши называли нас «девчата», «девчонки», и «девушка» тогда звучало как тоже «отброшенное» в те годы слово «невеста». Я читала ему лирику Маяковского, и любимого Георгия Иванова, и свои стихи, и «Пятистопные ямбы» недавно «открытого мною

Гумилева. Стихи он воспринимал без восторга, литературу знал так себе, ну что ж, студенту-технологу это можно бы простить! Зато вокруг него возникал какой-то иной поэтический ореол.

Он знал много, «в ширину» больше меня, ценил радости жизни, знал театр, любил мир природы, который я тогда просто не замечала… Говорил по-восточному образно, неторопливо, почти без акцента. За словами сквозили незаурядный ум и душа. Из его уст услышала я впервые «гимн математике», так потом называла я его восхищение этой «наукой наук», о которой он сказал: «мирооснова». Правда, о науках мы говорили немного. Главное были мы сами, то чудо встречи — мы так и говорили: «чудо», — которое нас так счастливо сблизило, повергло друг перед другом. С тех пор главным для меня в моих «романах» стали разговоры, что называют «выяснением отношений», — обоюдный анализ чувства.

— Молния! — говорил Шалва. — Среди темноты ничего нет. И вдруг — молния, и весь мир совершенно другой. И в нем — ты! Хочешь, я сделаю для тебя что-нибудь невероятное, хочешь?!

Невероятного я не хотела. Да ведь то, что случилось, и было то самое невероятное. Отягченная ощущением чуда, я раскинула руки на Арбатской площади: «Язык трамвайский вы понимаете?» — закричала в лицо прохожим, С тех пор эта фраза Маяковского сделалась для меня выражением слиянности со всем существующим во время влюбленности.

В юности время тянется долго. Мы обедали в скромном кафе. От посещения «Праги» я отказалась: снобизм ресторанных обедов был еще неведом. В кино не пошли, обоим одинаково пошлым показалось целоваться в пахнущей потом темноте среди толпы, невидимой, но ощутимой.

— А что, если мы поженимся? — спросил он негромко, будто сам себя спрашивая, когда вечером мы входили в Курский вокзал, чтобы ехать дальше. В свои 17 лет, очень польщенная, хотя и не впервые это слышала — у меня в Ленинграде остался респектабельный тридцатисемилетний жених — я что-то пробормотала о необходимости нам учиться, чувствуя, однако, к ужасу своему, что не это теперь самое главное.

В вагоне мы влюбленность не прятали. Он даже шутил: «Ну не прелесть ли у меня невеста?!» Девчонки фыркали. Мальчишки переглядывались, историк хмурился. Мы уединялись и шептались. «Когда ты станешь моей женой, я сам буду тебя купать…» Или перечислял, что мне тогда подарит. Мне были обещаны масса книг, платья, о которых не смела мечтать, — будут! За границу поехать?! Душу продаст, но это случится. Он называл инженеров, которым и тогда давали заграничные

поездки. Его отец недавно вернулся из Парижа, вот откуда его изысканная одежда. Хочу, окончив университет, сделаться актрисой? — Ах, он всегда видел свою будущую жену известной актрисой. К тому же, я так похожа на Женни Юго!

В эту игру мы играли до самой разлуки, припоминая какое-либо трудно исполнимое мое желание. Впрочем, неисполнимых желаний у меня было немного: жизненные блага не составляли тогда ценности для всей, пожалуй, молодежи, и их он называл «окраской жизни». Это о них и до сего дня моя формулировка.

Моей влюбленности меры уже не было, все во мне пело: впервые в жизни в неотступном, тревожном служении мне такого статного красавца, такого умницы я ощутила женскую свою прелесть и силу.

Вторая ночь в поезде тоже прошла без сна. Мы целовались в тамбуре между вагонами, огазованном едким паровозным дымом, огражденном гофрированными стенками от пространства. Вагоны трясло и на поворотах мотало. Железные настилы тамбура над буферами работали, будто гигантские клавиши, то со скрежетом падали вниз, то вздымались с лязгом. Мы с трудом удерживались на ногах долгие минуты. Это было как полет, трудный, но сладкий. Кондуктор с фонарем иногда проходил, неодобрительно покряхтывая. Стыдно мне не было, не было страшно, все это летело как ветер, как свистящее вокруг поезда пространство, звучало музыкой, пронизывающей сердце. А главное, мы одинаково чувствовали друг друга. Когда мой Ромео обнимал меня, казалось, тело окутывают огромные, мягкие и теплые крылья и несут над миром, и в тот миг он шептал: «Положи и ты свои крылья мне на плечи. Зачем ты спрятала свои звезды? Посмотри на меня, Джаночка, любимая!»

Однако горе тому, кто подумает о нас дурно! Наше слияние в поцелуях и объятиях было совершенно надсексуальным, нетелесным, удивительно безгрешным и целомудренным. Безусловно, в другой обстановке я отдалась бы ему незаметно для нас обоих, хотя Шалва не сделал тогда ни одного движения, которое могло бы меня испугать, оскорбить, унизить. Мы даже говорили: спутники, конечно, думают о нас прямолинейно и гадко, и только нам двоим известно, как все это чисто, и как хорошо нам, больше ничего не желая, вот так «летать» среди хаоса, движения, грохота, мимо проплывающих вдоль поезда огней. Это от Шалвы я впервые услышала тогда выражение, кажется, Гете: «В истинной любви душа обнимает тело».

За эти одни сутки навеки многое определило во мне будущую женщину, открылось мне, что таинство физического сближения — категория прежде всего эстетическая. За эти сутки я прошла всю

гамму эмоций, свойственную чистой девушке, когда она подойдет к рубежу, за которым становится женщиной. Эти сутки равны были месяцам, годам взаимного привыкания.

Очнувшись от ласк, из рычащей, темной пещеры тамбура мы входили в едва освещенный фонарями вагон. Тени копошились в его сонном нечистом чреве. Наши тени застывали в темном углу. Не все в вагоне спали и смотрели на нас с осуждением. Но меня это мало тревожило. Надвигалась угроза разлуки по мере продвижения поезда на юг. Мне предстояло сойти на Кавказской (ехала я к маме в Ставрополь), он этим поездом ехал до Тифлиса. Случись такое со взрослыми людьми, можно бы одному изменить маршрут и следовать в тот или другой город вместе, но мы были дети «из хороших семей», нам и в голову не мог прийти такой вариант.

Предчувствуя расставанье на все время каникул, мы плакали. Прекрасные изменчивые глаза темнели, и в скудном свете вагонного фонаря сверкали слезами.

Слезы мужские вообще потрясают, но если они вызваны тоскою и болью за вас, и если перед вами их не стыдятся, — и это высшее проявление интимного доверия, такое и не семнадцатилетнюю девочку может поразить глубоко. Как сладостны мне эти слезы, обильно капающие мне на грудь, шею, руки. Мокрыми солеными ладонями своими я стираю влагу собственных глаз и смешиваю с его. В таком одном слезовом потоке, в одном смешанном потоке, и прильнув друг к другу лицами, невыразимая нега и сладость, неизмеримо большая и сильная, чем позднее узнанная мною подлинная и полная физическая плотская близость.

— Невозможно будет жить без тебя, невозможно! Женя, дорогая! — шепчет он. — С ума сойду!

Кавказское произношение моего имени, так похожее на слово «жена», мне особенно обольстительно. Обменялись адресами, и ленинградскими и родительскими. Я уже обдумывала, какие письма я ему напишу, какие найду особенные слова, чтобы сказать о том, что глаза в глаза сказать робела, берегла эти слова для будущего письма.

Наш поезд не был скорым, на станциях стоял относительно долго. Почти все ребята, хохоча и толкаясь, выбегали, носились по перрону, кто «за кипяточком» со случившимся у кого-то жестяным нечистым чайником, кто просто ноги размять. Выходили и мы с Шалвой, я с особенной осторожностью, так как случалось уже мне в прежние поездки отставать от поезда. Он посмеивался над моими страхами. Если подножка вагона была высока, подставлял под мою ступню ладонь, чтоб удобней было

вскочить. До следующей станции вокруг нас опять играли в шахматы или карты, пели хором, кто-то читал, кто-то спал, положив под голову какую-нибудь мякоть — в ту пору в общих вагонах постели пассажирам не полагались. Среди этой молодой суеты мы видели только друг друга — все была пустыня, и в ней мы двое…На какой-то станции, уже, видимо, за Донбассом, я вышла из вагона и, потеряв Шалву из вида, разговорилась с историком, хотя он теперь со мною был сух и строг. На вокзалах тогда давали звонки. После второго побежала к вагону и сама вскарабкалась на высокую ступень. Ищу глазами Шалву, не подставившего мне, как прежде, ладонь. Свисток. Поезд захрустел суставами и тронулся. Где же он? Может быть, обиделся, что постояла с историком? И теперь прячется, глупый ревнивец! Может быть, отстал? Бросаюсь к открытому окну. Медленно, так медленно отплывает деревянная платформа перрона. А на самом ее краю стоит, выпрямившись во весь рост… Ах, Шалва!.. Стоит недвижимо и смотрит вслед набирающему скорость составу.

Отстал! Но почему же он не бежит следом за поездом, как другие? Ловкому юноше ничего не стоит вскочить в проплывающие мимо последние вагоны! Так уж кое с кем из ребят случалось… Отстал! Но почему? Может быть, из-за историка?

Взволновались первыми девчонки, даже те, кто, как мне показалось, остро мне завидовали: «Ах, отстал! Шалва отстал!» Я же недоумеваю и расстроена очень.

— Он еще может догнать наш поезд на скором, — утешают меня, но я все думаю: ведь он мог свободно вскочить в свой поезд! Да и когда он теперь нас догонит, ведь мне на Кавказской сходить…

Надо было из самолюбия свои сомнения и сожаления спрятать, и я вроде бы спокойно заглядываю в карты играющим. Двое играют на верхней полке. Подняв к ним глаза, я вдруг не увидела на полке багажной своего чемодана. Он светло-желтый, новенький и заметный, прежде резко выделялся среди студенческих фанерных баульчиков и обиходных тогда плетеных корзинок. Чемодана не было. — А где же мой чемодан? — невольно вскрикиваю. Все зашумели: «Украли! Женин чемодан украли! Когда? Кто мог?»

И вдруг чисто зрительно я вспоминаю: когда отходил поезд, у ног неподвижно застывшего у края платформы Шалвы стояло нечто прямоугольное, желтое, светлое. Да ведь это мой чемодан! У него ведь, кроме щегольского портфеля, багажа не было!..

«…Ломая крылья, теряя перья», вдребезги разбиваясь об острые камни, в бездну ужаса падает моя «Песнь песней» — мои

«двадцать четыре часа из жизни женщин»…

— Сволочь он! Гад! — единодушно кричали все ребята. — И никакой он не студент, просто вор! Потому и денег у него…

Поискали даже по вагонам студентов-техноложцев, чтобы установить личность. «Наш студент», — сказали те ребята. В окна сердито выбрасываю «сено» — цветы, которые мне приносил он. Надо мною никто не смеется, никто не называет дурой, что в обычае у студенческой богемы. Только проводник злорадствует назидательно и предлагает дать на ту станцию телеграмму, чтобы задержали ворюгу. А студентом ему более не бывать! Я отказываюсь: пусть несвойственно грубо, но вдруг Шалва только так странно пошутил! Проводник рассказывает кому-то шепотом: «Он, гад, во как девчонку уговаривал! Плакала даже! Ага, я видел! Она ему отказала, так он, гад…» Девочки утешают: повезло еще, что по приезде в Москву я, достав из чемодана, надела — ради него, конечно, — лучшие свои наряды, восхитившие полунищих девчонок, да так в них и оставалась, не жалея, что запачкается или изомнется. В то время вещи берегли.

Мне было не жаль вещей. Плакала я из-за своей оскорбленной любви, упавшей на меня, как внезапное озарение, от унижения, что почти публично целовалась с жалким ворюгой, от ужаса, что такое предательство может существовать на свете.

— Были там какие-нибудь бумаги, книги? — спросил губастый историк-коллега. — Если ваш Ромео вор настоящий — а он по хитрости, видать, настоящий — книги, документы, бумаги он вернет по почте, по оставленному адресу. Так у них принято. — Утешал, будто знал, что среди утраченного — и это больше всего меня угнетало — в чемодане находился мой девичий дневник. Интимный… Шалва его прочтет…О!

Ребята называли его последними словами, а закрыв глаза, я слышала шепот: «Душа моя! Посмотри на меня своими звездами!..»

…Пришлось рассказать об этом папе, опустив, конечно, запретные подробности. Я только признавалась горестно: «Он очень, очень красиво за мной ухаживал!» Папа рассмеялся с ехидством и назидательно сказал, играя словами: «Так тебе и надо! Он был Шалва, а ты была, извини, шалава!» Но денег на одежонку в замен украденной выдал. А вместо заграничного элегантного чемодана, выплаканного мною у мачехи, я получила дома пошлую плетеную корзинку. И долго еще в семье нашей о какой-нибудь доверчивой раззяве говорили: «Вот шалва!» Он стал нарицательным бранным словом, и я смеялась.

История на этом не закончилась. Выстраивался сюжет.

Своих «бумаг» по почте я так и не получила, но уже в

Ленинграде осенью пришло письмо, чуть-чуть согревшее мое самолюбие. Написано оно было с литературным блеском — воры так не умеют, — и в общих чертах его содержание было такое: пусть я не думаю, что он мне лгал, уверяя в любви. Это чувство действительно охватило его с такой странной и страшной силой, потому что я действительно очаровательная (в письме были и более лестные слова) девушка, и он не стоит моей подошвы. Пусть я не думаю, что он вор: желание похитить чемодан и остаться на станции возникло у него мгновенно, стихийно, как испуг перед охватившим его столь сильным чувством, для реализации которого было много препон, в том числе и семейных. Он испугался. Нужна была «невозвратность». Чувство было как амок (мы оба были в восхищении от этого рассказа С. Цвейга). Вещи мои он сжег в ближайшем лесочке. Среди них, как он понял, было «нечто вроде дневника» — бросил в огонь, не читая, преодолев соблазн узнать меня ближе. Сейчас его адреса, мне данные, изменились. Разыскивать его бессмысленно.

Часто потом представляла я, как в ожидании следующего поезда — они тогда ходили раз в сутки — он разводит костер на опушке ближайшего лесочка и всю ночь сидит возле него. Как неторопливо, по одной, бросает в огонь мои вещи, не рассматривая их. Последним сжигает чемодан. Сухая кожа горит, потрескивая, а он еще и еще подбрасывает сушняк, ломая его красивыми белыми пальцами, укалывая их и обдирая. Пламя пышет в его глазах, но не согревает их теплыми оттенками. Сидит до рассвета, потом затаптывает и разметывает золу и по проселочной дороге шагает к станции. Тащится медленно, едва передвигая ноги. Усталый, не спал три ночи, лицо запачкано гарью, одежда измята. Умывается у водокачки и засыпает мертвым сном на вокзальной скамейке. Много лет я вижу все это именно так. Я же много ночей уснуть не могу, и мою бессонницу мать в Ставрополе и отец в Крыму объясняют огорчением от потери вещей.

Получив письмо, поняла: ситуация была не по Цвейгу — по самому Достоевскому. Позднее я рассказала об этом внуку Великого Мастера в изображении человеческих странностей, взлетов и падений человеческой души, близкому моему другу. Андрей сказал, что ему это понятно. И дал прочитать свой дневник — воспоминания о своей первой большой любви к девушке Ирине (фамилию забыла). Хотя любовь была долгой, не в пример «молнии», упавшей на вас с Шалвой, и была безответной, он надеялся, что Ирина станет его женой. Сознание «Мы — Достоевские» в семье Андрея было весьма острым, и мать ему заявила, что брак «с кем попало» — а Ирина для нее и была такою

— для него невозможен, мечтанья напрасны. Ирина же Андрея не любила, смеялась даже над странным «внучком». И тогда Андрей, в полной безнадежности, оскорбил Ирину чуть ли не публично, чтобы «отрезать» от себя, сделать невозможным дальнейшее общение, с надеждой затоптать, осквернив чувство непоправимостью своего поступка. А дневник заканчивался словами, что Ирину он до сих пор любит и следит за ее судьбою. Так потомок великого психолога объяснил мне и мотивы нашей ситуации, хоть была она несколько иною.

И на этом не закрылась фабула.

Спустя годы я оказалась жительницей Москвы. Прошла через страшную болезнь позвоночника, приковавшую меня на несколько лет к постели и сломавшую мечты об актерстве. Пожила в Крыму. Пережила большую трудную любовь, принесшую опустошение. Лучезарность первой юности ушла, но фотографии тех лет еще хранят былое изящество линий. Знаменитая в университете «мисс Смайлс» — улыбка — и звездчатые глаза еще при мне.

А вот, Москва начала тридцатых. Летний полуденный трамвай, пронизанный солнцем. В вагоне почти пусто. Еду, читая, не глядя по сторонам. Листая страницы, пальцем нечаянно зацепила нитку своих сердоликовых бус, свисавших над книгой. Нитка порвалась, и тяжелые крупногранненные солнечного цвета бусины посыпались со стуком на решетчатый пол. Пассажиры приветливо помогают мне выискивать зерна между решетками. Чья-то мужская рука подает и подает мне бусы. Не поднимая глаз, ссыпаю их в сумочку. Как будто бы все. Но та же рука тянется еще раз, в ней несколько играющих светом солнечных шариков. Благодарю, поднимаю взор и немею: Шалва! Глаза в глаза!

Нет, нет, я не могла ошибиться. То же красивое, чуть возмужавшее лицо, те же золотистые мягкие волосы, хрустальной светлости глаза, осененные угольными ресницами, темнеющие, пока я на него смотрю. И — главная улика: глаза смотрят на меня с притаенной вопрошающей улыбкой, он тоже узнал меня. Еще миг — мы поздороваемся, быть может, бросимся друг к другу. Но я чувствую, как вспыхивает мое лицо — а вдруг он все-таки читал дневник! Отворачиваюсь резко и, хватаясь за вагонные поручни, иду к выходу, выскакиваю на остановке, благо, она подоспела. В опасении, что он выйдет за мною, отбегаю от трамвая… и вздыхаю с облегчением: вагон тронулся, и мимо отплывают необыкновенные глаза, наблюдающие за мною в окно.

Следующим трамваем ехала я дальше, и за его стеклами, так же, как годы назад, гудела и металась Москва. Но уже начинавшая упорядочиваться, изрытая шахтами метро,

убирающая булыжники с улиц, наряжавшая свои строения. Вот там, налево, «наш» памятник Гоголю (стоял еще андреевский, не нынешняя банальность), за вот этой улицей «наш» скверик на Арбате… О чем сейчас думает Шалва, на этом же пути во впереди идущем трамвае?

… Зимою еще встреча. Прохожу, торопясь деловито, залами Третьяковки. Она для меня теперь не «храм», а место работы. На крайнем стуле, из тех, что стоят посреди залов для отдыха публики — он! В строгом черном костюме. Даже когда сидит, видно, как хорошо сшит костюм, как безукоризненны туфли и носки. Сначала вижу его в профиль. Он рассматривает «Явление Христа». Пластика тела по-прежнему выразительна — поза человека, чем-то сраженного, руки свободно спущены между колен, красивые выхоленные руки, прикосновение которых я так явственно помню. Меня он не видит, конечно. В день летней трамвайной встречи я выглядела довольно буднично — так, беленькое маркизетовое платьице! И мне по-бабьи хочется, чтобы он взглянул на меня сейчас: я хоть и на работе, но в высшей точке элегантности: прическа, серо-жемчужное «все в тон», как тогда говорили, серебристая лиса на плечах, потому что в зале прохладно. Каждой клеточкой тела ощущая свою «стать»: упруго и звонко уверенно прохожу между ним и картиной, но он неотрывно глядит на дрожащего мальчика, того, что стоит в правой половине холста. Ясно вижу, рассматривает мальчика.

Все тогда говорили, что я удивительно похожа на этого мальчика со звездчатыми глазами. В «живых картинах», которые мы поставили на одном из «капустников» Третьяковки и подбирали среди сотрудников «типажи» для живописных некоторых полотен, меня даже предлагали выпустить этим дрожащим мальчиком, да препятствием стало, что у Иванова он совсем гол.

Шалва рассматривает мальчика долго, не меняя позы, так долго, что мне неудобно «мелькать» перед ним. Я даже начинаю громкий разговор со стоящим в зале вахтером, будто для этого и пришла. Шалва в мою сторону головы не поворачивает. Неужели мальчик ему никого не напомнил? А быть может, он просто не хочет меня замечать?.. Нахал! Негодяй! Вор! Вор! Вор! Сердито постукивая каблучками, ухожу по своему делу и когда возвращаюсь в ивановский и брюлловский зал, Шалвы там уже нет. Не искушаю судьбу, не ищу его в соседних залах. Смешно: только чтоб увидел меня «В полном женском параде»?! Какое бабство! Нет, он украл у меня чемодан. С дневником! Он будто бы испугался любви и будто бы пожелал ее убить непоправимым осквернением?! Чепуха! Этот элегантный красавец — только вор.

Просто вор! Ха! Заграничный чемодан и в те годы стоил немало денег. Не говоря уже о тряпках! Сжег? Не-е, распродал все на толкучке, и дневник прочитал, конечно, и позабавился… Студент… Будущий инженер… Ха! Просто столичный ловкий вор, жаль, нельзя передать его в руки милиции… О! Душно в залах! Срываю мех и обмахиваю им лицо, как веером…

Еще годы проходят. Мне пойдет скоро четвертый десяток. Уже не в первом разводе. Позади и арест мужа, и замужество в Сталине, и все мои там мытарства. Счастье не свершилось. «Песнь песней» жизни моей больше не прозвучит. «Пятистопные ямбы» Гумилева люблю по-прежнему и часто в душе звучит обращение к Любви:

«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя…
Но пред лицом всевидящего Бога…
Навек я отрекаюсь от тебя…»

Отрекаясь от всего женского в тот год, осознаю, что интеллектуальный блеск былого служил лишь «брачным оперением». Еду снова в Москву искать смысл существования в науке, мечтаю и хлопочу об аспирантуре.

Сразу же по возвращении в Москву из Донбасса иду к Вахтангову, с книгой, читать в антрактах, как прежде любила. Чтобы ярче оттенить радость возвращения в столицу, купила дорогой билет в первых рядах партера и надела вечернее платье, черное, до пят.

Рядом со мною два пьяноватых дядьки, одно место между нами весь первый акт остается свободным: кто-то опоздавший еще придет. В антракте двое выходят, я раскрываю книгу о Ван-Гоге. Гонг. Мимо моих колен протискиваются уже трое, в подпитии. Поднимаю негодующие глаза и сразу прячу их, опаленная знакомым светло-голубым пламенем. Опоздавший — Шалва. Я не ошиблась: спутники называют его по имени, но молодым человеком его уже не назовешь: так, обычный гражданин. Отяжелели веки, увяло прекрасное лицо, почти незаметны ресницы.

Усаживаясь, мужчины заканчивают какой-то производственный разговор, из которого понимаю: они или техническая интеллигенция, или связанные с заводом партийные товарищи. Разговор острый, они чем-то возмущены, особенно Шалва, и голос его звучит гортанно, — как знакома мне эта голосовая взволнованность. Один из приятелей, успокаивая его, вульгарно произносит: «Да пошли их к…» Шалва делает ему предостерегающий жест, жест ужаса. В даме не первой молодости, строго причесанной и сидящей рядом прямо, как палка, с книгою

в руках, он, безусловно, узнал девочку-длинношейку с косами, скрепленными на затылке бантом. Один из друзей произносит: «Мы, значит, проиграли…» И, опустив голову, будто для самого себя, вздохнув, Шалва неожиданно читает строфу из «Пятистопных ямбов», явно непонятную для спутников и предназначенную мне, мне, которая на него и не смотрит, хоть и видит боковым зрением:

«…Я знаю: жизнь не удалась, и ты…
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль…
Взлетели кости, и была печаль…»

Пошел занавес, и после второго антракта все трое не вернулись. То ли Шалва увел, от меня, то ли спектакль не понравился.

…Москву бомбят и обстреливают, Немцы рядом. Контуженная взрывом на противовоздушной обороне и слегка раненая в ногу, что случилось ночью, днем я должна уехать из почти осажденной столицы. Так решил мой ближайший друг, любовник, профессор Х. Через приятеля-генерала он устраивает меня спешно, за один-два часа, в отъезд с воинским эшелоном, идущим в Тбилиси. Он отправляет меня на Кавказ, к маме. Пересадка на Кавказской, там еще не бомбят, сказал генерал, и поезда ходят нормально. По моим документам при пересадке мне помогут. Как укладывались, как собирались — не помню, тело мое после контузии дрожит, как желе.

Эшелон стоит где-то на дальних путях. Меня ведут под руки. Перед составом — толпа молодых мужчин в штатском. Они оттесняют меня и моих спутников с багажом назад, назад. А стоять мне трудно, даже с палочкой, голова кружится. Провожающие меня волнуются: в вагон их не впустят, а если мне войти последней, может не оказаться даже сидячего места: они не нумерованы. Это молодых призванных ребят отправляют на южный фронт.

Посадкой руководит красивый, с очень усталым лицом грузин в военной форме. Теперь мне не трудно бозошибочно его узнать: встреча в театре произошла около года назад. Провожающие меня пробиваются к нему. Он занят, отмечает на планшете каких-то юнцов с рюкзаками. Мои спутники что-то настойчиво горячо ему объясняют: я слышу отрывки восклицаний: «…контуженная на обороне… женщина… на обороне…» Он поднимает обрезавшиеся от бессонных ночей лунного цвета глаза, сталкивается с моим тускнеющим взглядом и, опустив планшет, решительно шагает в

мою сторону. Спутникам моим с упреком бросает, рассматривая мои документы: «Зачем Вы отправляете ее на Кавказ? Ведь их учреждения эвакуируются в Сибирь!» В документах не указано место работы. Значит, он знает обо мне все! А эпизод в театре — доказательство, что он разыскал и запомнил мои любимые стихи Гумилева и знает их наизусть! Сейчас он говорит властно: «Пропустите раненую женщину с провожающими. Вот эту женщину». И когда люди расступаются передо мною, Шалва снизу подставляет к высокой подножке свою ладонь под мою ступню, как тогда, только мне понятным восклицанием: «Ну, ну, Дамаянти!» — вбрасывает меня в тамбур сильными руками — о, как помню я их бережную нежность! Мы встречаемся глазами, его меняют лунный тон на антрацитовый блеск. «На Кавказской, — говорит он, — я прикажу ребятам при пересадке помочь». К моим ногам на площадку летят мои узлы и чемодан, а он кричит: «Эй, помогите раненой даме внести вещи и освободите удобное место!» Чьи-то руки втаскивают и размещают мой багаж, суета: «К воздуху ее, к воздуху!» — и, наконец, я устроена у окна. Окно открыто. Меня больно толкают, передавая снаружи какие-то вещи пассажирам, и вместе с осенним холодком долетают последние приветствия моих провожающих… О, как я буду проклинать их год спустя, оказавшись в оккупации и вспоминая слова Шалвы: «Напрасно вы отправляете ее на Кавказ»… Как чувствовал!

На отплывающих куда-то в глубину жизни рельсовых путях остается стройная фигура в пилотке, в шинели, складывающая планшет и глядящая вслед эшелону. Глаза светлее лица. И мне чудится, будто у его сапога стоит мой девичий желтенький чемоданчик… я лучше всего помню его юным. Но если он жив еще, пенсионер Шалва, быть может, его внуки на ворованных машинах возят краденые парниковые помидоры и огурцы из Тбилиси в столицу. Останавливаться там они могут у дедушки-москвича.

Рассказ ведь мой был о кражах, и такая концовка вроде бы в тему укладывается. Ведь целая жизнь, возможно, оказалась ограбленной. Моя и его.

VI. ИСТОЧНИК

Московское лето 1937 года было особенно знойным. В накал полудня запыленные улицы пустели, насколько пусты они могут быть в столице, и все-таки людские потоки текли и текли в Лаврушенский переулок. Там, в Третьяковке, открылась выставка Репина. Впервые в советское время были во многих залах собраны все находящиеся в СССР, полотна и рисунки художника,

поступившие даже из частных собраний. И тогда Репин предстал в таком торжествующем своем великолепии, таком величии, разнообразии тематики и техники, что дух захватывало от сознания: народ мой породил столь могучего, столь неисчерпаемого гениального художника.

Рыжеватый, суетливый старичок, творчество которого в еще предреволюционной России тщетно пытались задвинуть на задворки искусства разные «…исты», навесить на него ярлык художника, ограниченного и приземленного передвижнической и гражданской узостью, победил их всех непомерным своим мощным талантом живописца, будь то березка, незаметная и грустная, страница величавой истории нашей, образы и дела его современников или предметный мир, среди которого живем, — все блистало мыслью и мастерством.

Портретные этюды к «Государственному совету», написанные «на одном дыхании», собирали толпы советских художников, тщетно пытавшихся постигнуть, «как это сделано»: от них требовали равноценного.

Выставка стала крупным событием тридцатых годов. «Вся Москва» протекла через залы знаменитого национального хранилища. Толпы лились и лились непрестанно, приезжали периферийские художники, просто любители, художественные училища премировали студентов поездкой на выставку, слышалась иностранная речь.

Хотя массового туризма в СССР еще не было, но какие-то делегации, крупные чиновники, деятели искусства проникали.

В один из выходных дней галереи объятые трепетом ответственные сотрудники Третьяковки, кому доверили «тайну посещения», открыли двери для членов правительства. И по соседним улицам, и по залам пробежали юркие молодые люди в штатском, а уж потом, сопровождаемые скрыто вооруженной охраной, из машин, блистающих лаком, в залы вступили ОНИ, от всех отчужденные, одетые просто, но дорого, вступили уверенно, как безусловные хозяева всего этого. Деловито поднимались по лестничным коврам, не оглядывая ничего другого, прямо на встречу с художником, в некоторых работах живописавшим эпоху и борьбу, и чаяния их отцов, трепеты величайшей душевной чистоты истинных революционеров, их великого самоотвержения в битве за то счастье, которое, как нынешние полагали, они теперь источают для всего народа.

Слава Богу, от репинских картин «подвоха» быть не могло. Но когда я однажды дежурила на выставке советских художников, заметила гражданина — тоже в штатском, — который рассматривал картины, заходя сбоку, и порою, нагибаясь, снизу

вверх. Потом он строго спросил меня: рассматривали ли эти картины с той точки зрения, что в их рисунке, как в загадочной картинке, могут быть замаскированы… голова Троцкого, например, или какой пасквиль на современность. Сухо ответила, что, вероятно, кому это полагалось, может быть, и этак рассматривали, но мы воспринимаем их как картины именно советских художников. «Бдительный товарищ» укоризненно покачал головою.

С Репиным такого им можно было не опасаться, Но когда кто-то из сопровождавших сотрудников полез за платком в карман, свита беспокойно дернулась, и сами вельможи как-то «моргнули». А еще раньше тех, кто с ними в залы пошел, предупреждали, как перед мавзолеем Ленина: в руках ничего не держать, даже книгу.

В тот раз я видела их лишь при входе: в залы за ними нас, «младших», беспартийных, не пустили, да и о визите таком я узнала «по блату» и прибежала.

Никто им ничего не объяснял: властители шестой части мира, они «все знали» сами. Пробежка по залам была недолгой, так проходят деловито без эмоций между двумя заседаниями.

Они стали другими с тех пор, как я видела некоторых много лет назад. Какая-то глухая стена настороженности отгораживала «слуг народа» от самых старших работников галереи, державшихся с краю, почтительно избочась.

Припомнилось мне, как в 1927 году в один из петергофских дворцов, где я была на практике, летним днем приехали эти же самые, теперь такие чужие, вельможные и суровые. Вошли группой — Сталин и Ворошилов в простых сапогах, в белых кителях и фуражках, не новых, чуть помятых. Сталин еще молодой, с яркими улыбчивыми глазами и черноусый. Они тогда переговаривались оживленно, смеялись, ахали молодо, восторженно, как простолюдины. Прибыли во время музейного перерыва, публики не было, но нам можно было глазеть на них невозбранно. Долго Сталин восхищенно цокал, разглядывая барочный плафон «Апофеоз Елизаветы Петровны», где полуголая розовая императрица парила среди «предстоящих». Вот бы ему такое! Смутно помню тогда Рыкова, Молотова, остальных позабыла. Осталось впечатление — «серость» всей группы, основное се восхищение: «вот жили!».

И еще припомнилось, как в начале годов тридцатых в Алупкинский музей в обеденный перерыв приехал Молотов, одетый в белую косовороточку под недорогим, явно москвошеевским пиджаком, с женою Жемчужиной, похожей на учительницу и так же неброско одетой, в панамку и кофточку, и с шофером, привезшим их из Мухалатки, где был

правительственный санаторий. Втроем бродили по залам. Никого старших в перерыве не было, пришлось — мне. Молотов попросил обращать их внимание только на чем-нибудь замечательные вещи, не вдаваясь в «социологический анализ», как он выразился. Смеялись по-домашнему весело, по-хозяйски трогали руками все, что хотелось, а вообще- то другим трогать запрещалось, восхищались или возмущались простодушно, фотографировали друг друга (с шофером) на Львиной террасе, а потом снялись у «пятиминутного» фотографа у ее подножия, явно, чтобы сделать удовольствие старику. Аппарат у него был трехногий, допотопный ящик. У них — лейки. Пока снимались, я попросила у фотографа закурить. Молотов заметил: «Кто курит, должен иметь свои папиросы», — и тогда я сказала об их отсутствии в торговле. Уезжая, Молотов протянул мне душевно железную коробочку польских папирос, чудных, дамских, видимо, с опием, ибо от одной я сразу опьянела. Угостила ими всех товарищей. А на другое утро в Алупке табачные лавочки ломились от папирос многих сортов.

Такие вот были! Теперь Сталин был совсем сед и не похож на свои полные обаяния портреты, которыми живописцы тех лет заполняли залы музеев. Суровое грубое с неровной кожей, выбритое до голубизны лицо было недобрым, самоуверенным до напыщенности. Коротконогий, тучный, Главный Хозяин страны молчал и только переговаривался изредка и коротко со спутниками.

Но перед «Запорожцами», рассказывали сопровождавшие, постоял. В холодных равнодушных глазах что-то вспыхнуло вроде удовольствия, видно, вспомнил скандальные подробности письма запорожцев: понравилось. Молотова среди них не было, но запомнилась высокомерная фигура прежде не виденного мною Кагановича — его лицо единственно выражало любопытство, может быть, до этого о Репине понятия не имел. Серго был непроницаемо равнодушен, высоко нес властно вздернутую голову.

Протекло менее трех лет после убийства Кирова — и эти, отделив себя от народа, проходили твердо, нахмуренно, как рыцари, закованные в броню своего политического успеха, своей невероятной карьеры и, казалось, каждый их шаг сопровождает бряцание невидимого оружия. Стена почтительного оберегающего страха была воздвигнута между народом и ими. Река меняла русло, она потекла вспять. Кто угадает сокрушительно тяжелые воды Волги в чистом и легком ручейке ее истока, запечатленном Репиным.

Рассказывали: «САМ», покидая выставку, стал еще более

мрачным: то, что создавалось при нем, было неизмеримо хуже, он это наглядно сейчас увидел. Ужо им, его живописцам, маститым и заслуженным!

Иначе появилась на выставке Н. К. Крупская. Окруженная многочисленными «дамами» (иначе не назовешь милых старушек и интеллигентных коммунисток, ее окружавших и ведущих под руки), с выкатившимися из орбит базедовыми глазами, одышкой, свисающим зобом (очевидно, по приказанию кремлевских убийц лечили неправильно), очень, очень больная, с совсем белой головой и крохотным узелком волос на затылке, она мне вспоминается среди толпы, возможно, приезжала в обычные «посетительские» часы. Стояла перед картинами с трудом, говорила мало, задыхаясь и вытирая слезы, набегавшие то ли от болезни, то ли от нахлынувших воспоминаний.

Среди этой «всей Москвы», протекавшей через знакомые залы, самым пронзительным и острым воспоминанием закрепилось одно.

В обычный посетительский день в служебную нашу комнату прибежала большелобая Катюша Дубенская, потомок народовольцев. «Хочешь увидеть Веру Фигнер, она сейчас возле Ярошенко»? — Помчались туда. Фигнер уже вошла в репинские залы, одна, без спутников, которые, безусловно, были, но отстали.

Истекали потом одуревшие от духоты посетители, густыми толпами окружавшие полуобморочно усталых экскурсоводов. К картинам порою надо было пробиваться локтями, но иногда толпа редела, и тогда далеко были видны полотна.

Тверденькие некрупные яблочки с темноватой бордовой подпалинкой лежат кучкой на желтеющих листьях… Возле этого натюрморта будто становится прохладнее: это яблоки поздней осени, «зимний сорт». Так в будущем году на выставке Сурикова, в зале, где «Боярыня Морозова», а слева от нее «Взятие снежного городка», заметно поеживались люди. На жаркой репинской «прохладных» вещей было немного, а натюрморт с яблоками навевал свежесть. И дышала сейчас этой свежестью худенькая крохотная старушка, в соломенной шляпке «канотье», в чудесном длинном пальтецо с большим похожим на матросский воротником, обшитым старинным гипюром. «Мышкой» нарисовал ее Герман Лопатин в одном из своих шуточных набросков.

Мышка отошла, чуть перебирая узенькими стопами дряхлых тоненьких ног, и… о! — я увидела лицо. Вероятно, пушкинская строка «я помню чудное мгновенье» родилась от такого же впечатления, только это лицо поражало не красотою, а было старым. На грани той старости, которая уже выглядит детскостью.

Я не запомнила цвета этих крупных глаз, но помню их темное

сияние под нависшими светлыми веками. Твердый профиль, с еще туго натянутой кожей между губами, носом и лбом. Губы сжаты. Надменно? Властно? В задумчивости? В строгом покое лица, уже тронутого дряблой беспомощностью старости, во всем постанове фигуры еще сквозила та внутренняя воля, спокойное достоинство, та собранность, которая влияла на ее соратников, прозвавших ее «Топни ножкой». В годы шлиссельбуржского заточения товарищи всегда считали мерилом, образцом стойкости ее, хрупкую женщину. Это ее особенно берегли они в Шлиссельбурге, это о ней, о «мышке», Лопатин сказал: «Вера принадлежит не только нам, друзьям, но всей борющейся России». Это за нее обмирали сердца соузников, когда она, обуреваемая совершенно обдуманным гневом, сделала еще один вызов судьбе, уже показавшей свою беспощадность, — сорвала погоны со смотрителя Гузя. И если б тогда ее наказали, не дожить бы многим из шлиссельбуржцев до часа освобождения: сожглись бы, помешались, уморили себя голодом, протестуя.

Теперь от лица этой женщины, принадлежавшей борющейся России, струился строгий, но теплый свет, такая чистота в нем сквозила, будто в этой душе еще таился прозрачный кристалл духовного подвига. Я тогда нашла слова, чтобы выразить образ ее лица: «лик осиянный». Думой? Мечтой? Воспоминанием?

«Сходку» Фигнер уже посмотрела и медленно прошла к левой стенке, где висели другие картины об ее юности. Уже читавшая ее «Запечатленный труд», уже потрясенная его шлиссельбуржскими главами, я замерла, наблюдая, как приблизилась она к «Отказу от исповеди». Я смотрела на небольшую твердую ручку, в которой сейчас зажат был беспомощно беленький комочек платка, и видела: вот эта, эта самая рука срывает погон с Гузя в момент острого яростного отчаяния. Рука с платочком потянулась медленно к кружевному старомодному галстучку-кокилье, заколотому большой золотой брошью. Потихоньку стала трястись голова. Что и кого напомнил ей поворот головы заключенного, его замкнутый жест «в себя»? Быть может, это был ее собственный образ, облаченный у Репина в оболочку мужчины? Я следовала за ее взглядом. Он покоился теперь на «Не ждали». Полвека назад возле этого только что созданного полотна был опознан жандармами другой «властитель» еще детских моих дум, Герман Лопатин. Она, конечно, знала об этом. И я припомнила те страницы ее воспоминаний, где она рассказывает о собственном — уже не радостном — освобождении после двадцати лет непрерывного заключения.

Так люди молятся, как всматривалась она недвижно с замкнутым светлым лицом в прозрачную ясность «Не ждали»…

«Арест пропагандиста» был на выставке в двух витринах с эскизами. Мне показалось, почти не смотрела на эти полотна, глядела мимо, что- то в себе самой воскрешая.

О чем думала в этот миг? Стоит ли крушение их жизней того, что сейчас творилось вокруг? Или давала новую оценку величайшему художнику своей эпохи, если способна была еще к обобщению впечатлений, или, впадающая уже в старческий маразм, просто рассматривала, вспоминая? Она тихонько бродила по выставке все еще одна, без спутника. Дряхлость, заметная усталость чуть горбили спину. Ее толкали, оттирали от полотен, казалось, — не замечали.

Катюша, между тем, рассказывала мне, что юбилейные даты Фигнер государство не отмечает, что в своем кругу они устраивают ее юбилей, давая для нее одной даже самодеятельные спектакли, которым она радуется, как ребенок. Что до сего времени много уделяет внимания костюму, «Любит наряжаться»…

— Здравствуйте, Вера Николаевна, — подошла к ней Катюша, когда она прошла в другой зал к «Запорожцам», — я сейчас принесу вам стул!

Усесться, действительно, было не на что: за стульями стояли очереди уставших. А уступит ли кто свой стул Вере Фигнер, было неведомо. Кто ее узнал!

С безукоризненной «светской» вежливостью качнулась седая головка, без улыбки отвечая на приветствие, и, глуховатая, расслышав, наконец, что предлагает Катюша, она отказалась от стула, произнеся: «Здесь сидеть неудобно» — я поняла: неуместно, как в храме.

— Вы встречаетесь с молодежью? — прокричала ей в самое ухо Катюша. Ясный и по старчески вибрирующий голос произнес что-то вроде: «Все это, Катя, было гораздо менее пышно», — она обвела рукою залу.

— У вас красивый галстучек, — сказала Катя. И Фигнер вся изменилась, вся просияла и расправила кружево своего кокилье жестом, и женственным и немного жеманным, и проступила в ней прошедшая эпоха, что-то запоздало женское, молодое, личное, некогда бескорыстно отданное великому самоотречению, великому состраданию и страданию за народ.

Видя мой умоляющий взгляд — как бы коснуться «святыни», Катюша меня ей представила с грехом пополам — Фигнер совсем плохо-слышала. Я пожала протянутую мне сухую твердую маленькую руку, и меня поразило чувство особое: хотелось взять свою ладонь отдельно, бережно унести и упрятать.

И теперь, вступая в зенит своей старости, радуюсь я: Бог

привел видеть «лик осиянный». Коснуться Ангела самоотречения, Духа бескорыстия, Самого чистого источника — руки Веры Фигнер.

Источник чистый, зачем ты открыл свои воды, обратившиеся в мутный всесокрушающий поток? Свечечка чистого воска, ты запалила, уничтоживший целую страну пожар, в озарении которого явились имена Нечаева, Азефа, Савинкова, Ленина, Сталина, кровью, ложью и преступлениями погубивших душу России.

Зачем ты была?

VII. ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Но можно ли дважды войти в одну и ту же землю?»

И. Вельский

Вокруг была степь с четкой линией горизонта, как в океане. Без единого кустика, высохшими от жары жесткими травами, трещинами в прокаленной земле. Даже кузнечики днем не стрекотали, порою суслик столбиком возникал да ящерицы суетились возле небольших валунов. А над высоким обвалившимся берегом мутно-желтого Буга вставало небо без единого облачка, горячее, не ясное и голубое, а белесое, мутное.

Зато великолепен был закат. Всю западную часть сферы охватывал багряный пожар, а потом с фиолетовыми и даже зелеными языками за горизонт, все убыстряя темп, падал огненный солнечный диск. До самого наступления ночи все томило и душило раскаленное опахало воздуха.

Было засушливое украинское лето 1939 года.

Ближайшее к Бугу село называлось Завалье, Гайворонского района, близ Одессы.

На возвышенном берегу, на краю огромного оползня в реку, стояла одинокая глинобитная хата, крытая потемневшей соломой, давно не беленая, окруженная остатками хворостяного плетня с ветхой калиткой, которую хозяева называли «хвирткой». Сами они ютились в правой половине хаты, а «горницу» слева сдали нам с мужем, когда он был прислан сюда для преддипломной практики на большом глиняном карьере, расположенном в полукилометре от берега по степи. Село Завалье раскинулось в отдалении от карьера и хаты, и в «грязюку», как нам сказали, оттуда добираться до места работы мужу было бы трудно. Мы и поселились в хате близко живущего рабочего.

Здесь некогда был хутор, вероятно, устроенный и озелененный, но в начале 30-х годов при весеннем разливе Буга совсем неожиданно мощный оползень сбросил хутор к реке вместе с его садочком, хорошей хатой, дворовыми крестьянскими службами. На краю земной тверди остался один лишь скотский сарай, который хозяева кое-как оборудовали под жилье. Оползень застыл языком у берега, и на его ныне поросшей репьями и крапивой поверхности еще виднелись обломки досок, связки камыша от крыш, куски глиняной обмазки, ржавые ободья колес. А по склону к самой реке сбегала тропинка, проложенная

хозяевами этого гиблого места.

Теперь изо всей крестьянской «худобы» держали в скверно сляпанном хлевушке свинью, прямо в сенцах кур на корявых насестах, еще дремала во дворе кудлатая собака, всегда голодная и воровитая. А за хатой на солнечном пекле раскинулся огородик с «бульбой» и овощами. Воду для его поливки и для своей потребы носили на коромыслах «з Бугу». Вода была с головастиками, мутная, с неприятным привкусом: где-то выше по течению существовали какая-то фабричка и кирпичный завод, откуда отходы сливали в реку. Рыбы в ней не ловили, только микроскопические мальки порою промелькивали в воде.

В хозяйской половине хаты почти всю ее занимала криво сложенная русская печь, зимою ее топили покупною соломой, в огонь бросали кирпичи и камни — они дольше держали тепло. Когда случалось добыть возле карьера лошадиный навоз, месили его с соломой в кизяки-кирпичи: башенки из них сохли во дворе под навесом. Если удавалось, отапливались и углем, «колы гроши ма», сказала хозяйка.

И в «горнице» зимою не топленной, и в половине с печью полы глинобитные, вонючие. Хозяйка Явдоха отравила нам с мужем добрую половину «дачного» пребывания: чтобы угодить постояльцам, «замостыла» (смазала) свежей глиной с навозом пол в снятой нами комнате и, пока не исчезла страшная вонь, мы ночевали во дворе на досках с набросанным веретьем. Хозяин бабу ругал.

Свой обед, состоявший день ото дня из невыносимо невкусного борща «з салом», и пшенной каши, летом готовили во дворе в подобии самодельной печурки из спасительной глины и кирпичей. Дрова в той безлесной местности «на вес золота» и дороже, печурку топили тоже соломой и сушеным мусором, который дети добывали «з лугу». Еда воняла дымом, головастики отвращали, и мы все время практики питались всухомятку, причем продукты, всегда несвежие, продавались в селе. Булочной там не было, люди хлеб пекли дома, и, дай Бог здоровья, продавали «буханки». А за большим запасом надо было ехать в Одессу или Гайворон. добираясь до железнодорожной станции пешком.

Корову хозяева не держали. Ходить за молоком в Завалье по жаре — невозможно. Однажды между карьером и хатой заскрипела телега и раздался выкрик: «А вот кому молоко с» холодушками!» Обрадовано я схватила посудину. Рабочие с карьера к телеге потянулись. Налил продавец. Молоко вовсе не было холодное. Оказалось: «с холодушками» — это не прохладное: в молоко бросают лягушку, тогда оно, будто бы, не

скисает. Меня стошнило.

Страшно стало: как же эти люди так по-звериному живут! Такой первобытный образ жизни меня, питомицу столицы и больших городов, просто потряс, ведь я так надеялась, что мы будем, «как на даче». А как же тут живут зимой, когда все окрест тонет в снегу вместе с одинокой хатой, заносимой порою с крышей?!

Хозяин «дачи» уже не крестьянствовал, работал в карьере. Высокого роста нескладный мужик, когда-то, видно, красивый, теперь сгорбленный, серый, корявый. Всегда небритый, всегда мрачный. Удивило: по-русски с нами говорил совершенно правильно, хотя «баба» его (Евдокия) изъяснялась по-украински, иногда непонятно даже для нас, южан. Довольно моторная, еще не старая тетка, совершенно неграмотная и не желающая стать «письмэнной», скорее «гоняла», чем воспитывала двоих: сынишку и девочку, лет 10 и 12-ти. Когда я показала им портрет Пушкина на юбилейной кружке и спросила, кто это, мальчишка меланхолически ответил: «А хто е зна!», девочка же бойко выкрикнула: «Дядька Пушкин!» В школу дети с осени не ходили, «бо булы боси». Семья жила удивительно неуютно, неустроенно, бесхозно.

За всякой покупкой надо было ехать в «Одессу», но там в те годы мало что можно было купить — ни тканей, ни обуви, ни посуды в магазинах не было — и это на двадцать втором году советской власти! — и сельские бабы совершали паломничество в самую Москву «за товаром» и для себя и для спекуляции.

Получив деньги за наш постой, Явдоха тоже с бывалыми подругами отправилась в такую экспедицию, в первый раз. Я рассказывала ей, что в Москве надо посмотреть в первую очередь. Хозяин презрительно кривил губы: да на что ей это?! Он даже в глаза называл ее «бабой». Мешочницы, как их называли москвичи, вернулись с удачными покупками, главное, детям купили башмаки.

— Ну, и что же вы, Дуся, в Москве повидали? — Смеясь, она мне призналась: «Ни Борисовна, Москвы я и не бачила! Я все время на Килыну дивилася, дуже боялась се втратыты. Народу на ву- лыцях — тыши, так я все на ее репаны пьятки глядела: вона все зна, что, где, куда податься. По Москвы бегаем, а я, очи долу на ее пьятки… В метро нас не пустили, бо мы боси и з мишкамы грязными. А ну, что б я робыла, колы б ее втратыла! От ей — ни шагу. А ночью на площади на мишках спалы. Вси нас товкають, ругаются, а нам бай дуже! Бог спас: дожжа не було.

Эта Явдоха рассказывала обо мне своей подружке, я случайно услышала: «Муж, каже, инженер, а таки воны бидни: ходыть у

сукенце (платье) плохеньком, без рукавов даже (то был сарафан), и в чувячках стареньких, без чулков. А губы красыть и ногти чем-то блискучим маже». Таким восприняв мой «дачный» облик, спросила как-то: «Да невже у вас и тюхельков нэма?!» И только при нашем отъезде, когда я «убралась» в дорогу, убедилась, что «тюхельки» у меня есть, и платье, и шляпа, покивала удовлетворенно.

Но хозяин! Тимофей! Высокий, когда-то, по-видимому, красивый, а теперь сломанный тяжким трудом грабаря и нуждою мужик, с каким-то диким презрением и равнодушием относившийся к своей семье, нежданно обернулся иной стороной. Я простирывала в тазике что-то кружевное, он, всегда молчаливый, проходил мимо, бросил мне поучительно: «А кружева надо стирать в графине, в мыльной пене, потом прополоскать, покрахмалить, осторожно вынуть и — под утюг». Я и прежде порою удивлялась его отдельным всплескам необычной для этого скифского быта цивилизованности. Как-то, подавая мне оброненную пудреницу, назвал ее «принадлежностью туалета», слово «флакон» произнес с французским прононсом. Кто он?

Я томилась без дела. С утра спускалась по откосу на самую кромку берега, загорала, пыталась читать на жгучем зное привезенные с собою книги, иногда с некоторой брезгливостью окуналась в грязноватую теплую влагу. Дни тянулись медленно и уныло. Порою приходила к разверстому глубокому карьеру, на дне которого копошились грабари с лопатами, перебрасывавшие глину с «бровки» на бровку, накладывавшие ее душные пласты на подъезжавшие по особому покатому съезду телеги. Я жалела лошадей, с натугой тянувших нагруженное по скату на поверхность. Муж сидел в «будке» на бровке карьера, туда лень было спускаться, там было и пыльно, и неуютно, да и разговорами развеять скуку не умела. Постепенно все чаще заговаривала с единственным знакомым — Тимофеем.

Особенно любопытным показалось мне, что после работы, вернувшись домой и отдельно от семьи пожевав свой нехитрый ужин, он тотчас уходил к Бугу на прибрежный холмик и часами одиноко, молчаливо сидел, сгорбившись, на жесткой траве, охватив длинными руками колени. Сидел всегда лицом на закат до самых сумерек, когда куры уже взлетали на насесты с клекотом. На зареве степного заката его неподвижная фигура выделялась четким силуэтом, и в самой позе сквозило отчаяние, душевная боль, сокрушавшая это сжатое в комок тело. Пропахший махоркой, к ночи плелся в хату и сразу же, прикрикнув на жену и детей, ложился спать. Мы с мужем жгли свечи — керосин для лампы раздобыть было сложно, — их семья обходилась без

вечернего света.

Меня все более и более интересовал этот странный, грубый, но очень вежливый со мной и мужем мужик, и однажды на закате я вбежала на его холмик и села рядом.

— Вы не офицер ли бывший, Тимофей? — спросила я прямо. И сперва неохотно, а потом взахлеб оживленно он рассказал мне свою историю, открыл сложную и горькую судьбину. Располагаю его рассказ в порядке хронологическом.

До 1918-19 года Завалье было цветущим украинским селом, поодаль от которого его отец владел вот этим хутором (он обвел руками окрест). Имели пахоту — на быках, прочую скотину, ну, как в крестьянстве полагается. В селе была школа приходская, к ней вела хорошо утрамбованная проселочная дорога, и старший сынишка хуторянина Тимошка окончил там с отличием. «В сапогах шевровых в школу бегал, не то что мой босяченок». Отец возмечтал — было отдать его в гайворонское шестиклассное училище, да другой брат умер, ушел от них второй работник, остались он да младший братишка, тоже позднее умер уже без него. А Тимофея, когда началась империалистическая война призвали. И по красоте, по статности сразу же назначили в экспедиционный русский корпус, дислокация которого была во Франции — нашего союзника против германца. О подробностях чисто фронтовых Тимофей не упомянул. Жили в особых хороших лагерях, под Парижем. Сперва был денщиком у корпусного начальника, где быстро научился русскому языку взамен своего украинского. «Переимчив я был» — заметил рассказчик. В одном из сражений оторвало ему два пальца правой руки (показал). В парижском госпитале привлек красивый и статный солдат внимание сестры милосердия, француженки-парижанки Луизы. И она ему приглянулась насмерть. Отдалась ему Лиза.

Ну, вы сами понимаете, — парижанка! Духи… тоненькая такая, как куколка. Я ее так и называл: куколка моя. — Он вздохнул горестно. — Вы вот, не обижайтесь, чем-то ее напоминаете — тоже дама изящная.

После ранения Тимофея демобилизовали: куда уж солдат без пальцев! Мог сразу в Россию уехать, но… Луиза! И остался он в Париже. Похлопотали, поженились. А у Луизы был унаследованный от родителей ресторанчик, небольшое кафе на Рю-Де Гренель. Тимофей произнес название улицы по-французски, даже грассируя слегка. Стал он хозяином ресторанчика. Родилось двое детей, мальчик Пьер — Петька да девочка, тоже Луиза — Лизочка.

Мы с Луизой крепко любили друг друга. Жили согласно. Она меня все звала — он по-французски произнес: «мой медвежонок».

— Ну, конечно, Париж! Я в визитке с «бабочкой», за стойкой аперитивы наливаю, Лиза моя — за кассой. Кафе уютное, чистенькое, всегда полно публики. Там, в Париже, знаете, без таких ресторанчиков жить не умеют, публичность любят. Все у них на людях… Достаток… У деток наших няня.

— Гуляли мы с Лизой по Парижу, она мне все город показывала, то по бульварам пройдемся — я в канотье, она под зонтиком беленьким кружевным, то на Эйфеля взберемся. Лувр вместе смотрели, Тюильри. Особенно полюбил я ночной Париж: все электричеством залито, на политых улицах цветочницы с корзин фиалки, розы продают. Куплю бывало, розочку, Лизочке своей поднесу, а она мне «Ах, мерси, мерси, мон шер», поцелует меня ласково, я ей — ручку нежную, шелковистую. Словом, сделался я там настоящим парижским буржуа. Лиза меня и читать по-французски научила. Газеты по утрам. Мало кто и знал, что я русский. Я, повторяю вам, дуже переимчивый.

А в России, между тем, революция. Году в 18–20 наполнился Париж русскими эмигрантами, все больше люди благородные, и селились больше на нашей Рю-де Гренель. И почти никто, представьте, не угадывал русского во мне. Сошелся я и с соотечественниками своими, накопились друзья и из французов-соседей семейных… Усы я в первое время фиксатуарил, потом стало не модно — сбрил.

И вот, при всем таком благополучии — я уж и подданство французское имел — начал я по России скучать. Эмигранты песни русские, украинские поют — плачу. Рассказам об ужасах революции как-то не внимал, не переживал, от политики далекий. Батьку своего, хохла немазанного, во сне все чаще вижу. Думаю, а что если мне с семьей в Россию переехать! Конечно, не в такую глушь, а в Одессу!

Объявили в РСФСР НЭП. Что это такое было неясно, но одно понял: всякое ремесло и коммерцией заниматься разрешили. А Луиза только смехом отбивается: «Не поеду я никуда, ни в какую Россию. «Еще потерпел. Году в двадцать четвертом началось среди эмигрантов движение возвращаться домой. Записался в эти списки и я, без особой впрочем надежды: смогу ли с Луизой расстаться. А тут подступила и семейная история.

К той поре имел я компаньона Люи Жансо, нам на пару с ним булочная принадлежала. И вот, однажды застал я их… застал!.. Луизу побил — она вроде за это на меня и не очень обиделась, — но простил, а с компаньоном порвал, но в глубине души тайное дело задумал. Среди всей этой городской суеты мне вроде бы скучно стало жить, я же хлебороб по крови.

Тимофей корявыми пальцами начал свертывать цигарку.

Пальцы дрожали, сыпалась махорка.

— Ездил я по французским фермам, присматривался, как хозяйствуют. Восхищался! Вот бы и у нас так! Культура. Чистота. Механизация. В коровниках, свинарниках, у курей — как в лаборатории. Коров доят сперва с мылом подмытых, в белых халатах доят. Свиньи чистые, розовые, как хорошая баба… На рынке — его еще ихов Золя описал, читал я — продукция свежая, что мясо, что рыба. И все я думал: а кто мне помешал бы и у нас такое же сотворить….Ну, и двадцать пятом году я потаенно от Луизы с эмигрантами в РСФСР — так тогда называлась Россия, уехал, пока она у моря с детьми была, даже не намекнул. Сложил в чемодан свое личное добро и утек. Рецепты кормов, удобрений с собою вез, мелочь сельскохозяйственную, семена, даже формочки для масла, верите. Отобрали все это у меняя на границе, как ни умолял, как ни доказывал. Я и машины для хозяйства захватил даже бы с собой, та-ак мечтал!

Из Одесского порта — прямо домой, к батьке, в это вот Завалье. И что ж выдумаете: Батька-то мне был радый: младший брат мой у красных служил, убили. Работника нету. Стали мы, двое мужиков, на уже ополовиненном советской властью хуторе, но еще справно хозяйствовали. Только на все мои проекты как лучше развернуться, батька руками замахал: деды да прадеды, мол, так сеяли да так урожай собирали, да на что нам новые культуры заводить, виноград, к примеру. А я, бывало думаю: дождусь своего часу, умрет батька, я тут та-акие виноградники разверну! А дома что? На волах пашут, удобрения — только навоз один, от него вонь, свиньи в грязи, все — ручной тяжелый труд! Посмотрю на свои враз окорявившие руки — крякну только, но терплю пока, все-таки живем справно. А работы я не боялся.

— Узнал батя и про Луизу, «Тьфу, нехристь», говорит. Ты мне про свои амуры французские и не рассказывай». — Какие, говорю, амуры, там у меня дети!» Он их — словом нецензурным… Зубами скрипну, молчу!

— Женю, говорит, тебя здесь, матери уже трудно одной на хозяйстве. И что же вы думаете, женил! Вот на этой… Она, правда, девка справная была, славная, только неграмотная, темная совсем, вы сами видите. Наша же, гайворонская. Быка племенного и корову стельную за ней дали, батя, главное, за этим и погнался. Ну, живем. Худобы прибавилось — работника опять взяли.

— А я, как дурной бычок: против батьки не пойдешь! Спланировал — было в Одессу с женой податься, там своим хозяйством жить. Так куды-ы там! И батька и Евдокия крик поднимают.

Началась коллективизация в конце двадцатых. Сперва добровольная, потом отобрали скотину: пару волов, быка племенного — он там у них с голоду подох, четыре коровы голытьба со двора увела, овечек, птицу, что на Буге плескалась. А потом и отца с матерью угнали куда-то. Умерли они наверное, весточки от них так и не было. Тимофея пока из хаты не тронули, он вроде батрака у отца был! Вступил он в колхоз.

— Но, вижу, присматриваются и ко мне, в Гайворон вызывают. Почему за границей жил, да не офицером ли? Дело, думаю, худо мое! — И снова голос у Тимофея задрожал. — И тут как раз случился оползень этот, и ушла родовая хата в землю. Осталась на краю обвала хатка эта — там у нас был коровник да два-три кустика от лаванды, Теперь и они засохли!

— По великому несчастью моему, из колхоза меня отпустили, хотя и злорадничали. Сперва на кирзавод ушел, потом на карьер летом, зимой — опять кирзавод… И не живу я, Борисовна, маюсь, маюсь беспросветно! Да!., Сманивал бабу в Одессу перебираться, да куда там: «Не хочу в городи робыть!» Или: «Ты там соби другу кралю прибачишь» — передразнил он жену. — Ревнивая дуже у меня баба! — Я благородных людей уже сколько лет не видал!.. Она и карточки, и вещицы мелкие, что из Франции привез, — все порвала, уничтожила. Да! Так что личики Луизы моей и деток наших у меня уже меркнут… А тут!.. Дети темными растут, а ведь их жалко! Хата рушится. Скотине в ней лучше жилось — забот у нее не было. И село наше после проклятой коллективизации опустилось, девки песни больше в нем не играют. — Тимофей понизил голос. — Советская власть все в народе погубила! А я во Франции как понимал? «Либертэ, эгалитэ»… И как вспомню ту свою французскую жизнь, семью свою, там брошенную, — хоть в петлю! — Он помолчал, усмехнулся горько. — Да я, вам признаюсь, уже руки на себя накладывал. Жена из петли вынула. Чужой я здесь, чужой, а там своим был, своим, хотя и мужик грубый. И вот вечерами из хаты своей ненавистной сюда на бережок выхожу, гляжу туда, где жена моя истинная и дети любимые. Что они там? Как?

— А если им написать? — робко предложила я.

— А зачем? Я ж от них потаенно ушел. Да к ним и добраться отсюда не сумею, разве что границу контрабандными путями перейти, была у меня такая в Одессе возможность. Да кто меня там теперь ждет?! Лиза моя давно уж замуж вышла: такая была привлекательная!.. Не обижайтесь, вы мне ее чуток напомнили, как переехали в нашу хату, а от вас — духами! И я сразу учуял: «Лориган» фирмы Коти. Я их дохнул, и ноги у меня подломились: Лиза ими душилась постоянно. Да! А тут сижу, глаза закрою и

вижу, как мы с нею в праздник Бастилии 14 июля — вы наверно знаете, карнавал там у них на улицах: танцуют, конфетти бросают — как мы в Полях Елисейских детей на пони катаем. Лизочка с огромадным бантом в локонах, Петька мой в пикейном беленьком костюмчике. Луиза и сама убираться любила и детей водила нарядно… Вечером Париж весь в огнях…

— И уйти туда — их жалко — он обернулся к хате, где во дворе копошились дети. — Они тоже не щенки. Только я из них людей вырастить не сумею при нынешних моих обстоятельствах…

Вокруг нас постепенно сгущались сиреневые сумерки, огонь заката сворачивал крылья. Степь, стряхнувшая зной, оживилась. Застрекотали кузнечики, зашуршала высохшая трава, это прятались в норы шмыгавшие на солнышке ящерицы, лягушки заводили вечерние хоры. Тимофей закончил свою исповедь тяжелым разрывающим грудь, всхлипывающим вздохом и поднялся.

Когда мы вместе подошли к потемневшей хате, оттуда выглянула Евдокия. Пропустив меня учтиво в сенечки с уже уснувшими курами, Тимофей, пригнувшись, шагнул под низкий потолок своей половины, но я успела услышать, как жена злобно выкрикнула ему в лицо: «У, кобелина!»

Об его «исповеди» я не стала рассказывать своему ревнивому супругу, он и без того метнул на меня мерзко-подозрительный взор, хотя мы сидели на холмике у всех на виду. Вряд ли правоверный догматик смог бы проникнуться трагедией человека, чье «бытие не определило сознания». Человека, попавшего в тиски между двумя полярными укладами жизни на одной и той же планете, раздавленного, сломанного жестокими ветрами Рока.

Муж похрапывал рядом, а я кажется впервые в жизни — потому и запомнила этот эпизод — задумалась над многообразием человеческого бытия, так не похожего одно на другое. Будто пророчески свою будущую судьбу ощутила: из «золотой коробочки» Москвы могу быть брошена вот в такое же безрадостное существование, из «элитной» интеллектуальной среды своей исторгнута буду и снова в нее войду, и опять и опять меня будет швырять из одного уклада в другой. Сохранится ли мое «я», привычное ощущение себя в ситуациях разных или так же стану «не Я» как этот простой человек. Суждены ли мне подобные роковые ошибки? (О, сколько я их сделала потом!)

* * *

Теперь, полвека спустя, изложив эту скорбную повесть о том, что такое «образ жизни», я чисто «по-итальянски» задумалась над дальнейшей судьбой Тимофея. Какие пути открыла ему начавшаяся через два года война? Полицай ли на оккупированной земле, или бывалый солдат в советской армии — мог бы с травмированной кистью справиться подносчиком снарядов, обозником, — попал ли в плен или сам сдался? При всех ситуациях мог легко оказаться за рубежом. А там РОА или казачьи части, и репатриированный как мы, очутился в сталинских лагерях, в которых погибли его родители? И какая доля выпала его детям, и помнят ли они своего российского «рара» и батька? Воображение заносит меня далеко от этой маленькой скучноватой повести, но развернуть ее в роман, «полотно» — не успею, не доживу!

VIII. СВИДАНКА

1. Первый удар

Он торопливо, боком вбежал на высокий сугроб внутри зоны, озабоченно сжав губы, посмотрел вниз. Туда, через колючую проволоку и «запретку».

«Прекрасная дама», вымечтанная им за годы десятилетней разлуки, стояла у проволоки, возле проходной, ожидая, когда ее впустят в «комнату свиданий». Топталась на морозе этакая тетка в платке и валенках (он никогда не видел ее в платке). В перспективе сверху вниз какая-то коренасто-квадратная с обмерзшим красноносым лицом, смутно видным ему в бахроме окаймлявшего его платка.

Он помнил ее тоненькой и стройной.

Подняв глаза, она тотчас увидела его неуклюжую в ватнике фигуру, возникшую над сугробом, его круглое нахмуренное лицо и заулыбалась, помахала варежкой — узнала его. И у обоих затрепетало сердце, но не радостью, а каким-то другим чувством, то ли любопытством, то ли смутно ощутимым разочарованием.

Не виделись они десять без малого лет.

— Ох, не та! — горько подумал Он, а Она на расстоянии почувствовала его ощущение, хотя Он был еще недосягаем для объятия и общения. И сама ужаснулась: коротконогий, в темном «казенном» ватнике, какой-то непривычно шарообразный, Он тоже был «не тот», многие годы так любимый. Не тот, но все-таки Он!

— Леша, Лешенька! — слабо крикнула закутанная дама-тетка. И тут ее впустили в зону, где из проходной был вход в

«комнаты свиданий» родственников — матерей и отцов с сыновьями, мужей с женами. На десять дней! Право на это зеки режимных лагерей добились после смерти Сталина. Она была уже на свободе и примчалась к Нему с Кавказа.

Ему оставалось «сидеть» еще пятнадцать лет!..

Уже вблизи Она увидела, как черна и затерта грязью его лагерная одежда: зона была при угольной шахте.

Комната для их свиданий еще не была готова, и надо было немного вдвоем подождать «в тепле». После торопливого объятия они сели. Их разделял стол. Она скинула платок, мучительно сознавая, что нос ее красен от мороза, что она увядшая, усталая, немытая, непричесаниая с дороги. Как-то экзальтированно, по театральному обняла его первая. Он сел, развалясь небрежно, с будто равнодушно-спокойным видом. Сидел, сжав губы, и напряженно, оцепенело молчал, только было заметно: дыхание перехватывает. Она расстегнула шубу, согреваясь, и рассказывала торопливо, как, получив телеграмму о разрешении личного свидания, собирала деньги (его мать дала), вещи, как уезжала 8 марта. Еще падал уже последний в их краях снежок, и провожали ее, ликующую, обе старухи-матери, его и ее. Как напекли для него вкусного, как, не останавливаясь, проехала Москву, как… как… Лепетала. Он смотрел и молчал, не разжимая стиснутых губ.

— Я вижу, ты мне будто и не рад! Может быть, мне сейчас лучше уехать?! — И только тогда он испуганно встрепенулся, поборов в себе что-то, и, будто убеждая сам себя, произнес вслух: «Нет — та! Та же, та!» Разговор стал обоюдным, но больше говорила Она — «скворец», как порою прежде называл ее, сам был всегда молчаливым, немногословным.

Он думал: где же та «фиалочка», та «белочка», где горячие глаза ее, которые он так любил? Теперь над ним нависли тяжелые сорокалетние веки, не было, не было в ее облике прежней лучезарности. А Она так же думала о его глазах, прежних голубых, кротких, ныне усталых, исполненных обреченности, утомленных многолетним страданием постоянного унижения.

И вдруг Она заметила, как неприятно опущены уголки его узких губ, и тут же подумала об Анне Карениной, внезапно увидавшей некрасиво торчащие уши мужа. Только не было у нее, как у Анны, новой любви!

— Господи! — подумала Она с ужасом, — неужели мы разлюбили друг друга?!

Вместе с ними, дожидаясь впуска в свою комнату, сидела в другом углу еще одна супружеская пара: одетый в приличный парадный костюм, хорошо выбритый и еще пахнущий парикмахерской латыш и его светловолосая подруга. Они

смотрели друг на друга с восторгом, неотрывно, сплетая кисти рук; явно было: это свидание любящих… А они…

Наконец, освободилась комната свиданий. Оттуда вышли пожилые супруги, обнявшиеся перед новой разлукой… «А мы?!»…

Коридор. По правую сторону две двери в комнаты для уединения, налево — окна, выходящие в зону. Впускающий указал уборную и водопроводный кран в глубине коридора. Комната была похожа на номер в гостинице захолустного города. Справа печь с горящей плитой и широкая двуспальная кровать. Две некрашеных табуретки и стол. На полу ведра для воды и помоев, и грязноватый таз, на плите закопченный чайник, кружка и небольшой утюжок. Больше никакой посуды в горнице не было. В ее глубине — окно, выходящее в запретку так, что сквозь проволоку видна была улица пришахтного поселка — домики барачного типа (в одном из них Она дожидалась назначенного часа свиданки).

В этот полуденный час по улице проходили под конвоем на работу бригады заключенных, закутанных до глаз. Взявшись под руки, люди по пять в ряд мерно покачивались на ходу. А улица заканчивалась шахтным террикоником — пирамидой, угрюмой, как весь пейзаж вокруг, без проблеска солнца, под серым суровым небом.

В комнате пахло клопами, дезинфекцией и горящим углем. На «ложе» уже лежала грудка чистого постельного казенного белья, пахнувшего мылом, серого и сыроватого, а в углу кучей было свалено грязное чужое, с запахом пота, его после унес дневальный.

Сняла верхнее, не торопясь, но в объятия друг другу не кинулись. Она заметила, что Он давно не мыт, что на его лице грубая светлая щетина.

— Почему же ты не побрился? Ведь ты меня уже ждал! — он, спрятав глаза, смущенно пробормотал, что ждал ее во второй половине дня. Оскорбленная его будто нарочитым неряшливым, непраздничным видом, женщина отправила его в зонную парикмахерскую бриться. Она ведь знала, что в ожидании свидания зека с родными вся зона ему помогает принять «приличный» (как у того латыша) вид: без очереди пускают в баню, бреют, одалживают костюмы, галстуки, у кого их нет, белье, даже снабжают порою подарками для приехавших на свидание родных…

Он ушел бриться, и не было его довольно долго. Женщина принесла воды, согрела чайник, убрала комнату. Вернулся бритый, сияющий: «Меня все поздравляют!» «Долго отсутствовал?» — Обеденное время подступало, принес обед на

двоих в котелке, крышка которого могла служить сковородкой.

Убирая комнату, Она вспоминала их встречу в Италии после первой их долгой разлуки. Отправив ее туда, он оставался в уже полуосажденном Берлине. Она тогда мысленно его уж и похоронила: никто ничего о нем не знал. Петр Ник. Краснов тоже не мог ее обнадежить. Да еще знакомый офицер-казак (его потом расстреляли в СССР), встретив ее на альпийской дороге, одетую во все черное, воскликнул: «О! Молодая вдова!» Она тогда вскинулась: «Погиб? Леша? Погиб?» Офицер объяснил, что ничего о нем и о редакции газеты не знает, а восклицание его вызвано траурным цветом ее костюма. Она не поверила ни ему, ни Краснову, думала: «Погиб! Погиб!» Но в первых числах мая, когда в Альпийских лугах все цвело и благоухало, в комнатку, снятую ею у итальянцев, без стука распахнулась дверь и на пороге встал Он, жданный, (вот тогда, в той первой разлуке, и оформилась ее любовь к нему) оплаканный, единственно близкий, и живой! живой!

И точно электрическая сила ее к нему на грудь бросила, рефлекторно. С криком: «Леша! Леша мой!» к нему рванулась и сползла к ногам, потеряв сознание от счастья. Как не тесно им было вдвоем тогда на ее узеньком топчанчике! Как дружно! Как светло! Итальянка-хозяйка ее, узнав, что «марито» приехал к «сеньоре», соорудила им более просторное ложе.

А нынешняя встреча?! Его холодность, его сжатость, ее «игра» в счастье встречи, во что она сейчас обращается?! И так пренебречь ее приездом, даже не побрился! — ему не праздник!

Но Он вернулся с глазами ясными, ликующий, его поздравляли товарищи (о, как Она их — разлучников — ненавидела, ревнуя его к ним). Он принес обед в семью, его семью. Его! Семью! И на кухне ему, как имениннику, дали что получше. «Смотри! Смотри!»

Потом Она его мыла. В тазу. Переодела в белье, привезенное ему «с воли». Он стеснялся наготы, будто позабыл, что Она ведь ему жена! Жена!

И только после всего этого, они обнялись, как подобает супругам, и Он целовал ее с прежней страстью, и, откинувшись на постели, Она думала: «нет, любит! Любит!» Но где-то в самой глубине сознания тлело: нет, не то, не то, что было когда-то — ведь мы только «занимаемся любовью»… Радость встречи была омрачена чем-то вроде разочарования. Скомкана была встреча.

И позднее, много лет прошло с того дня, когда они были уже свободны, отметила Она прежде не бывшую у него особенность — отравлять радостные миги (а их не много было в их последующей жизни) обязательной каплей горечи, хотя бы капризом. Упоение

радостью было им утрачено навсегда!

К вечеру они, разглядев друг друга, ощутив и насытясь друг другом, начали находить один у другого знакомые, прежние, любимые черты. Но не нашел Он в ней своей «фиалочки» и никогда более не вспыхнули любовным восхищением его добрые «голубые бабочки» — глаза. И отдаваясь ему, стимулируя его потерявшую былую «органичность» страсть, Она всегда чувствовала, что нет прежнего слияния тел и душ. «Захлеба» счастьем друг от друга более не стало.

А сейчас надо было продолжать «игру в счастье», и Она шептала ему те ласковые слова, которые носила, лелеяла в себе для него все эти годы разлуки.

Она тотчас обнаружила в нем прежнее: Он, по-старому, не умел ей солгать, даже признавался в неблаговидных своих делах, будто каялся перед нею. Был прежде открыт до обидного: «Я ведь, знаешь, неудачник!» Или еще: «Я ведь однолюб». Позднее Она поняла, что в последнем признании Он имел в виду первую свою жену — первую любовь и первую женщину — Нину, от которой у него был сын, умерший младенцем, и которая предательски его покинула, тайно исчезнув с другим. Он охотно ее осуждал, но… простил: любил! Пьянствовал после ее бегства, страшно, пока не заболел — тогда жажда жизни победила горе. Она же наивно относила ту, былую, его фразу к себе.

Или говорил даже: «А знаешь, если станешь калекой (в идущей войне), я не найду в себе сил остаться с тобой!» Или дразнил ее, называя: «моя ППШ» (полевая походная жена). Или делая дорогой подарок, говорил: «Вернемся домой — отдашь Лике» (двоюродной сестре). Только спустя много лет, стал Он хитрить пред нею, но об этом в следующей главе.

Она ценила в нем такую жестокую откровенность: в браке необходимо взаимопроникновение. Он же после подлой измены Нины — просто осторожен был, чтобы отдаться новой любви.

Обижали ее теперь его ежедневные отлучки в зону «к товарищам» — терялись драгоценные часы общения — но когда Он возвращался, комната свиданий теряла свой неуют.

Много лет спустя, угрюмый колорит такой лагерной «свиданки» оба они ощутили в финале фильма Э. Рязанова «Вокзал для двоих».

Теперь Он рассказал ей о своем лагерном быте, порою цинично, будто хвастая, упиваясь таким цинизмом: как вели себя мужчины зеки, годами лишенные женского общества, при запахе женского грязного белья, приносимого в их мужскую прачечную из жензоны для стирки. Как заводились клопы в трещинах пяток у некоторых. Наблюдая, как Он стал неряшлив, Она могла

заключить, что и с ним такое случалось.

Раньше такое Он не посмел бы ей рассказывать. Понимал, что теперь Она насмотрелась и более страшных вещей, но не замечал, что вот тут-то Она осталась прежней. Не замечал этого.

Так что же? Не было больше романтической любви с ее лирикой, страстью и восторгами? Да, такой больше не было. У обоих, даже у нее. Но медленно возникала новая, более глубокая и прочная ее форма, иное «взаимопроникновение»: нежность, вызванная обоюдной жалостью, памятью о прошедших днях, общих переживаниях их недолгого очного брака, скрепленного десятилетним ожиданием соединения. Идеализация обоюдного дорогого образа, накопленная в разлуке, таяла в буднях общих интересов, таяла, уступая место чему-то другому, более глубинному, ощутимому ими обоими одинаково. Любовь обретала прочный ствол. Ощущения обращались снова в ласки. Оба постепенно понимали, что они — одно, неразделимое и прошлым своим и нынешним сближением. Их снова роднило новое чувство — «великая сила сострадания». Когда много позднее родные удивлялись терпению с ним, порою трудно переносимым его характером, они не понимали, что держит ее отношение к нему чувство, сильнейшее, чем любовь сексуальная, именно «сила сострадания», долг, какой бывает к родителям и детям.

Они не выясняли в разговорах новые свои отношения. Она из прошлого помнила: он терпеть не мог «выяснения отношений», хотя она в них находила особую прелесть. Все решали, как тогда, так и теперь, взгляды, какие-то беглые восклицания, ласковые или гневные жесты. И все становилось понятным обоим без обсуждения.

Мукой наполнялись его глаза, когда Он глядел на нее, уже не видя в ней «фиалочки», но друга близкого, человека родней родного, перенесшего много одинаковых страданий. Не случайно потом он подарил ей книгу с надписью: «Другу, сестре, жене» (а первые его посвящения начинались: «моей любимой…»). Разлука, оказывается, укрепила это чувство родства, новое и более прочное.

— Как мало я тебя ласкал, как мало одаривал! — сокрушенно шептал теперь он в минуты нежности. И утихала ее и его душа в каком-то новом, но обоюдном чувстве, уже не возбуждаемом в себе, а возникающем органично, и еще более скорбном: ведь ему впереди маячили еще 15 лет заключения! Рвала ее душу тоска в его глазах — он тоже бессильно и непрерывно думал об этом сроке, — мука его оттого, что он, мужчина, ничем не может ей помочь, защитить от нищеты, безвестности, униженности ее

полуправного положения.

Как, как найти выход из этой «безвыходности»! О политических переменах они в те годы и мыслить не смели, побежденные и сломанные. Если бы не вторая судимость, давшая ему 25-летний срок, этой осенью Он мог бы освободиться!

А случилось вот что: Он уже «отбыл» по первой судимости пять лет из десяти в дальневосточных лагерях. В 45-м году их судили целой группой «пропагандистов». Одного — участника гражданской войны П… тогда же приговорили к расстрелу (он сражался с белыми против Чапаева), остальным дали «полную катушку» тех времен: десять лет заключения. Но через пять лет, когда двое из группы уже умерли, первый приговор «по его мягкости» отменили, вновь судили троих: Михаила Земцова и Николая Давиденкова. Михаила и Николая приговорили к расстрелу (у них открылись новые «преступления» — Земцов был атаманом ст. Николаевской, Давиденков вел антисоветскую агитацию в лагерях). Двоих расстреляли. Он рассказывал, как слышал в своей камере возню и мычание (кляп во рту), когда их волокли по коридору на казнь). Можно ли пережить такое, не помешавшись? — Ему дали новую «полную катушку» 50-х годов — двадцать пять лет. Попрали извечную юридическую аксиому: «закон не имеет обратной силы». И как было обжаловать этот противозаконный, по сути, приговор в полицейском советском государстве?! Во время этого нового своего соединения они и предполагать не могли, что дело изменится, и Он освободится на середине срока. Они видели эту непреодолимую стену — еще 15 лет впереди! Сердце обмирало и ныло от этого сознания. Как пережить этот страшный срок, после того как они вновь обрели друг друга в этом свидании! Выход один: неустанно хлопотать о снятии второй судимости как незаконной.

Один только раз Она вышла из своего «заточения» с ним — из этой угрюмой комнаты, чтобы взять из квартиры нужные вещи. И его расконвоированный товарищ (тот, что встречал ее на вокзале Воркуты и привез в лагерь) сказал ей:

— А знаете, ведь он так себя вызывающе ведет, что, может быть, отсюда и не выйдет. Не скрывает своих антисоветских убеждений, «болтает»… А среди нас ведь десятки сексотов… Скажите ему Вы, чтобы осторожнее был, нас он не слушает, даже бравирует инакомыслием… Удивительно, что при его репутации и свидание-то с Вами разрешили».

Она просто в ногах у него валялась, просила быть осмотрительнее, ради нее, ну если себя не жаль, ради нее! Ведь могут «намотать» и еще срок. Молила, плакала. И Он клятвенно обещал не нарушать режима, быть осторожным, ведь вокруг

хищники, притворяться абсолютно лояльным, оставить браваду, быть незаметным, как мышь, чтоб не навлечь на себя новые кары. И все время ходатайствовать о снятии второй судимости.

А Она уже твердо решила оставить своих трех старух — мать, тетку и свекровь — (из-за которых, собственно, и поселилась на юге, а не на 101 километре под Москвой), оставить их и переехать сюда, в угрюмую эту Воркуту, чтобы, найдя здесь работу, быть близ него, переехать на жительство на весь срок его заключения.

Твердо решила — без его близости, хотя и через проволоку, жизни у нее не будет. И запущенность его, и отчаянная его холодность ее не пугали… И хлопотать, хлопотать неустанно обоим о снятии с него второй судимости.

Забегая вперед, следует заметить, что судимость эту незаконную с него после многих хлопот сняли уже в семидесятых годах, когда он был уже на свободе, на Кавказе, все-таки подвергаемый остракизму.

Дни шли. Ночью Она просыпалась, чтобы тихонько подсыпать уголь в печку, топящуюся круглосуточно, как полагается на Севере. Он спал. Он знал, что не замерзнет: Она встанет, чтобы подсыпать уголь. Так и прежде было, в Потсдаме — мужские заботы Он переложил на «хранительницу очага» и теперь привычно следовал этому.

А часы, дни свидания истекали. Впереди предстояли пятнадцать лет разлуки. Как это вынести? Как спастись? В его глазах Она читала безнадежное отчаяние загнанного зверя. Он за эти дни по-новому любил, как самое родное на свете создание. Но ночью топить печь вставала она.

2. Плохая примета

Они сблизились 12 лет назад без предварительного «ухаживания». (Да и он, после предательства жены, к женщинам относился настороженно и равнодушно, «ухаживать» просто не умел). Их «сватал» редактор: «Вам надо выйти замуж за Польского», — говаривал не однажды. «Что Вы, за этого хама?!» — шутливо откликалась. И, правда, Он был нелюдим, грубоват, пожалуй, и хамоват, бывал бестактен, как-то ко всему равнодушен — все это относили не к характеру, а к тому, что перенес блокаду Ленинграда, был «сыном попа» — т. е. гражданином социально неполноценным как бы… Был прагматичен, но «блистал эрудицией». Рожден был журналистом (с 14 лет писал для газет), но выделялся не литературным стилем, а умением организовать материал. Однажды написал для крымской газеты превосходный очерк о ленинградских блокадных днях: «Быть Петербургу пусту».

Очерк обратил ее внимание — эге, да он и чувствовать умеет! «Искра Божия» в нем есть. В газете работал с упоением, не считаясь ни с чем и ни с кем.

Ей в нем нравилось одно: среди «внутренних эмигрантов» — монархистов, «контриков» — Он был ее современником, да еще «столичного» типа — в нем не видела Она провинциализма, ненавидимого ею с отрочества.

Работа совместная их сдружила, но без всякой обоюдной эротики. Между тем, Она чувствовала, что нравится ему больше, чем ее подружка Женечка — переводчица, к которой Он вроде бы склонялся вначале. Ему нравились тоненькие брюнетки. Она и была такая. Шутливо называла его «мое поколение». Вместе оказались в Крыму. В одной газете. Импонировало ей имя его Леонид — так звали героя ее большого и трагического «романа», когда студенткой жила в том же городе. И фамилию он носил ее «самой первой любви» — Юры. И по Ленинграду были общие знакомые (например, поэты Оля Бергольц, Борька Корнилов). Много общего нашлось, даже в отношении к оккупантам как к несчастью. И еще связывали общие воспоминания о Ленинграде: голоса нищих певцов на улицах, шелест торцовых мостовых, сказочно прекрасные белые петербургские ночи с силуэтами разведенных над Невою мостов.

Он был красив, но неуклюж до смешного. Когда получил военную форму, пока полевую, все называли его «Бравый солдат Швейк» и Он сам над собою посмеивался, сдержанно-непроницаемый.

Сблизились они внезапно, первого апреля, вечером. На другое утро Он должен был уехать на экскурсию по Германии, которую для русских журналистов устроил Отдел пропаганды. Атмосферу их первоапрельского сближения особенно точно передает ее стихотворение, рожденное год спустя.

Высоко журавли кричали,
Начиналась весна в Крыму.
Меркнул в тускнеющей дали
Чатыр-даг в синеватом дыму.

Твое имя в небе вечернем
Сияло как вещий знак,
Был призрачным и неверным
Нисходящий на землю мрак.

Поднялись по лестнице вместе.
Для меня ты жил в другом.
Ты не знал, что к жене, невесте

Входишь в тот неуютный дом.

Было холодно. Было странно.
Леденил первобытный стыд.
Только слышалось в ночи туманной
Одинокое сердце стучит.

Оплывали во мраке свечи,
Дрожь и сырость в углах плыла.
На мои несильные плечи
Горе новое я брала…

Как много больших печалей
Ты принес в мою жизнь с собой…
Зачем журавли кричали
Прошедшей крымской весной?

Спустя пятьдесят лет, осенью, вскоре после его смерти, Она, выйдя на крылечко в такой же сиреневый вечер, услыхала в небе курлыканье улетавших на юг журавлей, и тогда родились еще строки:

С журавлиным осенним клином
Ты покинул меня навсегда…
А в небе звучали клики,
Как тогда… как тогда…

Возвратясь с экскурсии, в мае, Он приехал прямо в ее комнату, оставив свою квартиру. Из Германии была от него открыточка, где Он называл ее «на ты» и начал словами: «Дорогая…». Она легко приняла это новое свое замужество, но не по любви, без усилий предварительных. Просто замуж выйти было надо — шла война, к ней «приставали», он был ей «не противен», как говорили засватанные девушки в старину. Оба они, выросшие и формировавшиеся вдали от мещанских своих семейств, были, по сути, интеллектуальной богемой: книги, литература, — вне бытовой озабоченности. Но, пожалуй, окажись на его месте другой, из ее привычной среды, Она легко бы пошла и за того.

Влюбленность наступила потом. Любование друг другом. «Какая ты стала хорошенькая, когда покраснела», — говорил Он. Или: «Как чудесно ты сегодня хохотала в кино». А она любовалась его лицом, пока Он спал — оно было такое успокоенное, ясное, шелковисты были широкие брови, на бледном лице румянец был какой-то «девичий». А открывал глаза — будто вспархивали веером длинных ресниц голубые бабочки… Влюбленность. Обоюдная.

Официально они до августа о браке не объявляли, хотя жили вместе. Она носила девичью фамилию, которую в предыдущих браках не меняла.

Немного смущала обоих «плохая примета»: первое апреля — вечер их первого и внезапного сближения — обманный день.

В день его именин, 21 августа, они созвали гостей. Для военного времени это был «пир» — пирог с мясом, чахохбили. Редактор с женою подарили торт.

Гости поняли эти «именины» как свадьбу, хотя и намека на это не было сделано. «Что-то вино горьковатое», — сказал кто-то, и другие закричали: «Да! Да!» — Она расстроилась — ведь достали с трудом, — позабыв об обычае так приветствовать новобрачных. И когда Он потянулся к ней с поцелуем — поняла: это их свадьба. С того дня Она носила его фамилию, такую знакомую и дорогую с детства (Юра!).

В тот день к скверной первоапрельской шутке присоединилась, будто зловеще напоминая о ней, новая плохая примета: открывая шампанское, Он до крови порезал палец. «Плохая примета», — подумала Она, унимая ему кровь. То же подумали и гости.

Потом они провожали гостей по уснувшим, залитым лунным светом улицам. А улицы южных городов — это аллеи. Уличный асфальт блестел и сверкал под луною как река.

Проводив, они целовались лирической этой ночью у памятника Долгорукому и оба переполнены были влюбленностью и обсуждали, не обвенчаться ли им теперь же в церкви, но решили отложить венчание до возвращения домой, чтобы обряд свершил его отец.

«Плохая примета» в их медовый месяц просовывала мерзкий нос и в дальнейшей их совместной жизни. Часто ссорились. Обманное первое апреля и кровопускание во время свадьбы как бы стало предупреждением дальнейших событий совместной жизни. И хотя они условились датой своего соединения считать не обманное первое апреля, а день их «именинной свадьбы» — 21 августа, все-таки обмануть судьбу никак не удавалось.

Вскоре после августовских «именин» Отдел пропаганды дал отпуска нескольким сотрудникам, в том числе и ей, и отправил их в Евпаторию. Он остался в Семферополе делать газету, Она уехала к любимому морю, в знакомую Евпаторию, где в юности, больная спондилитом, три года подряд проводила лето в костнотуберкулезном санатории «Таласа». Евпатория снова предстала как горячий подсолнух на низменном побережье, но… Набережная, где прежде по вечерам под музыку гуляли нарядные люди, была пустынной, санатории (и «Таласа») лежали в

развалинах после десанта. Побережье было сплошь минировано, кроме отдельных узких огороженных участков, где купаться было безопасно. Отпускников поселили на окраине, рядом с Майнаками в большом саду, видимо, прежде принадлежавшему совхозу, с разбросанными в нем летними домиками-павильонами. В одном из них, отдельно от всех, поселилась Она. Вокруг был абрикосовый, теперь ничей, сад и бахчи… Ветви гнулись до земли от тяжести уже созревших оранжевых как солнце персиков, огромных — с кулак… На бахче лежали мощные плети с тоже огромными фиолетовыми баклажанами. Жителей не было видно, но порою, пугая, между деревьями мелькали немцы в касках и с оружием — проводили какие-то учения.

Совсем рядом с садом и морем серебром сверкало Майнакское целебное рапное озеро — болото, перенасыщенное солями, в виде неглубоких многочисленных луж, в них кишели какие-то красноватые червячки.

Она была уже беременна, но еще не знала этого — «аменорея военного времени» не дала этого ощутить — и, памятуя о былом спондилите, ложилась ничком в горячие целебные лужи и подолгу лежала, следя за облаками, сверху обжигаемая солнцем. Лежала подолгу, без обращения к врачам, конечно. На обратном пути ее впервые стошнило, показалась кровь. Доктор уже в городе диагностировал беременность.

Из Евпаторийского сада привезла ему огромную ветку персикового дерева, сломанную прямо с золотыми солнышками плодов. Встретил Он ее ревниво угрюмо, но Она была больна, температурила, и приглашенный врач взял ее в свою частную больницу «на сохранение плода» — ибо оба они хотели ребенка. «Я — мать», — с гордостью и страхом (ей было 33года) говорила друзьям. Он стал заботлив, навещая ее. Кровотечение остановилось, температура упала. Доктор предупредил: если снова начнет кровить, никому не позволяйте Вас смотреть, кроме меня. Но он был в театре, когда снова хлынула кровь, и помощник доктора — молоденький паренек, может быть, и не врач даже, — заявил, что хотя главврач и отсутствует, необходимо срочное вмешательство, иначе неизбежен смертельный исход. И вмешался так неумело, что, когда наступил момент эвакуации из Крыма, ее увозили в лежачем состоянии, и в Херсоне врач — знакомый ставрополец Шульц — извлек из нее остатки того, что могло стать их ребенком. Его рядом не было, ее увезли на носилках, Он остался пока в Семферополе. Это была их первая долгая беспокойная разлука.

Так впервые сработала плохая примета их медового месяца.

А было назначено им жить! Он приехал в Херсонскую

больницу вечером, уже жданной, уже родной. В штатском похожий на уездного партийного работника. Хотел — было сразу взять ее из больницы на квартиру, которую уже нашел для них обоих, но было поздно, темно, отложили на завтрашнее утро. Ночью Херсон бомбили самолеты, и, придя за нею утром, Он сказал, что в домик, где Он нашел комнату для них, ночью попала бомба и все его обитатели погибли…

Скоро они с редакцией переехали в Николаев.

Много воды утекло с той поры уже неотрывного друг от друга счастья. И вот, спустя годы, снова «плохая примета» ворвалась в их вновь обретенную близость.

Наступил десятый день свиданки. Надо было уезжать. Они уже договорились: будут хлопотать оба об отмене второй «незаконной» судимости. Она приедет к нему в Воркуту. Его глаза обрезались мукой. Она была полна надежд на будущее. Вещи были уложены. Все деловое, житейское оговорено.

Вдруг им объявили, что срок их свиданки продлен на сутки. Причину не объяснили. Утром их недоумение разрешил внезапно и без стука вошедший в их комнату офицер НКВД. Она еще лежала под одеялом, Он встал рано, чтобы успеть на утреннюю поверку в зону.

Чужой офицер распахнул дверь, как дома. Его длинный нос, как ей показалось, шевелился, будто что-то вынюхивая. Тусклыми глазами пошарил по комнате, без малейшего смущения.

— Водка есть? — спросил вкрадчиво. Приезжавшие к зекам-казакам родные почти всегда привозили строго запрещенную водку. Оба замерли сперва, но при таком вопросе рассмеялись.

— Вот наша водка! — иронично сказал Он и указал на пачку книг — новинок литературы, привезенных ею для него. Они лежали отдельно: ему следовало провести их через «лагерную цензуру».

С момента ее приезда к ним не заходил никто, только накануне нелегально забежал казак — «посмотреть на жену» и попросить ее отправить «через волю», без лагерной цензуры письмо домой. Казаку она не могла понравиться: худая, «без пазушки», да еще и нос «восточный» — не еврейка ли? И водки не привезла! Письмо родным у него взяла. Оно лежало отдельно возле пачки книг, чтобы при выходе спрятать его от «шмона» в валенке. Офицер схватил письмо, лежавшее рядом с книгами. «Ах, вот что у вас вместо водки!» — злорадно прошептал «начальничек». — «Ваш паспорт!» — обратился к ней. Неловкость ее положения, раздетой под одеялом, он как бы не замечал. Муж, сразу померкнув лицом, подал ее паспорт. А в паспорте была её девичья фамилия — имела глупость записаться так во время

репатриации.

— Так кто вы ему? Жена или квартирантка? — спросил, нагло улыбаясь. Но еще хуже: в паспорте была записана статья 39, по которой Она, как заключенная по 58 (политической) статье, не имела права проживать в крупных и столичных городах страны.

— Ага, вы тоже были в заключении! Справка об освобождении есть? — Пришлось показать и справку. Он наглел:

— Откройте-ка чемодан!

Она начала одеваться, будто и не мужчина он был. Она и всегда-то относилась к ним, как к животным. В открытом ее чемодане он рылся уже уверенно: хоть и «вольная», но бывшая «зечка».

— И белье грязное разворачивать? — спросила грубо.

— Зачем белье? — бормотал чекист. А на самом дне лежала пачка антикварных, чудом сохранившихся у них книг — со стихами. Их на обратном пути следовало продать в московском магазине, чтобы окупить расходы на поездку.

— Гумилев? Ходасевич? Ахматова? А знаете ли вы, что Гумилев расстрелян как контрреволюционер? А Ходасевич — эмигрант (офицер оказался, как на грех, «знатоком» поэзии). А Ахматова? Да Вы знаете, кто они? Мандельштам выслан (это была для меня новость)!

Она снова дерзко ответила, что знает о них наверняка больше, чем он.

— Что это за книги — это ведь запрещенная литература! — гундосил длинноносый шмоналыцик.

Возразила, что эти «запрещенные» прижизненные издания крамольных поэтов совершенно легально и дорого продаются в антикварных книжных магазинах Москвы, и объяснила, почему они приехали с ней в Воркуту — как живые деньги. Но он не унимался: «Да не дай Бог, если эти книги побывали в зоне!»

Она-то знала: в зоне они «побывали»: муж под ватником проносил их товарищам, они переписывали даже какие-то стихотворения. Она обмерла: сексоты могли об этом донести. Вот почему «подарили» им этот одиннадцатый день свидания! Не успела она и мигнуть мужу, чтобы отрицал такое «нарушение режима», как офицер заявил: «Пойдемте со мной!» — и взял с собою драгоценную пачечку. В зоне ее допросил «третьяк» как следует, с протоколом, был дружелюбен, но книг не вернул. И еще повторил: «Не дай Бог, если они побывали в зоне!»

Ее отпустили, отобрав книги. На вопрос, что же мужу грозит, ответил третьяк: «Там увидим!»

Господи, как дать ему знать, чтобы отрицал их пронесение! Но больше им наедине оставаться не пришлось. На лице его

сквозило такое горькое отчаяние — любимую, самую родную, так унижали на его глазах, а Он ничего не мог предпринять, защитить. Он дрожал от унижения. Она была бодрее: унизить ее эти животные не могли, но сокрушала мысль: что же ему-то будет за «нарушение»? Кое-как наскоро простились.

Снова «плохая примета» сработала: отравлено было свидание, определившее их новое, более глубокое чувство.

Она поехала не на вокзал, а к живущей в Воркуте Элле Ивановне, немке, отбывавшей срок с нею в театре Мариинского лагеря. Та, освободившись на год ранее, жила у сына и невестки, высланных как немцев на поселение в Воркуту, и, освобождаясь, дала ей адрес. Приняли ее, как родную. Посокрушались вместе, на другой день Она отправилась в воркутинскую прокуратуру, главное, узнать, может ли Он быть наказан за такое «нарушение».

Сталин был мертв. Берия сокрушен. Среди «них» царила некоторая растерянность, и приняли ее в прокуратуре довольно приветливо, но заявили, что мера наказания зависит только от лагерной администрации.

А ведь теперь Он должен быть «образцовым», незаметным зеком! Может ли Он хлопотать о снятии судимости после такого «нарушения»! Да с уже нажитой репутацией инакомыслящего? Сообщили, что в Москве есть еще прокуратура для надзора за действиями НКВД!

Надо было его предупредить о восклицании третьяка: «Не дай Бог, если эти книги побывали в зоне». И от Эллочки Она пошла на шахту, просить хоть минуту свидания, чтобы узнать, как Он там, что с ним!

Очередь у автобуса, везущего в район его лагучастка, была огромная. Был день не по-мартовски морозный. Ее немного подвезли на уже взятые взаймы деньги на случайной легковушке, а оставшиеся километры Она шла пешком, почти бежала по обледенелой пустынной тундре, накрытой невыносимо холодным небом, хрустя валенками по снегу и ледышкам подтаявших в оттепель, а сейчас до дна промерзших луж. Повезло: начлага уже собирался уходить, когда Она ворвалась к нему с просьбой дать им ну, десять, ну пять минут свиданки под предлогом, что забыла передать ему деньги. Он и короткую свиданочку не разрешил: «Вам еще тяжелее будет. А деньги передайте с надзором под расписку». Так и ушла, подождав у виадука, соединявшего шахту с лагучастком — авось, а вдруг появится на мостике, услыхав, что Она пришла. Не дождалась. Обмерзла. Пока бежала по тундре, Богу вслух молилась, чтоб «миновала чаша», чтоб не добавил этот эпизод ничего плохого к его и без того дурной репутации у начальства, о чем сказал товарищ, предупредивший ее о его

несгибаемой «открытости».

Тоска душила. На вокзале ее не разогнал смешной эпизод. В натопленный зал ожидания вошла пожилая дама, укутанная платком, в огромных валенках. Ее сопровождали сын и невестка. К освободившемуся недавно сыну дама приехала из Баку, где цвела весна. С поезда сын на такси примчал ее к себе. Сейчас она живо сбросила валенки с изящных ног, обутых в легкие осенние ботики. Под платками прятались легкая шарфик-чалма и легонькое весеннее пальто. Валенки были взяты напрокат, для отъезда, весь свой гостевой срок дама просидела в комнатах. Подали состав, и она быстро-быстро побежала к вагону с табличкой «Воркута — Баку». Сын помахал вслед уходящему поезду валенком. Даже проводники смеялись.

А героиня нашего рассказа забралась на третью (багажную) полку вагона, уступив плацкартное место кому-то, и всю дорогу до Москвы плакала там, притаясь в своем горе, от сознания, что так унизительно растоптано, поругано оказалось их свидание. Вот тогда Она и припомнила «плохие приметы» первых дней их сближения. А главное — терзала тревога: что будет с ним? Как его накажут за такое нарушение режима, если узнают, что книги были в зоне.

Внизу копошились люди, удивляясь занятой ею позиции, но здесь Она была одна со своим горючим несчастьем. Не под силу было с кем-то и о чем-то говорить. Во всю мочь орало вагонное радио-тарелка — этот постоянный «крест» в СССР для людей, имеющих уши. Она попросила выключить или хоть уменьшить звук, снизу ответили: «Нет уж, выключите сами». Хоть и наступила «оттепель», люди понимали, что выключение общественного радио могло повлечь репрессии: «Ах, вы не хотите слушать советское радио!» — и — донос, и срок! Так и не заснула до самой Москвы.

В Москве предстояло пробыть недели две, ночуя посуточно у друзей. Таким, как Она, в столице не положено было жить более суток. Даже сходила в МХАТ на «Пигмалеона». Пошла и в прежде родную Третьяковку. Рассказывала, кто Она теперь, что с ней эти годы было, что ездила на свидание с еще заключенным мужем. И вдруг приятельница Вера Ермонская — старая одинокая дева — воскликнула: «Какая ты счастливая. Женя!» И вправду — счастливая, подумала, ведь Она уже не одна на свете — их двое! неразрывных!

Отыскала и прокуратуру по жалобам на НКВД. Невзрачная контора во дворе, рядом с домом, где Она прежде жила на Поварской. Очереди не было! Ее приняла миловидная дама, взяла заявление, выслушав рассказ, и сказала, что едва ли теперь его

накажут за это! Обыск чемодана уже «вольной» был противоправным, да! А книги они должны вернуть. «Я напишу», — пообещала. И с улыбкой заметила, что редкостные книги «эти ребята», конечно, «конфисковали» в свои личные библиотеки, видно, они «любители поэзии» тоже.

История эта закончилась несколько месяцев спустя. Уже летом, дома, Она получила пакет с книгами почтой. Все было цело, но среди них было четыре миниатюрных томика Евангелия (2,5 см на 6). Четырех евангелистов. Вернули из четырех — три. Один томик все-таки украли как редкость.

А Он позднее рассказывал. Во время хрущевской оттепели и «эпохи реабилитанса» в лагери зеков начали наезжать разные проверочные комиссии. На их лагучастке тоже готовились к встрече таких гостей. История с книгами вроде бы позабылась, ему ничего не сделали, но однажды «третьяк» (начальник следственного отдела) вызвал его, взволнованно достал из шкафа пачку книг: «Вот, проверь, упакуй, напиши адрес, мы отошлем жене сегодня же. Квитанцию — тебе».

Видно, прокурорша не обманула ее — написала-таки в лагучасток.

Эти книги по его возвращении они все-таки продали заочно в Москве через комиссионку. Продали «за гроши», ибо вскоре начался «книжный бум», и цена их поднялась сторицей. Но на полученную сумму тогда купили ему более-менее приличную одежду.

IX. РАССКАЗ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ

— Проклятые они, — говорит она с одышкой, прослушав рассказ свекрови моей о самоубийстве племянницы Нины. Она покончила с собой, когда ее обязали секретно сотрудничать с НКВД. Оставила девочку-дочь, которую потом воспитывали родственники.

— Проклятые, убежденно повторяет Мария Федоровна, полная сырая старуха, совершенно простонародная; такими бывают деревенские попадьи да сельские долго проработавшие учительницы. Подвигавшись беспокойно на диване, она говорит: «А вот послушайте, что я вам расскажу, первый раз расскажу в постороннее ухо, все годы молчала, боялась. А теперь уж расскажу…»

— Во время войны было… До оккупации еще. Боря мой на фронте, а на старшего похоронку получила. Тогда уж не учительствовала, работала в поликлинике регистратором. Жила в своем домике-развалюхе. Это после войны сын Боря его

подправил, а то — развалюха и развалюха.

— Вот, то ли выходной был, то ли уже со службы пришла, только день к вечеру светлый, теплый такой, мою это я полы после побелки. Босиком, известкой заляпанная, почти полураздетая. У нас там, помните, заборчик решетчатый был. Высунулась я во двор, а у калитки военный с лошади спрыгивает. Так сердце и упало: должно, с Борей что! Идет этот военный, молча впереди меня прямо в дом. Руки у меня затряслись, я их подолом вытираю, и без памяти за ним.

— Что говорю, что случилось? Господи!

— Не волнуйтесь, мамаша. Я к вам по делу.

Гляжу, а у него околыш на фуражке голубой-энкаведешный. Я еще больше испугалась. За Борю. Что, говорю, что?!

А он меня успокоить не спешит. Хатенку мою оглядывает и на меня этак значительно смотрит — разволновывает, значит.

— Вы такая-то? — спрашивает. — Один сын ваш убит. А другой где? — Так и закатилось у меня сердце.

— На фронте, говорю, на фронте, — и ему борины письма хватаю, показываю — помните, треугольничками без конвертов они тогда ходили. — Вот, последнее недавно… Орден получил… в партию вступил… Ранен был.

— А отец ваших сыновей где?

— Бросил меня муж, давно уже, еще дети маленькие были.

— А кто он был, ваш муж? — Ну, я знаю, скрывать нельзя:

— Священник был, только он сан с себя снял. Когда нас оставлял, бухгалтером работал. В колхозе.

— Вы верущая? — спрашивает. — Ну, я тоже скрывать не стала, работа у меня теперь не идейная, ничего мне за это не будет. — Верующая, — отвечаю.

— И в церковь ходите?

— Ну, как же, — говорю, — конечно хожу. Мне и пред людьми стыдно бы не ходить: и сама из семьи духовной, и мужа родственники — все духовные. А сама: к чему это он гнет, думаю, может, что с моей работой?.. Боре я в письмах никогда такого не писала, только когда забрали, благословила иконой Спаса нерукотворного. Да дети мои совершенно советские, со школы еще.

— Много у вас среди духовных знакомства?

— Да все, говорю, всех знаю, у всех бываю, вот у такого-то батюшки и такого-то… И вашу семью назвала, нельзя же им соврать. Да и к чему мне?

— Так вот, говорит, Мария Федоровна! Враг, с которым доблестно сражается ваш сын и в битве с которым другой ваш сын погиб, как патриоту полагается, враг, значит, проникает и в

церковные дела. И нам надо, чтобы вы помогали его разыскивать. Вы же патриотка? Хотя и верующая.

И слово-то НКВД не произносит, все мы, да «советская власть», да Родину поминает. — Мария Федоровна сплюнула в сердцах. А я ему как бы впростях:

— Это кому же нам?

— Родине, говорит, надо.

— Родина наша, говорю, сейчас на полях сражений под пулями стоит, а не в сытом тылу находится. Я в церковных делах, говорю, близко ничего не знаю. Да и как через церковь враг мог бы Родине нашей вредить?!

— О, Мария Федоровна, ничего-то вы не понимаете. Вот вам и поручается обо всем, что в домах у верующих, а особенно священников, услышите, сообщать. Ведь там советскую власть ругают, это вам известно. Но особенно важно знать, что они там о немцах говорят, кто их ждет? Нам эти сведения необходимы. Вы, говорят, женщина грамотная, учительницей работали — вы все хорошо сообразить можете.

Тут я поняла: они о нашей семье все знают, и еще поняла, что он мне предлагает.

— Господи, товарищ военный, да я, мол, и не слыхала никогда таких разговоров, да так напрямик ему и режу — если они что и скажут против власти, как же я вам про родственников своих, про единоверцев доносить буду? Не по христиански это! — Он тут аж закипел:

— Родственники! Христиане! Ваш муж — поп оставил вас с малыми детьми, неужели у вас обиды против него да против всего этого сословия не осталось? Неужели вы ради сына-воина, да еще и коммуниста, советским нашим органам не поможете?

— Обида против мужа, говорю, большая и против красотки его — ужасная обида. Так причем же здесь каждый батюшка, каждый верующий? Муж мой именно в безверии от церкви отошел и семью оставил на нужду и горе. Да и какое это к политике отношение имеет, за что б это я его вам на пропятие отдавала, да тем более, не его лично, а все духовное сословие!

Долго он меня уговаривал, вы, говорит, для такой работы у нас очень удобная. Я — ни в какую: не буду доносить, не могу! Он уж и на «ты» меня, и Марьей Федоровной не зовет.

— Ох, тетка, пожалеешь о своем отказе. А согласись — мы тебе за каждое донесение платили бы и работу хорошо оплачиваемую устроили. Ты, я вижу, нуждаешься. Домишко свой починила бы. А?.. И не столько ты, говорит, пожалеешь, как твой сын… Тут уж мы прям кричим оба.

— Не трожьте, кричу, сына моего! Вы тут в тылу, в тепле да

сыти, врага вроде бы ищите, а мой сын сражается с врагом, в честном бою, в самой опасности кипит. Он, говорю, больше советский человек, чем ты со своей голубой фуражкой. И я тебе не «тетка» и не «ты», а мать двух истинных защитников Родины.

— Ах, вот ты какая! Ты, оказывается, сама немцев поджидаешь!

— Да что вы, Господи, — я ему. А тогда, помните, какая пропаганда была. — Да они меня как красноармейскую мать первую повесят.

— Нет, говорит, таких как ты, они не вешают. Собирайся! Пошли!

— Куда, спрашиваю, идти-то?

— Это уж не твое дело, — отвечает, а сам меня тычками, тычками на двор выталкивает и к калитке, к калитке…

— Дай же, прошу, обуться, переодеться, я ж в известке вся, двери хоть в доме дай запереть! Сыно-ок!

— Это, говорит, теперь тебе без надобности. Тихо! Иди за мной!

И — на лошадь, и по переулку на взъем наш поворачивает, и все грозно так повторяет: «Тихо! Тихо!» и понимаю я: на улице он меня не застрелит.

А на улице — ни души. Соседи, видно, попрятались. Иду вслед за лошадью. Как выехали из переулочка, люди стали попадаться. Он тут быстрее коня пускает, посреди дороги едет, я за ним по тротуарчику. Люди-то видят, босая я, заплаканная, в известке вся, в платье оборванном. Он торопится ехать, чтоб незаметней, скорей, и начинаю я от коня отставать. Ноги не слушаются, сердце у меня и тогда уж… А он обернется и вроде бы вежливо, но грозно так: «Не отставай, мамаша, не отставай! Поспешай, мамаша!»

Я ему уж так ласково кричу с тротуара: «Сынок, не могу быстро так! Да и далеко ведешь ли?» А он оборотится Да скажет только: «Тихо! Тихо!»

Люди, вижу, замечают, что-то тут не то, нас еще хорошо в сумерках видно, да и голос мой слышно. Понимаю, что это пытает он меня быстротой своей. И ничего мне самой-то впереди не страшно, только думаю, что же они, проклятые душегубы, с Борей теперь сделают! Пусть уж лучше меня одну посадят, или что там, изобьют, может. Понимаю уже, что направляемся в НКВД. Недалеко оно, только дорога от нас все вверх, вверх идет. Я по тротуару бегу, он сбоку по шоссейке, копыта только стук-крак, крак-стук.

Задыхаюсь я, прямо из сил выбиваюсь, кричу уж в голос: «Люди добрые, да куда же это он меня гонит!» А прохожие как

увидят фуражку голубую, так и шарахаются от меня молча. Он изредка коня остановит, подождет меня чуток, наклонится, и спросит: «Ну как, согласная?» Я слезами зальюсь, а он опять чуть не в галоп. А впереди еще по центральным улицам бежать квартала два дли-инных. Ох, думаю, кончусь я сейчас, в глазах темнота, сердце где-то в горле прямо. Ох, кончусь я сейчас, и Борю своего не увижу, и не узнает советский боец, как его мать пропала!

Подбежали мы это уже к центральной широкой улице. И тут слезает он с коня своего, проклятого, ко мне на тротуар восходит и, как змей, шепотом шелестит: «Ну, тетка, сегодня отпущу тебя, но запомни: если кому-нибудь, даже сыну, об чем мы говорили, расскажешь, — пропала ты, и сын твой пропал!»

— Поняла, говорю, хорошо поняла, сынок! — И пошла вниз домой. Все во мне трусится, дома валериановки напилась и всю ночь думала: ну, с работы снимут теперь! Нет, обошлось.

И в оккупацию, и до конца войны, и Боря уже вернулся и женился — все боялась, что они сыну чего-нибудь сделают. И вот только сегодня, уже после Бориной смерти, об этом первый раз рассказываю… Да, еще сказать забыла: как вернулась я, глядь, а у меня гардероб-то и комод пустые. Дом ведь брошенный, незапертый остался. Ох, осталась я в чем была, оборванная, в известкой заляпанном платье. К соседям кинулась: «Уходила я, говорю, спешно, и вот…» — «Ничего мы, Мария Федоровна, не видели, мы никого не видели! Не знаем, говорят, не знаем!» А утром гляжу — во дворе одежа моя в узле из моей же скатерти лежит. Пожалели меня соседи, значит. Думали — не вернусь, взяли. Признаться мне устрашились, а пожалели, все-таки. Отдали. Так он, проклятый, чуть было меня не изнищетил!

— И больше всего мне обидно теперь, что в страхе я мерзавца того сынком называла!

X. РАССКАЗ СОВСЕМ КОРОТКИЙ

— Жорку я обожал. Он был на пять лет старше, но все мое детство и отрочество в нашей в общем-то довольно мещанской семье прошло под его влиянием, — рассказывал мне Шура Резенко, бывший летчик, муж моей кузины.

— С ранних лет Жорка пристрастился к декламации и театру, позанимался в какой-то театральной студии, начал работать в харьковском театре «Березиль» у режиссера Курбаса (а мы жили в Харькове тогда). Помнишь, может быть, был на Украине такой театр, экспериментальный, новаторский, Курбаса еще называли «украинским Мейерхольдом». Да…

— Стал Жорка актером, а я вечно болтался за кулисами, был «мальчиком на побегушках» у театра, детей изображал в пьесах, сопровождал Жорку на спектакли и репетиции, остро завидовал ему, любовался, гордился, хвастался Жоркой перед мальчишками, даже ревновал его к барышням-ухажеркам.

Мечтал, конечно, и сам актером стать, а таланта у меня не было — и Жорка мне это говорил — не было у меня к сцене способностей, да и статью я не вышел, и голос у меня был слабый, и речь неразборчивая. И в зрелой юности стал я мечтать о небе.

Тут пути наши с семьей и Жоркой разошлись. Уехал я из Харькова на Урал — удалось поступить в летное училище. Перед войной я его окончил и вышел лейтенантом авиации. От семьи совсем отбился как-то… Да!..

А за эти годы — ты, может быть, помнишь — театр Курбаса закрыли, как и театр Мейерхольда, Курбаса, кажется, расстреляли, многих его артистов, в том числе и Жорку, — посадили. Я тогда в комсомоле был, в партию прицеливался. Весть, что Жорка сидит, до меня дошла, но я только подумал, как бы мне через это не пострадать, даже вроде как бы злился на него. В анкетах нигде не писал, что есть у меня репрессированный брат, только мать, отец, вроде бы я единственный сын, из рабочей семьи.

Мать умерла, отец из Харькова переехал к замужней своей сестре в Ростов… Жил я один, в отрыве от родни своей, с отцом переписку не вел, знал только, что его в Харькове нету.

Жениться не торопился, был правоверным коммунистом. Да… Где Жорка и что с ним после ареста — не знал.

Вскоре война началась. Ну, конечно, сама понимаешь, патриотические чувства в духе партпропаганды, бдительность — все, что советскому летчику подобало…

И вот раз по дороге в свою часть, куда был начальством направлен, ожидаю на вокзале Тихорецкая поезда своего. Хожу по перрону, при всем оснащении военного летчика, при револьвере и прочем. Составы с военными туда-сюда снуют и пассажирские поезда — время, знаешь, какое: едут громады людей. Станция узловая, путей много, а я брожу между рельсовыми путями: сказали, что состав мой где-то позади вокзала прибудет. Хожу, значит… Да…

И тут мимо меня с окриками, лаем собачьим конвоиры гонят этапом группу арестантов, чтобы посадить их в какой-то на путях стоящий товарный вагон в длинном-длинном составе.

А напротив него еще состав с уже прицепленным паровозом. И тут паровоз этот свистит и выпускает пар прямо на эту группу небритых, серых людей, окруженных конвоирами с большой как

телок собакой. И в этот миг из их рядов прямо в клубы густого пара ныряет фигурка мужчины и между колесами, по буферам тесно стоящих составов пытается в сторону отбежать. Тут конечно, конвоиры кричат арестантам: «Ложи-и-ись… мать… мать… мать!», — и два-три из них с собакой бросаются вслед за тем, кто убегает между составами. Собака свирепо гавкает… прыжками бежит… Суматоха на путях…

И тогда я, как офицер советской армии, выхватываю револьвер и бросаюсь на помощь конвоирам, чтобы по мелькающей кое-где фигуре беглеца стрелять… По ногам. Хорошо, твердо помню, что думал тогда: по ногам, по ногам, чтоб не ушел, чтоб вернее им было его поймать. Стрельнул раза два, да мимо. Не попал… А на бегу и в тулово мог бы попасть.

Перелезал он через товарную платформу быстро, помню, пригнувшись. Тут собака его настигла, повалила, начала рвать…

Поймали они его и без моей помощи. Ведут, тащат, заломиз руки, к лежащей лицом к земле группе арестантов, бьют нещадно прикладами, собака на него прыгает и рвет… Кровь с него… И на ходу наручники на нем защелкивают.

Мимо меня ведут. Кто-то из них еще мне бросил: «Спасибо, товарищ лейтенант, мы сами»… А я стою, уже опустил револьвер, смотрю.

И тут он оглянулся на меня — глаза в глаза, — и вижу: Жорка это! И он успел крикнуть: «Шурка!» Не обознался я!

Подняли всех с земли, впихнули его в ряды и начали их с побоями и матерками в товарняк сажать. И опять мне кричат: «Спасибо, товарищ лейтенант!» А я стою как столб, рука с револьвером свисает, наверное, бледный весь, и дрожу. И мысль, помню: «Ну а если б попал?..» Пот холодный со лба глаза заливает, ничего не вижу.

Посадили их. Состав увели. Редкие среди путей пассажиры, из вольных, кто эту сцену и видел, разбежались. А я двинуться не могу: «Жорка! Жорка».

Вот с того дня что-то во мне перевернулось. Ведь знал я Жорку: не мог, ну, не мог ни в каком антисоветском заговоре, действии участия принять. А если и в чем виноват — брат ведь, любимый, талантливый. За что?! Почему?! До этого я таких вопросов себе не задавал.

И о Жорке с той поры ничего не знаю. И во время реабилитации он не объявился. И в семье нашей он как бы и не был…

Вот тебе первой об этом случае рассказываю. Никому. Никогда. Ни отцу, ни тете, ни брату двоюродному, с которыми встретился уже после войны. Ни жене. Одной тебе… Давит это

меня… Всю жизнь давит… Недавно Жорку во сне увидал. Молодого. Пить он у меня просил…

Так закончил рассказ уже стареющий летчик Александр Резенко. И слезы у него. Слезы…

XI. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

…А главное, что отличает нас от животных — не прямостояние, не владение техникой, а память. Такое Чудо она! Нашу мимолетную жизнь она расширяет безмерно, проникая в глубь ушедшего времени то шелестом мифов и легенд, то придуманными для служения ей буквенными знаками — надписями на камне, свитками пергаментов, связным нашептыванием книжных страниц. Она приобщает нас к Вечности, к непостижимым разумом началам мира. О будущем мы лишь гадаем, мечтаем, прошедшее нам сохраняют слова и вещи.

У древних Память олицетворяла богиня Мнемозина, мать девяти муз, теперь мы далеки от ее обожествления, но она — наше «шестое чувство», и его надо пробуждать, воспитывать, как воспитывают музыкальный слух. Это не просто знание (даты, ход событий), а чувство сопричастности Вечному: мы становимся как бы современниками давно ушедшего, в чувстве истории размываются координаты постоянно текущего Времени. И для этого были созданы человечеством не только письменность, но и музеи, в которых мы ВИДИМ живое, овеществленное Время, все проникающее, создающее все сущее, не имеющее ни начала, ни конца.

Как входило это чувство истории в мою жизнь?

В ранней юности оно впервые возникло, когда в музее я увидела лежащую под стеклянным колпаком, откуда был выкачан воздух, отделенную от высохшей мумии руку фараонши, прекрасно сохранившуюся, с гладкой желтоватой кожей. Тоненькие изящно сложенные пальчики с чуть синеватыми ногтями, с тщательно вырезанными заусеницами. И сокрушила внезапная мысль, что тысячи Лет назад — тысячи! — эта рука жила, ею любовались, целовали… Смятение мое было непередаваемо; так рождалось во мне «шестое чувство», ощущение жизни, не сочиненной воображением, действительно до меня бывшей, далекой, но как бы частицей меня самой, нынешней. Непередаваемое мгновение!

То же испытала я, когда археолог раскрыл коробочку из погребения знатной аланки. На дне коробочки по краям сохранились остатки почерневшей мази, может быть, белил,

румян — середина была вытерта пальцем — а на внутренней крышке блеснул среди ржавчины крохотный кусочек зеркала, отполированного на металле (стекла еще не знали), и отразил уголок моего глаза… И еще припоминаю: во время практики в Петергофе мы, юные студентки, забрались в гардероб с царской одеждой и одна из нас примерила на себя пахнущее «мышами» парчовое платье императрицы Елизаветы. Парча ломалась и осыпалась. И осознав, что «мышиный запах» — это запах плоти, жившей века назад, девочка потеряла сознание. (Случай этот кем-то был описан).

Вот так музейные вещи пробуждают в нас «шестое чувство» — ощущение вечно текущего времени. Вероятно оно и есть всетворящий Бог.

Свой рабочий путь я начинала в музеях. Сперва в Московском Областном (краеведческом), где в тридцатых годах хранились сокровища уже разгромленного Общества «Старая Москва», потом в Алупкинском музее-дворце князя М. С. Воронцова — собрании реликвий первой половины прошлого века, затем в Третьяковской галерее, открывающей нам гений и облик русского искусства. Всюду дышала история, вещи воссоздавали облик живых людей, среды, в которой они обитали. Вещи прошедшего жили.

И когда я прихожу в мемориальные музеи, Пушкина ли, Льва Толстого, Скрябина, в Тарханы лермонтовские или в пятигорский «Домик», меня охватывает это неописуемое чувство ушедшего, но живущего во мне и у тех, кто его имеет (а таких, увы, не так много), и так жаль тех, кто его лишен: как коротка их жизнь! Мне как воздух нужно это ощущение неиссякаемости бытия, которого не дает самое благополучное существование!

Когда я девочкой лет 15–16 впервые посетила лермонтовский дом-музей, флигелек, под железной крышей, обложенный кирпичом, не пробудил таких эмоций: внутри него было множество плакатов с социологическим содержанием, надписей. «Духа» лермонтовского времени — не было. О том, что еще жива Евгения Шан-Гирей, я и не знала. Впечатление оставило лишь место дуэли с его тогдашней тишиной и заброшенностью. Сопричастности эпохе не произошло. Годы и годы спустя, после долгих лет отторжения от дел музейных, я на другой день после переезда в Пятигорск побежала в «Домик», уже наполненный «вещным материалом». И «прикипела» к этому музейному комплексу до сего дня. Меня тогда уже поразила его сотрудница — энтузиастка лермонтоведения Вера Яковлевна Симанская, ныне покойная. Еще молодая, с гладко причесанной головкой. Она, будто угадав во мне одержимую «шестым чувством», сама подошла ко мне, одиноко блуждающей по вновь созданным

залам, и радостно, движимая отнюдь не профессиональным долгом, стала показывать мне интересное. Так я снова вошла в близкий мне круг.

С тех пор на глазах моих и моего мужа Леонида Польского — краеведа — «Домик» преображался, реконструировался его былой вид, создавался обширный комплекс лермонтовских мест. Имена всех, кто любовно воссоздавал славную историю лермонтовского города, не перечислить в краткой статье, но спасибо им!.. Домик все более становился одним из центров лермонтоведения — науки. Мы с мужем не пропустили ни одного «поминального» концерта перед фасадом флигелька в день гибели «царевича русской поэзии», конференций научных, привлекших таких известных ученых, как профессор В. А. Мануйлов, В. В. Жданов, И. Л. Андронников. Пятигорск и города КВМ становились не только курортами, но литературными гнездами страны.

Атмосфера «лермонтовского места» натолкнула, вслед за Е. И. Яковкиной, нас с Л. Н. Польским и примкнувшим к нам Б. М. Розенфельдом на поиски обширных связей местности Кавказских Минеральных Вод с общероссийской культурой. Так появились десятки наших статей в прессе, книги «Дорогие адреса», «Звезда с звездою говорит», готовая к изданию книга «Здесь каждый шаг — живые письмена», шла большая лекционная, телевизионная работа по увековечению памятных мест, сохранившихся или погибших на этой земле.

В это же время еще один обладатель «шестого чувства» В. В. Секлюцкий создавал мемориальный музей Н. А. Ярошенко, «из ничего» возникал Литературно-театральный музей в Кисловодске. И больно и горько видеть, что в наши дни замирает такой культурный расцвет этого уголка Кавказа, и там, где должен сохраняться самый «дух места», — Память, возникают «деловые» предприятия.

И если наш мир не взорвет сам себя своим неустройством, так хотелось бы, чтобы в будущем, завеса которого закрыта, на этом родном уголке Отечества «Домик Лермонтова» стал бы ядром, центром целого комплексного литературно-художественного музея, потому что в этих пределах нашли вдохновение и оставили след многие и многие деятели великой российской истории. Воскрешению памяти о них посвящена в печати, лекциях, беседах вторая половина моей жизни.

Уж коли не дано нам запустить фантастическую машину времени в будущее, не трудно обратить ее назад, в неистлевшую человеческую историю — в музейную тишину, в окружение вещного мира прошлых лет, веков, тысячелетий! Я хочу жить дольше, чем мой короткий век, и тогда я иду в музей и осязаю

овеществленное Время. Ну разве это не Чудо?!

Любимые мгновения моего нынешнего обыденного существования — ежегодные вечерние «поминальные» концерты у входа в музей в день смерти Лермонтова. И когда в сиреневых сумерках за простенькими занавесками «последнего приюта поэта» зажигают свечи — пусть они в наше время электрические, — так и чудится, что в открытую дверь домика к нам, сидящим перед фасадом, выйдет сам прежний его обитатель, автор пророческой «Думы», и, сутулясь, печальным взором окинет собрание его почитателей, «постыдно равнодушных к добру и злу», богатых «ошибками отцов и поздним их умом»…

XII. СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Щуровский любил Лермонтова. Дирижер императорского театра, он принадлежал не богеме, а элите артистического мира, которая соприкасалась с правительственными кругами. Однако далекого от разливавшихся все шире мечтаний о политических изменениях артиста восхищала в поэзии Лермонтова не только философская глубина его поэтических раздумий, но активность протеста, непримиримость, неясные искания свободы. «Дух отрицания, дух сомнения», одинокий Ангел, восставший против небесного Владыки, сейчас облекался в формы жизненные. События первого марта в Петербурге, вознесшие на гребень дерзновения «Народную волю» и утопившие ее в крови на взлете борьбы с самодержавием, обострили восприятие богоборческой лермонтовской поэзии. И может быть потому в летний сезон этого бурного года Щуровский избрал для гастролей Кавказ, Пятигорск, где бывал прежде, и где повсюду мерещилась ему «тень поэта».

Шла сороковая годовщина со дня его гибели. Приехал сюда из Дерпта и профессор Висковатый, собиравший материал для первой научной биографии Лермонтова. Сейчас Щуровский поднимался к Елизаветинской галерее, где они с Висковатым условились встретиться.

В Пятигорске день приезжих начинался рано. Птичьи хоры возносили хвалу солнцу, едва озолотившему восток. Утро взлетало над Кавказом. На тропинке, по которой артист поднимался в гору, похрустывали под ногою мокрые от росы мелкие камешки. Тропинка вилась между виноградными лозами, подвешенными на специально прилаженных одинаковых деревянных стойках. От дорожки этой отходили боковые к обзорным площадкам Горячей горы и, поднимаясь с одной на другую, отрадно было любоваться просыпавшимся уютным нарядным городком. Он постепенно для идущего как бы возникал

из ущелья, теряя клочья тумана. Это восходила роса с растений и влажных крыш, и горячие источники отдавали прохладе воздуха теплые свои испарения. Однако Щуровский не думал о пейзаже. Висковатый при их знакомстве прочитал ему некоторые, ранее не пропущенные цензурой, лермонтовские строки, и сейчас, стягивая узлом события давние и нынешние, Щуровский припоминал пророческое:

«Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пищей многих будет смерть и кровь…»

Грот Лермонтова, к которому он подходил, был уже отделен решеткой для защиты от любителей оставлять автографы на камне. Внутри были тесно размещены венки из искусственных или увядших живых цветов, сложенные здесь после гражданской панихиды по Лермонтову 15 июля. На концах шелковых дорогих лент можно было прочитать — кому и от кого подношение. А позади венков, обрамленная ими, темнела металлическая доска с отлитыми на ней скверными стихами доморощенного поэта Алексеева.

Возле грота господин, одетый солидно и мешковато, близоруко щурясь, пытался прочесть неясно видные строки стихотворения, становился так и эдак, записывая.

— Павел Александрович, — окликнул Щуровский Висковатого и, подойдя, вручил ему бумаги, свернутые трубочкой. — Вот, приготовил, как просили, местный «Листок для посетителей». Подобрал экземпляры с материалами о чествовании поэта. — Профессор благодарно схватил газетку и, аккуратно расправляя, начал укладывать в портфель. Он указал на доску в гроте:

— Помилуйте, что за стихи… Раешник какой-то…

Щуровский объяснил терпеливо:

— Здесь каждый поклонник Лермонтова радеет о сохранности его мест памятных… Посмотрели б на этот грот прежде. Уж давно молва связывала его с именем поэта, а здесь… Неопрятность, — знаете, разбитые стаканы на Елизаветинской галерее… Посетитель курортов, помещик Алексеев, лет пяток назад на собственные средства очистил грот, решеткой заделал и свои стихи в память скорбную Лермонтова на доске поставил. Стихи, как справедливо заметили, дурные, но кто ж Алексеева осудит…

— Погодите, — сказал Висковатый. — Я не совсем ясно представляю… Субсидирует казна эти памятные места?

— У казны на эти дела нет казны! — горько улыбнулся Щуровский. — Правительство, видите ли, сдает курорт арендатору, и до остального ему дела мало. Сейчас управители-

коммерсанты понимать начинают, что имя Лермонтова может стать приманкой приезжим, стать местной достопримечательностью, что ли. Вот в этом году арендатор Вод Байков — предприимчивый, надо сказать, господин — согласился устроить торжество в сороковую годовщину со дня гибели поэта, чтобы более денег собрать для настоящего памятника ему. Но что у него было в голове — популяризация курорта или благоговение к памяти — кто разберет… Но чествование Лермонтова состоялось все-таки и было, я знаю, первой публичной гражданской панихидой по поэту.

— Слыхал я, что инициатором памятного дня были Вы?

— Трудно сказать, кто тут первый сказал «а». Как-то стихийно все возникло. Все годы любители поэзии, каждый в одиночку, разыскивали его домик, старожилов расспрашивали, путаясь в местных преданиях, посещали места, всей России известные из «Княжны Мери». Вздыхали. Давали, как видите, средства на отделку лермонтовских уголков. Все это были частные, одиночные деяния. И только этим летом, сорок лет спустя после гибели, в городе зашевелилась мысль общественная…

Он искоса взглянул на профессора. — Может быть, разбудили ее петербургские события, а может, нестерпимо стало равнодушие и забвение… Собралась на Кавказе группа артистов, чиновники местные просвещенные… Возмутительно, знаете, когда в «приюте его вдохновенья», как тут называют грот, — битые стаканы… И сборы для памятника ему решили умножить.

— Я вошел в распорядительный комитет вместе с сотрудником моим баритоном Хохловым Павлом Александровичем. Якобсон Густав Христофорович — вице-губернатор Терской области — возглавил наше своеобразное лермонтовское общество. Хлопотали и волновались много, зато теперь на душе светлей…

Они подошли к краю площадки, и Щуровский стал сверху указывать место, где проходило чествование.

— В 12 часов дня после первой публичной панихиды об упокоении его души, в соборе… — он прервал себя с возмущением: — это и в биографии стоило бы отметить! Ведь отказался, было, эта каналья поп Эрастов панихиду служить!

— Он и в 41 году отказался, — заметил Висковатый. — Дуэлянт, говорил, не должен быть отпеваем как помышлявший на убийство. Будто Лермонтов — убийца, а не убитый! Говорят, Столыпин и офицеры чуть ли не деньгами другого священника подкупали. А в церковных книгах, я сам видел, запись: «Погребение пето не было». Неужели Эрастов еще жив? — Он торопливо отметил у себя, как отыскать этого священника,

современника и злейшего врага поэта.

— А не уместнее ли было панихиду отслужить на кладбище, над местом первоначального погребения? спросил профессор.

— Его еще отыскать надобно, так же как и место дуэли. Искать теперь, пока старожилы помнят. Когда гроб вынули, чтобы увезти в Тарханы, говорят, могилу завалили и плиту надгробную в нее закопали. Для местных же чиновных почему-то важнее поскорее место дуэли отыскать да отметить, — он усмехнулся. — Факт убийства, быть может, выдвинутый событиями общественными, для них больнее, чем следы самого праха. — Щуровский продолжал рассказывать.

— Мы, устроители, телеграмму ставропольскому митрополиту Герману… и только с его благословения состоялась панихида. Из собора траурное шествие депутаций от местных учреждений и обществ с венками и пением «Вечной памяти» направились к дому, где жил в последние дни Михаил Юрьевич. Там прикрепили памятную доску, вы, конечно, видели, дешевенькую, временную пока — деньги на памятник ему берегли. Кстати, владелец дома уже саморучно ее перевесил со стены дома на ворота… Потом вот этой дорогой шествие поднялось сюда, — он указал на площадку Елизаветинской галереи, — и тут, возле бюста поэта, на декорированном постаменте, на виду у города, состоялась панихида гражданская. Рассказали, что знали о жизни поэта, о творчестве… В толпе — молчание благоговейное. Музиль читал стихи. Гимназисты тоже… Дамы плакали, конечно.

— А затем в гостинице «Минеральные воды», — вы ведь знаете: это ресторация, Лермонтовым описанная, — в гостинице, — Щуровский вздохнул сокрушенно, — неизбежный поминальный обед по подписке.

— Обед! — тоже вздохнул Висковатый.

— Поминальный. Но со «сдержанными возлияниями». Сами понимаете, жующие уста имя Лермонтова произносили не часто. Отдавши, так сказать, «кесарю — кесарево», снова обратились мы к пище духовной. — Он указал на башенки Михайловской галереи. — Там — концерт. Строго академический, его памяти. Все артисты, бывшие на водах, почли за честь. Очень жалели — певица Монталон уже уехала, хотя иностранка — но я уверен… Артист драматический Музиль — стихи Лермонтова… Так он никогда прежде не читал: по спине — дрожь. Гурьева «Сон» пела. Она, Хохлов и тифлисский певец Усатов — Даргомыжского «Ночевала тучка». Я с Евдокимовой бетховенским маршем похоронным «На смерть героя» начали концерт и закончили. Без призыва, публика вся встала в молчании. Мы волновались

ужасно: впервые на публичном концерте его памяти! Вся выручка с концерта — на памятник ему. Артисты, разумеется, — безвозмездно.

— А вечером тут, — он обвел рукою пригорки, — иллюминация. Два оркестра. Народное гулянье. Без всяких эксцессов прошло. За весь день я не заметил ни одного простолюдина пьяного. Горцы джигитовку предлагали, да мы почли неудобным — день-то поминальный. Ну, а в киосках базар благотворительный — тоже на памятник. Вино там, чай, кофе, фотографии с его известных портретов для продажи, Ланге дал, Энгель — снимки его домика. Безвозмездно. Брелочки с его стихами тут изготовляют ювелиры и кустари — пожертвовали несколько коробок. Каждый что-то вложил…

— Вы, как организатор, довольны?

— Довольны мы тем, что чиновники почти не чинили препятствий, как им свойственно. Вот только Эрастов… каплю яда… А так все, включая простой народ, несмотря на минор даты, были приподняты… Все хочется этот поминальный день 15 июля назвать праздником.

— Пожалуй, это и был праздник общественного воскрешения памяти Лермонтова. Торжество поэзии бессмертной среди прозаических будней наших…

Они начали спускаться к Николаевскому цветнику. Висковатый, оглядывая окрестность, отмечал точность лермонтовского пейзажа и заметил, как любопытно задуман курортный городок в ущелье: при подъеме вынимается, будто из волшебной коробочки, при спуске — все уходит, точно обратно укладывается. Они остановились кинуть последний взор на зарумяненный утром, рельефно выступавший из далей снежный хребет.

— Гора из-за горы глядит, — сказал Висковатый. И прочитал:

Что на земле прекрасней пирамид

Природы, этих снежных гор?

Щуровскому же больше по сердцу была вторая половина четверостишия:

Не переменит их надменный вид

Ничто: ни слава царства, ни их позор…

Голубеющий Бештау напомнил строки:

Между Машуком и Бештау назад

Лет тридцать был аул…

— Его уж нет! — сказали они одновременно.

Так, со стихами Лермонтова на устах они миновали площадку, где под открытым небом, прямо на земле, стояли и лежали археологические памятники Кавказа. Рабочие обносили

решеткою этот своеобразный музей на воздухе. Обогнув Николаевский вокзал, двое вошли в грот Дианы. В его полумраке сидели на каменной скамье старая дама в кружевной тальме и по-крестьянски повязанном платочке и господин в чесучовом костюме и дворянской фуражке, какие обычно носили помещики. Висковатый вдруг весело раскинул руки:

— Э, да на ловца сам зверь бежит! Эмилия Александровна, а я вас уже два дня застать не могу! — Поцеловав маленькую руку, он обернулся к спутнику: — Вы не знакомы? Позвольте представить: артист московского театра Щуровский Павел Андреевич, большой поклонник таланта Михаил Юрьича. Вот, обходим с ним лермонтовские памятные места, и всюду он из Лермонтова декламирует. Бештау увидит — «Аул Бастунджи» у него на устах… И удивлялись мы оба точности описаний и пророческому дару поэта. Прочтите-ка, Павел Андреич!

Щуровский произнес негромко:

— Ну что ж? Мне жизнь все как-то коротка.

И все боюсь, что не успею я

Свершить чего-то…

Лицо старой дамы сморщилось, будто для слез, будто недовольно, а Щуровский, поняв, что перед ним Эмилия Шан-Гирей, которую в былые времена называли Розой Кавказа, бережно и почтительно приложился к протянутой руке:

— Вы, кажется, родственница…

— По мужу. Муж мой Аким Павлович Шан-Гирей — кузен Мишеля. Троюродный. И друзьями они были. Только я Мишеля еще до замужества знала… Вот тут сейчас вспоминала я о бале… последнем бале Мишеля… Здесь, на площадке грота, офицеры… вскладчину… как раз перед гибелью Мишеля… Нынче скучно здесь, однако в его память сюда каждое утро прихожу… — Эмилия вытерла слезинку кружевным платочком и, спохватившись, представила вошедшим своего спутника. Помещик в чесучовом пророкотал, пожимая руки:

— Хастатов… Хастатов…

— А это — Висковатый Павел Александрович, первый биограф Лермонтова, — улыбнулась ему старушка. — Все ездит, все ищет материалы, людей, которые знали Мишеля. Только — ах, противный, — на празд… торжество в память поэта опоздал!

— Опоздал! — вздохнул профессор, виновато склоняя лысеющую голову перед дамой, и обратился к ее спутнику:

— Вы каких же Хастатовых? — мягко спросил он.

— Бабы Кати, что авангардной помещицей звали, внук. Только он Мишеля не знал, — самодовольно пропела Эмилия.

— Не знал-с, — сокрушенно выдохнул Хастатов.

— А я сейчас внизу под Эоловой арфой показывал место, где ваше горячеводское имение было, где маленький Лермонтов жил, когда приезжал сюда с бабушкой.

— Одни остатки усадьбы, одни, батенька, остатки-с! Я теперь в Шелкозаводске обитаю, в имении нашем. Подагру лечить приехал, у Шан-Гиреев остановился.

Щуровский неотрывно глядел на Эмилию: она видела Лермонтова. Теперь она — живой осколок его горестной судьбы. Помнит его голос, знает манеры. Эти старческие пальчики были прекрасны и так же легко ложились на ладонь язвительного офицера.

Прежде он воспринимал Лермонтова только через его творения. Их создатель мыслился нетелесно, гением идеальным. Этим летом в Пятигорске соприкосновение с остатками вещного, еще живущего мира, окружавшего поэта, пробудило подобие близости житейской. Он увидел, узнал человека, офицера Михаила Юрьевича, а сейчас еще и Мишеля, хрупкую жизнь которого так легко было украсить или измять и даже убрать вовсе. Вот таким Лермонтов всюду теперь виделся, но только поцеловавши узловатые пальчики, он ясно осознал это для него новое «чувство Лермонтова». Господи, ведь глаза, в которые он теперь смотрел, когда-то улыбались Мишелю!

Эмилия, конечно, узнала в Щуровском одного из организаторов июльского церемониала — все распорядители в тот день ходили с пышными кокардами из синих и белых лент на левой стороне груди. Она погрозила пальчиком Висковатому: «Вам, именно Вам, следовало бы увидеть наше торжество 15 июля. Как прекрасно было все организовано! В траурном шествии дамы несли венки, 27 депутаций и от каждой — венок. Самые красивые были от гвардейских офицеров, армянского общества и администрации города. Были депутаты из Петербурга, от Николаевского кавалерийского училища. Его начальник, полковник Бильдерлинг, прислал телеграмму, и это… как его, общество… ну… драматических писателей тоже — телеграмму. Подписал Аполлон Майков — Вы, конечно, знаете его чудные, чудные стихи.

— А туалеты дам!.. Знаете, это ведь, собственно, и не праздник был, а ну… вроде общественной панихиды. Мы посовещались: строго, но чтобы — elegante. Я глядеть не могла без слез на гирлянды и фонарики иллюминации: все представлялся мне наш молодой бал в этом гроте, последний Мишеля бал… За сорок лет со дня смерти такой истинно народный праздник был впервые!

Щуровский не выдержал:

— Сорок лет молчали, будто не было у нас Лермонтова.

Тут вмешался Хастатов:

— Помилуйте, как молчали?! Вот уж десять лет собирают в Пятигорске, именно в Пятигорске, деньги… народные деньги на памятник Лермонтову. В «Листке» идут объявления… Герсеванов и другие ученые лекции публичные читали. Сборы — на памятник…

Висковатый, усевшийся в сторонке, ближе к свету, и просматривавший газеты, принесенные Щуровским, сказал:

— В отчетах пишут, что 15 июля сумма сбора достигла 22 тысяч.

— За 10 лет — 20 тысяч Лермонтову! Не маловато ли?

Это была дерзость, и Эмилия скосила глаза на Щуровского: и пробормотала, что в ее киоске сумма была наивысшей: у современницы поэта, а нынче и у родственницы его, покупали особенно охотно. Щуровскому эта еще крепкая старая дама нравилась меньше и меньше. Он неотрывно наблюдал за нею.

— Нынче скучно здесь, — повторила она, меняя разговор, и подумала, что Щуровский «из семинаристов».

— Да, на Водах нынче не слишком людно, — заметил, астматически хрипя, помещик. — Я ожидал большей толкотни… Убытки- с! За лето всего восемнадцать ящиков моих коньяков с Шелковских заводов продано…

— Это «Райские слезки?!» — удивилась Эмилия. — Его так хорошо покупали в киосках в день памяти Мишеля. И на обед поминальный брали ящиками…

Астматический господин поморщился:

— Вы, дорогая, забываете: то был жертвенный коньяк. Вы продавали его в киосках с целью благотворительной, на памятник Лермонтову, но ведь я за него ни копейки не получил…

Эмилия подняла брови:

— Вы точно жалеете, точно упрекаете…

— Ну что Вы, что Вы, это я так… Мой долг… Родственный-с… А съезд на Воды невелик потому: в российских губерниях неурожай…

— А быть может, события петербургские…

Эмилия даже привстала от волнения:

— Конечно, когда прямо на улице злодеи убивают помазанника Божия, царя-освободителя, какие могут у порядочных людей быть курорты… Вся страна в трауре… Я, узнавши, несколько дней разговаривать не могла… — Заслезившиеся глаза снова были промокнуты кружевным комочком…

Висковатый приблизился с газетой: — Вот послушайте. —

Среди множества объявлений — о сдаче комнат, о пикниках вскладчину, магазинных реклам — он отыскал статью с оценкой отшумевшего лермонтовского дня.

— «Пятигорск и случайно собравшиеся в нем представители всей России, весь день посвятили чествованию одного из тех талантов, которыми гордится нация, и которые свидетельствуют о степени ее развития…»

Эмилия хорошо знавшая эту статью, беззвучно шевеля губами, с упоением повторяла за Висковатым текст: «нация… степени развития…»

— «Отдание должного должному, воздание подобающей части по заслугам… свидетельствующее о нравственной возвышенности народа…»

«Народа»… — прошелестели увядшие уста..

— Чиновник писал, — с усмешкой сказал Висковатый. — Однако тепло. «Желательно, чтобы даже после постановки памятника, высочайше разрешенного, — Эмилия вздохнула: разрешивший уже не существовал, — празднество это было ежегодно, — читающий повторил: ежегодно! — источником добрых дел, в память человека, который воспел наши горы, первый познакомил Россию с прелестями Кавказа…»

— Ежегодно отмечать день Лермонтова предполагается. А? — Он восхищенно обвел глазами слушателей. — Родственникам, постоянно здесь живущим, и подхватить бы такую инициативу. А?

— Родственникам неудобно, — жеманно потупилась Эмилия. Хастатов, дыша с натугой, повторил: — «Неудобно-с».

— Ведь, весь тот день был нами… городом Мишелю отдан… — прощебетала старая дама.

«Не маловато ли, за сорок лет один-единственный денек», — снова едко подумал Щуровский, но вслух произнести такую неучтивость уже не решился. Он все внимательнее присматривался к увядшей «Розе Кавказа», как некогда называли ее пятигорские офицеры.

Висковатый обратился с расспросами к Хастатову. Тот отвечал, хрипя, вытирая пот со лба, полный важного сознания, что «работает для истории».

— Вам, вероятно, говорили у Шангиреев, что нынче в Пятигорске назначена комиссия, чтобы определить точное место дуэли Михаила Юрьевича с Мартыновым. Место это неизвестно никому из тех, с кем я говорил, не знаете ли вы…

Щуровский, оторвавшись на минуту от разговора с Эмилией, которая повторяла ему рассказ о бале, молодо и горячо воскликнул:

— Позор это, позор, господа! Сорок лет прошло, и

удивительное молчание царит об обстоятельствах этой гнусной дуэли! Место ее позабыли, и все, связанное с Лермонтовым, чем дальше, тем более забывается. Надо все, господа, сделать, чтобы установить, пока еще есть свидетели живые, место, где его священная для России кровь пролилась!

Эмилия слегка покраснела и, помолчав, произнесла:

— Никто, никто место это не найдет нынче. Изменилось все тут. Леса вырубили. Аким Павлович, муж мой, искал то место, кажется, молодым еще, да позабыл. Где-то у Перкальской скалы была дуэль. Где уж отыскать! Я там и не была в те времена.

Щуровский посмотрел на Хастатова. Тот прохрипел:

«Не знаю, сам не бывал-с», — но вдруг хлопнул себя рукою по лбу: «Позвольте, господа! Ежели комиссия место ищет, так я знаю, кто это место помнить может. Был у нас дворовый человек Евграф Чалов, конюший наш. Он дуэлянтам коней давал и жив еще. Приходил ко мне недавно, сливы приносил из собственного саду. Надобно его отыскать!»

Висковатый торопливо записал в книжечку имя и приметы бывшего крепостного.

Щуровский, торопясь исправить возникшую было неловкость от своего восклицания, снова любезно обратился к Эмилии:

— В вашем доме, сударыня, слышал я, и состоялся роковой вызов? — осторожно спросил он.

— У нас, как же, у нас, — снова защебетала старушка. — Я уже в печати об этом рассказывала. Ну, а вам, коли вы Мишеля поклонник, еще расскажу.

Где-то вдали заиграл на скрипице и запел слепой нищий: — «Что же мне так больно и так трудно», — зазвенело в гроте. Эмилия точно от назойливой мухи отмахнулась от занесенной ветром мелодии и привычно, по былой моде жеманясь, начала рассказ об «ужасных, ужасных» июльских днях 41 года.

13 июля вечером у них в гостиной танцевали. Она дулась на Лермонтова за то, что он ее дразнил. На морщинистом личике вспыхнул какой-то недобрый свет.

— Да он и всех дразнил постоянно… Вдруг он говорит: «М-зелль Эмили, прошу вас, один тур вальса, последний раз в жизни!» — Ну, коли последний, говорю, так пойдемте!

Речь Эмилии, по-старинному изящная и легкая, уже окаменевшая в привычных, не раз повторяемых штампах рассказа о ссоре в их гостиной, лилась как ручей:

— … Потом на крыльце нашего дома Мартынов его и вызвал.

Щуровский закрыл глаза. Тень Лермонтова снова встала перед ним. И он понял, почему его раздражала Эмилия. Он понял язвительного юношу, неудачи его последних месяцев, ожидание

пули на кавказских редутах, его горечь и духовное одиночество среди толпы ничтожных Голицыных, Трубецких, Мартыновых, таких вот… Вот такие, как она, убивали Лермонтова. Убивали ежедневно пустой манерной болтовнёю, чванством, равнодушием к добру и злу… А потом среди них нашелся и меткий стрелок…

Теперь светские интонации бывшей провинциальной светской львицы показались ему неприятными и чем-то враждебными Лермонтову. А она с теми же вздохами, с какими рассказывала о бале, закатывая глаза и вставляя по привычке французские слова и фразы в свое торопливое бормотанье, продолжала:

— …Вбегает полковник Зельмиц. Волоса растрепаны, лицо испуганное, кричит: «Наповал! Один наповал, другой на гауптвахте! Лермонтов на дуэли убит». Ну, тут переполох! Мы все в бальном… С матушкой истерика. Она очень любила Мишеля…

— Вы ничего о предстоящей дуэли не знали? — осторожно спросил Висковатый.

Будто не услышав вопроса, Эмилия продолжала говорить, волнуясь.

К гроту подошли еще несколько человек и, стоя поодаль, прислушивались к рассказу. Это ей льстило. Луч чужой великой славы поэта в это лето озарил и ее, безвестную Эмилию Шан-Гирей, урожденную Клингенберг, падчерицу генерала Верзилина. Сейчас она забыла, как повторяла злобные сплетни светских пошляков о «невыносимом нраве» поэта, всегда называла его несносным, как боялась его острого языка. Она и о дуэли знала, но никому, даже матери, не сказала об этом, чтобы не подняли шум заранее, не остановили, надеясь, в тайной злобе, что Мартынов, наконец, проучит «несносного болтуна». Ей казалось тогда, что до Лермонтова дошли слухи об ее скандальном романе с Барятинским. Ах, она так боялась этих слухов! Однажды, играя крохотным кинжалом, Мишель шутливо заметил: «Этим ножом, вероятно, очень удобно убивать детей». И ей показалось тогда, что при этом он по особенному взглянул на нее. Как она хотела тогда, чтоб несносный болтун исчез! Но теперь это все забылось. Она с упоением брала на себя часть его славы, она называла его «наш Мишель», «наш незабвенный поэт». Ей посчастливилось дожить, она была той нитью, что связывала нынешнее с тогдашним, она его видела, знала о нем больше, чем собравшиеся здесь…

— Говорили, потом, — дребезжал ее голос, — Лермонтов предупредил секундантов Мартынова, что не будет стрелять в приятеля, а те не остановили дуэль. Мартынов и убил Мишеля…

Звуки скрипки нищего умолкли. В гроте была тишина. Висковатый слушал, не записывая: все это он уже слышал от нее.

— Боже мой, как легко, как просто она об этом ужасе рассказывает, так же, как о и балах, — думал Щуровский. — Вот что такое светская женщина! Россия потеряла Лермонтова, а ей что? Что ей слава и гордость России!

— …Пушкин Лев сказал тогда, что дуэль бьша против всех правил, и ежели бы не мальчишки секунданты были, дуэль не состоялась бы…

«Дуэль не состоялась бы…» — слышал Щуровский. Если б его тогда не убили! Ведь могло же быть: уцелев от чеченских пуль, сидел бы он сейчас в этом самом гроте на месте вот этой болтуньи, седой, умудренный годами, но едва ли остепенившийся, маленький и сутулый. Это было, как воскрешение из мертвых, мгновенно пережитое пылким воображением артиста…

…Лермонтов Михаил Юрьевич вошел в грот, худощавый, сутулый и маленький. Странно было видеть его стариком, в штатском, хотя и в старческом облике сохранилась осанка бывшего военного; какая-то вышколенная лихость осталась в быстрых движениях. Он был без картуза, и голова его, облысевшая со лба, с боковыми зачесами совсем поседелых реденьких волос, выделялась в полумраке грота. Большие, когда-то яркие глаза уже потускнели, окруженные коричневыми тенями. Однако взор их был изучающим, пристальным. Он присел напротив и сбоку, округлив по-птичьи глаза, посмотрел на стариков. Подергал плечом, усмехнулся тому, как постарела «Роза Кавказа», достал из кармана только что полученное письмо и, разорвав сухими стариковскими пальцами конверт, углубился в чтение.

Вести были нерадостные, и плечо его дергалось снова и снова. Писал ему Салтыков-Щедрин, по обычаю своему пересыпая речь непристойнейшими словами — так мужчина пишет другу — мужчине, — что цензура опять искалечила его новый роман, что после первого марта все идут аресты и казни, сосланы общие друзья, запретили служить публичные панихиды по Достоевскому, Некрасову, о Чернышевском по-старому нет вестей. Под угрозой журнальное их дело. Что Тургенев окончательно засел в своем Буживале и пишет, говорят, «Стихотворения в прозе», а Толстой трудится над «Исповедью». Кому это надобно? Нужен как никогда «железный стих, облитый горечью и властью», но оскудевает направление, к которому оба они принадлежат. И ничего ему, Лермонтову, отсиживаться на Водах: ну кто излечивал рюматизмы да печени в наши преклонные годы? До этого ли нынче! Пора возвращаться в Петербург к беспокойному писательскому ремеслу. И, читая такое

письмо, Лермонтов стал сердит и рукою тронул больную печень, и заметил Щуровский желтоватый оттенок его глазного белка…

Видение было так явственно, так зримо, что артист больше не хотел смотреть на Эмилию. А они теперь говорили о Мартынове. Висковатый сообщил, что тот умер только шесть лет назад, что по требованию интеллигентной общественности готовил какие-то воспоминания о Лермонтове и дуэли, но за всю свою долгую жизнь так и не смог их закончить. Да и как ему было оправдаться! Эмилия же вспоминала, как после недельного следствия о дуэли Мартынов их посещал ежедневно, как они, сестры Верзилины, щадя его, избегали при нем произносить имя Лермонтова, и только мать их не выходила в гостиную, когда там был романтический убийца поэта. И под журчанье старческих речей Щуровский думал: как могла она, эта женщина, которая теперь с замиранием в голосе говорит о «нашем Мишеле», как могла она принимать у себя щеголеватого убийцу, щадить его совесть, подавать ему руку и, быть может, боясь стародевичества, кокетничать с ним! Как могла?!

Не дослушав и ни с кем не простившись, Щуровский вышел из полутемного грота. От скользящих узоров листвы и света гравий на парковых дорожках будто шевелился. Уже припекало. Тени утра исчезли. Бескрасочно светлые массивные солнечные плиты лежали на возвышениях окрестных гор. Курортный городок кипел повседневностью: возле Николаевских ванн сновали разодетые господа, громко расхваливали товар разносчики фруктов и каймака, где-то оглушительно охал ишачок.

Щуровский уходил от грота и читал шепотом:

…Есть время — леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен: усыпленье дум;
Меж радостью и горем полусвет…

* * *

Возле здания городской управы стояли фаэтоны, экипажи разных фасонов. На щегольских беговых дорожках подкатил тучный барин в черном сюртуке матового сукна и, не торопясь, разглаживая шелковистые усы, поднялся по ступеням.

— А, господин Байков! Ждем, ждем. Все уже в сборе, — встретил его Висковатый, и они прошли в маленький зал с огромной иконой в серебряном окладе. Там уже стоял накрытый зеленым сукном стол, придвинутый к новенькому портрету Александра III, расставлены были рядами стулья, а в стороне, на

мольберте, задрапированным черным крепом, скромно притаился небольшой литографский портрет Лермонтова в темной рамочке.

— Вице-губернатор из Владикавказа должен приехать. Подождем его и начнем, — сказал городской голова Карпов, председатель комиссии.

В том году, когда Лермонтов погиб, Карпов был еще писарем в Пятигорской комендатуре, хотя уже содержал гостиницу в Железноводске. Через его руки в 41 году прошли иные бумаги, но когда к нему обратился за сведениями Висковатый, оказалось, что он тогда «не любопытствовал и многое начисто забыл». Постепенно Кирилл Иванович подымался, стал крупным домовладельцем, почетным гражданином города. Как хорошо бы оставить имя свое на страницах лермонтовской биографии! Эх, запомни он поточнее, был бы сейчас главным лицом! Врать же он не смел: понимал, что тут потребуется точность. Он обвел глазами сидящих.

Среди визиток, чиновничьих и военных мундиров, светлых летних тужурок серым пятном выделялась фигура низенького морщинистого старика-мещанина, в новом не по голове картузе, жилетке и стареньком пиджаке, какие носили лет тридцать назад. Он непрерывно шевелился, вытирая потеющее лицо дурно выстиранной розовой тряпицей, томился и явно робел в обществе приятно пахнущих господ. Другой, крупный, старик истово и чинно сидел под иконой, в углу, одетый в извозчичью поддевку. Совсем седые волосы, смазанные лампадным маслом, были расчесаны по-русски на прямой пробор, но весь облик с хрящеватым носом и круглыми, когда-то диковато-озорными глазами напоминал усталого и больного орла. На стариков никто не обращал внимания, точно их тут не было. В заднем ряду кресел усаживались Щуровский, молоденький местный фотограф Раев, мелькнуло несколько студенческих мундиров. Эмилия Шан-Гирей, сияющая и помолодевшая, в амазонке и маленьком беретике с пером, окруженная членами комиссии, сидела рядом с Висковатым и говорила, говорила без умолку:

— Уж не раз, даже в печати, опровергала я мнение, что дуэль была из-за меня и что княжна Мери — это я. С Михаилом Юрьевичем я хорошо познакомилась-то лишь в последнее лето, когда «Герой нашего времени» был уже напечатан. Так что эти разговоры — вздор, вздор! А вот кто изображен Грушницким, я знаю. Это офицер Колюбакин. Читая роман, мы все повторяли: «Ах, да это Колюбакин, позер Колюбакин». Кстати, Мартынов тоже отчасти такой был. А доктор Вернер — это же Майер, хромой лекарь Майер…

Висковатый из портфеля, с которым не расставался, достал

небольшой листок. На нем было нарисовано в профиль некрасивое лицо с толстыми губами и огромным лбом.

— Вот отыскал я его автопортрет. Узнаете? — он протянул листок Эмилии.

Все столпились, разглядывая портрет. Подошел и Щуровский.

— Ну да, это он! — обрадовалась Эмилия. — Умная и злая уродина!

Щуровский негромко сказал знакомому голубоглазому студенту:

— Уж этот-то Лермонтову был по душе, по уму. Тоже цену светской знати понимал. — Он еще понизил голос: — Майер-то и знакомил здесь поэта с декабристами, которые тут в солдатах служили. Говорят, его самого за связь с ними высылали из Пятигорска.

Уважительно помолчав, студент кивнул на неподвижно и одиноко сидевших мещан:

— А эти здесь почему?

— Бывшие дворовые помещиков здешних. Они место дуэли помнят, — отвечал Щуровский и прибавил со злобой: — Просвещенные господа, родственники даже, сорок лет ахали, ужасались, а никто, никто по свежим следам не отметил место, где Лермонтов погиб, не побывали там ни разу. А теперь вот обращаемся к людям из неграмотного народа нашего, может быть, только они и помнят, где был убит «стихотворец» Лермонтов.

Студент нахмурился:

— Обстоятельства дуэли темны. Вы не находите? Слухи разные ходят…

— Нехорошие слухи. И Висковатый нынче полной истины дознаться не может, как это дуэль происходила. Поздно спохватились. Кто умер, кто позабыл за старостью, а кто, может быть, и знает (он покосился на Эмилию) больше других, да за болтовней и щебетаньем светским прячется.

— Может быть, потомки… Бумаги отыщут… — неуверенно сказал студент.

— Потомки… Им еще трудней придется. Ведь вот сорок лет прошло, стихи Лермонтова в школах учат, а полной, научной биографии его еще никто не собрал; сколько стихов его погибло! Великая заслуга профессора Висковатого, что начал писать первую биографию по документам да живым свидетельствам. А слухи и воспоминания — зыбкая вещь. Сказал мне профессор, что бабушка Михаила Юрьевича раздавала его бумаги, тяжела ей была такая об нем память. Много сохранил Аким Шан-Гирей, спасибо ему… да он, будто, кое-что и сжег, что, по его мнению,

было дурно. — Студент едко усмехнулся:

— Аким Шан-Гирей судил, что дурно, что хорошо, по его смыслу.

Позвякивая и сверкая кавказскими украшениями белой черкески, вошел, наконец, вице-губернатор Терской области, надменный и чопорный Якобсон и, кивнув собранию, сразу прошел к столу.

Карпов встал:

— Позволю напомнить вам, господа, о задаче, которую поставила собранная нами комиссия. В ее состав пригласили мы уважаемого профессора Висковатого, знатока жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Управляющий Кавказскими Водами господин Байков, большой почитатель великого нашего поэта, вошел к нам с ходатайством в сороковую годовщину гибели, которую в этом году мы так хорошо отметили — в первый раз, — воздвигнуть своим иждивением памятник в виде креста на месте дуэли, где пролилась, так сказать, священная для всей России… — он поправился: — мыслящей России, кровь. Тут выяснилось, господа, что точное место дуэли, можно сказать, и неизвестно. Называют поляну у Перкальской скалы под Машуком, а точно указать место не могут. Лесник Перкальский, живущий в караулке с той поры, показывал публике место возле скалы, получал чаевые. Когда караулку перенесли, он стал из корысти и по старческой слабости показывать другое место, поблизости новой караулки, где жил. Все запуталось за десятилетия.

— И вот, здешний помещик, владелец Шелкозаводска Хастатов отыскал простых людей, невольных участников дуэли, кои могут место сие уточнить. Мы их показания занесем в протокол и, ежели показания сойдутся, отныне указанную ими поляну будем считать местом дуэли поэта и там сделаем памятник, предлагаемый господином Байковым.

В зале становилось душно. Кто-то распахнул окно, и в комнату вошел ветерок, теплый и ласковый, зашевелил бумаги, прошелся по волосам сидящих. Стал отчетливей городской шумок, главным звуком которого было краканье копыт по булыжной мостовой.

— Евграф Чалов, — громко позвал Карпов. К столу засеменил маленький старик, сдернул картуз, поклонился, робея, собранию, и отдельный поклон отвесил в сторону Хастатова. Его бегающий взгляд опасливо и недоверчиво остановился на руке писаря, которая изготовилась писать протокол.

— Сколько тебе лет, дедушка? — спросил Якобсон, любопытно взглянув на хилую фигурку.

— Семьдесят второй годок с Благовещенья пошел, ваше

благородие, — почтительно вытянулся старик.

— О Лермонтове слыхал?

— А как не слыхал! — оживился старик. — Его да Пушкина, почитай, вся Расея теперича знает. Он моих помещиков Хастатовых сродственник был. И Аким Палычу Шангирею, вроде, братеник. Я его хорошо помню, Михайло-то Юрьича. Бывалоча… Его, почитай, на моих глазах и убили тута, в Пятигорском.

К старику обратился Висковатый:

— Я, голубчик, жизнь Михайла Юрьича описываю. Мне все интересно, что вы о нем знаете. А сейчас, нам, дедушка, важно, чтоб рассказали, что помните о дуэли, да ее место указали. Больше нам от вас ничего не нужно, — добавил он, заметив, что старик забеспокоился.

Помолчав и помявшись, Чалов заговорил:

— Что помню, в точности расскажу… Держал я в те поры от себя конный двор возле господской усадьбы. Лошадей моих господа ахвицера часто напрокат брали. Прокатиться, значит, для манежу. Так вот, летом, помню, было. Два барина: один — ахвицер, Столыпин Алексей Аркадьич, тоже Михаил Юрьичу сродственник, а другой, кажись, в штатском, Васильчиков, князь, их сиятельство. Об вторую половину дня, будто, было это… Наняли у меня двух коней, ехать им в Шотландку надобно. Тогда колонию Каррас так называли. И мне приказали с ими ехать, коней, будто, им подержать надобно. В Шотландке была кофейня Рошке — немца-колониста. Возле кофейни к ним еще офицера пристали, и Михаил Юрьич был. Поехали мы все вместях к Машухе, влево свернули и спешилися все.

Байков нетерпеливо спросил:

— Далеко ли место, где спешились?

— За кладбищем, в сгиб Машука, версты две с половиной отсюда. Невдалечь Волчьей балки. Да я то место вам потом покажу!.. Спешилися они все, поставили меня за кустами коней стеречь. А сами по-за кусты на полянку возле Перхальской скалы ушли. Ну, хожу, вожу лошадей, чтоб остыли. Вечереет уже. Гроза собирается. Молоньи небо так и полосуют… Слышу выстрел. Крики… Заплакал громко кто-то, должно, Столыпин Алексей Аркадьич. «Убит, кричит, убит!» Тут понял я, что был между ими дуель этот самый.

— Один был выстрел? — с места спросил Щуровский.

— Кажись, один. Прогремело… — старик задумался на мгновенье.

— Испугался я. Поглядел из-за кустов. А! Вижу, Михайло-то Юрьич, батюшка наш, лежит навзничь и трава возле него кровью обрызгана. А дожж уже крупными каплями вокруг шумит…

Подбежали ко мне Столыпин, заплаканный весь, губы, руки трясутся, и Васильчиков — князь, пали на коней, и мы трое в город уже под ливнем в темноте поскакали наметом. Они между собой по французскому, должно, что-то говорили, мне непонятное. Возле дома, где Михаил Юрьич жил, они меня с конями домой отпустили. Больше ничего не знаю.

Все слушали, затаив дыхание. Только ветерок шевелил бумаги, да иногда в окно доносился цокот копыт по булыжникам. Карпов, волнуясь, дергал себя за галстук. Эмилия, не отрываясь, разглядывала старика в лорнет. Щуровский, не выдержав, громко и строго спросил с места:

— Выходит, Столыпин — друг и родственник Лермонтова — бросил его тело и уехал?

За столом произошло легкое движение. Чиновные члены комиссии поверх голов старались рассмотреть Щуровского. Надменный лорнет Эмилии блеснул беспокойно стеклышками и опустился. Висковатый глядел в пол. Якобсон недовольно сказал Карпову что-то о посторонних, которых не следовало бы пускать. Он прекрасно знал артиста и его роль в лермонтовских событиях в это лето. Его замечание было оскорбительным, но Щуровский пренебрег, взволнованный более важным.

— А не знаете ли, дедушка, кто все-таки остался возле тела, когда вы уехали? — тихо спросил Висковатый.

— Говорили люди, что все оттуда разъехалися в тот вечер. Ведь дожж, говорю, лил, как из ведра, воробьиная ночь, была, — понурясь, ответил старик, заметивший, что он чем-то разгневал господ.

Щуровскому стало почти дурно от отчетливой и зримой мысли, которая у него возникла. Он сжал кулаки и закричал:

— Господи, Боже мой! Один! В темноте! Под ливнем! Лермонтов, быть может, еще живой, оставался на месте дуэли! Ведь это ужас! Господа! — Ужас!

Присутствующие зашевелились. Хорошо одетые люди за столом вежливо молчали. Лорнет не подымался более. Висковатый неподвижно смотрел перед собою.

— Выходит, может и так, — комкая картуз, потупясь, прошептал старик. — Дальше ничего не знаю. Испугался я дюже. Знал, что дуели эти законом запрещены. Людей даже опасался спрашивать потом. А то место, где они билися, знаю, помню хорошо: дело-то начиналось засветло. — Старческий тенорок постепенно крепнул. — Я то место вот сорок лет господам показываю, которые интересуются. Сродственники Лермонтова, что ли, за его телом присылали. Я ихних людей туда водил. Вот ихнему супругу, Шангирею, Аким Палычу показывал.

Напряжение, вызванное восклицанием Щуровского, несколько разрядилось. Старик, ободрясь, продолжал:

— Тогда с той поляны хорошо была видна колония Каррас, — Чалый по-местному произнес «Карась», и все заулыбались. — Теперича деревьев много, не видать… — Он еще помолчал, подумал, что бы еще доложить уважаемому собранию, и снова заговорил: — Сестра моя белье на Михаил Юрьича стирала, бывалоча. И тогда канаусовую красную рубашку его, в которой убит был — в крове вся, — отдали было ей постирать. А потом говорят: «Носи ее, Евграф!» Я ее, поминая покойника, и сносил. Потом, сказывали, бабушка ихняя спрашивала тую рубаху, с его кровью, значит, а ее уже сносил. — Евграф помолчал, вопросительно-опасливо оглядел собрание, потом глаза его улыбнулись и он неожиданно скороговоркой сказал: — Тую рубаху Михайла Юрьич любил, темненькая она, немаркая, и под мундиром носил. Как сеча жаркая, он счас мундир долой и в рубахе одной — в сечу. Так вот, верите — не верите, есть у меня тут куначок — азиат один. Он в те времена с немирными горцами против нашего войску стражался. А надысь рассказываю я ему, что меня про Лермонтова спрашивать будут. Он мне и говорит: «Знал я его. В красной рубашке, говорит, в сечу кидался, смелый был. А мы, говорит, как увидим рубаху красную, так по ней не стрелим, потому что знали: это русский акын, гевака». Гевака — это по-ихнему стихотворец. А они их уважают дюже и почитают за грех убивать… — Старик совсем осмелел и собирался еще что-то рассказать, но его перебил Карпов:

— А кто еще из местных жителей может место дуэли указать, не знаешь?

— Кузьма Чухнин, извозчик, еще то место, говорят, знал. Только помер недавно он. А остался его брат Иван. Он, вроде, тоже знает, — неохотно пробормотал Чалов и посмотрел в угол, где неподвижно дожидался своей очереди другой мещанин. Все посмотрели туда, и Карпов сделал приглашающий жест. Орлоподобный старик подошел к столу.

— Ты пятигорский мещанин Иван Чухнин? — прозвучал вопрос.

— Так точно, ваше благородие, — прогудел бас.

— Расскажи нам, Чухнин, что знаешь о дуэли поэта Лермонтова. Помнишь такого? И место дуэли мог бы указать?

— Об этом лучше знал мой брат Кузьма, но я сам, хотя при том деле не был, кое-что помню, от брата слыхал. Были мы дворовые люди господ Мурлыкиных, а Мурлыкины держали здесь беговые дрожки для господ приезжающих. Мне в ту пору было… двадцать пятый год пошел. На беговых дрожках с братом обое

кучерами ездили. Вот было так. Часов в 10 вечера, дожж льет, как из ведра. Прибегают к нам на конный двор два офицера дрожки-линейку нанимать. Мокрые совсем. Торопятся. Ну, мы люди крепостные были, надо ехать, раз господа требуют. Поехал с ними брат Кузьма. Вернулся поздно, весь мокрый, и сказал, что привез с-под Машука в дом майора Чиляева убитого на дуэли офицера. Он его и прежде знал, тот часто наши дрожки нанимал. Рассказывал, что его слуга Ваня, дворовый, значит, его человек, дюже кричал над барином, волосья на себе рвал. Любил его, стало быть. Поговорили мы с братом, что, видно, хороший барин, хороший человек убитый был, поудивлялися господскому обычаю дуелей энтих самых. А утром глядим, а дрожки-то все в крове. Мы скореича их мыть. Дня этак через два пришли к нам господа офицеры, молоденькие, просят, покажи да покажи им место, где тот офицер убит. От них и узнали мы фамилию его и то, что писатель он знаменитый был. Повел их Кузьма, ну, и я тоже посмотреть увязался. Цветы они там раскидали и стихи читали про то, как убит поэт, невольник, мол, чести…

— А нашел бы ты это место сейчас? — спросил Карпов.

— Найти-то нашел бы. — Старик покосился в сторону Чалова. — Я туда и потом господ водил. Да то ли это, ваше благородие, место? Кузьма-то в темноте туда ездил. А я и вовсе в тот нещастный вечер там не был…

Карпов переглянулись с Висковатым.

— Ну, а когда вы с офицерами туда ходили, там следы какие-нибудь оставались: кровь, например, трава примятая?

— Нет, ваше благородие, следов не было. Да и то сказать, откудова быть следам? Ежели не ошибся братан Кузьма и поляна истинно та самая, ведь воробьиная ночь была! Гроза ужасная! Дожжем и кровь смыло и траву распрямило бы. Тут, ваше благородие, лет пяток назад фотограф наш местный, господин Энгель, да его ученик Раев — вот они сидят, соврать не дадут — брата, еще живой он был, пытали показать им это место. Они там тогда камень бел положили. Вроде как памятник. Для потомства, значит. Братан им и камень тот подкатывать помогал.

Все посмотрели на двух скромно сидящих мужчин, старого и совсем молодого. Молодой покраснел, как кумач, старый кивком подтвердил сказанное.

— Выходит, фотограф первый памятник уже поставил, — снисходительно улыбнулся Байков.

— А только нет полного ручательства, ваше благородие, что брат в темноте правильно запомнил, — продолжал солидно старик. — Вот, что вез Лермонтова мертвого с дуеля Кузьма Андреев Чухнин, пятигорский житель, это точно. Его тут так и

называли: «лермонтовский извозчик».

— Точно ли? — подумал Висковатый. Ему говорили, что тело привезли в дом Чиляева слуги поэта.

— Ну что ж, господа, поедем теперь на место дуэли, — предложил Карпов. Все зашумели и направились к экипажам. Оба старика стояли у выхода, и господа, проходя мимо, порывшись в кошельках, давали им что-нибудь, как на церковной паперти. В пальцах Якобсона сверкнули два новеньких целкаша. А «жертвователь» Байков вытащил пузатый бумажник и из толстенькой пачки двадцатипятирублевок неторопливо отслюнявил каждому по одной. Когда все расселись по экипажам, старики еще стояли на крыльце, плохо понимая, что им еще следует сделать.

— А старики-то, стариков-то куда? — забеспокоился Висковатый.

Двое студентов соскочили с пролеток, уступая место невольным героям дня.

— Пока вы в объезд, мы и пешком добежим, — весело крикнул один. И, махнув отъезжающим, оба двинулись к подножию Машука.

Эмилия многих удивила: молодо и ловко вскочив на ожидавшую ее лошадь — все поняли, почему она в амазонке, — махнула перчаткой отъезжавшим:

— Я еду, еду за вами…

Карпов объяснил собравшимся, что старая дама ежедневно совершает прогулки верхом, удивляя весь город.

А писарь Управы, проводив экипажи, бережно оправил узенькие брюки в мелкую клеточку и уселся перебеливать оставленные на столе протоколы… «…нет полного ручательства, что брат

в темноте то место правильно запомнил», — усердно выводил он.

* * *

Памятный крест не был тогда поставлен. Небольшая каменная пирамида долгие годы отмечала полянку под Машуком, которую комиссия условилась считать местом дуэли. Временные памятники и гипсовые бюстики быстро разрушались сыростью и непогодой. Негодовали передовые деятели и «почитатели», сменялись хозяева города-курорта, деньги собирались и тратились, но настоящего монумента на месте дуэли все не было. В 1889 году на народные средства в городе был поставлен

памятник Лермонтову, отзвучали торжественные тосты и речи по этому поводу, забылись стихи Коста Хетагурова, который от имени горской молодежи приветствовал тогда певца Кавказа, а место дуэли оставалось заброшенным и пустынным. Забредали туда отдельные почитатели, нацарапывали иногда свои нехитрые вирши на дешевеньких бюстиках и колонках, воздвигаемых меценатами. Все стирало время.

Только к сотой годовщине рождения Лермонтова знаменитый скульптор Микешин изготовил проект обелиска на месте поединка. Подрядчики испортили ему много крови, местное начальство браковало работу, потом издерганный Микешин махнул на постройку рукой и уехал из Пятигорска.

В 1915 году обелиск, наконец, был поставлен. Сотни людей пришли тогда на скорбное место, где безвременно погибла дорогая России жизнь в ее незаконченном расцвете. Когда Микешин увидел в газетах и журналах фотографии открытого близ Перкальской скалы памятника, он не узнал свой проект. Скульпторы Козлов и Дитрих, которые заканчивали работу, окружили строгий, лаконичный по формам микешинский обелиск вычурной нарядной оградой с цепями и грифами. Зачем нужна была такая сложная и малопонятная символика! Протесты Микешина против «добавления» ограды к его проекту остались напрасными. Она существует и в наши дни.

На зеленую поляну, недалеко от Перкальской скалы, где прогремел, отдаваясь эхом в Волчьей балке, роковой выстрел, где под летним ливнем ночью ушла жизнь из поверженного на траву окровавленного тела, теперь ежедневно стекаются толпы людей. «Не зарастет народная тропа» сюда, где светлый каменный обелиск сурово охраняет память пророка свободы, мятежного поэта Лермонтова.

XIII. ЭКСПЕРИМЕНТ (фантастический рассказ)

«…А мы-то, мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся, за двадцать минут целый мир перепашем!

Но никогда! Никогда со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе и даже, если перья и косточки нам даны, не смонтируем вот этого невесомого, желтенького, жалкенького утенка…»

А. Солженицын, «Утенок» (из «Крохоток»)

1. Рукопись, оставленная в столе

Газеты дали только скупую информацию: строго засекреченный «Институт человека» сгорел мгновенно, как, вспыхнув, сгорает крупинка в вольтовой дуге. На уединенном месте, неподалеку от Москвы, где располагался городок Института, я увидел воронку, диаметром с добрых два километра, будто от падения метеорита. Погибло свыше двухсот сотрудников и гостей Института, потому что взрыв произошел в момент, когда все они собрались в этих стенах для итогового обсуждения последнего секретного эксперимента.

В небытие ушли десятки известных ученых, которых возглавлял гениальный старик — академик Бородин Николай Степанович, с юности работавший над проблемами жизни. Погибли все документы, аппаратура, никому не известные научные труды, хранившиеся в сейфах. О погибших ученых опубликованы были длинные некрологи, без упоминания, однако, над чем они работали для последнего эксперимента — он был засекречен особенно. Вся научная жизнь страны была потрясена невозвратимой потерей.

В живых остался один я.

И я знаю об этом все.

Перед опубликованием небывалого в мире опыта решено было сосредоточить в институтских сейфах всю документацию эксперимента, даже личные дневники участников. Бородин дознался, что на загородной даче, где я жил последнее время, остались кое-какие приборы и бумаги, и перед самым заседанием сердито приказал привезти немедленно все до крохи. Полагаю, он просто нашел предлог удалить меня, чтобы провести важнейшее решение в мое отсутствие. Он знал, что я всей силой убежденности буду отстаивать недопустимость таких экспериментов в дальнейшем…

Причина внезапного огненного смерча, унесшего целиком

огромное учреждение, так и не была установлена.

Причину знаю один я. И я не понимаю только, почему взрыв произошел раньше, чем я вернулся. Я располагал погибнуть со всеми, чтобы стереть всю память, все следы бесчеловечного, по моему глубокому убеждению опыта, проведенного группой Бородина.

После я облетал на вертолете место катастрофы — примеривался, как спрыгнуть вниз головой в огромную воронку, но передумал: решил оставить эти записки о том, чему остался единственным свидетелем. В них некоторая дань науке. Все же следует знать, что она может и чего не смеет. Следует ли переходить барьеры познания ценой бесчеловечности?

«Лунный пейзаж» внизу меня утешил бы, да жалко растений и животных, погибших в окрестностях. Их только и было жаль.

Меня сейчас считают безумным, полагая, что виною этому взрыв, гибельный для науки.

Но, если я безумен, причина не та.

Причина — сам эксперимент.

Он был государственной тайной. Лицо, подвергнутое опыту, существовало инкогнито. Сам подопытный, предупрежденный о тайне, хорошо понимал необходимость конспирации, пока многолетний эксперимент не будет закончен и результаты не опубликованы.

В одно, как говорится, прекрасное время по Москве поползли слухи, что в Институте Человека, возглавляемом Бородиным, воскрешают давно умерших. Рассказывали в паническом ужасе, что по улицам столицы уже ходят воскресшие известнейшие личности из далекого прошлого. Никто, однако, не мог назвать ни одного имени.

Слухи были преувеличены, как всякие слухи. Личность была покамест единственной. Имя человека, возвращенного из прошлого, знали лишь несколько ведущих специалистов Института.

Корни такого опыта уходили в практические работы Герасимова, который в середине уходящего века по костям скелета воссоздал внешность давно истлевшего тела. Теперь, глубоко проникнув в тайны атомной биологии, Бородин с коллективом поставил дерзкую задачу — по сохранившемуся костяку регенерировать организм целиком с полным восстановлением личности. До Бородина об этом только мечтали. Например, интереснейшие мысли о биологическом воскрешении целых поколений есть в трудах позабытого мыслителя XIX-XX века Николая Федоровича Федорова в его «Фантазии общего дела», где он говорит о «регуляции» человеком природы и

космоса.

Бородин начал такую работу молодым ученым, начал с организмов примитивных, но когда гениальный химик и микробиолог получал звание профессора, у его ноги уже вышагивал усопший и возвращенный им к жизни любимый дог.

Первым воскрешенным человеком оказался петербургский неведомый истории чиновник. Но сразу же по восстановлении его мысленной способности он сошел с ума, быть может, доживает дни в психиатрической больнице, персонал которой все его речи принимает как бред.

Следовало выбрать личность с мощным интеллектом, привыкшим к сильным эмоциям. Следовало выбрать и время жизни пациента, чтобы языковой барьер не помешал немедленному общению с самым точным пониманием. И тогда назвали имя Того, чей прах бережно сохранялся в земле музейного комплекса.

Когда Воскресший — так мы его между собой называли — уже жил, мыслил и полностью обрел свою личность, меня, как пушкиниста, посвятив в тайну пригласили быть постоянным его спутником в новой жизни, помощником, наблюдателем, фиксирующим все его действия.

Он стал моим другом. Имею в виду не приятельство, а понимание дружбы как священного самоотвержения, какое было присуще, пожалуй, только эпохе, из которой он пришел. Это было больше любви. Он стал моим божеством.

Я хорошо понимаю: уничтожение всех результатов почти удавшегося опыта — «преступление эры». Но это — мое возмездие. За страдания, причиненные безжалостной наукой возвращенному из небытия бесценному другу моему. Оставив эти записки, я тоже уйду из жизни.

2. «Я помню чудное мгновенье»

— Да, да, войдите, пожалуйста!

Возглас был приглушен закрытой дверью и для меня прозвучал голосом из иного мира.

Николай Степанович Бородин, огромный, неловкий, косолапый, ввел меня в уединенную обширную комнату с плотно зашторенными окнами, освещенную особым светом специальных ламп и наполненную приятным шелестом кондиционеров.

Навстречу нам с низкого дивана — кажется, в старину их называли тахтою — поднялся человек в модном светлом летнем костюме и в домашних туфлях. Бледно-смуглое — о, как знакомое! — лицо несколько портил нос расплывшимися

ноздрями. Волнистые темные волосы и небольшие бакены были уже тусклы от пробивающейся седины. Человек глядел на меня немного испуганно и пытливо, потом глаза его неопределенного цвета — не то голубые, не то карие — вспыхнули приветливо.

Как ни готовил я себя к первому мгновению встречи, пришлось собрать все силы для улыбки, хотя сердце проваливалось, проваливалось… Я-то уже знал, кто этот человек! Пожалуй, в этот миг он более всего походил на портрет работы Тропинина, хотя я успел подумать, что к этой небольшой, едва начинающей полнеть стройной фигуре лучше всего подошел бы фрак.

— Вот теперь, Александр Сергеевич, — несколько выспренно сказал Бородин, — Вы уже не будете одиноки. До поры, пока мы Вас не рассекретим и Вы сами будете выбирать себе друзей, Андрей Петрович, праправнук Вашего былого друга, Петра Андреевича Вяземского, наш известный литератор, будет с Вами постоянно. Вы можете разделять с ним и свои нынешние труды и вынужденный досуг, который до сего дня разделяли с… — он указал рукой на книги, в изобилии наполнявшие шкафы, столы и даже лежавшие в креслах, — с этими безмолвствующими друзьями да со мною, прескучным стариком, ничего, кроме своей науки, не разумеющим. Андрей Петрович — восторженный поклонник Ваш, знаток всего, что нам известно из Вашей биографии. Таких теперь называют пушкинистами.

При этом слове лицо Александра Сергеевича, дрогнув, приобрело выражение недоуменное и он беспокойно прошелся пальцами по борту элегантного своего пиджака. А Бородин продолжал:

— Он написал о Вас роман. Коли в чем ошибся — поправите. С ним Вы можете делиться, если захотите, мыслями и чувствами, выяснять все, в новой жизни для Вас непонятное. Характер у него прекрасный, он не должен быть для Вас обузой…

Пока Бородин представлял меня, я, вероятно, выглядел дико и преглупо: стоял столбом, весь покрытый потом, на висках чувствительно бились какие-то жилки, не хватало дыхания, пальцы сводила судорога. Я не мог отвести взгляда от его лица, столь неожиданно милого, простого. Живого, живого его лица.

Показав слегка желтоватые вперед выступающие зубы, Пушкин учтиво поклонился (теперь так никто не сумел бы), слегка шаркнул ногой и протянул мне руку с позабытым в нашем мире радушием. Я, кажется, схватил ее дрожавшими обеими, не смея пожать, ощутил теплоту слегка вялой кисти с длинными пальцами. А сердце еще более стеснилось, под коленки ударило, я едва не упал и, видимо, побледнел. Александр Сергеевич

подвинул мне стул поспешно, но, заметив мое замешательство — сидеть в присутствии Пушкина! — уселся первым. Бородин потом рассказал мне, что и он, и причастные к тайне испытали подобное волнение, не столько при первом взгляде, сколько при первом прикосновении к «живому Пушкину».

Сейчас академик улыбнулся, обратившись к поэту:

— Вы, я вижу, поняли, как предельно взволнован Андрей Петрович.

И тогда я вблизи услышал голос Пушкина и снова чуть не потерял сознание. Негромкий, глуховатый, но с пробивающейся как-то исподу звонкостью:

— Весьма, весьма понятно! Случись со мной, коли б я пожимал руку…

— Данте..

— Ну, Данте — это уж очень высоко, — гортанно засмеялся поэт. Хоть бы Мольера или Бомарше…

Успокоившись несколько, я стал замечать окружающее. Музейного образца мебель составляла обстановку комнаты. На старинном инкрустированном бюро с чернильницей лежали гусиные перья, а рядом паркеровские ручки. Вместо привычного пластика пол и стены украшали настоящие персидские и текинские ковры, их узоры отражало зеркало в рост человека в ампирной раме. Все это соседствовало с предметами быта нового: телевизором, видеофонами новейших конструкций, экраном в глубине комнаты, баром-холодильником. Я понял, что обитатель комнаты был уже обучен пользоваться всеми этими утехами современного человечества.

— Андрей Петрович будет Вам и защитник от нас, безжалостных въедливых ученых, и собеседник, и лектор…

— и слуга! — сказал я хрипло. Александр Сергеевич, уже уразумевший основы структуры нашего общества, улыбнулся смущенно:

— О, я уже отлично умею обходиться без своего Никиты, который постоянно ворчал, что барин-де сажает пятно на платье, рвет рубахи и марает чернилами сукно стола… — Он опечалился на миг.

Да у вас в обиходе такая маши… маши… — «механизация», подсказал я, — что нам с вами придется лишь самим варить себе утренний кофе да растирать друг друга от ломоты перед дождем… Дожди… — Его лицо снова затуманилось. — О них я еще не успел спросить…

И объяснив ему, что дожди и снега все те же, мы трое заговорили о его предстоящем переселении из этой лабораторной комнаты Института на уединенную загородную дачу, где он будет

жить конспиративно в роли ученого иностранца-эмигранта. Нас будет только двое — он и я. Наши ученые будут лишь приезжать к нему для наблюдений. Я буду называться его секретарем, исполняя одновременно при поездках обязанности шофера. Прислуга — только приходящая для уборки дома и ухода за садом. Всю организацию такого способа жизни берут на себя Институт и один из членов правительства, посвященный в дело.

Тут я убедился, как Пушкин трезво, полностью понимает и оценивает особенности своего положения: его нынешняя жизнь экспериментальна, ему необходимо во всем самому помогать ученым. Покамест это его основной долг. Он даже сказал: «долг гражданина» и поклонился.

При обсуждении деталей нашего будущего быта он более всего удивился, что обед нам будут доставлять из лучшего московского ресторана. Дача наша располагалась довольно далеко от Москвы, а географию он помнил. В его время, сказал, на такой вояж понадобилось бы не менее суток. Перебивая друг друга, мы кратко рассказали ему о современных скоростях.

— Суп в кастрюльке прямо из Парижа! — засмеялся поэт. Бородин довольно кивнул: юмор и цитата из «Ревизора» подтверждали полное возвращение интеллекта.

— Я сейчас учусь ничему не удивляться, полагаю, скоро все стану принимать как должное.

Разговор соскользнул на тему, особенно волновавшую Александра Сергеевича.

— Но как долго продлится мое существование на необитаемом острове? — нетерпеливо и с долей раздражения полюбопытствовал.

— Пока Вы полностью не… — Бородин сообразил, что новый нерусский термин должен быть понятен знающему языки, — не адаптируетесь физически и духовно в новой действительности. Пока Вы о ней знаете лишь в самых общих чертах, но достаточно, чтобы понять, как решительно все изменилось за полтора почти века. Даже состав воздуха, отравленного нашей мощной индустрией. Ваше физическое «я» мы адаптировали еще до пробуждения, но и сейчас подбавляем для Вас кислорода. Появились болезнетворные бактерии… микроорганизмы… Этот термин понятен? — Пушкин показал самый кончик мизинца. — К этому всему люди нашего века постепенно, наследуя от отцов, приспособлены…

И прочее изменилось радикально, в обществе, государстве. Духовно, психически во все это войти сразу не просто. Революция социальная, техническая… Изменились самые способы жизни, общения людей. Коли б Вы были мальчик… Но Вы муж зрелый, со

сложившимися представлениями. Все надо постигать постепенно, иначе не выдержит даже такая мощная, как у Вас- то, что Вы называли душою, а мы называем нервно-психологической деятельностью. А ведь Вам теперь жить да жить…

— Но ведь я воскрешен не для жизни вечной. Я, вы предупредили, смертен. Человеком из реторты побыть любопытно, но Агасфером — слуга покорный! Этак мне не успеть, все новое узнать… да и действовать в новой жизни хочу… Зачем же откладывать?

Бородин воздел ладони:

— Голуба моя! Следует вступать в новое постепенно и осторожно. Без потрясений внезапных. Постепенность и плавность впечатлений, пока эксперимент не доведен до конца…

— Не доведен до конца?.. — поэт задумался.

— Поймите же и нас, — голос далеко не чувствительного Бородина дрогнул. — Первый экзамен и Вы и мы выдержали. Но ведь мы, ученые, за Вас, дорогой, бесценный наш Александр Сергеевич, в неисходном трепете, за Ваше благополучие и полное вступление в наше время. Полное!

Пушкин замер, вспыхнул и, схватив руку Бородина, сперва пожал, потом поднес к губам, старик не успел и ахнуть. Они обнялись, быстрый и изящный поэт и похожий на медведя старик, оба гении. Один был весь благодарность, другой — мольба.

— Особенно отрадно видеть у Вас пробуждение высоких чувств! — проворчал профессор. А Пушкин продолжал беспокойно:

— Рад, что бренные останки мои послужили науке. Но ведь я опять живу и посему… смею о себе любопытствовать. Вы сказали: эксперимент не закончен. Как же он может закончиться, если я не стану выполнять ваших тре… — он поправился; — условий? Мне, сударь, следует объявить правду!

Бородин покряхтел, подумал и посмотрел прямо в глаза поэту:

— Пушкину лгать не могу. Вы так мужественно и трезво с первых минут приняли Ваше новое положение… что… — Старик был в смятении. Пушкин понял.

— Я могу сойти с ума, не так ли?

— Александр Сергеевич! Мы не случайно выбрали Вас: надеялись, ум сильный и тонкий, поймет, что такое для человечества этот первый опыт. Не скрою: слишком сильная волна впечатлений может стать гибельной для рассудка. Вы познали славу, но не представляете, какова Ваша посмертная роль в нашей культуре. Наши люди привыкли к «чудесам», но Ваше появление… Выдержите ли Вы такой напор… эмоций? Мы

не смеем допустить и сотой доли риска. Эмоции, даже полезные, положительные, надо… дозировать, — он показал рукою, как отмеряют нечто. — Иначе… Помните, вы ведь и в прошлых ваших треволнениях испытывали опасения, сказали однажды:

— Не дай мне Бог сойти с ума! — и старик прочел известное стихотворение.

— Как? Как? Мои? Я не помню, чтобы такое сочинял, хотя меня и доводили до безумия эти, как Вы говорите, треволнения.

— Так… — Бородин задумался. — Видите, какая постепенность нужна даже в восстановлении памяти.

Я протянул поэту томик его стихов, он отыскал глазами, просиял: «И вправду, мое!»

Хорошо зная нашего патриарха, я заметил, как расстроил его этот диалог: Пушкин не помнил свои стихи.

Бородин ушел косолапо, сутулясь, мы остались вдвоем. Поэт раскованно сел, подвернув ногу и привалившись к моему плечу теплым и легким телом, подмигнул вслед ушедшему: «Этот мастер живой и мертвой воды весьма учен, но педант, как все они. Ежели вы воскресили личность Пушкина, то в этом старике совершенно воскрешена внешность Собакевича. Не так ли?» — И прочитал почти наизусть то, что некогда еще не напечатанное читал ему Гоголь.

— Итак, теперь Вы — мой Вергилий. А какое мое стихотворение особенно любите?

Без запинки я ответил, что во всей мировой лирике не знаю ничего выше, чем «Я помню чудное мгновенье». И стал восторженно рассказывать, как Глинка — Пушкин радостно встрепенулся при знакомом имени — переложил эти стихи на музыку для дочери Анны Керн. Я собирался уже включить проигрыватель, чтоб прослушать мелодию, как заметил что Пушкин лихорадочно листает свой томик, отыскивая эти стихи, и слушает меня рассеянно._

Свободно цитирующий Гоголя, Пушкин не помнил собственных стихов!

В смятении я читал и другие его стихотворения, не находил им равных, быть может, только Лермонтов… И я рассказал ему о Лермонтове. Прочитал «Смерть поэта».

Бородин был прав: эмоциональный мир Воскрешенного следовало беречь. Он затосковал, как женщина ломая руки повторял: «Как это прекрасно, как верно!. О, обнять бы его… мальчик…» — И наизусть повторил только что услышанные чужие строфы.

Рискнув, я представил ему картину трагической дуэли под Машуком. И еще раз рискнув, процитировал:

Недвижен он лежал и странен
Был хладный мир его чела…

— Это ожившая история вашего Ленского…

— Какого Ленского? — отирая слезы, равнодушно спросил Александр Сергеевич.

Как выяснилось потом, Бородин готовил Пушкина к нашему знакомству, рассказывал обо мне, показывал ему даже фильм, снятый с меня скрытой камерой. Пушкин нашел, что я очень похож на Вяземского. Тогда Ему открыли, что я прямой праправнук его приятеля. Бородин препредил, если я не понравлюсь, меня уберут, но «самым необидным для меня способом, как потребовал сам Александр Сергеевич.

Он полюбил меня сразу, то ли как правнука близкого друга своего, то ли восхитило мое знание мельчайших деталей его времени. Со мною быстро стал товарищески прост. Называл меня то Правнук, то своим Alter ego. «Не могу же я сердиться на самого себя», — говорил, бывало… Шли дни сближения. Я же с радостью бы умер за то, чтобы счастлив был он, удивительный даже не воскрешением, но всей очаровательной натурой. И все его скорби, когда они появились, я принял как свои.

Ему не рассказали только, и я сам не должен был это обнаруживать, что миниатюрные приборы, находившиеся постоянно при мне, записывали и снимали на пленку все нащи беседы и ситуации общего нашего с ним бытия. _Ознакомленный со многими «чудесами» нашего века, он покамест не должен подозревать о существовании такой техники. Науке он был нужен совершенно раскованным. Признаюсь, я, потомок его ближайшего друга и его друг, с которым он вскоре стал доверительно откровенным, терзался своей ролью своеобразного соглядатая и, к черту послав интересы науки, часто выключал шпионящие аппараты. И то, что он поверял мне одному, уйдет вместе со мною. Я злорадствую: «Вы начали с тайны! Так пусть все и останется тайной, но не вашей, уважаемые бестрепетные экспериментаторы, а только его и моей. Историю человечества не следует видеть обнаженной, как продажную женщину!»

3. Пробуждение сознания

Стоит теперь рассказать о самых первых часах реанимации, ход которой я знаю по записям, сохранившимся у меня, потому что я не поспел ко взрыву.

После полной регенерации физиологической, после излечения раны, принесшей Пушкину смерть, был продуман весь ритуал пробуждения личности. Окутанное проводами датчиков

тело спало на стенде-кровати. Приборы показывали полную норму.

И вот Бородин вдохновенно, как дирижер, включил нужную аппаратуру. Началась реанимация сознания.

…Дрогнули веки, голос прошелестел стереотипное для всех пробуждающихся «Где я?» — Стереотипным был и ответ: «В больнице. Вы живы, Вы здоровы». Веки удовлетворенно опустились, появилось подобие довольной улыбки: слух действовал! Чувства просыпались!

Свершилось! Бородин и его сотрудники не смели дышать, не отрывая глаз от приборов. Кто-то упал в обморок, на упавшего даже не взглянули, только перехватили его кнопку на пульте. Пушкин шевельнулся, сжатием проверил пальцы правой руки.

Снова и снова его погружали в гипнотический сон. «Вы живы, Вы здоровы, Александр Сергеевич Пушкин. Ваша жизнь вне опасности», — тихо повторяли аппараты, да щелкало что-то в приборах… Сутки… Сутки… Бородин весь пропах ароматом натурального кофе, который истреблял в неимоверном количестве, не жалея собственного сердца.

Во время коротких промежутков пациенту постепенно сообщали все, с ним происшедшее. Он открывал глаза. Вокруг толпились белые халаты…

— Николай Федорович! — позвал он Арендта и поискал глазами своего врача. Выступил Бородин, поклонился: «Лечил Вас я, Николай Степанович Бородин!»

— Я не умер? Да?

— Вы живы. Наука теперь все может, Александр Сергеевич!

Это был первый его диалог.

«Наука все может, все может наука… наука…» — однообразно слышалось в лаборатории, где он лежал в полусознании.

Самое трудное — шок узнавания, что он находится в другом времени, постепенно было преодолено плавными управляемыми подталкиваниями сознания к этой мысли. С каждым днем возвращающееся сознание принимало без травмы главное потрясение — временной сдвиг. Тонкая паутинка перехода из одного временного пласта в другой не оборвалась у Пушкина безумием. Еще на стенде он спокойно и достойно принял сообщение, что от прошлого его отделяет почти полтора века. Позднее он говорил мне, что к этому, видимо, подготовило его чтение сказочной фантастики его времени.

Дрогнули только, поколебались стрелки показателей на приборах и замерли на норме. Бородин потом объяснял: в противовес шоку при осознании временного сдвига сработала

ликующая истина: «Я жив!»

Речь становилась все более связной, обнаруживая все большее понимание ситуации. «А Натали? Дети? Друзья? Недруги? — они тоже?., или не существуют более?» Ему обещали познакомить его с праправнуками.

— Почему же воскресили именно меня?..

Объяснили его посмертную роль в русской литературе.

Здесь первая его слеза.

— Помилуйте, в те времена поэтов было целое воинство…

— Покамест мы воскресили одного главнокомандующего, — сказал шутливо Бородин.

И тогда пошутил сам Пробужденный:

— Стало быть, я теперь человек из реторты? Гомункулус?

Ему разъяснили, что он — настоящий, сам, тот, которого мы называем «наш Пушкин».

— Ваш Пушкин! Но свой ли?.. Помилуйте. Нельзя ли убрать эти проволоки и странные ящики? Или теперь всегда так быть должно?

«Проволоки» — провода убрали по разрешению Бородина. Только ежечасно делали нужные исследования. Он сам попросил ванну. И, оглядывая свое обнаженное тело в зеркале, тронул шрам на месте раны: «Знал, куда целил, подлец!» — процедил сквозь зубы — все вспомнил, полностью. Узнав позднее, что при обнажении тела среди белоснежных халатов были женщины, очень сконфузился, как девушка. Спросил Бородина: неужели ему теперь никогда не остаться одному, а все под наблюдением сотрудников и приборов. Его оставляли одного, как он думал, не зная о наблюдающей аппаратуре. Принесли модный щегольской костюм, сшитый по мерке. Простота современной одежды его очень пленила. Он радовался, как ребенок, примеряя и разглядывая детали своего нового туалета. Вышла первая неловкость: предложили все это надеть на себя, он поискал глазами кого-то. «Слугу!» — догадались присутствующие и бросились помогать. Он сказал смущенно: «Полагаю, здесь все очень образованные люди, мне неловко…» И тогда в самых общих чертах узнал о социальных переменах в нашем обществе и обрадовался «равенству и братству» столь взволнованно, что Бородин помрачнел: не много ли сразу нового!

Потом его интересы вышли за пределы личного. Он задавал вопрос за вопросом. Такого страстного, бурного стремления все скорее познать никто не ожидал, а Бородин притормаживал информацию: «Постепенно, постепенно все узнаете!» — «Я не дикарь! — возмущался поэт. — Я многое предвидел!»

«…девять, десять, шестнадцать… — считал он этажи корпусов

института, когда ему разрешили посмотреть в окно. — Разве не разбиваются стекла, из которых нынче строят дома?»

Стенд-кровать была оставлена, он был поселен в описанной мною комнате, откуда выходил в лабораторию для обследования в точные часы, — он оказался прилежнее даже своих опекунов, будто чувствовал себя не объектом, а участником эксперимента, старался ему помогать, как мог. Первое время это, как и непрерывный процесс узнавания, отвлекало его от иных раздумий. Всего, что началось после.

С быстротой непостижимой усваивал термины и слова, обозначающие новые для него понятия. Скоро перестал удивляться чему-либо. Даже осторожное сообщение о космических полетах не поразило, да и что могло его удивить после того, что случилось с ним самим!

Сразу же Пушкин потребовал книг. Предложенные пленочные записи отверг, обрадовался, что печатаются «настоящие книги», листы которых шуршат под пальцами.

— Бог мой, как нынче густо печатают! — вскрикнул, жадно выхватив из рук первую принесенную ему книжку. Это были его сочинения. Надо было видеть, как восхищенно ласкал он тонкими пальцами красивые томики, рассматривал бумагу, шрифты, иллюстрации, верстку: «Вот оно, вечно живое! Самое в мире ценное!» В первые дни общения с книгами, когда он не столько читал, сколько рассматривал, даже вопросов задавал мало обо всем, что не касается книги.

Бородин разволновался, не много ли читает, не испортил бы глаза непривычными шрифтами, распорядился и чтение дозировать, но Пушкин ласково протестовал: мало! Мало!

Вот тогда к нему пригласили меня. А курс послепушкинской литературы, истории и философии читать ему назначили академика Северцева, посвященного в тайну эксперимента.

Так Александр Сергеевич Пушкин — второй, как он сам шутливо себя называл, вошел в новое свое существование.

Бородин отсыпался после бессонных месяцев, но жизнь свою облегчил мало: неустанно следил за своим созданием, требовал точности в наблюдениях, а главное — особой осторожности, постепенности информации. Коллеги упрекали: «Вы действительно, делаете из него гомункула. Надо расширять спектр познания нового!» Старик смотрел исподлобья и твердил: «Рано! Рано! Эксперимент еще далеко не закончен. Публиковать его ни в коем случае нельзя!»

Сотрудники Института терпеливо ждали, и сам Пушкин тоже. Все считали эксперимент удавшимся: Пушкин был воскрешен полностью.

Однако, полностью ли?

4. Брожу ли я вдоль улиц шумных…

Наш переезд «на квартиру» был первым выходом Воскрешенного из лабораторных стен в живой мир. Сначала предполагалось даже, что Пушкина перевезут во сне, но все участники реанимационной группы восстали: не Людмила же он из поэмы, неужели не понятно, как огорчится сам поэт. Все хотели сделать ему приятное, доставить радость. Один Бородин ворчал: «Эта поездка — шок!» — и оттягивал выезд всемерно. Только нараставшее раздражение пациента своим пленением заставило его согласиться наконец с психологами, считавшими, что столь сильная положительная эмоция будет спасительнее промедления.

Ехать решили через всю Москву. Я принес новый ее план и старый, его времени. Он искал знакомые места, но вполне принял неизбежные потери реконструкции, заметив, что они были во всей человеческой истории. В пути Бородин разрешил только две короткие остановки: на площадях Красной и имени Пушкина с памятником.

Перед рассветом безоблачного утра, когда улицы столицы немноголюдны, мы отправились. Я — шофером, рядом со мной Пушкин, сзади Бородин и институтский врач с аппаратурой для скорой помощи. Перед посадкой в электрокар наш старик, для которого вся жизнь души была конгломератом атомов, молекул, клеток, потихоньку перекрестился по старому обычаю, о котором и узнал-то от Пушкина, поэт же, называвший себя афеем, перекрестился радостно и широко, произнес: «Ну, с Богом!» и потребовал: всем троим обязательно присесть.

Мы медленно кружили из улицы в улицу в самом сердце древней столицы. Гасли огни реклам. На зеленеющем небе розовели верхушки высотных зданий. Шуршали машины, убирающие улицы. Пушкин сразу узнал возникший из предутренней мглы Пашков дом, порадовался, что нынче в нем библиотека. Называл знакомые башни Кремля.

У Спасских ворот Кремля — Пушкину уже рассказали, что это музей — стояли группы людей, с ночи занявших очередь на вход. Он с трепетом вглядывался: первые «обыкновенные люди», которых он увидел в массе. До сих пор общался лишь с белыми халатами и смотрел фотографии да фильмы, Увидев одежды по нынешней моде из тканей разного цвета, спросил наивно: «Они паясы?» Отметил в толпе множество не русских лиц. И совсем умолк, удивившись количеству «простого народа», желающего

проникнуть в «музеум». Я рассказывал: многие уголки страны памятны, мемориальны. Его Михайловское, Болдино, Тарханы, Ясная Поляна…

Пушкин всегда был озабочен судьбою художника в обществе и сейчас смеялся, довольный: Выше царей нас поставил просвещенный народ, наконец!» Я сказал, что теперь и он сам может очень помочь восстановлению подлинности мемориальных мест, которые мы обязательно посетим.

— Не сразу, не так скоро! — поспешно прервал меня Бородин. А Пушкин вдруг высказал мысль, что теперь, после опыта с ним, не попробовать ли ученым воскрешать целые группы из одного исторического времени и населять ими заповедники. Тогда в народе соединятся не только люди разных сословий, но и поколений. Правда, это совершенно разрушит и математическое, и житейское представление о времени прошедшем и настоящем. Но хорошо было бы… Он бы хотел до этого дожить… — Бородин очень внимательно прислушивался.

— Это был бы говорящий и мыслящий музеум для вас всех, — Пушкин как-то иронически хохотнул, запрокинув кудрявую голову, и я ощутил всей кожей, как одиноко, как жутко и больно ему на просыпающихся улицах столицы, которые он мысленно населял призраками своего времени.

И догадал меня черт, не спросясь Бородина, остановить машину перед особняком Шевырева со старым памятником Гоголю. Пушкин сразу же обрадовано узнал дом.

— А это кто, узнаете?

Выпуклые глаза скользнули по склоненной бронзовой фигуре и вспыхнули. Он оторвал от руля мою руку, стиснул ее, вскочил и задохнулся: «Гоголь!» И заметался, не умея открыть дверцу машины. Бежать! К Гоголю! Он хотел обнять, хотел ощутить хоть бронзовую плоть современника, рвал и толкал непослушные рычаги. Куда девалась присущая ему светская выдержка! Врач с заднего сиденья сказал недовольно: «Ну, если так волноваться, — мы повернем обратно!» — И впервые гневно закричал Пушкин: «Я не школяр, милостивый государь! Смеете ли запретить мне, живому, настоящему, как пытаетесь меня уверить, волнение при виде друга… Его при жизни мне больше не…»

— Голубчик, Александр Сергеевич! — завопил Бородин, злобно покосившись на бестактного доктора. — Он же не как наставник, а как врач… Я не узнаю Вас, милый. Я ведь предупредил, что понадобится мужество! Вам предстоят еще более сильные впечатления! — и, вырвав флакончик из рук врача, дал Пушкину понюхать содержимое. На деле Бородин был рад: мы знали, Пушкин был вспыльчив. Еще одна черточка

прорезалась. Я запомнил, как затрепетали крылья носа, побелели губы, кровью налились потемневшие глаза, как гордо вскинулась голова. На желтоватой коже проступил чугунно-фиолетовый оттенок, подобно тому, как из-под лиссировки в живописи проступает подмалевок.

— Бесчувствие не есть мужество, Николай Степанович, — успокаивался Пушкин. — Однако слушаю и повинуюсь. Прошу извинить, — сухо поклонился в сторону врача. — Так хотелось подойти…

— Да Вы успеете это сто раз потом. Я, напротив, с радостью наблюдаю в вас проявление истинного чувства. Но только нам надо спешить. Москва просыпается, на улицах толчея будет, и Вы толком ничего не увидите.

Приподняв шляпу, Пушкин протяжным взглядом простился с Гоголем.

— А теперь Вы увидите… себя, — предупредил я.

Свидание с собой, которого Бородин особенно боялся, прошло ровно. Он спросил и записал фамилию ваятеля, я коротко рассказал о торжествах открытия, прочитал во взятой с собой книге отрывки из речи Достоевского. Поэта особенно тронули слова, и он нашел их верными, об его, Пушкина, уповании, что «только в одном народе обретем мы всецело русский гений». Он, как откровение, слушал без всякого жеманства слова другого великого писателя о себе, о «мировом значении» своего гения. «Пушкин — наше все!» — читал я, а он только прошептал: «Господи! Неужели?.. О, как я обязан…»

Я понял его мысли: здесь, сегодня, Пушкин-человек, снова вступивший в жизнь, ощутил бремя страшной нынешней ответственности своей перед народом. Таким, каким приняли его потомки, он обязан остаться и теперь. Справится ли он с таким великим грузом, какой возложила на него родная история? Под силу ли ему, нынешнему, такая ноша?!

Мы думали, свидание с бронзовым двойником — ему радость, а это был первый надлом.

Обошли памятник кругом, спугивая голубей: «Голуби — это прекрасно: от времен библейских — символ порядка и мира.» Он бросал горстью взятое для этого случая зерно и стоял среди птиц, шевелившихся, гулявших у его ног. «Поминайте, поминайте Пушкина!»

Спросили его, понятна ли ему сама идея, мысль скульптуры. Он на миг задумался:

— Среди шумных улиц, среди кликов молитвенных и пиршественных бродит поэт, погруженный в думы о бренности жизни и вечном ее обновлении. Не так ли?

— Вы сами выразили эту мысль, — вступил в диалог Бородин. — Брожу ли я вдоль улиц шумных…

— Ах, да! — сказал поэт рассеянно.

И переглянувшись со мною, Бородин стал озабочен: все чаще подтверждалось, что Пушкин все еще не помнил, не знал собственных стихов, хотя, как мы заметили, чувства и раздумья которыми они были вызваны помнил и осознавал. И память такая сохранилась не в подсознании, а еще ближе. Он и сам, конечно, уже догадывался об этой своей ущербности, потому что, садясь в машину, как-то горько усмехнулся: «Сегодня я пережил собственный триумф. Но стоило ли вновь родиться только для этого? Не кажется ли вам, что этот бронзовый господин более настоящий, чем я?»

Потом я неделями наблюдал, как, оставшись один, поэт листает свои томики и шепчет что-то, закрыв глаза, время от времени заглядывая в книгу. Это он учил наизусть собственные стихи, как учат урок, чтобы запомнить их и избежать возникавших в разговорах неловкостей…

Москва совсем пробудилась, и Александр Сергеевич уже холодно смотрел, как проплывают мимо ускорившей ход машины неведомые ему люди, покамест чужие и непонятные — его народ.

Равновесие ему вернули только природные пейзажи Подмосковья, памятные отчасти.

5. В монастыре

Пушкинисты отдали бы жизнь за малую часть того, что я от него узнал о нем самом и его времени. Историки взяли бы меня в осаду, чтобы раскрыть «белые пятна» эпохи. Для меня одного все, что было гипотезами, стало фактами. Крупное — утаю, но, к примеру, я точно узнал, что до смерти он имел эпистолярную связь с декабристами, таинственные щепочки в его шкатулке были остатками от виселицы пятерых казненных, он, действительно, виделся на Кавказе с Бестужевым, и царь, действительно, вычеркнул из «Путешествия в Арзрум» отрывок об этой встрече. От кавказоведов, столь любящих Пушкина, не скрою: он знал Шору Ногмова. Этим и ограничусь. Тайна — так тайна!

Загородный дом наш был обставлен совсем по-современному и оборудован всеми чудесами нынешнего домоводства, так что житейская сторона не брала времени. Собственно, дом — это была библиотека с кинозалом, экранами, пультами, удобными кабинетами. У него был свой, особый, личный, в котором он мог запираться и быть один, если хотелось.

— Едите вы невкусно и невдохновенно. Я не был ни обжорой, ни особым гурманом, но нельзя ли заказать… — Я заказывал блюдо, прилагая иногда и рецепт приготовления. Знай повар, для какого «иностранца» он готовит, на него, быть может, и снизошло бы «вдохновение», но он пускал в ход свою кухонную машинерию, брал строго установленное количество калорийных продуктов, полученных тоже способами индустриальными, угасившими их первозданный аромат и вкус. Александр Сергеевич, отведав, говорил: «Не дышит!»

Бородин, конечно, тревожился, но пациент уверял, что «съедобная сторона жизни» ему — ништо, что к нашей «механической пище» он привыкнет, а наш цветущий вид ему порука, что с голоду не умрет. Зато восхищался вкусом и размером фруктов-гибридов: «Смотришь — антоновка, на языке — груша и цитроны, а виноград жалко подносить ко рту, так красив».

— А что это за цветочек? — спросил о дикой ромашке. Оказывается, в его время полевых ромашек в России не было, я узнал потом, их завезли позднее, кажется, из Америки.

Бородин обещал ему поездку на Кавказ, о котором он скоро затосковал и мечтал: там мы обычным ножом освежуем барашка и на обычных углях приготовим сами шашлык и запивать его будем «нардзаном»! Он не знал только, что и вкус кавказских барашков — не тот, и пенный нарзан — не более, чем «святая водица».

Теперь я постоянно видел его совсем близко. Он быстро утрачивал архаизмы и галлицизмы, придававшие вначале особое очарование его речи. К удивлению, его раздражало обилие слов с корнями латинскими. Противник шишковистов предпочитал словообразования русские, типа «самолет». Ошибаясь, называл паровоз пароходом, как говорили в его дни. К нашей радости, все чаще говорил не «у вас», а «у нас». Первоначальное детское, некритическое восприятие нового сменялось бурей собственных понятий и суждений.

Его современники, воспитанные на образцах красоты античной, рисуют Пушкина некрасивым. И сам он писал: «Я собою весьма неблагообразен». Он же оказался прекрасным. Это были черты красоты всечеловеческой, соединившей облик двух рас. На одухотворенном постоянной мыслью лице — среди наших поэтов подобного не могу назвать — ярко выделялись живые выпуклые глаза, похожие на виноградины, меняющие тона от светлого в задумчивости до темного, если сердился. Ни один его портрет не похож, — то есть не передает пластику его лица и тела с движениями быстрыми и решительными, но не суетливыми, —

то, что прежде называли грацией — ничего лишнего. В этом, пожалуй, было главное очарование облика, проникнутого врожденным аристократизмом, выделявшим «иностранца» даже в толпе.

Сотрудники Бородина все стали «пушкинистами», знали наизусть его письма, воспоминания о нем, и сравнивали живое с напечатанным. Характер впечатлительный, импульсивный, сосредоточенный и вместе детски-непосредственный полностью совпадал с образом, оставленным историей. Характер подлинного поэта. Однако все его непосредственные движения были закованы в панцирь воспитания светского, что особенно отличало его от нас.

Присущая ему, вернее, исходившая из него, учтивость порою переходила в колкость. Однако воспитанное высокое чувство такта, что в прежние времена называли «светскостью», не позволяло сделать колкость обидной.

Ни тени мещанской спесивости, высокомерия в общении!

Даже после того, как осознал свою историческую значимость. Прелесть его натуры составляла еще и простота, даже простонародность, но я бы назвал ее аристократической, по сознанию достоинства своего и собеседника. Облик излучал обаяние ума, таланта, доброжелательности. «Светлый человек», — сказал о нем Бородин. Со мною он был удивительно ласков и, если обидит, не находил себе места.

«Состояние сословий» в нынешнем государстве особенно долго его занимало, и привычные градации долго мешали правильному общению. Бородин от своего босоного детства сохранил деревенские манеры и лексику, был небрежен в одежде, и Пушкин однажды назвал его «лекарь», хотя уже признал гениальность, научное «себяотвержение», сравнивал с Ломоносовым, порою кидался подать старику пальто или поднять оброненную вещь. Садовника-аспиранта Института — «иностранец» не раз называл «на ты» и спросил как-то: «Ты жид?»

— Как я понимаю, образованные и ученые люди составляют нынче аристократию нашего народа? Не так ли? — Особенно радовался обилию интеллигенции у прежде отсталых народов: — «Я знал, что так будет!»

Само слово «интеллигенция» его пленяло. Оно и прежде было знакомо, но то, что так называют «целое сильное сословие критически мыслящих личностей», было для него внове. «Какое слово точное! Я всегда гордился своим высоким дворянством, оказывается, я был интеллигентен, как простолюдин Ломоносов, дворянин Радищев, офицеры-декабристы, Кольцов, вышедший из мещан…»

Однако сознание себя аристократом долго держалось. Он знакомился с событиями октябрьской революции, и я припоминаю диалог:

— Тогда у Вас, как у французов провозгласили: «Аристократов — на фонарь!» Но как же сохранился ваш княжеский род?

Я рассказал, что отец мой, офицер, принял участие в революции на стороне большевиков, княжество свое не обнаружил… Мало ли Вяземских… Немногие знали… И назвал имена других родовитых дворян, тоже оказавшихся с большевиками.

— Скрывать свой род, вместо того, чтобы им гордиться! — Пушкин возмущенно вздернул плечи. — Я предпочел бы фонарь!

Вся его жизнь теперь была труд, в который он погрузился со страстью и наслаждением. День был расписан, как в пансионе. Еда, сон, медицинское обследование — все «обязательное» — мешали неустанному движению сознания, перерабатывающего новое, непривычное, чуждое и переоценивавшего все, что знал прежде. Ни малейшей небрежности не позволив себе в ритуале гигиены и обследований, он тотчас спешил к книгам, экранам, беседам со мною, лекциям Северцева. Очень быстро, так что мы дивились, вырастал умственно. В мир новейшей техники, приняв ее как данность, он не пытался проникнуть глубоко, довольствуясь скупой информацией, шутил над нею, припоминал «логическую машину», которую Гулливер увидал в Лилипутии. Его интересовало внутреннее состояние общества. Он уже не скрывал от меня, что «долбит» свои былые стихи наизусть.

Беседовать с ним было нелегко: даже европейски образованного академика Северцева он подавлял эрудицией, свободно цитировал классиков, Платона, Монтеня, Гассенди и многих, кого мы знали только по именам да общему значению. В спорах быстро увядал, не умственно, а психологически: «Мне следует принимать все, как оно есть. Задумываться и сравнивать нельзя. Сравнивать можно лишь близко стоящие вещи и понятия. Я в ваших глазах выгляжу, вероятно, как в моих выглядел бы летописец Нестор». Если ставил своими неисчерпаемыми знаниями Северцева в тупик, говорил мягко, что столько старых понятий и представлений утонуло в бездне времени, их в деталях помнить трудно, что и он ведь сам невежда в том, что знает Северцев.

Все ждали от него новых стихов. Проходили месяцы. Он не обнаруживал при все расцветающем блеске ума никаких признаков творчества поэтического. Свои старые стихи он уже знал и не терялся, как прежде.

Я прочел, наконец, ему свой роман о нем. Он почти не поправлял меня, только как-то особенно прислушивался, когда я касался непосредственно творческих мгновений, будто мучительно припоминал что-то знакомое, но позабытое. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», — повторил фразу, сказанную им некогда его портретисту Кипринскому. — Я был, оказывается, ленив и беспечен, даже в года зрелые, но, знаете, я был талантлив. Сейчас не то. Я работаю с удовольствием, как вол, но не нахожу в себе состояния, которое влекло к созданию стихов. Я его жду — не приходит…

Так он признался мне одному, интимно, что давно сам заметил свою самую большую ущербность.

— Я тогда точно выразил это:

Душа стесняется лирическим волнением,

Минута — и стихи свободно потекут…

— И вот не могу более вызвать это состояние, как раньше. Неужели муза меня покинула навсегда!? — Глаза его наполнились ужасом, он зарыдал глухо, без слез, будто застонал, протянул ко мне с мольбою затрепетавшие руки, обнял меня, приник: помоги! Защити!

Я стискивал мелко дрожавшие плечи и, собрав всю силу любви к нему уверял, что вернется, что покамест он подавлен лавиной узнаваний, она отодвинула органически ему присущее. Это неудивительно. Так должно. Все, все придет, вернется…

Я утешал, обнадеживал, но кому как не мне было уже совершенно ясно, что в личности Пушкина есть и другие изъяны — «раковины» в воссозданном сплаве мышления. Например, он не подозревал о существовании таблицы умножения, хотя практически пользовался ею постоянно. Не знал названия отдельных безусловно ему известных предметов, как салфетка, стакан. Бурно тоскуя по друзьям своей первой жизни, почти не вспоминал Натали, детей, хотя, как мы видели, понятие рода своего в нем сохранилось.

Об этих изъянах я рассказывал Бородину. Более всего нас беспокоило главное: не писал стихов, старые приходилось ему напоминать, и это все всерьез начинало тревожить его самого. Повергало в ужас.

Видимо, где-то на атомном уровне что-то было утрачено при регенерации. Наука Бородина, стоявшая на уровне химии, физики, электроники, не справилась с загадочным миром живой души.

Но, сознавая опасность, ученый повторял: ждать!

А Пушкин был нетерпелив.

6. Шестое чувство

Гораздо быстрее, чем в мире социальном, Александр Сергеевич разобрался в мире художественном. К поэзии было отношение особенное. Страсть к ней не утрачена.

Еще в лабораторной комнате он попросил портреты друзей-поэтов, расспросил о судьбе его переживших и попросил оставить его одного «хоть на час». Наблюдающие аппараты показали, как он ласково гладил картоны и скульптуры, долго глядел безмолвно — прощался.

Знакомство с послепушкинской литературой мы начали с поэтов его школы.

Трепетали наслаждением веки, когда он плавно, слегка подвывая в манере своего времени, читал, смакуя каждое слово: «…И взором медленным пронзая ночи тень…» Ни одного неточного лишнего слова у этого мальчика! Никакой суеты, ни в мыслях, ни в картинах». Я указал ему на скопление звука «м» в сочетании «взором медленным»: не плохо ли? Он подумал мгновение: «Сам звук медленный, удвоение еще усиливает…»

В стихах своих последователей он профессионально отмечал «нарушения правил» — дисгармонию ритмическую, усечение и смещение стоп, разномерность строк. Размыслив, говорил, что такие «нарушения» усиливают музыку стиха, мощь и верность чувства, а «правила оставим классицизму!» Читал, наслаждался и все повторял: «Я бы так не сумел!»

Я смел с ним спорить. Привычный к лаконизму нашей литературы, начал было отстаивать ведущую роль существительного, назывных предложений. Он бурно запротестовал: это не художественно, не образно, как теперь говорят. Только прилагательное дает одушевление существительному. Если в «Пророке» он написал бы: «Серафим явился» — тупо. Не видно ангела! Это то, что нынче зовут информацией. А вот коли «шестикрылый» — это чувственно: и ангел слетает, и слышен грозный шум многих крыльев. Я вынужден был согласиться, а он тоскливо сказал: «Умел же прежде старик!»

Но особенно поражены мы были с Северцевым, когда дали ему стихи поэтов-новаторов. Мы думали, он захохочет, возмутится, назовет «вовсе не поэзией». А он вскоре, потрясая томиком Маяковского, кричал: «Алла керим! Этот лирик соборности находит совершенно окровавленные слова!» Не сразу, конечно, но звукозапись Хлебникова, ритмику Цветаевой, метафоричность Пастернака и раскованный упругий стих Леонида Мартынова принял, как должное. Поэт угадывал поэта,

во все времена ищущего, как полнее выразить «неподвластно выражению». Не все в новой поэзии ему нравилось. «Ну, это — рукотворное!» — говорил тогда и откладывал книжку. Грустил, что стихи современных поэтов утратили «русское начало», что «русская песнь» нечасто прослушивается в новой поэзии. Все национальное русское его глубоко трогало. Мы дали ему Есенина, «Скифы» Блока, «Двенадцать». И поэт, пришедший из глуби истории, самостоятельно отметил, как в поэме Блока угрюмость, хаос бунта народного осияны образом ведущего Добра, так он сразу же разгадал неясный и для нас самих образ Христа. Это — русское! «Грубая» лексика не смущала: поэзии не к лицу жеманство. Хлебникова особо выделил, как поэта народных начал и в языке и в системе образов. Надо было видеть, как, вкусно причмокивая губами, читал ликующе: «Боролись тяжелые веки с глазами усталой Снегурочки…»

— Ясность смысла? Так ведь и Байрон не мог разъяснить некоторые свои стихи…

Доказывал Северцеву, как неправильно мы выделяем поэтические школы. Символизм? Почему особое направление? Смысл всякой поэзии в ее символизме: всякая вещь в художественном произведении всегда — идея или мысль. В этом и отличие поэтических представлений!

Все, понравившееся чужое, запоминал с первого чтения и цитировал постоянно. Всех, кроме себя. Любимым его стихотворением стало «Шестое чувство» Гумилева. Он все сравнивал его с «Невыразимым» Жуковского. Он снова повторял, что не сумел бы так выразить подсознательное рождение поэзии и трагизм бессилия поэтического: «Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства…» Усаживаясь за еду, читал:

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится…

* * *

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.

Утратив «орган для шестого чувства» — творчества, Пушкин все более и более мучился поэтическим бесплодием, уже никак не скрывая этого. Все чаще говорил: если «оно» и вернулось бы, он все равно не сумеет писать так, как научились теперь поэты, не смог бы столь точно выразить «тайну мысли». Гений, который всему в нашей литературе был началом, понимал, что он нынче — «анахронизм на ножках» (шутить он еще не разучился).

Со временем я заметил, что он тайно пишет ночами что-то свое. Ящики его бюро теперь всегда были заперты. Я сделал ему больно: спросил, не посещает ли его вдохновение? Он буркнул сердито: «Не посещает!» И прибавил с обидой: «Вы будто вынуждаете меня сочинять… Видите, я не бездельничаю, тружусь, сколько могу, но все покамест для собственной утробы, не то, что прежде. Я вас поэзией, видно, не смогу отблагодарить ни за воскрешение, ни за хлеб…»

Хлеб для Пушкина! Не отдала ли бы страна многие свои сокровища, чтобы он только был счастлив, он — «наше все»! Но Пушкин страдал! Зрачки его стали расширены, как бывает при постоянном ужасе, затаившемся глубоко внутри.

К этому времени мы были с ним, как одно. Я восхищался его умом, природным артистизмом, целовал ему руки виновато, если сердил чем-либо. Он бросался целовать мои. Ласкался как женщина, как ребенок. Так бывало у него с Дельвигом. Старался обрадовать меня, чем умел — новым правильным суждением, хотя бы. Он так доверял мне, называл единственным другом в непонятном мире, где без меня погиб бы от одиночества. О нас двоих говорил «мы», ученые попечители были — «они». Каждая его боль становилась моею.

Я уже предавал интересы Науки, когда выключал аппараты-шпионы, если он был доверителен. Но на этот раз… О, подлость! Я рассказал о замеченном новом виде тайного труда Бородину, и он приказал любою ценою увидеть писанье Пушкина. Ценою стало предательство — подглядеть то, что утаивала даже от меня эта искренняя душа.

Я обманул его, сказал, что уеду на весь день, и, пока он подвергался ежедневному обследованию — я подло предусмотрел, чтобы он не вошел внезапно, — как мерзкий вор, прокрался в его комнату с заранее приготовленными вторыми ключами. Подлая рука, которую он дружески целовал, открыла его бюро.

Там беспорядочно были разбросаны тетради и листочки, исписанные знакомым летящим почерком, покрытые набросками рисунков, среди которых мелькало и мое лицо. В тетрадях были переписаны его собственные старые стихи.

Зачем? Пушкин постигал себя прежнего? Пытался войти в привычные ритмы? Или переписывал, чтобы легче их «выдолбить»?.. На листочках были отдельные невразумительные строчки, слова, столбики рифм… а чаще мелькало: «проба пера… А. Пушкин… проба пера…» Вот и все.

Я снова запер ящики и едва удержался, чтобы не пустить себе пулю в висок. Великий Пушкин становился жалок…

Но он совсем не выглядел жалким, когда сидел за книгами. Его суждения о прочитанном, узнанном были неисчерпаемы. Прозу он начал изучать с «натуральной школы», которой оказался родоначальником, о чем узнал от меня, и удивился: он позабыл о «Повестях Белкина». Многие проблемы прозаического творчества были им уже поставлены в прежних критических статьях и высказываниях, он их и нынче отстаивал.

— Зачем такую манеру зовут «потоком сознания»? Вряд ли кто думает с придаточными предложениями. И почему так длинно? Тут в каждой фразе торчат уши автора. Хвала ему, что умеет передать мысли и волнения героя, мы так не умели.

Не мирился с нашей классификацией жанров и направлений, впрочем соглашаясь, что это нужно для нужд педагогических.

Не берусь передать блеск его суждений, часто развивающих его прежние собственные критические и облеченные в поэтическую форму мысли. Но ввести его в границы наших представлений и толкований было почти невозможно. Только о границах документальности и вымысла, особенно в жанре историческом, мы с ним спорили, как современники.

Северский первый заметил, что Пушкин все больше теоретизирует, проявляя все большую ученость. Он стал предпочитать критические статьи: они лучше раскрывали ему «степень высоты всей литературы». Вначале его обрадовало, что критика перестала быть «частным суждением», стала оружием идеологического воспитания, но затем он стал утверждать, что такая «государственная», как он говорил, критика с «заданными» мнениями стирает подлинное лицо художника и мешает читателю. Творчеством же управлять нельзя.

Суждения его все чаще становились негативными. Так, он однажды спросил меня: так ли в нашей жизни все безоблачно? Неужто нет и теней! — Я дал ему несколько современных романов, сохранивших следы реализма критического, но он сказал, что у нас много осталось от его времени. И «прямо учуял», где «старая его приятельница — цензура» «когтями вырывала» куски, и многое у писателя осталось недосказанным.

Фундаментом его самостоятельных суждений была его огромная, непостижимая даже Северцеву эрудиция и прошлый

опыт в формировании его собственных мнений, часто непоколебимых. Все-таки, вмещая новое, он оставался мыслителем своего времени, наше не вмещалось в ум.

7. Распалась связь времен…

Постепенно он вошел в жизнь советской страны, все меньше по виду отличался от нас всех, что, впрочем, отняло у него часть обаяния. Регулярно читал газеты, смотрел передачи, заметив, что телевидение разрушило и пространственные представления: мы одновременно и здесь и там. Скорбел и радовался вместе со всем народом. Внимателен стал к пульсу новой общественной жизни, но полностью всего вместить, принять просто не мог.

Прежде он недоумевал: если народ его, Пушкина, любит, зачем же его «скрывать»? Теперь он инкогнито свое раскрыть не желал сам. Настойчиво просил освободить его от опеки ученых и мечтал «удрать от науки», утонуть в народном море, раствориться в нем как частное лицо, как безвестный скиталец.

Он и в прошлом себя разлюбил: былые стихи и все творчество казалось ему «малостью» перед тем, чем сделалась русская литература и поэзия почти за 200 лет. И не в утешенье было, что он — всему этому исток. Ржавчиной разъедала сознание мысль: он уже не тот Пушкин, которого знают, и ничего более своему народу не даст. Кто он такой нынче? Едящий, пьющий, разглядывающий жизнь? Кто он в этом мире? Пушкин, на которого можно «глазеть», как в зверинце? Существо, на котором наука доказала свое торжество? И плакал открыто, не таясь. И каждая его слеза камнем падала на мое сердце.

И снова, и снова мы с Бородиным уверяли, что дар вернется, вспыхнет. А коли и не вернулся бы, поэт сумеет проявить себя как ученый, как лектор, наконец. Ведь если опубликовать его устные критические замечания о прочитанном, это будет «книга века». Он печально качал головою: «Я был поэтом и хочу им остаться. А коли не могу — не надо меня!» Бородин убеждал, что даже таков, как он есть сейчас, после опубликования эксперимента и «явления» миру Пушкина, он станет почетнейшим членом многих Академий. Воскрешенный зло хохотал: «В Академии наук заседал князь Дундук…»

Все это становилось уже не его личной трагедией, а источником смятения самого Бородина: объект гениального опыта ускользал из направляющих рук науки.

Он уже появлялся на улицах, в театрах, все в образе «иностранца» и больше всего боялся, что его «рассекретят». Многие примечали его сходство с поэтом, он любезно улыбался:

«Польщен!» Не открылся и правнукам своим, был с ними любезен, не более.

Если вначале он принимал каждую кроху нового с доверчивым любопытством, страстной любознательностью, то нынче становился все более равнодушен, без удивления, механически вбирал впечатления. Объяснения непонятного раздражали его.

Все неохотнее отрывался от книг русских и иностранных, ради поездок и зрелищ. Читательские интересы становились шире, и все запоминал крепко, так, что мог в наших спорах аргументировать веско. В вопросах археологии, ее «тайнах», как проблемы Атлантиды, происхождения племен, оказался неожиданно эрудированнее нас с Северцевым, припоминал забытые ныне источники. Неисчерпаемость ума поражала.

В театрах сидел, никем не знаемый, без особого, прежде не покидавшего восторга слушал оперы, смотрел балеты на свои произведения. «Свое» воспринимал как чуждое и досадное.

Новую поэзию он почувствовал, пожалуй, лучше, чем мы. Живопись оставила его холодным. В картинных галереях великие Репин, Суриков, Левитан заинтересовали меньше чем портреты современников. Только «Демон» Врубеля заставил вздрогнуть. Перед своими портретами кисти Кончаловского сказал: «Эк его, как меня угадал!» А потом сквозь зубы по-английски прошептал: «Я или не я? — Вот в чем вопрос!»

Напротив строчки Маяковского с мольбою о воскрешении пометил: «Не советую!»

Заметно старел, становился нелюдим, озлоблен. Почти не шутил по-ребячески. Угасал. Становился, как сам сказал, «несносным желчевиком».

Бородин, настаивающий, что причина болезни — сокрушающая сила самых первых впечатлений, пригласил к «иностранцу» знаменитейших кардиологов мира. Они подтвердили склеротические изменения мозга и сосудистой системы. Болела печень — ее раздраженность перед дуэлью так и закрепилась при регенерации тела. Лечили. Лечили. Штопали материю, разорванную душевными страданиями.

Давно мы заметили его полное равнодушие к женщинам. Это не укладывалось в представление о Пушкине. Бородин приказал мне создавать для него самые рискованные ситуации. Он оставался бестрепетным.

— Красавица? — похохатывал Александр Сергеевич. — Помилуйте: это лошадиное лицо с огромным ртом, эти открытые сытые ляжки! — Женщины, же, соответствующие былым идеалам красоты, вызывали лишь любованье, задевали чувства строго

эстетические. Заметил, что обнажение верхней половины торса в его времени вызывало более чувства, чем желания. Сексуальную раскованность нашего времени принял с брезгливостью: только тайна в любви прекрасна! Мне признался что никогда «это» его не тревожит. «Это» покинуло его, как и дарование.

Пригласили сексологов. После расспросов врача об интимном «ради интересов науки» он воскликнул возмущенно: «Какая, однако, бесстыдница эта ваша наука!» Выяснилось, что наш Пушкин неспособен к воспроизведению потомства. Вот почему он, тоскуя по друзьям былым, редко вспоминал жену и детей — это была область пола. Так обнаружилась еще одна крупная «раковина» в сплаве, который мы называли Пушкин.

А он все угасал. Не помогло и старинное средство против сплина: путешествия. В вояжах он тоже ничему не радовался, впечатления не обогащали более. Желанный Кавказ утомил обилием цивилизации. Сибирь — просторами. Заграница, куда он всю первую жизнь мечтал поехать, оживила только на первых порах. Он только считал этажи, а посещая памятные места, грустно повторял: «Могилы… могилы…»

«Шоковая ситуация с положительными эмоциями», которые Бородин наслаивал одна на другую, лишь усугубляли угнетенность. Я предложил свезти Пушкина на праздник в Михайловское. Сидя в публике, он вежливо выслушивал выступления и на концерте прослезился при хоровом исполнении песни «За морем синичка не пышно жила», которую певала ему няня. Когда мы только вдвоем бродили по полям и лесам имения, не он сам, а я читал ему строки: «Минувшее меня объемлет живо…» Он сказал: «Объемлет-то, объемлет, но мертво».

Мы беседовали с колхозниками, потомками его крепостных. Они шептались, как иностранец этот похож на божество их музейного комплекса. Директор Гейченко даже сфотографировал его в толпе. Пушкин особенно долго смотрел на уроженца села, веснушчатого молодого тракториста — видно, он был похож на своего знакомого поэту прапрадеда — и спросил ласково, что тот думает о Пушкине. Парень застенчиво и простодушно сказал: «Пушкин — наше все!» — и обвел руками окрестность, прихватив кусок неба. И хотя он явно повторил услышанное с праздничной эстрады, «иностранец» побледнел и ушел от толпы. Не было, не было ему чем возместить народную любовь!

Я записал тогда все его замечания по реконструкции усадьбы, теперь записи утрачены, и все останется как есть — «приблизительно так».

Все чаще слышал я негативные суждения о нашем времени. Уже снова он говорил не «наше» общество, а «ваше».

Массовую культуру нашего века осудил: само понятие культуры включает глубину воззрений и чувствований, мы же называем культурой не более, чем цивилизацию. С восторгом вначале принявший новое в народном сознании, вдруг затосковал по патриархальности. С глубокой скорбью и разочарованием жалел об утрате обычаев и верований народных, о нивелировании национального. При всей силе ума мироощущение нынешнего человека не мог вместить.

Атеизм нашего века принял без удивления, повторяя, что с юности был афеем и много от этого пострадал. Но странна ему была мысль об атеизме всенародном, и, посещая храмы, кивал на толпы молящихся: как можно утвердить неверие! «Вы говорите, «атавизм сознания», а я уверен — это народ оберегает себя и свои устои через веру. В идею общественного идеального устройства, к которому стремитесь, верить нельзя, ее можно принять или отвергнуть, верят же в непостижимое». Я заметил, что в наши дни непостижимого в мире становится все меньше. Возразил, что я имею в виду непостижимое разумом, а непостижимое воображением — Бог — всегда останется.

— Не находите ли вы, — сказал однажды, — что в нынешней литературе нет сострадния? — Я ответил, что человек несчастный не есть типическая фигура нашего времени. — Брюхо сыто, на брюхе шелк, но ваши люди пьянствуют, как прежде, они своекорыстны, интересы их мелки, больницы переполнены, машины отравили воздух, химия — землю… Сознание народа не едино. Не о том мечтали социалисты. Равенство и свобода относительны.

Все чаще, когда он высказывал такие мысли, я выключал аппараты прослушивания. Зачем было им знать мнение блистательного пришельца о мире, который мы считали безупречным?

8. Коллоквиум

Бородин не любил лишних разговоров о Воскрешенном, однако посвященные в тайну сотрудники его группы заговорили, что Пушкин стал нелюдим, резок, старел, а главное не знакомил никого с новыми «перлами поэзии», которых от него ожидали. Все считали, что богатство новых впечатлений должно пробудить в нем особую поэтическую силу.

Тогда наш старик созвал закрытое узкое совещание и на нем сообщил, что многие уже месяцы после воскрешения Пушкин себя как поэт не выявляет. Ученый оптимистически заявил: он уверен, что все это «всплывет» постепенно, доделает сама природа, сам

организм. Вначале он ведь и своих стихов не знал, теперь… Опасно лишь одно: субъект осознает неполноценность своей личности, что разрывает его психику, вызывает изменения в организме и ставит на опасную для жизни грань. Следует отыскать пути, как вывести его из этого состояния.

— Увлечение женщиной! — предложил молодой голос. — Сообщили о его крайне вялых сексуальных эмоциях.

Зашумели, задвигались: подтверждалась теория о связи сексуального и творческого начала в человеке.

В чем же причина изъянов? Микробиологи заговорили о генетическом коде, о рибонуклеинах, цепочке аминокислот, которая при воскрешении утратила или не смогла восстановить какое-то неуловимое звено. О самоорганизующихся молекулах, образующих организм. Упоминали имя Апарина. Видимо, ход случайностей привел к неполной удаче эксперимента.

Бородин же возражал, что не в молекулярных процессах дело, а в шоковой ситуации, возникшей из-за неправильной методики нашего собственного поведения после регенерации.

— Мы начали, — говорил старик, — с обратного хода — от сильной шоковой информации переходили к дробной. И, может быть, в этом наша ошибка. Интеллект изумительной мощности не смог покамест — он особо подчеркнул это слово — вместить сразу одновременно два пласта жизни, два чуда, одно из которых — творчество. Гипотетически…

А я думал о живом человеке, который сейчас остался один на нашей даче. Друг мой, светлое диво природы — страдал. Он не мог терпеливо ждать, когда бородинские «самоорганизующиеся молекулы» вернут ему природный дар, всю личность полностью… Я взял слово:

— Я не ученый и не знаю деталей эксперимента, но, безусловно, Пушкин вернулся к нам со всеми качествами своего природного интеллекта, продолжающего развиваться, несмотря на утрату поэтической способности. В нем интенсивно живет и ясный ум, и необычная память, и наблюдательность, и тонкий вкус к изящному. Его интересы по-прежнему разносторонни. Не угашен интерес к вопросам общественного и духовного порядка. Бывший поэт — с какой горечью я называю его так! — полностью осознал свою необыкновенную роль в прошлом и нынешнем мире.

— Именно поэтому утрата важнейшей интеллектуальной «детали» — способности создавать привычное — стала для него источником испепеляющего страдания. Он не ученый, не знает, не верит, что время вернет его уникальное дарование, без которого он ни лично, ни социально существовать не хочет. Он

стыдится себя сегодняшнего. В нем вместо привычных ритмов воцаряется хаос. Я, самый близкий Воскрешенному человеку, говорю вам: он в отчаянии, что ему вернули жизнь, лишенную главной для него ценности.

— Мы возродили личность, ущербную и в других отношениях, и несовершенство нашего воссоздания повергло его в жестокие душевные страдания, ведущие к гибели.

— И еще одна ущербность: он одинок в этом расширившемся мире, объем которого при всей гениальности вместить не может, не может стать полноправным участником современности.

— Считая эксперимент в основном удавшимся — человек вновь живет и мыслит, — вы забываете о том, что он страдает. Столь глубоко, сколь глубока его умственная сила.

— Мы показали ему далеко не золотой век человечества. Поглядели бы вы, как потрясают его фильмы о войне, он знает об опасности радиоактивности, об атомной бомбе, о нарушении равновесия в природе. Прежний Пушкин этого не знал, он верил в гармоническое общество, но его в нашей эпохе не нашел. Какова же его разочарованность! — В этом месте меня прервал тот же молодой голос:

— Ну что ж, пускай разделяет с нами все тревоги человечества! Я продолжал:

— Апостол своей эпохи, пророчески глядевший в будущее, в нашем мире — дитя. Вырвав гения из его времени, мы превратили его в объект наблюдения, как букашку на булавке, и он сознает это отлично. Он, хоть и шутя, называет себя «подопытным животным». Он — Пушкин!!! Не позор ли нам, что мы превратили гения в школяра, которому выбирают жизненные пути. Но самое, конечно, главное, что лишает его желания жить в нашем обществе — неполноценность творческая, отсюда вырастают все его конфликты со временем.

— Я говорил, что следовало выбрать ученого, — проворчал один из академиков, — человека с не столь сложной эмоциональной организацией.

— Ученый так же мог утратить что-то и страдал бы не меньше. Потому что мы работали вслепую, гипотетически. Наш эксперимент, как говорят программисты, — решение в расплывчатых условиях. Этот жестокий опыт доказал, что мы не умеем управлять процессами полного формирования мышления где-то в недоступных нашему пониманию глубинах.

— Так что же, разве мы создали урода?

— Нет, страдальца. Из гармонической личности гения, абсолютно здорового душевно, мы вылепили трагическую фигуру «пришельца» — анахронизм. Какая в этом цель? Доказать

торжество науки?

— Подобные опыты следует воспретить! Недопустимо и преступно переходить грани времени, отделяющие одно поколение от другого. Личность и ее исторический период неразрывны. Мы нарушили основной закон прогресса — закон преемственности, непосредственно вмешали силы ушедшего в процессы, современные нам. Вынимая людей из прошлого, мы обрекаем их на муки одиночества. Одно это — жестокость. Какая в этом цель, спрашиваю я вас?

И тут все закричали одновременно. Одни утверждали, что такие опыты — бесценная практическая помощь в раскрытии «белых пятен» истории, точной, абсолютной реконструкции прошлого. Другие, присоединяясь ко мне, говорили, что такой исследовательский эмпиризм низводит гениев прошлого до роли наглядного пособия истории. Слово взял Бородин.

— Гуманно ли?.. — Он посмотрел на меня весьма сердито: я разбудил в нем что-то. — Дело, однако, сделано. Пушкин, видите ли, живет! Наша задача сейчас, не философствовать, изыскать пути спасения нашего пациента. Я убежден твердо: сама природа — он подчеркнул это слово, посмотрев на меня искоса — природа постепенно восстановит в мозгу Пушкина недостающие системы. Самореанимация не только возможна, но обязательна. Беда лишь в том, что подопытный может погибнуть раньше в сознании утраты дара своего. Но Вы забываете, Петр Андреевич, что утратив его, Пушкин уже выявляет себя как ученый, аналитик, публицист. И это меня особенно обнадеживает. Ведь перед гибелью эти качества уже явственно в нем обнаруживались, были заложены. Вспомните: стихи появлялись реже, «История Петра», «История Пугачева», его журналистика, письма, критические статьи, полные размышлений литературных, философских, социальных… Наступал второй период его деятельности. Было заложено! Стало быть, цепочка не оборвалась… Он угас, переполненный планами на будущее. Вот где выход.

— Пока он мучим конфликтными ситуациями своего воскрешения, надо направить его сознание именно на новый вид духовного труда на пороге к которому он прочно стоял перед дуэлью. Следует внушить ему, что перед ним нынче не поэтические задачи. И он станет счастлив. А значит, здоров. Он сам говорил, что жизнь — это обновление, а он продолжает жить, только в ситуации экстремальной. Слово даю академику Северцеву.

Северцев начал издалека с положений общих, как нынче принято у выступающих:

— Слово Достоевского о Пушкине как зеркала русской

литературы, обращенной в будущее… гм… мы понимали так: в его поэзии наметились и философичность Тютчева, и титанизм Лермонтова, им открыта «диалектика души», присущая творчеству Толстого, трагические коллизии его героев продолжил Достоевский… гм… В «Повести Белкина» — ростки гоголевского и булгаковского гротеска. Мы привыкли ощущать Пушкина современником, он — незримый… гм… арбитр в прошлом и нынешнем литературном многообразии. Но Достоевский еще сказал, что Пушкин унес с собой в могилу некую тайну. Эта тайна раскрывается в новом Пушкине, она — его ученость, его мощный критический и философский потенциал. Нам, действительно, эту «тайну» надо для него самого пошире открыть.

— Я не согласен с коллегами, будто выбор нами личности неудачен. Еще Гоголь изрек: «Пушкин — это русский человек, каким он явится через двести лет». Он явился. Он с нами.

— Но в нем ничего не надо пробуждать, — обратился историк к Бородину. — Процесс в области литературной науки в его мозгу неустанно и интенсивно идет. Разрыв исторической постепенности в мышлении, считаю, обогащает его суждения настолько, что я назвал бы его родоначальником какого-то совершенно нового литературоведения. Ум не скован никакими канонами, как у нас, ни философскими, ни социологическими, ни формалистскими. Эта непредвзятость, независимость от ведущей концепции позволяет ему, при огромной филологической эрудиции, находить такие связи и сопоставления, которые порою ставят меня в тупик. Я уже высказывал ему свое восхищение, но он признался, что всем похвалам предпочел бы поэтическую способность. Мы нарушили, безусловно, нормальный путь одной из самых гармонических в истории натур, но обрели какого-то нового Пушкина. Свои творческие способности он уже раскрывает, но иначе…

Я взял слово:

— Но он не хочет «иначе»! Мы воскресили не юношу, а зрелого мужа со всеми установившимися привычками эмоционального мышления в ритмах. Но вся система этих привычек рухнула, сохранившись в памяти…

— Стереть память, — предложил кто-то.

— Вместе с ней исчезнет личность… Нынешний Пушкин ведь в поэзии не подтверждения своей былой славы ищет. Ритмы нужны самому его организму. Говоря о нем, одно мы забываем: он не наше создание. Он явление самой природы — не кибер. Мы не создали, а только восстановили алгоритмы его мозговой деятельности, но неверно, с просчетами. Мы как бы «навязали» ему нарушенные связи и изъяны интеллекта. Подумайте:

подарить жизнь но отнять ее главную ценность! Жестокость! Он должен, он обязан ненавидеть нас и все наше… коли б ненавидеть умел!..

Предлагали пути. Методы переключения «творческого потенциала» — отвлечения от губительных дум, слава Богу, о генетической цепочке да о немыслящих молекулах больше не вспоминали.

Бородин сказал, что он, собственно, собрал всех нас, чтобы коллегиально обдумать и утвердить метод гипнотического или фармакологического, или электронного, наконец, — а это мы умеем! — понуждения Пушкина к новому виду деятельности. До сих пор, сказал Бородин, мы избегали подобного, предоставляя процесс самой природе…

Во мне все клокотало от возмущения. Теперь они станут его физически мучить!.. О моем Пушкине, гениальном, доверчивом поэте, о живом и страдающем Александре Сергеевиче рассуждали, как о не совсем удачно сконструированной машине. Обсуждали ее изъяны, искали их причины в какой-то немыслящей цепи каких-то аминокислот, советовались, как лучше заменить ее части другими для возможного полезного применения. Хотели что-то в нем согнуть, выпрямить насильственными руками науки.

Слушать все это было невыносимо. Будто я присутствовал при операции, которую делали страстно любимой женщине — пластали ножами обожаемое тело как обычное мясо, рвали крюками мускулы, грубыми пальцами трогали трепещущие нежные сосуды…

Я покинул заседание.

В тот же день поздно вечером я подрулил к воротам нашей дачи. Спит ли Он, драгоценное дитя человечества? Или бодрствует над книгами, или потаенно пытается выдавить из себя несколько стихоподобных строк?

В окнах света не было, и вокруг плыла темнота и тишина. Только в окружении задремавшего цветника под окном его кабинета сиял подсвеченный нами снизу мраморный бюст Лермонтова на невысокой колонке. Изображение сына своей поэзии захотел сам Пушкин, нашел ему место, насадил вокруг цветы и придумал подсветку, чтобы ночью из темноты возникало дорогое ему лицо «гениального мальчика».

Я приблизился к крыльцу и увидел: у подножия колонны на измятых цветах лежало неподвижное тело. Он был холоден. Он был мертв. Эксперимент закончился.

На рассвете после тысячи хлопот мы с Бородиным вошли в комнату Пушкина. Под настольной погашенной лампой лежал сборничек, раскрытый на стихотворении Бенедикта Лившица:

Приемлю иго моего креста,
Трех измерений сладкую обиду,
Пусть ведая, что в райские врата,
Во внутрь вещей я никогда не вниду.

Но не гордынею душа полна,
Хотя уводит в сторону от Рима:
На что мне Истина, когда она
С поющим словом несоизмерима?!

Последние две строчки были отчеркнуты и повторены на полях знакомым летящим почерком. Вероятно, он, мучительно сопоставив чужие эти строки с остротою своего трагического положения, задумался, оставил на полях свой последний автограф, экономно выключил свет и вышел перед сном в темноту. Может быть, только подышать в цветничке, может быть, навсегда покинуть дачу… Кто знает?

В его времена верно и живописно называли разрывом сердца то, что обнаружило вскрытие.

Останки дважды рожденного Пушкина тайно, как при первых похоронах, отвезли в прежнюю могилу. Там теперь снова истлевает бесчувственное тело.

Чтобы это не повторилось, я и решился…

XIV. ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Мы святыни свои расхитили,
Отчий дом, покинув, ушли.
Вечно будем искать обители,
Тихой пристани, новой земли.
Отрекались. Каялись. С верою
Мы искали новых тревог.
Обвевал наши лица серые
Ветер стылых больших дорог.
Кто разбойником, кто иудою
Стал, бредя неторным путем.
Ожидаем ли нового Чуда мы,
Иль совсем ничего не ждем?
О, страна моя! Помнишь, исстари
Наши деды сжигали плоть?
А теперь мы — племя нечистое,
Нас взыскует строго Господь.
Мы во храмах торгуем талантами,
Богохульны и наглы мы.
И глядит Владычица Скорбная

В наши лица глазами Судьбы.
Оправдает ли наше смятение
Перед нашими внуками нас?
Сохранят ли потомки трезвые
Этот страшный о нас рассказ?!
То ли свадьбы нам, то ли тризны
Под спадающий шорох риз…
Так пред ликом скорбной отчизны
Мы опустим ресницы вниз.
Италия — Австрия, 1945 год.

Опустошенность
Все кончилось. Разомкнуто кольцо —
Спектакль сыгран. Грим не нужен.
В оправе зеркала померкнуло лицо
И рот увял. Зрачок устало сужен.
Ты только что, дрожа изнемогал,
Сгорая в пламени «шестого чувства».
И задыхался зал и замирал
С тобою связанный тенетами искусства.
Открой глаза. И не увидишь ты
Ни блеска хрусталя, ни солнечного блика.
Преображенный по велению мечты
Мир потерял убор свой огнеликий.
Погасли рампы праздничной огни
И сцены будничное чрево приоткрыто:
Так озаряет паутинные углы
Ненужный свет забытого софита.
Там холодно и тихо. Там теней
Застыли медленные покрывала,
И кажется бездонней и страшней
Громада темная уже пустого зала.
Поэтами воспетый плащ Звезды
Валяется в пыли. Померкла позолота.
Спектакля сыгранного тленные следы
Подобны меркнущим огням болота.
Все вещи стали грязными и злыми.
Теперь бессонница до самого утра.
Стучится боль ударами глухими…
Так жизни целой кончена игра.
Киселевка. Ночь 4–5 мая.

Перекрестки

Мы прежде были одной душою,
Одной струною, слезой одной…
…когда умрем,
Ты станешь ветром, а я травою,
Ты будешь песней, а я звездой.
Полна предчувствий и ожиданий
Я жду и верю, далекий друг,
Настанет скоро пора свиданий,
Минует скоро пора разлук.
На перекрестках гуляет ветер.
Опять закрыты глаза судьбы.
На перекрестке в такой же вечер
Однажды повстречались мы.

Гулаг

Я в мир амеб однажды низошла,
Влача изысканные покрывала;
И мне открылось в фокусе стекла
Простейшей жизни мудрое начало.
Средь них познала я народа тело —
Кирпич строительный вселенских зданий,
Средь них от слепоты прозрела,
Отринувши тщету воспоминаний.
О счастье, просто видеть и дышать,
Не зная груза нужных нам понятий;
Сначала только страшно наблюдать
Любовь без поцелуев и объятий.
Бездумно жить на тризнах и пирах.
Вкушать земли простые злаки.
На лицах грубых и больших руках,
Ремесл тяжелых оставляя знаки.
От горя — плакать, в радости — кричать,
Топить очаг в своей землянке-клетке;
И медленно, не слышно умирать,
Как умирают сломанные ветки.
Создание себе подобных тут — закон,
И право — естество. Тут есть обычай власти.
Здесь непонятен страждущего стон,
Погибельны и бурны страсти.
Мир этот прост, но вовсе не убог,
А лишь добру и злу потусторонен;
В нем нету наших выспренных тревог,
Он вечно юн и гармонично скроен.

1953 г.

«Богиня правосудия — плавник»[41]
Печаль и боль, неправду и обиду
Могла легко измерить на весах
Богиня правосудия — Фемида,
Судившая с повязкой на глазах.
Сто раз воспета строгость этих линий
И мрамор уст склоненного чела…
И кто бы мог подумать, что богиня
Во все века несчастною была.
Столетьями хотелось ей повязку
Сорвать с лица и посмотреть в упор
На сплетника, глядящего с опаской,
На вора, опускающего взор.
Хотелось исторгать ей гнев и жалость,
Высоким состраданием горя,
Чтоб каменное сердце задрожало
Сочувствием к обиженному зря.
Хотелось хохотать над славой мнимой
И радоваться, оправдав раба…
Судить людей, не видя подсудимых,
Поистине, несчастная судьба…

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вступление к приложению № 1

Среди бумаг недавно ушедшей от нас Евгении Борисовны Польской, в ее интереснейшем писательском архиве, была найдена самодельная тетрадь, сшитая из листов оберточной бумаги и разлинованная от руки. На ее обложке Евгенией Борисовной сделана запись: «Письмо Л. Н. Польского из лагеря Н. С. Хрущеву». Рядом поставлен владельческий штамп — «Собрание Л. Н. Польского». Судя по всему — это черновик памятной записки, составленной Леонидом Николаевичем в Воркуте в начале 1955 года.

Ознакомившись с содержанием письма, сознавая его исключительную историческую ценность, мы решили подготовить его публикацию, с незначительными сокращениями, сопроводив следующим замечанием:

Л. Н. Польский, сам находясь в нечеловеческих условиях сталинского ГУЛАГа, отбывая повторный 25-летний срок заключения, нашел в себе силы и мужество написать «Слово» в защиту своего народа — обездоленного и репрессированного Казачества.

В форме «памятной записки» он явил высшему руководству страны страшный список его (руководства) преступлений против казаков, предложил возможный выход из сложного тупика, в котором оказались, по вине сторонних сил, сотни тысяч ни в чем не повинных людей.

Хотя страна уже два года жила без Сталина, Система им созданная продолжала оставаться незыблемой и всемогущей. Очевидно, что голос Л. Польского, поданный не за себя, а во имя целого народа, был одним из самых первых легально прозвучавших в полузадушенной стране.

Для читателей этой публикации необходимо постоянно сознавать реалии, в которых находился автор письма. Без «реверансов» в адрес существовавшего режима можно было заработать только дополнительный срок, если не пулю в затылок. И все же, за внешней лояльностью угадывается непримиримая позиция человека, вопреки поворотам судьбы не утратившего достоинства и чести, знающего цену обещаниям Советской власти, не прекращавшего даже в ГУЛАГе своей борьбы с коварной системой.

Можно смело утверждать, что перед нами уникальный

документ эпохи, открывающий еще одну грань человеческой души гражданина и патриота России — писателя и журналиста Л. Н. Польского.

С. Бобров, Н. Тимофеев

Приложение № 1. Леонид Польский К ВОПРОС У О СУДЬБАХ КАЗАЧЕСТВА (памятная записка)

На первый взгляд может показаться, что сама постановка вопроса о судьбах казачества перед высшими советскими и партийными органами носит в настоящее время нереалистический и надуманный характер, т. к. принято считать, что казачий вопрос давно уже сам по себе сошёл со сцены в силу тех глубоких социальных преобразований, которые произошли в СССР за годы советской власти. В действительности же — это далеко не так!

В области политической казачий вопрос, возникнувший с первых дней Октября (уже с момента похода Краснова на Петроград), все ещё, как это показали события Великой Отечественной войны 1941-45 гг., остается одной из жгучих проблем. Этот вопрос не утратил своей остроты и поныне…

Вся казачья многовековая история насыщена многими драматическими событиями борьбы за свои вольности. Имена Ильи Муромца, Байды-Вишневецкого, Наливайко, Степана Разина, Кривоноса, Кондратия Булавина, Петра Болотникова, Палия, Мазепы, Войнаровского, Емельяна Пугачева, Гонты, Калнышевского, Кармелюка и других говорят о тернистом пути, пройденном казачеством в прошлом и его трагических судьбах.

Славные казаки-землепроходцы — Ермак Тимофеевич, Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, Василий Поярков, Иван Козыревский и др. простёрли границы России к Тихому океану, вплоть до Курильских островов. Немеркнущие казачьи подвиги по поиску «новых землиц» нашли отражение в крылатой фразе: «Границы Российского государства лежат на арчаке казачьего седла». Нельзя не согласиться с утверждением Л. Н. Толстого о том, что «Вся история России сделана казаками». Действительно, с казаками связаны, так или иначе, все славные страницы нашей военной истории. Составляя, по словам Н. В.Гоголя «одно из замечательных явлений европейской истории», казаки своей доблестью и лихостью стяжали нетленную военную славу.

Уже на заре своей истории казачьи отряды побывали во многих заграничных походах. Казаки участвовали в осаде

французской крепости Ла-Рошель во время войны с гугенотами, бились под Дюнкерком во франко-испанской войне, сражались в рядах войск Валленштейна в Тридцатилетней войне. Шведский король Густав-Адольф хотел привлечь казаков к себе на ратную службу, с этой целью посылавший миссию в Запорожскую Сечь. Казаки-некрасовцы, бежавшие с Дона на Кубань, а затем в Турцию, входили в состав янычарской гвардии турецкого султана. В сражении под Кунерсдорфом во время Семилетней войны казаки подобрали шляпу прусского короля Фридриха, бежавшего с поля боя. С Суворовым они брали штурмом Измаил, прошли весь легендарный путь через Альпы[42]. Казачья конница Платова предпринимала в 1801 году грозный для Англии поход на Индию. В Бородинской битве 1812 г. казаки, зайдя в тыл врага, сорвали все планы Наполеона выиграть сражение. Донской, лейб-казачий полк первым вошел в Париж в 1814 голу.

Десятилетия, с Ермоловым, Баклановым, Слепцовым, Котляревским, вели казаки изнурительную тяжелую кавказскую войну против турецких агентов Майсура и Шамиля. В лихом и отчаянном штурме Геок-Тепе казаки, во главе со Скобелевым, разрушили все козни, чинимые англичанами России в Средней Азии. Через Шипку и Плевну казаки в войну 1877-78 гг. пронесли свои бунчуки до Сан-Стефано и Адрианополя. Стойко и мужественно вели себя казаки Мищенко на полях Манчжурии в русско-японской войне.

Не уронили они своей казачьей чести и в Первой мировой войне 1914–1918 гг., когда казак Кузьма Крючков для всей России стал олицетворением лихого казачьего молодечества. Казачья конница с честью выполнила свой воинский долг в Луцком прорыве Брусилова. Под Эрзерумом, Баязетом и Трапезундом казаки-пластуны шли на штурм неприступных горных твердынь.

Громкая казачья бранная слава неотделима от той борьбы, которую казаки всегда вели на внутреннем фронте против русского царизма, отстаивая свои права и вольности. Казакам Заруцкого и Трубецкого принадлежало решающее слово в избрании царем в 1613 году Михаила Романова, который за это утвердил за донскими казаками их особые права на самоуправление и свой казачий уклад жизни.

Длительная кровавая борьба украинского казачества с Польшей за свои вольности привела, в конце концов, весь украинский народ, на Переяславльской Раде 1654 г., под высокую руку Москвы. Никакие последующие попытки Выговского, Юрия Хмельницкого, Дорошенко, Серко, Иногрешного и др. разорвать УЗЫ ДРУЖБЫ с Москвой не имели успеха. Все эти годы лихолетья и вооруженной борьбы с московскими стрелецкими дружинами

стоили немалой крови и тяжелых жертв украинским казакам.

Многострадальные страницы казачьей истории составляет жестокое подавление восстания Степана Разина, карательная экспедиция кн. Долгорукого на Дон для подавления мятежного Кондратия Булавина. Уход остатков булавинцев во главе с Игнатием Некрасовым за Кубань, переход Ивана Мазепы на сторону Карла XII и бегство верных Мазепе казаков в Турцию, разгром Запорожской Сечи, заподозренной в измене, образование «Задунайской Сечи» на турецкой земле находятся в том же ряду, что и переселение остатков «Запорожской сечи» во главе с Чепигой, Головатым и Белым на Кубань, а равно и массовые рспрсссии, обрушенные гр. Паниным на головы яицких казаков — участников Пугачёвского бунта.

Раздираемое внутренним антагонизмом между «верховыми» и «низовыми» казаками на Дону, между реестровыми и выписчиками на Украине, между «послушными» и «непослушными» казаками на Яике, казачество претерпело много случаев черной измены и предательства в своей же среде, дорого платя за это своими казачьими головами. На этой розни интересов казачьих верхов, зажиточных старшин с неимущей казачьей голытьбой — «гультяями» всегда умело играл русский царизм, подчиняя казаков своему влиянию и постепенно лишая всех, завоёванных кровью предков, казачьих вольностей. Но и царскому правительству стоило больших усилий сломить сопротивление казаков, превратить казачество в верного стража самодержавия. Немало жизней вольнолюбивого казачества поглотила эта борьба, прежде чем казачья нагайка, полвека тому назад, стала зловещим символом чёрной царской реакции.

Таковы вкратце поучительные факты всей прошлой казачьей истории, составляющие неотъемлемую часть истории России. Без знания этих фактов трудно иметь представление о той двойственной роли, которую играло казачество на протяжении всего советского периода. Об этом извилистом и тернистом пути казачества нам говорят такие диаметрально противоположные художественные произведения литературы, как роман о судьбах казачества «Тихий Дон» советского писателя Михаила Шолохова, и «От двуглавого орла к красному знамени» белоэмигрантского писателя Петра Краснова.

«Русской Вандеей» назвал В. И. Ленин казачьи области Дона, Кубани, Терека, Урала, ставшие оплотом контрреволюционных сил. В гражданской войне казачество, как встарь, раскололось на два стана — на белых и красных казаков! Именам Корнилова, Каледина, Краснова, Богаевского, Филимонова, Дутова, Караулова, Толстова, Семенова, Мамантова, Шкуро, Бичерахова,

Анненкова, Калмыкова, Кузнецова и других активных деятелей казачьей контрреволюции противостояли в этот период такие видные фигуры красного казачества, как Буденный, Подтёлков, Кривошлыков, Городовиков, Пархоменко, Кочубей, Каширин, Жлоба, Ковтюх, Дьяков, Автономов, Блинов, Думенко, Гай и др…

…Разгром Покровским и Врангелем Кубанской Рады, казнь Калабухова и высылка за границу Быча, Макаренко и других лидеров кубанских «самостийников», намного облегчили задачу разгрома Деникина, т. к. повлекли развал всего белого фронта. Кубанцы, входившие в состав наиболее боеспособных частей Врангеля, Шкуро, Улагая и Бабиева не стали сражаться с Красной Армией, не желая продолжения кровопролития, братоубийственной войны, и, бросая фронт, начали расходиться по станицам. Капитуляция весной 1920 года, в районе Сочи 60-тысячной казачьей армии Морозова завершила разгром «Казачьей Вандеи». С казачьей территории белогвардейская борьба была перенесена в Крым, куда, под знамена Врангеля, часть белого казачества ушла из Новороссийска.

Предпринятая летом 1920 года Врангелем попытка путем десантных операций на Кубани и Дону снова всколыхнуть «Русскую Вандею» не смогла, однако, зажечь пожар нового казачьего восстания… Остатки казачьих войск Врангеля ушли в эмиграцию, рассеявшись, после продолжительного пребывания на о. Лемнос и в Галлиполи, по Болгарии, Юго-Славии и Чехо-Словакии. В этих странах возникли основные казачьи белоэмигрантские центры. Появились среди казачьей эмиграции новые «атаманы»: у кубанцев — Науменко, у терцев — Вдовенко, и у донцов, после смерти Бошевского — Попов…

В первые годы после установления Советской власти на казачьей земле, казачество в массе своей шло за Советами, оставаясь равнодушным ко всем попыткам оживить повстанческую борьбу. Ни «Армия Правды» Фостикова, ни «Кубанская Повстанческая Армия» Пржевальского, ни «Армия Освобождения России» Серебрякова, возникавшие на Кубани и Тереке, не имели массовой поддержки у казаков, уставших от всех тягот первой мировой и гражданской войн. На нейтральную позицию донских казаков не могли повлиять ни попытка Н. Махно опереться на донские станицы, в ходе его рейда на Дон, ни кулацкие восстания в смежных с Доном районах, Антоновщина в Тамбовской губернии и Богучарское восстание в Воронежской губернии, поднятое Сапожковым восстание в Саратовской губернии. Слишком свеж был в памяти у донцов, понесших особенно большой урон в антисоветской борьбе, горький урок верхнедонского, «чапанного» восстания 1919 года.

Все отдельные вспышки, возникавшие в некоторых казачьих станицах быстро и энергично пресекались, не получая широкого отзвука у казачества, еще недавно в конных рейдах Мамантова и Шкуро, дерзко бросавшегося в бой против частей Красной Армии. Повстанческая борьба, которая велась в 1921-24 гг. отрядами Рябоконя, Васильева, Фомина, Маслака, Лаврова и других главарей, постепенно выродилась в политический бандитизм небольших и разрозненных групп. Если еще в 1920 г. кое-где отдельные повстанческие отряды пользовались поддержкой некоторой части казачества (преимущественно в горных районах и в плавнях Кубани) недовольной продразвёрсткой и деятельностью продотрядов, то после введения НЭПа их борьба уже не могла рассчитывать на сочувствие и помощь казачьего населения. Не удивительно, что в полной изоляции оказались и все те группы казачьих офицеров, которые из Турции забрасывались на Кубань Лукой Бычём, для сколачивания новой повстанческой казачьей армии. Почти все эти эмиссары Кубанского войскового правительства были обезврежены, попав в руки ЧК. В тот же период прошла основательная чистка белогвардейского офицерства и антисоветски настроенного, потенциально опасного казачьего элемента. Еще в августе 1920 г. когда десантные части Улагая грозили со стороны Азовского побережья Краснодару, а за Лабой, в это же время, шли ожесточенные бои с повстанческими отрядами Фостикова, за пределы Кубани было вывезено несколько тысяч белых офицеров, активных участников антисоветской казачьей борьбы. С тех пор в казачьих станицах перестали нетерпеливо ждать возвращения «наших».

Вскоре и среди трудовой части казачьей эмиграции наступило отрезвление. Благодаря успешной миссии Серебровского, в Баку прибыла из-за границы первая партия казаков, принявших деятельное участие в восстановлении и реконструкции бакинских нефтепромыслов. Всё новые и новые партии казаков-репатриантов стали возвращаться на родину через Новороссийск и Одессу, в ответ на призывы советского правительства, объявившего прощение эмигрировавшим из России казакам-участникам белого движения.

В последующие годы ни дискриминационные ограничения, проводимые правительством к казакам в отношении призыва на военную службу, ношения традиционной казачьей одежды, ни относительно большое число «лишенцев» в казачьих областях, в сравнении с другими областями, ни массовые обыски, проводившиеся в станицах во время «серебряной» кампании, ни даже начавшийся в 1928 г. усиленный нажим на зажиточную

часть казачества, путем выдачи твердых заданий по хлебу, ни «самообложения», ни штрафы и судебные процессы над злостными несдатчиками хлеба, не вызвали сколь либо серьезных и активных враждебных действий со стороны казачества…

Только лишь перегибы, допущенные… весной 1930 г., в период кампании сплошной коллективизации на основе ликвидации кулачества, как класса, поставили казачьи области на порог новой гражданской войны. «Русская Вандея» снова заявила о себе «бабьими бунтами», прокатившимися по станицам, отдельными повстанческими вспышками в казачьих районах и национальных областях Северного Кавказа, потребовавших в ряде случаев применения войск СКВО. Ответом стала крупная диверсия на мельнице им. Ленина в Ростове на Дону, пожар на маслоэкстракционном комбинате в Гулькевичах, террористические акты проведённые против секретаря ингушского обкома ВКП(б) Черноглаза и инструктора крайкома Жуковского, массовым убоем скота, оживлением деятельности белоэмигрантских казачьих офицеров, эмиссаров «РОВС». Все это было грозным симптомом нарастания массового недовольства среди казачества.

В этот период из-за массовых репрессий, которым подверглась значительная часть казачества за противодействие коллективизации, произошел большой отлив коренного казачьего населения во всех казачьих районах Дона. Кубани, Терека, Урала, Амура и Уссури… В 1930 году большое число казаков вынуждено было покинуть свои исконные казачьи земли, одни, как спецпереселенцы-кулаки, высылаемые в северные районы, другие, как беглецы, сами сбегавшие в Закавказье, Дагестан и в промышленные районы Донбасса, где можно было скрыть неблаговидное для того времени происхождение.

Известно, что первые колхозные годы в казачьих областях протекали крайне тяжело и болезненно. Привольные казачьи поля густо заросли сорняками. В запустение пришли богатые и многолюдные станицы: уничтожались изгороди и вырубались фруктовые сады, разбирались на слом хорошие дома. Станичные широкие площади покрывались бурьяном. Закрывались и сносились многие церкви.

Голод, искусственно вызванный… в 1932-33 гг., под предлогом борьбы с кулацким саботажем совершенно обескровил казачьи станицы. Проводившиеся одновременно комиссией ЦК ВКП(б) на Северном Кавказе чрезвычайные меры, выразившиеся в поголовном выселении ряда «чернодосочных» станиц и в массовом выселении из пределов края лиц, заподозренных в саботаже, а так же кампанейское осуждение по закону от 7.8.32 г.

большого числа лиц за сбор зерновых колосьев, переселение в казачьи станицы демобилизованных красноармейцев… и населения из Ставрополья (на Волге) и других центральных областей — свели до минимума долю коренного казачьего населения и иногородних жителей, проживавших здесь к исходу гражданской войны.

Казачьи станицы, насчитывавшие прежде по 15–20 тыс. человек жителей и не уступавшие по численности русским уездным городам — вдвое, втрое убавились в своём населении. Большое число казаков оказалось рассеянным по всей стране — одни попали на спецпоселение, другие — в исправительно-трудовые лагери, третьи очутились в бегах. Этот процесс прошел повсеместно, во всех казачьих областях, и привел к тому, что обезлюдели многие богатые земли в Сибири, Казахстане, Забайкалье и на Дальнем Востоке, присоединенные казаками к владениям России, и куда теперь, спустя 25 лет, приходится привлекать на добровольное освоение целинных земель молодёжь.

В середине тридцатых годов, фактически, из 11 бывших казачьих войск еще остались отдельные островки коренною казачьего населения на Дону, Кубани и Тереке. Другие казачьи войска — Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское и Уссурийское, понесшие большой урон еще в гражданской войне, почти полностью прекратили свое существование.

Политика «Расказачивания», проводившаяся… органами власти на протяжении ряда лет дала свои плоды. Не смогли спасти положения и те мероприятия, которые были проведены правительством в 1936 г. по снятию с казаков существовавших до этого разных ограничений. Казаки, враждовавшие прежде из-за своей земли с иногородними, теперь поменялись с ними ролями, так как сами оказались в своих станицах на положении меньшинства населения. Сами же войсковые казачьи земли, вокруг которых был завязан узел борьбы, из-за резкого сокращения населения в станицах, либо в больших количествах перевели в пользование совхозов, либо с течением времени попали в категорию залежных..

После 15 лет настороженного отношения… органов власти к казачеству, после опустошения, внесенного… в 1933 г. искусственным голодом в казачьи станицы Дона и Северного Кавказа, не так легко было забыть обиды, причиненные немалой части казачества. К тому же репрессивные меры, получившие в народе название «ежовщины», снова затронули остриём многих казаков — почти всех бывших белогвардейцев, репатриантов, лиц

поддерживавших связь с родственниками-белоэмигрантами и т. п. Репрессиями оказались задетыми и многие бывшие красные партизаны гражданской войны — сподвижники Жлобы, Ковтюха, Каширина, Балахонова и др.

Все эти обстоятельства сыграли свою роль в период Великой Отечественной войны, когда немало казаков вновь пошло по пути антисоветской борьбы.

Ещё задолго до создания «РОА» генерала Власова и разных антисоветских национальных легионов в рядах немецкого вермахта появились казачьи отряды. Они формировались поначалу из военнопленных — выходцев из казачьих областей, а впоследствии, в 1942 г., из казачьего населения оккупированной немцами территории Дона и северного Кавказа и эвакуированных в 1943 г. на Украину жителей казачьих станиц. Кроме того, казачьи отряды комплектовались также из молодёжи, вывезенной в принудительном порядке с удерживаемого до осени 1943 г. кубанского предмостного укрепления между Таманью и Новороссийском.

Верхушка казачьей эмиграции — генералы Краснов П.Н., Шкуро, Науменко и другие приняли самое деятельное участие в возрождении казачьего антисоветского движения. К этому процессу примкнули и деятели, находившегося в Праге Казачьего Национального Движения, а так же бывшие кубанские «самостийники».

Этому подъему во многом способствовала немецкая декларация о казаках, выпущенная в ноябре 1943 г. за подписью Кейгеля и Рогенберга. Декларация гарантировала казакам восстановление их старинных казачьих вольностей и наделение казаков землёй, провозглашала казаков союзниками немцев в их общей антисоветской борьбе. Так, по злой иронии судьбы, вопрос о судьбах казачества стал предметом политической спекуляции…

Во исполнение этой декларации казакам были даже предоставлены земли, сначала в районе Новогрудка, а затем, летом 1944 г, в Северной Италии, после того как под натиском советских войск пришлось оставить Западную Белоруссию. «Опеку» над казаками взяло не только Восточное министерство, имевшее в своем составе казачью канцелярию и Главное Управление Казачьих Войск, но и Верховное Командование немецкого вермахта вместе с главным Управлением войск «СС» и «СД». Всего, в общей сложности, в составе казачьих войск, входивших в немецкий вермахт, было до 120 тыс. человек, представлявших собой весьма боевой и политически активный элемент. В военных сводках Верховного Германского Командования неоднократно отмечались успешные боевые

действия 15 кавалерийского казачьего корпуса, находившегося в Югославии. Не случайно, что генерал Власов, формировавший весной 1945 г. свои первые дивизии «РОА», очень был заинтересован в том, чтобы перед своим известным походом на Прагу включить казачьи части в состав своей армии.

Всем этим казачьим войскам, входившим в немецкий вермахт, с советской стороны противостояли кавалерийские казачьи части генералов Доватора, Белова, Селиванова, Плиева и др… Однако, эти кавалерийские части, в значительной мере только по названию были казачьими, так как прослойка природных коренных казаков в их составе была численно невелика. В эти кавалерийские части нередко направлялись городские жители, не умевшие обращаться с конем, тогда как настоящие казаки недостаточно широко и смело привлекались в ряды советской конницы. Те же части, которые были сформированы из жителей Кубани и Ставрополья и затем переброшены в Крым, почти целиком оказались разгромлены и пленены в мае 1942 г. в боях под Керчью.

После смелого рейда ген. Доватора по немецким тылам под Смоленском… была тогда же создана, из числа бывших красных партизан Ставрополья и конников-будённовцев, добровольческая казачья часть, влившаяся в состав 1 гвардейского кавалерийского корпуса Доватора. В 1942 г., побывав в Дивенском районе, где проживали казаки-спецпереселенцы с Кубани, М.А. Суслов обратился к ним с призывом забыть все старые счёты и идти сражаться с немцами. Может быть, если бы такой призыв был обращен в ту пору от имени советского правительства ко всему рассеянному по стране казачеству, многие обиженные советской властью казаки выбросили тогда бы «камень из-за пазухи». И в этом случае не пришлось бы принимать в 1945 г. энергичных мер по разгрому и выкорчёвыванию последних остатков «Русской Вандеи», когда большинство казачьих частей немецкого вермахта оказалось на исходе войны в руках английского командования средиземноморского фронта.

Казачьим частям, попавшим в начале мая 1945 г. в Южной Австрии в качестве военнопленных в руки англичан, на первых порах было даже сохранено оружие. Отведя для размещения казаков особые районы в Каринтии, английское командование поддерживало среди них уверенность в том, что их боевой опыт борьбы с партизанами в Югославии, Италии и Франции, теперь найдет применение в Греции против партизан Маркоса. Однако, в конце мая 1945 года английское командование передало в г. Юденбурге в руки представителя Верховного Советского командования — генерала Голикова все находившиеся у англичан

на положении военнопленных казачьи части, включавшие в себя 15 кавалерийский корпус фон Паннвица, дивизию Доманова, отдельные отряды, входившие в состав управления казачьего Резерва ген. Шкуро, пришедшие походным порядком в Альпы на соединение с основными частями.

В Шпитале, Лисице на Драве, Юденбурге, Граце и Фельдбахе доигрывались последние акты «Русской Вандеи». Вся эта мастерски проведенная операция по ликвидации казачьей армии не знает себе равных во всей казачьей истории и может быть сравнима только с разгромом «Запорожской Сечи», произведенным генералом Теккели в 1771 году. За рубежом остались после этого только отдельные казачьи части, сгруппировавшиеся вокруг генерала В.Г. Науменко, а так же небольшие группы казаков-одиночек, примкнувшие к остаткам белоэмигрантского Русского Охранного Корпуса, во главе с казачьим полковником Рогожиным, и к отряду генерала Туркула.

…«Русская Вандея» была разгромлена наголову! Ее вожди повторили участь казнённых ванденских предводителей Стоффле, Шаретта и Кадудаля. Генералы Краснов П.Н., Шкуро А.Г., Доманов Т., Султан-Келич-Гирей, а так же последний казачий походный атаман ген. Гельмут фон Паннвиц и захваченный в сентябре 1945 в Манчжурии при разгроме Квантунской японской армии ген. Семёнов были, как известно, повешены. Остальные принудительно репатриированные участники движения, как и встарь, после разгрома Пугачёвского восстания, когда все повстанцы, по степени их вины, были разбиты на семь групп, были также распределены по группам, в зависимости от характера своего участия в казачьем движении. Руководящие казачьи верхи попали в Москву, в тюрьму на Лубянке, офицерский состав был определён в особый лагерь в г. Прокопьевске, рядовые участники — отправлены на гос. проверку в проверочно-фильтрационные лагеря в Кемеровской и Молотовской области. В данный момент большинство этих казаков частично находится в спецлагерях МВД, частично в местах спецпоселения, определенных для них в угольных районах Кузбасса и Северного Урала. К ним следует отнести еще большее число казаков, осужденных в 1943-44 гг. тотчас после освобождения Северного Кавказа и Дона за службу в казачьих отрядах в период оккупации и за сотрудничество с немцами. Те немногие казаки, которые успели освободиться из лагерей по отбытии срока наказания или же сохранились в местах своего спецпоселения еще с тридцатых годов, продолжают, по-прежнему, подвергаться различным ограничениям, находясь в ведении спецкомендатур МВД, и не имеют пока возможности вернуться на

свою родную казачью землю…

Слов нет, у этой категории казаков есть некоторая вина перед Советской властью! Но с другой стороны, было бы несправедливо всю вину переложить исключительно на одних только казаков, т. к. политика репрессий, проводившаяся в отношении большого числа казаков, сначала при Ягоде и Ежове, а затем при Берия, Мерлукове и Абакумове, вряд ли отвечали интересам политики коммунистической партии и советского правительства в этом вопросе. Ведь иначе никак не могут быть оправданы все те, порой злобные, мстительные и бессмысленные репрессии, которые, часто огульно, обрушивались на головы казаков, вызывая с их стороны, в целях самозащиты, естественное сопротивление.

Одно время большие радужные надежды возбудило у казаков, находившихся за рубежом, выступление И.В. Сталина на приеме командующих советскими войсками, где, говоря о заслугах русского народа, И.В. Сталин вскользь затронул вопрос о немалых ошибках, бывших у советского правительства. Именно эти ошибки толкнули во время воины многих казаков на путь антисоветской борьбы. Под впечатлением от этой речи, многие казаки, полагаясь на снисхождение и пощаду со стороны советского правительства, на забвение старых грехов и взаимных счётов, предпочли, как блудные сыновья, вернуться на Родину, не оказывая вооруженною сопротивления своей принудительной репатриации и не желая для себя жалкой участи изгнанников, блуждающих ныне по земному шару, в числе так называемых «перемещенных лиц».

К сожалению, эти надежды не оправдались, так как, вопреки заверениям, сделанным генералом Голиковым от имени советского правительства, о том, что «Родина всех прощает», казаков, по возвращении в СССР, ожидали тюрьмы, лагери, спецпоселение… Мало того, те кто был осужден в 1945-46 гг. под горячую руку и получил по 10 лет ИТЛ, оказались в лучшем положении, нежели те из спецпоселенцев, кто отбыв по нескольку лет в ссылке, получили затем, при Абакумове, в 1948-50 гг. по двадцать пять лет заключения.

Между тем, русская история богата примерами благородного великодушия к поверженным и разбитым участникам повстанческой борьбы. Даже Петр I, лично рубивший головы мятежникам-стрельцам, раздавив булавинский бунт и сурово покарав его зачинщиков, ценя заслуги казаков, дал возможность остальным булавинцам искупить свою вину в войне со шведами. Донцы-булавинцы оправдали оказанное им доверие, отличившись в Полтавском сражении, удалью своей вплетя казачьи лавры в венок победы над Карлом XII. Подавляя с помощью казаков польские восстания, А.В. Суворов привлек к себе сердца

повстанцев своим исключительным гуманным отношением к ним и объявленной широкой амнистией. «Благомудрое великодушие часто полезнее, нежели стремглавый военный меч» — в этих словах А.В. Суворова вся его линия поведения по отношению к польским повстанцам Тадеуша Костюшко. Общеизвестно, что и Александр 1 сразу же после окончания Отечественной войны, закончившейся разгромом Наполеона 1, своим манифестом даровал амнистию и всем тем, кто на русской территории, подвластной французской армии, вел себя изменническим образом, сотрудничая с французами и сражаясь на их стороне.

К сожалению… в казачьем вопросе было допущено немало перегибов… которые привели к новой вспышке антисоветскою казачьего движения в тридцатых годах и в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

Сюда следует отнести:

1. Необдуманные массовые репрессии в годы коллективизации и борьбы с кулацким саботажем, когда была стерта грань между кулаком и середняком…

3. Репрессии, обрушившиеся на казаков в годы «ежовщины».

4. Порочную практику искусственной фабрикации антисоветских повстанческих казачьих групп, которая нередко, по типу т. н. «ленинградского дела», проводилась в карьеристских и авантюристических целях работниками органов государственной безопасности при Ягоде, Ежове и Берия.

Всего этого достаточно, для того чтобы отказаться от предубеждения и чрезмерной настороженности по отношению к той части казачества, которая в силу тех или иных причин, на протяжении десятилетий, вынуждалась идти против недальновидной политики «расказачивания», проводившейся вопреки военным интересам России, обязанной казакам наиболее славными и значительными страницами своей истории. Далеко ведь не случайно то, что многие великие полководцы высоко ценили воинскую доблесть казаков. Наполеону принадлежат слова: «Дайте мне одних лишь казаков и я пройду с ними всю Европу»… Даже у Гитлера и то хватило сообразительности, чтобы привлечь на свою сторону немалую часть казачества, обиженную в той или другой форме… органами советской власти.

В решении казачьего вопроса нет ничего пагубнее, как пойти по пути огульного приклеивания ярлыков, как это часто делалось прежде, когда любого политически колеблющегося казака можно было легко объявить «подкулачником», со всеми вытекающими из этого последствиями. Гораздо труднее здраво и трезво, по государственному, посмотреть правде в глаза, отметя в сторону все те фальшивые реляции по казачьему вопросу, которые

сочинялись с провокационными целями Берия и его сподвижниками. Для них не было ничего проще, как выдвигая жупел «Русской Вандеи», проводить в широких масштабах репрессии в отношении большого количества казаков. Это явилось пагубной ошибкой, оттолкнувшей значительную часть казачества от советского правительства.

В связи с приближением знаменательной даты 10-летия победы Советской Армии над гитлеровской Германией и Указом Президиума Верховного Совета от 25.1.55. «О прекращении состояния войны с Германией», возможно, наконец, беспристрастно разобраться в вопросе, который, к сожалению, мало до сих пор интересовал как следственные органы МГБ и Военные Трибуналы, так и советские правительственные органы, но который будет ешё не раз волновать умы наших потомков: чем же вызван такой беспримерный в истории России факт, что в годину величайших для русского народа бедствий не только 120 тыс. казаков оказались в казачьих частях германской армии, но около полутора млн. человек служило в рядах вермахта в качестве «восточных добровольцев». Еще больше советских людей в период оккупации сотрудничало с немцами. Уклоняться от пытливого и вдумчивого изучения причин этого больше никак нельзя.

Проще простого, в демагогических целях, приклеить к казакам, входившим в состав многочисленных казачьих сотен и полицейских отрядов, созданных на оккупированной территории, ярлыки изменников и предателей, уголовников и белогвардейцев. Но такое легковесное скольжение по поверхности явления ничего не объясняет по существу причин вспышки казачьего движения. Казаки всегда были горячими патриотами своей Родины. И только трагические обстоятельства их судьбы на протяжении последних десятилетий подтолкнули многих из них на путь антисоветской борьбы и союза с германской армией. Однако, на основе горьких уроков этой последней вспышки «Русской Вандеи», сейчас можно уверенно сказать, что в случае серьезных международных осложнений, казачество, которое еще находится в лагерях и на спецпоселении, останется равнодушным ко всем попыткам вновь вовлечь его в антисоветские авантюры.

Слишком свежо у него в памяти то лицемерие и коварное отношение, которые проявили англо-американцы к казакам в 1945 году. Никогда не будет забыто казаками вероломное поведение У. Черчилля по отношению к казачьей армии, которая на словах убаюкивалась усыпляющими заверениями в том, что ее ждет миссия борьбы с партизанами в Греции, тогда как на деле в это время тщательно подготавливалась операция по передаче

казаков Советскому командованию.

В 1920 г. вдохновитель антисоветской интервенции У. Черчилль также ничего не предпринял для эвакуации из района Сочи прижатой к морю казачьей армии Морозова. Казаки, принимавшие в 1944 г. участие в подавлении польского восстания в Варшаве, хорошо знают, как обманул Черчилль Бур-Комаровского, обещая польским повстанцам помощь в борьбе с немцами. Казаки знают и то, какая участь постигла после войны брошенную англичанами на произвол судьбы польскую армию Андерса, щедро оросившую своей кровью горные скалы Монте-Кассино в Италии…

Совершенно очевидно, что с англо-американцами казакам больше не по пути, хотя может быть кто-либо из сторонников политики «с позиции силы» и тешит себя иллюзиями на этот счет. Нет сомнения в том, что они еще попытаются вытащить, в своих целях, «казачий вопрос» и возродить «Русскую Вандею»… Как видно из одного недавнего выступления американского представителя Доджа в Совете Безопасности, где он проливал крокодиловы слёзы по поводу судьбы казаков в СССР, найдётся еще немало печальников, которые будут стараться использовать в своих целях казачество для антисоветской борьбы. Но все эти надежды пусты и бесплодны!

Последнее выступление У.Черчилля в Вудфорде… лишний раз разоблачило неприглядную роль этого потомка Мальбрука, который в 1945 году одной рукой собирал оружие для немецких солдат, лелея план их использования против Советской Армии, а другой рукой, в это же время передавал в Советский Союз казачьи войска и дивизии РОА генерала Власова. Черчиллю и Эйзенхауэру нечего больше рассчитывать на казаков, на возрождение «Русской Вандеи»! В самом лучшем случае за ними пойдут лишь остатки из числа «перемещенных лиц» и белой эмиграции.

Зато совершенно бесспорно, что весь политически активный казачий элемент, находящийся еще в лагерях и на спецпоселении, при всем своем резко враждебном отношении к англо-американским непрошеным «друзьям», мог бы еще, при наличии доброй воли со стороны советского правительства, оказаться полезным для Родины. Последние гуманные мероприятия по облегчению положения заключенных позволяют надеяться на то, что наше правительство в состоянии справедливо и благожелательно решить и вопрос о судьбах репрессированного казачества, найдя для этого какие-то новые формы, продиктованные разумными и дальновидными государственными интересами. Об этом, в частности, говорит практика широкого пересмотра Верховным судом СССР прошлых решений ОСО при

МГБ и приговоров Военного Трибунала, освобождение из заключения большого числа невинно осужденных лиц в годы «ежовщины» и «бериевщины». Такой великодушный шаг по отношению к той части казачества, которая, будучи в плену своих старых сословных предрассудков, находясь под дурманом немецкой декларации о казаках, сбилась с пути, разойдясь с русским народом, был бы с радостным удовлетворением встречен всеми казаками, предав забвению все старые счёты и обиды.

Есть полная возможность превратить всё казачество от мала до велика в надёжную опору Советского государства. Наше правительство тем самым раз и навсегда покончило бы с любыми попытками возникновения «Русской Вандеи» в среде казачества…

Приложение № 2. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

В альманахе «Вече» № 58 (Мюнхен,1996 г.) опубликована статья Г. Алехина «Белые пятна насильственной выдачи». (Герман Викторович Алехин является сотрудником московского «Архива РОА» и занимается вопросами казачества).

По сути автор попытался объединить разрозненную информацию о насильственной выдаче казаков англичанами в руки большевиков в Австрии в 1945 году, опубликованную, в основном, в зарубежных источниках, которые почти недоступны российскому читателю. Информация интересная и Г. Алехина можно было бы поздравить с успехом, если бы он ставил задачу, соответствующую содержанию статьи.

Но… освещая частные вопросы, автор ставит чуть ли не глобальную задачу (стр. 73). При этом допускает оскорбительные выпады в адрес авторов воспоминаний и жертв выдачи («сущее невежество» — стр. 73, «ужасающим невежеством или же просто злым умыслом» — стр. 81).

Такие выпады тем более удивительны, что:

— во-первых, источниками статьи являются, в основном, воспоминания(!) участников событий, а не документы;

— во-вторых, добрая половина статьи — сплошное цитирование этих воспоминаний!

Однако, воспоминания участников событий всегда субъективны и могут значительно отличаться друг от друга. Обвинение их в невежестве или злом умысле — зазнайство и излишняя самонадеянность автора (по толстовскому определению — велик знаменатель).

Летом 1997 года стало известно, что Алехин распространяет подметные письма. В январе 1998 года присылает лживое письмо: «…вышло недоразумение: Вам очень неверно кажется, что я веду

против Вас какие-то интриги…». И это после того, как в журнале «На казачьем посту» № 1, 1997 г. опубликована клеветническая статья обо мне с его мерзкими измышлениями!!!

Своими действиями он обмазывает грязью столь нужную и полезную работу «Архива РОА» и заставляет сомневаться в чистоплотности и бескорыстности его сотрудников, поскольку журнал «На казачьем посту» выпускается московским «Архивом РОА».

Это же провокация, достойная агента КГБ!!!

Психологам и психиатрам известно, что «наполеоновский комплекс» присущ людям амбициозным, энергичным, но с умственной недостаточностью.

По-видимому, Герман Викторович Алехин страдает им. К тому же он прошел «хорошую школу» в 1996 году, когда семь месяцев просидел в тюрьме под следствием по уголовному(!) делу.

Поэтому обращаюсь к читателям: будьте внимательны и осторожны при общении с Германом Викторовичем Алехиным. Не ровен час, он и Вас при случае вываляет в грязи. Особенно, если Вы сделали ему что-то полезное и доброе!

Издатель Н. Тимофеев

ФОТОГРАФИИ



Евгения Польская.
1930 год.



Лагерный театр. «Любовь Яровая».



Медицинские сестры Кисилёвской зоны.
Автор - крайняя справа во втором ряду

2 3 ИЮН 1953

СССР

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Управление

№ 2/2477/с

12 июня 1953 г.

Форма «А»

ВЫЛОЧ НА ЖИТЕЛЬСТВО НЕ СЛУЖИТ. ПРИ УТЕРЕ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.

8-БФ

СПРАВКА № 0008279

Выдана гражданину (ке) Мокроусовой

Евгении Борисовне

1910 года рождения, уроженцу (ке) г. Ставрополя

гражданство (подданство) СССР национальность русская

осужденному (ой) Мокроусовой Евгении

2 декабря 1946 г. по ст. ст. 58-3 УК РСФСР

к лишению свободы на 6 лет с поражением в правах на

5 лет года, имеющему (ей) в прошлом судимость

нет

в том, что он (она) отбывал (а) наказание в местах заключения

МВД по 12 июня 1953 г. и по ныне отбытию

срока наказания

С применением

Освобожден (на) 12 июня 1953 г. и следует к избранному

месту жительства Кемеровская область, Ленинский район,

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина, 5

по ст Новокузнецк-Южный ж.д. ж.д. дороги.

Подпись владельца

Начальник

Нач. Отдела (части)

Печать



Николай Давиденков с отцом Сергеем Николаевичем. 1939 или 1940 год.



Слева-направо: Сергей Коцюбинский, Юрий Гаркуша. 1940 год.



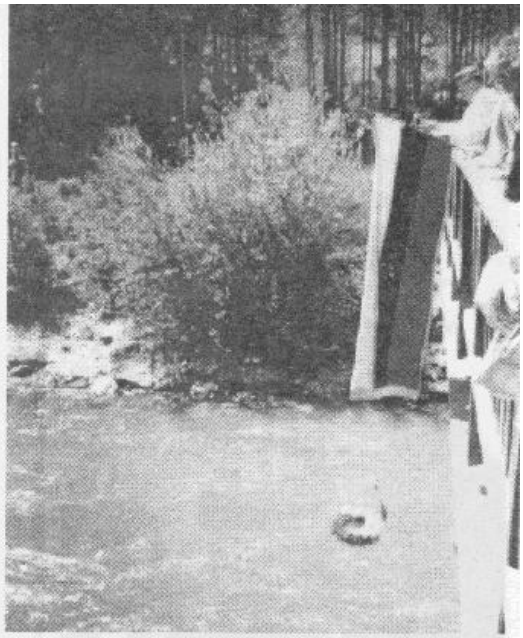
Николай Давиденков. Дальлаг, Находка. 1947 год.



Леонид Николаевич Польский. Бамлаг, 1947 год.



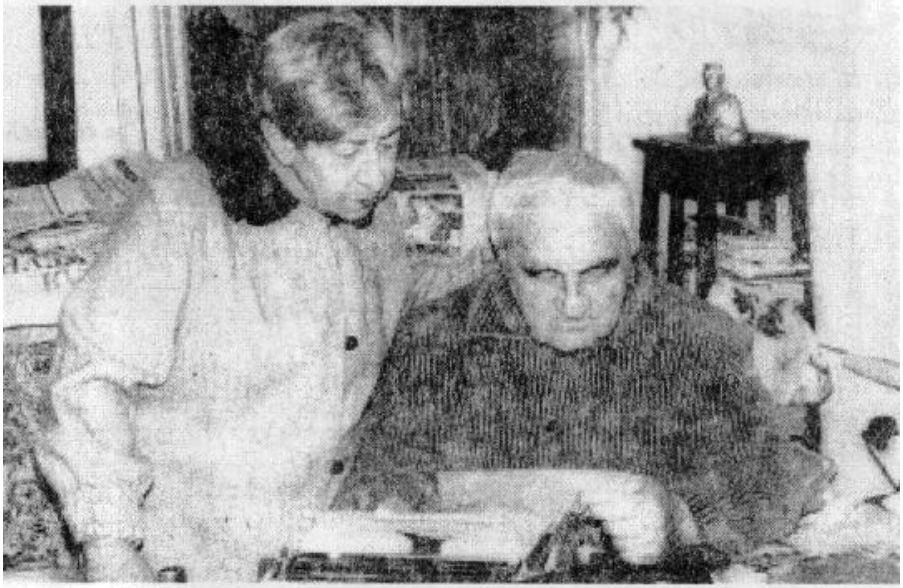
Михаил Земцов. Тюрьма,
Дальний Восток.
1947 год.



Венок летит в воды реки Дравы, принявшей свои жертвы 1 июня 1945 года. Лиенц. 31 мая 1997 года.



Слева-направо: Л. Н. Польский, проф. В. А. Мануйлов, В. А. Захаров, Е. Б. Польская. Кисловодск, Театральный музей. 1970-е г.г.



Евгения Борисовна и Леонид Николаевич за работой.



Делегация «Союза казаков» на казачьем кладбище. Лиенц. 1997 год.



Поминальная встреча на площади у моста, где происходила насильственная выдача казаков англичанами в руки большевиков. Юденбург. 1 июня 1997 года.

notes

Примечания

1

Поэтому в комсомол и партию, открывавшим путь к «карьере» — не вступала.

2

Сын моей кузины, тоже бывшей в Италии, например, уже взрослым, только от меня узнал, как его мать оказалась в Сибири.

3

«Смерть шпионам» — военная контразведка.

4

Песенка английских солдат, известная с 1-й Мировой войны. В переводе на русский ее пели после войны на эстрадах.

5

По документам Н. Толстого, это было 31 мая.

6

Муж (итал.)

7

Она пишет, что получила от него письмо из лагеря, со стихами.

8

В 1988 году мы связались с ней и Колиными друзьями. Она с его сыном живет в Америке.

9

Остался там и Борис Николаевич Ширяев, офицер РОА, редактор во время оккупации ставропольской газеты «Утро Кавказа» и ее сотрудник Михаил Бойко с матерью. Оба потом печатались за границей.

10

Из книги Толстого стало известно, что насильственная репатриация уже шла с 1944 года, что вероломный «Коварный Альбион» уже применял ее из Англии. В то время мы ничего этого не знали. (Прим. 1990 г.)

11

Шотландцев в юбочках среди них было не больше трех.

12

Хаки плыли за ними, «спасая», вытаскивая уже захлебнувшихся, и складывали на бережку, не приводя в чувства.

13

В книге Толстого нет никаких указаний, имеются ли какие-то документы, свидетельства о нас в виде снимков или что-то подобное. Однако, недавно в программе «До и после полуночи» Володя Молчанов показал быстро мелькнувший кадр именно этой акции. Я узнала этот уже полупустой плац. (Прим. 1993 г.)

14

Юде — еврей (нем.). Государства Израиль тогда не было (Прим. 1990 г.)

15

От вшей (нем.)

16

Возможно и вернее, однако, это были убитые солдаты кавказских частей Султан-Гирея Клыча, находившихся недалеко от Лиенца в Обердраубурге. Во всяком случае, в лагерях заключения, я горцев, бывших легионеров, почти не встречала (примеч. 1993 г.)

17

Измена родине военнообязанного, 58-1-А — невоеннообязанного.

18

Исправительно-трудовые колонии — одна из лагерных систем «Архипелага».

19

Из «Без вины виноватые…».

20

Меня поразил не самый факт либидо, не его открытость, а циничная, «грязная» его неотвратимость (как дыхание), его грубо физиологическая грань.

21

Ружье, винтовка.

В 1991 г. — умерла.

23

Припомнились только эти две судьбы, но их тысячи.

Умерла в начале 80 г. г, в г. Кузнецке, где было ее основное жилье.

Особое совещание, т. е. без суда.

26

Парадокс: попадая в плен, самый героический наш солдат, даже не переходя в лагерь «власовцев», обязательно выражал возмущение страшной системой совстроя, подчинившего его Родину, каждый боялся вернуться, зная заведомо, что его ждут кары и террор. Но при геройском поведении на войне и в плену — никто не отваживался в пределах родины поднять голос на социальную несправедливость. А еще Рылеев сказал: «Удивительно: мы не страшимся умирать в битвах, но боимся сказать в защиту справедливости…».

27

Писалось в 70-х г. г.

28

Союз молодежи в фашистской Германии, подобный нашему комсомолу.

29

Писалось в 70-х г.г.

В Канаде позднее он, ученик Манизера, создал памятник Т. Шевченко, о чем мы узнали по международному радио.

31

Дружба (нем.)

32

Вражеские самолеты над… (нем.)

33

Uber — предлог «над»

34

Посылочка, яйца, масло…

35

Бог с нами (нем.)

36

Подчеловек, недочеловек

37

Кизяки — кирпичи из навоза. Ими в безлесной местности топят печи.

38

Эту кривую вербу я увидела в 1990 г., проездом, когда знакомый Юра свозил меня и мужа в ст. Суворовскую — мою дедовщину. Я там была впервые. Плакала в церкви.

39

Черкес — по-местному (устар.)

40

Написано в конце 60-х — начало 70-х г.г.

41

Прим. автора: из газет хрущевского периода.

42

В 1945 г. казаки пришли тем же путем из Италии в Австрию, но в других условиях (прим. ред.).